



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические запросы.
Не отправляйте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>



~~308.G.12.~~

PG3337. P55. A1.1885 (1)



NEVILL FORBES BEQUEST

PK 17



302577941

СОЧИНЕНІЯ И ПЕРЕПИСКА

П. А. ПЛЕТНЕВА.

ПО ПОРУЧЕНІЮ

ВТОРОГО ОТДѢЛЕНІЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМІИ НАУКЪ

ИЗДАЛЪ

Я. ГРОТЪ.

ТОМЪ ПЕРВЫЙ.

СЪ ПОРТРЕТОМЪ АВТОРА.

САНКТІПЕТЕРБУРГЪ.

ТИПОГРАФІА ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМІИ НАУКЪ.

(Вас. Остр., 9 лив., № 12.)

1885.

COMMITTEE OF DEPENDENTS

J. A. HETTERLY

1890

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

CHICAGO

TOMAS HETTERLY

1890

LIBRARY



Тр. О. Тр. 1870.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

ALGEBRA

BY

JOHN

ALLEN



СОЧИНЕНІЯ И ПЕРЕПИСКА

П. А. ПЛЕТНЕВА.

ПО ПОРУЧЕНІЮ

ВТОРОГО ОТДѢЛЕНІЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМІИ НАУКЪ

ИЗДАТЬ

Я. ГРОТЪ.

ТОМЪ ПЕРВЫЙ.

СЪ ПОРТРЕТОМЪ АВТОРА.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

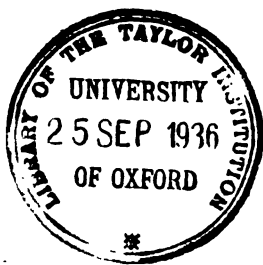
ТИПОГРАФІЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМІИ НАУКЪ.

(Вас. Остр., 9 лѣт., № 12.)

1885.

Напечатано по распоряженію Императорской Академіи Наукъ.
С.-Петербургъ, Январь, 1885 г.

Непрѣмѣнный Секретарь, Академикъ *К. Весселовскій*.



ОТЪ ИЗДАТЕЛЯ.

Сочиненія Петра Александровича Плетнева почти вовсе не извѣстны нынѣшней читающей публикѣ; съ ними мало знакомы даже и записные литераторы. Главная тому причина — что его труды до сихъ поръ были разсѣяны въ журналахъ и альманахахъ болѣе или менѣе стараго времени (отъ 1820-хъ до 60-хъ годовъ). Между тѣмъ сочиненія Плетнева, какъ критика и поэта, принадлежать къ числу такихъ явленій нашей литературы, которыми она въ правѣ гордиться. Его критическіе разборы замѣчательны не только по своему внутреннему достоинству, по глубинѣ его мыслей, по благородству его воззрѣній, но и потому, что онъ, будучи близокъ къ лучшимъ представителямъ блестящей эпохи русской литературы, зналъ, такъ сказать, всѣ закулисныя тайны ея и, довершивъ въ обществѣ этихъ талантливыхъ людей свое эстетическое образованіе, находился въ самыхъ благопріятныхъ для роли критика обстоятельствахъ. Въ его статьяхъ, появлявшихся на протяженіи сорока слишкомъ лѣтъ, мы можемъ прослѣдить исторію всей лучшей половины современной ему литературы: какъ онъ въ 20-хъ годахъ радостно привѣтствовалъ *Кавказскаго пленника* Пушкина и *Орлеанскую дѣву* Жуковскаго, такъ въ 40-хъ онъ встрѣтилъ тонкимъ анализомъ знатока *Мертвоя души* Гоголя, а въ 60-хъ оцѣнилъ сочувственнымъ отзывомъ драмы Остров-

скаго и Писемскаго. Его художественные очерки жизни и дѣятельности Пушкина, Баратынскаго, Крылова, Уварова, Жуковскаго и др. по справедливости признаются мастерскими въ своемъ родѣ произведеніями.

Какъ поэтъ, Плетневъ, не соперничая со звѣздами первой величины въ этой области нашей литературы, занимаетъ однакожъ почетное мѣсто въ кругу ихъ наиболѣе счастливыхъ спутниковъ. Его переписка съ Жуковскимъ, Пушкинымъ и кн. Вяземскимъ представляетъ живой интересъ не только потому, что знакомить насъ подробнѣе съ личностью каждаго изъ нихъ, но и по сообщаемымъ въ ней любопытнымъ извѣстіямъ о современныхъ дѣлахъ и людяхъ, а также и по тѣмъ чертамъ ума и характера, въ какихъ тутъ выясняется намъ образъ нашего автора.

Съ дѣтства никогда не покидавъ Россіи и даже не удалявшись отъ Петербурга и его окрестностей, Плетневъ болѣзнію вынужденъ былъ провести послѣдніе годы жизни за границею, большею частью въ Парижѣ, гдѣ онъ и умеръ 73-хъ лѣтъ 29-го декабря 1865 года. Желая почтить его память, какъ человѣка и писателя, Отдѣленіе русскаго языка и словесности, въ которомъ онъ съ 1859 состоялъ предсѣдательствующимъ, вскорѣ послѣ его смерти поручило мнѣ заняться приготовленіемъ изданія его сочиненій и переписки, къ чему и было приступлено мною какъ скоро это оказалось возможнымъ по передачѣ мнѣ бумагъ и писемъ его.

Въ издаваемыхъ нынѣ трехъ томахъ сочиненія Плетнева раздѣлены на три неравныя по объему отдѣла: первый, самый обширный отдѣлъ содержитъ сочиненія въ прозѣ, занимающія два тома и значительную часть 3-го, второй отдѣлъ—стихотворенія, и третій—переписку; въ каждомъ отдѣлѣ содержаніе расположено въ повременномъ порядкѣ, при чемъ однакожъ изъ прозаическихъ

сочиненій въ особую группу выдѣлены мелкіе критическіе разборы, помѣщавшіеся авторомъ въ журналѣ *Современникъ*, который онъ издавалъ по смерти Пушкина съ 1837 по 1846 годъ. Не считая удобнымъ перепечатывать *всѣ* эти разборы, такъ какъ нѣкоторые изъ нихъ слишкомъ незначительны, другіе, относясь къ разнымъ специальностямъ, писаны посторонними рецензентами, я долженъ былъ сдѣлать выборъ изъ замѣтокъ этого рода, что и исполнено мною во второмъ томѣ съ возможною осторожностью и стараніемъ сохранить все, съ той или другой стороны заслуживающее вниманія.

Такой же выборъ признанъ былъ нужнымъ и въ отдѣлѣ стихотвореній, слѣдующемъ за прозой въ 3-мъ томѣ. Исключена между прочимъ большая часть самыхъ раннихъ пьесъ Плетнева съ преобладающимъ дидактическимъ характеромъ, печатавшихся въ *Соревнователѣ* и писанныхъ прежде нежели окончательно опредѣлилось поэтическое направленіе автора въ духъ современныхъ ему первоклассныхъ поэтовъ.

Послѣ стихотвореній, во второй половинѣ 3-го тома, идетъ переписка Плетнева съ тремя названными выше писателями. Почти всѣ помѣщенные тутъ письма напечатаны съ подлинныхъ, и притомъ безъ всякихъ пропусковъ, за исключеніемъ лишь немногихъ строкъ, имѣющихъ чисто семейный характеръ. Между отзывами о лицахъ еще живыхъ издатель охотно опустилъ бы нѣкоторые, если бъ имѣлъ право слѣдовать здѣсь своему личному побужденію; впрочемъ, удержать ихъ было тѣмъ болѣе основанія, что они уже ранѣе были напечатаны въ *Русскомъ Архивѣ* даже безъ сокращенія имени одного изъ лицъ, къ которымъ они относятся.

Отпечатанные нынѣ три тома выходятъ прежде приведенія къ концу всего изданія, главнымъ образомъ съ цѣлю ускорить появленіе писемъ Пушкина и Жуков-

скаго, такъ какъ въ печати уже не разъ выражаемо было сожалѣніе, что они долго остаются неизданными. Смѣю думать, что такое замедленіе нѣсколько вознаграждается тѣмъ, что большая часть ихъ является теперь не отдѣльно, а рядомъ съ соотвѣтствующими имъ письмами Плетнева, чѣмъ конечно въ значительной степени увеличивается интересъ переписки.

Въ 4-мъ томѣ предполагается помѣстить часть переписки Плетнева съ другими лицами, біографическія о немъ свѣдѣнія и еще кое-какія дополненія къ настоящимъ тремъ томамъ.

Въ заключеніе не могу не упомянуть съ благодарностію о помощи, которою я при этомъ изданіи обязанъ былъ тремъ лицамъ: вдовѣ автора, Александрѣ Васильевнѣ Плетневой, съ полнымъ довѣріемъ предоставившей въ мое распоряженіе всѣ бумаги покойнаго; С. И. Пономареву, сообщившему мнѣ рядъ бібліографическихъ указаній, и Н. П. Барсукову, при содѣйствіи котораго я получилъ отъ князей П. А. и П. П. Вяземскихъ одинъ изъ наиболѣе цѣнныхъ отдѣловъ появляющейся нынѣ переписки, а также и нѣкоторыя бібліографическія разъясненія.

Приложенный къ изданію портретъ гравированъ на мѣди Іорданомъ въ увеличенномъ размѣрѣ съ фотографіи, дѣланной въ Парижѣ въ одинъ изъ послѣднихъ годовъ жизни Плетнева.

Ноябрь 1884 г.

Я. Гротъ.

ОГЛАВЛЕНИЕ СОЧИНЕНИЙ ПЛЕТНЕВА.

Томъ I.

СТРАН.

1818. Извѣстіе объ Иванѣ Георгіевскомъ, авторѣ романа «Евгенія».	1
1822. Стихотворенія Милонова.	12
Замѣтка о сочиненіяхъ Жуковскаго и Батюшкова.	23
Рыбаки, пдиглія Гвѣдича.	29
Драматическое искусство г-жи Семеновой.	44
Два антологическія стихотворенія.	53
Шильфонскій узникъ.	61
Кавказскій плѣнникъ.	68
1823. Путешественникъ, стихотв. Гёте въ переводѣ Жуковскаго..	82
Элегія Батюшкова: Умирающій Тассъ.	96
1824. Анакреонтическая ода Державина: Мечта.	113
Ода Петрова Николаю Семеновичу Мордвинову.	121
Орлеанская дѣва Шиллера, въ переводѣ Жуковскаго.	132
Письмо къ графинѣ С. И. С. о русскихъ поэтахъ.	160
1825. Сѣверные Цвѣты.	201
1831. Некрологъ барона Дельвига.	213
1833. О народности въ литературѣ.	217
1835. Князь Скопинъ-Шуйскій, соч. Шишкиной.	239
Обязанности наставниковъ юношества.	242
1836. Императрица Марія.	258
1837. Исторія поэзіи, соч. Шевырева.	264
Руководство къ исторіи литературы, соч. Вахлера.	272
Уддина, Жуковскаго.	279
Шекспиръ.	289

	СТРАН.
1838. Путешествіе по Россіи Государя Наслѣдника Цесаревича..	303
О литературныхъ утратахъ	321
Праздникъ въ честь Крылова	340
Исторія Россіи въ разсказахъ для дѣтей, соч. Ишимовой...	349
Перемѣщеніе университета въ С.-Петербургѣ	357
Александръ Сергѣевичъ Пушкинъ	364
Младенческіе пріюты въ С.-Петербургѣ.....	386
Колѣна и сословія аттическихъ	396
Путешествіе В. А. Жуковского по Россіи	404
12 октября 1838 года (юбилей Клингемберга).....	415
Повѣсть: Вотъ Любовь.....	422
О стихотвореніяхъ графини Е. П. Ростопчиной.....	424
Курсы литературы	427
1840. Двухсотлѣтній юбилей Александровскаго университета....	433
Финляндія въ русской поэзіи. (Письмо къ Цигнеусу)	445
1841. Медальерный рѣзчикъ Клепиковъ.....	466
1842. Первое посѣщеніе Александровскаго университета авгу- стѣйшимъ его канцлеромъ	470
Чичиковъ или Мертвыя души, Гоголя	476
Финляндское ученое общество	494
1843. Графъ Александръ Сергѣевичъ Строгановъ	499
1844. Наль и Дамаянти, индѣйская повѣсть В. А. Жуковского .	514
Евгеній Абрамовичъ Баратынскій	547
Дополненія, примѣчанія и поправки.....	573

ИЗВѢСТІЕ ОБЪ ИВАНѢ ГЕОРГІЕВСКОМЪ, АВТОРѢ РОМАНА «ЕВГЕНІЯ» ¹⁾.

1818.

Жизнь молодого человека, скончавшаго поприще свое на двадцать-пятомъ году, не можетъ быть для всѣхъ занимательною. Юность обильна однѣми мечтами. Авторъ Евгеніи не достигъ той счастливой эпохи, когда начинаютъ осуществляться сіи призраки. Но должно ли за то съ холоднымъ равнодушіемъ оставить безъ вниманія короткій путь, на которомъ смерть его оставила? Не большее ли надобно принять участіе въ судьбѣ его, когда юная душа уже воспламенялась порывами ко всему прекрасному и великому? По крайней мѣрѣ я считаю себя въ правѣ посадить цвѣтокъ на свѣжей могилѣ своего *Агатона*.

Если истинная чувствительность, чистая нравственность и твердыя правила заставляютъ уважать людей въ зрѣлыхъ лѣтахъ: то можно ли юношѣ отказать въ любви за сіи качества, особенно, смѣю сказать, въ нынѣшнее время, когда разсѣянность сдѣлалась стихіею юношей, когда такъ рѣдко встрѣчаются молодые Сократы? Георгіевскій — не по одному признанію дружбы — по приговору всѣхъ, его знавшихъ, достоинъ былъ носить имя послѣдователя Сократа. Ни одна черта не измѣнила прекрасному его характеру. Чувствительность его не была слѣдствіемъ

¹⁾ Полное заглавіе этой книги, изданной въ Петербургѣ въ 1818 году: «Евгенія или письма къ другу, собранныя Иваномъ Георгіевскимъ». Двѣ части въ 12 д. л.; въ обѣихъ вмѣстѣ 154 стр., кромѣ «Извѣстія объ авторѣ», составляющаго XXXIII стр. Подъ «Извѣстіемъ», подпись: Л. Л.

слабости. Она прямо изливалась изъ той нѣжности души, которою природа отличаетъ своихъ любимцевъ. Въ строгихъ его правилахъ не примѣтно было никакой угрюмости. Всеобщая довѣренность товарищей—вѣрный признакъ любви и уваженія—была счастливымъ его удѣломъ. А молодого человѣка совершенно знаютъ только въ равномъ кругу товарищества. Тамъ нѣтъ притворства: тамъ въ сужденіяхъ слѣдуютъ своей философіи, въ чувствахъ своему сердцу, въ поступкахъ своему вкусу. Тамъ и цѣнятъ не по видамъ: за искренность любятъ, надъ легкомысліемъ смѣются, за подлость презираютъ.

Георгіевскій первыя свои лѣта провелъ въ Твери, гдѣ получилъ и первое образованіе въ семинаріи. При самомъ началѣ своего ученія онъ скоро сдѣлался отличнымъ предъ своими сверстниками. Еслибъ необыкновенные успѣхи мальчика всегда были порукою будущей извѣстности, то его надобно бы было уважать на двѣнадцатомъ году его возраста. Въ продолженіе семи лѣтъ, которыя онъ провелъ въ Твери, никогда не примѣчали, чтобъ онъ останавливался на пути своихъ успѣховъ, хотя это почти неразлучно съ дѣтскимъ возрастомъ: онъ всегда оставался первымъ. Но въ семинаріи, до нынѣшняго своего преобразованія, доставляли большею частію однѣ познанія въ древней словесности. Кто познакомится съ языками Омера, Виргилія, тотъ почти всегда дѣлается къ нимъ пристрастнымъ: таково слѣдствіе ихъ очаровательности. Георгіевскій столько любилъ заниматься древними классиками, что въ одномъ мѣстѣ и свою Евгенію заставляетъ поклоняться Омеру—странность, вѣроятно въ глазахъ его также непримѣтная, какъ еслибъ онъ заставилъ ее поклоняться Расину. Онъ не довольствовался однимъ чтеніемъ древнихъ: въ минуты восторга самъ покушался стихотворствовать на языкѣ Римлянъ.

Характеръ его рано принялъ то направленіе, отъ котораго никогда не уклонялся. Пусть себѣ представляютъ его—пятнадцати, шестнадцати лѣтъ—во власти людей, державшихся еще деспотическихъ правилъ Аристотеля: окруженный безотвѣтными товари-

щами, онъ отваживается свободно открывать свои мысли, требуетъ, или удовлетворительнаго рѣшенія, или права на скромное сомнѣніе. Дѣтскія забавы не доставляли ему истинныхъ радостей. Обыкновенно не большое общество его пріятелей находило одно удовольствіе въ прогулкахъ по прекраснымъ берегамъ Волги. Этотъ вѣкъ онъ такъ умѣлъ усилить въ кругу своемъ, что никто изъ друзей его не хотѣлъ показываться дитятею. Никогда не могъ онъ послѣ вспомнить безъ особеннаго чувства о тѣхъ товарищахъ, которые раздѣляли съ нимъ дѣтскія его мечтанія.

Новый періодъ его жизни начинается съ поступленія его въ здѣшній Педагогическій институтъ. Въ самомъ дѣлѣ, и новый образъ жизни, и новыя занятія, и новыя связи должны были по дѣйствовать на его душу. Сколько тайнствъ открывали для него физическія и политическія науки! Но сія наслажденія, извѣстныя одному любопытству дарованія, наслажденія, которыя не рѣдко бываютъ плодомъ трудныхъ изысканій, дорого стоили Георгіевскому. Будучи твердаго сложенія, какъ истинный воспитанникъ природы, онъ не могъ предположить, что излишняя ревность къ наукамъ можетъ повредить его здоровью. Особенно математика, предметъ столько же трудный, сколько и занимательный, увлекла его въ свои тонкости. Можетъ-быть и противъ собственнаго вкуса, желая только быть побѣдителемъ на самомъ труднѣйшемъ пути, онъ сдѣлался къ ней пристрастнымъ до излишества. Но по истеченіи года болѣзнь принудила его прервать всѣ занятія. Все, чѣмъ украшаетъ насъ простая жизнь и цвѣтущая юность, все для него исчезло въ нѣсколько недѣль.

Эта неосторожность имѣла вліяніе на весь остатокъ его жизни. Онъ навсегда потерялъ ту крѣпость, которая обѣщала ему счастливую и долговременную жизнь. Сдѣлавшись опытнѣе и недовѣрчивѣе къ своему сложенію, онъ ограничился тѣми предметами, кои болѣе сходились съ его вкусомъ. Тогда филологія, исторія и философія заняли его совершенно. Въ скоромъ времени къ познаніямъ древней словесности онъ присоединилъ позна-

нія въ языкахъ нѣмецкомъ и французскомъ. Шиллеръ и Ж. Ж. Руссо — двѣ точки соединенія чувствительныхъ сердецъ, по выраженію одного нашего стихотворца — сдѣлались любимыми его собесѣдниками. Тогда мечтательный міръ превратился для него въ отечество: тамъ только былъ онъ совершенно счастливымъ. Не имѣя никакихъ знакомствъ со времени пріѣзда своего въ Петербургъ, онъ не чувствовалъ въ нихъ вадобности. Ему пріятно только было видѣть подлѣ себя друга, который бы принималъ участіе въ сладостныхъ мечтахъ его: остальная жъ вселенная была ему чуждою.

Въ теченіе сего времени родилась у него новая страсть — узнать языкъ той классической земли, которая произвела первыхъ и, можетъ-быть единственныхъ, стихотворцевъ возрожденной Европы. Ему представлялось, что это пріобрѣтеніе разсыплетъ новые, пріятнѣйшіе цвѣты на пути его жизни. Рѣшиться и совершить — для него почти всегда было одно и то же. Никакія затрудненія не могли удержать его въ новомъ подвигѣ. Можно ли не удивляться дѣятельности человѣка, который, безъ руководства учителя, съ помощію одного прилежанія въ нѣсколько мѣсяцевъ довелъ себя до того, что началъ свободно читать и пѣвца Лауры и пѣвца Ерусалима? ¹⁾

Между тѣмъ приходило время окончанія курса. Георгіевскій, все еще слабый здоровьемъ, думалъ только о перемѣнѣ климата. Благословенныя страны юга, онѣ были единственнымъ его желаніемъ. Тамъ, въ объятіяхъ матери-природы, думалъ онъ найти полное счастье. Онъ, казалось, цѣлый вѣкъ хотѣлъ остаться младенцемъ. Общество, связи, отношенія — всѣ сіи слова для него

¹⁾ Чистый выговоръ италіянскаго языка долго былъ ему неизвѣстенъ. Но на что не можетъ рѣшиться человѣкъ, когда истинное чувствуетъ къ чему-нибудь влеченіе! Бѣдный студентъ, богатый одними профессорскими тетрадами, въ состояніи ли нанять себѣ учителя? Георгіевскій положилъ себѣ за правило ходить каждый разъ въ католическую церковь, когда назначалась тамъ италіянская проповѣдь, и съ помощію сихъ уроковъ онъ наконецъ удовлетворилъ своему желанію. II. II.

не были понятными. «Если я оставляю столицу, говорилъ онъ, объ одномъ сожалѣть буду: гдѣ найти столько произведеній изящныхъ искусствъ? Но ясное небо, бархатные луга и все, чѣмъ украшается природа, не замѣнить ли съ избыткомъ моей потери?» Напрасно попечительное начальство предлагало ему выгодныя здѣсь мѣста. Онъ только ждалъ случая избавиться отъ всѣхъ выгодъ. Наконецъ открывается мѣсто за предѣломъ Европы, на берегу Урала, въ обширной степи, населенной небольшимъ обществомъ людей, которые почти не знаютъ никакихъ занятій, никакихъ удовольствій, кромѣ войны и рыбной ловли. Георгіевскій радуется сему случаю. Онъ спѣшитъ вырваться изъ Петербурга.

Кто изъ сего поступка заключить, что онъ былъ только опротивительный мечтатель, тотъ ошибется въ его характерѣ. Георгіевскій чувствовалъ, что въ избранномъ имъ мѣстѣ надобно будетъ ему жить одному, если онъ навсегда захочетъ остаться вѣренъ своимъ правиламъ. Но онъ зналъ, что любимое его общество, къ которому привыкла душа его, въ которомъ сердце его почерпало всѣ наслажденія, вездѣ будетъ съ нимъ. У него уже собраны были, по случаю отъѣзда, нѣкоторыя лучшія произведенія греческихъ, латинскихъ, италіянскихъ, французскихъ, нѣмецкихъ и русскихъ писателей. Кто не проститъ молодому человѣку, слишкомъ двадцать лѣтъ знавшему только это общество, если онъ вообразилъ, что въ такомъ кругу можно провести и весь остатокъ жизни? Можетъ-быть, по своей неопытности, онъ не умѣлъ только различать зависимости студента отъ подчиненности должностного человѣка. Одну принимаютъ, какъ добровольную дань признательности, и она столь же пріятна, сколь нечувствительна, ибо свобода есть удѣлъ ученой республики, а другую часто любить превращать въ рабскую покорность.

Переездъ изъ Петербурга въ Уральскъ, сколько ни былъ для него труденъ и по обыкновеннымъ безпокойствамъ, соединеннымъ съ дальнею дорогою, и по слабому его здоровью; но имѣлъ для него и много прелестей. Находясь болѣе четырехъ лѣтъ въ разлукѣ съ своими родителями, онъ надѣялся увидѣться съ ними

въ семь путешествій. Кому не пріятно послѣ долговременнаго удаленія опять увидѣть

«Страну, гдѣ мы впервые.
Вкусили сладость бытія,
Поля, холмы родные,
Родного неба милый свѣтъ,
Знакомые потоки?»

Кому не пріятно, на мѣстѣ родины своей ¹⁾, возобновить въ памяти

«Златыя игры первыхъ лѣтъ
И первыхъ лѣтъ уроки?»

«Я въ нѣдрѣ своего семейства; наслаждаюсь тѣмъ драгоцѣннымъ счастіемъ, которое можетъ доставить самая нѣжная любовь добрыхъ родителей. Другъ мой! Питай чаще сладостную мысль, что ты увидишь своихъ родственниковъ. Чье сердце не билось при радостномъ свиданіи съ родителями послѣ продолжительной разлуки, тотъ не знаетъ еще чудеснаго восторга, къ каковому способна природа наша.

«Окружающая меня тишина часто приводитъ мнѣ на мысль шумъ, оглушавшій меня въ Петербургѣ. Я никогда не бывалъ болѣе самъ съ собою, какъ теперь на лонѣ природы. Общее спокойствіе нечувствительно переливается во глубину души».

Вотъ что онъ писалъ ко мнѣ по пріѣздѣ своемъ въ Юрьевское Дѣвичье! Но этотъ сердечный восторгъ и это душевное спокойствіе, кажется, были послѣдними въ его жизни. Есть люди, которые, повидимому, самою природою такъ образуются, что обыкновенное общество не находитъ ихъ для себя занимательными. Цѣнить ихъ могутъ только подобные имъ. Они не имѣютъ той гибкой уклончивости, которая, совершенно сокрывая настоящія наши чувства, доставляетъ между тѣмъ всѣ выгоды въ об-

¹⁾ Мѣстечко, гдѣ родился Георгіевскій — *Юрьевское Дѣвичье* — находится на берегу Волги въ Корчевскомъ уѣздѣ. П. П.

ществу. Они так дорожат своею непорочною, что и малѣйшее несогласіе между своими мыслями и поступками считаютъ для себя унизительнымъ. Счастливы, кто при такомъ расположеніи вступить въ достойное себя общество; еще счастливѣе, если судьба наградить его властію создать для себя кругъ себѣ подобныхъ. Но если это *идеальное* существо — я не умѣю иначе назвать его — ввергнуто будетъ въ область грубости, суевѣрія: тогда самыя совершенства ускорятъ его гибель.

Для Георгіевскаго въ Уральскѣ оставалась еще пріятная надежда поправить здоровье свое тамошнимъ климатомъ. Въ самомъ дѣлѣ, черезъ нѣсколько времени природа начала показывать благотворное свое вліяніе. Но должность его такихъ требовала занятій, которыя соразмѣрны были силамъ только совершенно здороваго человѣка. Такимъ образомъ благотѣльное дѣйствіе одной уничтожалось гибельнымъ противодействіемъ другихъ. Человѣкъ, обманутый послѣднею надеждою, разлучившійся съ друзьями, окруженный людьми, по всѣмъ отношеніямъ для него чуждыми, добровольный изгнанникъ... пусть каждый вообразить себѣ состояніе Георгіевскаго! Но я приведу здѣсь собственныя его слова, изъ которыхъ лучше можно видѣть его чувства:

«Я читалъ Гѣтева Вертера, какъ мнѣ принесли письмо твое. Книга у меня выпала изъ рукъ; и я не могъ найти мѣста прочесть милыхъ строкъ твоихъ, пока не прошло первое движеніе радости. Ты не чувствуешь всего ужаса той пропасти, въ которую ввергла меня неопытность. И какъ чувствовать! Надобно увидѣть самому Уральскъ, чтобы имѣть о немъ надлежащее понятіе. Прибывши на мѣсто добровольной ссылки, я былъ внѣ себя отъ горести, и письма мои суть одно изліяніе обманутаго, огорченнаго сердца. Но обозрѣвши со всѣхъ сторонъ бездну, меня поглотившую, я покоряюсь жестокой необходимости, и, ежели не обманываю себя, сдѣлался спокойнѣе. Ахъ... ужели никогда не будетъ счастливъ тотъ, коего сердце сотворено для счастья?»

Въ семъ-то горестномъ состояніи вздумалъ онъ создать для себя Евгенію!

Волшебница-мечта! Дары твои безцѣнны
 И старцу въ лѣта охлажденны,
 Съ котомкой нищему, невольнику въ цѣпяхъ.
 Кто сердцемъ правъ, того ты ввѣкъ непокидаешь:
 За нимъ во всѣ страны летаешь,
 И счастьемъ даришь любимца своего.

Бывши еще здѣсь, онъ часто говаривалъ, какъ бы ему хотѣлось въ жизни написать только двѣ книги: *Романъ* и свою *Философію*. Эта мысль нигдѣ его не оставляла. Онъ еще не встрѣтилъ *своей* Евгениіи ни на берегахъ Невы, ни на берегахъ Урала: но она часто являлась его воображенію, можетъ-быть, не въ ясномъ видѣ, окруженная тонкимъ облакомъ, и душа его стремилась къ таинственному существу. Я люблю воображать ту счастливую минуту, когда онъ, сидя на какомъ-нибудь утесѣ, внимая шумному Уралу, за которымъ простиралась предъ нимъ Киргизкайсаяцкая степь, вдругъ узрѣлъ воображеніемъ своимъ образъ Евгениіи — открытый и ясный — и голубые глаза его, прежде осѣненные глубокою горестію, оживились, огонь разлился по блѣднымъ щекамъ, и онъ съ восторгомъ устремился въ скромное свое жилище, чтобы изобразить свое видѣніе. Онъ самъ упоминалъ мнѣ о подобныхъ удовольствіяхъ. «Но въ состояніи друга твоего, прибавлялъ послѣ, сіи счастливныя минуты блеснуть и исчезаютъ, подобно быстрому свѣту, мелькающему во мракѣ ночи на тверди небесной. Знаешь ли? Ежелибъ идеалъ мой, осуществившись, сказалъ мнѣ: я люблю тебя: о, престолъ міра былъ бы ничто въ глазахъ моихъ!» Но съ кѣмъ могъ онъ дѣлить и минутные сіи восторги? Они должны были только истощать одинокую душу.

Я первый имѣлъ удовольствіе увидѣть Евгению послѣ творца ея. «Посылаю къ тебѣ Евгению, говорилъ онъ; я переписывалъ ее только для того, чтобы прочесть самому, и посмотрѣть, какое можетъ сдѣлать на меня впечатлѣніе цѣлый романъ. Между тѣмъ, повѣришь ли? я совсѣмъ не читалъ его. Прочитай ты, сдѣлай на него свои замѣчанія и пришли ихъ ко мнѣ. И тогда, или вырази-

влю, передѣлаю его; или, разведши огонь, принесу его въ жертву вкусу. Такова должна быть участь первыхъ опытовъ пера, въ особенности юнаго!» Кому не пріятно участвовать въ занятіяхъ друга? Но мы раздѣлены были такимъ пространствомъ, которое требовало двухъ мѣсяцевъ времени, чтобы одинъ разъ сообщить взаимно свои мысли. Я просилъ его опять переѣхать въ Петербургъ, тѣмъ болѣе что многія почтеннѣйшія особы съ удовольствіемъ предлагали ему выгодныя мѣста. Увѣрившись горестнымъ опытомъ, что вліяніе климата на здоровье менѣе цѣлбно вліянія спокойной жизни въ обществѣ друзей, онъ, казалось, соглашался на мое предложеніе. Я уже ожидалъ отъ него рѣшительнаго согласія въ разсужденіи перемѣны мѣста, какъ вдругъ получилъ ужаснѣйшее извѣстіе. «Другъ мой, писалъ онъ, поздравь меня—я увѣренъ, что ты принимаешь во мнѣ участіе—поздравь меня полною, во всемъ величіи открывшеюся, чахоткою. Но не жалѣй обо мнѣ; я, сколько можно, спокоенъ. Еще осенью почувствовалъ я всѣ припадки своей болѣзни, и сочиненіе свое для того послалъ къ тебѣ не читавши самъ, что я не могъ уже разсмотрѣть его, какъ должно. Впрочемъ не подумай, что Евгенія причиною моей чахотки, о нѣтъ! Она служила для меня иногда забавою, иногда утѣшеніемъ, и всякій разъ была пріятнымъ и легкимъ препровожденіемъ времени въ моемъ уединеніи. Если бы ничто постороннее меня не разстроивало, она бы могла вылѣчить меня отъ болѣзни».

Пораженный отчаяннымъ хладнокровіемъ, съ какимъ онъ извѣщалъ меня о своемъ положеніи, я хотѣлъ утѣшить себя тою мыслію, что онъ обманывается въ своей болѣзни; я началъ увѣрять и его, что у него разстроено воображеніе, что ему надобно только выѣхать изъ Уральска—и онъ почувствуетъ себя лучше. Желая удалить его мысли отъ мрачныхъ предметовъ, я писалъ къ нему, съ какою отцовскою заботливостію призываетъ его къ себѣ прежній и общій нашъ руководитель на пути жизни, который умѣлъ заставить насъ забыть въ себѣ начальника, чтобы тѣмъ съ большею довѣренностію можно было приходить къ нему,

какъ другу ¹⁾. Въ этомъ мѣстѣ, говорилъ я ему, занятія будутъ по твоему вкусу, образъ жизни по твоимъ планамъ, связи по твоему сердцу. Любовь истинно уважаемыхъ нами людей производитъ всегда чрезвычайное дѣйствіе. Георгіевскій, почитавшій себя близкимъ къ смерти, съ такою признательностію принялъ новое сіе предложеніе, что началъ приготовляться къ отъѣзду. Я нетерпѣливо ожидалъ соединенія съ изнуреннымъ страдальцемъ. Въ послѣдній мѣсяцъ прошедшаго года я надѣялся уже обнять своего друга:

А бѣдный юноша... погасъ!
И дружба слезъ не уронила
На прахъ любимца своего.

Нѣтъ уже автора Евгенія: но Евгенія въ рукахъ публики. Ее будутъ цѣнить, можетъ быть справедливо, а можетъ-быть... Ктожь станетъ защищать Евгенію? Дружбѣ пріятно смотрѣть на одні совершенства: въ дѣлѣ критики она пристрастна. Авторъ, прежде своей смерти, далъ мнѣ отчетъ въ своемъ произведеніи; я осмѣлился помѣстить его здѣсь:

«Ты полагаешь, что восторги мои слишкомъ пламенны и что невозможно почти влюбиться съ одного взгляда. О мой другъ, можно ли быть равнодушнымъ тому, кто созерцаетъ безконечную красоту, на которой должно остановиться самое воображеніе? Увидѣть ее, и остаться равнодушнымъ—не значитъ ли быть совсѣмъ безъ сердца? Евгенія превышаетъ все, что я видалъ гдѣ-нибудь, даже то, о чемъ я мечталъ когда-нибудь. И не сказалъ ли я прежде всего, что воображеніе мое иногда рисовало божество моего сердца? Я увидѣлъ Евгенію, и оно повергло передъ ней кисть свою! Не довольно ли для чувствительнаго сердца, чтобы

¹⁾ Егоръ Антоновичъ Энгельгардтъ, бывшій прежде директоромъ С.-Петербургскаго Педагогическаго Института. Онъ не только предложилъ мѣсто Георгіевскому при Царскосельскомъ Лицеѣ, но и доставлялъ ему всѣ способы для переѣзда. П. П.

повѣрить внезапному пламени? Нѣтъ у меня ни завязокъ, ни развязокъ — вотъ еще что тебя сокрушаетъ! Не слишкомъ трудно запутать и послѣ развязать происшествія. Я думаю, что ничего не стоило строить вѣчные лабиринты чувствительному А. Лафонтену. Жаль только, что всѣ увѣрены, будто романъ не можетъ быть безъ завязокъ и развязокъ. И почемужъ? Потому что ученые такъ пишутъ въ своихъ книгахъ. Но не ошибаются ли сіи законодатели? О мой другъ, запутанность происшествій сама собою насъ увлекаетъ. Гдѣжъ тутъ красота, истинное достоинство сочиненія? И во всякомъ ли романѣ могутъ имѣть мѣсто завязки? Завязку въ сочиненіи составляютъ несчастія, или какія-нибудь препятствія, кои должно преодолѣть, чтобы достигнуть своей цѣли. Между тѣмъ я описываю прелести счастливой любви, блаженство супружества, нѣжныя попеченія родительскія. Вѣчныя радости, непрерывное наслажденіе — какія могутъ быть тутъ завязки? Всѣ, другъ мой, описываютъ однѣ горести любви, всѣ хотятъ заставить читателя своего проливать слезы: я старался проложить для себя собственное поприще. Успѣлъ ли я въ своемъ намѣреніи? Не знаю. Но только знаю то, что несравненно легче изображать несчастія, нежели прелести чистѣйшаго блаженства. Человѣкъ наслаждается въ молчаніи, между тѣмъ горестъ любить говорить и говорить много. Наконецъ ты говоришь, что страсть у меня безпрестанно увеличивается. Другъ мой, Евгенія еще въ самыхъ цвѣтущихъ лѣтахъ; Эрастъ слишкомъ живо чувствуетъ ея достоинства, и можетъ ли онъ такъ скоро перемѣниться? Если бы исполнилось имъ лѣтъ сорокъ: можетъ стать, страсть ихъ охладѣла бы, потому что перемѣнилась бы ихъ природа. Жизнь чувствованій исчезла бы. Тогда осталось бы для нихъ пріятное дружество и сладостное воспоминаніе о протекшемъ блаженствѣ. Ты могъ замѣтить также, что Евгенія всѣми мѣрами старалась питать въ Эрастѣ ту страсть, которая составляла все ея блаженство. Въ лицѣ сына своего, она видѣла черты своего друга, и обязанности матери не могли уменьшить ея пламени. Одно время, одно время, другъ мой, погашаетъ пламенникъ любви, замѣняя

онѣй розами дружбы. И самая дружба сія не есть та дружба, которая соединяетъ одного мужчину съ другимъ; нѣтъ, она несравненно нѣжнѣе».

СТИХОТВОРЕНІЯ МИЛОНОВА ¹⁾.

1822.

Истинное одушевленіе поэта ничего не имѣетъ общаго съ холоднымъ жаромъ къ авторству. Первое ко всему возбуждаетъ сильное участіе въ читателѣ, согрѣваетъ душу и двигаетъ по волѣ своей всѣ ея способности; а послѣдній далѣе слуха нашего не знаетъ дороги — и всѣ звуки его въ немъ умираютъ. Кто, читая стихи Милонова, не скажетъ, что онъ былъ истинный поэтъ? Мысли, чувства, картины — все изливалось у него изъ сердца, изъ сего единственнаго источника поэзіи. Разсудокъ можетъ быть прекраснымъ наставникомъ стихотворца, но не замѣнитъ чувствительности и воображенія.

Милонова, какъ многихъ, самыхъ лучшихъ нашихъ поэтовъ, нельзя разбирать по одному роду стихотвореній: онъ писалъ сатиры, посланія, элегіи, надписи и проч. Но въ дидактическомъ и элегическомъ родахъ онъ оставилъ болѣе совершенныхъ произведеній, которыя даже носятъ на себѣ отпечатокъ ему только свойственной поэзіи. Посему, чтобы опредѣлить характеръ его стихотвореній, мы будемъ преимущественно разбирать его сатиры и элегіи. Съ перваго взгляда странно покажется, что у одного человѣка столь противоположные роды доведены до совершенства; но это легко понять, если мы не потеряемъ изъ вида ходу страстей нашихъ. Сатира рождается отъ благороднаго негодованія, которое пороки, заблужденія и дурныя правила возбуждаютъ въ чувствительномъ сердцѣ. Оно сообщаетъ писателю силу и во-

¹⁾ Изъ *Трудовъ Вольнаго Общества любителей рос. словесности*. («Соревнов. Просв.») 1822 г. ч. XVII, гдѣ статья такъ озаглавлена: «Сатиры, посланія и другія мелкія стихотворенія Михайла Милонова».

оружаетъ его мстительнымъ перомъ. За гнѣвомъ почти никогда не слѣдуетъ хладнокровіе. Сердце, разтерзанное досадою, невольно ищетъ предмета, который бы вытѣснилъ изъ него оскорбительныя воспоминанія и наполнилъ оное пріятными чувствованіями. Человѣкъ, равнодушный къ оскорбленіямъ, не способенъ къ нѣжности. Чувствительный долженъ быть или бичемъ, или жертвою.

Сатиры раздѣляются на важныя и веселыя, смотря по тому, прямо ли стихотворецъ нападаетъ на пороки, изображая ихъ въ самомъ презрительномъ видѣ, или только, подъ видомъ шутки, рисуется ихъ смѣшныя стороны. Часто въ одной и той же сатирѣ смѣшиваются сіи роды. У Милонова шесть сатиръ, кои по большей части суть подражанія или латинскимъ, или французскимъ. Важныя у него сатиры: *Къ Рубеллію* и *Отрывокъ изъ Луциліевой Сатиры противъ ея отца*. Въ остальныхъ четырехъ смѣняется часто важная сатира веселою. Къ числу сатиръ надобно отнести еще два его посланія: *Къ И. М. Ф—у* и *Н. Θ. Г—у*. Перечитывая всѣ сіи стихотворенія, находимъ, что Милоновъ чаще приходилъ въ пылокое негодованіе, нежели въ затѣйливый смѣхъ. Онъ самыми рѣзкими чертами изображалъ пороки. Часто даже, во время шутки, у него вырываются прямыя мысли и сильныя выраженія. Все показываетъ, что гнѣвъ его не могъ прикрываться личиною одной насмѣшки. Въ важныхъ сатирахъ слогу его особенно отрывистъ и силенъ, періоды коротки и теченіе мыслей, какъ въ лирическихъ пьесахъ, стремительно. Въ веселыхъ онъ увлекается подробностями описаній, наборомъ картинъ и періоды становятся слишкомъ длинными. По расположенію и полнотѣ мыслей лучшими его сатирами можно почестъ: *На женитбу въ большомъ свѣтѣ* и *Къ Луказію*, а по силѣ и отдѣлкѣ стиховъ: *Къ Рубеллію*. Мы приведемъ здѣсь по нѣскольку стиховъ изъ каждой:

«Положимъ, что тобой избранная супруга

Въ ученіи добра не въдала досуга,

Какъ ангелъ, дышитъ лишь невинностью одной;

Но кто увѣренъ въ томъ, чтобъ, съ пылкою душой,

Начавъ съ тобою жить средъ нѣгъ и обольщеній,
 Невинность *бы* ея спаслась отъ преткновеній?
 Явившись въ этотъ свѣтъ, на сей театръ чудесь,
 Съ какими взорами твой ангелъ *сей* небесъ—
 Со всею нѣжностью и непорочнымъ чувствомъ
 Плѣнившись зрѣлища волшебнаго искусствомъ—
 Узритъ героевъ сихъ, которыхъ нѣжный гласъ
 О сладостяхъ любви твердитъ *намъ цѣлый часъ*,
 Роландовъ яростныхъ, Ренальдовъ сихъ прелестныхъ;
 Услышитъ о *вещахъ*, еще ей неизвѣстныхъ,
 Услышитъ, что любви все то, что свято *есть*,
 Какъ *вышню* божеству на жертву должно несть,
 Всѣ скромны правила, столь въ операхъ *знакомы*,
 Которы разожгутъ оркестра *звучны* громы...
 Какимъ движеніемъ, въ душѣ воспалена,
 Ты думаешь тогда исполнится она?
 Ручаться можно ли, что, возвратясь, смущенна,
 Армидъ и Ангеликъ въ слѣдъ славный *устремленна*,
 Отважно не начнетъ твердить уроки ихъ?
 Къ разврату женщины одинъ потребенъ мигъ.
 Но пусть въ семъ случаѣ она не измѣнится
 И робкій стыдъ ея соблазномъ оскорбится—
 Одинъ ли страхъ? Вступя въ блестящій свѣта кругъ,
 Куда ее введетъ гордящійся супругъ,
 Гдѣ окружатъ ее ласкатели *болтливы*,
 Прельстители сердецъ, въ успѣхахъ *столь счастливы*,
 Безмолвна и тверда, подобяся скалѣ,
 Она ль безчувственна къ ихъ будетъ похвалѣ?
 Сперва исподтишка то взоромъ, то словами
 Ихъ отличить, назвавъ домашними друзьями;
 А тамъ, Дамонъ, а тамъ?... Жюконда ужъ не разъ,
 Краснѣя скажу, мы видѣли у насъ!»

(На женитѣбу въ большомъ сѣнѣ.)

Сей отрывокъ, при всѣхъ недостаткахъ слога (о чемъ говорить мы намѣрены послѣ), исполненъ первоклассныхъ красотъ сатиры. Счастливое стеченіе мыслей представляетъ и слабости женщинъ и еще болѣе развратъ вѣка, отравляющій и домашнія и общественныя удовольствія. Столь обширный, столь быстрый и столь вѣрный взглядъ на предметъ есть истинное достоинство сатиры.

«И ты, хоть не богатъ своимъ природнымъ даромъ,
Старайся замѣнить его отвагой, жаромъ!
Найдутся многіе, которые простятъ
Безмыслицѣ твоей за то, что въ ней узрятъ
И цѣль полезную, и рвеніе благое,
Которы облечешь ты въ рубище худое,
Что добрый гражданинъ, что въ службѣ ты давно:
Какъ будто гражданинъ и авторъ все равно —
Какъ будто стыдъ тому, кто всѣхъ изъ насъ честиѣ,
Быть въ мысляхъ правильнѣй и въ связи ихъ яснѣ!
Пусть Фабій нѣжный другъ, пусть добрый онъ отецъ,
Пусть мужа вѣрнаго онъ будетъ образецъ;
Всѣ качества сіи достойно уважаю,
Но слушая его трагедіи — зѣваю —
И еслибъ кто дерзнулъ, въ присутствіи моемъ,
Сказать, что онъ рожденъ трагическимъ пѣвцомъ —
И мнѣ бы отвѣчать на то не можно было;
Молчаніе мое льстеца бы облегчило».

(Къ Лукацію.)

Нельзя дать лучшаго урока судьямъ дарованій. Исчисленіе причинъ, коими стараются часто возвысить дурное произведеніе *заслуженнаго* поэта, удивительно вѣрно. Все это мѣсто особенно замѣтно по отдѣлкѣ стиховъ, изъ коихъ послѣдній такъ изображаетъ духъ Милонова, что мы осмѣливаемся его назвать *Милоновскимъ*. Прочитавъ его, кажется, видишь поэта, который въ

торжественномъ негодованіи отвращаетъ взоръ свой отъ окружающей его черни.

«Царя коварный льстецъ, вельможа напыщенный,
Въ сердечной глубинѣ таящій злобы ядъ,
Не доблестями души, пронырствомъ вознесенный,
Ты мещешь на меня съ презрѣніемъ твой взглядъ!
Почту ль вниманіе твое ко мнѣ хвалю?
Унижуся ли тѣмъ, что униженъ тобою?
Одно достоинство и счастье для меня,
Что чувствами души съ тобой не равенъ я!
Что твой минутный блескъ? Что санъ твой горделивой?
Стыдъ смертнымъ и укоръ судьбѣ несправедливой!

.

Въ изгнаньи отъ тебя пусть цѣлый вѣкъ гублю,
Но честию твоихъ сокровищъ не куплю!
Мнѣ ль думать, мнѣ ль скрывать для *обща* посмѣянья
Убожество души богатствомъ одѣянья?
Мнѣ ль ползать предъ тобой въ толпѣ твоихъ льстецовъ?
Пусть Альбій, Арзелей—но Персій не таковъ!
Ты думаешь сокрыть дѣла свои отъ міра:
Въ мракъ гроба? Но и тамъ потомство насъ найдетъ;
Пусть цѣлый міръ рабомъ къ стопамъ твоимъ падетъ,
Рубеллій, трепещи: есть Персій и сатира!»

(Къ Рубеллію.)

Вотъ стихи, достойные разгнѣваннаго Римлянина! Эта сатира отличается отъ прочихъ какимъ-то лирическимъ духомъ. Въ каждомъ стихѣ необыкновенная сила, а въ періодахъ сжатость мыслей. Любопытно здѣсь замѣтить, что Милоновъ особенно любилъ въ сей сатирѣ два стиха, которые не рѣдко повторялъ въ минуты пѣническаго восторга:

«Одно достоинство и счастье для меня,
Что чувствами души съ тобой не равенъ я!»

Еслибы мы писали не для журнала (котораго границы очень тѣсны); то привели бы еще нѣсколько мѣстъ изъ сатиръ Милонова для доказательства, что онъ долженъ занять почетное мѣсто между поэтами въ семъ родѣ: предоставляемъ читателямъ удовольствіе пересмотрѣть ихъ въ полномъ собраніи его сочиненій.

Элегія Милонова (мы въ этотъ разрядъ помѣщаемъ большую часть и посланій его) совершенно отлична отъ сочиненій другихъ нашихъ поэтовъ въ семъ же родѣ. Мы знаемъ элегіи Жуковского и Батюшкова. Первый есть живописецъ природы и своего воображенія, а другой живописецъ сердца. Въ элегіяхъ Милонова говоритъ душевная боль. Онъ не мечтаетъ, не страдаетъ отъ любви, а, кажется, отъ жизни, въ которой нѣтъ того, чего онъ искалъ. Утраты его невозвратимы: потому что онъ лишился раздѣленія благородныхъ, высокихъ чувствованій и потерялъ вѣру въ идеальныхъ людей, которыхъ безпрестанно ищутъ всѣ поэты. Отъ сего въ элегіяхъ Милонова встрѣчаются невольные упреки человѣчеству. Этотъ родъ тѣмъ ближе былъ къ нему, что онъ предавался изліянію нѣжныхъ своихъ чувствованій послѣ сатирическаго негодованія. Голосъ унылой души, особенно въ лучшихъ мѣстахъ его элегій, такъ силенъ и трогателенъ, что невольное возбуждаетъ участіе къ автору. Лучшія изъ нихъ: *Паденіе Листьевъ* (переводъ изъ Мильвуа), *Къ Юности*, *Договоръ со смертію* (подражаніе французскому), *Уныніе* (подражаніе Томсону), *Къ сестрѣ моей*, *Выздоровленіе*, *Монастырь*, *Бѣдный Поэтъ* (изъ Жильбера), *Къ Жуковскому* и *Счастливецъ* (подражаніе Леонару).

Первая изъ сихъ элегій, несмотря, что мы имѣемъ подобную и совершеннѣйшую въ своемъ родѣ у Батюшкова, все остается въ числѣ лучшихъ на русскомъ языкѣ и отличается какими-то истинно элегическими звуками.

«Осени вѣтры восшумѣли
И дышать хладомъ средь полей;
Какъ призракъ легкій улетѣли

Соч. Плетнева.

Златые дни весны моей!
 Вались, валися, листъ мгновенный —
 И скорбной матери моей
 Мой завтра гробъ уединенный
 Сокрой отъ слезныхъ ты очей!
 Когда жъ къ нему, съ тоской, слезами
 И съ распущенными придетъ
 Вокругъ лилейныхъ плечъ власами,
 Моихъ подруга юныхъ лѣтъ,
 Въ безмолвьи осени угрюмомъ
 Какъ станетъ помрачаться день;
 Тогда буди ты легкимъ шумомъ
 Мою утѣшенную тѣнь!»

Послѣдніе два стиха (по крайней мѣрѣ такъ намъ показалось)
 болѣе заключаютъ въ себѣ элегической красоты, нежели у
 Батюшкова:

*„И томнымъ листьевъ трепетаньемъ
 Мой сладко очаруйте сонъ!“*
 «Сказалъ — и въ путь свой устремился,
 Назадъ уже не приходилъ;
 Послѣдній съ древа листъ сронился,
 Послѣдній часъ его пробилъ.
 Близъ дуба юноши могила;
 Но, съ скорбію въ душѣ своей,
 Подруга къ ней не приходила:
 Лишь пастырь, гость нагихъ полей,
 Порой вечернія зарницы,
 Гоня стада свои съ луговъ,
 Глубокій миръ его гробницы
 Тревожить шорохомъ шаговъ.»

Паден. Лист.

Довольно было бы сего мѣста для увѣренія, какъ Милонъ чувствовалъ и выражалъ красоты элегическаго рода; но мы приведемъ еще одно изъ собственной его элегии: *Къ сестрѣ моей*.

«Когда, мой другъ, опять съ тобою,
Дорожный бросивъ посохъ свой,
Я нѣжной обнимусь рукою
И водворюсь въ странѣ родной?
Ужъ много лѣтъ прошло разлуки,
Давно твой другъ осиротѣлъ,
Неуслажденны сердца муки
Ни чей не облегчалъ раздѣлъ!
Когда опять съ восторгомъ встрѣтишь
Ты мой нечаянный приходъ,
И на лицѣ моемъ примѣтишь
Слѣды печалей и заботъ?
Лѣта ужъ много измѣнили
И много взяли въ дань себѣ,
Одно лишь сердце пощадили
И дружбу нѣжную къ тебѣ!

.
.

Протекшихъ дней воспоминанье
Мы оживимъ въ душѣ своей,
И я начну повѣствованье
Моихъ въ разлукѣ текшихъ дней,
Какъ я съ бѣдами и судьбою
Боролся, силъ лишень своихъ...
И — услажденъ твоей слезою —
Навѣкъ изглажу память ихъ.
О другъ мой, счастливъ я заранѣ
Сей усладительной мечтой!
Уже въ пріятномъ чувствѣ обманѣ,
Тебя я вижу предъ собой:

То, мнится мнѣ, обвороженный,
Съ тобой по рощамъ я брожу;

.....
То, въ блѣдномъ вечера мерцаньи,
Ведомый дружбой и тобой,
Иду, въ задумчивомъ молчаньи,
На берегъ высокій и крутой,
Гдѣ Донъ, вспоивши насъ, свѣтлѣетъ,
Разславъ далеко зыби водъ,
Гдѣ жатвой нива богатѣетъ,
Родныхъ полей обильный плодъ!

.....
Но что!—Твой призракъ удался,
За нимъ мечтаній рѣзвыхъ рой:
Къ землѣ печальный взоръ склонился;
И я опять одинъ съ тоской!
Томлюсь, фортуны рабъ слѣпый,
Безъ наслажденія трачу дни.

.....
Мой другъ! счастливаго возврата
Когда на родину дождусь,
И предъ домашняго Пената
Съ смиренной жертвою явлюсь?

Начало этой элегіи по всѣмъ отношеніямъ превосходно. Лучшихъ стиховъ нѣтъ у него нигдѣ. Чувства самыя вѣрныя и гармонія періодовъ совершеннѣйшая.

Въ число собственно называемыхъ посланій надобно отнести у него два: *Къ земледѣльцамъ* и *къ А. П. Б.—ой*¹⁾. Оба сіи стихотворенія прекрасны. Картины сельскихъ занятій, образъ жизни поселянъ, ихъ невинныя забавы, ихъ добродѣтели, желаніе сочи-

¹⁾ Къ Аниѣ Петровнѣ Бунинѣ.

нителя подобной жизни—все плѣняетъ воображеніе и сердце въ первомъ изъ нихъ. Второе стихотвореніе написано въ сильномъ одушевленіи. Оно, въ отношеніи къ полнотѣ мыслей, стремительности выраженій и обдуманности хода всего сочиненія, едва ли не лучшее изъ всѣхъ дидактическихъ новѣйшихъ посланій. Мы не можемъ отказать себѣ въ удовольствіи, чтобы не выписать изъ него хотя одного мѣста.

«Въ чьихъ болѣе устахъ красуется даръ слова?
 Наука скучная не столько въ нихъ ¹⁾ сурова,
 Имъ всѣхъ приличнѣе ученіе сердець:
 Имъ путь до нихъ знакомъ, въ нихъ сердце—образецъ!
 Иль дѣва юная, съ свободою безцѣнной,
 Съ счастливою душой, къ страстямъ неприглѣпной,
 Не вѣдая тоски семейственныхъ заботъ,
 Ни сердцу тягостныхъ неволею работъ,
 Вступая сверстницъ въ кругъ, весельемъ оживленныхъ,
 Чему отдастъ часы *временъ* своихъ блаженныхъ?
 Пусть, вѣжнѣй гласъ слиявъ съ цѣвницею златой,
 Поетъ своей души и радость и покой;
 Пускай счастливая она обворожаетъ
 И ту, что въ цвѣтѣ дней, и ту, что отцвѣтаетъ.
 Поетъ незлобіе и прелесть юныхъ лѣтъ,
 И въ свой подругъ своихъ влечетъ завидный слѣдъ!
 Поэзія души и органъ и зеркало.
 Пусть снимутъ съ красоты невинной покрывало;
 Пусть блещетъ — и разить страстямъ подвластный міръ!
 Пусть юношей плѣняютъ своихъ игрою лиръ,
 Изъ сердца гонятъ ядъ наклонности порочной
 И вѣчный блескъ дадутъ красѣ своей непрочной!
 А та, чей помраченъ любовью свѣтлый взоръ,
 Въ которой изрекло свой сердце приговоръ,
 Пускай съ подругою ея, уединеньемъ,

¹⁾ Т. е. въ женщинахъ.

Плѣняетъ насъ души тайственнымъ бореньемъ,
 Блаженствомъ полнить грудь, поетъ счастливую страсть,
 И милаго зоветъ къ стопамъ ея упасть,
 Или, всю волю давъ душѣ своей прельщенной,
 Намъ славить поцѣлуй, впервые полученный:
 Любовь, сама любовь таиться будетъ тамъ
 И съ данію летать по пламеннымъ струнамъ!

До сихъ поръ мы рассматривали Милонова, какъ поэта. Если нельзя назвать его *гениемъ*, въ высшемъ значеніи сего слова (известно, что гений есть на землѣ вѣковое явленіе); то по крайней мѣрѣ онъ долго будетъ занимать у насъ блистательное мѣсто въ кругу отличныхъ поэтовъ. Неизвѣстно, чѣмъ бы онъ кончилъ прекрасное поприще поэзіи, еслибы у насъ судьба не похитила его въ раннихъ лѣтахъ. Онъ умеръ только около тридцати лѣтъ отъ роду. Мужество его дарованій ручалось, что онъ могъ бы со временемъ произвести что-нибудь важнѣе первыхъ своихъ стихотвореній. Но... любителямъ талантовъ осталось только почитать его воспоминаніемъ — этою скудною данію, которая между тѣмъ составляетъ единственную и самую сладостную надежду дѣтей Аполлона. Надобно теперь сказать о немъ, какъ о писателѣ. Къ сожалѣнію, мы уже замѣтили во многихъ приведенныхъ выше мѣстахъ, что онъ былъ въ семъ отношеніи ниже своего времени. Почитатель и любитель Дмитріева, современникъ и почти сверстникъ Жуковского и Батюшкова, онъ далеко отсталъ отъ нихъ въ слогѣ. Знавшіе коротко Милонова говорятъ, что онъ очень легко писалъ стихи: это, можетъ-быть, болѣе всего ему вредило. Чтобы сдѣлать стихи легкими, надобно ихъ написать съ большимъ трудомъ. Всякое произведеніе искусства требуетъ для совершенной своей отдѣлки необыкновеннаго терпѣнія: а поэзія стоитъ выше всѣхъ искусствъ, и слѣдственно ея произведенія съ большимъ трудомъ противъ прочихъ надобно обрабатывать. Правда, что Милоновъ самою небрежностію слога съ нѣкоторой стороны выигралъ: онъ ею показалъ, что не принадлежитъ къ толпѣ словесныхъ подражателей,

которыхъ, на бѣду образцовымъ нашимъ поэтамъ, такъ много въ нынѣшнее время — и которые, кромѣ словъ, ничего не умѣютъ занять отъ своихъ примѣровъ. Между тѣмъ, непростительно отличному писателю стоять по языку назади отъ своего времени. Не предлагая вопроса: какой поэтъ выше—одаренный большимъ талантомъ и не умѣющий хорошо писать, или при меньшемъ талантѣ совершенно владѣющий языкомъ — мы замѣтимъ только, что языкъ есть собраніе понятій, облеченныхъ въ условные звуки. Слѣдственно, кто пренебрегаетъ тайнами языка, тотъ, сочиняя, противорѣчитъ своему намѣренію, т. е., выраженію мыслей. Главные недостатки стиховъ Милонова суть: стеченіе въ одномъ мѣстѣ многихъ согласныхъ, а часто и гласныхъ, затрудняющихъ выговоръ, неумѣстныя усѣченія словъ (это чаще всего встрѣчается) и запутанная ихъ разстановка. Сверхъ того, встрѣчаются у него періоды столь длинные, что вниманіе, будучи утомлено наборомъ подлежащихъ или сказуемыхъ, теряетъ изъ виду связь мыслей. Сравнивъ дарованія его съ выраженіемъ мыслей словами, скажемъ, что никто справедливѣе Милонова не выбиралъ эпиграфа для своей книги:

«Меня переживутъ мои сердечны чувства.»

ЗАМѢТКА О СОЧИНЕНІЯХЪ ЖУКОВСКАГО И БАТЮШКОВА ¹⁾.

1822.

Мы видѣли, что истинная поэзія никогда не дичилась утромаго отечества нашего. Съ начала XII до конца XVIII столѣтія она то рѣже, то чаще оживляла лиры нашихъ пѣснопѣвцевъ,

¹⁾ Напечатана при статьѣ о Батюшковѣ въ книгѣ Греча: *Опытъ краткой исторіи русской литературы* (С.-Петербургъ 1822). Это отрывокъ изъ «Общей характеристики русскихъ поэтовъ», читанной Плетневымъ въ собраніяхъ Вольнаго Общества любителей россійской словесности. Объ одномъ изъ такихъ чтеній упомянуто въ *Трудахъ общества*, за 1821 годъ, ч. XIII, стр. 425.

хотя разными, но равно плѣнительными звуками. У насъ недовѣствовало только рѣшительной отдѣлки языка поэзіи. Всеобъемлющій Ломоносовъ, отважный Петровъ и неподражаемый Державинъ обогатили словесность нашу, высокими, можетъ-быть единственными произведеніями поэзіи, но не побѣдили своенравнаго языка. Всѣ удивлялись поэтамъ, а стихи ихъ читали немногіе. Свѣтская и затѣйливая муза Дмитріева наконецъ получила доступъ во всѣ кабинеты. Съ нею начали бесѣдовать и записные литераторы и безприсяжные щеголи, и полу-француженки - женщины. Въ это время явились два человѣка, которые совершенно овладѣли языкомъ поэзіи. Они наши современники; они съ царствованія Александра I (эпохи блистательнѣйшей въ исторіи отечества) начали новый періодъ русской поэзіи: я говорю о Жуковскомъ и Батюшковѣ.

Чистота, свобода и гармонія составляютъ главнѣйшія совершенства новаго стихотворнаго языка нашего. Объяснимъ каждое изъ нихъ порознь. Употребленіе собственно русскихъ словъ и оборотовъ не даетъ еще полнаго понятія о чистотѣ нашего языка. Ему вредятъ, его обезображиваютъ неправильныя усѣченія словъ, невѣрныя въ нихъ ударенія и неумѣстная смѣсь славянскихъ словъ съ чистымъ русскимъ нарѣчіемъ. До временъ Жуковскаго и Батюшкова всѣ наши стихотворцы, болѣе или менѣе, подвержены были сему пороку: языкъ упрямился; мѣра и рифма часто смѣялись надъ стихотворцемъ — и побѣждали его. Подъ именемъ свободы языка здѣсь разумѣется правильный ходъ всѣхъ словъ періода, смотря по смыслу рѣчи. Русскій языкъ менѣе всѣхъ новѣйшихъ языковъ стѣсняется разстановкою словъ; однакожъ, по свойству понятій, выражаемыхъ словами, и въ немъ надобно держаться естественнаго словотеченія.

«Живи — и тучи пробѣгали

Чтобъ рѣдко по водамъ твоимъ! ¹⁾»

¹⁾ *Водопадъ*, строфа 71. Соч. Держ. I ², 329.

Или:

«Сія гробница скрыла
Затмившаго мать лунный свѣтъ. ¹⁾»

Всякій согласится, что подобная разстановка словъ, при всѣхъ совершенствахъ поэзіи, стихи дѣлають запутанными. Жуковскій и Батюшковъ показали прекрасные образцы, какъ надобно побѣждать сіи трудности, и очищать дорогу теченію мыслей. Это имѣло удивительныя послѣдствія. Въ нынѣшнее время произведенія второклассныхъ и, если угодно, третьеклассныхъ поэтовъ носятъ на себѣ отпечатокъ легкости и пріятности выраженій. Ихъ можно читать съ удовольствіемъ. Кругъ литературной дѣятельности распространился, и богатства вкуса умножились. — Наконецъ нѣсколько словъ о гармоніи. Прежде всего надобно отличить гармонію отъ мелодіи. Послѣдняя легче достигается первой: она основывается на созвучіи словъ. Гдѣ подборъ ихъ удаченъ, слухъ не оскорбляется, нѣтъ для произношенія трудностей, — тамъ мелодія. Она еще имѣетъ высшую степень, когда сліяніемъ звуковъ опредѣлительно выражаетъ какое-нибудь явленіе въ природѣ и, подобно музыкѣ, подражаетъ ей. Гармонія требуетъ полноты звуковъ, смотря по объятности мысли, точно такъ, какъ статуя опредѣленныхъ округлостей, соотвѣтственно величинѣ своей. Маленькое сухощавое лицо, сколько бы черты его пріятны ни были, всегда кажется нехорошимъ при большемъ туловищѣ. Каждое чувство, каждая мысль поэта имѣютъ свою объятность. Вкусъ не можетъ математически опредѣлить ея, но чувствуетъ, когда находитъ ее въ стихахъ или уменьшенною, или преувеличенною — и говоритъ: здѣсь не полно а здѣсь растянута. Сіи стихотворческія тонкости могутъ быть наблюдаемы только поэтами. Въ числѣ первыхъ надобно поставить Жуковскаго и Батюшкова.

Вотъ что мы нашли общаго между сими утвердителями новѣйшаго языка поэзіи нашей! Но, сходясь въ главныхъ совершенствахъ, они послѣ идутъ особенными дорогами. Какъ стихо-

¹⁾ На смерть графини Румянцевой, строфа 6. Тамъ же, 151.

творцы, они могутъ быть соперниками, а какъ поэты, они должны остаться друзьями, потому, что каждый изъ нихъ имѣетъ особенный родъ—и каждый въ своемъ родѣ равно счастливый властелинъ.

Жуковскій, воспитанникъ и основатель въ Россіи *романтической* школы поэзіи, совершенно постигнулъ прекрасную въ ней сторону. Глубокія чувства, смѣлая мечтательность, богатство, или, лучше сказать, роскошь самыхъ свѣжихъ картинъ природы, составляютъ настоящія красоты романтической и вмѣстѣ Жуковского поэзіи. Изображая чувствованія сердца человѣческаго, онъ доходитъ до самыхъ сокровеннѣйшихъ. Какъ анатомикъ, онъ знакомитъ насъ со всѣми изгибами нашего сердца. Но чаще онъ любитъ предаваться всей стремительности отважнаго своего воображенія, которое, въ прихотливомъ своемъ полетѣ, избираетъ путь верѣдко странный;—однако самое своеправіе его насъ плѣняетъ, потому что никогда у него сила воображенія не измѣняетъ дѣятельности. Въ рисовкѣ картинъ природы Жуковскій не имѣетъ и едва ль будетъ имѣть соперника. Почти всѣ явленія въ природѣ—даже едва примѣтныя черты въ нихъ, замѣчены имъ, и вошли уже въ составъ его красокъ. Часто кажется, что онъ находитъ особенное удовольствіе въ собираніи сихъ едва примѣтныхъ подробностей, изъ которыхъ онъ составляетъ свои описанія. Кто разбиралъ его Павловскія картины, тому все сіе будетъ понятно. Въ слогѣ Жуковского удивительная гармонія, принимая ее въ томъ смыслѣ, какъ мы прежде сего опредѣлили. Часто онъ такъ обведетъ мысль свою, что самымъ круглымъ прозаическимъ періодомъ не выразишь ея полнѣе. Но это преимущественно бываетъ въ описаніи внѣшней природы. Что касается до изображенія глубокихъ чувствованій, слогъ его сжать, и потому чаще всѣхъ писателей у него встрѣчается фигура удержанія:

«О, кто ты, тайный вождь! Душа тебѣ во слѣдъ! ¹⁾.....»

¹⁾ «Славянка, элегія». *Стихотворенія Жуковскаго*. Спб. 1849. II, 228.

Хотя онъ первый удачнѣе всѣхъ началъ въ самыхъ короткихъ словахъ заключать множество мыслей; но это ему иногда вредить, потому что излишняя сжатость слога бываетъ причиною темноты мыслей. Въ общемъ составѣ большихъ сочиненій онъ не всегда такъ счастливъ, какъ въ частной ихъ отдѣлкѣ. Кажется, слишкомъ смѣлое воображеніе увлекаетъ его далѣе, нежели на что бы отважился другой. Впрочемъ это можно замѣтить почти въ одной только его псесѣ, о которой онъ самъ сказалъ ¹⁾:

«Въ моихъ запутанныхъ стихахъ,
Какъ тайный вождь-хранитель,
Онъ путь мнѣ къ цѣли проложилъ.»

Несмотря на все сіе, никто между новѣйшими нашими поэтами не возбуждаетъ къ себѣ столько энтузіазма, какъ Жуковскій. Причина ясная: онъ живѣе всѣхъ говоритъ сердцу и воображенію. Въ заключеніе сей характеристики нельзя не привести тѣхъ стиховъ, которые написалъ пѣвецъ Руслана и Людмилы къ портрету Жуковскаго. Въ этихъ пяти строкахъ, кажется, болѣе сказано о немъ, нежели мы наплысь сказать на нѣсколькихъ страницахъ:

«Его стиховъ плѣнительная сладость
Пройдетъ время тайственную даль;
Услыша ихъ, воспламенится младость,
Утѣшится безмолвная печаль —
И рѣзвая задумается радость» ²⁾.

Батюшковъ держится *новѣйшей* классической школы. Нѣжность чувствъ, умѣряемая голосомъ истины, воображеніе живое, но всегда послушное строгому вкусу, описанія прекрасныя, но

¹⁾ Вѣроятно тутъ разумѣется *Письмъ барда надъ трюбомъ Славянъ побѣдителей*.

²⁾ Вслѣдствіи 2-й и 3-й стихъ измѣнены:

Пройдетъ вѣковъ тайственную даль;
Внимая имъ, вздохнетъ о славѣ младость.

никогда не преувеличенныя —отличаютъ сію школу отъ романтической. Батюшковъ задумывается, а не мечтаетъ. Его скорѣе увлечетъ чувство, нежели воображеніе. Онъ преимущественно любить такъ называемую пластическую красоту, а не воображаемую. Ею исполнена для него природа. Чувство нѣги и наслажденія, въ разнообразнѣйшихъ видахъ, но постоянно прекрасныхъ, разливается на всю его поэзію. Самыя высокія лирическія его произведенія неизъяснимо смягчаются отъ сего главнаго характера. Онъ имѣетъ большую власть надъ своимъ талантомъ — и никогда не приноситъ невольныхъ жертвъ, (если можно употребить такое выраженіе) насилію вдохновенія. Онъ, кажется, не вѣритъ, чтобы все, прекрасное для него, было прекраснымъ и для другихъ, и потому его произведенія, выдержавшія искусь обдуманности, сбросили съ себя личность времени и мѣста, и вышли въ такомъ видѣ, въ какомъ безъ застѣнчивости могли бы показаться въ древности, и въ какомъ спокойно могутъ идти къ будущимъ поколѣніямъ. По крайней мѣрѣ классическая школа, какъ древняя такъ и новѣйшая, менѣе прочихъ страдала отъ времени и мѣста. По любимымъ картинамъ природы Батюшкова, съ трудомъ себѣ вѣришь, что онъ житель холоднаго Сѣвера.

«Въ прохладѣ ясеней, шумящихъ надъ лугами,
Гдѣ кони дикіе стремятся табунами
На шумъ студеныхъ струй, кипящихъ подъ землей,
Гдѣ путникъ съ радостью отъ зноя отдыхаетъ
Подъ говоромъ древесъ пустынныхъ птицъ и водъ:
Тамъ, тамъ насъ хижина простая ожидаетъ,
Домашній ключъ, цвѣты и сельскій огородъ.»

Мелодическій слогъ его составляетъ самую нѣжную, самую *сладостную* (употребимъ любимый его эпитетъ!) музыку для слуха и сердца. Онъ создалъ особенныя формы для словотеченія русскаго языка, и заставилъ — не говорю мужчинъ — даже многихъ женщинъ съ бѣльшимъ удовольствіемъ читать русскіе стихи, нежели съ какимъ онѣ обыкновенно прежде читывали французскіе.

Составъ его пьесъ всегда бываетъ обдуманъ строго; ходъ ихъ ясенъ и свободенъ. Въ одномъ можно упрекнуть его — что онъ до сихъ поръ подарилъ намъ одну только небольшую книжку стиховъ своихъ.

РЫБАКИ, ИДИЛЛІЯ ГНѢДИЧА ¹⁾.

1822.

Сочинитель сей идилліи, напечатанной въ № 8 *Сына Отечества* нынѣшняго года, говоритъ въ своемъ замѣчаніи, что «онъ осмѣлился испытать родъ русской народной идилліи. Дафнисы и Хлон, прибавляетъ онъ, принадлежатъ землѣ чужой, требуютъ такихъ свойствъ, такихъ красокъ, которыя, хотя бы они были выражены со всею истиною, привлекутъ одно удивленіе, а не участіе: ибо сердце наше не найдетъ въ нихъ ничего родного.»

Прежде разсмотрѣнія сей идилліи остановимся нѣсколько на замѣчаніи сочинителя, потому что оно можетъ быть отнесено не только ко всѣмъ родамъ поэзіи, но и къ произведеніямъ всѣхъ искусствъ.

Что значить произведеніе поэзіи, или другого какого-нибудь изящнаго искусства? Слѣдствіе вдохновенія, голосъ души, которая не въ состояніи удержать въ себѣ ощущеній, рождающихся отъ созерцанія, или умственного представленія прекрасныхъ предметовъ. Орудіе, какимъ вдохновенный человѣкъ легче успѣетъ изобразить внутреннія свои ощущенія, опредѣляетъ его мѣсто въ кругу изящныхъ искусствъ. Одинъ беретъ рѣзецъ и мраморъ — и обдѣлываетъ статую, другой кисть и краски — и рисуетъ картину, третій мѣру и слова — и пишетъ стихи, и такъ далѣе. Всѣ они могутъ быть другъ другу равными по силѣ своихъ чувствованій; различіе полагаютъ между ними избираемыя ими орудія: одно способно живѣе изображать ощущенія художника, но мень-

¹⁾ Изъ *Трудовъ Вольнаго Общества любителей рос. словесн.* 1822 г. XVIII.

шее ихъ количество; другое не представляетъ ихъ совершенно въ чувственномъ видѣ, но мѣрою своего объема вознаграждаетъ сей недостатокъ.

Какая цѣль каждаго произведенія искусства? На этотъ вопросъ трудно отвѣчать вдругъ. Первое произведеніе искусства, кажется, родилось безъ цѣли. Оно было слѣдствіемъ сильнаго ощущенія души, которая не въ состояніи была отказать себѣ въ потребности изліянія онаго, точно такъ, какъ мы не можемъ удержаться отъ улыбки, когда слушаемъ что-нибудь истинно забавное. Но въ обществахъ людей всякое случайное открытіе получаетъ со временемъ свое примѣненіе и свою цѣль. Такимъ образомъ и произведенія искусствъ назначены были для возбужденія въ другихъ точно такого же удовольствія, какое находили художники, изображая въ чувственномъ видѣ душевныя свои ощущенія. Звуки свирѣли, пѣсни, пляска начали оживлять скучные часы досуговъ и облегчать тягостное время трудовъ. Тогда искусства у нѣкоторыхъ людей сдѣлались предметомъ занятій постоянныхъ. Но человѣку, исполненному возвышенныхъ и сильныхъ чувствованій, трудиться для одной забавы другихъ, сколько бы она ни была благородна, показалось дѣломъ маловажнымъ. Онъ вздумалъ, не измѣняя наружности своихъ произведеній, дать другое направленіе ихъ дѣйствію. Простая забава сдѣлалась забавою поучительною. Зрители, или слушатели, удовлетворяя любопытству своего воображенія, начали почерпать въ произведеніяхъ искусствъ уроки жизни. Художники преобразились въ прорицателей. На чемъ оставались слѣды ихъ дѣятельности, то становилось священнымъ. Величайшія пожертвованія не были тягостными, когда требовалъ ихъ для блага общества голосъ вдохновеннаго человѣка. Это была послѣдняя степень, до которой искусства могли возвыситься между людьми. И такъ ихъ цѣль состоитъ въ доставленіи такого удовольствія, которое бы насъ дѣлало способными ко всякому прекрасному дѣйствію.

Есть произведенія искусствъ, которыя стремятся къ доставленію одного только удовольствія и достигаютъ въ полной мѣрѣ

своей цѣли. Когда художникъ останавливается на такомъ успѣхѣ, это доказываетъ, что онъ не дорожитъ своимъ достоинствомъ. Другія, не доставляя никакого удовольствія, желаютъ возбудить прямо какую-нибудь благородную рѣшимость. Если художникъ не умѣетъ плѣнить прежде, это значить, что онъ самозванецъ въ своемъ искусствѣ. Но кто помощію плѣнительныхъ своихъ произведеній возбуждаетъ порочныя чувствованія, тотъ употребляетъ во зло свое искусство и унижаетъ себя.

Если сія замѣчанія справедливы, то изъ нихъ можно вывести слѣдствіе, которое опредѣлитъ, какое произведеніе поэзіи, или другого искусства, должно почитать совершеннымъ. Когда оно рождается отъ истиннаго одушевленія, когда оно въ состояніи совершенно овладѣть нашимъ сердцемъ и направить волю нашу къ какой-нибудь прекрасной рѣшимости; то какимъ бы орудіемъ ни образовалъ его художникъ и въ какую бы страну оно перенесено ни было, вездѣ и всегда будутъ почитать его совершеннымъ. Въ общемъ отношеніи не одно *удивленіе*, но самое живѣйшее *участіе* оно будетъ возбуждать во всѣхъ истинно образованныхъ людяхъ.

Между тѣмъ есть причины, можетъ-быть важнѣе приведенныхъ нами, по которымъ надобно согласиться съ мнѣніемъ сочинителя выше означенной идилліи, что *народная поэзія* (мы думаемъ, что онъ самъ не откажется распространить своего замѣчанія объ идилліяхъ и на другіе роды поэзіи) предпочтительнѣе неопредѣленной или всеобщей поэзіи.

Любовь къ отечеству есть первая добродѣтель въ гражданѣ — и она столь естественна каждому, что мы не умѣемъ вообразить такого *космополита*, который бы не чувствовалъ внутреннего удовольствія, услышавъ звуки природнаго языка въ чужой землѣ, или приближаясь къ отечеству изъ дальняго путешествія. Ежели ее назвать предрасудкомъ, тогда будетъ предрасудокъ и то чувство, которое привязываетъ дѣтей къ родителямъ. По любви къ отечеству всѣ произведенія народной поэзіи становятся для насъ особенно драгоценными. Они возвышаютъ нрав-

ственное бытіе народа, и потому дѣлаются предметомъ всеобщаго наслажденія. Произведеніе поэзіи, заимствованное по предмету изъ другой страны, ограничивается тѣснымъ кругомъ знатоковъ и любителей искусствъ; но народное мало по малу переходитъ отъ высшаго класса къ среднему, а наконецъ и къ низшему. Знакомыя имена, знакомыя происшествія, знакомыя мѣста возбуждаютъ любопытство въ самомъ необразованномъ человѣкѣ. Удивительно ли, что въ Аѣинахъ почти каждый гражданинъ могъ быть судьей поэта, или другого художника? Въ театрѣ, на площади, въ храмахъ, въ домахъ — онъ слышалъ, видѣлъ все греческое. Мы не можемъ отказать Озерову въ дани слезъ, когда видимъ на сценѣ слѣпца *Эдипа*: но такъ ли полно участіе наше въ судьбѣ вѣнценоснаго страдальца, каково оно было между Греками, въ той странѣ, гдѣ Эдипъ не представлялся существомъ какъ бы мечтательнымъ, но единоземцемъ каждого зрителя, *живымъ* владыкою Оивянъ, въ чемъ ихъ все увѣряло: и мѣсто, и языкъ, и одѣяніе? Такъ ли жарки эти слезы, какія проливали мы въ несчастный и славный для Россіи годъ, когда представляли *Димитрія Донского*, когда вдохновенная Семенова произносила стихи сіи:

«О милосердый Богъ! Ты нашъ услышалъ гласъ;
Не до конца еще прогнѣвался на насъ,
И Русскихъ осѣнилъ Ты силою своею!»

когда незабвенный *Кутузовъ*, въ набожномъ умиленіи, всталъ въ своей ложѣ и, обливаясь слезами, крестился въ виду всѣхъ восторженныхъ зрителей? Вотъ истинное торжество народной поэзіи! Только подобныя явленія берутъ всю власть надъ душою нашею. Часто цѣлую жизнь они не изглаживаются изъ памяти и изъ сердца. Они преслѣдуютъ насъ и въ тишинѣ домашней и въ заботахъ общественныхъ. Если бы народныя и частныя увеселенія всегда напоминали намъ или отечественную исторію, или отечественную природу, тогда бы намъ повятенъ былъ гнѣвъ народа Аѣинскаго, который хотѣлъ побить камнями персидскаго посла,

когда онъ осмѣлился *варварскимъ* языкомъ осквернить воздухъ просвѣщенной Греціи.

Въ нынѣшнее время, когда число произведеній поэзіи чрезвычайно увеличилось, самые чужестранцы, любопытствуя узнать поэзію какого-нибудь народа, всего прежде ищутъ особенно относящагося къ тому народу. Если мы получаемъ произведенія персидской поэзіи, насъ болѣе всего изъ нихъ занимаютъ тѣ, въ которыхъ описана тамошняя природа, чувствованія, происшествія и проч. Любители поэзіи вѣрно помнятъ то впечатлѣніе, которое произвелъ надъ ними профессоръ персидской словесности Г. Шармуа, когда, при открытіи каѳедры восточныхъ языковъ при С.-Петербургскомъ университетѣ, онъ знакомилъ своихъ слушателей съ персидскою поэзіею. Кто бы повѣрилъ, что въ Парижѣ съ большимъ участіемъ читаютъ переводы нашихъ простонародныхъ пѣсень, нежели переводъ единственной, несравненной пьесы Батюшкова: *Умирающій Тассъ*?

Но мы опасаемся перейти границы того предмета, о которомъ говорить начали. Народная поэзія (чтобы сказать короткими словами) преимущественнѣе неопредѣленной потому, что она вѣрнѣе достигаетъ своей цѣли: она живѣйшее въ насъ рождаетъ удовольствіе, и чувствованія, ею возбуждаемая, глубже и продолжительнѣе бываютъ въ нашемъ сердцѣ. Это преимущество касается произведеній поэзіи. Но съ нею соединены выгоды для самихъ поэтовъ. Изображая свою природу, свои нравы и проч., они не будутъ принуждены мучить свое воображеніе, чтобъ хорошо описать то, чего они не видали своими глазами. Имъ надобно будетъ только вглядываться во всѣ окружающіе ихъ предметы — и критика не укоритъ ихъ ни въ ложныхъ картинахъ, ни въ смѣси чувствованій древнихъ съ новѣйшими, ни въ другихъ подобныхъ симъ ошибкахъ, почти безпрестанно встрѣчающихся у нашихъ поэтовъ. Правда, что наше небо не такъ ясно и чисто, какъ небо Греціи, или Италіи; наши луга не такъ роскошны, какъ долины Эвфрата: но истинно прекрасное и въ самой дикости своей пре-

красно. Природа въ *Водопадъ* Державина может очаровать и полуденнаго жителя.

Мы совершенно увѣримся въ справедливости сихъ замѣчаній, если рассмотримъ идиллію, которая подала намъ поводъ говорить о народной поэзіи.

Содержаніе этой идилліи слѣдующее: Два рыбака, прибывшіе въ Петербургъ изъ южныхъ краевъ Россіи, отправляли ремесло свое на одномъ изъ острововъ, омываемыхъ рукавами Невы. Старшій укорялъ однажды своего молодого товарища, что онъ, по своей страсти къ игрѣ на свирѣли, часто забываетъ свое дѣло, и страшалъ его, что онъ можетъ отъ того остаться совсѣмъ безъ хлѣба. Молодой рыбакъ съ жаромъ защищаетъ свою охоту, доказывая, что она не помѣшаетъ ему быть всегда честнымъ человекомъ и трудиться. Споръ оканчивается тѣмъ, что молодой рыбакъ подъ вечеръ одинъ отправляется въ лодкѣ на рыбную ловлю. (Это первая часть идилліи). — По наступленіи ночи старшій рыбакъ готовитъ ужинъ, чтобъ имъ встрѣтить уѣхавшаго своего товарища. Короткая лѣтняя ночь уже на исходѣ, а молодой рыбакъ не возвращается. Передъ разсвѣтомъ старикъ хочетъ ужинать одинъ въ первый разъ съ тѣхъ поръ, какъ они сюда прибыли. Въ ту минуту, какъ онъ крестится, чтобъ начать свой ужинъ, раздается шумъ веселъ и товарищъ его приближается въ лодкѣ. Онъ показываетъ старику дорогую свирѣль и новый неводъ. Все это получилъ онъ въ подарокъ на дачѣ отъ одного вельможи за свою игру на свирѣли. Онъ подробно рассказываетъ, какъ его кликнули въ этотъ домъ, что онъ тамъ видѣлъ, что слышалъ, снова защищаетъ свою охоту къ игрѣ и заключаетъ трогательнымъ обѣщаніемъ, что онъ своимъ дѣтямъ передастъ и любовь къ пѣснямъ и имя того, кто почтилъ дарованіе Бога. Сямъ оканчивается идиллія.

Дѣйствіе въ ней столько же просто, сколь и естественно. Стихотворецъ остановился на самой счастливой мысли изъ всѣхъ, какія только могли представиться его воображенію о подобномъ предметѣ. Еслибы все дѣйствіе происходило между одними ры-

баками, идиллія сдѣлалась бы утомительною отъ своего однообразія и не плѣняла насъ тою противоположностію, которая находится въ двухъ предметахъ, равно поэтическихъ, но совсѣмъ разнородныхъ. Характеры рыбаковъ совершенно списаны съ природы. Старики обыкновенно предпочитаютъ (какъ и должны) полезное пріятному. Но старый рыбакъ, несмотря на свою брюзгливость, добръ и даже чувствителенъ. Люди, на чужой сторонѣ, особенно чувствуютъ потребность въ привязанности земляковъ своихъ. Онъ сердится на товарища и въ ту же минуту говорить ему:

«Здорово! Дай руку, товарищъ!»

Въ молодомъ рыбацѣ видно все дѣйствіе юности. Онъ живо рассказываетъ о происшествіяхъ своего дѣтства, надѣется на себя и никакъ не ожидаетъ себѣ несчастія отъ бѣдности. Но въ сужденіяхъ ихъ сохранено все правдоподобіе. У нихъ свои доказательства, свои сравненія, свои заключенія. Напримѣръ, что можетъ быть естественнѣе слѣдующихъ двухъ стиховъ, въ которыхъ сочинитель такъ вѣрно изобразилъ образъ мыслей нашихъ простолюдиновъ?

«Палъ на сердце страхъ: до бѣды далеко ль человѣку?

Такихъ, братъ, какъ ты, поддѣпляли не разъ водяные.»

Читая сію идиллію, не скажешь, что стихотворецъ *дразнитъ* рыбаковъ испорченнымъ ихъ языкомъ. Напротивъ, онъ подслушалъ ихъ разговоръ и передалъ намъ, какъ долженъ передавать поэтъ. Въ стихахъ, гдѣ приводятся рѣчи простонародныя, есть свои красоты. Грубыя, низкія выраженія столь же противны въ идилліи, какъ и высокопарныя. На картинѣ, гдѣ изображенъ сельскій видъ, не должны встрѣчаться *низкія* явленія. Но также было бы смѣшно, еслибы увидѣли тамъ какого-нибудь пастуха въ модномъ фракѣ. Вотъ разговоръ старика съ товарищемъ въ первой части идилліи. По этому отрывку можно будетъ лучше судить о томъ, какъ простота слога идилліи удерживаетъ въ себѣ всю прелесть поэзіи.

С Т А Р.

Любезный товарищъ, вѣдь пѣснями рыбы не ловятъ.
 Ты сладко играешь, и мнѣ твои пѣсни отрадны;
 Но, вижу, ты часто работу мѣняешь на пѣсни;
 Поешь ты до птицъ; для свирѣли и сонъ забываешь.
 Охота другая неволя; но молвлю я слово:
 Нашъ неводъ изорванъ и верша твоя не въ исправѣ.
 Не пѣснями ль, милый, ты здѣсь затѣваешь кормиться?
 Ты съ голоду сгибнешь, иль съ сумкой воротиться къ дому.

М Л А Д.

Не сгибну, любезный! Насъ пѣсни до бѣды не доводятъ;
 И дѣдъ мой любилъ ихъ.

С Т А Р.

Пастухъ горемычный ¹⁾,
 Что дѣтямъ оставилъ онъ?

М Л А Д.

Доброе имя.

С Т А Р.

И бѣдность.
 Отецъ твой рыбакъ и дѣтей бы не въ скудѣ оставилъ,
 Когда бъ не пришли на семью его черные годы:
 Пожаръ за пожаромъ его разорилъ до основы.

М Л А Д.

А кто же помогъ намъ? И кто на дорогу снабдилъ насъ,
 Отдавши послѣднее? Дѣдъ мой, пастухъ горемычный.
 Онъ, онъ подарилъ мнѣ и эту пастушью цѣвницу:
 Онъ къ пѣснямъ меня заохотилъ.

¹⁾ Четырехстопный стихъ. Вѣрно пропускъ наборщика. П. П.

С Т А Р .

Такъ что же товарищъ?

Знать, хочешь ты кинуть наслѣдственный промыслъ отцовскій?
 Но промыслъ рыбацій есть промыслъ и чистый и честный:
 Рыбакъ не губитель: своей онъ руки не кровавить;
 Рыбакъ не обманщикъ: товаръ продаетъ не поддѣльный.
 Снѣтъ промысломъ честнымъ отцы наши хлѣбъ добывали.
 Знать, другъ мой любезный, тяжелъ тебѣ трудъ рыболова?
 Такъ лучше бъ съ свирѣлью остался ты дома, при стадѣ.
 Тамъ ясное небо, тамъ ясныя души, и пѣсни
 Тамъ милы людямъ; а здѣсь, братъ, и люди, какъ небо,
 Суровы! здѣсь хлѣба не выпоешь, выплачешь легче.
 Опомнись, землякъ; что скажетъ и мать, какъ услышитъ?

М Л А Д .

Услышитъ, любезный, о мнѣ она добрыя вѣсти;
 А ты понапрасну меня не кори; обижаешь.
 Рыбацій я промыслъ люблю и его не чуждаюсь;
 Быть можетъ, лѣнивъ, а больше того безталантивъ;
 Но справлюсь, товарищъ! Сулить рыболовъ мнѣ приморскій
 Клубъ нитокъ и вершу за выучку пѣсней свирѣльныхъ.
 Вотъ, видишь ты, пѣсни любятъ и здѣшніе люди;
 Ихъ слушаютъ часто, на шлюпкахъ по взморью гуляя,
 Боляре градскіе; ихъ любятъ всѣ добрые люди.
 Я помню изъ дѣтства, какъ въ нашемъ селеніи старецъ,
 Захожій слѣпецъ, наигрывалъ пѣсни на струнахъ
 Про старыя войны, про воиновъ русскихъ могучихъ.
 Мы всѣ, ребятишки, какъ вкопаны въ землю стояли;
 А дѣдъ мой старикъ, опершись на ладонь, приунывно
 На лавкѣ сидѣлъ, и изъ глазъ его капали слезы.
 О, кто бы меня изучилъ сладкогласнымъ тѣмъ пѣснямъ,
 Тому бъ я отдалъ изъ счастливейшихъ полную тоню!
 Вонъ тамъ, на Невѣ, подъ высокимъ теремомъ свѣтлымъ,

Изъ камня гдѣ львы у порога стоятъ, какъ живые,
 Подъ теремомъ тѣмъ обитаетъ Боляринъ великій,
 Уже престарѣлый; но, знать, въ немъ душа молодая.
 Подъ теремомъ тѣмъ, ты слыхалъ ли, какъ въ лѣтнія ночи
 И струны рокочутъ и вѣщіе носятъ гласы?
 Знать, старцы слѣпые болярина пѣснями тѣшатъ.
 Землякъ, и свирѣль тамъ слышна: соловьемъ распѣваетъ!
 Всю душу проходить, какъ трель поведетъ и зальется!
 Ты видишь, землякъ, и боляре разумные любятъ
 Свирѣль. Не хули же моей ты сердечной забавы.
 Люблю свое ремесло, но и пѣсни люблю я;
 А дѣдъ мой говаривалъ: что въ кого Богъ поселяетъ,
 То вѣрно не къ худу. И что же въ пѣсняхъ худого?
 Мнѣ сладко, мнѣ весело, радостно — словно я въ небѣ —
 Когда на свирѣли играю! Да самъ ты, товарищъ,
 Ты самъ, какъ пою я про сторону нашу родную,
 Про рѣки знакомыя, гдѣ мы училися ловлѣ,
 Про доли зеленые, гдѣ мы рѣзвились молодые,
 За чѣмъ ты, любезный, глаза закрываешь рукою?
 Да ты же меня и коришь и сумою стращаешь!
 Мнѣ бѣдность знакома изъ дѣтства: ея не боюсь.
 Поколѣ жъ есть руки, я ихъ не простѣу за подачей.

Кромѣ тѣхъ совершенствъ, которыя происходятъ отъ удачнаго выбора дѣйствія, отъ вѣрности характеровъ, отъ естественности и красоты выраженій, эта идиллія отличается самою счастливою обрисовкою мѣстности. Стихотворецъ не доволенъ былъ тѣмъ, чтобы познакомить васъ съ окрестностями этого острова; онъ выбралъ прекраснѣйшее время года, въ которое нашъ сѣверъ можетъ возбуждать зависть въ полуденныхъ народахъ. Кто изъ петербургскихъ жителей не плѣнялся красотою ясныхъ ночей майскихъ? Какой итальянецъ не пожелалъ бы перенести этихъ ночей подъ сладостное небо своей прелестной Авзоніи? Посмотримъ, какъ стихотворецъ изобразилъ это время.

(Начало второй части идилліи.)

Уже надъ Невою сіяетъ беззвойное солнце;
Уже вечерѣетъ; а рыбака нѣтъ молодого.
Вотъ солнце зашло; загорѣлся безоблачный западъ;
Съ пылающимъ небомъ слѣясь, загорѣлося море,
И пурпуръ и золото залило рощи и дома.
Шпигъ тверди Петровой, возвышенный, вспыхнулъ надъ градомъ,
Какъ огненный столпъ на лазури небесной играя.
Угасъ онъ; но пурпуръ не гаснетъ на западномъ небѣ;
Вотъ ночь; но не меркнуть златистыя полосы облакъ.
Безъ звѣздъ и безъ мѣсяца вся озаряется дальность;
На взморѣ далеко сребристыя видны вѣтрила
Чуть видныхъ судовъ, какъ по синему небу плывущихъ.
Сіянемъ безсумрачнымъ небо ночное сіяетъ,
И пурпуръ заката сливается съ златомъ востока,
Какъ будто денница за вечеромъ слѣдомъ выводитъ
Румяное утро. — Была то година златая,
Какъ лѣтніе дни похищаютъ владычество ночи;
Какъ взоръ иноземца на сѣверномъ небѣ плѣняетъ
Сліянье волшебное тѣни и сладкаго свѣта,
Какимъ никогда не украшено небо полудня;
Та ясность, подобная прелестямъ сѣверной дѣвы,
Которой глаза голубые и алыя щеки
Едва отѣняются русыми локонами волнами.
Тогда надъ Невой и надъ пышнымъ Петрополемъ видятъ
Безъ сумрака вечеръ и быстрыя ночи безъ тѣни!
Тогда Филомела полночныя пѣсни лишь кончитъ,
И пѣсни заводитъ, привѣтствуя день восходящій.
Но поздно; повѣяла свѣжесть; на Невскія тундры
Роса опустилась; а рыбака нѣтъ молодого.
Вотъ полночь; шумѣвшая вечеромъ тысячью весель
Нева ни колыхнетъ; разѣхались гости градскіе.
Ни гласа на брегахъ, ни зыби на влагахъ, все тихо;

Лишь изрѣдка гуль онъ мостовъ пробѣжить надъ водою;
 Лишь крикъ протяженный изъ дальней промчится деревни,
 Гдѣ въ ночь откликается ратная стража со стражей.
 Все спитъ: надъ селомъ не видать ни одинаго дыма.
 Огонь лишь дымится предъ кущею рыбака старца.

Красоты этой картины по справедливости могутъ называться нервокласными красотами поэзіи. Стихотворецъ такъ вѣрно слѣдуетъ за своимъ предметомъ, что читатель ни одного явленія вечера въ описываемомъ мѣстѣ прибавить не можетъ. Полнота сего описанія невольно напоминаетъ намъ вѣрные списки съ природы древнихъ поэтовъ. Они изучались описаніямъ природы, разсматривая ее, а не полагались на живость одного воображенія. Приведемъ еще одно описаніе. Оно совсѣмъ въ другомъ родѣ. Стихотворецъ заставляетъ молодого рыбака рассказывать, какъ онъ подходилъ и какъ наконецъ вступилъ въ домъ своего благодѣтеля — вельможи. Любители музъ, по самому простому рассказу рыбака, вѣрно узнаютъ того незабвеннаго человѣка, который, послѣ Шувалова, больше всѣхъ имѣлъ право на имя русскаго Мецената.

Боялся, товарищъ! Въ груди моей дрогнуло сердце;
 Какъ вотъ и боляринъ изъ теремныхъ оконъ кристальныхъ
 Свой ласковый голосъ мнѣ подалъ; и пролилъ онъ въ душу
 Веселость и смѣлость! Вступилъ я въ хоромы; но странно
 Мнѣ стало опять, какъ я началъ итти по хоромамъ.
 Со стѣнъ ихъ лики глядятъ на тебя какъ живые!
 Изъ мрамора дѣвы, прелестныя, только не дышатъ!
 Но диву я дался, увидѣвши теремъ высокій:
 Чудесный, прозрачный! Какъ въ сказкѣ, землякъ, говорится:
 Что на небѣ звѣзды, и въ теремѣ звѣзды; и мѣсяцъ
 И вся въ терему красота поднебесная видна!
 Въ немъ старецъ боляринъ сидѣлъ сребровласый въ семействѣ
 Цвѣтущихъ дѣтей, средь бояръ и вельможъ именитыхъ.
 Смутился я, другъ; у порога стоялъ полумертвый;

Но ожило сердце, забилось весельемъ, и слезы
 Изъ глазъ у меня проступили, какъ добрый бояринъ
 Привѣтно взглянулъ на меня и ласково молвилъ:
 «Люблю я невинныхъ сердецъ вдохновенья простыхъ;
 Люблю я свирѣльныя пѣсни, а ты ихъ пріятно играешь.
 Не разъ и ко мнѣ доходили ихъ сладкіе звуки.
 Давно я желалъ насладиться твоею свирѣлью;
 Давно приготовилъ награду, достойную пѣсней:
 Тебя подарю я прекрасной свирѣлью изъ пальмы.
 Сыграй намъ, о рыбарь, пріятную, сельскую пѣсню!»

За чѣмъ ты, товарищъ, подъ теремомъ не былъ со мною?
 Напомнилъ бы ты мнѣ, какія я пѣсни играю:
 Отъ радости всѣ позабылъ я; стоялъ безотвѣтный;
 Но очи лишь подвигалъ и взоромъ съ бояриномъ встрѣлся,
 Безвѣстная, другъ, обняла меня дивная сила!
 Взыгралъ я, и пѣснь разлилась по зеленому саду!

Въ этомъ отрывкѣ одно только слово, кажется, не хорошо, т. е. глаголъ: *встрѣлся*, вмѣсто *встрѣтился*. Хотя въ просторѣчій говорятъ такимъ образомъ, но стихотворецъ, для изображенія простонародныхъ разговоровъ, не долженъ придерживаться и ошибокъ ихъ въ языкѣ, который у него долженъ быть только простъ, а не испорченъ. Въ послѣднемъ случаѣ безчисленное множество испорченныхъ словъ получило бы право гражданства въ нашей литературѣ.

Что остается особеннаго въ душѣ Русскаго, по прочтеніи сей идилліи? Она облагораживаетъ нечувствительно въ глазахъ нашихъ такихъ людей, на которыхъ мы часто, по странной привычкѣ, смотрѣли съ пренебреженіемъ. Встрѣтившійся рыбакъ теперь можетъ намъ напомнить сихъ рыбаковъ и нарисовать воображенію прекрасное происшествіе изъ ихъ жизни. Мѣста, на которыхъ описано дѣйствіе, получаютъ для насъ новую пріятность. Можно ручаться, что многіе изъ любителей поэзіи съ любопытствомъ посмотрятъ на этотъ островъ и повѣрятъ описанія поэта

съ самою природою. Лѣтнія ночи будутъ приводить на память эту удивительную ночь, которая вѣрно никогда не выйдетъ изъ воображенія чувствительнаго человѣка. Дача вельможи, противъ пристанища рыбаковъ,

Изъ камня гдѣ львы у порога стоятъ, какъ живые,

сдѣлается любимымъ предметомъ, на который съ отрадою будетъ обращаться взглядъ молодого художника; онъ, ходя по ней, станетъ искать слѣдовъ того, чей *ласковый голосъ промилъ въ душу рыбака веселость и смѣлость*. Такимъ образомъ народная поэзія, обольщая насъ тѣмъ, на что мы прежде смотрѣли хладнокровно, сливается съ нашею жизнію, и не только наше отечество, но и насъ дѣлаетъ самымъ себѣ любезнѣе. Пусть представляютъ намъ подобное происшествіе на берегахъ Иллиса. Тамъ роскошнѣе природа; образъ жизни плѣнительнѣе; люди чувствами богаче: но удовольствіе наше не будетъ отъ того живѣе. Мы прочли бы эту идиллію, позавидовали бы сердечно странѣ, въ которой есть такіе рыбаки; но никогда бы не могли ихъ сдѣлать мечтательными своими согражданами, — между тѣмъ, какъ народная идиллія съ каждымъ лѣтомъ, съ каждою прогулкою будетъ возобновляться въ нашей памяти. Пожелаемъ, чтобы въ такомъ родѣ мы со временемъ могли составить хоть одну книжку. Она утѣшила бы насъ въ потерѣ небывалаго золотого вѣка, и увѣрила бы всѣхъ, что Аполлонъ и сѣверныхъ пастуховъ можетъ научить своимъ сладостнымъ пѣснямъ.

Можетъ-быть, найдутся такіе *любители поэзіи*, которые пожалѣютъ, что это сочиненіе не *скрашено* рифмами. Чѣмъ оправдать передъ ними недогадливаго сочинителя? Но, признаемся, мы сами очень поздно вздумали объ этомъ *недостаткѣ* его идилліи. Когда прекрасная мысль выражена гармоническимъ стихомъ; то, кажется, самое прихотливое, самое избалованное (если можно такъ сказать) ухо оставить требованія свои на рифму. Отчего у насъ многіе не любятъ стиховъ безъ рифмъ? Оттого, что много такимъ образомъ написано стиховъ вялыхъ, или неблагозвучныхъ.

Нѣжность слуха не есть удѣлъ cadaго поэта. Одинъ *ощутно* добирается до хорошаго стиха — и думаетъ, что написалъ его, когда, выразивъ мысль свою, сохранилъ въ своей строкѣ число стопъ: другой слышитъ малѣйшую невѣрность паденія звуковъ — и перемѣняетъ то, на чемъ бы первый охотно успокоился. Наши составные спондеи (происходящіе отъ двухъ односложныхъ словъ, или одного, поставленнаго подлѣ слова, начинающагося долгимъ слогомъ) и неизбѣжные наши пиррихи представляютъ самый опасный камень преткновенія для тѣхъ, которые не имѣютъ вѣрнаго уха. Не говоря уже о шестистопномъ и о пятистопномъ ямбическихъ стихахъ, что они бываютъ вялы, когда на пресѣченіи случится въ пиррихій; самый четырехстопный стихъ рѣдко бываетъ удаченъ для слуха, если въ немъ вторая стопа не имѣетъ на концѣ рѣшительнаго ударенія. Теперь трудно ли понять, отчего не нравятся многимъ стихи безъ рифмъ, когда ухо, не встрѣчая пріятнаго паденія звуковъ, лишается даже и послѣдней своей игрушки, т. е. конечнаго созвучія стиховъ?

Но въ трехсложныхъ стопахъ легче всего соблюсти вѣрность паденія звуковъ. Особенно въ нихъ пиррихи не могутъ затруднять поэта и всегда умѣщаются такъ, что стопа остается правильною и чистою. Посему намъ кажется, что дактили, анапесты и амфибрахи на нашемъ языкѣ всегда могутъ являться безъ рифмъ. Сколько превосходныхъ стихотвореній у Мерзлякова, Волкова, Востокова и Жуковскаго, которыя совершенно оправдываютъ наше мнѣніе! Не будемъ считать рифмы цѣпію таланта; истинный поэтъ ничѣмъ связанъ быть не можетъ въ языкѣ. Это доказалъ Батюшковъ, который очень мало писалъ безъ рифмъ, между тѣмъ у него нѣтъ ни одного стихотворенія, которое бы нельзя было назвать классическимъ. Мы лучше будемъ гордиться составомъ языка нашего, который даетъ намъ возможность приближаться къ свободѣ языковъ древнихъ и ставить нашу поэзію выше рифмованной прозы юго-западныхъ языковъ, жалкихъ дѣтей языка Виргилія и Горация.

Наконецъ, нельзя не согласиться, что пятистопные и шести-

стопные стихи, писанные трехсложными стопами, сдѣлались бы чрезвычайно однообразными, тяжелыми и даже скучными отъ рифмъ. Стихотворецъ тогда находился бы въ затруднительной обязанности оканчивать смыслъ почти каждой рѣчи въ одномъ стихѣ. Между тѣмъ, когда нѣтъ рифмы, онъ можетъ останавливать его и на половинѣ стиха, что въ разговорной особенно формѣ почти необходимо. Отъ этого происходитъ живость языка, разнообразіе стиховъ и легкость въ ихъ произношеніи.

И такъ сочинитель разсматриваемой нами идиліи очень хорошо поступилъ, употребивъ амфибрахическіе пятистопные стихи безъ рифмъ. Могутъ ли рифмы придать сколько-нибудь новой пріятности слѣдующимъ, на примѣръ, стихамъ?

«Онъ звуками сердца по свѣтлой Невѣ разливаясь,
Не разъ у гребцовъ останавливалъ шумныя весла;
Но въ сердцѣ невинномъ чудесъ имъ творимыхъ не вѣдалъ.»

Впрочемъ мы не ручаемся за вкусъ всѣхъ; не выдаемъ своего мнѣнія за непреложное: но тѣмъ не менѣе осмѣливаемся произнести оное чистосердечно.

ДРАМАТИЧЕСКОЕ ИСКУСТВО Г-ЖИ СЕМЕНОВОЙ ¹⁾.

1822.

Драматическое искусство у всѣхъ просвѣщенныхъ народовъ наравнѣ уважалось съ другими изящными искусствами. Великіе таланты актёровъ доставляли имъ такую же славу, какую пріобрѣтали стихотворцы, живописцы, скульпторы и музыканты. И не удивительно. Чтобы достигнуть истиннаго совершенства въ произведеніи, каждое изящное искусство требуетъ таланта и вкуса, которые ознаменовываются своею творческою силою.

¹⁾ Изъ *Трудовъ Вольнаго Общ. люб. росс. словесн.* 1822 г. XVIII.

Между тѣмъ, надобно согласиться, что въ драматическомъ искусствѣ, на сторонѣ художника, меньше существенныхъ выгодъ, нежели въ другомъ искусствѣ. — Что составляетъ истинную награду художниковъ, единственную цѣль трудовъ ихъ? Утѣшительная надежда—передать всю душу свою потомству и послѣ смерти жить своимъ твореніемъ. Мы здѣсь говоримъ о талантахъ истинныхъ, или великихъ: слѣдственно не принимаемъ въ расчетъ шумныхъ при жизни рукоплесканій, а еще меньше того выгоды прибыли. Кто читалъ жизнеописанія славнѣйшихъ художниковъ, тотъ знаетъ, что они часто, умирая съ голода, или преслѣдуемые посмѣяніемъ завистниковъ, единственно думали о своемъ искусствѣ. Скульпторъ или поэтъ, музыкантъ или живописецъ—каждый передаетъ потомству памятникъ своего генія, который за него будетъ говорить и оживлять славу его. Сверхъ того, при жизни, онъ не имѣетъ нужды подвергать собственное лицо свое суду современниковъ. Онъ можетъ, сокрытый неизвѣстностью, вмѣшаться въ толпу людей, рассматривающихъ его произведеніе, согрѣвать душу похвалами, если заслуживаетъ ихъ — и не предавать лично себя оскорбленіямъ, еслибы ими стали нечаянно преслѣдовать труды его.

Но труды актера чрезвычайно тяжелы и вмѣстѣ неблагоприятны. Его искусство начинается подчиненностію вкусу, а часто и прихоти драматическаго поэта. Часто бываетъ, что сила собственного его генія побѣждается ошибкою ума, приготовляющаго для него театральное лицо. Не случается ли видѣть, что актеръ долженъ смотрѣть на убійственное хладнокровіе публики къ своей игрѣ, между тѣмъ какъ неудача его есть только слѣдствіе нерасчетливости автора? Актеръ себя лично отдаетъ на судъ зрителей, какъ произведеніе своего искусства. Строгіе судьи, не щадя его произведенія, въ глаза оскорбляютъ его самого, забывая, что по мѣрѣ ихъ неудовольствія, выражаемаго даже безмолвіемъ, произведеніе художника должно становиться хуже и хуже, какъ гаснетъ лампада, задуваемая вѣтромъ. Наконецъ самый превосходный актёръ, ежедневно оглушаемый громкими рукоплесканіями, ничего

не оставляет послѣ себя, кромѣ имени. Даже при жизни, съ окончаніемъ представленія, плодъ его усилія, соображенія и рѣшимости мгновенно разрушается. Онъ сообщить на нѣсколько дней пріятныя душѣ ощущенія, которыхъ однакоже она не въ силахъ чувственно передавать постороннимъ, не бывшимъ свидѣтелями его торжества.

Изъ этого можно вывести слѣдствіе очень важное для драматическаго искусства. Кто побѣждаетъ всѣ затрудненія, соединенныя съ его занятіемъ; кто, изъ любви къ нему, забываетъ, что онъ вполнѣ не будетъ награжденъ за свои величайшія усилія; кто можетъ удовольствоваться однимъ наслажденіемъ, что онъ достигнулъ совершенства въ своемъ искусствѣ: тотъ рѣшительно можетъ требовать названія истиннаго художника и славы его. Во всѣхъ изящныхъ искусствахъ посредственное и дурное значать одно и то же; но въ драматическомъ искусствѣ это еще вѣрнѣе. Здѣсь наблюдателю всего легче опредѣлить: истинный ли талантъ онъ разсматриваетъ, или поддѣльный. А чѣмъ меньше затрудненія разборчивости суди, тѣмъ вѣрнѣе выигрышь правой стороны. Однимъ словомъ: едва ли былъ примѣръ, чтобы ложный талантъ между актерами предпочтенъ былъ истинному, даже на короткое время, что впрочемъ, какъ извѣстно изъ исторіи литературы, случилось между поэтами.

Но что показываетъ величіе таланта въ драматическомъ искусствѣ? Правильное и непрерывное созиданіе всѣхъ представленій, которыя актеръ на себя принимаетъ, удовлетворительный отчетъ во всѣхъ видоизмѣненіяхъ своего искусства и наконецъ полное въ себѣ вмѣщеніе всей души представляемаго лица. Создать представленіе значить сообщить представляемому лицу силою ума своего рѣшительную и вмѣстѣ истинно - прекрасную форму, на которой бы не было слѣдовъ рабской переимчивости, или дѣтскаго подражанія. Эта форма, какъ неподдѣльное лицо, не должна измѣняться въ продолженіе всего представленія. Она должна говорить за актера, какія средства избралъ онъ для достиженія своей цѣли и счастливъ ли онъ въ своемъ изобрѣтеніи.

Дать отчетъ въ своемъ искусствѣ можно только тогда, когда весь ходъ представленія есть слѣдствіе соображенія строгаго и вѣрнаго. На немъ актеръ долженъ основать не только свои успѣхи, но даже ошибки (если онѣ въ произведеніяхъ человѣческихъ неизбежны), а зритель долженъ изъ него вывести всѣ получаемыя имъ впечатлѣнія; потому что у славныхъ художниковъ ничто не бываетъ дѣломъ случая, а все послѣдствіемъ главной рѣшимости. Въ изящномъ искусствѣ справедливѣе простить умышленную ошибку, принятую художникомъ за совершенство, нежели удивляться случайной красотѣ. Первую легко отгадать и изъяснить, по сравненію съ цѣлымъ произведеніемъ, а послѣдняя сама будетъ говорить противъ художника. Чтобы актеру вмѣстить въ себя душу представляемаго лица, для сего ему надобно совсѣмъ на время отречься самого себя, и такъ очаровать зрителей, чтобы они забыли его настоящее лицо, а видѣли бы въ немъ того, кого онъ представляетъ. Душа управляетъ нашими движеніями, наводитъ перемѣны на лицо; она единственная причина всѣхъ нашихъ разговоровъ и самаго даже молчанія — и потому безпрестанно въ насъ изъявляется. Какой подвигъ для художника, въ продолженіи нѣсколькихъ часовъ, въ бореніи сильной страсти принятой имъ души съ его собственною душою, часто увлекаемою совсѣмъ противнымъ чувствомъ, не измѣнить требованіямъ искусства, не отступить отъ своей роли ни однимъ движеніемъ, ни однимъ словомъ! Но ему надобно все побѣдить. Въ противномъ случаѣ онъ можетъ все потерять однимъ неумѣстнымъ наклоненіемъ головы, однимъ ослабленнымъ или усиленнымъ звукомъ своего голоса; потому что тысячи глазъ не сходятъ съ него съ появленія его на сцену и до послѣдняго шага.

Условія трудныя. Однакожъ они возможны для исполненія. Одушевленіе или вдохновеніе всегда производитъ необыкновенное. Актеръ съ истиннымъ талантомъ, во время представленія, столько же чуждъ бываетъ самого себя, сколько поэтъ въ своемъ восторгѣ. И то, что хладнокровный зритель приписываетъ удивительному усилю актера, есть только обыкновенное послѣдствіе

того состоянія, въ какомъ находится душа его, обнявшая прекрасный предметъ свой. По крайней мѣрѣ мы не умѣли иначе изъяснить игры г-жи Семеновой ¹⁾, которая подала намъ случай бросить здѣсь нѣсколько мыслей о драматическомъ искусствѣ. Между тѣмъ онѣ могутъ оправдывать насъ, если нѣкоторые читатели не захотятъ согласиться съ нами въ сужденіи на счетъ драматическаго искусства сей превосходной актрисы.

Мы полагаемъ, что г-жа Семенова первая на нашемъ театрѣ изъ актрисъ достигнула возможнаго совершенства въ своемъ искусствѣ. Не говоря о Дмитревскомъ, Померанцовѣ и Крутицкомъ, прежде были актеры и актрисы съ счастливыми дарованіями, съ навыкомъ, чрезвычайно удачнымъ, даже съ успѣхами, по обыкновенному понятію, блистательными: но въ нихъ недоставало изученія своего занятія — а оно только и можетъ непрерывно вести художника къ дальнѣйшимъ открытіямъ и познаніямъ всѣхъ тайнъ искусства. Таланты безъ сего руководителя легко успокоиваются на первыхъ удачахъ, которыя удовлетворяютъ невзыскательнымъ требованіямъ благодарной публики. Мы привести можемъ въ примѣръ на этотъ случай одного *Яковлева*, потому что память его живѣе прочихъ сохраняется въ наше время.

Въ представленіяхъ г-жи Семеновой съ каждымъ разомъ примѣчаются новыя покушенія, новыя усилія къ дальнѣйшему усовершенствованію ея ролей. Болѣе десяти лѣтъ назадъ тому она была уже лучшая наша трагическая актриса. Но какіе съ тѣхъ поръ она сдѣлала новыя успѣхи! Лестивыя похвалы не усыпили ея: вѣрное доказательство истиннаго таланта. Въ *Клитемнестрѣ* и *Медѣ* всѣ увидѣли вновь созданныя ею лица.

¹⁾ 10 апрѣля 1822 г., въ трагедіи: *Ифигенія въ Авлидѣ*, и 14 того же мѣсяца, въ трагедіи: *Медя. П. II.* — Рѣчь идетъ о Екатеринѣ Семеновнѣ Семеновой, впоследствии княгинѣ Гагариной по мужу: князь Иванъ Алексѣевичъ, д. тайн. сов. и шталмейстеръ, род. 1771, ум. 1832. Въ первомъ бракѣ онъ былъ женатъ на Елисаветѣ Ивановнѣ Балабной; во второмъ на Семеновой: она род. въ 1786, ум. 2 марта 1849. (*Росс. Родосл. книга I, 245 и 246*).

Мы не хотимъ слѣдовать за ходомъ ея декламаціи, чтобы указывать, какіе стихи она лучше другихъ произносила; мы тѣмъ обязались бы доказывать, что она прочіе стихи произнесла или слабо, или дурно: но въ такомъ случаѣ она бы не заслуживала отъ критики больше обыкновенныхъ отзыовъ, что играла во многихъ мѣстахъ очень удачно. Между тѣмъ ея представленія подаютъ предметъ для разбора гораздо занимательнѣйшій: потому что она обняла свое искусство полною душою.

Расинъ въ *Ифигеніи* лицомъ Клитемнестры хотѣлъ нарисовать, въ какихъ видахъ можетъ изображаться нѣжность матери. Но для этого онъ избралъ лицо, въ которомъ, какъ извѣстно, страсти были необыкновенныя. Другая мать, какъ слабая женщина, одними воплями не могла бы приводить въ сильное движеніе сердца зрителей. Клитемнестра то вооружается благородною гордостію противъ измѣны любви и дружбы, то мучится отъ недовѣрчивости къ супругу и осыпаетъ его укоризнами въ ненасытимомъ честолюбіи, то произноситъ отчаянныя хулы на мстительныхъ боговъ. Отъ важности, приличной ея сану, она переходитъ вдругъ къ самымъ унижительнымъ просьбамъ: однимъ словомъ—вездѣ царица и мать, вездѣ Клитемнестра, лишающаяся дочери, единственнаго своего утѣшенія.

Г-жа Семенова нигдѣ не измѣнила лицу Клитемнестры. Мало сказать, что она совершенно поняла свою ролю; она вмѣстила въ своемъ тѣлѣ всю душу несчастной царицы и дѣйствовала за нее такъ, какъ должна бы дѣйствовать предъ нами сама Клитемнестра. Ей легче всего было впасть въ ложную плаксивость. Тогда бы характеръ Клитемнестры былъ потерянъ. Она бы унизилась до обыкновенной женщины. Верхъ искусства г-жи Семеновой былъ именно въ томъ, что въ самой сильной горести она сохранила лицо этой нылкой и гордой женщины. Она оправдала всѣ преданія исторіи и чувства Расина. Но это особенно было выполнено ею въ первомъ представленіи нынѣшняго года ¹⁾.

¹⁾ 16 января 1822 г.

Соч. Плетнева.

Лицо Медея ничего не имѣетъ общаго съ лицомъ Клитемнестры. Это женщина, въ которой любовь, мщеніе, чувствительность и жестокосердіе — всѣ страсти выше человѣческихъ. Ей за такія пожертвованія, какихъ дороже невозможно представить, платятъ измѣною, самою гнусною неблагодарностію и постыднымъ униженіемъ. Она готовитъ мечь, достойную своего оскорбленія. Ей легко наказать измѣнника смертію своей соперницы: но это слишкомъ малое вознагражденіе за тѣ муки, которыя она чувствуетъ. Она рѣшается усилить свое страданіе, лишь бы довершить страданія гнуснаго измѣнника: она приносить въ жертву мщению своихъ дѣтей.

До сихъ поръ, какъ у насъ на французской сценѣ, такъ и въ Парижѣ, актрисы старались въ роли Медея только о томъ, чтобы въ полной мѣрѣ показать въ ней зрителямъ Фурію ¹⁾. Но г-жа Семенова первая образовала изъ нея совершенно трагическое лицо. Бѣшенство и злоба, безъ другихъ благородныхъ движеній сердца, не могутъ никогда быть предметомъ трагедіи, потому что онѣ возбуждаютъ одинъ холодный ужасъ, не приводя въ умиленіе зрителей, что совсѣмъ противно цѣли трагедіи. Г-жа Семенова, постигнувъ свое искусство, рѣшилась совсѣмъ преобразовать лицо Медея. Это не произвольный поступокъ; онъ основанъ на глубокомъ познаніи человѣческаго сердца. Чѣмъ сильнѣе въ комъ характеръ, тѣмъ живѣе дѣйствуютъ и всѣ страсти. Она сообщила Медеѣ чувствительность, равную ея мести. Мысль — погубить дѣтей — терзаетъ ее, какъ самую нѣжнѣйшую мать. Въ ней уже не было ничего общаго съ Фуріями: зрители были свидѣтелями трогательнаго явленія. Медея была жалкимъ существомъ: на нее смотря, почти всѣ плакали въ продолженіе цѣлаго четвертаго дѣйствія. Вотъ въ чемъ г-жа Семенова превзошла всѣхъ извѣстнѣйшихъ актрисъ въ семъ родѣ. Представленіе Медея было торжествомъ ея таланта и показало, что она умѣетъ

¹⁾ Къ усиленію сего ошибочнаго въ нихъ мнѣнія преимущественно способствовала французская актриса Рокуръ, которая въ роли Медея почиталась единственною. П. П.

созидать для себя роли и понимать, въ чемъ состоитъ обладаніе своимъ искусствомъ. Такъ умѣлъ Расинъ изъ преступной Федры сдѣлать самое интересное, самое трогательное лицо.

Мы до сихъ поръ говорили о внутреннемъ совершенствѣ драматическаго искусства г-жи Семеновой, — слѣдовательно о самомъ важнѣйшемъ. Но для полнаго его обозрѣнія нельзя не упомянуть о голосѣ и движеніяхъ ея, какъ наружной части драматическаго искусства.

Не всѣ страсти имѣють одинаковый голосъ. Глубокое отчаяніе говорить едва слышимо и прерывисто. Сердечная жалость вопить. Негодованіе изливается потокомъ словъ. Въ искусствѣ надобно слѣдить природу. Г-жа Семенова постигнула это различіе голоса въ страстяхъ. Она такъ владѣетъ своимъ органомъ звука, что нельзя безъ удивленія слушать, какъ быстро и свободно переходитъ она отъ дѣйствія одной страсти къ другой. Она въ точности измѣряетъ молчаніемъ тотъ переломъ, который обыкновенно происходитъ въ сердцѣ при рожденіи новаго чувства. Прежде начала рѣчей ея зрители могутъ угадывать, что въ душѣ ея начинается приливъ новыхъ ощущеній.

Голосъ страстей сопровождается движеніями рукъ. Сія движенія можно назвать дополнительнымъ языкомъ сердца. Мы, какъ бы не довѣряя дѣйствительности звуковъ, стараемся ими чувственнѣе представить условный способъ выраженія мыслей, т. е. слова. Часто движенія рукъ становятся для зрителей непріятными и утомительными, когда они однообразны. Это происходитъ отъ того, что актеры учатся имъ наглядкою, а не соображеніемъ съ природою, точно такъ, какъ и звуки голоса всѣхъ страстей у многихъ изъ нихъ бываютъ большею частію одинаково сильны. Г-жа Семенова и въ семъ случаѣ показала, что она проникнула во всѣ тайны своего искусства. Она дѣйствовала своими руками, какъ въ ней дѣйствовали страсти, а не двигала только ихъ по ограниченнымъ правиламъ мимики. Въ истинномъ одушевленіи она была вездѣ свободна.

Впрочемъ эта часть искусства не доведена ею до послѣдней степени совершенства, и мы желали бы увидѣть новые, дальнѣйшіе успѣхи въ ея жестахъ.

Критика, останавливаясь на разсматриваніи совершенствъ произведенія художника, съ любопытствомъ иногда предается размышленію: «какими средствами дошелъ художникъ до сей степени совершенства?» Въ отношеніи къ г-жѣ Семеновой просвѣщенный наблюдатель раздробить сей вопросъ на слѣдующіе: «Какими способами она совершенно вышла изъ ряду театральныхъ артистовъ нашего времени? Отчего ея чтеніе, игра, самая мимика не имѣють ничего общаго съ другими нашими актерами, какъ прежними такъ и нынѣшними?».

Тѣ, у которыхъ на каждый вопросъ всегда готовъ отвѣтъ, обыкновенно говорятъ, что г-жа Семенова подражаетъ актрисѣ Жоржъ. Но отвѣтъ сей не удовлетворитъ мыслящаго человѣка. Жоржъ болѣе десяти лѣтъ уже мы не видимъ, а искусство г-жи Семеновой именно въ теченіе послѣднихъ десяти лѣтъ возвысилось до блистательныхъ своихъ успѣховъ. Напримѣръ, мы уже замѣтили выше, что роль Медеи создана собственно ею. И какія глубокія трагическія соображенія въ ней открываются, соображенія, основанныя на совершенномъ понятіи характера, страстей и, если можно такъ сказать, фizioноміи лица, ея представляемаго! Вся теорія со всѣми таинствами искусства, кажется, раскрыта для г-жи Семеновой. Но кто же ввелъ ее въ святилище сихъ таинствъ, куда обыкновенно вводятъ и самыхъ геніевъ высокая образованность и обширныя познанія? Какъ могло усовершенствоваться дарованіе тамъ, гдѣ при воспитаніи нѣтъ такихъ наставниковъ, которые бы захотѣли приписать это себѣ, гдѣ не было образцовъ при началѣ поприща, гдѣ нѣтъ ни изданныхъ теорій сего искусства, ни критикъ, его наставляющихъ? Всѣ сіи вопросы должны бы остаться безъ отвѣта, и успѣхи г-жи Семеновой конечно были бы загадкою для просвѣщеннаго наблюдателя, еслибъ не извѣстно уже было, что она почти съ начала

пути своего руководима такимъ литераторомъ ¹⁾, въ драматическомъ искусствѣ котораго никто бы не усумнился, если бы мы, не оскорбивъ скромности, могли произнести его имя. Этотъ примѣръ лучшимъ можно поставить доказательствомъ, что пока мы въ своихъ актерахъ и актрисахъ не будемъ видѣть людей самыхъ образованныхъ и вступившихъ въ союзъ съ просвѣщеннѣйшими людьми, до тѣхъ поръ у насъ драматическое искусство не возвысится до той степени совершенства, на которой оно стоитъ въ просвѣщеннѣйшихъ государствахъ Европы.

ДВА АНТОЛОГИЧЕСКІЯ СТИХОТВОРЕНІЯ ²⁾.

1822.

Антологическая поэзія составляетъ прекраснѣйшую часть поэзіи эпиграмматической, принимаемой въ томъ значеніи, какое давали ей древніе. «У нихъ (по словамъ издателей драгоценной на нашемъ языкѣ книжки: *О Греческой Антологіи* ³⁾) каждая небольшая пьеса, размѣромъ элегическимъ писанная, т. е. экзаметромъ и пентаметромъ, называлась эпиграммою. Ей все служить предметомъ: она то поучаетъ, то шутитъ, и почти всегда дышитъ любовію. Часто она не что иное, какъ мгновенная мысль, или быстрое чувство, рожденное красотою природы, или памятниками художества. Иногда греческая эпиграмма полна и совершенна: иногда небрежна и некончена . . . какъ звукъ, вдали исчезающій. Она почти никогда не заключается разительною, острою мыслию, и, чѣмъ древнѣе, тѣмъ проще. Этотъ родъ поэзіи украшалъ и пиры и гробницы. Напоминая о ничтожности мимолетной

¹⁾ Гнѣдичемъ.

²⁾ «Муза» Пушкина въ № 28 *Сына Отечества* на 1821 г. и «Къ уединенной красавицѣ» князя Вяземскаго въ № II *Властоупрежденію* на 1820 г. — Разборъ этотъ напечатанъ въ *Трудахъ Волезнаго Общества люб. рос. словесн.* 1822 г., XIX, 17.

³⁾ Небольшое сочиненіе С. С. Уварова, напечатанное въ 1820 г. въ весьма ограниченномъ числѣ экземпляровъ. Въ немъ стихи принадлежатъ Батюшкову, почему впоследствии и вся статья включена въ сочиненія этого писателя.

жизни, эпиграмма твердила: смертный, лови мигъ улетающій! Рѣзвилась съ Лансою — и, улыбаясь кротко и незлобно, слегка уязвляла невѣжество и глупость. Истинный Протей, она принимаетъ всѣ виды».

Но между всѣми эпиграмматическими стихотвореніями только тѣ должно включатьъ въ разрядъ антологическихъ, которыя отличаются прелестію мысли, нѣжностію чувства и совершеннѣйшею отдѣлкою стиховъ. Въ этомъ смыслѣ многіе писатели, выбравъ лучшія мѣста изъ древнихъ поэтовъ и прозаиковъ, называли ихъ антологіею, т. е. *собраніемъ цѣтовъ*.

Въ произведеніяхъ словесности каждаго народа антологическія стихотворенія должны особенное обращать на себя вниманіе мыслящей критики. «Если все (какъ замѣчено въ упомянутой нами книжкѣ), что означаетъ нравственное бытіе народа, имѣетъ право на наше любопытство: то антологія должна почитаться драгоценнѣйшимъ памятникомъ. Посредствомъ антологіи мы становимся современниками древнихъ; мы раздѣляемъ ихъ страсти; мы открываемъ даже слѣды тѣхъ быстрыхъ, мгновенныхъ впечатлѣній, которыя, какъ слѣды на песокъ въ развалинахъ Геркуланума, заставляютъ насъ забывать, что двѣ тысячи лѣтъ отдѣляютъ насъ отъ древнихъ. Посредствомъ антологіи участвуемъ въ празднествахъ, въ играхъ, слѣдуемъ за гражданами на площадь, въ театръ, во внутренность домовъ: однимъ словомъ, мы съ ними дышимъ, живемъ. Самая глубокая ученость едва ли можетъ составить изъ остатковъ Греціи слабое изображеніе гражданской жизни древнихъ. Здѣсь открывается намъ богатая и блистательная картина, представляющая въ цвѣтѣ жизни, въ полной юности, сей чудесный народъ, котораго благотворная природа надѣлила всѣми совершенствами ума, всѣми прелестями красоты и вкуса».

Такимъ образомъ антологическія стихотворенія, какъ неподдѣльный языкъ чувствованій, свидѣтельствующихъ о нравахъ, направленіи мыслей и другихъ безчисленныхъ оттѣнкахъ гражданственности народа, могутъ самымъ пріятнымъ образомъ занимать любопытство наблюдательнаго ума и жаднаго къ лучшимъ

удовольствіямъ вкуса. Какъ уцѣлѣвшіе отъ разрушительной руки времени памятники, они вѣрнѣе сказаній исторіи изображаютъ намъ характеръ собственно называемаго народа, часто смѣшиваемый съ характеромъ лицъ, только случайно приводившихъ въ движеніе этотъ народъ. Какъ послѣдняя степень совершенства языка, куда вкусъ не допускалъ ничего принужденнаго, изысканнаго и слабаго, они даютъ намъ точное понятіе, какія самыя пріятнѣйшія формы получать могъ сей языкъ.

Часто критика, по какому-то странному предубѣжденію, пропускаетъ безъ вниманія такъ называемыя мелкія стихотворенія. Она даже считаетъ ихъ пустою игрушкою поэтическаго таланта, подобно невѣжественнымъ книгопродавцамъ, которые по вѣсу бумаги оцѣниваютъ покупаемыя ими сочиненія.

Мы осмѣливаемся думать, что совершенство надобно оцѣнивать не по его объему, но по внутреннему достоинству. Въ глазахъ истиннаго художника легкій абрисъ человѣческой фигуры и большая картина Рафаэля равно драгоцѣнны. Онъ съ наслажденіемъ смотритъ на гениальное произведеніе — и вкусъ его не чувствуетъ потребности въ томъ, чтобы первая фигура сдѣлалась полнѣе. Вкусъ, т. е. умъ, воображеніе и чувствительность, одного ищеть: все ли выполнилъ талантъ, что хотѣлъ сдѣлать, и на томъ ли онъ остановился, что есть прекраснѣйшаго въ избранномъ имъ предметѣ?

Странно было бы утверждать, что для сочиненія прекрасной поэмы и антологическаго стихотворенія потребно равное усиліе генія. Разность видима: одна требуетъ обширнаго взгляда на предметъ, безчисленныхъ соображеній, продолжительнаго труда и рѣдкаго терпѣнія, другое минутнаго вдохновенія и счастливаго приема; но ни то, ни другое не будетъ совершеннымъ, если за нихъ примется не геній. *Отвага, рифмы, жаръ*, — какъ сказалъ прекрасно сатирикъ — запасъ пустой и сочиненіе:

«Пусть громко, высоко . . . а нѣтъ, не веселить.

«И сердца, такъ сказать, ни чуть не шевелить!» ¹⁾.

¹⁾ Чужой толкъ И. И. Дмитріева.

Слѣдовательно, въ общемъ отношеніи, большія и малыя сочиненія, ознаменованныя силою гевія, равны, потому что они показываютъ его жизнь и дѣятельность. Послѣ Анакреона, Катулла и Марціала много прошло времени: однакожъ ихъ имена и сочиненія ихъ, наравнѣ съ сочиненіями Омера и Виргилія, до насъ дошли, а сколько Мевіевъ и Бавіевъ забыто!

Судя по сему, мы надѣемся, что читатели наши не удивятся, почему намъ вздумалось обратить ихъ вниманіе на антологическія стихотворенія, которыя тяжелая кипа новыхъ журналовъ силится задавить, а спорныя критики о *тяжелыхъ* трудахъ думаютъ привести ихъ въ забвеніе. Посмотримъ каждое изъ нихъ порознь.

МУЗА.

Въ младенчествѣ моемъ она меня любила
И семиствольную цѣвницу мнѣ вручила. . .
Она внимала мнѣ съ улыбкой, и слегка
По звонкимъ скважинамъ пустого тростника
Уже наигрывалъ я слабыми перстами
И гимны важные, внушенные богами,
И пѣсни мирныя Фригійскихъ пастуховъ.
Съ утра до вечера, въ нѣмой тѣни дубовъ,
Прилежно я внималъ урокамъ дѣвы тайной —
И, радуя меня наградою случайной,
Откинувъ локоны отъ милаго чела,
Сама изъ рукъ моихъ свирѣль она брала:
Тростникъ былъ оживленъ божественнымъ дыханьемъ
И сердце наполнялъ святымъ очарованьемъ.

Каждый почти поэтъ писалъ что-нибудь въ честь своей Музы и старался изобразить первыя чувствованія поэтической своей жизни. Такъ напримѣръ Муравьевъ обращается въ своей *Музѣ*:

И мнѣ съ младенчества ты феею была!
Но, благосклоннѣе сначала,

Ты утро дней моихъ прилежнѣй посѣщала.
 Почтожь печальная разпространилась игла
 И ясный полдень мой своей покрыла тѣнью?
 Иль лавровъ по слѣдамъ твоимъ не соберу,
 И въ пѣсняхъ не пройду къ другому поколѣнью?
 Или я весь умру?

Батюшковъ, исполненный въ стихахъ своихъ движенія, силы и ясности (главныхъ достоинствъ стихотворнаго слога, по его же словамъ), въ стихотвореніи своемъ: *Бесѣдка Музъ* говорить:

Подъ тѣнію черемухи млечной
 И золотомъ блистающихъ акацій
 Спѣшу возстановить алтарь и Музъ и Грацій,
 Сопутницъ жизни молодой.
 Спѣшу принести цвѣты и ульевъ сотъ янтарный
 И нѣжны первенцы полей:
 Да будетъ сладокъ имъ сей даръ любви моей
 И гимнъ поэта благодарный!

Но, можно рѣшительно сказать, никому не приходило счастливѣе мысли сочинителя приведеннаго нами стихотворенія: *Муза*. Вымысль его имѣетъ необыкновенную прелесть простоты, естественности и поэзіи. Читая сіе стихотвореніе, не подумаешь, что сочинителю много стоило труда добратся до такой мысли: это свободное, живое и нѣжное воспомнаніе первыхъ минутъ, когда въ немъ началъ дѣйствовать геній поэзіи. Хоть сего стихотворенія исполненъ живости, разнообразія и легкости. Кажется, видишь отрока, избираемаго Музою, которая съ улыбкою подаетъ ему простую цѣвницу, прислушивается къ игрѣ его, и сама поправляетъ первые его опыты. Критики, изчисляя виды прекраснаго въ произведеніяхъ искусствъ, даютъ одному виду названіе *граціи*, разумѣя подъ симъ именемъ безыскусственную прелесть, ознаменованную какимъ-нибудь нечаяннымъ, простымъ, но прекрасно-легкимъ движеніемъ, или положеніемъ, или словомъ. Остроуміе,

глубокомысленность, сила, величіе и подобныя симъ совершенства въ произведеніи ни сколько не даютъ еще понятія о граціи. Она неожиданно является у какого-нибудь Лафонтена, Богдановича — и мы во всей прелести видимъ ее въ разсматриваемомъ нами стихотвореніи. Пусть стихотворецъ красивѣе представитъ свою Музу, дасть ей нарядъ драгоцѣннѣе; изберетъ мѣсто для свиданія съ нею роскошнѣе, нежели одна тѣнь дубовъ; тогда грація исчезнетъ, и мы, удивляясь его Музѣ, не будемъ столько плѣняться ею. Полнота звуковъ для взятой имъ мысли необыкновенная. Онъ въ четырнадцати стихахъ все заключилъ, чего можетъ требовать воображеніе и чувство. Нѣтъ ни одного слова лишняго, ни одного стиха невыдержаннаго, ни одной картины недодѣланной. Нужно ли прибавлять, что гармонія стиховъ въ семъ сочиненіи составляетъ пріятнѣйшую музыку для слуха? Выключая одного слова: цѣвницу мнѣ *сручила* ¹⁾, которое показалось намъ нѣсколько тяжело для антологическаго стихотворенія, какая вѣрность въ выраженіяхъ и свѣжесть въ подборѣ эпитетовъ, какъ напримѣръ въ слѣдующихъ стихахъ:

«По звонкимъ скважинамъ пустого тростника
Уже наигрывалъ я слабыми перстами
И гимны важные, внушенные богами,
И пѣсни мирныя фригійскихъ пастуховъ».

Наконецъ это стихотвореніе въ русской антологіи останется отпечаткомъ первыхъ картинъ природы, которыя питали юное воображеніе поэта. Читая оное, каждый почувствуетъ, что стихотворецъ увидѣлъ въ первый разъ свою Музу не въ блестящей столицѣ, не въ шумномъ кругу свѣта, но въ мирномъ, сельскомъ уединеніи, гдѣ по его собственнымъ словамъ:

¹⁾ Подобное выраженіе гораздо счастливѣе употребилъ Батюшковъ въ своей элегіи *На развалинахъ замка въ Швеціи*:

«Броню завѣтну, мечъ тяжелый
Онъ юношѣ *сручилъ* израненой рукой». П. П.

«Онъ пѣньемъ оглашалъ пріютъ забавъ и лѣни,
И Царскосельскія хранительныя сѣни» ¹⁾).

Разсмотримъ другое стихотвореніе ²⁾).

КЪ УЕДИНЕННОЙ КРАСАВИЦѢ.

Какъ роза свѣжая одна благоухаетъ
Въ угрюмой тишинѣ полуночныхъ степей;
Какъ пѣсню сладостной въ часъ утра оглашаетъ
Дубравы мертвыя пустынный соловей;
Какъ драгоценный перлъ, волнами поглощенный,
Скрывается отъ глазъ на жадномъ днѣ морей:
Такъ сиротѣтъ здѣсь въ странѣ уединенной
Богиня красоты безъ жертвъ и алтарей.

Въ семъ стихотвореніи мы находимъ совсѣмъ другого рода поэзію, но тѣмъ не менѣе прекрасную. Тамъ рождалось сердечное удовольствіе, а здѣсь рождается сердечное уныніе. Красота, сокрытая уединеніемъ, погружаетъ душу въ неизъяснимо-пріятную задумчивость. Но тѣ сравненія, которыя нашелъ для своего предмета сочинитель, усиливаютъ въ насъ еще болѣе участіе. Какое искусство въ постепенности и разстановкѣ уподобленій! Последнее изъ нихъ:

«Какъ драгоценный перлъ, волнами поглощенной,
Скрывается отъ глазъ на жадномъ днѣ морей» —

мгновенно отнимаетъ у насъ то, къ чему сердце стремится еще съ надеждою. *Такъ сиротѣтъ здѣсь* — выраженіе новое и чрезвычайно точное. Оно живо рисуетъ положеніе души, полной прекрасныхъ чувствъ, но одинокой, ни съ кѣмъ не раздѣляющей бытія своего и никого не радующей собою. *Богиня красоты* — уже нѣсколько разъ повторенныя слова многими поэтами — въ

¹⁾ Изъ посланія Пушкина къ Чаадаеву. (Соч. Пушкин., изд. Анн., I, 299) Оно въ первый разъ было напечатано въ *Сынъ Отеч.* 1821, № 23.

²⁾ Въ журналѣ *Благонамѣренный* оно подписано: *Варшава*, — одинъ изъ псевдонимовъ кн. Вяземскаго.

этомъ мѣстѣ имѣютъ свою новостъ, потому что за ними слѣдуютъ слова, объясняющія причину, по которой сочинитель употребилъ ихъ: *безъ жертвъ и алтарей*. Въ самомъ дѣлѣ, еслибы онъ сдѣлалъ другое описаніе красоты; то послѣднее выраженіе не было бы столь умѣстно, какъ теперь, а къ нему и устремлено все цѣлое.

По прочтеніи сего стихотворенія чувствуешь, какъ мысль начинается переходить отъ предмета къ другому — отъ сиротѣющей красоты къ удовольствіямъ ея возраста, къ безчисленнымъ случаямъ въ жизни, къ неравному жребію — и наконецъ опять возвращается къ мирному, никогда не измѣняющему въ своихъ утѣхахъ, уединенію. Таково дѣйствіе истинно прекрасной картины, или мысли! Когда стихотворецъ прямо на ней остановится, тогда онъ укажетъ читателю безконечный рядъ другихъ равно прекрасныхъ мыслей.

Но существенное различіе между разсматриваемыми нами антологическими стихотвореніями состоитъ въ томъ, что первое изъ нихъ не имѣетъ никакой частности ни по времени, ни по мѣсту. Оно принадлежало бы Грекамъ, принадлежать можетъ намъ и также будетъ принадлежать самымъ отдаленнымъ потомкамъ. Это совершенство таланта, ничѣмъ не привязаннаго къ какому нибудь одному мѣсту на землѣ, но свободнаго и всѣмъ общаго. Его можно сравнить съ греческою статуею, на которой художникъ ничего не оставилъ, по чему бы кто-нибудь могъ узнать, къ какому народу и къ какому вѣку она относится; потому что онъ изобразилъ ее въ прелестной наготѣ. Другое стихотвореніе напоминаетъ уже новѣйшее время. Погружая насъ въ задумчивость, оно заставляетъ, кажется, насъ искать лучшихъ утѣхъ во глубинѣ души. Сверхъ того *урюмая тишина полнощныхъ степей и мертвыя дубравы*, гдѣ раздается голосъ *пустыннаго соловья*, невольно напоминаютъ намъ, гдѣ сочинитель все это видѣлъ: онъ все взялъ съ своей природы.

И такъ, если антологическія стихотворенія должны хранить мгновенныя чувствованія, опредѣленно относящіяся къ какому

нибудь народу; то послѣднее должно занять мѣсто въ собственно русской антологіи, а первое во всеобщей.

Мы не можемъ при семъ не изъявить желанія, чтобы опытная рука собрала когда-нибудь сіи прелестныя цвѣты нашей поэзіи, разбросанныя по старымъ и новымъ журналамъ и составила бы изъ нихъ—одну книжку. Такая книжка, конечно очень небольшая, показала бы намъ собственныя сокровища, теперь болѣею частію забвенныя. Для иностранцевъ она была бы драгоценнымъ подаркомъ. Изъ нея получили бы они понятіе о тѣхъ впечатлѣніяхъ, которыя производитъ надъ человѣкомъ сѣверная природа, и о той прелести нашего языка, которая вся въ полной чистотѣ своей только и можетъ быть сохранена въ антологическомъ стихотвореніи.

ШИЛЬОНСКІЙ УЗНИКЪ ¹⁾.

Герой сей поэмы есть историческое лицо — женевскій гражданинъ Бонниваръ, мученикъ вѣры и патріотизма, который съ 1530 по 1537 г. страдалъ въ темницѣ замка Шильона, находящагося между Клараномъ и Вильневомъ у самыхъ восточныхъ береговъ Женевского озера. Сочинитель изобразилъ его уже свободнымъ. Бонниваръ рассказываетъ, какія страданія претерпѣлъ онъ въ темницѣ.

Лордъ Байронъ, занимающій въ нынѣшнее время своими произведеніями не одну Англію, но и всю Европу, образовалъ новый родъ поэмы. Не прибѣгая къ вымысламъ *чудеснаго*, онъ ограничивается повѣствованіемъ дѣйствія *естественнаго*. Часто у него въ цѣлой поэмѣ одинъ только герой. Сочинитель описываетъ его чувствованія, которыя должны рождаться въ немъ судя по тому положенію, въ какомъ поэтъ его представляетъ. Въ

¹⁾ Изъ той же части *Трудовъ Вольнаго Общества люб. рос. словесн.* (стр. 209), какъ и предыдущая статья.

этомъ родѣ написана переведенная на русскій языкъ поэма его: Шильонскій Узникъ.

Трудно еще рѣшить: выиграетъ ли что-нибудь поэзія эпическая отъ такихъ новостей, или потеряетъ? По крайней мѣрѣ можно согласиться, что мы находимся почти въ необходимости отказаться въ эпическомъ родѣ отъ прелестныхъ вымысловъ чудеснаго. Высокая степень просвѣщенія и чистота истинной религіи не позволяютъ намъ принимать участія въ дѣйствіяхъ волшебниковъ и волшебницъ, того искренне-младенческаго участія, какое принимали Греки и Римляне въ дѣйствіяхъ своихъ боговъ и своихъ богинь. Еще будетъ страннѣе, если мы въ забавы поэтическаго воображенія будемъ вводить вымышляемые дѣйствія истиннаго Бога. Тогда нѣжное чувство нравственности и строгій голосъ разсудка возстанутъ противъ поэзіи. Итакъ, можетъ быть, родъ поэмъ лорда Байрона, или подобный оному, остаѣся одинъ изъ приличнѣйшихъ нашему образованному времени. Такова участь поэзіи: подобно красотѣ, она прелестнѣе бываетъ въ возрастѣ дѣтскаго легкомыслія—и теряетъ силу своего очарованія въ зрѣлости. Впрочемъ это одни предположенія критики: явится геній—и она съ удовольствіемъ покорится высокимъ его внушеніямъ.

Мнѣнія критиковъ о лордѣ Байронѣ, какъ вообще о поэтѣ, чрезвычайно различны. Почитатели классической древности не предрекаютъ ему долговременной, прочной славы. Они видятъ въ немъ талантъ необыкновенный, но въ излишней дерзости часто противорѣчащій закономъ истины и природы, съ которыми совершенно прекрасное всегда согласовалось. Другого рода люди, увлекаемые каждою блестящею новостію и рѣдко повѣряющіе первыя свои движенія съ правилами мыслящаго вкуса, во всемъ ему слѣпо удивляются и ставятъ его на степень величайшихъ поэтовъ. Намъ кажется, что слава сего поэта должна остаться прочною, потому что его произведенія носятъ на себѣ неизгладимую печать генія. Въ другомъ вѣкѣ не будутъ рабски удивляться его ошибкамъ, но странности романтическаго его вкуса станутъ из-

внять временемъ, въ которое онъ жилъ, точно такъ, какъ мы многія мѣста въ Омерѣ и Виргиліи оправдываемъ духомъ ихъ времени. Картины природы въ его описаніяхъ самыя вѣрныя и свѣжія; чувства души — глубоки и сильны. Одного нельзя извинить въ немъ, что онъ, по какой-то странной мизантропіи, какъ бы не признаетъ въ человѣкѣ истинно-благородныхъ чувствованій, когда изображаетъ его въ счастливомъ гражданскомъ состояніи. Онъ скорѣе открываетъ ихъ въ какомъ-нибудь страдальцѣ, или злодѣѣ. Вѣроятно, такая прихоть воображенія происходитъ изъ частныхъ обстоятельствъ жизни поэта; но онъ долженъ помнить, что носитъ на себѣ священную обязанность — говорить языкомъ истины и писать не для одного вѣка, а для потомства.

До сихъ поръ на русскомъ языкѣ мы читали нѣкоторыя сочиненія лорда Байрона въ прозаическихъ переводахъ. Извѣстно, что поэзія, передаваемая прозою, точно то же, что музыка въ устахъ человѣка, который ее слушалъ и который ее пересказываетъ. Наконецъ Жуковский перевелъ одну его поэму стихами. Таланты переводчика, котораго мы всегда можемъ назвать чистымъ отголоскомъ чужеземныхъ поэтовъ, даютъ намъ право и возможность судить вѣрно о лордѣ Байронѣ. Послѣ прозаическихъ переводовъ мы начинали-было съ его именемъ соединять что-то странное, часто темное, а чаще ужасно-непонятное. Но, судя по переводу Жуковского, видимо, что онъ простъ, ясенъ и естественъ.

Вся поэма: Шильйонскій Узникъ — написана четырехстопными ямбическими мужескими стихами. Можно представить себѣ, сколько трудностей предстояло переводчику, чтобы во всей поэмѣ сохранить мужескія окончанія стиховъ. Сочинитель не безъ намѣренія держался этого. Предметъ поэмы, самъ по себѣ (если можно такъ сказать) жесткій, требовалъ языка отрывистаго и сильнаго, который отъ мужескихъ стиховъ получилъ особенную твердость и естественность. Вся поэма раздѣлена на четырнадцать отдѣленій, похожихъ на строфы, которыя впрочемъ не равны по числу стиховъ, такъ что въ одномъ есть 14, а въ другомъ и 76 ст. Вообще

величина сихъ отдѣленій опредѣляется объемомъ картины, или мысли, которую въ немъ поэтъ хочетъ заключить. Эта свобода въ разнообразіи строкъ по ихъ длинѣ доставляетъ большую выгоду поэту, потому что онъ не находится въ жалкой необходимости растягивать бѣдную мысль, или наоборотъ, окорачивать обильную, сообразуясь съ принятымъ постоянно числомъ строкъ въ одной строкѣ.

Планъ сей поэмы самый простой и естественный. Бонниваръ, начавъ говорить о себѣ, о погибшемъ своемъ семействѣ, описываетъ ужасную темницу, въ которой онъ страдалъ съ двоими младшими своими братьями. Далѣе онъ дѣлаетъ изображеніе ихъ характеровъ и смерти каждаго; потомъ говоритъ о состояніи души своей въ первую минуту мучительнаго одиночества, о чувствахъ его при нечаянномъ пѣніи свободной птички подъ окномъ темницы; наконецъ слѣдуетъ описаніе окрестностей замка, которыя онъ увидѣлъ, прорывъ себѣ отверстіе подъ стѣною, и того хладнокровія, съ какимъ онъ принялъ возвращенную ему *бѣдную* свободу. Изъ сего содержанія видно, что прелесть поэмы лорда Байрона должна заключаться въ частной отдѣлкѣ каждаго чувства, или положенія героя. Сочинитель не хочетъ быть повѣтствователемъ: онъ собираетъ только рядъ картинъ, обрабатываетъ ихъ и ставитъ одну подлѣ другой. Чтобы дать понятіе нашимъ читателямъ о совершенствѣ ихъ, мы приводимъ здѣсь одну. Бонниваръ, рассказавъ о смерти средняго брата, приступаетъ къ описанію смерти младшаго:

«Но онъ — нашъ милый, лучший цвѣтъ,
Нашъ ангелъ съ колыбельныхъ лѣтъ,
Сокровище семьи родной;
Онъ — образъ матери душой
И чистой прелестью лица;
Мечта любимая отца;
Онъ — для кого я жизнь щадилъ:
Чтобъ онъ бодрѣй въ неволѣ былъ,

Чтобъ послѣ могъ и воленъ быть!
 Увы . . . онъ долго могъ сносить
 Съ младенческою тишиной,
 Съ терпѣньемъ яснымъ жребій свой!
 Но я ему — онъ для меня
 Подпорой былъ! . . . вдругъ день отъ дня
 Сталъ упадать, ослабѣвалъ,
 Грустилъ, молчалъ и молча вялъ! . . .
 О Боже! Боже! Страшно зрѣть,
 Какъ силится преодолѣть
 Смерть человѣка! . . . Я видалъ,
 Какъ ратникъ въ битвѣ погибалъ!
 Я видѣлъ, какъ пловецъ тонулъ
 Съ доской, къ которой онъ прильнулъ
 Съ надеждой гибнущей своей!
 Я зрѣлъ, какъ издыхалъ злодѣй
 Съ свирѣпой дикостью въ чертахъ,
 Съ богохуленьемъ на устахъ,
 Пока ихъ смерть не заперла!
 Но тамъ былъ страхъ — *здѣсь* скорбь была.
 Болѣзнь глубокая души!
 Смирненнымъ ангеломъ, втиши,
 Онъ гасъ, столь кротко-молчаливъ,
 Столь безнадежно-терпѣливъ,
 Столь грустно-томень, нѣжно-тихъ,
 Безъ слезъ, лишь помня о своихъ
 И обо мнѣ . . . увы! . . . онъ гасъ,
 Какъ радуга, плѣняя насъ,
 Прекрасно гаснетъ въ небесахъ!
 Ни вздоха скорби на устахъ!
 Ни ропота на жребій свой!
 Лишь слово изрѣдка со мной
 О нашихъ прошлыхъ временахъ,
 О лучшихъ будущаго дняхъ,

Объ упованья . . . Но объять
Сей тратой, горшею изъ тратъ,
Я былъ въ свирѣпомъ забытъ!
Вотще, кончаясь, онъ свои
Терзанья смертныя скрывать . . .
Вдругъ рѣже, трепетнѣе сталъ
Дышать, и вдругъ умолкнулъ онъ!
Молчаньемъ страшнымъ пробужденъ,
Я вслушиваюсь . . . тишина!
Кричу, какъ бѣшенный . . . стѣна
Откликнулась . . . и умеръ гулъ!
Я цѣпь отчаянно рвануль
И вырвалъ! . . . къ брату! . . . брата нѣтъ!
Онъ на столбѣ — какъ вешній цвѣтъ,
Убитый хладомъ — предо мной
Висѣлъ съ опущенной главой!
Я руку тихую поднѣлъ!
Я чувствовалъ, какъ исчезалъ
Въ ней слѣдъ послѣдней теплоты!
И, мнилось, были отняты
Всѣ силы у души моей!
Все страшно вдругъ сперлося въ ней!
Я дико по тюрьмѣ бродилъ —
Но въ ней покой ужасный былъ,
Лишь вѣялъ отъ стѣны сырой,
Какой-то холодъ гробовой!
И взоръ на мертваго вперивъ,
Я зналъ лишь смутно, что я живъ!
О, сколько муки въ знаньи томъ,
Когда мы тутъ же узнаемъ,
Что милому уже не быть!
И мигъ сей могъ я пережить!
Не знаю — вѣра ль то была,
Иль хладность въ жизни жизнь спасла!

Живость красокъ сей картины, полнота ея, выборъ подробностей, истинно поэтическихъ, естественность переходовъ отъ одного чувства къ другому, вѣрность уподобленій—все вмѣстѣ показываетъ, что сочинитель одаренъ воображеніемъ пламеннымъ, глубокою чувствительностію и самымъ разборчивымъ вкусомъ.

Послѣ приведенныхъ нами стиховъ мы считаемъ излишнимъ говорить о совершенствѣ перевода. Читая оный, ничего не находишь, что бы напоминало о переводѣ. Кто по собственному опыту знакомъ съ симъ занятіемъ, тотъ въ состояніи понять, сколько предстоитъ трудностей переводчику, если онъ захочетъ въ точности удержать не только полную мысль автора, но даже и форму, въ какой она имъ изложена. Сочинитель властенъ переставлять ходъ мыслей, раздроблять и сжимать ихъ—это все вмѣстѣ облегчаетъ трудъ его: но переводчикъ, если онъ хочетъ быть вѣрнымъ зеркаломъ мыслей другого, не имѣетъ права ни на какую вольность. Поэтому чаще всего въ переводахъ встрѣчаются намъ или недоговоренныя мѣста, или странная разстановка словъ, или неестественное теченіе мыслей и проч. У Жуковского въ этомъ случаѣ удивительное искусство: онъ часто перелагаетъ слово въ слово, и въ переводѣ точно такъ же хорошо изображается мысль, какъ хорошо она изображена въ подлинникѣ. Это надобно приписать особенной способности, съ какою онъ мысли и чувства другого вмѣщаетъ въ душѣ своей—и, будучи весь исполненъ ими, излагаетъ ихъ, какъ свои. Всякое произведеніе поэзіи есть слѣдствіе одушевленія, которое сообщается только людямъ, рожденнымъ съ равною чувствительностію. Переводчикъ, не имѣющій одинаковаго таланта съ авторомъ, всегда будетъ дурнымъ переводчикомъ, потому что онъ, постигнувъ мысль, не преобразитъ ее въ свою—и передастъ читателю слабо и холодно. Мы даже осмѣливаемся рѣшительно сказать, что переводить такимъ образомъ, какъ переводить Жуковский, все равно, что созидать. Авторъ беретъ главную мысль свою въ собственномъ сердцѣ, или въ природѣ: Жуковский, усмотрѣвъ ее, погружается въ тотъ же источникъ, и вдругъ показываетъ ее намъ, какъ такую вещь,

которую онъ давно обладалъ, но случайно забылъ о ней. Конечно наше народное самолюбіе желало бы видѣть въ такомъ талантѣ болѣе заботливости предупреждать другихъ своими произведеніями; но свободная дѣятельность всегда была и будетъ исключительно принадлежностію генія.

Поводомъ къ переводу Шильонскаго узника было путешествіе Жуковскаго въ тѣ мѣста, гдѣ страдалъ герой сей поэмы. Переводчикъ украсилъ свое изданіе гравированною картинкою, изображающею наружный видъ замка Шильона и внутренность тюрьмы Бонниваара. То и другое снято съ натуры самимъ переводчикомъ, отчего сія картинка для любителей его таланта навсегда останется драгоценною.

КАВКАЗСКІЙ ПЛѢННИКЪ ¹⁾.

1822.

Повѣсть *Кавказскій Плѣнникъ* написана въ родѣ новѣйшихъ англійскихъ поэмъ, каковыя особенно встрѣчаются у Байрона. Разсматривая Шильонскаго Узника, мы замѣтили, что въ нихъ поэтъ не предается вымысламъ чудеснаго, не составляетъ обширнаго повѣствованія, но, избравъ одинъ случай въ жизни своего героя, ограничивается отдѣлкою картинъ, представляющихся воображенію, смотря по вѣсѣмъ обстоятельствамъ, сопровождающимъ главное дѣйствіе. Въ подобныхъ сочиненіяхъ выборъ происшествія, мѣстныхъ описанія и опредѣленность характера дѣйствующихъ лицъ составляютъ главное.

Происшествіе въ разсматриваемомъ нами сочиненіи самое простое, но вмѣстѣ самое поэтическое. Одинъ Русской взятъ въ плѣнъ Черкесами. Сдѣлавшись рабомъ ихъ, закованный въ желѣзы, онъ осужденъ смотрѣть за стадами. Состраданіе ро-

¹⁾ Изъ *Трудовъ Вольнаго Общества люб. россійск. словесн.* XX, 24.

ждаетъ любовь къ нему въ молодой Черкешенкѣ. Она своимъ нѣжнымъ участіемъ силится облегчить тяжелое бремя его рабства. Плѣнникъ, преслѣдуемый первою несчастною любовію, которую узналъ онъ еще въ своемъ отечествѣ, равнодушно принимаетъ ласки сострадательной своей утѣшительницы. Все его вниманіе устремлено на любопытный образъ жизни дикихъ своихъ властителей. (Здѣсь оканчивается первая часть повѣсти). Подруга плѣнника, увлекаемая своею страстію и мучимая его холодною задумчивостію, силится пробудить въ немъ любовь всѣми ласками чистосердечной своей привязанности. Тронутый ея положеніемъ, онъ открываетъ свою тайну, что сердце его отдано другой. Взаимная горестъ ихъ разлучаетъ на нѣсколько времени. Между тѣмъ внезапная тревога уводитъ въ одинъ день всѣхъ Черкесовъ изъ селенія къ хищническому ихъ набѣгу. Оставленный плѣнникъ видитъ передъ собою нѣжную свою Черкешенку. Она побѣждаетъ свою пламенную любовь, распиливаетъ оковы плѣнника и открываетъ ему путь въ отечество. Русский, переплывъ Кубань, обращается съ берега, чтобъ еще разъ взглянуть на великодушную свою избавительницу, но исчезающій кругъ плеснувшихъ водъ сказываетъ ему, что ея уже нѣтъ на свѣтѣ. Сямъ оканчивается повѣсть. Изъ этого содержанія видно, что происшествіе въ *Кавказскомъ Плѣнникѣ* можно бы сдѣлать и разнообразнѣе и даже полнѣе. По обыкновенному понятію о подобныхъ происшествіяхъ, надобно сказать, что ходъ страсти, которая бываетъ изобрѣтательна и неутомима, слишкомъ здѣсь коротокъ. Еще болѣе остается неполнымъ рассказъ о плѣнникѣ. Его участь нѣсколько загадочна. Нельзя не пожелать, чтобы онъ, хотя въ другой поэмѣ, явился намъ и познакомилъ насъ съ своею судьбою. Впрочемъ это не было бы новостію: подобныя появленія встрѣчаются въ поэмахъ Байрона.

Мѣстные описанія въ *Кавказскомъ Плѣнникѣ* рѣшительно можно назвать совершенствомъ поэзіи. Повѣствованіе можетъ лучше обдумать стихотворецъ и съ меньшими дарованіями противъ Пушкина; но его описанія Кавказскаго края навсегда

останутся первыми, единственными. На нихъ остался удивительный отпечатокъ видимой истины, понятной, такъ сказать, осязаемости мѣстъ, людей, ихъ жизни и ихъ занятій, чѣмъ мы не слишкомъ богаты въ нашей поэзіи. Мы часто видимъ усилія людей, которые описываютъ, не въ состояніи будучи сами дать себѣ отчета въ мѣстности; потому что они знакомы съ нею по одному воображенію. Описанія въ *Кавказскомъ Плѣнникѣ* превосходятъ не только по совершенству стиховъ, но по тому особенно, что подобныхъ имъ нельзя составить, не выдавъ собственными глазами картинъ природы. Сверхъ того, сколько смѣлости въ начертаніи оныхъ, сколько искусства въ отдѣлкѣ! Краски и тѣни, т. е. слова и разстановка ихъ, перемѣняются, смотря по различію предметовъ. Стихотворецъ то отваженъ, то гибокъ, подобно разнообразной природѣ этого дикаго азіятскаго края. Чтобы читателямъ понятнѣе сдѣлались наши наблюденія, мы приводимъ здѣсь нѣкоторыя мѣстные описанія.

«Великолѣпныя картины!
 Престолы вѣчные снѣговъ!
 Очамъ казались ихъ вершины
 Недвижной цѣпью облаковъ,
 И въ ихъ кругу колоссъ двуглавый,
 Въ вѣнцѣ блистая ледяномъ,
 Эльбрусъ огромный, величавый,
 Бѣлѣлъ на небѣ голубомъ.
 Когда, съ глухимъ сливаясь гуломъ,
 Предтеча бури, громъ гремѣлъ,
 Какъ часто плѣнникъ надъ ауломъ,
 Недвижимъ, на горѣ сидѣлъ!
 У ногъ его дымились тучи;
 Въ степи взвивался прахъ летучій.
 Уже пріюта между скалъ
 Елень испуганный искалъ;
 Орлы съ утесовъ подымались

И въ небесахъ перекликались;
 Шумъ табуновъ, мычанье стадъ
 Ужь гласомъ бури заглушались . . .
 И вдругъ на дома дождь и градъ
 Изъ тучъ сквозь молній извергались.
 Волнами роя крутизны,
 Сдвигая камни вѣковые,
 Текли потоки дождевые, —
 А плѣнникъ, съ горной вышины,
 Одинъ, за тучей громовою,
 Возврата солнечнаго ждалъ,
 Недостигаемый грозою,
 И бури немощному вою
 Съ какой-то радостью внималъ.»

Пусть любопытные сравнять эту грозную и вмѣстѣ плѣнительную картину, въ которой каждый стихъ блеститъ новою, прилично ему краскою, съ описаніемъ окрестностей Бонниваровой темницы, которое сдѣлалъ Байронъ въ своемъ *Шильонскомъ Узникѣ*; тогда легче можно будетъ судить, какъ счастливо, въ одинакихъ обстоятельствахъ, побѣждаетъ нашъ поэтъ англійскаго. Байронова картина, поставленная подлѣ этой, покажется легкимъ, слабымъ очертаніемъ, кинутымъ съ самаго общаго взгляда.

Мы пропускаемъ въ *Кавказскомъ Плѣнникѣ* другое описаніе, гдѣ изображено вѣрно и быстрою кистію искусство Черкесовъ, съ какимъ они производятъ опыты отважныхъ своихъ набѣговъ. Даръ поэзіи и сила воображенія могли бы еще навести стихотворца къ составленію хотя подобной картины, если бы онъ и не былъ самъ въ тѣхъ мѣстахъ. Но не можемъ не привести описанія любимой между Черкесами воинской хитрости, которой никакъ не поймать воображеніемъ, еслибы стихотворецъ самъ не былъ въ краю, имъ описываемомъ.

«Иль ухвативъ рогатый пень,
Въ рѣку низверженный грозою,
Когда на холмахъ пеленою
Лежитъ безлунной ночи тѣнь,
Черкесь на корни вѣковые,
На вѣтви вѣшаетъ кругомъ
Свои доспѣхи боевые:
Щитъ, бурку, панцырь и шоломъ,
Колчанъ и лукъ — и въ быстры волны
За нимъ бросается потомъ
Неутомимый и безмолвный.
Глухая ночь. Рѣка реветъ;
Могучій токъ его несетъ
Вдоль береговъ уединенныхъ,
Гдѣ на курганахъ возвышенныхъ,
Склонясь на копья, казаки
Глядятъ на темный бѣгъ рѣки,
И мимо ихъ, во мглѣ чернѣя,
Плыветъ оружіе злодѣя . . .
О чемъ ты думаешь, казакъ?
Вспоминаешь прежни битвы,
На смертномъ полѣ свой бивакъ,
Полковъ хвалебныя молитвы
И родину? . . . Коварный сонъ!
Простите, вольныя станицы,
И домъ отцовъ, и тихій Донъ,
Война и красныя дѣвицы!
Къ брегамъ причалилъ тайный врагъ,
Стрѣла выходитъ изъ колчана,
Взвилась — и падаетъ казакъ
Съ окровавленнаго кургана.»

Загадочное начало описанія, подобно тайному предпріятію черкеса, манитъ читателя къ развязкѣ и поддерживаетъ до

конца всю занимательность, которая соединена съ любопытствомъ. Но развязка, какъ внезапная смерть казака, мгновенна. Всѣ сіи мѣстные частности, схваченныя съ природы, придаютъ поэзіи неизъяснимую и прочную красоту. Величайшіе стихотворцы, особенно древніе, преимущественно держались этого правила — и потому ихъ картины ничего не имѣютъ однообразнаго и утомительнаго. Мы могли бы привести еще множество примѣровъ для доказательства главнаго нашего мнѣнія, что *Кавказскій Пленникъ* по своимъ мѣстнымъ описаніямъ есть совершеннѣйшее произведение нашей поэзіи; но предоставляемъ читателямъ самимъ повѣрить наше сужденіе по цѣлому сочиненію: отрывки не могутъ произвести такого впечатлѣнія, какъ вся поэма.

Въ *Кавказскомъ Пленникѣ* (какъ можно уже было видѣть изъ содержанія) два только характера: черкешенки и русскаго пленника. Намъ пріятнѣе сначала говорить о характерѣ первой, потому что онъ обдуманнѣе и совершеннѣе, нежели характеръ второго. Все, что могутъ только представить воображенію поэта нѣжная сострадательность, трогательное простодушіе и первая влюбленность, — все изображено въ характерѣ черкешенки. Она, повидимому, такъ открыто и живо явилась поэту, что ему стоило только, глядя на нее, рисовать ея портретъ.

«Но кто, въ сіяніи луны,
Среди глубокой тишины,
Идетъ, украдкою ступая?
Очнулся Русскій. Передъ нимъ,
Съ привѣтомъ нѣжнымъ и нѣмымъ,
Стоитъ Черкешенка младая.
На дѣву молча смотритъ онъ,
И мыслить: это лживый сонъ,
Усталыхъ чувствъ игра пустая.
Луною чуть озарена,
Съ улыбкой жалости отрадной
Колѣна преклонивъ, она

Къ его устамъ кумысъ прохладный
Подносить тихою рукой.
Но онъ забылъ сосудъ цѣлебный;
Онъ ловить жадною душой
Пріятной рѣчи звукъ волшебный
И взоры дѣвы молодой.
Онъ чуждыхъ словъ не понимаетъ;
Но взоръ умильный, жаръ лавить,
Но голосъ нѣжный говоритъ:
Живи! и плѣнникъ оживаетъ.
И онъ, собравъ остатокъ силъ,
Велѣнью милому покорный,
Привсталъ — и чашей благотворной
Томленье жажды утолилъ.
Потомъ на камень вновь склонился
Отягощенною главой;
Но все къ Черкешенкѣ молодой
Угасшій взоръ его стремился.
И долго, долго передъ нимъ
Она, задумчива, сидѣла;
Какъ бы участіемъ нѣмымъ
Утѣшить плѣнника хотѣла;
Уста невольно каждый часъ
Съ начатой рѣчью открывались;
Она вздыхала, и не разъ
Слезамъ очи наполнялись»

Чтобы живѣе представить всю трогательную прелесть появленія Черкешенки, надобно знать, что плѣнникъ находился въ это время въ ужасномъ положеніи: привлеченный въ селеніе на арканѣ, обезображенный ужасными язвами и закованный въ цѣпи, онъ жадно ждалъ своей смерти — и вмѣсто нея, въ видѣ богини здравія, приходитъ къ нему его избавительница.

«За днями дни прошли какъ тѣнь.
Въ горахъ, окованный, у стада
Проводить плѣнникъ каждый день.
Пещеры темная прохлада
Его скрываетъ въ лѣтній зной;
Когда же рогъ луны серебристой
Блеснетъ за мрачною горой,
Черкешенка, тропой тѣнистой,
Приноситъ плѣннику вино,
Кумысъ и ульевъ сотъ душистый,
И бѣлоснѣжное пшено.
Съ нимъ тайный ужинъ раздѣляетъ;
На немъ покоить нѣжный взоръ;
Съ неясной рѣчію сливается
Очей и знаковъ разговоръ;
Поетъ ему и пѣсни горъ,
И пѣсни Грузіи счастливой,
И памяти нетерпѣливой
Передастъ языкъ чужой.»

Мы не останавливаемся на красотѣ каждого стиха порознь. Такой разборъ заставилъ бы насъ утомить читателей разнообразными восклицаніями. Намъ хочется только дать ясное понятіе объ этомъ характерѣ, который навсегда останется у насъ мастерскимъ произведеніемъ, и потому мы принуждены выбирать мѣста, гдѣ поэтъ умѣлъ раскрыть всю душу своей героини. Послушаемъ, какъ она силится въ уныломъ плѣнникѣ пробудить чувство любви, которая побѣдила ея сердце:

« Плѣнникъ милый!
Развесели свой взоръ унылый,
Склонись головой ко мнѣ на грудь,
Свободу, родину забудь:
Скрываться рада я въ пустыни»

Съ тобою, царь души моей!
 Люби меня: никто донинѣ
 Не цѣловалъ моихъ очей;
 Къ моей постелѣ одинокой
 Черкесь молодой и черноокой
 Не крался въ тишинѣ ночной;
 Слышу я дѣвою жестокой,
 Неумолимой красотой.
 Я знаю жребій мнѣ готовый:
 Меня отецъ и братъ суровый
 Немилому продать хотятъ
 Въ чужой аулъ цѣною злата:
 Но умолю отца и брата;
 Не то — найду кинжалъ иль ядъ.
 Непостижимой, чудной силой
 Къ тебѣ я вся привлечена;
 Люблю тебя, невольникъ милый,
 Душа тобой упоена.» . . .

Можетъ ли страсть говорить убѣдительно? Это мѣсто приводитъ намъ на память нѣжную Моину, съ такимъ же просто-сердечіемъ изображающую любовь свою къ Фивгалу. Но въ частной отдѣлкѣ нѣтъ ничего общаго между Озеровымъ и Пушкинымъ, потому что лица, ими описываемыя, взяты изъ разныхъ климатовъ и находились въ разныхъ положеніяхъ. Надобно замѣтить, съ какимъ искусствомъ воспользовался Пушкинъ пламеннымъ и частію неистовымъ характеромъ дикахъ горцевъ, который долженъ виденъ быть и въ самой невинной Черкешенкѣ! Она, при одной мысли о невольномъ замужствѣ, рѣшительно произноситъ: *найду кинжалъ иль ядъ*. Послѣ столь нѣжнаго изъявленія любви своей она слышитъ отъ него ужасный себѣ приговоръ: плѣнникъ уже не властенъ надъ своимъ сердцемъ. Какой быстрый и сильный долженъ послѣдовать переходъ въ ея душѣ отъ надежды къ отчаянію!

«Раскрывъ уста, безъ слезъ рыдая,
Сидѣла дѣва молодая:

Туманный, неподвижный взоръ
Безмолвный выражалъ укоръ;
Блѣдна какъ тѣнь, она дрожала;
Въ рукахъ любовника лежала
Ея холодная рука;

И наконецъ любви тоска
Въ печальной рѣчи излилася:

«Ахъ, Русскій, Русскій! Для чего,
Не зная сердца твоего,
Тебѣ навѣкъ я предалася?
Недолго на груди твоей
Въ забвеньи дѣва отдыхала;
Немного радостныхъ ей дней
Судьба на долю ниспослала!
Придутъ ли вновь когда-нибудь?
Ужель навѣкъ погибла радость? . . .
Ты могъ бы, плѣнникъ, обмануть
Мою неопытную младость,
Хотя бъ изъ жалости одной,
Молчаньемъ — ласкою притворной;
Я услаждала бъ жребій твой
Заботой нѣжной и покорной;
Я стерегла бъ минуты сна,
Покой тоскующаго друга:
Ты не хотѣлъ»

Стихотворецъ ничего не опустилъ, чтобы довершить изображеніе этого простодушнаго и нѣжнаго характера. Приведенное нами мѣсто можно назвать образцомъ искусства, какъ привлекать участіе читателей къ дѣйствующимъ въ поэмѣ лицамъ.

Между тѣмъ мы не находимъ такой опредѣленности въ

характеръ плѣнника. Кажется, что это недоконченное лице. Есть мѣста, которыя возбуждаютъ я къ нему живое участіе.

«Когда такъ медленно, такъ нѣжно
Ты пьешь лобзанія мои,
И для тебя часы любви
Проходятъ быстро, безмятежно;
Снѣдая слезы въ тишинѣ,
Тогда разсѣянный, унылый,
Передъ собою, какъ во снѣ,
Я вижу образъ вѣчно милый;
Его зову, къ нему стремлюсь,
Молчу, не вижу, не внимаю;
Тебѣ въ забвеньи предаюсь
И тайный призракъ обнимаю;
О немъ въ пустынѣ слезы лью;
Повсюду онъ со мною бродить
И мрачную тоску наводитъ
На душу сирую мою.»

Или — гдѣ еще яснѣе сказано:

«Не плачь! И я гонимъ судьбою,
И муки сердца испыталъ.
Нѣтъ! Я не зналъ любви взаимной:
Любилъ одинъ, страдалъ одинъ,
И гасну я, какъ пламень дымный,
Забытый средъ пустыхъ долинъ.
Умру вдали береговъ желанныхъ;
Мнѣ будетъ гробомъ эта степь;
Здѣсь на костяхъ моихъ изгнанныхъ
Заржавитъ тягостная цѣпь . . . »

Прочитавъ сіи стихи, каждый составилъ бы ясное понятіе о характерѣ человѣка, преданнаго нѣжной любви къ милому пред-

мету, отвергшему его роковую страсть. Въ этомъ одномъ видѣ плѣнникъ составлялъ бы самое интересное лицо въ поэмѣ. Но въ другихъ мѣстахъ къ изображенію плѣнника примѣшаны постороннія и затемняющія его характеръ черты. Напримѣръ, сочинитель говоритъ, что плѣнникъ лишился отечества,

« Гдѣ пламенную младость
Онъ гордо началъ безъ заботъ,
Гдѣ первую позналъ онъ радость,
Гдѣ много милаго любилъ,
Гдѣ обнялъ грозное страданье,
Гдѣ бурной жизнью погубилъ
Надежду, радость и желанье —
И лучшихъ дней воспоминанье
Въ увядшемъ сердцѣ заключилъ.

.
.
Людей и свѣтъ извѣдалъ онъ,
И зналъ невѣрной жизни цѣну:
Въ сердцахъ друзей нашелъ измѣну,
Въ мечтахъ любви — безумный сонъ.
Наскуча жертвой быть привычной
Давно презрѣнной суеты,
И непріязни двуязычной,
И простодушной клеветы.
Отступникъ свѣта, другъ природы,
Покинулъ онъ родной предѣлъ
И въ край далекій полетѣлъ
Съ веселымъ призракомъ свободы.»

По этому описанію воображеніе то представляетъ человѣка, утомленнаго удовольствіями любви, то возненавидѣвшаго порочный свѣтъ и радостно оставляющаго родину, чтобъ сыскать лучший край. На первую мысль сочинитель попадаетъ и въ другомъ мѣстѣ:

«Забудь меня; *твоей любви,*
Твоихъ восторговъ я не стою.
 Безцѣнныхъ дней не трать со мною;
 Другого юношу зови.

.

Безъ упоенья, безъ желаній
Я вяну жертвою страстей.»

Столь неясныя слова въ устахъ человѣка, пламенно любимаго, рождаютъ о немъ странныя мысли. Ему бы легче и благороднѣе было отказаться отъ новой любви постоянною своею привязанностію, хотя первая любовь его и отвергнута: тѣмъ вѣрнѣе онъ заслужилъ бы состраданіе и уваженіе Черкешенки. Между тѣмъ, слова: *твоихъ восторговъ я не стою*, или: *безъ желаній я вяну жертвою страстей* — охлаждають всякое къ нему участіе. Несчастный любовникъ могъ бы сказать ей: «мое сердце чуждо новой любви;» но кто имѣетъ причину признаваться, что онъ *не стоитъ восторговъ* невинности, тотъ разрушаетъ всякое очарованіе на счетъ своей нравственности. Вотъ что заставило сказать насъ, что характеръ Русскаго въ *Кавказскомъ Плынникѣ* не совсѣмъ обдуманъ и слѣдственно не совсѣмъ удаченъ. Впрочемъ, встрѣчая въ этой поэмѣ пропуски, означенныя самимъ сочинителемъ, мы полагаемъ, что какія-нибудь обстоятельства заставили его представить публикѣ свое произведеніе не совсѣмъ въ томъ видѣ, какъ оно образовалось въ первомъ его состояніи.

Къ числу небольшихъ ошибокъ въ стихахъ мы относимъ въ сей поэмѣ слѣдующее мѣсто:

«Въ часъ ранней, утренней прохлады,
Остановлялъ онъ долго взоръ
На отдаленныя громады
 Сѣдыхъ, румяныхъ, синихъ горъ.»

Въ другомъ мѣстѣ:

«Но *Европейца все вниманье*
Народъ сей чудный привлекалъ».

Первый стихъ вышелъ очень прозаическій.

Сіи почти единственныя и маловажныя ошибки замѣсны непрерывными, неподражаемыми красотами истинной поэзіи. Критика не можетъ и не должна говорить хладнокровно о подобныхъ произведеніяхъ, потому что они питаютъ образованный вкусъ; они однимъ своимъ появленіемъ уничтожаютъ ложно-прекрасное, очищаютъ поле словесности и разрѣшаютъ шумные толки невѣжества и пристрастія.

Пушкинъ, одаренъ будучи истиннымъ и оригинальнымъ талантомъ, идетъ наравнѣ съ другими превосходными поэтами нашего времени. Конечно, онъ не безъ ошибокъ. Въ первой его поэмѣ: *Русланъ и Людмила*, есть погрѣшности въ планѣ; главныя лица могли бы явиться занимательнѣе, полнѣе и болѣе обнаружить силы въ характерахъ; но сіи ошибки неразлучны съ первыми опытами въ родѣ эпическомъ, требующемъ величайшихъ соображеній и зрѣлости генія. Можно ручаться, что постоянное вниманіе и любовь къ своему искусству доведутъ его до того совершенства въ планахъ, которое теперь такъ видимо въ частныхъ отдѣлкахъ его произведеній.

ПУТЕШЕСТВЕННИКЪ,

СТИХОТВОРЕНІЕ ГЁТЕ ВЪ ПЕРЕВОДѢ ЖУКОВСКАГО ¹⁾).

1823.

Всѣ роды хороши, кромѣ скучнаго, — сказалъ Вольтеръ о поэзіи. Онъ шутя произнесъ важную истину для критики. Есть произведенія поэзіи, которыя съ перваго взгляда трудно опредѣлить, къ какому роду они относятся, и по какой теоріи надобно ихъ разсматривать. Между тѣмъ образованный вкусъ плѣняется ими потому, что они прекрасны. Заключение очевидно:

¹⁾ Эта статья появилась во 2-й книжкѣ *Журнала изящныхъ искусствъ* на 1823 годъ (стр. 126) съ слѣдующимъ подстрочнымъ примѣчаніемъ издателя, Василія Ивановича Григоровича: «Напечат. въ № 8 *Сына Отечества*, 1823 года, стихотвореніе: «Путешественникъ». Это есть одно изъ тѣхъ прекрасныхъ произведеній, которыя, заключая въ себѣ разительныя противоположности, сильно дѣйствуютъ на душу и невольно вводятъ ее въ область глубокихъ размышленій.

«Путешественникъ, съ восторгомъ замѣчающій и малѣйшія изъ драгоценныхъ остатковъ древняго искусства, и простодушная поселанка, холодная къ красотахъ, ею непонимаемымъ; изящныя произведенія генія и вкуса и скромная подлѣ нихъ хижина поселанина; обломки, свидѣтельствующіе о мысленныхъ усиліяхъ умовъ, уже не существующихъ, умовъ, которые были знакомы съ изящнымъ, прекраснымъ, и новый гость міра — младенецъ, едва явившійся на свѣтъ: все сіе представляетъ такія противоположности, которыя даютъ необъяснимую прелесть творенію поэта. Всякая мысль его рождаетъ въ читателѣ тысячи другихъ мыслей, погружаетъ въ мечтанія пріятныя, сладкія и виѣстѣ съ тѣмъ унылыя, печальныя, мечтанія мало помалу обращающія его къ самому себѣ, къ прошедшему, настоящему и будущему. Художникъ, который захотѣлъ бы воспользоваться сочиненіемъ симъ для произведенія живописи, можетъ-быть, встрѣтитъ нѣкоторыя трудности въ точномъ выраженіи мыслей поэта; но и немногія черты, имъ позаимствованныя, достаточны къ тому, чтобы картину его сдѣлать занимательною; — впрочемъ, для сильнаго, дѣятельнаго воображенія нѣтъ границъ. Новыя черты, новые предметы могутъ украсить твореніе художника, умѣющаго прекрасно мыслить и прекрасно сообщать свои мысли другимъ.

«Кому неизвѣстна картина Николая Пуссена, представляющая юность и красоту, въ лицѣ аркадскихъ пастуховъ и пастушки, погруженныя въ размышленіе при видѣ надписи: *И я былъ въ Аркадіи*, высѣченной на гробницѣ счастливаго какъ они, быть-можетъ, нѣкогда юноши? Произведеніе сіе есть произведеніе генія, философа, живописца, поэта; но Пуссени могутъ быть не только во Франціи».

разбирая какое-нибудь произведение поэзіи, сперва должно доказать, удовлетворяетъ ли оно всѣмъ требованіямъ вкуса и по этому цѣнить его, а потомъ уже опредѣлить, къ какому роду можно его отнести. Это правило старое, но въ наше время повторить его не лишнее дѣло. У насъ многіе возстаютъ противъ новостей поэзіи, и защищаются однимъ оружіемъ: чего нельзя назвать *по всей формѣ* одою, сатирою, комедіею или трагедіею, то не хорошо. Они воображаютъ, будто главные четыре рода могутъ обнять все, что заключаетъ въ себѣ область поэзіи. Еслибы они хотѣли переувѣриться, имъ можно было бы физически доказать противное: изъ семи главныхъ цвѣтовъ сколько новыхъ красокъ производитъ искусный живописецъ!

Сія мысль родилась у насъ отъ стихотворенія: *Путешественникъ*. Оно принадлежитъ къ числу такихъ произведеній поэзіи, которыя изливаются отъ полноты души, и на которыхъ остается неизгладимая печать генія. Поэтъ, такъ сказать, потрясенъ былъ сильнымъ чувствомъ при той мысли, что совершеннѣйшія произведенія искусствъ, плоды небеснаго вдохновенія, ничего не значатъ въ глазахъ людей необразованныхъ. Онъ переносится въ Италію: каждый кусокъ мрамора въ немъ рождаетъ благоговѣніе. Но чтожь? Онъ видитъ поселянъ, которые хладнокровно изъ обломковъ какого-нибудь храма строятъ себѣ хижины. Какая счастливая мысль! Начнемъ съ ея изобрѣтенія: она такъ естественна, такъ легка, какъ чувство любви родительской. Кто сильнѣе художника, а слѣдственно и поэта, можетъ чувствовать сожалѣніе о томъ убійственномъ хладнокровіи, съ которымъ смотрятъ люди на вдохновенныя произведенія? Кромѣ естественности, сколько въ этой мысли прекраснаго! Она заключаетъ въ себѣ цѣлый рядъ поэтическихъ картинъ. Каждый обломокъ статуи, каждая колонна храма производятъ новое чувство и одушевленіе. Но въ расположеніи сего стихотворенія еще болѣе видно искусство поэта. Онъ чувствовалъ, что простыя восклицанія не произвели бы полного дѣйствія надъ читателями. Онъ принялъ для сего разговорную форму. Самъ поэтъ является

въ видѣ путешественника. Надобно было избрать другое лицо, которое бы достойно было поэзіи. Простая поселянка, но нѣжная супруга и заботливая мать, съ прекраснымъ на рукахъ младенцемъ, останавливаетъ вниманіе стихотворца. Противоположность между восторгами путешественника, при видѣ всего прекраснаго, и спокойствіемъ ничего не знающей поселянки самая разительная; но она не рождаетъ ничего непріятнаго. У поселянки есть своя поэзія: она заботится о младенцѣ, рассказываетъ исторію своей жизни, оживляется при мысли о скоромъ возвращеніи своего мужа. Такимъ образомъ стихотворецъ, изображая свою главную мысль, окружаетъ ее другими прекрасными понятіями. Онъ заставляетъ наконецъ путешественника, въ избыткѣ чувствъ и отъ того, что его поражаетъ въ развалинахъ, и отъ того, что онъ слышитъ отъ поселянки, съ довѣрчивостію предаться природѣ, и выбрать ее единственнымъ руководителемъ въ жизни. Изложеніе соотвѣтствуетъ въ полной мѣрѣ достоинству изобрѣтенія и расположенія. Языкъ поселянки отгѣневъ какою-то трогательною простотою, плѣнительнымъ чистосердечіемъ и милою невинностію. Путешественникъ, напротивъ того, говоритъ какъ восторженный поэтъ. Въ ихъ разговорѣ есть мѣста неизъяснимо-преlestныя. Тутъ видишь, какъ часто два челоуѣка, смотря на одинъ и тотъ же предметъ, говоря о немъ вмѣстѣ, чувствуютъ совсѣмъ различное, и отъ различнаго состоянія души своей смотрятъ другъ на друга съ тайнымъ удивленіемъ. Но чтобы доставить читателямъ удовольствіе слѣдовать за совершенствомъ изложенія, мы будемъ приводить рѣчи разговаривающихъ по порядку одну за другою.

ПУТЕШЕСТВЕННИКЪ.

Благослови Господь
Тебя, младая мать,
И тихаго младенца,
Приникшаго къ груди твоей!

Здѣсь, подѣ скалою,
Въ тѣни оливъ твоихъ пріютныхъ,
Сложивши ношу, отдохну
Отъ зноя близъ тебя.

ПОСЕЛЯНКА.

Ахъ! скажи мнѣ, странникъ,
Куда въ палящій зной
Ты пыльною идешь дорогой?
Товары ль городскіе
Разносишь по селеньямъ?
Ты улыбаулся, странникъ,
На мой вопросъ?

ПУТЕШЕСТВЕННИКЪ.

Товаровъ нѣтъ со мной,
Но вечеръ холодѣтъ;
Скажи мнѣ, поселанка,
Гдѣ тотъ ручей,
Которымъ жажду утоляешь?

ПОСЕЛЯНКА.

Взойди на верхъ горы
Въ кустарникъ тропинкой;
Ты мимо хижины пройдешь,
Въ которой я живу;
Тамъ близко и студеный ключъ,
Которымъ жажду утоляю.

Прелестная простота сего начала сообщаетъ душѣ читателя особенное спокойствіе. Здѣсь все дышитъ тишиною жизни. Младенецъ, принявшій къ груди матери, пріютныя оливы, нагорная

хижина и близъ нея прохладительный ручей — всѣ предметы показываютъ мирное счастье. Сколько истины въ разговорѣ между поселянкою и путешественникомъ! Вопросъ о городскихъ товарахъ даетъ уже понятие о простодушіи поселянки. Она не подозрѣваетъ другой цѣли путешествія, кромѣ какой-нибудь выгоды. Но чѣмъ отвѣчаетъ путешественникъ на ея ошибку? — Одною улыбкою. И могъ ли онъ что-нибудь сказать ей о своемъ поэтическомъ путешествіи? Всего было ближе попросить у нея воды, для утоленія жажды.

Путешественникъ.

Слѣды создательной руки
Въ кустахъ передо мною:
Не ты сіи образовала камни,
Обильно- щедрая Природа!

Поселянка.

Иди впередъ!

Путешественникъ.

Покрытый мохомъ архитравъ....
Я узнаю тебя, творящій геній!
Твоя печать на этихъ мшистыхъ камняхъ.

Поселянка.

Все далѣ, странникъ.

Путешественникъ.

И надпись подъ моей ногой.
Ее затерло время;
Ты удалилось,
Глубоко врѣзанное слово,

Рукой творца нѣмому камню
Напрасно ввѣренный свидѣтель
Минувшаго Богопочтенья!

Быстрые переходы отъ одного чувства къ другому составляютъ совершенство лирической поэзіи. Но они должны быть понятны сердцу образованнаго читателя. Здѣсь переходъ отъ простоты начала къ самому высочайшему восторгу столько же вѣренъ, сколько и прекрасенъ. Этого мѣста невозможно читать безъ восхищенія. Путешественникъ, пораженный драгоцѣнными остатками древнихъ искусствъ, при каждомъ шагѣ приходитъ въ большее изумленіе. Онъ, кажется, ничего не видитъ вокругъ себя, кромѣ создательной руки генія, забываетъ поселянку, не слышитъ словъ ея и бесѣдуетъ съ одними обломками.

Поселянка.

Дивишься, странникъ,
Ты этимъ камнямъ:
Подобныхъ много
Близъ хижины моей.

Путешественникъ.

Гдѣ? гдѣ?

Поселянка.

Тамъ, на вершинѣ,
Въ кустахъ.

Путешественникъ.

Что вижу? Музы и Хариты.

Поселянка.

То хижина моя.

ПУТЕШЕСТВЕННИКЪ.

Обломки храма...

ПОСЕЛЯНКА.

Вблизи бѣжить
И ключъ студеной,
Въ которомъ пью.

Съ какимъ искусствомъ стихотворецъ заставляетъ путешественника принять участіе въ словахъ поселянки! Еслибы разговоръ не былъ поддержанъ симъ оборотомъ, онъ сдѣлался бы однообразенъ и менѣе правдоподобенъ. Безъ намѣренія, повидимому, сказанныя слова о другихъ обломкахъ выводятъ путешественника изъ его размышленія, и пробуждаютъ въ немъ новый восторгъ. Подобныя перемѣны въ ходѣ стихотворенія сообщаютъ ему живость и новыя краски. Надобно замѣтить, какъ великіе писатели, при всѣхъ отступленіяхъ, умѣютъ выдерживать характеры лицъ и ходъ ихъ дѣйствій. Поселянка, пользуясь каждымъ восклицаніемъ путешественника, приближаетъ его вниманіе къ началу ихъ разговора. Еслибы она увлеклась какимъ-нибудь другимъ намѣреніемъ, тогда бы потеряно было единство стихотворенія.

ПУТЕШЕСТВЕННИКЪ.

Не умирая, вѣшь
Ты надъ своей могилою,
О гений! Надъ тобою
Обрушилось во прахъ
Твое прекрасное созданье,
А ты безсмертенъ!

ПОСЕЛЯНКА.

Помедли, странникъ, я подамъ
Сосудъ, напиться изъ ручья.

ПУТЕШЕСТВЕННИКЪ.

И плющъ обвѣсилъ
Твой ликъ, божественно-прекрасный.
Какъ величаво
Надъ этой грудю обломковъ
Возвысилась чета столбовъ!
И здѣсь ихъ одинокій братъ.
О, какъ они —
Печальный мохъ на головахъ священныхъ —
Скорбя величественно смотрятъ
На раздробленныхъ
У ногъ ихъ братій!
Въ тѣни шиповниковъ зеленыхъ,
Подъ камнями, подъ прахомъ,
Лежатъ они, и вѣтеръ
Травой надъ ними шевелить.
Какъ мало дорожишь, Природа,
Ты лучшаго созданья своего
Прекраснѣйшимъ созданьемъ!
Сама святилище свое
Безчувственно ты раздробила
И тернъ постѣяла на немъ.

Картина развалинъ храма представлена здѣсь красками новыми. Смѣлость выраженій удивительна и прекрасна. Поэтъ олицетворяетъ колонны и — въ поэтическомъ своемъ одушевленіи — видитъ въ нихъ собственное чувство горести. Обращеніе къ природѣ не составляетъ одной холодной риторической фигуры, потому что оно слѣдуетъ за такимъ описаніемъ, которое потрясаетъ чувствительность сердца.

ПОСЕЛЯНКА.

Какъ спать, младенецъ мой!
Войдешь ли, странникъ,

Ты въ хижину мою,
Иль здѣсь на волѣ отдохнешь?
Прохладно . . . Подержи дятъ,
А я сосудъ водой наполню.
Спи, мой малютка, спи!

ПУТЕШЕСТВЕННИКЪ.

Прекрасенъ твой покой:
Какъ тихо дышитъ онъ,
Исполненный небеснаго здоровья!
Ты, на святыхъ остаткахъ
Минувшаго рожденный!
О, будь съ тобой его великій геній!
Кого присвоить онъ,
Тотъ въ сладкомъ чувствѣ бытія
Земные дни вкушаетъ.
Цвѣти жъ надеждой,
Весенній цвѣтъ прекрасный!
Когда же отцвѣтешь,
Созрѣй на солнцѣ благодатномъ
И дай богатый плодъ!

ПОСЕЛЯНКА.

Услышь тебя, Господь! А онъ все снитъ!
Вотъ, странникъ, чистая вода
И хлѣбъ, даръ скудный, но отъ сердца!

ПУТЕШЕСТВЕННИКЪ.

Благодарю тебя! . .
Какъ все цвѣтеть кругомъ
И живо зеленѣетъ!

ПОСЕЛЯНКА.

Мой мужъ придетъ

Черезъ минуту съ поля
Домой: останься, странникъ,
И ужинъ съ нами раздѣли.

Путешественникъ.

Жилище ваше здѣсь?

Поселянка.

Здѣсь, близко этихъ стѣнъ,
Отецъ намъ хижину построилъ
Изъ кирпича и каменныхъ обломковъ;
Мы въ ней и поселились.
Меня за пахаря онъ выдалъ
И умеръ на рукахъ у насъ.
Проснулся ты, мое дитя!
Какъ веселъ онъ, какъ онъ играетъ!
О милый!

Стихотворецъ начинаетъ смягчать горестныя чувствованія путешественника. Онъ представляетъ ему невинныя удовольствія простой жизни. Сей переходъ не ослабляетъ занимательности цѣлаго стихотворенія. Надобно было примирить чувствительное сердце съ природою. Еслибы стихотвореніе кончилось тамъ, гдѣ путешественникъ, обращаясь къ природѣ, произноситъ сіи слова:

Сама святилище свое
Безчувственно ты раздробила
И тернъ посѣяла на немъ —

тогда бы ослабѣло участіе наше къ особѣ путешественника. Читатель видѣлъ бы въ немъ пылкаго молодого человѣка, но осторожнаго, который, въ жару своей мечтательности, примѣчаетъ въ природѣ одно разрушеніе и не понимаетъ, какъ легко приобрѣтаются живѣйшія радости наши! Сверхъ того, мысль о превратности или непостоянствѣ всего земного, о неизбѣжной гибели

человѣческихъ трудовъ — слишкомъ обыкновенна и нѣсколько разъ была уже излагаема. Сочинитель хотѣлъ заключить въ этомъ произведеніи такую истину, которая и выше, и новѣе, и утѣшительнѣе. Онъ доказываетъ, что умѣренныя желанія и семейственное спокойствіе могутъ основать наше счастье даже надъ могилами высокихъ надеждъ человѣческихъ!

Путешественникъ.

О вѣчный Сѣятель природы!
 Даруешь всѣмъ ты сладостную жизнь:
 Всѣхъ чадъ своихъ, любя, ты надѣлилъ
 Наслѣдствомъ хижинки пріютной.
 Высоко на карнизѣ храма
 Селится ласточка, не зная,
 Чье пышное созданье застилаетъ,
 Лѣтя свое гнѣздо!
 Червякъ, заткавъ живую вѣтку,
 Готовитъ зимнее жилище
 Своей семьѣ;
 А ты, среди великихъ
 Минушаго развалинь,
 Для нуждъ своихъ житейскихъ,
 Шалашъ свой ставишь, человѣкъ . . .
 И счастливъ надъ гробами!
 Прости, молодая поселанка!

Поселанка.

Уходишь, странникъ?

Путешественникъ.

Да! Богъ благословитъ
 Тебя и твоего младенца!

ПОСЕЛЯНКА.

Прости же! Добрый путь!

ПУТЕШЕСТВЕННИКЪ.

Скажи, куда ведетъ
Дорога этою горою?

ПОСЕЛЯНКА.

Дорога эта въ Кумы.

ПУТЕШЕСТВЕННИКЪ.

Далекъ ли путь?

ПОСЕЛЯНКА.

Три добрыхъ мили.

ПУТЕШЕСТВЕННИКЪ.

Прости!

О, будь моимъ вождемъ, Природа!

Направь мой странническій путь;

Здѣсь, надъ гробами

Священной древности, скитаюсь;

Дай мнѣ найти пріютъ,

Отъ хладовъ сѣвера закрытый,

Чтобъ зной полдневный

Тополевая роща

Веселой сѣнью отвѣвала.

Когда жъ въ вечерній часъ

Усталый возвращусь

Подъ кровъ домашній,

Лучемъ заката позлащенный,

Чтобъ на порогъ моихъ дверей

Ко мнѣ на встрѣчу вышла

Подобно милая супруга

Съ младенцемъ на рукахъ!

Сіе окончаніе довершаетъ прелесть цѣлаго произведенія. Путешественникъ растроганъ самымъ пріятнымъ образомъ. Сколько высокихъ истинъ ему нарисовала простодушная повѣсть поселянки! Кто не остановитъ вниманія на превосходномъ обращеніи поэта къ Создателю? Кто не замѣтитъ поразительныхъ красотъ, каковы, напримѣръ, въ слѣдующихъ мысляхъ:

Высоко на карнизѣ храма
Селится ласточка, не зная,
Чье пышное созданье застилаетъ,
Лѣня свое гнѣздо;

или:

А ты, среди великихъ
Минушаго развалиянь,
Для нуждъ своихъ житейскихъ
Шалапъ свой ставишь, человѣкъ . . .
И счастливъ надъ гробами!

Сочинитель заставляетъ путешественника удалиться съ пріятнѣйшими желаніями и тихими надеждами. Читатель исполняется тѣхъ же чувствованій. Такимъ образомъ, окончивъ чтеніе, онъ не перестаетъ наслаждаться, потому что надежда едва ли не лучшее наслажденіе наше. Последнее дѣйствіе сочиненія сего сравнить можно съ тѣмъ впечатлѣніемъ, которое остается въ душѣ послѣ отрадной бесѣды съ истиннымъ другомъ.

Разсмотрѣвъ ту часть изложенія, которая можетъ назваться внутреннею, мы почитаемъ необходимою упомянуть и о наружной, то есть о языкѣ онаго. Чистота слога, вѣрность и красота выраженій, истинно поэтическіе обороты и необыкновенная краткость, нисколько не потемняющая смысла, но придающая особенную силу мыслямъ, составляютъ отличительное достоинство языка разсматриваемаго нами произведенія. Впрочемъ, не увлекаясь до ослѣпленія совершенствами, мы позволяемъ себѣ сдѣлать замѣчанія на слѣдующія выраженія:

Вблизи бѣжить
И ключъ студеный,
Въ которомъ пью.

По свойству нашего языка, вѣрнѣе бы сказать: *изъ котораго*.

О какъ она —
Печальный мохъ на головахъ священныхъ —
Скорбя величественно, смотреть . . .

Оборотъ сего періода со всѣмъ не соотвѣтствуетъ русскому словосочиненію. Средній стихъ или должно поставить какъ вложенное предложеіііе, или прибавить къ нему причастіе. Въ первомъ случаѣ вышло бы, напримѣръ, такъ:

О какъ они
(Печальный мохъ на ихъ главахъ священныхъ)
Скорбя величественно, смотреть

а во второмъ:

О какъ они,
Покрытые печальнымъ мохомъ,
Скорбя величественно, смотреть . . .
Кого присвоить онъ,
Тотъ въ сладкомъ чувствѣ бытія
Земные дни вкушаетъ.

Послѣдній стихъ слишкомъ изысканъ. Мы говоримъ: *вкушать радость*, но *вкушать дни* (особенно послѣ выраженія: *въ сладкомъ чувствѣ бытія*, которое означаетъ пріятную жизнь) совсѣмъ не употребительно ¹⁾.

¹⁾ Вслѣдствіе этого замѣчанія Жуковский такъ измѣнилъ выраженіе: «Земную жизнь вкушаетъ». Въ позднѣйшихъ изданіяхъ стихотвореніе это озаглавлено: *Путешественникъ и поселянка*.

О вѣчный *Съятель природы!*

Это выраженіе также изыскано и неточно, тѣмъ болѣе что прежде уже нѣсколько разъ *природа* была олицетворяема, и ей приписывались дѣйствія какъ созданія, такъ и разрушенія.

Подробный разборъ превосходныхъ мыслей, которыя рождаются здѣсь почти при каждомъ стихѣ, увлечь бы насъ слишкомъ далеко. Мы съ намѣреніемъ помѣстили здѣсь это все стихотвореніе, чтобы читатели въ состояніи были повѣрить первоначальное замѣчаніе наше на счетъ новостей поэзіи. Они видятъ теперь сами, что *Путешественникъ* есть произведеніе такъ называемой романтической поэзіи, противъ которой безпрестанно гремятъ у насъ многіе журналисты. Если непременно надобно опредѣлить, какого рода это стихотвореніе, мы относимъ оное къ элегическому роду. Пусть докажутъ намъ, что здѣсь нѣтъ тѣхъ совершенствъ, которыми отличаются классическія элегіи; тогда мы согласимся, что романтическая поэзія не заслуживаетъ уваженія. До тѣхъ поръ мы останемся при прежнемъ мнѣніи: всѣ роды хороши, кромѣ скучнаго.

ЭЛЕГІЯ БАТЮШКОВА: УМИРАЮЩІЙ ТАССЪ ¹⁾.

1823.

«Не одна исторія, но живопись и поэзія неоднократно изображали бѣдствія Тасса. Да не оскорбится тѣнь великаго стихотворца, что сынъ угрюмага сѣвера, обязанный *Иерусалиму* лучшими, сладостными минутами въ жизни, осмѣлился принести скучную горсть цвѣтовъ въ ея воспоминаніе!» Вотъ что говоритъ между прочимъ авторъ въ примѣчаніи къ своей элегіи. Любители изящнаго конечно не пропустятъ сихъ словъ безъ особеннаго

¹⁾ Изъ 3-й книжки *Журнала изящныхъ искусствъ* на 1823 годъ (стр. 210).

вниманія. Какой прекрасный предметъ указываетъ стихотворецъ дѣятельному дарованію нашихъ художниковъ! Познакомься даже съ нѣкоторыми только обстоятельствами жизни Тасса, они найдутъ пріятнѣйшую пищу для своего воображенія. Но литераторы особенно должны имѣть предъ глазами сіи строки. Въ нихъ заключается превосходный имъ урокъ. Съ какимъ участіемъ, съ какимъ даже благоговѣніемъ говоритъ авторъ о превосходномъ поэтѣ! Съ другой стороны, какъ онъ строго судитъ собственное произведеніе, которое, по всей справедливости, можно назвать лучшимъ перломъ новѣйшей нашей поэзіи!

Вся жизнь Тасса есть истинная поэзія. Въ нѣкоторомъ смыслѣ его назвать можно Эдипомъ новой исторіи. Младенцемъ онъ при-
нужденъ былъ оставить родину, какъ изгнанникъ. Въ цвѣтущемъ возрастѣ призванный ко двору Альфонса и на мгновеніе облаканный счастіемъ, онъ вдругъ увидѣлъ себя въ мрачномъ заключеніи. Казалось, что неблагоклонная къ нему судьба не давала ему во всю жизнь успокоенія: она переводила безпрестанно свою жертву отъ одного несчастія къ другому.

Но смерть Тасса едва ли не превосходитъ все, что только созидалъ вымыслъ очаровательнаго. Здѣсь, кажется, въ первый разъ исторія своєю поэзією побѣждаетъ роскошную мифологію. Смѣемъ сказать, что если стихотворецъ, рѣшившись изобразить смерть Тасса, чувствуетъ въ себѣ силу исполнить достойнымъ образомъ свое предпріятіе; то онъ превосходный писатель. Когда предметъ въ прозаическомъ своемъ видѣ (если можно такъ выразиться) уже блистаетъ лучшими красотоми поэзіи; то какихъ отъ нея требуется усилій, чтобъ она положила на негѣ собственную печать и возвела его въ свою сферу! Несправедливо думаютъ, что поэзія въ подобномъ случаѣ должна ограничиться вѣрнымъ списываніемъ съ природы. Тогда не будутъ выполнены требованія изящныхъ искусствъ. Въ нихъ ни одно произведеніе не должно оставаться безъ того, что въ ихъ теоріи называется *идеальнымъ*. Самое слово *поэзія* означаетъ *созданіе*, безъ чего она не получаетъ своего имени. Конечно иной родъ поэзіи менѣе тре-

буетъ идеальнаго, другой болѣе: но совѣтъ безъ него невозможно указать ни одного произведенія, которое бы справедливо называлось поэзію. Буколическія стихотворенія ближе другихъ подражаютъ простой природѣ. Но если въ нихъ поэтъ совершенно отвергнетъ идеальное, то простота его превратится въ грубость, а поэзія въ испорченную прозу. Причина сего очень понятна: природа созидаетъ для многихъ цѣлей, а изящныя искусства для одной.

Исторія указала нашему автору величайшаго поэта Италіи, который въ превосходной поэмѣ прославилъ доблести христіанскихъ витязей (происшествіе, едва ли не единственное въ новѣйшей исторіи, по богатству предметовъ для эпоса), который привлекъ къ себѣ все, что послѣдуетъ за величайшею славой: удивленіе, любовь, зависть и гоненіе, который потерю личной свободы и омраченіемъ разума заплатилъ ужасную дань исполинскимъ успѣхамъ своего генія, который голосомъ цѣлой Италіи вызванъ былъ изъ убійственнаго своего жилища къ торжеству единственному и извѣстному только въ стѣнахъ гордаго Рима; который наконецъ неумолимою смертію похищенъ отъ устремленныхъ на него взоровъ признательности наканунѣ счастливѣйшаго дня бурной своей жизни. Нашъ поэтъ, не отступая отъ исторической истины, ея повѣтствованіе представилъ въ *дѣйствіи*. Въ лирическомъ стихотвореніи онъ не могъ заключить болѣе нѣсколькихъ часовъ изъ жизни славнаго страдальца, и выбралъ самые послѣдніе. Его создательное воображеніе не забыло ни одного предмета, которые должны были служить къ довершенію полноты и прелести цѣлаго произведенія. Въ немъ каждая часть есть оконченная, превосходная картина, въ которой самый взыскательный вкусъ не находитъ почти ни одного недостатка.

Вотъ начало сей элегій:

Какое торжество готовить древній Римъ?

Куда текутъ народа шумны волны?

Къ чему сихъ ароматъ и мирры сладкій дымъ,

Душистыхъ травъ кругомъ кошицы полны?

До Капитолія отъ Тибровыхъ валовъ,
 Надъ стогнами всемірныя столицы,
 Къ чему раскинуты, средь лавровъ и цвѣтовъ,
 Безцѣнные ковры и багряницы?
 Къ чему сей шумъ? Къ чему тимпановъ звукъ и громъ?
 Веселья онъ, или побѣды вѣстникъ?
 Почто съ хоругвией течетъ въ молитвы домъ
 Подъ митрою апостоловъ намѣстникъ?
 Кому въ рукѣ его сей зыблется вѣнецъ,
 Безцѣнный даръ признательнаго Рима?
 Кому триумфъ? Тебѣ, божественный пѣвецъ!
 Тебѣ сей даръ, пѣвецъ Ерусалима!

Первая прелесть языка поэзіи состоитъ въ такъ называемой *пластической красотѣ*. Изложеніе метафизическихъ идей, сколько бы ни были онѣ тонки и занимательны, охлаждаетъ поэзію. Въ приведенныхъ стихахъ только первый заключаетъ въ себѣ отвлеченное понятіе: *торжество*. Далѣе нѣтъ ни одного предмета, который бы не былъ осязательнымъ. Вотъ что заключается въ столь извѣстномъ правилѣ Горация: *ut pictura poësis!* Разсматривая огромную картину цѣлаго Рима, который готовится къ торжеству, невозможно надивиться довольно, какъ умѣлъ стихотворецъ заключить ее въ такой тѣсной рамѣ! Между тѣмъ, въ ней ничто не забыто. Напрасно будетъ искать воображеніе, чѣмъ бы ее пополнить. Часто у стихотворцевъ, въ подобныхъ описаніяхъ, встрѣчаются *общія мѣста*, такъ что многіе предметы, упоминаемые при изображеніи Рима, безъ труда можно перенести въ Москву или Пекинъ. Это составляетъ недостатокъ мѣстности. Здѣсь, напротивъ того, все переноситъ читателя въ столицу древняго міра. Стихотворецъ могъ бы изложить всѣ свои мысли не въ видѣ вопросовъ, но утвердительно. Тогда его картина лишилась бы прелестнаго своего движенія, которое восхищаетъ насъ, подобно зрѣлищу живыхъ существъ въ панорамахъ. Здѣсь видишь любопытнаго путешественника, который быстро ходитъ по стогнамъ Рима, на все смот-

рить съ удивленіемъ и хочетъ узнать причину всеобщаго торжества.

Но гдѣ же тотъ, для кого весь Римъ стекается въ Капитолій?

И шумъ веселія достигъ до кельи той,
 Гдѣ борется съ кончиною Торквато,
 Гдѣ надъ божественной страдальца головой
 Духъ смерти носится крылатой.
 Ни слезы дружества, ни иноковъ мольбы,
 Ни почестей столь позднія награды,
 Ничто не укротитъ желѣзныя судьбы,
 Не знающей къ великому пощады.
 Полуразрушенный, онъ видитъ грозный часъ,
 Съ веселіемъ его благословляетъ,
 И, лебедь сладостный, еще въ послѣдній разъ
 Онъ съ жизнію прощаясь, восклицаетъ...

Переходъ поразительный отъ картины шумнаго веселія къ мрачной кельѣ умирающаго! Только истинное одушевленіе такъ легко, свободно и, между тѣмъ, такъ естественно переходить можетъ отъ одного предмета къ другому. Безъ лирическаго восторга души, никакое напряженіе, никакое усиліе ума не наведетъ на сіи блестящія красоты, которыя заключаются въ быстромъ теченіи мыслей. Трудно понять, какъ мгновенно стихотворецъ оставилъ многолюдную толпу народа и привлекъ все наше вниманіе къ одру полуразрушеннаго Тасса. Онъ умѣлъ воспользоваться счастливымъ случаемъ, и намъ изложилъ мимоходомъ важную моральную истину:

Ничто не укротитъ желѣзныя судьбы,
 Не знающей къ великому пощады.

Если такое изреченіе поставить отдѣльно отъ предмета, поэтически изображеннаго, или начать имъ періодъ; то оно, само по себѣ, какъ холодная и отчасти странная мысль, покажетъ не-

достатокъ чувства и не произведетъ никакого дѣйствія. Нравовученіе лирической поэзіи только тогда и бываетъ на своемъ мѣстѣ, когда оно неумышленно и, такъ сказать, невольно. Надобно ли останавливаться на такихъ счастливыхъ украшеніяхъ, каково напримѣръ сравненіе умирающаго поэта съ *лебедемъ сладостнымъ*? Сего рода красотами исполнено все разсматриваемое нами стихотвореніе.

По нашему мнѣнію, самая смѣлая родилась мысль у автора при составленіи сего сочиненія, когда онъ въ лирическомъ стихотвореніи заставилъ вмѣсто себя говорить самого Тасса. Онъ отважился быть на время тѣмъ лицомъ, которое прежде только описывалъ. Для исполненія сей мысли, ему надобно было принять въ душу свою все то, что чувствовалъ вдохновенный страдалецъ. Въ драматическомъ стихотвореніи ходъ дѣйствія облегчаетъ труды автора. Рѣчи дѣйствующихъ лицъ становятся занимательнѣе по мѣрѣ того, какъ ихъ намѣренія приближаются къ своему исполненію. Но здѣсь нѣтъ другого дѣйствія, кромѣ изображенія чувствованій. Въ поэтическомъ одушевленіи легко изображать свои чувствованія, потому что они колеблютъ нашу душу. За другого легче думать, а не чувствовать. Первое зависитъ отъ соображенія, всѣмъ намъ общаго, а послѣднее отъ особенной способности принимать впечатлѣнія. Такимъ образомъ стихотворецъ подвергался здѣсь опасности навести скуку читателямъ, еслибы онъ вдался въ холодныя или неумѣренно-пламенные восклицанія. Сверхъ того, чтобы говорить за Тасса, когда онъ въ самомъ трогательномъ положеніи, надобно было соблюсти все очарованіе поэзіи, которая у него неподражаема; прибавимъ: надобно было упитаться духомъ его Освобожденнаго Іерусалима и всею сладостію Італіи. Послѣ всего сказаннаго нами невозможно безъ особеннаго удивленія читать, какъ превосходно исполнилъ авторъ отважную мысль свою:

Друзья! о, дайте мнѣ взглянуть на пышный Римъ,
Гдѣ ждетъ пѣвца безвременно кладбище!

Да встрѣчу взорами холмы твои и дымъ,
 О древнее квиритовъ пепелище!
 Земля священная героевъ и чудесь!
 Развалины и прахъ краснорѣчивый!
 Лазурь и пурпуры безоблачныхъ небесъ,
 Вы, тополи, вы, древнія оливы,
 И ты, о вѣчный Тибръ, поитель всѣхъ племень,
 Засѣянный костями гражданъ вселенной:
 Васъ, васъ привѣтствуетъ изъ сихъ унылыхъ стѣнъ
 Безвременной кончинѣ обреченный!

Авторъ заставилъ Тасса прежде всего обратиться къ Риму, что всего естественнѣе. Для поэта Италіи Римъ навсегда останется источникомъ вдохновенія: тамъ онъ почерпаетъ для себя все высокое и прекрасное. Но Тассъ имѣетъ особенную причину привѣтствовать Римъ передъ своею смертію: въ немъ созрѣла послѣдняя и сладчайшая отрада бѣдственной его жизни. Между тѣмъ, кто не замѣтитъ особеннаго искусства, съ какимъ нашъ поэтъ начерталъ новую картину сего города? Нѣтъ въ ней повторенія: здѣсь живыми красками означены только тѣ предметы, которые священны для поэта. Роскошная природа и величественная древность составляютъ все, къ чему стремится душа его, улетающая въ другой міръ.

Въ минуты послѣдняго боренія съ жизнію, кто не пробѣжитъ воспоминаніемъ протекшаго своего времени? Или, какъ говорить поэтъ:

Кто въ часъ послѣдній свой симъ міромъ не плѣнялся,
 И взора томнаго назадъ не обращалъ? ¹⁾

Такимъ образомъ Тассъ, чувствуя, что онъ не въ состояніи пересилить неблагоприятной къ нему судьбы, что онъ не насла-

¹⁾ Сельское кладбище, элегія Жуковскаго.

дится послѣднимъ и единственнымъ утѣшеніемъ, которое пригото-
вила для него поздняя признательность, начинаетъ исчислять
всѣ свои прежнія страданія и тѣмъ произносить послѣдній упрекъ
своему счастью:

Свершилось! Я стою надъ бездной роковой
И не вступлю при плескахъ въ Капитолій;
И лавры славные надъ дряхлой головой
Не усладятъ пѣвца свирѣпой доли.
Отъ самой юности игралище людей,
Младенцемъ былъ уже изгнанникъ;
Подъ небомъ сладостнымъ Италіи моей
Скитаяся, какъ бѣдный странникъ,
Какихъ не испыталъ превратностей судьбы?
Гдѣ мой челнокъ волнами не носился?
Гдѣ успокоился? Гдѣ мой насущный хлѣбъ
Слезамъ скорби не кропился?
Соренто, колыбель моихъ несчастныхъ дней,
Гдѣ я въ ночи, какъ трепетный Асканій,
Отторженъ былъ судьбой отъ матери моей,
Отъ сладостныхъ объятій и лобзавій!
Ты помнишь, сколько слезъ младенцемъ пролилъ я!
Увы, съ тѣхъ поръ, добыча злой судьбины,
Всѣ горести узналъ, всю бѣдность бытія!
Фортуною изрытыя пучины
Разверзлись подо мной и громъ не умолкалъ.
Изъ веси въ весь, изъ *странъ* ¹⁾ въ страну гонимый,
Я тщетно на земли пристанища искалъ:
Повсюду перстъ ея неотразимый,
Повсюду молніи, карающей пѣвца ²⁾.

¹⁾ Если бы здѣсь можно было поставить: изъ страны, то выраженіе
сдѣлалось бы точнѣе и правильнѣе. П. П.

²⁾ Во всей элегіи только сіи два стихи мы находимъ менѣе совершенными
другихъ. Если въ первомъ стихѣ мѣстоименіе *ея* отнести (какъ и должно по
пунктуациі оригинала) къ слову: *Фортуна*; то второй стихъ совершенно поте-

Ни въ хижинѣ оратая простого,
 Ни подъ защитою Альфонсова дворца,
 Ни въ тишинѣ безвѣстнѣйшаго крова,
 Ни въ дебряхъ, ни въ горахъ, не спасъ главы моей,
 Безславіемъ и славой удрученной,
 Главы изгнанника, отъ колыбельныхъ дней
 Карающей богинѣ обреченной ...
 Друзья! Но что мою стѣсняетъ страшно грудь?
 Что сердце такъ и ноетъ и трепещетъ?
 Откуда я? Какой прошелъ ужасный путь,
 И что за мной еще во мракѣ блещетъ?
 Феррара ... Фурія ... и зависти змія!...
 Куда, куда, убійцы дарованья?
 Я въ пристани: здѣсь Римъ; здѣсь братья и семья;
 Вотъ слезы ихъ и сладки лобызанья ...
 И въ Капитоліи Virgilіевъ вѣнецъ!

Поэтическое повѣствованіе, не отступая отъ историческаго, должно имѣть свой характеръ, свои красоты, свою цѣль. Стихотворецъ гораздо быстрѣе историка переходить отъ одной эпохи къ другой. Между тѣмъ онъ обращаетъ вниманіе свое не столько на число происшествій, сколько на подробности нѣкоторыхъ. Чѣмъ сильнѣе разсказъ его поражаетъ воображеніе и чувства, тѣмъ

рѣетъ смыслъ. Если же это мѣстоименіе относится къ слову: *молнія* во второмъ стихѣ; то олицетвореніе молвіи, карающей перстомъ своимъ человѣка, ослабляетъ ея дѣйствіе въ естественномъ видѣ; притомъ же оборотъ сего періода становится не совсѣмъ русскимъ. У насъ многіе первоклассные поэты употребляютъ личное мѣстоименіе прежде имени, какъ здѣсь: «повсюду перстъ ея ... повсюду молнія», наприм. А Пушкинъ:

Она прошла, пора стиховъ ...

или, онъ же:

Ты ихъ узнала дѣва горъ ...

Но такое словосочиненіе свойственнѣе, кажется, французскому языку. съ котораго оно и взято въ русскій, какъ наприм:

Elle a vécu, Myrto, la jeune Tarentine ... Chénier.

Ils ne sont plus, ces jours délicieux ... Parny. — П. П.

онъ прекраснѣе. Одною рѣзкою чертою, которая должна глубоко впечатлѣться на памяти читателя, поэтъ замѣняетъ исчисленіе случаевъ, по обстоятельствамъ подразумеваемыхъ. Историческій рассказъ наводитъ на какую-нибудь важную истину, которая сама собою должна образоваться въ умѣ читателя. Рассказъ поэзіи хочетъ доставить намъ благородное, высокое наслажденіе, каковы на примѣръ слезы состраданія, чистая радость, непритворное умиленіе и тому подобное. Примѣняя сіи общія правила къ изображенію жизни Тасса, начертанному поэтомъ нашимъ, мы видимъ, какъ онъ ясно постигалъ всѣ тайны поэтического искусства. У него соблюдена удивительная полнота въ цѣломъ. Онъ принялъ своего героя отъ колыбели и провелъ передъ нами чрезъ все поприще его жизни. Воображеніе съ такою легкостію за нимъ слѣдуетъ, что успѣваетъ дать отчетъ разсудку въ каждомъ возрастѣ Тасса. И что еще болѣе? Языкъ Тасса перемѣняется по мѣрѣ того, какъ онъ начинаетъ приходить къ какому-нибудь новому обстоятельству въ своей жизни. Обращеніе къ Соренто, мѣсту его рожденія, есть образецъ трогательнаго. Въ Феррарѣ онъ на нѣкоторое время приходитъ въ то изступленіе, которое положило мрачную печать на сей періодъ его жизни. Вотъ въ чемъ состоитъ естественность поэзіи! Мы увѣрены, что приведенные стихи не выходятъ изъ устъ Тасса: однако слѣно соглашаемся, что онъ иначе не сталъ бы говорить о себѣ. Нашъ поэтъ такъ изучилъ напередъ свой предметъ, что привелъ нѣкоторыя мѣста точно изъ сочиненій Тасса, какъ на примѣръ: сравненіе его съ Асканіемъ. Въ поэзіи встрѣчаются иногда самыя простыя выраженія, которыя однакожь такъ удачно бываютъ употреблены, что чѣмъ больше ихъ разсматриваешь, тѣмъ болѣе находишь прекрасными. Это можно чувствовать, прочитавши стихъ:

Подъ небомъ сладостнымъ *Италіи моей*.

Тассъ называетъ Италію *своею* въ томъ смыслѣ, что онъ въ ней родился. Между тѣмъ сколько еще другихъ понятій, при этомъ выраженіи, пробуждается въ душѣ читателя! Тассъ дол-

женъ назвать Италію *своею*, потому что невозможно произнести имени страны сей, не вспоминая той славы, которую онъ ей доставилъ, тѣхъ страданій, которыя онъ въ ней перенесъ и которыя также слились съ ея именемъ, наконецъ тѣхъ почестей, которыя она ему воздать готовилась. Итакъ одно слово становится источникомъ безчисленнаго множества другихъ мыслей. Еслибы мы могли предаться подробному разбору стиховъ, то подобныя красоты находили бы въ каждомъ періодѣ.

Такъ, я свершилъ назначенное Фебомъ:
Отъ первой юности его усердный жрецъ,
Подъ молніей, подъ разъяреннымъ небомъ,
Я пѣлъ величіе и славу прежнихъ дней,
И въ ухахъ я душой не измѣнился.
Музъ сладостный восторгъ не гасъ въ душѣ моей,
И геній мой въ страданьяхъ укрѣпился.
Онъ жилъ въ странѣ чудесъ, у стѣнъ твоихъ, Сіонъ,
На берегахъ цвѣтущихъ Іордана,
Онъ вопрошалъ тебя, мутящійся Кедронъ,
Васъ, мирныя убѣжища Ливана!
Предъ нимъ воскресли вы, герои древнихъ дней,
Въ величій и въ блескѣ грозной славы:
Онъ зрѣлъ тебя, Готфредъ, владыка, вождь царей,
Подъ свистомъ стрѣлъ, спокойный, величавый;
Тебя, младый Ринальдъ, кипящій какъ Ахиллъ,
Въ любви, въ войнѣ счастливый побѣдитель:
Онъ зрѣлъ, какъ ты леталъ по трупамъ вражьихъ силъ,
Какъ огонь, какъ смерть, какъ ангель-истребитель...
И тартаръ низложенъ сіяющимъ крестомъ!
О, доблести неслышанной примѣры!
О, нашихъ праотцевъ, давно почившихъ сномъ,
Тріумфъ святой, побѣда чистой вѣры!
Торквато васъ исторгъ изъ пропасти временъ:
Онъ пѣлъ — и вы не будете забвенны;

Онъ пѣлъ: ему вѣнецъ безсмертья обреченъ,
 Рукою музъ и славы сплетенный.
 Но поздно: я стою надъ бездной роковой
 И не вступлю при плескахъ въ Капитолій,
 И лавры славные надъ дряхлой головой
 Не усладятъ пѣвца свирѣпой доли!

Побѣда надъ всѣми несчастіями, которыя преслѣдовали насъ въ жизни, рождаетъ въ душѣ благородную гордость. Съ какимъ-то удовольствіемъ воспоминаешь прошедшія горести, если чувствуешь, что достоинство человѣка въ борьбѣ съ напастями ничѣмъ не было унижено. Но еще болѣе наслажденія въ подобныхъ воспоминаніяхъ, когда дѣянія наши остались немолчными памятниками нашей славы и укоризною врагамъ нашимъ. Вотъ почему здѣсь находимъ мы перемѣну въ ходѣ разсматриваемаго нами стихотворенія. Тассъ не могъ сокрыть въ душѣ своей, сколько онъ перенесъ страданій отъ судьбы и отъ людей. Какъ человѣкъ, онъ въ слезахъ жаловался на жизнь свою. Но вдругъ, исполнясь одушевленія, онъ является поэтомъ, и бѣдствія жизни исчезаютъ. Онъ видитъ одно прекрасное, одно великое, къ чему онъ стремился и чего достигнулъ. Кто упрекнетъ его въ мелкомъ самолюбіи, когда онъ говорить:

Такъ, я свершилъ назначенное Фебомъ!

Это чувство, внушаемое тѣмъ гениемъ, который разрѣшаетъ поэта отъ земныхъ узъ и возноситъ его въ высшую сферу, гдѣ нѣтъ ни гордости, ни зависти; гдѣ истина, забывая всѣ ничтожныя отношенія земной личности, не стыдится говорить о своемъ достоинствѣ! Здѣсь говорить тотъ же гений, который извлекъ изъ устъ Горациа:

Exegi monumentum aere perennius,
 Regalique situ pyramidum altius . . .

и Державина:

Враговъ моихъ червь кости сглохнетъ:
А я поэтъ — и не умру.

Пѣвецъ Іерусалима виденъ здѣсь въ каждомъ стихѣ. Священныя мѣста, на которыхъ ратовали его герои, цвѣтутъ передъ нами. Христіанскіе витязи, со всѣми, самыми малѣйшими, оттѣнками характеровъ, изображены въ нѣсколькихъ строкахъ. Но изнеможеніе страдальца беретъ верхъ надъ его минутнымъ одушевленіемъ, и онъ невольно обращается къ первому, горестному своему чувству, *но поздно*:

Умолкъ. Унылый огонь въ очахъ его горѣлъ,
Послѣдній лучъ таланта предъ кончиной;
И умирающій, казалось, хотѣлъ
У Парки взять тріумфа день единый.
Онъ взоромъ все искалъ капитолійскихъ стѣнъ,
Съ усиліемъ еще приподнимался;
Но, мукой страшною кончины изнуренъ,
Недвижимый на ложѣ оставался.
Свѣтило дневное ужъ къ западу текло
И въ заревѣ багрянномъ утало;
Часъ смерти близился ... и мрачное чело
Въ послѣдній разъ страдальца просіяло.
Съ улыбкой тихою на западъ онъ глядѣлъ ...
И, оживленъ вечернею прохладой,
Десницу къ небесамъ внимающимъ воздѣлъ,
Какъ праведникъ, съ надеждой и отрадой.

Сколько жизни въ картинѣ умирающаго! Прочитавъ сіи стихи, можно чувствовать все превосходство поэзіи передъ живописью и скульптурою. Поэтъ, изображая одну минуту, властенъ дать нѣсколько положеній своему предмету, между тѣмъ

какъ живописецъ или скульпторъ принужденъ ограничиться однимъ.

Онъ взоромъ все искалъ капитолійскихъ стѣнъ
Съ усиленіемъ еще приподнимался.

Превосходное движеніе! Оно такъ живо, такъ естественно и такъ трогательно, что читатель готовъ бы пожертвовать собственною силою, чтобъ сообщить ее страждущему.

Но, мукой страшною кончины изнуренъ,
Недвижимый на ложѣ оставался.

Это положеніе приковываетъ взоръ къ ложу Тасса. Чувствительный не можетъ прочесть безъ слезъ послѣдняго стиха.

И, оживленъ вечерною прохладой,
Десницу къ небесамъ внимающимъ воздѣлъ,
Какъ праведникъ, съ надеждой и отрадой.

Вотъ торжество христіанской поэзіи передъ языческою. Какъ ясна и понятна отрадная надежда умирающаго христіанина. Онъ только одинъ можетъ видѣть небеса *внимающими*.

Смотрите, онъ сказалъ рыдающимъ друзьямъ,
Какъ царь свѣтилъ на западѣ пылаеть!
Онъ, онъ зоветъ меня къ безоблачнымъ странамъ,
Гдѣ вѣчное свѣтило засіяетъ ...
Ужъ ангелъ предо мной, вожатай оныхъ мѣстъ;
Онъ осыпалъ меня лазурными крылами ...
Приближьте знакъ любви, сей таинственный крестъ...
Молитесь съ надеждой и слезами!
Земное гибнетъ все: и слава, и вѣнецъ,
Искусствъ и музъ творенья величавы;

Но тамъ все вѣчное, какъ вѣченъ самъ Творецъ,
 Податель намъ вѣнца не брэнной славы!
 Тамъ все великое, чѣмъ духъ питался мой,
 Чѣмъ я дышалъ отъ самой колыбели.
 О братья, о друзья! Не плачьте надо мной:
 Вашъ другъ достигъ давно желанной цѣли.
 Отыдеть съ миромъ онъ — и, вѣрой укрѣпленъ,
 Мучительной кончины не примѣтитъ:
 Тамъ, тамъ . . . о счастье! . . . средь непорочныхъ женъ,
 Средь ангеловъ, Элеонора встрѣтитъ!

Еслибы стихи сіи заставилъ авторъ произнести другого поэта, а не Тасса; то можетъ-быть, они показались бы нѣсколько выше произносящаго лица; но въ устахъ пѣвца Іерусалима они дышатъ истиною. Кто посвятилъ талантъ свой прославленію христіанскихъ доблестей, тотъ долженъ былъ чувствовать ничтожество всего земного и предпочитать ему небесное. Его поэма исполнена высочайшаго ученія христіанскаго. Пустынникъ Петръ повсюду является какъ вдохновенный провозвѣстникъ онаго. Въ одномъ мѣстѣ онъ говоритъ Ринальду, приготавливающемуся напасть на очарованный лѣсъ волшебника Исмена: «Сколько ты обязанъ Всевышнему! Его рука спасла тебя; она спасла заблудшую овцу и причислила ее къ своему стаду. Но ты покрытъ еще тиною міра, и самыя воды Нила, Гангеса и океана не могутъ очистить тебя: одна благодать совершить сіе». Въ другомъ Годофреду, желающему предпринять осаду города: «Ты приготовляешь земныя орудія, а не начинаешь, откуда надлежитъ. Начало всего на небѣ. Умоляй ангеловъ и полки святыхъ; подай примѣръ набожности войску!» Но авторъ нашъ совсѣмъ отступилъ бы отъ исторической истины, еслибы заставилъ Тасса забыть объ Элеонорѣ. Любовь непорочная не противорѣчитъ набожности. Напротивъ, онѣ, кажется, поддерживаютъ себя взаимно. Кто вѣритъ, тотъ любитъ со всею чистотою сердца; а кто любитъ, тотъ желаетъ лучшей жизни. Сіи два чувства и стремленіе къ славѣ со-

ставляли душу Тасса. Надобно только замѣтить, съ какимъ искусствомъ поэтъ изъяснился въ семъ случаѣ! Какое благородство придалъ онъ земной страсти! Она уже болѣе не земная: она сливается съ высокими, чистѣйшими надеждами умирающаго христіанина.

И съ именемъ любви божественный погасъ;
 Друзья надъ нимъ въ безмолвіи рыдали.
 День тихо догоралъ . . . и колокола гласъ
 •Разнесъ кругомъ по стогнамъ вѣсть печали.
 Погибъ Торквато нашъ, воскликнулъ съ плачемъ Римъ:
 Погибъ пѣвецъ, достойный лучшей доли!
 Наутро факеловъ узрѣли мрачный дымъ —
 И трауромъ покрылся Капитолій.

Сими стихами оканчивается элегія: окончаніе быстрое, такъ сказать, внезапное; но въ немъ встрѣчаешь всѣ предметы, которые видѣлъ въ продолженіе цѣлаго стихотворенія — и каждый предметъ въ надлежащемъ положеніи. Безмолвно рыдающіе друзья, Римъ, громко оплакивающій участь славнаго несчастливца, и Капитолій, покрывшійся трауромъ, живо рисуются въ воображеніи нашемъ и повергаютъ душу въ то мучительное и вмѣстѣ сладостное самозабвеніе, когда ей такъ отрадны невольны льющіяся слезы. Вотъ что составляетъ торжество сего рода элегій.

Мы полагаемъ, что *Умирающій Тассъ* есть лучшее стихотвореніе Батюшкова. Его всѣ сочиненія отличаются необыкновенно-счастливымъ созданіемъ: въ нихъ мысли и чувства поражаютъ читателя своею истинною, ясностію и легкостію; ходъ ихъ всегда живъ и точно обдуманъ. Но нигдѣ столько не возможно удивляться превосходному составу стихотворенія, какъ въ *Умирающемъ Тассѣ*. Едва ли есть на какомъ-нибудь языкѣ элегія, которая бы, подобно разсматриваемой нами, соединяла въ себѣ

столько высокаго, трогательнаго и прекраснаго. Однимъ словомъ: какъ цѣлое, она совершенна. Мы хотѣли - было привести что-нибудь сюда въ сравненіе изъ элегій Овидія на *смерть Тибулла*; но, разсмотрѣвъ ее внимательнѣе, находимъ, что она (да не оскорбится тѣнь Назона!) должна уступить *Умирающему Тассу*. Болѣе половины, Овидій наполнилъ одними холодными восклицаніями и разсужденіями о превратности всего земнаго. На концѣ только отдѣланы у него двѣ занимательныя картины: плачь матери, сестры и Делія съ Немезидою надъ умирающимъ Тибулломъ — и прибытіе его въ Елисейскія поля. Между тѣмъ, у нашего поэта нѣтъ ни одного мѣста въ элегій, которое бы не составляло превосходной картины, или не заключало въ себѣ самаго трогательнаго чувства.

Напрасно стали бы говорить объ отдѣлкѣ стиховъ въ *Умирающемъ Тассѣ*. Благородство, ясность и точность выраженій, полнота періодовъ и гармонія стиховъ — неподражаемы. Мы съ увѣренностію готовы сказать: кто одинъ разъ прочтетъ это произведеніе, тотъ станетъ до тѣхъ поръ перечитывать оное, пока всего не будетъ знать наизусть.

АНАКРЕОНТИЧЕСКАЯ ОДА ДЕРЖАВИНА: МЕЧТА ¹⁾.

1824.

Исторія, передавая намъ имена великихъ людей древности, не забыла объ Анакреонѣ. Мы съ дѣтства привыкаемъ повторять это имя, упоминая о Солонѣ, Пиндарѣ, Аристидѣ, Софоклѣ и проч. Можно спросить: что общаго между Анакреономъ и сими людьми? Пусть полководцы и законодатели сіяютъ въ лѣтописяхъ государствъ: они защищаютъ и поддерживаютъ бытіе народовъ. Пусть, провозвѣстники геройской славы, пробудители высокихъ чувствованій, поэты возвышенные украшаютъ своими именами разсказъ историческій. Они имѣютъ на то двоякое право: при жизни своей они поучали народъ, а по смерти прославляютъ его. Но кто былъ Анакреонъ? Еслибы этотъ вопросъ не мы сами предложили себѣ, то въ отвѣтъ привели бы только стихи Державина, въ которыхъ онъ такъ живо изображаетъ сего поэта:

Цари къ себѣ его просили
 Поѣсть, попить и погостить;
 Таланты злата подносили,
 Хотѣли съ нимъ друзьями быть;
 Но онъ покой, любовь, свободу
 Чинамъ, богатству предпочелъ;
 Средь игръ, веселій, хороводу,
 Съ красавицами вѣкъ провелъ;
 Бесѣдовалъ, рѣзвился съ ними,
 Шутилъ, пѣлъ пѣсни и взыхалъ,
 И шутками себѣ такими
 Вѣнецъ безсмертія снискалъ ²⁾.

¹⁾ Изъ XXV части *Трудовъ Вольнаго Общества любителей російской словесности*, стр. 111.

²⁾ *Соч. Державина* II², 149.

Соч. Плетнева.

Для наблюдений критики Анакреонъ представляет собою прекрасный и поучительный предметъ. Можетъ-быть, произведенія поэзіи никогда еще не сокрывали подъ самыми нѣжными цвѣтами столько философій, сколько находится оной въ анакреоновыхъ одахъ. По душѣ своей онъ былъ любезный мудрецъ. На природу и человѣка смотрѣлъ онъ такъ, какъ можетъ смотрѣть глубоко-мысленный наблюдатель. Самыя сокровенныя тайны сердца нашего и вѣчное дѣйствіе физической природы на душу человѣка для него не были загадкою. Но этотъ умъ, самъ по себѣ обширный и свѣтлый, соединенъ былъ съ живымъ, цвѣтущимъ, роскошнымъ воображеніемъ и удивительною чувствительностію сердца. Характеръ его, отпечатокъ главнѣйшихъ тѣлесныхъ и душевныхъ качествъ, выражалъ какую-то младенческую безпечность, веселость юношества и неизмѣнную склонность къ тихимъ удовольствіямъ. Сія главные черты, даже слишкомъ легко брошенныя, даютъ возможность изъяснить: во-первыхъ, отчего исторія включила Анакреона въ число великихъ людей; во-вторыхъ, отчего избралъ онъ въ словесности такой путь, который съ перваго взгляда легко покажется предосудительнымъ для нравственности.

Всѣ отрасли наукъ и художествъ составляютъ одинъ кругъ, въ которомъ заключаются послѣдствія опытовъ и умозрѣній, плоды человеческой мудрости. Люди, способствовавшіе видимымъ образомъ къ распространенію сего круга, вездѣ пользовались уваженіемъ и любовію народовъ. Строгая философія стоиковъ и привлекательная мудрость Платона шли рядомъ, не препятствуя одна другой и не лишая права на безсмертіе въ народной памяти тѣхъ великихъ людей, изъ которыхъ каждый мыслилъ по-своему. Омеръ, повидимому обнявшій всѣ красоты поэзіи, не помѣшалъ Пиндару или Софоклу занять блистательныя мѣста въ исторіи словесности, потому что они открыли новыя удовольствія ума и вкуса. Анакреонъ сдѣлалъ то же. Нѣжная, чистая и образованная душа понимаетъ всю цѣну того состоянія, когда она, въ нѣкоторомъ утомленіи отъ требованій и пожертвованій

гражданской жизни, предается природѣ, отдыхаетъ на волѣ и оживляется пріятливою улыбкою любви и дружбы. Изъ этого состоянія души Анакреонъ заимствовалъ большую часть предметовъ для своихъ одъ. Предаваясь разсматриванію его поэзіи, чувствуешь, что она, при всей маловажности содержанія, имѣетъ свое преимущество передъ другими родами. Чтобы раздѣлять восторги Пиндара, надобно прежде пріобрѣсть гражданскую образованность и понять благодѣтельные условія жизни въ государствѣ; но тихія радости души, изображаемыя Анакреономъ, доступны каждому человѣку, въ какомъ бы онъ ни родился состояніи. Такимъ образомъ эта прекрасная область поэзіи до него была неизвѣстною. Греки, строгіе, но вмѣстѣ и нѣжные цѣнители всего изящнаго, почувствовали цѣну его генія, и Анакреонъ столько же у нихъ былъ уважаемъ, а можетъ-быть и болѣе, сколько въ послѣдствіи времени Лафонтенъ во Франціи.

Поэзія есть языкъ сердца. Въ ней отражаются чувстваванія, производимыя въ насъ внѣшними предметами. Характеръ поэзіи зависитъ отъ характера человѣка, подобно какъ цвѣтное стекло, сквозь которое мы смотримъ, наводитъ свой цвѣтъ на всѣ предметы. Въ глазахъ Анакреона все должно было получать улыбающійся видъ, нѣкоторую игривость, нѣкоторую безпечность и нѣгу, потому что таковъ былъ его характеръ. Съ понятіемъ юности въ его воображеніи рисовались разныя утѣхи и радости, въ которыхъ свѣтитса невинное сердце. Представляя старость, онъ начиналъ чувствовать сладостное успокоеніе отъ заботъ жизни, счастливую лѣнь, какъ награду за долготѣнныя труды. Общество друзей для него было братскимъ соединеніемъ, гдѣ видѣлъ онъ одну душу, равное желаніе веселья и счастія. Однимъ словомъ, не было предмета, который бы воображеніе Анакреона не осыпало розами. Итакъ можно ли предположить, чтобы этотъ человѣкъ скрывалъ тайное намѣреніе ослѣпить умы и опутать невинность сѣтями разврата?

Одно испорченное сердце каждую веселую шутку обращаетъ въ дурную сторону. Приведемъ слова одного изъ классическихъ

писателей, о которомъ Батюшковъ ¹⁾ сказалъ, что *въ его видѣ, казалось, посылалъ землю одинъ изъ сихъ свѣтильниковъ философіи, которые нѣкогда рождались подъ счастливымъ небомъ Аттики для развитія практической и умозрительной мудрости, для утѣшенія и назиданія человечества краснорѣчивымъ словомъ и краснорѣчивѣйшимъ примѣромъ*. Муравьевъ, изучившій и постигнувшій надлежащимъ образомъ древнихъ писателей и ближе всѣхъ у насъ подходящій къ нимъ какъ ясностію мыслей, такъ простою слога и обширностію познаній, говоря объ Омерѣ, Виргиліи и Анакреонѣ ²⁾, вотъ что наконецъ прибавляетъ: «Природа сіяла тогда собственными красотою и не обременялася украшеніями, которыя думаютъ нынѣ придать ей люди. Люди воспитаны были въ лонѣ ея и не гнушались тѣмъ, что представляла имъ съ младенчества любящая ихъ воспитательница. Вкусъ ихъ не былъ изнѣженъ. Красоты природныя преобладали надъ красотою условными. Роскошь не налагала насильственныхъ и странныхъ своихъ законовъ. Благопристойностію были только единая драгоценная стыдливость, вдохновенная природою, тѣмъ болѣе наблюдаемая и не нарушаемая, что предписанія ея не отягчались хитрыми толкованіями ложнаго стыда. Всѣ тайнства природы выражены у древнихъ съ симъ восхитительнымъ чистосердечіемъ, которое не мыслить худого. *Не есть то безстыдство, но нѣкая прелесть цѣломудрія, не имѣющаго причины таиться*. Любовь имѣла только одну простоту и беззлобіе покрываломъ. Сіе покрывало есть такое одѣяніе, которое наиболѣе ее ограждаетъ отъ очей непросвѣщенныхъ. Измѣнило бы ей притворство, и простота, хранитель священнаго къ ней почтенія, простота прекраснѣйшая хитрость любви. Нѣтъ ни одной черты величественнаго и чудеснаго стихотворства, которая не была бы въ сокровищницѣ древнихъ. Если должно наконецъ испытать себя въ ономъ, то надобно нѣкоторымъ образомъ покуситься жить съ древними и возвратить назадъ время своей жизни».

¹⁾ *Опыты въ стихахъ и прозѣ К. Батюшкова*. Ч. I, стр. 17.

²⁾ *Полное Собраніе сочиненій М. Н. Муравьева*. Ч. III, стр. 296.

Разсматривая подобнымъ образомъ Анакреона, можно изяснить, отчего ни онъ, ни Греки, ни позднія племена (гдѣ только образованность ума равнялась чистотѣ нравовъ и вѣрности вкуса) нисколько не находили предосудительными сихъ плѣнительныхъ одъ. Въ самомъ дѣлѣ, развращенный человѣкъ обыкновенно все прекрасное въ какой-нибудь страсти доводитъ до низкаго, между тѣмъ какъ невинная душа все облагораживаетъ. Кто въ веселомъ кругу друзей съ удовольствіемъ говоритъ о любви, о дарахъ Вакха, тотъ никогда не унижится до постыднаго сладострастія или до презрительнаго самозабвенія. Онъ, какъ истинный поэтъ, смотритъ на одну прекрасную сторону, и никогда грація при словахъ его (говоря стихотворчески) не закроется рукою. Въ порочныхъ чувствованіяхъ столько отвратительнаго, что самыя закоренѣлые преступники стараются скрывать оныя.

Приступая къ разсматриванію анакреонтической оды величайшаго поэта, не только Россіи, но и всѣхъ народовъ, мы съ намѣреніемъ занялись изслѣдованіемъ характера изобрѣтателя сего рода стихотвореній. Одно имя Державина, не только знаменитаго поэта, но и знаменитаго гражданина, оправдало бы выборъ нашего разбора; но мы желали заpastись общими истинами, чтобы легче дать отчетъ его въ прекраснѣйшемъ произведеніи.

Державинъ, творецъ такихъ одъ, для которыхъ нѣтъ другого названія, кромѣ *державинскихъ*, живѣе всѣхъ нашихъ лириковъ чувствовалъ, что составляетъ сущность пиндарической, гораціанской и анакреонтической оды. Онъ со славою прошелъ все это блистательное поприще. Мы замѣтили выше, что еслибы Анакреонъ не увлекаемъ былъ чувствительностію и воображеніемъ, то онъ сдѣлался бы философомъ. Это обстоятельство заставляетъ насъ изслѣдовать: какая философическая мысль заключена въ разсматриваемомъ стихотвореніи Державина, потому что онъ не измѣнилъ истиннаго характера анакреоновыхъ одъ. Онъ хотѣлъ объяснить, что любовь есть такое чувство, которое въ извѣстномъ возрастѣ невольно начинаетъ тревожить сердце человѣка. Сама природа раозблачаетъ тайну, и душа узнаетъ ее.

Но одна философическая мысль не составляет поэзіи, потому что поэзія, какъ всякое изящное искусство, должна дѣйствовать болѣе на чувства наши, нежели на умъ. Воображеніе съ своимъ вымысломъ приходитъ на помощь къ нашему поэту. Отвлеченное понятіе любви превращается въ прекраснаго мальчика, который изъ кремня высккаетъ искры. Эта картина принадлежитъ собственно Державину. Еслибы онъ изобразилъ любовь съ колчаномъ и стрѣлами, то мы нашли бы тутъ одинъ списокъ съ того, что уже нѣсколько разъ изображаемо было древними и новѣйшими поэтами. Человѣкъ, или вѣрнѣе сказать, сердце его, преслѣдуемое первымъ чувствомъ любви, является въ видѣ пастушки, входящей въ свой шалашъ. Сія плѣнительная простота вымысла есть первое совершенство анакреонтическаго стихотворенія.

Вошедъ въ шалашъ мой торопливо,
Я вижу: мальчикъ въ немъ сидитъ,
И въ уголку кремнемъ въ огниво,
Мнѣ чудилось, звучитъ.

Мягкость звуковъ, точность выраженій, расположеніе картины и вѣрность описанія такъ совершенны, что самая строгая критика не найдетъ тутъ ни одной ошибки противъ искусства. Живописцу, по прочтеніи этой строфы, остается только взять кисть и положить стихи на полотно.

Рѣкою искры упали
Изъ рукъ его, во тѣмъ горя,
И розы по лицу блитали,
Какъ утрення заря.

Можно подумать, что стихотворецъ готовилъ свое произведеніе именно для живописи. Его дѣйствующія лица, какъ на картинѣ, остаются въ неподвижномъ положеніи; между тѣмъ дѣйствіе не останавливается. Онъ помогаетъ художнику, изображая сіяющія искры и цвѣтущее лицо мальчика. Мы находимъ только,

что употребленная здѣсь ипербола *рыкою искры упали* тяжела въ сравненіи съ другими частями оды. Слово *рыка* не соотвѣтствуетъ тому понятію, которое рождается въ воображеніи при сыплющихся изъ кремня искрахъ.

Одна тутъ искра отдѣлилась
И на мою упала грудь,
Мнѣ въ сердце, въ душу заронила:
Не смѣла я дохнуть.

Стихотворецъ начинаетъ раскрывать свою аллегорію. Величайшее достоинство аллегорическихъ произведеній состоитъ въ томъ, когда они не утомляютъ вниманія, въ чемъ можно упрекнуть многихъ изъ новѣйшихъ писателей, а особенно нѣмецкихъ. Древніе были осторожнѣе въ подобныхъ случаяхъ. Они не облекали своихъ отвлеченныхъ понятій въ непроницаемый покровъ, но накидывали на нихъ только прозрачную сѣть. Державинъ чувствовалъ эту истину и успѣшилъ изъяснить свою аллегорію. Каждый, прочитавши стихъ:

Мнѣ въ сердце, въ душу заронила,

пойметъ его настоящую мысль. Сколько силы заключается въ этомъ безсоюзіи: *въ сердце, въ душу!* Какое точное выраженіе *заронила*, заимствованное изъ простонароднаго языка! Вотъ какъ надобно пользоваться онымъ.

Стояла бездыханна, млѣла,
И съ мѣста не могла ступить;
Уйти хотѣла, не умѣла:
Не то ль зовутъ любить?

Еслибы подобное состояніе души изображалъ не истинный поэтъ, онъ наполнилъ бы эту строфу описаніемъ внутреннихъ чувствованій, томленіемъ, непонятнымъ желаніемъ и тому подобное. Но поэтъ - живописецъ схватываетъ въ своемъ предметѣ

только тѣ черты, которыя, такъ сказать, осязательны. Онъ знаетъ, что художникъ долженъ давать отчетъ о внутреннемъ состояніи души посредствомъ наружныхъ дѣйствій. Въ этой строфѣ третій стихъ:

Уйти хотѣла, не умѣла

есть самый музыкальный изъ всей оды; но, по крайней мѣрѣ намъ показалось, онъ не точенъ. Мы думаемъ, что авторъ желалъ сказать: *она хотѣла уйти, и не могла.*

Люблю! кого? Сама не знаю:
 Исчезъ меня прельстившій сонъ;
 Но я съ тѣхъ поръ, съ тѣхъ поръ страдаю,
 Какъ искру бросилъ онъ.
 Тоскуетъ сердце. Дай мнѣ руку;
 Почувствуй пламень сей мечты.
 Виновна ль я? Прерви мнѣ муку:
 Любезенъ, милъ мнѣ ты.

Обѣ сіи строфы можно назвать отголоскомъ истинно лирической души Державина. Не многіе осмѣлились бы прибавить ихъ къ предыдущимъ строфамъ. По крайней мѣрѣ, мы предполагаемъ, что ни одинъ французскій лирикъ или воспитанникъ французской школы не рѣшился бы окончить повѣствовательное начало стихотворенія такимъ драматическимъ монологомъ. Критики, руководствуясь въ сужденіяхъ своихъ о лирической поэзии одними холодными соображеніями ума и не раздѣляющіе сердцемъ своимъ восторговъ поэта, осуждаютъ тѣ мѣста, въ которыхъ, по ихъ мнѣнію, пресѣкается естественный ходъ мыслей. Такимъ образомъ одинъ изъ французскихъ переводчиковъ ¹⁾ вставлялъ свои мысли въ одѣ: *На смерть Мещерскаго*, лучшимъ произведеніи Державина, чтобы связать его строфы. Но въ сихъ-то смѣлыхъ пере-

¹⁾ Anthologie russe, par P. J. Emile Dupré de Saint-Maure, стр. 116.

ходахъ и заключается истинно лирическое достоинство. Послѣднія здѣсь строфы придаютъ необыкновенную живость всей одѣ. Онѣ доказываютъ, что стихотворецъ точно увлеченъ былъ сердцемъ, а не одною счастливою мыслию, когда писалъ свое сочиненіе. Въ первой изъ сихъ строфъ, кажется, неудачно повтореніе: *съ тѣхъ поръ*, а во второй слово: *мечты*. Одно не усиливаетъ мысли, а другое не выражаетъ истиннаго чувства души, пылающей любовью, которое совсѣмъ не походить на мечту.

Замѣченные нами недостатки въ выраженіяхъ, впрочемъ слишкомъ маловажные и довольно обыкновенные у Державина, нисколько не отнимаютъ достоинства у сего прелестнаго произведенія. Оно всегда будетъ стоять на ряду съ тѣми неподражаемыми одами, которыя содѣлали для насъ драгоценнымъ имѣніемъ Фелицы. Оно послужитъ убѣдительнѣйшимъ доказательствомъ, что важныя музы не чуждаются веселыхъ грацій. Истинный вкусъ не предписываетъ поэту, въ какомъ онъ родѣ писать долженъ, но требуетъ отъ него только совершеннаго.

ОДА ПЕТРОВА

Николаю Семеновичу Мордвинову ¹⁾.

1824.

Въ русской словесности есть много прекрасныхъ произведеній, которыя извѣстны однимъ только литераторамъ, а большая часть даже просвѣщенной публики едва ли ихъ когда-нибудь читала. Это происходитъ отъ двухъ особенно причинъ: во-первыхъ: критика не успѣла еще остановить вниманіе любящихъ чтеніе на всѣхъ лучшихъ сочиненіяхъ нашихъ; во-вторыхъ, слогъ нашъ

¹⁾ Изъ той же книги *Трудовъ Вольнаго Общества люб. російск. словесн.*, какъ и предыдущая статья (стр. 265). См. разбираемую оду въ *Сочиненіяхъ Петрова*. Спб. 1811, ч. II, стр. 182—197. Ода эта написана въ 1796 году.

такъ перемѣнился, что многіе съ трудомъ понимаютъ давнихъ писателей. Сверхъ того есть въ исторіи нашей словесности такія имена, которыя, по особенному стеченію обстоятельствъ, остаются какъ бы въ тѣни, хотя достоинства озаряютъ ихъ полнымъ свѣтомъ.

Послѣднее изъ сихъ замѣчаній можно примѣнить къ лирическому нашему поэту Петрову. Не говоря о Ломоносовѣ и Державинѣ, спросимъ: кому не знакомы имена А. Сумарокова и Хераскова? Отъ послѣдняго ученика въ училищѣ до самой знатной госпожи, не смѣемъ сказать: всѣ ихъ читали, но всѣ о нихъ слышали. Между тѣмъ, гораздо менѣе кругъ извѣстности Петрова, хотя онъ несравненно выше въ лирической поэзіи, нежели Сумароковъ въ трагедіяхъ и Херасковъ въ эпопеѣ.

Такое хладнокровіе къ его дарованію вѣроятно произошло отъ того, что наша словесность болѣе богата произведеніями лирическими, нежели другихъ родовъ поэзіи. Но Петровъ, стоя между Ломоносовымъ и Державинымъ, сими превосходными лириками, кажется, не исчезаетъ въ ихъ славѣ. У него есть свои недостатки, которыхъ не чужды и его совмѣстники: но, подобно имъ, онъ имѣетъ свои совершенства. Не спѣша съ нашимъ мнѣніемъ, которое въ такомъ важномъ случаѣ показалось бы для многихъ читателей неумѣстнымъ, приведемъ замѣчанія о Петровѣ лучшихъ критиковъ.

Намъ кажется, приличнѣе всего начать словами Муравьева, тѣмъ болѣе, что онъ, какъ его современникъ, знакомитъ насъ не только съ дарованіями поэта, но съ его сердцемъ, съ его привычками и занимательными подробностями его жизни ¹⁾. «Василій Петровичъ Петровъ, сколько я знаю, не говоритъ никогда о стихахъ. Но можно ль, *дѣлая ихъ такое множество выразительныхъ и мастерскихъ*, объ нихъ не мыслить? Труднѣе гораздо имѣть къ нему доступъ, нежели къ двумъ первымъ (Хераскову и Майкову). Онъ учтивъ по благопристойности. Но сердце его хо-

¹⁾ Полное собр. сочиненій М. Н. Муравьева. Ч. III, стр. 317.

тѣло бы имѣть свободу сказать: я не хочу съ вами знаться. Разговоръ его свободенъ безъ разборчивости. Кажется, что онъ *жестокъ* разуму *чувствительностию*. Лѣтъ двѣнадцать назадъ толковалъ онъ катихизисъ; нынѣ, кажется, онъ способнѣе толковать Лукрецію. Это тотъ изъ нашихъ стихотворцевъ, который знаетъ наибольшее число языковъ. Ибо онъ читаетъ въ подлинникахъ Омера, Виргилія, Мильтона, Вольтера, безъ сомнѣнія, Тасса, и, помнится мнѣ, Клопштока. Во время пребыванія его въ Московской академіи училъ онъ еврейскому языку. Замѣтно по его образу мыслить и чувствовать, что онъ жилъ въ Англіи. Если сей отзывъ не вполне удовлетворяетъ нашему желанію, т. е. не раскрываетъ подробно совершенствъ и недостатковъ Петрова; то, по крайней мѣрѣ, показываетъ, что его большія достоинства признаваемы были даже современниками, которые рѣдко судятъ такъ безпристрастно, какъ потомство.

Мерзляковъ, оказавшій важныя услуги нашей словесности своею критикою, рѣшительно говоритъ о Петровѣ ¹⁾: «Оды его прекрасны. Онѣ отличаются отъ всѣхъ другихъ какою-то полнотою мыслей сильныхъ и краткихъ: Петровъ стихотворецъ-философъ. Можетъ быть, онъ стоялъ бы наравнѣ съ Ломоносовымъ, еслибъ слогъ его не былъ грубѣе и жестче. Впрочемъ онъ исполненъ картинъ превосходныхъ, написанныхъ пламенною кистію. Ломоносовъ хвалитъ очень открыто и просто: Петровъ имѣлъ особенное искусство хвалить. Еще замѣтимъ, что и языкъ его не вездѣ шероховатъ: есть цѣлыя оды, написанныя гладкими, гармоническими стихами».

Наконецъ князь Вяземскій, отличающійся въ своихъ критикахъ тонкими замѣчаніями самыхъ вѣжныхъ, самыхъ легкихъ красотъ поэзіи, замѣчаніями, которыя показываютъ необыкновенно разборчивый вкусъ, вотъ что говоритъ о Петровѣ, разсматривая Державина ²⁾: «Первыми его учителями въ стихотвор-

¹⁾ Учебн. Кн. Россійск. Словесности Н. Греча. Ч. IV, стр. 461.

²⁾ Учебн. Кн. Россійск. Словесности Н. Греча. Ч. I, стр. 298.

ствѣ были, кажется, Ломоносовъ и Петровъ. У перваго онъ научился звучности языка піитическаго и живописи поэзіи; *у другого похитилъ онъ тайну заключать живую, или глубокую мысль въ живомъ и рѣзкомъ стихѣ, тайну, совершенно неизвѣстную Ломоносову*».

Изъ сихъ замѣчаній видно, что Петровъ былъ одинъ изъ лучшихъ нашихъ поэтовъ. Живое воображеніе, быстрота мыслей, сила чувствованій, разнообразіе картинъ и свободный переходъ отъ одного изображенія къ другому, непрерывная дѣятельность строгаго ума, страсть къ точному изложенію своихъ понятій составляютъ рѣзкую отличительность его поэзіи. Но сіи счастливыя дарованія были отчасти причиною его недостатковъ, какъ писателя. Легко созидая воображеніемъ своимъ различныя положенія какого-нибудь предмета, онъ обременяетъ наше вниманіе и часто не умѣетъ ограничиваться только истинно-прекраснымъ. Неумѣренныя его чувствованія принимаютъ иногда какой-то не естественный видъ. Умъ его, преобладая надъ всѣмъ, охлаждаетъ чувствительность и сообщаетъ лирической поэзіи дидактическую сухость. Страсть къ равносильнымъ выраженіямъ заставляетъ его употреблять слова то грубыя, то низкія, то малоизвѣстныя. О немъ можно сказать, что онъ отъ многихъ своихъ совершенствъ становится часто несовершеннымъ.

Удивительнѣе всего, что Петровъ, будучи двадцатью пятью годами моложе Ломоносова и только семью старше Державина, не хотѣлъ обрабатывать слога своего по ихъ образцамъ. Кто не согласится, что у Ломоносова отдѣлка стиховъ часто бываетъ удивительна? И у Державина, который впрочемъ не столь ровенъ въ языкѣ какъ Ломоносовъ, много цѣлыхъ стихотвореній, написанныхъ прскраснымъ языкомъ. Правда, что Петровъ оригинальностію своего слога вышелъ изъ толпы подражательныхъ поэтовъ, что онъ чрезъ это нѣсколько потерялъ къ себѣ уваженія только у насъ, а не во всеобщей исторіи литературы (потому что въ переводахъ на другіе языки онъ будетъ выше многихъ любимыхъ нами писателей): но главнѣйшія условія стихотворнаго искусства

требовали отъ него прелести въ отдѣлкѣ. Чѣмъ выше сила дарованія, тѣмъ болѣе читатель желаетъ видѣть оное въ прекрасной наружности. Въ изящныхъ искусствахъ надобно достигать по всѣмъ частямъ такого совершенства, чтобы ничего не оставалось пожелать произведенію.

Впрочемъ критика, довольствуясь общими своими замѣчаніями, не смѣетъ превращать ихъ въ укоризны, когда находитъ въ произведеніи много прекраснаго. Всѣмъ извѣстна истина, что легче осуждать, нежели производить. У великихъ писателей есть свои истины въ разсужденіи искусства, на которыя надобно смотрѣть болѣе съ уваженіемъ, нежели съ учительскою гордостію. И не одинъ Петровъ поступалъ такимъ образомъ. Подобно ему, одинъ изъ лучшихъ лириковъ нашего времени, Востоковъ, будучи двадцатью годами моложе Дмитріева и только двумя старше Жуковскаго, не имѣетъ ничего общаго съ ними въ слогъ своемъ. Но кто бы отказалъ ему въ уваженіи только потому, что у него нѣтъ ихъ легкости и отдѣлки?

Чтобы оправдать наши замѣчанія о Петровѣ, мы беремъ такую оду, которую можно назвать отпечаткомъ его генія, т. е. его созданія, хода мыслей, слога и поэтической формы. Она не можетъ быть причислена къ совершеннѣйшимъ его произведеніямъ: слѣдственно не возродитъ ложнаго пристрастія ко всѣмъ его стихотвореніямъ. Но мы будемъ довольны, если читатели наши полюбятъ познакомиться съ такимъ человѣкомъ, который достоинъ и уваженія и славы.

Сія ода принадлежитъ къ числу такъ называемыхъ *пindariческихъ*. Подвиги героя, предводителя Черноморскаго флота, составляютъ главный предметъ оды. Петровъ написалъ ее, будучи уже шестидесяти лѣтъ, т. е., за три года до своей смерти. Конечно въ это время лирическіе восторги его не были столь живы, какъ въ цвѣтущемъ возрастѣ; но (если смѣемъ замѣтить) онъ болѣе равенъ былъ самому себѣ и въ старости, нежели Державинъ. Философическія истины, изложенныя картиннымъ языкомъ поэзіи, составляютъ начало оды. Стихотворецъ говорить, что человѣкъ,

будучи бrenнымъ существомъ по тѣлу своему, не страшится опасностей, когда слава и честь вызываютъ его на подвиги. Но жажда почестей, прибавляетъ онъ, тогда похвальна, когда приносятъ пользу другимъ. Послѣ сего слѣдуетъ прекрасное обращеніе къ герою:

Что я вѣщаю, то поемлешь ты, Мордвиновъ!

То голосъ мой, а мысль твоя.

Духъ дѣлаетъ, не плоть огромна, исполиновъ:

Доводъ ты истинны сея.

Кто вступить въ споръ со мною,

Какъ солнцемъ я тобою

Снищу побѣды честь:

Мнѣ стоитъ перстъ возвестъ.

Въ этой строфѣ, кромѣ четвертаго стиха, который показался намъ нѣсколько прозаическимъ, все исполнено поэтической силы и выразительности. Второй стихъ можетъ служить образцомъ краткости и прекраснаго оборота мыслей, а послѣдній заключаетъ необыкновенно живописное движеніе.

Ты, крила распротря усердія широко,

Чтобъ кинуть на множайшихъ тѣнь,

Паришь, куда тѣхъ душъ не досягаетъ око,

Одебелила кои лѣнь.

Твой подвигъ безотдышень;

Лишь шумъ полета слышенъ:

И геній межъ стремнинъ

Сопутникъ твой единъ.

Петровъ удивительно отличается отъ другихъ нашихъ поэтовъ ясностію картинъ, создаваемыхъ воображеніемъ. Въ этомъ отношеніи онъ равняется съ древними стихотворцами, которые ни въ чемъ не смѣли отступать отъ природы, совершенно постигнутой ими съ поэтической стороны. Въ приведенной строфѣ

нѣтъ ни одного слова, которое бы вставлено было въ стихъ безъ особеннаго намѣренія: они всѣ равно поддерживаютъ, объясняютъ и украшаютъ цѣлое. Можно ли пропустить безъ вниманія четвертый, или шестой стихъ? *Лишь одебелила души*: выраженіе оригинальное и самое точное. *Лишь шумъ полета слышенъ*: какое звукоподражаніе дѣйствию природы!

Любители добротъ тебѣ подъ облаками
 Соплещутъ съ дола тьмами рукъ;
 Лишь зависть, лютыми терзаема тосками,
 Грызома цѣлымъ адомъ мукъ,
 Бросаетъ остры струѣлы
 Въ подоблачны предѣлы,
 И сыплетъ клевету —
 Сразити на лету,
 Сразить тебя, и въ прахъ твой разсыпать кости.
 Достоинствъ вѣчная судьба
 Противу черныя и ядовитой злости,
 Противу клеветы борьба.
 Но любо, какъ съ змією,
 Обвить безвредно ею,
 Летитъ орелъ когтистъ,
 Глуша крыль шумомъ свистъ!

Еслибы сіи двѣ строфы не были такъ превосходно окончены, то можно бы упрекнуть автора, что онъ слишкомъ долго останавливается на той мысли, которая уже раскрыта въ предыдущей строфѣ. Впрочемъ онъ хотѣлъ здѣсь заключить горестную и, къ несчастію, слишкомъ вѣрную истину, что зависть слѣдуетъ за славою, какъ тѣнь за человѣкомъ. Третій стихъ первой строфы примѣтно уступаетъ прочимъ въ отдѣлкѣ: слово *тоска* у насъ не употребляется во множественномъ числѣ. Но послѣдніе четыре стиха второй строфы изумляютъ нечаянностію мысли, прелестію сравненія и быстротою дѣйствія.

Гнекома пальма внизъ, сквозь тяжесть крѣпня, спѣя,
 Сильнѣе къ верху возстаеъ;
 И благородный конь, препоной свирѣпѣя,
 Порывнѣй поски даетъ.

Чѣмъ вѣтеръ стиснуть уже,
 Тѣмъ дуетъ, злясь, упруге;
 Бѣенье изъ кремня
 Рождаетъ блескъ огня.

Такъ бодрственный твой духъ, препятствомъ раздражаясь,
 Встаеъ превыше самъ себя;
 И зависти къ тебѣ злой стрѣлы приражаясь,
 Родятъ лишь искры вкругъ тебя.

Какъ злато по горнилѣ
 Сіеетъ въ вящей силѣ:
 Твоей доброты цвѣтъ
 Ярчаетъ отъ клеветъ.

Мы особенно желаемъ обратить вниманіе читателей на сіи строфы. Чѣмъ подробнѣе разсматриваемъ ихъ, тѣмъ болѣе остаемся при своемъ мнѣніи, произнесенномъ выше на счетъ общаго характера поэзіи Петрова. Для объясненія одной мысли онъ употребилъ здѣсь пять сравненій. Всѣ они точны и прекрасны. Но, ограничась однимъ или двумя изъ нихъ, сочинитель достигнулъ бы своей цѣли. Это доказываетъ, что онъ здѣсь пренебрегъ краткостію, которая придаетъ силу сочиненію. Мы встрѣчаемъ выраженія: *гнекома, крѣпня, вѣтеръ стиснуть уже, злясь, упруге*. Нѣтъ изъ нихъ ни одного неточнаго; напротивъ, они слишкомъ вѣрно соотвѣтствуютъ своимъ понятіямъ. Но грубость ихъ звуковъ, малоупотребительность и видимая изысканность лишаютъ слогъ той прелести, которая въ поэзіи никогда не должна быть жертвою точности. Чѣмъ нераздѣльнѣе сіи два качества слога, тѣмъ онъ совершеннѣе. Несправедливо было бы не замѣтить, какъ иногда сія страсть къ точности случайно наводитъ на новыя

и между тѣмъ прекрасныя выраженія, каковы здѣсь: *приража-
ясь и ярчаеѣтѣ*. Для пользы языка можно пожелать, чтобы оба сія
слова сдѣлались у насъ употребительнѣе; первое изъ нихъ выра-
жаетъ понятіе, противное слову: *отражаться*, для котораго нѣтъ
у насъ столь удачнаго слова, какое составилъ Петровъ, а второе
одно замѣняетъ два слова: *становится ярче*. Между всѣми сти-
хами сихъ строфъ мы находимъ совершеннѣйшими два:

И благородный конь, препоной свирѣпѣя,
Порывнѣй поскоки даетъ.

Сколько истины, сколько живости заключается въ нихъ! Мо-
жетъ-быть, любопытно покажется для читателей, если мы сооб-
щимъ при этомъ случаѣ особеннаго рода замѣчаніе, сдѣланное
нами въ продолженіе чтенія всѣхъ стихотвореній Петрова. Вездѣ,
гдѣ только ему случалось изображать движеніе коня, онъ неизъ-
яснимо хорошѣ. Всѣ стихи его, относящіеся къ этому предмету,
гладки, благозвучны, сильны и живы ¹⁾.

¹⁾ Вотъ нѣсколько примѣровъ:

«Драгимъ уборомъ покровенны,
Летять быстрѣ стрѣлъ кони;
Бразды ихъ пѣной умовенны;
Сверкаютъ изъ ноздрей огни:
Крутятся, топаютъ бурливы,
По вѣтру долги вѣютъ гривы
Копыта мещутъ вихремъ персть».

Сочиненія В. Петрова. Изданіе второе. Ч. I, стр. 5.

«У обоихъ кони послушны,
Какъ вихри движутся воздушны,
Неся ихъ быстро къ мѣтѣ хвалъ».

Ч. I, стран. 11.

«Такъ тать, да путника ограбить,
Возсѣдъ на рѣзваго коня,
Бодетъ его и поводъ слабить,
Ко бѣгу силой всей гоня,
И буйный скоть, не зная кова,
Орудіе грѣха чужого,
Привыкшій по полямъ ристать,

Пропустимъ нѣсколько строфъ. Двѣ изъ нихъ совершенно дидактическія. Поэтъ доказываетъ, что великій человѣкъ долженъ презирать зависть, и тѣмъ болѣе, что она неизбежное зло въ мірѣ. Онъ, продолжая изображать своего героя, переходитъ къ описанію живописнаго дѣйствія кораблей, летающихъ по морямъ. За симъ слѣдуетъ олицетвореніе Буга и Днѣпра, которое показалося намъ слишкомъ изыскано. Наконецъ, довершая изображеніе знаменитаго мужа, котораго онъ воспѣваетъ, стихотворецъ предвидитъ его славу и въ мирное время, когда

Во напряженьи мысль, на стражѣ бдящи очи,
Съ стрѣлой натянутъ лукъ въ рукѣ,
Онъ будетъ назирать дракона дни и ночи,
Какъ Фебъ стоящій вдалекѣ.

Картина превосходная! Слѣдующее черезъ строфу обращеніе отличается особенной простотою, краткостію и силою:

Природный разумъ твой, твой нравъ, твои науки,
Твоя къ отечеству любовь,
Мордвиновъ, по тебѣ суть вѣрныя поруки,
Что вся твоя намъ жертва — кровь!

Уздѣ послушенъ властелина,
Не зря, что холмъ, или долина,
Течетъ невиннаго стоптать».

Ч. I, стр. 85.

«Такъ часто яръ и буренъ конь,
Въ бѣгъ ровными зовомъ мѣстами,
Стоитъ, востыгнутой браздами,
И паромъ кажетъ внутрь огонь».

Ч. I, стр. 95.

«Такъ ржущій, благородный конь,
Когда на бѣгъ разгорячится,
Со развѣваньемъ гривы мчится
На враги, воду и огонь».

Ч. II, стр. 80.

«Взгляните: конь подъ нимъ топочетъ,
И къ облакамъ взлетѣши хочеть,
Пуская пѣну изо рта.

Ч. II, стр. 136.

Обнявши предметъ свой со всѣхъ поэтическихъ сторонъ, стихотворецъ могъ бы здѣсь окончить свою оду. Но у него для заключенія осталось еще лучшее чувство. И какъ не воспользоваться имъ? Воспѣтый имъ герой есть другъ его. Прекрасный, трогательный союзъ, соединяющій блистательнаго вельможу съ наперсникомъ Аполлона! Похвалы, внушаемыя великими дѣлами и громкою славою, восхищаютъ насъ; но языкъ сердца, плѣнительная дань безкорыстной дружбы, приводитъ насъ въ умиленіе, извлекаетъ сладкія слезы. Передъ нами исчезаютъ всѣ отношенія свѣта; нѣтъ ни героя, ни поэта его: все сливается въ одно понятіе человека.

Такъ въ добродѣтели души твоей прекрасной
Есть часть, почтенный другъ, и мнѣ?
И мнѣ не запертъ ты, какъ образъ тверди ясной
И нѣги сродныя веснѣ.

.....
Твоя, о другъ, еще во цвѣтѣ раннемъ младость,
Обильный обѣщая плодъ,
Лила во мысли мнѣ живу, предвѣстну радость:
Ты будешь отчества оплотъ.
Свершеніе надежды
Мои зря днесъ вѣжды,
И славу сбытія,
Не возыграю ль я?

.....
Катясь бесѣдна рѣчь лишь важному коснется,
Въ немъ жарка закипитъ душа,
И просвѣщенна вмигъ чувствительность проснется,
Наружу известись спѣша.
Вмигъ мысли благородны,
Черезъ уста свободны,
Сердечну жару вслѣдъ,
Польются яко медъ —

И слухи усладятъ, поставятъ духъ въ покоѣ.

Не ищетъ истина прикрасть,

Но слышится сильнѣй въ устахъ витіи вдвое,

Чей былъ не предустроенъ гласъ!

Онъ вдруъ ее отрыгнулъ

И слушающихъ двигнулъ

Единой простотой

И сердца теплотой.

Почитаемъ излишнимъ останавливаться на подробномъ разборѣ всего этого мѣста. Замѣчанія наши сдѣлались бы повтореніемъ преждесказаннаго. Неотдѣлка и другіе недостатки слога вездѣ одинаковы. Но какими замѣнены они совершенствами чувствъ и мыслей! Каждый стихъ есть вдохновеніе сердца.

ОРЛЕАНСКАЯ ДѢВА ШИЛЛЕРА

въ переводѣ Жуковского ¹⁾).

1824.

Истекающій 1824 годъ останется незабвеннымъ въ исторіи русской литературы. Многія превосходныя произведенія въ стихахъ и прозѣ украсили и обогатили словесность нашу. Внимательные наблюдатели и любители всего прекраснаго конечно согласятся, что одно появленіе *Орлеанской Дѣвы* на русскомъ языкѣ составляетъ эпоху въ нашей драматической поэзіи. Это мнѣніе мы основываемъ особенно на двухъ причинахъ: *вопервыхъ*, только со времени перевода Орлеанской Дѣвы мы увидѣли на своемъ языкѣ романтическую трагедію со всѣми совершенствами плана, дѣйствія, характеровъ и красокъ, смотря до сихъ поръ по большей части на представленіе однѣхъ такъ называемыхъ классическихъ трагедій, т. е. составленныхъ по образцу французскихъ,

¹⁾ Изъ *Трудовъ Вольнаго Общества люб. російск. словесн.* XXVIII, 261.

утомительныхъ по своей прозаической холодности и всегдашнему однообразію; *восторжъ*, переводчикъ Орлеанской Дѣвы столько побѣдилъ трудностей въ разговорномъ языкѣ, котораго формы у насъ, сравнительно съ другими родами поэзіи, совсѣмъ еще не утверждены, и тѣмъ столько облегчилъ путь другимъ драматическимъ писателямъ, что вѣроятно они, даже при недостаткѣ высшихъ дарованій, пользуясь симъ прекраснымъ образцомъ, будутъ теперь писать трагедіи ровнѣе и естественнѣе прежнихъ.

Орлеанская Дѣва состоитъ изъ пролога и пяти дѣйствій. Въ прологѣ, котораго дѣйствіе происходитъ въ Домъ-Реми, мѣстѣ рожденія Іоанны д' Аркъ, сочинитель изображаетъ намъ тогдашнее положеніе Франціи и предварительно знакомитъ насъ съ главнѣйшими дѣйствующими лицами, ихъ характерами и отношеніями. Эта часть трагедіи была для него необходимою. Іоанна составляетъ такое лицо, которое, вдругъ явившись въ дѣйствіи трагедіи, показалось бы неестественнымъ, неизъяснимымъ, не привлекло бы къ себѣ полного участія зрителей, лишило бы сочинителя довѣренности ихъ, еслибы онъ въ прологѣ не представилъ Іоанны въ ея семействѣ, еслибы онъ не изобразилъ особенности ея чувствованій и жизни, подозрѣній отца ея и нѣкоторой тайны въ ея судьбѣ. Прологъ Орлеанской Дѣвы, по нашему мнѣнію, составляетъ лучшую часть сей превосходной трагедіи. Онъ, при всей простотѣ дѣйствія, такъ занимателенъ, что не знаешь, чему болѣе удивляться: выбору ли предметовъ, о которыхъ разговариваютъ поселяне, или искусству, какъ заставляеть сочинитель говорить ихъ. Тибо д' Аркъ, отецъ Іоанны, устрашенный несчастіями войны, постигшими большую часть Франціи, готовится поскорѣе выдать за-мужъ дочерей своихъ. Для женщины въ бѣдѣ необходимъ защитникъ. Разговоръ нечувствительно склоняется на Іоанну, которая чужда любви. Въ то время, какъ отецъ укоряетъ ее въ холодности и съ какимъ-то страхомъ упоминаетъ о неестественности всѣхъ поступковъ ея, поселянинъ Берtrandъ приходитъ изъ города съ новыми

извѣстіями о войнѣ. Его разсказъ и принесенный имъ шлемъ возбуждаютъ все вниманіе Іоанны. Она чувствуетъ уже тайное свое назначеніе. Ея слова приводятъ въ изумленіе поселянъ; и между тѣмъ, какъ они, не забывая работъ своихъ, смиренно расходятся по домамъ, Іоанна, увлекаемая сверхъестественною силою, начинаетъ самымъ трогательнымъ образомъ прощаться съ родиною:

Простите вы, холмы, поля родные!
 Приютно-мирный, ясный долъ, прости!
 Съ Іоанной вамъ ужъ болѣ не видаться:
 Навѣкъ она вамъ говорить прости!
 Друзья луга, древа, мои питомцы!
 Вамъ безъ меня и цвѣсть и доцвѣтать!
 Ты, сладостный долины голосъ эхо,
 Такъ часто здѣсь игравшее со мной!
 Прохладный гротъ, потокъ мой быстротечной,
 Иду отъ васъ, и не приду къ вамъ вѣчно!
 Мѣста, гдѣ все бывало мнѣ усладой,
 Отнынѣ вы со мной разлучены!
 Мои стада, не буду вамъ оградой:
 Безъ пастыря бродить вы суждены!
 Досталось мнѣ пасти иное стадо
 На пажитяхъ кровавыя войны!
 Такъ выпшее назначило избранье:
 Меня стремить не суетныхъ желанье.
 Кто нѣкогда, гремя и пламенѣя,
 Въ горящій кустъ къ Пророку нисходилъ,
 Кто на царя подвигнулъ Моисея,
 Кто отрока Давида укрѣпилъ —
 И съ сильнымъ въ бой сталъ пастырь не блѣднѣя,
 Кто пастырямъ всегда благоволилъ;
 Тотъ здѣсь вѣщалъ ко мнѣ изъ сѣни древа:
 «Иди о Мнѣ свидѣтельствовать, дѣва!

Надѣтъ должна ты латы боевыя,
Въ желѣзо грудь младую заковать!
Страшись надеждъ, не знай любви земныя:
Въначальныхъ свѣтъ тебѣ не зажигать!
Не быть тебѣ душой семьи родныя,
Цвѣтущаго младенца не ласкать!
Но въ битвахъ Я главу твою прославлю:
Всѣхъ выше дѣвъ земныхъ тебя поставлю.
Когда начнетъ блѣднѣть и смѣлый въ брани,
И роковой пробьетъ отчизнѣ часть;
Возьмешь мою ты орифламму въ діани,
И мощь враговъ сорвешь, какъ жница клась!
Поставишь ихъ надменной власти грани,
Преобратишь во плачъ побѣдный гласъ,
Дашь ратнымъ честь, дашь блескъ и силу трону,
И Карла въ Реймсъ введешь надѣтъ корону!»
Мнѣ обѣщалъ Небесный извѣщенье;
Исполнилось: и шлемъ сей посланъ Имъ!
Какъ бранный огонь его прикосновенье;
Съ нимъ мужество какъ Божій херувимъ;
Въ кипящій бой несетъ души стремленье;
Какъ буря пылъ ея неукротимъ . . .
Се битвы клячъ! Полки съ полками стали,
Взвились кони и трубы зазвучали . . .

Первое дѣйствіе трагедіи происходитъ въ Шинонѣ, гдѣ король французскій, окруженный небольшимъ числомъ особъ, ему преданныхъ, и пораженный постигшими его бѣдствіями, остается въ бездѣйственной нерѣшимости Шиллеръ, изображая Карла VII, не отступилъ отъ исторіи; но онъ умѣлъ найти поэтическую сторону и въ этомъ слабомъ характерѣ, едва ли достойномъ трагедіи. Его непритворное добродушіе, смиренная покорность волѣ Всевышняго, привязанность къ друзьямъ и простодушная любовь рыцарскихъ временъ, не только искупаютъ

его другія слабости, но возбуждаютъ даже сердечное участіе въ зрителяхъ къ его несчастіямъ. Расказъ его о королѣ Ренѣ представляетъ образецъ поэтическаго чистосердечія:

Средь ужасовъ существенности мрачной
Онъ сотворилъ невинный, чистый міръ.
Онъ царское, великое замыслилъ:
Призвать назадъ старинны времена,
Лѣта любви, когда любовь вздымала
Грудь рыцарей великимъ и прекраснымъ,
Когда въ судѣ присутствовали жены,
Суровое смягчая нѣжнымъ чувствомъ.
Въ сихъ временахъ живетъ незлобный старецъ:
И въ той краѣ, какой они плѣняютъ
Насъ въ дѣдовскихъ преданьяхъ, въ древнихъ пѣсняхъ,
Какъ Божій градъ на свѣтлыхъ облакахъ,
Онъ мыслить ихъ переселить на землю.
Онъ учредилъ верховный *судъ любви*,
Гдѣ рыцарей дѣла судимы будутъ,
Гдѣ чистыхъ женъ святое будетъ царство,
Гдѣ чистая любовь для насъ воскреснетъ,
И онъ меня избралъ *царемъ любви*.

Между тѣмъ какъ сочинитель знакомитъ насъ съ характеромъ короля, завязка трагедіи начинается. Орлеанскіе чиновники являютъ къ Карлу и описываютъ ему ужасное положеніе своего города, послѣдней опоры Франціи. Съ потерю Орлеана король долженъ будетъ лишиться отечества и престола. Въ это же время онъ получаетъ другое горестное извѣстіе. Филиппъ добрый, герцогъ бургундскій, и мать Карла Изабелла, перешедшіе на сторону непріятелей, склонили парламентъ отрѣшить Карла VII и весь родъ его отъ престола, на который и возведенъ уже англійскій король. Карлъ доведенъ до послѣдней степени несчастія. Онъ становится предметомъ сожалѣнія. Но въ

это время приходитъ извѣстіе о нечаянной побѣдѣ со стороны Французовъ. Является Іоанна, предводительница побѣдителей. Ея вдохновенныя рѣчи пробуждаютъ во всѣхъ мужество, и ходъ дѣйствія трагедіи перемѣняется.

Второе дѣйствіе происходитъ на мѣстѣ сраженія. Внезапное смятеніе Британцевъ, возникшая вражда между Изабеллою и вспомошествоваемыми ею врагами, кажется, приближаютъ торжество правой стороны. Но это дѣйствіе не имѣло бы особенной плѣнительности и не возбудило бы сердечнаго участія зрителей, еслибы Шиллеръ не воспользовался эпизодомъ Монгомери, молодого англичанина, умоляющаго Іоанну о сохраненіи ему жизни. Жалость наполняетъ душу при видѣ двухъ прекрасныхъ существъ, которыхъ судьба ведетъ разными путями и къ двумъ противоположнымъ цѣлямъ. Монгомери сотворенъ для счастья: но Іоанна, орудіе непостижимой силы, должна пресѣчь нить жизни его. Такая неизбежность гибели, такое ничтожество и безсиліе всего земного передъ небеснымъ рождаютъ въ душѣ истинно трагическое умиленіе. Шиллеръ, кажется, самъ особенно чувствовалъ прелесть этого эпизода. Онъ отличилъ его даже мѣрою стиховъ. Последнее явленіе второго дѣйствія наполняетъ сердца зрителей новою радостію. Іоанна силою вдохновеннаго своего краснорѣчія преклоняетъ Филиппа на сторону Франціи. Какая истина и вмѣстѣ поэзія въ словахъ ея:

Ты мнишь, что я волшебница, что адъ
Союзникъ мой! Но развѣ миротворство,
Прощеніе обидъ есть дѣло ада?
Согласіе ль изъ тмы его исходитъ?
Что жъ человѣчески-прекраснѣй, чище
Святой борьбы за родину? Давно ли
Сама съ собой природа въ спорѣ: небо
Съ неправой стороны, и адъ за правду?
Когда же то, что я рекла, есть *благо*;
Кто могъ внушить его мнѣ, кромѣ неба?

Кто могъ сойти ко мнѣ, въ мою долину,
Чтобы душѣ неопытной открыть
Великую властителей науку?
Я предъ лицомъ монарховъ не бывала;
Языкъ мой чуждъ искусству словъ; но чтоже?
Теперь тебя должна я убѣдить:
И умъ мой свѣтель; зрю дѣла земныя;
Судьба державъ, народовъ и царей
Ясна душѣ младенческой моей;
Мои слова, какъ стрѣлы громовыя.

Третье дѣйствіе начинается во дворцѣ Карла VII въ Шалонѣ на Марнѣ. Дюнуа и Ла Гиръ, полководцы французскіе, оспариваютъ другъ у друга право на полученіе руки Іоанны. Между тѣмъ приближается минута торжественнаго примиренія Филиппа съ королемъ. Это дѣйствіе (по крайней мѣрѣ, намъ такъ кажется) идетъ медленнѣе прочихъ. Шиллеръ слишкомъ предался вымысламъ чудеснаго. Когда зритель ожидаетъ съ нетерпѣніемъ развязки знаменитой борьбы двухъ народовъ и свершенія ихъ жребія, сочинитель заставляетъ Іоанну предсказывать участь каждому лицу изъ окружающихъ младую воевательницу. Это отступленіе отъ хода трагедіи бесполезно уже и потому, что сверхъестественное назначеніе Іоанны касалось спасенія одной Франціи, а не могло имѣть никакой связи съ тайнами частныхъ людей. Здѣсь Іоанна уподобляется болѣе обыкновенной предсказательницѣ, нежели посланницѣ неба. Но сочинитель замѣнилъ этотъ недостатокъ прекраснымъ окончаніемъ дѣйствія. Когда король проситъ Іоанну избрать себѣ супруга, она отвѣчаетъ не по земному:

Иль, утомленъ божественнымъ явленьемъ,
Ужъ хочешь ты разбить его сосудъ,
И благовѣстницу Верховной воли
Низвести во прахъ ничтожности земной?

О маловѣрные! Сердца слѣпыя!
Величіе небесъ кругомъ васъ блещетъ;
Ихъ чудеса предъ вами безъ покрова,
А я для васъ лишь женщина. Безумцы!
Но женщинѣ ль подъ бронею желѣзной
Мѣшаться въ бой, водить мужей къ побѣдѣ?
Погибель мнѣ, когда, Господне мщенье
Нося въ рукѣ, я суетную душу
Отдамъ любви, отъ Бога запрещенной!
О нѣтъ, тогда мнѣ лучше бъ не родиться!
Ни слова болѣе! Не раздражайте
Моей душой владѣющаго духа!
Одинъ ужъ взоръ желающаго мужа
Есть для меня и страхъ и оскверненье.

Явленіе тѣни умершаго Тальбота принадлежитъ къ необыкновенно смѣлымъ красотамъ романтической поэзіи. Оно составляетъ переломъ трагедіи. До сихъ поръ мы видѣли только торжество Іоанны. Исторія изображаетъ наконецъ бѣдствія, постигшія спасительницу Франціи. Поэтъ чувствовалъ, что надобно приготовить зрителей къ несчастіямъ главнаго своего дѣйствующаго лица. Въ ея судьбѣ все должно быть сверхъестественнымъ. Предсказанія Чернаго рыцаря внушаютъ тайный страхъ. Участъ дѣвы колеблется. Ея встрѣча съ Ліонелемъ, полководцемъ англійскимъ, раздражаетъ завѣсу будущаго. Съ сожалѣніемъ и грустію выходя изъ очарованія, мы видимъ въ ней уже земное существо, прекрасное, съ сердцемъ нѣжнымъ, но слабымъ, однимъ словомъ: передъ нами женщина.

Положеніе Іоанны въ четвертомъ дѣйствіи неизъяснимо-трогательно. Дѣйствіе въ Реймсѣ. Зрѣлище всеобщей радости, торжественное вѣнчаніе короля и страшная судьба спасительницы отечества составляютъ такую мучительную противоположность, которая приводитъ зрителя въ изнеможеніе. Іоанна, окруженная славой и удивленіемъ, удостоиваемая высочайшихъ по-

честей, страдаетъ внутренно, и тѣмъ ужаснѣе страданіе ея, что она истинно виновна передъ судомъ совѣсти и Бога. Разсудокъ не властенъ хранить ее, когда сердце ей измѣнило. Она ненавидитъ и любитъ Ліонеля. Преступленіе, страхъ и стыдъ заграждаютъ уста ея, когда суевѣрный отецъ является предать на судъ дочь свою. Ея молчаніе при такомъ обвиненіи, которое совершенно несправедливо, тѣмъ болѣе раздраетъ душу зрителей, что Іоанна не смѣетъ и не должна защищаться. Но люди слѣпы и неблагодарны. Они съ убійственною холодностію оставляютъ ту, которую за нѣсколько минутъ едва не боготворили. Что можетъ быть трогательнѣе монолога, въ которомъ Іоанна жалуется на судьбу свою?

Ахъ, почто за мечъ воинственный
Я мой посохъ отдала,
И тобою, дубъ таинственный,
Очарована была!
Мнѣ, Владычица, являла Ты
Свѣтъ небеснаго лица;
И вѣнецъ мнѣ обѣщала Ты:
Недостойна я вѣнца.
Зрѣла я небесъ сіяніе,
Зрѣла ангеловъ въ лучахъ;
Но души моей желаніе
Не живетъ на небесахъ.
Грозной силы повелѣніе
Мнѣ ль безсильной совершить?
Мнѣ ли дать ожесточеніе
Сердцу жадному любить!
Нѣтъ! Изъ чистыхъ небожителей
Избирай Твоихъ свершителей!
Съ неприступныхъ облаковъ
Призови Твоихъ духовъ,
Безмятежныхъ, не желающихъ,

Не скорбящихъ, не терющихъ!
 Дѣву съ нѣжною душой
 Да минуетъ выборъ Твой!
 Миѣ ль свирѣпствовать въ сраженіи?
 Миѣ ль рѣшить судьбу царей?
 Я пасла въ уединеніи
 Стадо родины моей.
 Въ бурну жизнь меня умчала Ты,
 Въ домъ владыки привела;
 Но лишь гибель указала Ты:
 Я ль сей жребій избрала?»

Последнее дѣйствіе начинается въ Арденскомъ лѣсу близъ хижины угольщика. Обвиненная въ волшебствѣ, оставленная всѣми, Іоанна скитается съ однимъ вѣрнымъ Раймондомъ, товарищемъ ея дѣтства и прежнимъ ея женихомъ. Шиллеръ умѣетъ извлекать все истинно-поразительное и прекрасно-поэтическое изъ самыхъ простыхъ явленій. Іоанна не захотѣла соединить жребія своего съ судьбою поселянина Раймонда; какой-то геній ее увлекъ отъ него, но онъ остался ей вѣренъ; онъ сдѣлался ей утѣшителемъ и тогда, когда всѣ отъ нея бѣжали. Такимъ образомъ часто мечты дѣтства последнею являются радостію знаменитому несчастливцу, когда зависть, или неблагопріятный случай повергаютъ его въ бездну несчастія. Нечаянная встрѣча съ Изабеллою довершаетъ бѣдствія Іоанны: ее отводятъ въ англійскій лагерь, и Ліонель становится властителемъ знаменитой плѣнницы. Но онъ уже не страшенъ для нея: буря душевная прошла. Іоанна свободна сердцемъ и достойна свершить предназначенное ей свыше. Последнее сраженіе начинается между Французами и Англичанами. Непріатели пользуются отсутствіемъ дѣвы. Оковы и надзоръ Изабаллы удерживаютъ ее въ бездѣйствіи. Уже воинъ, наблюдающій съ башни успѣхи сраженія, много радостныхъ извѣстій сообщилъ королевѣ; уже Дюнуа раненъ и наконецъ самъ Карлъ VII окруженъ непріа-

телями; тогда Іоанна, бросаясь на колѣна съ молитвою, говорить:

Господь, Господь! Въ бѣдѣ моей жестокой
 На небеса Твои, съ надеждой, съ вѣрой,
 Въ тоскѣ, въ слезахъ, я душу посылаю.
 Всесиленъ Ты: тончайшей паутиной
 Тебѣ легко дать крѣпость твердой стали;
 Всесиленъ Ты: тройнымъ желѣзнымъ узамъ
 Тебѣ легко дать брѣзность паутины.
 Ты повелишь: и цѣпь сія падетъ,
 И сей тюрмы разступится стѣна.
 Ты дивный Богъ: съ Тобой слѣпецъ Сампсонъ
 И въ слабости могущество низринулъ;
 Тебя призвавъ, онъ столпъ переломилъ,
 И на врага упали своды храма.

Едва провозглашена побѣда враговъ, Іоанна, схвативъ цѣпи свои обѣими руками, разрываетъ ихъ и мгновенно убѣгаетъ изъ непріятельскаго лагеря. Одно ея появленіе на мѣстѣ битвы все перемѣняетъ. Французы устроились и вырвали побѣду у враговъ своихъ. Но эта шумная радость вскорѣ смѣняется всеобщею глубокою горестію. Раненная Іоанна умираетъ. Вотъ ея послѣднія слова:

Итакъ опять съ народомъ я моимъ,
 И неотвержена, и не въ презрѣнны,
 И не клянута меня, и я любима!
 Такъ, все теперь опять я узнаю:
 Вотъ мой король, вотъ Франціи знамена;
 Но моего не вижу! Гдѣ оно?
 Безъ знамени явиться не могу:
 Его мой Богъ, Владыка мой мнѣ ввѣрилъ;
 Его должна передъ Господній тронъ
 Я положить; теперь съ нимъ показаться

Я смѣю: я ему не измѣнила.

.
Смотрите: радуга на небесахъ;
Растворены врата ихъ золотыя;
Средь ангеловъ (на персяхъ вѣчный Сынъ)
Въ божественныхъ лучахъ стоитъ Она,
И съ милостью ко мнѣ простерла руки.
О, что со мною! Мой тяжелый панцырь
Сталъ легкою крылатою одеждой;
Я въ облакахъ; я мчуся быстротечно
Туда, туда . . . земля ушла изъ глазъ:
Минутна скорбь, блаженство безконечно.

Сочинитель, при окончаніи трагедіи, отступилъ отъ исторіи. На это ему предоставлено законами искусства полное право, потому что поэзія имѣетъ свои виды, отличные отъ исторіи. Поэтъ не смѣетъ только перемѣнять то, что составляетъ сущность историческаго лица, т. е. его характеръ. Но частности жизни всегда въ его распоряженіи. Трагедія высокими своими представленіями должна облагораживать, трогать и умилять душу. Еслибы Шиллеръ, подобно историку, изобразилъ намъ въ трагедіи бѣдственную кончину Іоанны въ непріятельскомъ станѣ; еслибы онъ представилъ неблагодарность Французовъ, предавшихъ врагамъ спасительницу отечества, и жестокость Англичанъ, сожигающихъ ее, какъ волшебницу: тогда мы почувствовали бы одно отвращеніе; жалость наша превратилась бы въ ненависть; сладкія слезы умиленія были бы замѣнены справедливымъ гнѣвомъ оскорбленной души. Но теперь, окончивъ чтеніе поэмы, растроганные всѣмъ прекраснымъ, исполненные вѣры, утѣшенные надеждою, мы съ какимъ-то наслажденіемъ провожаемъ душу воеительницы въ лучшій міръ; потому что она сама была утѣшена въ послѣднія минуты своей жизни.

Этотъ взглядъ на содержаніе Орлеанской дѣвы показываетъ намъ, что Шиллеръ не заботился о соблюденіи извѣстныхъ трехъ

единствѣ, о которыхъ упоминають въ пѣтикахъ, какъ о необходимыхъ условіяхъ трагедіи. Такое нарушеніе Аристотелевыхъ правилъ давно сдѣлалось обыкновеннымъ въ романтическихъ трагедіяхъ. Оно основывается на высшихъ требованіяхъ драматической поэзіи. Единство времени, по мнѣнію классиковъ, производитъ совершенное очарованіе надъ зрителями, которые, видя представленіе, оканчивающееся въ продолженіе двадцати четырехъ часовъ, легко могутъ обмануться и почесть его за истинное происшествіе. По нашему образу мыслей это предположеніе не имѣетъ никакого основанія истины. Допустивъ необыкновенную быстроту дѣйствій, занимательность происшествія и всѣ усилія дѣйствующихъ лицъ для очарованія зрителей, мы не умѣемъ вообразить такого простодушія, которое бы ошиблось въ расчетѣ времени. Если же зритель увѣренъ, что онъ не остается цѣлыхъ сутокъ въ театрѣ, тогда для воображенія все равно: недѣлю, мѣсяцъ, годъ, или болѣе продолжается представляемое дѣйствіе; потому что для него также легко сблизать случаи, раздѣляемые сутками, какъ и десятилѣтіями. Всѣ сіи замѣчанія можно равнымъ образомъ примѣнить и къ единству мѣста. Декораціи никогда не замѣняютъ въ глазахъ зрителей истинной мѣстности. Перемѣна ихъ составляетъ, такъ сказать, условленный знакъ для обращенія вниманія на новый предметъ. Если въ продолженіе всей трагедіи декораціи не перемѣняются, тѣмъ не менѣе зритель чувствуетъ, что онъ въ театрѣ, а не въ Аѳинахъ, не въ Римѣ, и проч. И какая мелочная расчетливость предназначается высочайшему изъ всѣхъ изящныхъ искусствъ, когда оно заботится объ одномъ оптическомъ обманѣ судей своихъ! Что бы сказали о живописцѣ, еслибы онъ, превосходно изобразивъ лицо героя, вырѣзалъ изъ полотна его фигуру для большого сходства съ оригиналомъ? Таковы точно правила, предписываемыя въ пѣтикахъ для соблюденія единства времени и мѣста. Но какія жертвы приносятъ сочинители для выполненія сихъ требованій! Составляя полную трагедію, обыкновенно воображаемую въ пяти дѣйствіяхъ, они остаются въ жалкой необходимости помѣщать въ

ней нѣсколько явленій, а иногда нѣсколько дѣйствій, состоящихъ изъ холодныхъ разговоровъ, въ продолженіе которыхъ зрители невольно скучаюгъ и остаются въ театрѣ единственно для того, чтобы дожидаться окончанія, въ которомъ всегда надѣются увидѣть что-нибудь интересное. Всѣмъ извѣстно, что изящныя искусства въ произведеніяхъ своихъ соединяють только одно лучшее, одно поэтическое, доводя его, сколько можно, до идеальнаго существованія. Строгое соблюденіе единства времени и мѣста явно противорѣчитъ сему главному и неизмѣнному закону изящныхъ искусствъ. Оно отнимаетъ у поэта лучшіе матеріалы для совершеннѣйшаго произведенія, принуждая его ограничиваться малою ихъ частію и предписывая остальное все дополнять прозою, или разводить сю вдохновенную поэзію. Такимъ образомъ, вмѣсто яснаго, полнаго, совершеннѣйшаго начертанія какого-нибудь лица, мы принуждены бываемъ довольствоваться скуднымъ отрывкомъ его характера.

Сдѣлаемъ предположеніе, что Шиллеръ захотѣлъ бы соблюсти въ Орлеанской дѣвѣ единство времени. Какой день избралъ бы онъ для своей трагедіи? Безъ сомнѣнія послѣдній. Что бы мы потеряли отъ сего классическаго начертанія? Я уже не говорю, что прологъ здѣсь не могъ бы имѣть мѣста, этотъ прологъ, который теперь составляетъ не только превосходную часть сей трагедіи, но и вообще совершеннѣйшее произведеніе поэзіи. Мы лишились бы прекраснаго явленія, въ которомъ изображено первое свиданіе Карла VII съ Іоанною. Эпизодъ Монгомери могъ бы остаться; но не было бы картины торжества Іоанны надъ Филиппомъ бургундскимъ. Явленіе Чернаго рыцаря и встрѣча съ Ліонелемъ также не у мѣста были бы въ предполагаемой трагедіи. Все четвертое дѣйствіе, исполненное высочайшихъ трагическихъ красотъ, тогда уничтожилось бы по необходимости. Сочинитель, вмѣсто поразительныхъ, великолѣпныхъ, разнообразныхъ и увлекательныхъ явленій, которыя такъ живо, полно и ясно рисуютъ прекрасное для трагедіи лице Іоанны, представилъ бы намъ какую-то тѣнь, или призракъ. Онъ облекъ

бы весь ходъ своей трагедіи въ красоты бездушныя, общія всѣмъ до самаго послѣдняго изъ французскихъ трагиковъ.

Единство дѣйствія составляетъ существенную часть всякаго драматическаго произведенія. На немъ основывается главная занимательность трагедіи. Сочинитель такъ располагаетъ ходъ своей піесы, чтобы, при всемъ разнообразіи дѣйствій выводимыхъ лицъ, единодушное участіе зрителей относилось къ главному предмету драмы. Соблюденіе сего единства нисколько не соединено съ единствомъ времени и мѣста. Оно остается въ полномъ своемъ значеніи, сколько бы лѣтъ ни обнялъ трагикъ для изображенія происшествія и гдѣ бы оно ни происходило. Шиллеръ сохранилъ его въ Орлеанской дѣвѣ. Іоанна должна быть спасительницею Франціи. Все устремлено къ этой цѣли. Никакія препятствія не уничтожаютъ исполненія сего намѣренія. Въ тишинѣ сельской жизни, въ пылу сраженій, въ королевскомъ дворцѣ, въ торжествѣ пышнаго обряда вѣнчанія, въ оковахъ у враговъ, Іоанна мыслить объ одномъ, къ одному стремится и влечетъ за собою сердца зрителей.

Мы не смѣемъ думать, чтобы замѣчанія наши о подобномъ составленіи трагедій не могли быть опровергнуты защитниками французскаго вкуса. Правила изящныхъ искусствъ долго еще будутъ составлять смѣсь противорѣчій. Это очень естественно. Истины вкуса не походятъ на истины холоднаго разсудка. Последнія, какъ напримѣръ въ математикѣ, столь очевидны, что иногда странно покажется и спорить о нихъ. Первые напротивъ того совсѣмъ не доказываются въ нѣкоторыхъ случаяхъ, а только чувствуются, если можно такъ выразиться. Переходя рѣшительно на сторону романтическихъ трагиковъ, мы руководствуемся собственными наблюденіями и опытами. Кто не признается, что, читая лучшую трагедію Расина, онъ можетъ безъ примѣтнаго усилія остановиться въ ней почти на каждомъ мѣстѣ и прервать чтеніе на нѣкоторое время? Совсѣмъ противное бываетъ при чтеніи Шекспира, Шиллера и Гёте. Забываешь все постороннее, неодолимо увлекаешься далѣе, живешь

(говоря въ точномъ значеніи этого слова) между дѣйствующими лицами трагедіи, страдаешь или радуешься за нихъ и не можешь съ ними разлучиться до тѣхъ поръ, пока сочинитель не сокроетъ ихъ отъ глазъ волшебнымъ своимъ занавѣсомъ. «Читая Расина, я удивляюсь ему (часто говоритъ одинъ изъ лучшихъ поэтовъ нашихъ); но когда берусь за Шиллера, мнѣ всегда хочется самому написать трагедію.» Какое же различіе между сими впечатлѣніями? Одинъ заставляетъ насъ уважать свое искусство, а другой любить его; въ одномъ больше ума, а въ другомъ чувства; одного пріятно знать, а съ другимъ жить.

Другое обстоятельство. Не всѣ народы способны довольствоваться равною степенію и одинаковымъ характеромъ красоты. Угрюмая сѣверная природа сильно дѣйствуетъ на образованіе тѣхъ органовъ, которые принимаютъ впечатлѣнія прекраснаго. У Батюшкова, въ его разговорѣ: *Вечеръ у Кантемира*, Монтескьё говорятъ: «Я видѣлъ оперу въ Англіи и въ Италіи. Отъ музыки, которую Англичане слушаютъ спокойно, Италіянцы бываютъ внѣ себя, и прыгаютъ какъ Піеіа на пророческомъ треножникѣ.» Намъ кажется, что это замѣчаніе можетъ послужить къ подтвержденію нашего мнѣнія. Всѣмъ извѣстно, съ какимъ восторгомъ до сихъ поръ смотрятъ Французы и вѣроятно всегда смотрѣть будутъ на представленія трагедій лучшихъ своихъ поэтовъ. Прекрасная и справедливая дань талантамъ. Между тѣмъ у насъ не только переводы сихъ трагедій, но и лучшія оригинальныя произведенія, составленныя по ихъ образцу, слабо дѣйствуютъ на зрителей. На это много можно приготовить опроверженій: несовершенство переводовъ, недостатки языка, хотя богатаго, выразительнаго, но не покореннаго усиліями поэзіи, различіе въ искусствѣ актеровъ и проч. Отчего же слабѣйшія подражанія нѣкоторымъ трагедіямъ Шекспира и Шиллера примѣтнѣе оживляютъ зрителей? Не оттого ли, что англійскіе и нѣмецкіе поэты, будучи ближе къ намъ по своей природѣ, вѣрнѣе нападаютъ на тѣ красоты, которыя ошутительнѣе нравятся жителямъ сѣвера? Конечно полное торжество вездѣ предоставленно

только той трагедіи, которая составляетъ въ идеальномъ видѣ истинную картину нравовъ, характеровъ, чувствованій и доблестей своего отечества. Такова была она въ Греціи, гдѣ театръ представлялъ общенародное училище богопочитанія, исторіи, законовъ и всѣхъ гражданскихъ добродѣтелей. Вѣроятно мы еще долго не увидимъ у себя трагедіи на этой степени совершенства. Все идетъ постепенно. Новыя покушенія ускоряютъ успѣхи во всемъ. Мы начали съ французскихъ трагедій. Прекрасныя въ своемъ отечествѣ, у насъ онѣ почти безжизненны. И романтическія трагедіи не наши. Но онѣ ближайшую составляютъ ступень къ тѣмъ, въ которыхъ нѣкогда восторженные зрители увидятъ все собственное: и объемъ дѣйствія, и его расположеніе, и движеніе страстей, и краски ихъ, и прелесть языка.

Возвращаемся къ Орлеанской Дѣвѣ. Мы не ослѣплены красотами Шиллера. У него есть очень чувствительные недостатки. Слабѣйшую сторону въ его трагедіяхъ, по нашему мнѣнію, составляютъ характеры дѣйствующихъ лицъ. Въ этомъ отношеніи Шиллеръ несравненно ниже образца своего, т. е. Шекспира. Трагикъ, преобразуя въ идеалъ избираемое для сочиненія лицо, не долженъ сглаживать съ него всѣ первобытныя черты, а только озарять ихъ поэтическимъ свѣтомъ. Онъ обязанъ снять съ него все грубое, ничтожное, земное; но не имѣетъ права замѣнить существенной, или природной красоты его красотою вымышленною, или мечтательною. Такимъ образомъ въ трагедіяхъ Шекспира прекрасная природа отражается какъ въ чистомъ зеркалѣ. У него всѣ чувствуютъ, мыслятъ и говорятъ сообразно съ тѣми обстоятельствами жизни, въ которыхъ находятся. Его искусство украшаетъ природу, но не противорѣчитъ ей. Для этого надобно имѣть особенную власть надъ своимъ гениемъ. Шиллеръ былъ рабомъ его. Исполненный высочайшаго вдохновенія, чувствительный, величайшій мечтатель, онъ не умѣлъ отдѣлять собственного своего существованія отъ тѣхъ лицъ, которыя дѣйствуютъ у него въ трагедіи, и потому въ каждомъ изъ нихъ мы видимъ поэта, въ каждомъ узнаемъ Шиллера. Онъ слишкомъ не-

осторожно передаетъ всякому лицу свои поэтическія мечты, свои возвышенныя созерцанія и все богатство своихъ опытовъ и умозрѣній. Поселянинъ и вельможа, простой воинъ и государь у него часто стремятся къ чему-то одному и даже сходно изъясняются. Есть конечно между ними явное различіе, безъ чего Шиллеръ не былъ бы величайшимъ поэтомъ. Каждое лицо поставлено въ особенной рамѣ, оживлено особенными красками, есть на немъ свой свѣтъ и своя тѣнь; но, разсматривая пристальнѣе всю галерею сихъ портретовъ, думаешь, будто они всѣ одного семейства, хотя судьба и назначила имъ разные удѣлы въ жизни. Слѣдствіемъ этого недостатка часто бываетъ излишняя утонченность въ разговорахъ дѣйствующихъ лицъ. Зрители принуждены бываютъ сожалѣть, что сочинитель не даетъ имъ свободы въ изображеніи своихъ чувствованій, какъ бы подсказывая каждому изъ нихъ всѣ свои любимыя выраженія, мысли и красоты поэзіи.

Мы приводимъ нѣсколько примѣровъ. Отъ нихъ подобныя замѣчанія становятся яснѣе.

Тибо д'Аркъ укоряетъ дочь свою въ холодности къ Раймонду, прекрасному, честному юношѣ, который ищетъ руки ея. Раймондъ ему отвѣчаетъ:

Не принуждай ея, мой честный Аркъ!
 Любовь моей Іоанны есть прекрасный
 Небесный плодъ: прекрасное свободно;
 Оно медлительно и тайно зрѣетъ.
 Теперь ея веселье жить въ горахъ:
 Къ намъ въ хижины, жилища суеты,
 Съ вершины ихъ она сходитъ боится.
 Нерѣдко я съ благоговѣньемъ тихимъ
 Изъ дола вслѣдъ за ней смотрю, когда
 Она одна въ величіи надъ стадомъ
 Стоитъ и взоръ склоняетъ въ размышленья
 На мелкія обители земныя.

Я вижу въ ней тогда знаменованье
Чего-то высшаго, и часто мнится,
Что изъ другихъ временъ пришла она.

Въ устахъ поэта такой отвѣтъ былъ бы удивительно хорошъ. Поселянинъ можетъ быть по сердцу поэтомъ. Но его поэзія никогда не превратится въ столь возвышенную мечтательность. Онъ неспособенъ и намекать о подобныхъ мысляхъ, еслибы душа его и хранила въ себѣ что-нибудь на это похожее.

Мы замѣтили выше, что характеръ Карла VII представляетъ какую-то смѣсь нерѣшительности, добродушія и любви къ рыцарству. Его можно бы украсить привязанностію къ прелестямъ поэзіи, но не надобно было представлять изъ него романтическаго поэта. Между тѣмъ, вотъ какъ онъ говоритъ Дю-Шателю о стихотворцахъ, присланныхъ къ нему отъ Ренé:

..... Пѣвецъ высокій
Безъ почести отселѣ не пойдетъ:
Для насъ при немъ нашъ мертвый жезлъ цвѣтетъ;
Онъ жизни вѣтвь безсмертно-молодую
Вплетаешь въ нашъ безжизненный вѣнецъ.
Властителю совластвуетъ пѣвецъ;
Переселясь въ обитель неземную,
Изъ легкихъ сновъ себѣ онъ зиждетъ тронъ.
Пусть обруку идетъ монарху онъ:
Они живутъ на высотахъ созданья.

Архіепископъ, свидѣтель трогательнаго примиренія короля съ герцогомъ бургундскимъ, пользуется счастливымъ случаемъ и подаетъ имъ своя наставленія. Въ его устахъ они были бы прекрасны, когда бы сердечная убѣдительность выражалась своимъ языкомъ, т. е. просто, ясно и сильно. Мы не находимъ сихъ совершенствъ въ слѣдующихъ стихахъ:

Въ союзѣ вы: я Франція, какъ фениксъ,
Подымется изъ пепла своего;
Загладится войны кровавый слѣдъ;
Сожженныя селеня, города
Блистательнѣй возстанутъ изъ развалинъ,
И жатвою поля зазеленѣютъ:
Но падшіе раздора жертвой . . . ихъ.
Уже не воскресить, и слезы, въ вашей
Враждѣ пролитыя, пролиты *были*
И *будутъ*. Разцвѣтетъ *другое* племя;
Но *прежнее* все жертвой бѣдъ увяло
Пробудятся ль отцы для счастья внуковъ
Таковъ раздора плодъ! Для васъ, монархи,
Урокъ сей: божество меча ужасно;
Его могущества не испытайте! Разъ
Исторгнувшись съ войной, оно уже,
Какъ соколъ, съ вышины на крикъ знакомый
Слетающій къ стрѣлку, не покорится
Напрасному призванью чловѣка;
И не всегда къ намъ вовремя, какъ нынѣ,
Спасеніе небесное нисходитъ.

Но всего страннѣе, съ какими чувствованіями сочинитель заставляетъ умирать Тальбота, главнаго предводителя Англичанъ. Онъ раненъ смертельно и уже видитъ приближеніе послѣдней своей минуты. Самый обыкновенный чловѣкъ въ такомъ положеніи можетъ произнести множество истинъ сильныхъ и поразительныхъ. Тальботъ, душа цѣлой почти націи, вошедшей въ чужую землю для ея покоренія, безстрашный воинъ и предводитель, котораго сердце пылало славою, Тальботъ, умирая прекрасною смертію на полѣ сраженія, говорить:

Безумство, ты превозмогло: а я
Погибнуть осужденъ! И сами боги
Противъ тебя не въ силахъ устоять.

О гордый умъ, ты, свѣтлое рожденье
 Премудрости, верховный основатель
 Созданія, правитель міра, что ты?
 Тебя несеть, какъ бурный конь, безумство;
 Вотще твоя узда: ты бездну видишь,
 И самъ въ нее съ нимъ падаешь неволью.
 Будь проклятъ тотъ, кто въ замыслахъ великихъ
 Теряетъ жизнь, кто мудро выбираетъ
 Себѣ стезю вѣрнѣйшую! Безумству
 Принадлежитъ земля.

Минута кончить все: отдамъ землѣ
 И солнцу все, что здѣсь во мнѣ сливалось
 Въ страданіе и въ радость такъ напрасно,
 И отъ могучаго Тальбота, славой
 Наполнившаго свѣтъ, на свѣтѣ будетъ
 Одна лишь горсть летучей пыли. Такъ
 Весь гибнетъ человѣкъ: и вся добыча
 Отъ тягостной войны съ суровой жизнью
 Есть убѣжденіе въ небытіи
 И хладное презрѣнье ко всему,
 Что мнилось намъ великимъ и желаннымъ.

Главный характеръ въ сей трагедіи, т. е. Іоанны, представляетъ высочайшее торжество драматической поэзіи. Съ перваго появленія на сцену до смерти своей, Іоанна равно вдохновенна, занимательна и достойна славнаго своего назначенія. Ни одного слова не вышло изъ устъ ея, которое бы не показывало въ ней посланницы неба. Труднѣе всего, кажется, было заставить ее говорить приличнымъ ея сану языкомъ, когда она является въ первый разъ къ королю. Но какъ удивительно Шиллеръ это выполнилъ! Король, до ея прибытія, уступаетъ свое мѣсто Дюнуа, чтобы подвергнуть ее испытанію. Вотъ начало этой прекрасной сцены:

Дюнуа съ важностію.

Ты ль, дивная? . . .

Іоанна прерываетъ его величественно.

Ты Бога испытываешь:

Не на своемъ ты мѣстѣ, Дюнуа!

(Обращаясь къ королю).

Вотъ тотъ, къ кому меня послало небо!

Король.

Мое лицо ты видишь въ первый разъ:

Кто далъ тебѣ такое откровенье?

Іоанна.

Я видѣла тебя . . . но только тамъ,
Гдѣ ты никѣмъ не зримъ былъ, кромѣ Бога.
Ты помнишь ли, что было въ эту ночь?
Тогда, какъ все кругомъ тебя заснуло
Глубокимъ сномъ, не ты ль, покинувъ ложе,
Съ молитвою предъ Господомъ простерся?
Вели имъ выйти: я твою молитву
Тебѣ скажу.

Король.

Что Богу я повѣрилъ,
Не потаю того и отъ людей.
Открой при нихъ моей молитвы тайну:
Тогда твое признаю назначенье.

Іоанна.

Ты произнесъ предъ Богомъ три молитвы:
И первую молилъ ты, чтобъ Всевышній,
Когда твой тронъ стяжаніемъ неправымъ,
Иль незаглаженной изъ древнихъ лѣтъ

Виною обремененъ, и тѣмъ на насъ
 Навлечена губящая война,
 Тебя избралъ мирительною жертвой,
 И на твою покорную главу
 Излилъ за насъ всю чашу наказанья.

Король.

Но кто же ты, чудесная? Откуда?

Іоанна.

Другая же твоя была молитва:
 Когда уже назначено Всевышнимъ
 Тебя лишить родительскаго трона
 И все отнять, чѣмъ праотцы твои
 Вѣнчанные владѣли въ сей землѣ,
 Чтобъ сохранить тебѣ три лучшихъ блага:
 Спокойствіе души самодовольной,
 Твоихъ друзей и вѣрную Агнѣсу.
 Скажу ль твою послѣднюю молитву?

Король.

Довольно; вѣрую: сего не можетъ
 Единый человѣкъ; съ тобой Всевышній.

Это явленіе просто, глубоко, естественно и трогательно. Подобнымъ образомъ выдержанъ прекрасно во всей трагедіи характеръ отца Іоанны. Смиранный поселянинъ, нѣжный родитель, но вмѣстѣ набожный до жестокаго суевѣрія, онъ предаетъ на судъ свою дочь въ надеждѣ ея раскаянія. Онъ хочетъ ея гибели для спасенія души ея. Другіе характеры болѣе или менѣе доведены до возможнаго совершенства, смотря по значительности дѣйствія ихъ въ трагедіи, хотя вездѣ, какъ мы уже замѣтили, остается на нихъ общій признакъ Шиллеровыхъ характеровъ.

Соображая всѣ сіи замѣчанія, мы заключаемъ, что Орлеан-

ская Дѣва не можетъ назваться лучшимъ произведеніемъ Шиллера. Какъ трагедія, она медленно идетъ сначала. Три первыя дѣйствія составляютъ болѣе приготовленіе къ настоящей трагедіи, нежели существенныя части ея. Для представленія она слишкомъ обширна. Есть явленія, совершенно не относящіяся къ общей цѣли дѣйствія. Иные характеры неестественны, другіе слабы. Но тѣмъ не менѣе это одно изъ занимательнѣйшихъ произведеній гения. Оно поражаетъ новостію созданія, пламеннымъ воображеніемъ, возвышенностію заключающихся въ немъ истинъ, великолѣпіемъ картинъ, непрерывными поэтическими движеніями и наконецъ соприсутствіемъ самой религіи, приводящей зрителей въ благоговѣйное умиленіе.

Переводчикъ Орлеанской Дѣвы, можетъ быть, съ намѣреніемъ избралъ эту трагедію изъ всѣхъ произведеній Шиллера. Для впечатлѣній сильныхъ необходимы самыя поразительныя примѣры. Въ Орлеанской Дѣвѣ смѣлѣе, нежели гдѣ-нибудь, Шиллеръ пользовался всѣми красотами и особенностями романтическихъ трагедій. Воспитанные и взросшіе, такъ сказать, на зрѣлищахъ французскихъ, для перемѣны образа мыслей мы имѣли нужду въ произведеніи, совершенно отъ нихъ отличномъ, гдѣ бы предметъ, планъ его, краски и направленіе драмы представляли все для насъ столько же новое, сколько и занимательное. И это преимущественно соединяется въ Орлеанской Дѣвѣ. Другія трагедіи основаны на побужденіи земныхъ страстей. Это нѣкоторымъ образомъ сближаетъ ихъ. Орлеанская Дѣва основана единственно на вѣрѣ. Здѣсь поэтъ предлагаетъ зрителямъ тайну Провидѣнія. Такова у Грековъ была судьба Эдипа, неистощимый источникъ трагедій. Всѣ земныя страсти умолкаютъ при зрѣлищѣ чего-то небеснаго. Изящное искусство достигаетъ высшаго своего назначенія: удовольствіе облагораживаетъ душу нашу и дѣлаетъ ее чище и святѣе. Такое впечатлѣніе, будучи по новості своей самое живѣйшее, можетъ-быть, возбудитъ дѣятельность юнаго гения: и мы обязаны будемъ Орлеанской Дѣвѣ оригинальною превосходною трагедіею.

Въ переводѣ Іоанны д'Аркъ видимъ новый размѣръ, давно уже принятый для трагедій въ просвѣщенной Германіи. Александрійскіе стихи съ рифмами утомительны для слуха и трудны для произношенія. Ямбическій пятистопный стихъ безъ пресѣченія и рифмы придаетъ драматическому разговору необыкновенную естественность, удерживая въ себѣ всю гармонію поэзіи. Онъ способенъ къ изображенію всѣхъ оттѣнковъ разговора. Простота и возвышенность, сила и нѣжность, спокойствіе и быстрота: все получаетъ въ немъ свою опредѣлительность, отличіе и ясность. У насъ многіе еще не приучили слуха своего къ этому стиху: не удивительно. Иные даже не любятъ его: странно. Надобно радоваться каждому приобрѣтенію въ поэзіи. Оно доставляетъ ей пріятное разнообразіе, новыя совершенства и расширяетъ кругъ высокихъ удовольствій, которыхъ такъ жаждетъ образованная и чувствительная душа. У насъ лучшій языкъ для поэзіи; а мы еще не смѣемъ пользоваться всѣми его преимуществами. Еслибы Французы, которымъ мы такъ страстно любимъ подражать, въ состояніи были доставить своему языку подобныя выгоды, они давно бы обогатили его всѣми сокровищами поэзіи другихъ народовъ.

Читая Іоанну д'Аркъ на русскомъ языкѣ, надобно учиться тайнамъ одного изъ самыхъ трудныхъ искусствъ въ словесности: какъ переводить поэтовъ. Самый близкій переводъ можетъ быть несовершеннѣйшимъ трудомъ, если переводчикъ болѣе думаетъ о словахъ, нежели о красотѣ мыслей, чувствованій и цѣли подлинника. Вольный переводъ представляетъ иногда счастливое подражаніе, но не даетъ совершеннаго понятія о всей прелести языка и украшеній его, о характерѣ и настоящемъ достоинствѣ сочинителя. Переводчикъ Орлеанской Дѣвы, ни въ чемъ почти не отступая отъ подлинника, вездѣ идетъ рядомъ съ сочинителемъ, чувствуетъ его вдохновеніе, ясно постигаетъ каждое движеніе его, смѣло передаетъ намъ его красоты, и, въ случаѣ невозможности, судя по различію языковъ, замѣняетъ ихъ собственными, но равносильными. Онъ уважаетъ каждую минуту одушевленія

сочинителя, и мы это живо чувствуемъ въ его переводѣ. У Шиллера во многихъ мѣстахъ перемѣняется мѣра стиховъ, смотря по страсти, или положенію дѣйствующаго лица. Многіе монологи, безъ рифмъ начатые, оканчиваются стихами, въ которыхъ есть рифмы, когда усиливается движеніе дѣйствія. Переводчикъ нигдѣ не отступилъ въ этомъ отъ подлинника. Онъ перенесъ намъ сію трагедію точно такъ, какъ написалъ бы ее Шиллеръ, еслибъ онъ родился Русскимъ.

Трудности сего перевода были неисчислимы, когда сравнить различіе языковъ русскаго и нѣмецкаго. Въ Германіи трагедія и слѣдовательно формы трагическаго языка достигли едва ли не послѣдней степени своего совершенства. Такимъ образомъ тамъ для каждой мысли со всѣми малѣйшими оттѣнками понятій есть уже опредѣлительныя выраженія, которыя столько же удобно находятъ сочинителю, сколько легко читателю постигать ихъ. Тамъ употребленіе освятило союзъ возвышенныхъ выраженій съ самыми обыкновенными. Русскій языкъ еще этого не имѣетъ. Онъ прекрасенъ, ровенъ и чистъ почти въ одной лирической поэзіи, а въ другихъ родахъ только тамъ, гдѣ случай позволяетъ приближаться къ ней. Переводчикъ, не смотря на препятствія, безпрестанно ему отъ этого обстоятельства встрѣчавшіяся, остался вездѣ по языку своему чистъ, ясенъ, силенъ и благороденъ. Онъ даже обогатилъ языкъ нашъ новыми формами и выраженіями, которыя одно только вдохновеніе можетъ сдѣлать сперва пріятными, а потомъ навсегда общеупотребительными. Мы болѣе всего удивлялись въ немъ плѣнительно-счастливому соединенію простоты языка, необходимой для нѣкоторыхъ лицъ, съ тою важностію, которая преобразуетъ рѣчи ихъ въ трагической разговоръ. Предоставляемъ читателямъ нашимъ внимательнѣе разобрать, сколько простосердечія, красоты, возвышенности и всѣхъ совершенствъ языка и поэзіи находится въ слѣдующемъ отрывкѣ. Архіепископъ, въ присутствіи короля, спрашиваетъ Іоанну: кто она? Вотъ ея отвѣтъ:

Святыи отецъ! Меня зовутъ Іоанна;
Я дочь простаго пастуха; родилась
Въ мѣстечкѣ Домъ-Реми, въ приходѣ Тула;
Тамъ стадо моего отца пасла
Я съ дѣтскихъ лѣтъ; и я слыхала часто,
Какъ набѣжалъ на насъ островитянинъ
Неистовый, чтобъ сдѣлать насъ рабами,
Чтобъ посадить на тронъ нашъ иноземца,
Немного народу; какъ столицей
И Франціей властительствовалъ онъ . . .
И я въ слезахъ молила Богоматерь:
Насъ отъ цѣпей пришельца защитить,
Намъ короля законнаго сберечь. .
И близъ села, въ которомъ я родилась,
Есть чудотворный ликъ Пречистой Дѣвы:
Къ нему толпой приходятъ богомольцы;
И близъ него стоитъ священный дубъ,
Прославленный издревле чудесами;
И я въ тѣни его сидѣть любила,
Пася овецъ (меня стремило сердце);
И всякій разъ, когда въ горахъ пустынныхъ
Случалось ягненку затеряться,
Пропадшаго являлъ мнѣ дивный сонъ,
Когда подъ тѣмъ я дубомъ засыпала.
И разъ (всю ночь съ усердною молитвой,
Забывъ о снѣ, сидѣла я подъ древомъ)
Пречистая предстала мнѣ; въ рукахъ
Ея былъ мечъ и знамя, но одѣта
Она была, какъ я, пастушкой, и сказала:
«Узнай меня, возстань, иди отъ стада!
«Господь тебя къ иному призываетъ.
«Возьми сіе святое знамя; мечъ
«Сей опояшъ, и имъ неустрашимо
«Рази враговъ народа моего!

«И проводи помазанника въ Реймсъ,
«И увѣнчай его вѣнцомъ наслѣднымъ!»
Но я сказала: мнѣ ль, смиренной дѣвѣ,
Неопытной въ ужасномъ дѣлѣ брани,
На подвигъ сей погибельный дерзать?
«Дерзай, она рекла мнѣ: чистой дѣвѣ
«Доступно все великое земли,
«Когда земной любви она не знаетъ.»
Тогда моихъ очей Она коснулась . . .
Подъеблю взоръ: исполнено все небо
Сіяющихъ, крылатыхъ Серафимовъ;
И въ ихъ рукахъ прелестныя лилеи;
И въ воздухѣ провѣялъ сладкій голосъ.
Итакъ Пречистая три ночи сряду
Являлась мнѣ и говорила: «Встань!
«Господь тебя къ иному призываетъ.»
Но въ третью ночь Она, явясь во гнѣвѣ,
Мнѣ строгое сіе вѣщала слово:
«Удѣлъ жены тяжелое терпѣнье;
«Возьми твой крестъ, покорствуй небесамъ!
«Въ страданіи земное очищенье:
«Смиренный здѣсь возвышенъ будетъ тамъ.»
И съ словомъ симъ Она съ себя одежду
Пастушки сбросила, и въ дивномъ блескѣ
Явилась мнѣ Царицею небесъ,
И на меня съ утѣхой поглядѣла,
И медленно на свѣтлыхъ облакахъ
Къ обителямъ блаженства полетѣла.

Здѣсь ни одинъ стихъ не напоминаетъ читателю, что это переводъ. Все изложено съ такою свободою, ясностію и приличіемъ, что подъ перомъ лучшаго оригинальнаго поэта стихи не могутъ образоваться совершеннѣе приведенныхъ нами. Но мы не выбирали особенно отдѣльныхъ мѣстъ. Переводъ весь

одинаковъ. И если при чтеніи Орлеанской Дѣвы не вездѣ можно чувствовать равное удовольствіе, то конечно въ этомъ случаѣ не переводчика обвинять должно. Онъ съ своей стороны сдѣлалъ все, какъ истинный поэтъ и превосходный писатель.

ПИСЬМО КЪ ГРАФИНѢ С. И. С.

О РУССКИХЪ ПОЭТАХЪ ¹⁾).

1824.

Обѣщать, да не исполнить: по-моему, значить остаться въ долгу. Давно я должникъ вашъ, графиня! Спѣшу расплатиться. Вы обвиняли меня въ пристрастіи къ русскимъ поэтамъ. Вы даже подозрѣвали насъ, русскихъ литераторовъ, что мы умышленно грѣшимъ, пропуская безъ вниманія лучшія произведенія французской поэзіи. Наконецъ, по вашему мнѣнію, трудно указать, кто бы изъ нашихъ поэтовъ замѣнилъ вамъ то удовольствіе, которое чувствуете вы, читая любимаго своего Ламартина. Я во всемъ осмѣлился вамъ противорѣчить. Я вызвался доказывать вамъ, что едва ли вы не пристрастнѣе меня. Вы позволили мнѣ письменно защищаться, говорить откровенно, даже долго. Кто бы на моемъ мѣстѣ не воспользовался такимъ позволеніемъ? Но вы не испугайтесь, графиня! Я не употреблю во зло вашего снисхожденія. Непростительно было бы мучить васъ убѣжденіями, что я безпристрастный человѣкъ, что мы всѣ равно любимъ французскую поэзію, какъ и вы. Мнѣ только надобно будетъ доказать, что есть много русскихъ поэтовъ, которые удовлетворяютъ самому разборчивому вкусу образованнаго и безпристрастнаго человѣка.

¹⁾ Напечатано въ альманахѣ барона Дельвига *Сверные Цветы* на 1825 годъ первую статью (стр. 1—80). Начальныя буквы означаютъ графиню Софью Ивановну Соллогубъ, рожденную Архарову, мать писателя, гр. Вл. Александр. Соллогуба.

Если я успѣю въ своемъ намѣреніи, — кажется, другія ваши сомнѣнія разрѣшатся сами собою.

Но можно ли, начиная говорить о поэтахъ, не сказать чегонибудь прежде о поэзіи? Она знакома сердцу каждого человѣка. Мы всѣ чувствуемъ ее, какъ наслажденіе, какъ желаніе счастья. Вся разность ея происходитъ отъ силы души, отъ направленія страстей и отъ обстоятельствъ жизни, наиболѣе рѣшающихъ судьбу человѣка. Кто жилъ нѣсколько часовъ, отдавшись благороднымъ, лучшимъ своимъ желаніямъ; кто въ это время былъ совершенно свободенъ отъ ничтожныхъ потребностей бѣдной жизни нашей и чуждъ волненія земныхъ страстей: тотъ испыталъ это чувство, которое называю я поэзіей. Трудно, почти невозможно быть всегда поэтомъ, равно какъ невозможно быть всегда счастливымъ. Есть однакожъ способъ воскрешать сіи быстрыя наслажденія и сообщать имъ неизмѣнное бытіе, ежели не въ сердцѣ, по крайней мѣрѣ въ памяти. Я говорю объ искусствѣ поэзіи. Наружныя совершенства произведеній въ каждомъ искусствѣ составляютъ условное дѣло. Лучшій скульпторъ безъ хорошаго рѣзца и чистаго мрамора не въ состояніи сдѣлать превосходной статуи. Равно и поэтъ: онъ не можетъ во всемъ стихотвореніи своемъ сохранить одинаковой гармоніи, точности, ясности, если языкъ его не совсѣмъ обработанъ, не вездѣ опредѣленъ и не принялъ видоизмѣненій для оттѣнковъ каждой мысли. И сколько еще безчисленныхъ обстоятельствъ, которыя должно принять въ уваженіе, чтобы судить объ одной наружности произведенія! Самое чувство поэзіи, какъ я замѣтилъ выше, подвластно обстоятельствамъ жизни. По крайней мѣрѣ можно, говоря о немъ, быть строже. Оно больше принадлежитъ собственно поэту, нежели языкъ его, который только тогда надобно осуждать, когда онъ ниже своего времени.

Вы, графиня, любите поэзію. Итакъ вы любите читать исторію лучшей жизни человѣческаго сердца: его прекрасныя желанія, тихія надежды, благородные порывы и самыя мученія (въ которыхъ есть что-то лучшее бездѣйственнаго состоянія души,

потому что они вызываютъ насъ на славные подвиги). Но можетъ ли вкусъ, эта способность души, столько же разборчивая и нѣжная въ выборѣ наслажденій, сколько и жадная къ разнообразію оныхъ, ограничиться одною французскою поэзіей? Ея лучшее время было временемъ политической расчетливости, свѣтской учтивости и придворнаго остроумія. Этотъ вѣкъ наложилъ крѣпко печать свою на всю поэзію, тѣмъ болѣе, что она сосредоточивалась въ Парижѣ. Самое вѣрное поэтическое чувство, самое лучшее его движеніе не смѣло тамъ явиться въ прелестной простотѣ своей. Оно говорило въ полголоса, и то жеманнымъ языкомъ. Прекрасная природа показалась бы грубою въ этихъ обществахъ, въ которыхъ все было искусствомъ: движенія, голосъ, мысли и чувствованія. Что невольно зараждалось въ пламенномъ сердцѣ, то передавалъ холоднымъ языкомъ своимъ услужливый умъ. Нѣтъ правила безъ исключенія. Но я говорю о большемъ числѣ французскихъ поэтовъ тогдашняго времени. Трудно было преемникамъ ихъ сообщить новый характеръ стихотвореній. Невольно увлекались они своими образцами. Только ближайшее знакомство съ поэтами Англіи и Германіи могло вывести ихъ изъ заблужденія, будто они все совершили. И вотъ, гдѣ почерпнулъ Ламартинъ то, что васъ въ немъ болѣе всего плѣняетъ: чувства, картины и мечтательность? Между тѣмъ, какъ еще онъ однообразенъ, въ сравненіи съ другими романтическими поэтами! Какъ онъ примѣтно охлаждается въ новѣйшихъ своихъ стихотвореніяхъ! Славу его поддерживаетъ не поэзія, но этотъ всемірный языкъ, которымъ всѣ говорятъ прежде, нежели начинаютъ мыслить. О французской поэзіи можно то же сказать, что и о французскомъ языкѣ; ее особенно любятъ не потому, что она лучше другихъ, но потому, что ее больше знаютъ. Но почему больше? Это не литературный вопросъ, а политическій.

Холодныя правила и мелочныя условія общежительной вѣжливости не имѣли и не могли имѣть никакого вліянія на русскую поэзію. Она образовалась прежде, нежели укоренились у насъ французскіе законы свѣтскаго обращенія. Первымъ вдохновеніемъ

емъ Ломоносова было чувство патриотизма. Онъ написалъ первую оду свою, бывши въ Германіи. Когда въ лучшихъ нашихъ обществахъ утвердился нынѣшній вкусъ, поэзія еще менѣе прежняго могла заразиться изысканностію и сдѣлаться игрушкою дѣтскаго остроумія. Ее спасъ французскій языкъ. Затѣйливые угодники не слишкомъ взыскательныхъ нашихъ красавицъ лепетали имъ за новостъ старые французскіе мадригалы, а рускіе стихи писались только отъ избытка чувствъ, въ домашней тишинѣ, которую такъ любить вдохновеніе, читались только въ тѣсномъ кругу друзей, отъ которыхъ не похвалы ждутъ, а участія и суда. Кажется, можно еще то же сказать и о нынѣшнемъ состояніи русской поэзіи. Вошла ли она въ число любимыхъ занятій такъ называемаго лучшаго круга людей? Утвердились ли въ нашихъ обществахъ голоса въ пользу истинныхъ поэтовъ? Пожилые говорятъ только о Ломоносовѣ, Сумароковѣ и Херасковѣ, какъ будто бы все это одно и то же. Молодые раздѣлены въ своихъ мнѣніяхъ по разнымъ причинамъ. Кто же слѣдуетъ за нашей поэзіей? Кто безпристрастно говоритъ о ней? Малое число лучшихъ литераторовъ, которые, къ сожалѣнію своему, принуждены быть въ одно время и подсудимыми и судьями.

Всѣ сіи обстоятельства произвели важныя послѣдствія. Повсемѣстное употребленіе въ лучшихъ обществахъ французскаго языка остановило у насъ усовершенствованіе драматической поэзіи, которая заимствуетъ лучшіе свои обороты изъ лучшаго только разговора. Отъ бѣдности разговорнаго языка все возвышенное въ трагедіи кажется у насъ напыщеннымъ, а все простое въ комедіи становится низкимъ. Озеровъ только тамъ истинно хорошъ въ своихъ трагедіяхъ, гдѣ предметъ позволяетъ ему говорить или языкомъ поэмы, или языкомъ лирической поэзіи. Но въ тѣхъ родахъ, которые, менѣе драматической поэзіи, зависятъ отъ разговорнаго языка, мы безъ всякаго сомнѣнія опередили вѣкъ нашей образованности. Если бы искусная рука составила русскую антологию, т. е. собрала въ одну книгу все лучшее изъ нашей поэзіи; то рѣшительно должно сказать, что эта книга по своему

поэтическому достоинству равнялась бы съ антологіею классической древности. Чувства глубокія и вѣрныя, краски яркія и чистыя, мысли новыя и сильныя; языкъ благозвучный, выразительный и способный ко всѣмъ звукопаденіямъ: вотъ особенныя преимущества русскихъ поэтовъ передъ французскими!

Я не пишу для васъ, графиня, систематическаго обозрѣнія нашихъ поэтовъ, а еще менѣе ученой критики. Въ противномъ случаѣ мое письмо превратилось бы въ учебную книгу русской литературы. Я ограничусь въ моемъ исчисленіи только тѣми поэтами, которые, по моему мнѣнію, скорѣе могутъ для васъ сдѣлаться занимательными. Художникъ любитъ разсматривать всѣ древнія и новыя произведенія искусствъ. Но любитель художествъ останавливаетъ свое вниманіе только на томъ, что ближе подходитъ къ совершенству, по его образу мыслей. У насъ есть превосходные поэты по главнымъ чувствамъ, или по отдѣлкѣ нѣкоторыхъ частей, или по особенной легкости языка. Я утомилъ бы любопытство ваше, если бы рѣшился занимать васъ такими подраздѣленіями. Довольно, кажется, назвать тѣхъ, которые соединяютъ въ себѣ болѣе другихъ внутренняго совершенства съ наружными совершенствами поэзіи. Одни изъ нихъ издали уже собранія своихъ произведеній, *другіе* дарятъ насъ ими только изрѣдка въ современныхъ изданіяхъ. Вотъ одно раздѣленіе, которое мнѣ показалось необходимымъ! Приступаю къ *первому* разряду.

Всѣхъ выше, вдохновеннѣе, разнообразнѣе, оригинальнѣе между поэтами нашими *Державинъ*. Онъ больше всѣхъ оправдалъ собою мнѣніе древнихъ, что *поэтами рождаются*. Его гений открылъ себѣ собственное поприще, обнялъ на немъ все поэтическое, создалъ свой языкъ, и никому не передалъ тайны своего искусства, какъ будто потому, что самъ ни отъ кого ея не заимствовалъ. Читая его, чувствуешь себя перенесеннымъ въ какую-то страну особенную и въ какой-то особенный вѣкъ. Тамъ нѣтъ ничего мечтательнаго и неяснаго. Это поэтическая Россія во времена Екатерины. Художники и бытописатели въ Державинѣ должны искать того, что оживить ихъ произведенія; но, кто знаетъ, че-

резъ сто лѣтъ не сочтутъ ли сихъ временъ мифологическими: такъ онъ плѣняетъ воображеніе наше самою истиною! Его не надобно сравнивать съ тѣми стихотворцами, которые въ другихъ земляхъ сообщали своему времени названіе *золотоу вѣка* словесности; потому что онъ оставилъ намъ не образцы языка, но образцы превосходной поэзіи. Онъ не сочинялъ, а творилъ. Онъ писалъ, какъ вдохновенный художникъ, который, увлекаясь однимъ чувствомъ, не смотритъ, карандашемъ ли онъ чертитъ, или кистію, на полотнѣ, или на стѣнѣ. Геній былъ ему вмѣсто вкуса. Онъ передъ другими поэтами точно то же, что герои Омера передъ героями нашихъ временъ. Вотъ его ода: *На кончину гр. Орлова*.

Что слышу я? Орелъ изъ стаи той высокой,
 Котора въ воздухѣ плыла
 Впредь Минервы свѣтлоокой,
 Когда она съ Олимпа шла,
 Орелъ, который надъ Чесмою
 Предъ флотомъ Россіянъ леталъ,
 Внезапно роковой стрѣлою
 Сраженный, съ высоты упалъ!

Увы, гдѣ, гдѣ его подъ солнцемъ днесъ паренье?
 Гдѣ по морямъ его слѣды?
 Гдѣ бурно громовъ устремленье
 И пламенны межъ тучъ бразды?
 Гдѣ быстрыя всезрящи очи
 И грудь, отважности полна?
 Все, все сокрылъ мракъ вѣчной ночи:
 Осталась слава лишь одна!

Здѣсь поэтъ летитъ подобно орлу. Въ шестнадцати стихахъ онъ успѣлъ все сказать, что представлялъ ему величайшій предметъ. Покрывало аллегорія ничего не скрываетъ отъ глазъ вашихъ. Вы узнаете и Минерву и стаю орловъ ея. Нѣтъ ни одной черты

недокончанной, и ни одной лишней. Можетъ-быть, вы пожелали бы видѣть нѣсколько размышленій: но они сами наполняютъ душу съ послѣдними двумя стихами оды. Величайшіе писатели тѣмъ и отличаются отъ обыкновенныхъ, что они заставляютъ думать, а послѣдніе наводятъ скуку своею говорливостію. Между тѣмъ, какъ все оживлено въ этой одѣ! Нѣтъ ни одного стиха, который бы не заключалъ въ себѣ движенія. Таковъ и долженъ быть языкъ лирической поэзіи, какъ языкъ чувствъ, а не размышленія. Теперь представьте себѣ поэта, каковъ Державинъ, излагающаго возвышенныя мысли, увлекаемаго славою отечества, жертвующаго цвѣтами своими нѣжнымъ Граціямъ, и всегда равнаго по вдохновенію своему на каждомъ поприщѣ: кто жъ изъ французскихъ поэтовъ, не говорю замѣнить его, но хотя нѣсколько приблизится къ нему? Самъ Лагарпъ, говоря о Жанъ-Батистѣ Руссо, лучшемъ ихъ лирикѣ, признается, что у него только хорошіе стихи. Судя по этому, не только Державинъ, но *Ломоносовъ* и *Петровъ* гораздо выше Руссо; потому что ихъ оды, исполненныя лирическаго восторга, разнообразія картинъ, сильныхъ чувствованій и прекрасныхъ мыслей, восхищаютъ читателя не отдѣлкою стиховъ, но истинною поэзіей.

Ниже Державина, по силѣ дарованій, *Капнистъ* часто превосходитъ его чистотою и легкостію стиховъ. Его муза, болѣе подражательная, нежели оригинальная, остановила вниманіе свое на превосходномъ образцѣ. Гораций былъ его учителемъ, и никто, удачнѣе Капниста, не напоминалъ намъ звуковъ пѣвца Августова. Но Капнистъ не хотѣлъ остаться только переводчикомъ. Онъ главныя чувства Горация облакалъ въ свои формы, наводилъ на нихъ свои краски и оживлялъ ихъ національною мѣстностію. Его искусство произвело такое очарованіе, что мы, читая оды его, забываемъ оригиналъ, и въ подражаніи видимъ что-то собственное. Скромный въ желаніяхъ, иногда мечтатель, пѣвецъ сердечной грусти, нѣжный другъ, онъ влечетъ къ себѣ тишиною души и ясностію своей поэзіи. Можно ли, напримѣръ, безъ участія прочитавъ его оду: *Другу сердца?*

Я знаю, другъ мой, что за мною
На край бы свѣта ты летѣлъ;
Со мной безтрепетной ногою
Гиркански дебри ты бѣ прошелъ;
И ссылочной Сибири холодъ,
И средь песковъ Ливійскихъ зной,
Межъ лютыхъ Кафровъ жажду, голодъ,
Охотно бѣ претерпѣлъ со мной.

Но дай Богъ, чтобъ на брегѣ Псела,
Гдѣ липы мнѣ шалашъ плетутъ,
Въ тѣни зеленаго раздола,
Былъ старости моей пріютъ!
Дай Богъ, чтобъ счастье тамъ прильнуло
Къ груди, усталой отъ заботъ,
И томно сердце отдохнуло
Отъ бурныхъ жизни непогодъ!

Но ежели свирѣпствомъ рока
Удѣла милаго лишусь,
На берегъ тучный Альмска тока,
Въ Тавриду древню прѣселюсь,
Гдѣ овцы, пеленой обвиты,
Красу сребристыхъ нѣжатъ рунъ,
Отколь, въ кумирахъ знаменатый,
Владиміромъ сраженъ Перунъ.

Земли тотъ уголокъ счастливый
Всѣхъ болѣ мѣстъ манить мой взоръ:
Средь дѣса зрѣютъ тамъ оливы,
Медъ каплетъ изъ ущелья горъ;
Тамъ долго вѣтръ весенній вѣетъ,
Гнететъ недолго зимній хладъ;
На холмахъ, какъ янтарь, желтѣетъ
Токайскай сладкій виноградъ.

Вотъ тамъ-то, въ рощицѣ тѣнистой,
Устланной мягкой муравой,

Близъ тока, изъ скалы кремнистой
 Жемчужной льющагось струей,
 Мы сядемъ отдохнуть съ тобою
 И дружны съединимъ сердца.
 Тамъ теплою оросишь слезою
 Прахъ милаго тебѣ пѣвца.

Прелесть языка и прелесть картинъ увлекають читателя. Нѣтъ мѣста, котораго бы поэтъ не оживилъ чѣмъ-нибудь плѣнительнымъ. Но сколько видно вкуса въ выборѣ подробностей! Что значать всѣ однообразныя мечтанія Ламартина передъ этою ясностію сердца и блескомъ роскошной природы? Одни возбуждаютъ какое-то темное желаніе, но легкое, скоропреходящее; другіе мирятъ насъ съ судьбою и украшаютъ жизнь новыми цвѣтами.

Но я забываю, графиня, что вы обязаны Ламартину также пріятнѣйшими минутами. Я не буду больше говорить противъ него. Зачѣмъ намъ раздѣлять прекрасное: наше оно, или чужое? Произведенія изящныхъ искусствъ принадлежатъ равно всему роду человѣческому. Я буду только поддерживать свое мнѣніе, что и у насъ много прекраснаго. Въ самой драматической поэзіи, хотя она и отстала отъ другихъ родовъ (какъ я уже сказалъ), есть у насъ много удовлетворительнаго для сердца, особенно въ трагедіяхъ *Озерова*. Есть сочиненія, противъ которыхъ критика не въ правѣ сказать ничего: между тѣмъ внутреннее убѣжденіе чего-то еще отъ нихъ требуетъ. Таковы, осмѣлюсь сказать, французскія трагедіи. Конечно, онѣ были образцами *Озерова*; но его глубокая чувствительность много сообщила имъ собственнаго, не похожаго на образцы. Онъ стоитъ ниже ихъ по всему, чего требуютъ правила трагедіи, но часто выше по убѣдительности поэзіи. Впрочемъ это мнѣніе, можетъ-быть, только мое: и я чувствую, что мнѣ трудно защитить его предъ вами.

Русская поэзія не чужда и того легкаго, игриваго языка, который такъ плѣнителенъ въ *Лафонтенѣ*. Онъ еще тѣмъ у насъ

чувствительнѣе, что мы для названія многихъ предметовъ имѣемъ по два слова, которыя употребляются различно, смотря по роду сочиненія. Это разнообразіе слога придаетъ произведеніямъ нашей поэзіи особенныя краски, которыхъ Французы почти ничѣмъ отгѣнить не могутъ. Подлѣ приведенныхъ мною стихотвореній поставьте какое-нибудь мѣсто изъ Душеньки *Богдановича*, или басню *Хемницера*: и вы увидите, что это совсѣмъ другой языкъ, новая область наслажденій вкуса. Удивительнѣе всего, что сіи два поэта, впервые покусившись у насъ говорить языкомъ неподражаемаго Лафонтена, образца въ своемъ родѣ для всѣхъ вѣковъ, часто равнялись съ нимъ, а иногда и побѣждали его: я говорю *оперые*; потому что Хемницеръ ничего не могъ занять и ничего не занялъ въ языкѣ басней *Сумарокова*, а Богдановичъ для разсказа своего рѣшительно ничего не имѣлъ, кромѣ собственнаго генія. Между тѣмъ какъ у Французовъ никто изъ подражателей Лафонтена не только не сравнялся съ нимъ, но и не приблизился къ нему, мы видимъ у себя трехъ баснописцевъ классическихъ, изъ которыхъ каждый имѣетъ собственное, неоспоримое право на всеобщее уваженіе. Неизъяснимое простодушіе Хемницера, очищенность и легкость *Дмитріева*, оригинальность, глубокомысліе, соединенное съ простосердечіемъ, и народность разсказа *Крылова*: вотъ красоты нашей апологической поэзіи. Я приведу примѣръ только изъ послѣдняго, тѣмъ болѣе что онъ чаще другихъ созидаетъ для себя и предметъ басни и разсказъ ея. *Орелъ и пчела*.

Счастливъ, кто на чредѣ трудится знаменитой:

Ему и то ужъ силы придаетъ,

Что подвиговъ его свидѣтель цѣлый свѣтъ.

Но сколь почтенъ и тотъ, кто, въ низости сокрытой,

За всѣ труды, за весь потерянный покой,

Ни славою, ни почестями не льстится,

И мыслью оживленъ одной,

Что къ пользѣ общей онъ трудится.

Увидя, какъ пчела хлопочетъ вкругъ цвѣтка,
Сказалъ орелъ однажды ей съ презрѣньемъ:
Какъ ты, бѣдняжка, мнѣ жалка
Со всей твоей работой и съ умѣньемъ!
Вась въ ульѣ тысячи все лѣто лѣпятъ сотъ;
Да кто же послѣ разберетъ
И отличить твои работы?
Я право не пойму охоты
Трудиться цѣлый вѣкъ, и что жъ имѣть въ виду?
Безвѣстной умереть со всѣми на ряду.
Какая разница межъ нами!
Когда, разширися шумящими крылами,
Ношуся я подъ облаками;
То всюду разсѣваю страхъ:
Не смѣютъ отъ земли пернатые подняться,
Не дремлютъ пастухи при тучныхъ ихъ стадахъ;
Ни лани быстрыя не смѣютъ на поляхъ,
Меня завидя, показаться.
Пчела отвѣтствуетъ: тебѣ хвала и честь!
Да продлить надъ тобой Зевесъ свои щедроты;
А я, родясь труды для общей пользы несть,
Не отличать ищу свои работы,
Но утѣшаюсь тѣмъ, на наши смотря соты,
Что въ нихъ и моего хоть капля меду есть.

Предметъ приведенной мною басни есть одно изъ самыхъ утѣшительныхъ и высокихъ чувствованій человѣческаго сердца. Поэтъ видѣлъ, что изложеніе сей басни должно быть достойно своего предмета. Онъ избралъ для сего языкъ благородный, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ возвышенный. Въ самомъ понятіи объ орлѣ и пчелѣ нѣтъ ничего комическаго или забавнаго; потому что одинъ служитъ изображеніемъ могущества, а другая трудолюбія. Такимъ образомъ все употреблено, чтобы оставить въ душѣ читателя чувство, располагающее болѣе къ задумчивости, нежели къ

удовольствію. Красоты поэзіи разительны. Изображеніе страха, который наводитъ орелъ полетомъ своимъ на другихъ животныхъ, вѣрно и живописно. Если бы я привелъ теперь басни Крылова въ другомъ родѣ, каковы, напримѣръ: *Демьянова уха*, *Любопытный* и проч., которыя сдѣлались народными; если бы я сравнилъ ихъ съ тѣми, въ которыхъ онъ, какъ живописецъ, рисуетъ современные событія: то не знаю, графиня, согласились ли бы вы отдать преимущество Лафонтену передъ этимъ Протеемъ апологической поэзіи.

Дмитріевъ, кромѣ басень, писалъ во многихъ другихъ родахъ, какъ то: лирическія стихотворенія, посланія, сатиры, сказки, пѣсни и проч. У него все ознаменовано печатью самаго нѣжнаго вкуса. *Ермакъ* его служитъ украшеніемъ нашей лирической поэзіи; а въ сказкахъ онъ до сихъ поръ остается неподражаемымъ. Но я приведу вамъ изъ него такое стихотвореніе, которое болѣе носитъ на себѣ признаковъ собственно русской поэзіи. Во всѣхъ земляхъ древнѣйшими стихотвореніями бываютъ народныя пѣсни. Онѣ даютъ понятіе о народномъ характерѣ. Многіе изъ новѣйшихъ писателей, заимствуя существенныя красоты изъ этой первобытной поэзіи, составляютъ по ея образцу собственныя пѣсни, которыя тѣмъ болѣе насъ плѣняютъ, чѣмъ ближе подходятъ къ своимъ оригиналамъ. Вотъ одна изъ нихъ:

Ахъ, когда бъ я прежде знала,
Что любовь родить бѣды:
Веселясь бы не встрѣчала
Полунощныя звѣзды;
Не лила бъ отъ всѣхъ украдкой
Золотого я кольца;
Не была бъ въ надеждѣ сладкой
Видѣть милаго льстеца!
Къ удаленію удара,
Въ лютой, злой моей судьбѣ,
Я слила бъ изъ воска яра

Легки крылышки себѣ,
 И на родину вспорхнула
 Мила друга моего;
 Нѣжно, нѣжно бы взглянула
 Хоть однажды на него;
 А потомъ бы улетѣла
 Со слезами и тоской;
 Подгорюнившись бы сѣла
 На дорогѣ я большой,
 Возрыдала бѣ, возопила:
 Добры люди, какъ мнѣ быть?
 Я невѣрнаго любила:
 Научите нелюбить!

Можно ли найти что-нибудь равное этому между всѣми французскими пѣснями? Тамъ, вмѣсто изображенія чувствованій, только играютъ словами, какъ будто истинная страсть способна къ шуткамъ. Здѣсь говорить прямо сердце безыскусственнымъ, трогательнымъ языкомъ своимъ, который потому и труденъ, что слишкомъ простъ. Вы находите въ каждой строчкѣ особенное дѣйствіе, составляющее прелестную картину. Черты народности схвачены удивительно.

Говоря о пѣсняхъ, я не могу, графиня, пропустить здѣсь *Нелединскаго*, хотя онъ, къ величайшему сожалѣнію любителей вдохновенной поэзіи, никогда не издавалъ полного собранія своихъ стихотвореній. Ко второму разряду, по раздѣленію моему, онъ не можетъ итти; потому что давно перемѣнилъ поприще литератора на важнѣйшее поприще государственнаго челоуѣка. Его пѣсни, исполненныя глубочайшихъ чувствъ, пламенныхъ порывовъ души, удивительнаго объема и раздробленія каждой страсти, неподражаемой простоты и силы выражений, составляютъ верхъ совершенства въ своемъ родѣ. Напримѣръ:

Полно льститься мнѣ слезами
 Непреклонный рокъ тронуть:

Строгими навѣкъ судьбами
Загражденъ мнѣ къ счастью путь!
Безъ надежды, безъ отрады,
Томну жизнь влacha въ бѣдахъ,
Отъ небесъ не жду пощады;
Гнѣвъ ихъ въ милыхъ зрю глазахъ.

Смерть, прибѣжище несчастныхъ,
Чась послѣдній, милый часъ!
Ты отъ бремя золъ ужасныхъ.
Не спѣшишь избавить насъ.
Ты средъ счастья жизнь отъемлешь.
Средъ надеждъ, средъ благъ разишь;
Стонъ несчастливыхъ не внемлешь:
Смерть, и ты отъ нихъ бѣжишь!

Издыхая, услаждуся,
Вспомня взоръ, Темира, твой!
Съ свѣтомъ, съ жизнью разлучуся,
Лишь не съ милой мнѣ мечтой.
Пламень, что въ себѣ вмѣщаю,
Онъ душа, онъ жизнь моя:
Имъ я вѣчность постигаю,
Имъ безмертенъ буду я.

Въ безпечальное селенье
Съ жаромъ страсти преселясь,
Обнаружу упоенье,
Коемъ жилъ, тобой плѣнясь.
Въ царствѣ тѣней ту-прослаблю,
Жизни кто была милѣй,
И подземный міръ заставлю
Бога чтить души моей.

Истинная страсть сообщаетъ безпредѣльную силу душѣ. Поэтъ увлекаясь ею, въ цѣлой вселенной видитъ только одинъ предметъ. Но языкъ его, картины и порывы сердца доступны каждому чув-

ствительному человѣку. Онъ смѣло объемлетъ двѣ жизни: и мы понимаемъ его вдохновеніе. Это отчаяніе любви подобно бурѣ, которая небо преклоняетъ до земли. Такова истинная у насъ поэзія: она не льститъ одному слуху, но колеблетъ всѣ пружины сердца, и рождаетъ величественную, если смѣю сказать, музыку для души. Наблюдательный слухъ замѣчаетъ въ ней всѣ лучшіе звуки. Одно случайное отчужденіе отъ языка препятствуетъ намъ вникнуть въ совершенства его произведеній, которыя со временемъ должны поразить любопытство наше.

Я перехожу къ новому періоду нашей поэзіи. Представляя вамъ *Жуковскаго*, я начинаю говорить о такомъ поэтѣ, который далъ совсѣмъ другое направленіе своему искуству. Соединяя превосходный даръ съ образованнѣйшимъ вкусомъ, глубочайшее чувство поэзіи съ совершеннымъ познаніемъ таинствъ языка нашего, всѣ правила стихотворства со всѣми его видоизмѣненіями и отступленіями отъ условій мѣста и времени, онъ далъ намъ почувствовать, что поэзія, кромѣ вдохновенія, должна покоряться труднѣйшему искуству: не употреблять въ стихѣ ни одного слова слабого, или неравносильнаго мысли, ни одного звука непріятнаго, или разногласнаго съ своимъ понятіемъ, ни одного украшенія переувеличеннаго, или принужденнаго, ни одного оборота труднаго, или изысканнаго. Онъ подчинилъ свое искуство тѣмъ условіямъ, которыя придаютъ блескъ и языку и поэзіи. Однимъ словомъ: это первый поэтъ *золотого вѣка* нашей словесности (если непременно надобно, чтобы каждая словесность имѣла свой золотой вѣкъ). Онъ сдѣлалъ поэзію самымъ легкимъ и вмѣстѣ самымъ труднымъ искуствомъ. Прекрасныя поэтическія формы готовы для всѣхъ родовъ, и всякій можетъ написать теперь нѣсколько легкихъ, благозвучныхъ, даже сильныхъ стиховъ: но кто будетъ ими доволенъ, сравнивъ цѣлое произведеніе съ образцомъ всѣхъ нашихъ новѣйшихъ поэтовъ? Въ характерѣ его поэзіи еще болѣе, кажется, плѣнительнаго, нежели въ самыхъ стихахъ. Представьте себѣ душу, которая полна вѣры въ совершенное счастье! Но жизнь бѣдна тѣми чистыми наслажденіями, какихъ

она повсюду ищетъ. Ее оживляетъ надежда, потому что мы никогда не перестаемъ вѣрить тому, что истинно любимъ. Тогда всякое чувство облекается какою-то мечтательностію, которая преобразуетъ землю, смотритъ далѣе, видитъ больше, создаетъ иначе, нежели простое воображеніе. Для такой души нѣтъ ни одной картины въ природѣ, ни одного мѣста во вселенной, куда бы она не переносила своего чувства, и нѣтъ ни одного чувства, изъ котораго бы она не создала цѣлаго, новаго міра. Вотъ примѣръ:
Весеннее чувство.

Легкій, легкій вѣтерокъ!
Что такъ сладко, тихо вѣешь?
Что играешь, что свѣтлѣешь,
Очарованный потокъ?
Чѣмъ опять душа полна?
Что опять въ ней пробудилось?
Что съ тобой къ ней возвратилось,
Перелетная весна?
Я смотрю на небеса:
Облака, летя, сіяютъ,
И, сіяя, улетаютъ
За далекіе лѣса.

• Иль опять отъ вышины
Вѣсть знакомая несется?
Или снова раздается
Милый голосъ старины?
Или тамъ, куда летитъ
Птичка, странникъ поднебесный,
Все еще сей неизвѣстный
Край *желаннаго* сокрытъ?
Кто жъ къ невѣдомымъ брегамъ
Путь невѣдомый укажетъ?
Ахъ, найдется ль, кто мнѣ скажетъ
Очарованное *тамъ!*

Самая веселая картина весны, хотя легкая, живая, но яркая и вѣрная, между тѣмъ располагаетъ уже насъ къ задумчивости, даже къ нѣкоторому унынію. Поэтъ умѣлъ овладѣть нашею душою, потому что онъ самъ глубоко чувствуетъ предметъ свой. Плѣняя всѣ наши чувства, онъ не забываетъ сердца, которое не можетъ наслаждаться настоящимъ, не вспоминая прошедшаго: а въ прошедшемъ всегда больше для насъ прелести, нежели въ настоящемъ. Наконецъ, онъ доставляетъ пріятную пищу самому воображенію, накидывая покрывало на свой мечтательный міръ. Онъ настраиваетъ всѣ способности души къ одному стремленію: изъ нихъ, какъ изъ струнъ арфы, составляется гармонія. Вотъ въ чемъ заключена тайна романтической поэзіи! Она основывается на познаніи поэтическаго искусства и природы человѣка. Съ такимъ направленіемъ поэзіи Жуковский соединяетъ высочайшее искусство живописи всѣхъ картинъ природы, въ которыхъ каждая черта проникнута, освѣщена его душою. И вотъ чего, кажется мнѣ, недостаетъ Ламартину! Онъ только понялъ пріемы романтической поэзіи, примѣнился къ ея краскамъ и увлекся направленіемъ. Между тѣмъ у Жуковского она созрѣла въ душѣ: и отъ того онъ съ такою же легкостію и вѣрностію передаетъ намъ чувствованія Шиллера, Байрона, какъ и свои собственные.

Батюшковъ стоитъ на особенномъ, но равно прекрасномъ поприщѣ. Онъ создалъ для насъ ту элегію, которая Тибулла и Проперція сдѣлала истолкователями языка Грацій. У него каждый стихъ дышитъ чувствомъ. Его геній въ сердцѣ. Оно внушило ему свой языкъ, который нѣженъ и сладокъ, какъ чистая любовь. Игривость Парни и задумчивость Мильвуа, выражаемыя какими-то *итальянскими* звуками, даютъ только понятіе объ искусствѣ Батюшкова. Онъ въ одно время и убѣждаетъ умъ, и плѣняетъ сердце, и рисуетъ воображенію. *Мой геній.*

О, память сердца! Ты сильнѣй
Разсудка памяти печальной,
И часто сладостью своей

Меня въ странѣ плѣняешь дальною.
Я помню голосъ милыхъ словъ,
Я помню очи голубыя,
Я помню локоны златыя
Небрежно вьющихся власовъ;
Моей пастушки несравненной
Я помню весь нарядъ простой:
И образъ милый, незабвенный
Повсюду странствуетъ со мной.
Хранитель-геній мой, любовью
Въ утѣху данъ разлукѣ онъ;
Засну ль: приникнетъ къ изголовью
И усладить печальный сонъ.

Я считаю излишнимъ говорить о совершенствѣ языка. Но сколько прелести во всей этой картинѣ! Какая простота и легкость въ отдѣлкѣ! И какое искусное окончаніе! Оно одно показываетъ величайшаго знатока поэзіи. Оно останавливаетъ все вниманіе читателя: и вамъ трудно разстаться съ этимъ милымъ изображеніемъ. Между тѣмъ какое участіе рождается въ сердцѣ! Здѣсь заключена истина, ему только понятная. Такъ часто едва примѣтное движеніе въ лицѣ обнаруживаетъ всю душу человѣка наблюдательному взору.

Оканчивая здѣсь исчисленіе поэтовъ, издавшихъ уже свои стихотворенія, признаюсь, графиня, что оно неполно и слишкомъ бѣгло. Приводя на удачу образцы ихъ поэзіи, я больше думалъ о сохраненіи краткости въ письмѣ, нежели о строгости выбора. Если ваше любопытство хотя слегка возбуждено, то вы, руководствуясь собственнымъ вкусомъ и пользуясь первымъ свободнымъ временемъ, сами убѣдитесь въ моихъ истинахъ, и конечно сильнѣе, нежели я убѣдилъ васъ. Окруживъ себя полными собраніями сихъ стихотвореній, вы удивлены будете ихъ разнообразіемъ и совершенствомъ. Это знакомство усилитъ ваше вниманіе къ русской поэзіи. Я почти увѣренъ, что вы тогда сами пожелаете, для

дополненія этой галереи, узнать тѣ лица, не менѣе занимательныя, которыя мною оставлены единственно для того, чтобы не обременять вашего снисхожденія.

Но вы можете справедливо противорѣчить мнѣ, что прошедшее не должно быть всегдашнею замѣною настоящаго. Я говорилъ единственно о томъ, что вамъ самимъ давно извѣстно. Въ поэзіи, какъ и во всѣхъ изящныхъ искусствахъ, каждый вѣкъ долженъ производить что-нибудь собственное. Французы успѣли уже составить прекрасное собраніе произведеній поэтовъ своихъ XIX столѣтія, хотя его прошло еще только двадцать три года. Въ этомъ случаѣ вы справедливы: но мы неправы только потому, что у насъ стихотворенія нынѣшняго собственно столѣтія не собраны надлежащимъ образомъ въ одномъ изданіи, а разсыяны большею частію по разнымъ періодическимъ листкамъ, гдѣ съ трудомъ отыщеть ихъ самый ревностный любитель поэзіи. Вы конечно не рѣшитесь блуждать со мною по этому темному лабиринту. Однакожъ я отважусь искутить еще ваше терпѣніе и представить нѣсколько новыхъ лицъ, которыя, по моему мнѣнію, могутъ оправдать первоначальную мысль мою. Въ ожиданіи полнаго собранія ихъ произведеній, которое можетъ ускорить одинъ нетерпѣливый вкусъ публики, я упомяну о нихъ для того, чтобы вы удостоивали иногда заглядывать въ журналы наши. Трудъ, конечно для васъ скучный: но онъ доставитъ вамъ случай повѣрять мое мнѣніе, если оно покажется довольно основательнымъ.

Въ продолженіе послѣднихъ четырехъ лѣтъ *Пушкинъ* обогатилъ новѣйшую словесность нашу тремя поэмами, которыя доставили бы ему славу не только во Франціи, но и въ Англіи. Я не смѣю сравнивать его ни съ кѣмъ изъ нынѣшнихъ французскихъ стихотворцевъ, потому что онъ столько же выше ихъ, сколько у насъ Ломоносовъ былъ выше всѣхъ своихъ современниковъ-литераторовъ. Его гений съ такою же легкостію переносится въ область вымысловъ, какъ и срисовываетъ великолѣпныя картины природы. Сравните красоты *Руслана и Людмилы* съ неизгаснимою прелестію *Кавказскаго Пленника* или *Бахчисарайскаго фонтана*.

тана, и вы конечно останетесь въ недоумѣніи, чему отдать преимущество: созданію ли его воображенія, или поэтическому взгляду. Но этотъ игривый и разнообразный умъ, эта живая и своенравная душа исполнена въ то же время самыхъ нѣжныхъ, самыхъ глубокихъ движеній чувствительности. Пробѣгите рядъ всѣхъ трогательныхъ мѣстъ въ его поэмахъ, соберите его небольшія стихотворенія, сіи быстрыя изліянія кратковременной задумчивости или внезапной грусти: въ нихъ поразятъ васъ и звуки, и краски, и чувства своею точностію, естественностію, простотою и силою. Онъ нѣсколькими стихами соберетъ къ душѣ вашей все, что жизнь даетъ прекраснаго, очаруетъ васъ, и вмигъ отниметъ все ужаснымъ разувѣреніемъ, что это быстро исчезаетъ. Такую власть надъ душою, такую силу надъ сердцемъ я почитаю совершеннѣйшею поэзіей. Вы можете сами судить о томъ по слѣдующей его *Элегіи*:

Увы, зачѣмъ она блистаетъ
Минутной, нѣжной красотой!
Она примѣтно увядаетъ
Во цвѣтѣ юности живой.
Увянетъ . . . жизнью молодою
Недолго наслаждаться ей;
Недолго радовать собою
Счастливымъ кругъ семьи своей;
Безпечной, милой острою
Бесѣды наши оживлять,
И тихой, ясною душою
Страдальца душу улаждать.
Спѣшу въ волненіи думъ тяжелыхъ,
Сокрывъ уныніе мое,
Наслушаться рѣчей веселыхъ
И наглядѣться на нее.
Смотрю на всѣ ея движенія,
Внимаю каждый звукъ рѣчей,

И мигъ единый разлученья
Ужасенъ для души моей.

Не говорю вамъ о *Гнѣдичѣ*, какъ о переводчикѣ *Иліады*. Въ этомъ отношеніи много бы мнѣ надобно было представить доказательствъ, какъ Русскіе лучше Французовъ понимаютъ всѣ поэтическія стороны классическихъ писателей. Иностранцы, узнавши со временемъ русскую литературу, изумлены будутъ совершенствами нашего языка и безсмертнымъ трудомъ Гнѣдича. Его собственныя произведенія представляютъ образецъ истинной поэзіи. *Рыбаки*, его идиллія, выше всего, что у насъ произвела буколическая поэзія. Какъ Теокритъ, онъ извлекъ изъ своего предмета все поэтическое. Напрасно предположили бы вы, что ни наша природа, ни наши рыбаки не могутъ плѣнить воображенія. Природа, отъ одного полюса до другого, столько же прекрасна, сколько и разнообразна. Въ одномъ мѣстѣ она плѣняетъ своею роскошью, а въ другомъ дикою суровостію. Въ произведеніи изящнаго искусства обѣ картины должны показаться прекрасными. Равнымъ образомъ и люди. Надобно только всмотрѣться въ ихъ жизнь и уловить въ ней то, что составляетъ ея поэзію. Такъ образовалась въ душѣ Гнѣдича эта народная идиллія, которая можетъ быть счастливымъ началомъ собственно-русской буколической поэзіи. Желая представить вамъ примѣръ его слога, приведу отвѣтъ его *Крылову на приглашеніе въ чужіе края*. Вы увидите, какъ говорить чувство, облекаясь счастливѣйшею выдумкою воображенія.

Надежды юности, о милыя мечты!
Напрасно васъ въ молодой груди лелѣялъ!
Вы не сбылись: какъ лѣтніе цвѣты,
Осенній вѣтеръ васъ развѣялъ.
Свершень предѣлъ моихъ цвѣтущихъ лѣтъ:
Нѣтъ болѣе очарованій!
Гляжу на тотъ же свѣтъ:
Душа моя безъ чувствъ, и сердце безъ желаній.

Куда жь, о другъ, летѣть, и гдѣ опять найти,
Что годы съ юностью у сердца похищаютъ?
Желанья пылкія, крылатыя мечты,
Съ весною дней умчась, назадъ не прилетаютъ.

Другъ, ни за тридевять земель
Вновь не найти весны сердечной!

Ни ты, ни я не *Аріель*,
Ээира легкій сынъ, весны любимецъ вѣчный.
Отъ неизбежнаго удѣла для живыхъ

Онъ на землѣ одинъ уходитъ;
Утраченныхъ, летучихъ благъ земныхъ,
Счастливецъ, онъ замѣну вновь находитъ.
Удѣлъ прекраснѣйшій судьба ему дала,

Завидное существованье:
Какъ златокрылая пчела,
Кружится *Аріель* весны въ благоуханьѣ;
Онъ пьетъ амброзію цвѣтовъ,
Перловыя Авроры слезы;
Онъ въ зной полуденныхъ часовъ

Прильнетъ и спитъ на лонѣ юной розы.
Но лишь приблизится ночей осеннихъ тьма,
Но лишь дохнетъ угрюмая зима:
Онъ съ первой ласточкой за лѣтомъ улетаетъ,
Садится радостный на крылышко ея,
Летитъ онъ въ новые счастливые края;
Весну, цвѣты и жизнь все новымъ замѣняетъ.

О, какъ его судьба завидна мнѣ!
Но намъ ее въ какой искать странѣ?
Въ какой землѣ найти утраченную младость?
Гдѣ жизнию мы снова расцвѣтемъ?
О другъ, отцвѣтшихъ дней послѣднюю мы радость
Погубимъ, можетъ-быть, въ краю чужомъ.
За счастьемъ бѣжа подъ небо мы чужое,
Бросаемъ дома то, чему замѣны нѣтъ:

Святую дружбу, жизни лучшей цвѣтъ
И счастье душъ прямое.

Напрасно подумали бы вы, графиня, что въ русской поэзіи нѣтъ того блестящаго остроумія, котораго образцы чаще встрѣчаются во французскихъ стихахъ. Оно впрочемъ не должно быть душою всей поэзіи, такъ какъ шутливость усилимъ цѣлой жизни. Веселость тогда только доставляетъ истинное удовольствіе, когда она непринужденна и обнаруживаетъ естественное чувство. Подобный характеръ поэзіи встрѣчается у насъ въ стихотвореніяхъ *Давыдова* и *князя Вяземскаго*. Первый составилъ, такъ сказать, особенный родъ военныхъ пѣсень, въ которыхъ языкъ и краски ему одному принадлежатъ. Неистощимый въ благородныхъ шуткахъ, въ живомъ представленіи своихъ предметовъ, онъ плѣняетъ какою-то небрежностію и вмѣстѣ точностію выраженій. Это русскій Анакреонъ, но только въ лагерѣ. Князь Вяземскій сблизилъ игру простонароднаго языка съ языкомъ лучшаго общества. Онъ не заимствуетъ изъ книгъ ни своихъ остротъ, ни своихъ шутокъ. Наблюдательный умъ его находитъ все вокругъ себя. Какъ поэтъ-философъ, онъ не пренебрегаетъ ничѣмъ въ общежитіи; онъ все обращаетъ въ свою пользу. И потому самую остроумную мысль Француза онъ легко замѣнитъ столь же сильною и столь же острою мыслию русскаго простолюдина. Но, разбирая внимательнѣе произведенія его поэзіи, вы увидите, какъ чувство проглядываетъ сквозь этотъ шутливый покровъ свой. И оно-то даетъ ему верхъ надъ французскими остроумцами. Вы сами въ томъ увѣриться можете по слѣдующему его стихотворенію: *Мои желанія*.

Пусть все идетъ своимъ порядкомъ,
Иль безпорядкомъ: все равно!
На свѣтѣ, въ этомъ зданьи шаткомъ,
Жить смирно значитъ жить умно.
Устройся ты, какъ можно тише,
Чтобъ зависти не разбудить;
Безъ нужды не взбирайся выше,

Чтобъ послѣ шен не сломить.

Пусть будутъ во владѣнн скромномъ
Цвѣтникъ, при ручейкѣ древа,
Алтарь любви въ придѣлѣ темномъ,
Для дружбы стулъ, а много два;
За трапезой хлѣбъ-соль простая
Съ приправой ласкъ молодой жены;
Въ подвалѣ гость съ холмовъ Токаля,
Душистый вѣстникъ старины;
Двѣ-три картины не на славу;
Пріютъ мечтанью, камелекъ,
И про домашнюю забаву
Непозолоченый гудокъ;
Книгъ дюжина, хоть не въ сафьянѣ:
Не рукъ, разсудка торжество;
И деньга лишняя въ карманѣ
Про нищету и сиротство.

Вотъ все, чего бы въ скромну хату
Отъ неба я просить дерзалъ!
Тогда бѣ къ хранителю-пенату
Съ такой молитвою предсталъ:
«Я не прошу о благѣ новомъ;
Мое мнѣ только сохрани,
И отъ злословца будь покровомъ,
И отъ глупца оборони!»

Стихотворенія *Глинки* представляютъ рядъ аллегорическихъ картинъ. Проходя эту галерею вымысловъ, вы съ любопытствомъ остановитесь передъ каждымъ изображеніемъ, чтобы полюбоваться красками живописца и потомъ раскрыть счастливую мысль, которую онъ таитъ въ своей аллегоріи. Этотъ родъ поэзіи особенно увлекаетъ воображеніе. Онъ вдыхаетъ жизнь во все: бездушное заставляетъ чувствовать, безплотному сообщаетъ тѣло. Истины сердца можно также предлагать въ загадкахъ, какъ ис-

тины ума. Глинка, изображая вамъ какое-нибудь поэтическое чувствованіе, называетъ его именемъ другого предмета, который похожъ на него въ нѣкоторомъ отношеніи. Онъ доставляетъ вамъ удовольствіе слѣдовать за его сравненіемъ, выборомъ признаковъ, ввѣряться обману поэзіи, перемѣнять свое мнѣніе, задумываться, искать разрѣшенія загадки въ собственномъ сердцѣ, однимъ словомъ: онъ погружаетъ васъ въ самихъ себя. Его міръ есть только человѣкъ, а все прочее мысли его и чувствованія. *Перелетная птичка.*

Скрывалось за горы
Роскошное солнце,
И долгій день лѣтній
Угаснулъ; и вечеръ
Насталъ съ тишиною;
И въ воздухѣ душно.
Зарница играла
По нивамъ волнистымъ;
И сизая туча
Вдали загоралась;
Далекое эхо
Въ горахъ рокотало.
Я въ роцѣ тѣнистой
Дышалъ ароматомъ
Цвѣтущаго луга.
Вдругъ птичка слетѣла
(Не знаю откуда)
И, зыблясь на вѣткѣ,
Запѣла уныло,
Уныло . . . и сладко.
Я весь сталъ вниманье,
И весь упоенье:
Душа разрывалась
Отъ пѣсни унылой;

Душа восхищалась
Унылою пѣснью . . .
И отзвѣтъ далекій
Друзей отлученныхъ,
И память о прошломъ,
О дняхъ невозвратныхъ
Бывалаго счастья,
И стоны разлуки,
И шопотъ предчувствій,
Грядущаго тайны:
Все, все выражала
Волшебная пѣсня
Чудесной пѣвицы . . .
Мнѣ видѣлось: мѣсяцъ
Стоялъ недвижимо,
И звѣзды, внимая,
Горѣли яснѣе,
И грохотъ нагорный
Затихъ . . . и въ забвеньи
Сидѣлъ я до утра,
Мечтая о небѣ.
Пѣвица все пѣла,
Но вмѣстѣ съ росой,
Подъемлясь все выше,
Какъ искра угасла,
Въ лучахъ утонула . . .
Откуда ты, птичка,
Небесная радость?
Гдѣ край тотъ далекій,
Въ которомъ ты, прелесть,
Гостишь неотлетно?
И странникъ печальный
Въ семъ мѣрѣ мятежномъ,
По сердцу мнѣ чуждомъ,

Услышу ль опять я
 Въ безмолвіи ночи,
 Залетная гостья,
 Твой голосъ чудесный?
 Иль разъ только въ жизни
 Онъ смертному слышенъ?

Рылеевъ избралъ для себя прекрасное поприще. Онъ представляетъ вамъ поэтическія явленія изъ отечественной исторіи. Его такъ называемыя *Думы* содержатъ лирическій рассказъ какого нибудь событія. Не восходя до оды, которая больше требуетъ восторга чувствованій и быстроты изложенія, онѣ отличаются благородною простотою истины и поэзіею самаго происшествія. Чистый и легкій языкъ, наставительныя истины, прекрасныя чувствованія, картины природы: вотъ что удовлетворяетъ въ нихъ любопытному вкусу. Я приведу здѣсь одну изъ нихъ: *Смерть Ермака*.

Ревѣла буря, дождь шумѣлъ;
 Во мракѣ молніи летали;
 Безперерывно громъ гремѣлъ
 И вѣтры въ дебряхъ бушевали
 Ко славѣ страстію дыша,
 Въ странѣ суровой и угрюмой,
 На дикомъ брегѣ Иртыша
 Сидѣлъ Ермакъ, объятый думой.

Товарищи его трудовъ,
 Побѣдъ и громозвучной славы,
 Среди раскинутыхъ шатровъ
 Безпечно спали близъ дубравы.
 «О спите, спите, мнилъ герой,
 Друзья, подъ бурею ревущей;
 Съ разсвѣтомъ гласъ раздастся мой,
 На славу или на смерть зовущій!
 Вамъ нуженъ отдыхъ; сладкій сонъ

И въ бурю храбрыхъ успокоить;
Въ мечтахъ напомнить славу онъ
И силы ратниковъ удвоить.
Кто жизни не щадилъ своей,
Въ разбояхъ злата добывая;
Тотъ думать будетъ ли о ней,
За Русь святую погибая?

Своей и вражьей кровью смывъ
Всѣ преступленья буйной жизни
И за побѣды заслуживъ
Благословенія отчизны . . .
Намъ смерть не можетъ быть страшна;
Свое мы дѣло совершили:
Сибирь царю покорена,
И мы не праздно въ мірѣ жили.»

Но роковой его удѣлъ
Уже сидѣлъ съ героемъ рядомъ,
И съ сожалѣніемъ глядѣлъ
На жертву любопытнымъ взглядомъ.
Ревѣла буря; дождь шумѣлъ;
Во мракѣ молніи летали;
Безпрерывно громъ гремѣлъ
И вѣтры въ дебряхъ бушевали.

Иртышъ кипѣлъ въ крутыхъ берегахъ;
Вздымались сѣдыя волны,
И разсыпались съ ревомъ въ прахъ,
Бія о брегъ казачьи чолны.
Съ вождемъ покой въ объятыхъ сна
Дружина храбрая вкушала:
Съ Кучумомъ буря лишь одна
На ихъ гибель не дремала.

Страшась вступить съ героемъ въ бой,
Кучумъ къ шатрамъ, какъ тать презрѣнный,
Прокрался тайною тропой,

Татаръ толпами окруженный.
Мечи сверкнули въ ихъ рукахъ:
И окрававилась долина;
И пала грозная въ бояхъ,
Не обнаживъ мечей, дружина.

Ермакъ воспрянулъ ото сна,
И, гибель зря, стремится въ волны;
Душа отвагою полна:
Но далеко отъ берега чолны.
Иртышъ волнуется сильнѣй:
Ермакъ всѣ силы напрягаетъ,
И мощною рукой своей
Валы сѣдые разсѣкаетъ.

Плыветъ . . . ужъ близко челнока!
Но сила року уступила,
И, закипѣвъ страшнѣй, рѣка
Героя съ шумомъ поглотила.
Лишивши силъ богатыря
Бороться съ ярою волною,
Тяжелый панцырь, даръ царя,
Сталъ гибели его виною.

Ревѣла буря . . . вдругъ луной
Иртышъ кипящій осребрился,
И трупъ, извергнутый волной,
Въ бронѣ мѣдяной озарился.
Носились тучи, дождь шумѣлъ,
И молніи еще сверкали,
И громъ вдали еще гремѣлъ
И вѣтры въ дебряхъ бушевали.

Вы конечно согласитесь, графиня, какъ много находится разнообразія въ произведеніяхъ поэтовъ, приводимыхъ мною! И между тѣмъ каждое стихотвореніе въ своемъ родѣ совершенно. Такое стремленіе прекрасныхъ дарованій, ознаменованныхъ по-

рози собственнымъ вкусомъ и въ выборѣ предметовъ и въ ихъ изложеніи, общаетъ еще блистательнѣйшіе успѣхи нашей поэзіи. Но если бы соединить только и то, что уже издано самими поэтами: ужели подобное собраніе (въ которомъ поэзія сердца и поэзія воображенія равнялась бы поэзіи ума) не могло бы замѣнить стихотвореній французскихъ поэтовъ XIX вѣка?

Въ моемъ продолженіи встрѣтите вы еще другія особенности русской поэзіи. Оставляя общія на этотъ предметъ замѣчанія, буду говорить о томъ частно при каждомъ поэтѣ. *Баронъ Дельвигъ*, въ лирическихъ стихотвореніяхъ, исполненъ восторга истиннаго и сильнаго. Его подражанія простонароднымъ русскимъ пѣснямъ облечены всѣми красками оригиналовъ, ихъ простотою и чувствомъ. Но въ стихахъ безъ рифмъ, какъ написаны его идилліи въ родѣ древнихъ, онъ едва ли не болѣе всѣхъ нашихъ поэтовъ имѣетъ гармоніи и такъ называемой граціи ¹⁾. Вотъ его стихотвореніе: *Къ Дорида*.

Дорида, Дорида! Любовью все дышитъ,
Все пьетъ наслажденье съ притекшей весной.
Чуть зефиръ, струясь, березу колышетъ,
И съ берега лебедь понесся волной
Къ зовущей подругъ на островъ пустынный;
Надъ розой трепещетъ златой мотылекъ,
И въ гулкой долинѣ любовью невинной
Протяжно вздыхаетъ пастушій рожокъ.

Лишь ты, о Дорида, улыбкой надменной
Мнѣ платишь за слезы и муки любви!
Вглядись въ мою блѣдность, въ мой взоръ помраченный:
По нимъ ты узнаешь, какъ въ юной крови
Свирѣпая ревность томить и сжигаетъ!
Не внемлетъ . . . и въ пляскахъ, смѣясь надо мной,
На зло мнѣ краскою подругъ затемняетъ,
И узниковъ гордо ведетъ за собой.

¹⁾ Это мѣсто о Баронѣ Дельвигѣ въ *Сверныхъ Цвѣтахъ* исключено имъ, какъ издателемъ, но сохранено въ отдѣльныхъ оттискахъ статьи, откуда мы его и заимствуемъ.

Есть дарованія, которыя, подобно дубравнымъ цвѣтамъ, не любятъ блеска. Они расцвѣтають въ тѣни, благоухають въ уединеніи. Ихъ встрѣтитъ тамъ нечаянно блуждающій безъ цѣли путешественникъ, и сохранить ихъ только въ тихомъ своемъ воспоминаніи. Но ихъ свѣжая красота тѣмъ не менѣе привлекательна. Вотъ что можно сказать о поэзіи *Крылова (Александръ)*. Мы знаемъ только малое число его стихотвореній, написанныхъ передъ симъ года за три. Любители поэзіи съ перваго раза примѣтили въ нихъ истинныя чувства, оригинальный слогъ и вѣрный вкусъ. Съ тѣхъ поръ не встрѣчается нигдѣ его стихотвореній. Можетъ-быть, одна жизнь сдѣлалась для него лучшею поэзіей. Но тѣмъ не менѣе я почитаю обязанностію познакомить васъ съ его музою. Пріятно было бы вызвать ее на прежнее поприще. Всякая прекрасная новость въ поэзіи чѣмъ-то радуется любителя изящныхъ искусствъ. Крыловъ отличается особеннымъ мужествомъ языка. Въ немъ нѣтъ тѣхъ блестящихъ украшеній, которыя замѣтны въ первыхъ опытахъ подражателей, заимствующихъ оныя отъ первокласныхъ поэтовъ. Онъ идетъ собственною дорогою, что еще болѣе ручается за истину его дарованія. Можно даже сказать, что его стихи много бы потеряли, если бы ихъ одѣть въ сіи временныя, скоропроходящія украшенія, которыя прекрасны только въ одномъ мѣстѣ, то есть, у оригинальнаго поэта. *Недовѣрчивость.*

Не спрашивай, зачѣмъ я такъ унылъ!
 Ты знать должна вину моей печали:
 Мой взоръ тебѣ давно ее открылъ,
 Когда о ней уста мои молчали.
 Мнѣ суждено по гробъ тебя любить:
 Но, знать, любви внушить я не умѣю
 Нѣтъ; счастье тобой любимымъ быть
 Не для меня: я ждать его не смѣю.
 Изъ жалости одной къ моимъ слезамъ
 Ты мнѣ твердишь любовныя обѣты;

Не вѣрю я плѣнительнымъ словамъ:
Я не видалъ въ тебѣ любви примѣты.
Стою ль вдали съ безмолвною тоской:
Твой взоръ меня въ толпѣ не отличаетъ;
Иль робкою коснусь къ тебѣ рукой:
Твоя рука моей не отвѣчаетъ.
Спокойна ты, встрѣчаешь ли меня,
Или даришь мнѣ поцѣлуй небрежный:
Въ глазахъ твоихъ нѣтъ пылаго огня
И на щекахъ румянца страсти вѣжной.
Когда я шелъ вчера, простясь съ тобой,
Не для меня ты у окна стояла:
И тусклаго стекла не отирала,
Чтобы взглянуть украдкой вслѣдъ за мной.
Досель я жилъ отрадой упованья;
Я самъ себя обманывать хотѣлъ,
И наяву коварныя мечтанья
Любовь твою сулили мнѣ въ удѣлъ.
Но ты меня лишила наслажденья:
Мечты мои разсѣялись, какъ дымъ;
Упала съ глазъ повязка заблужденья,
И опытъ мнѣ сказалъ: ты не любимъ.
Жестокая, ты хочешь быть мнѣ другомъ!
Любви твоей, любви желаю я:
Когда меня ты назовешь супругомъ,
Безъ сердца мнѣ начто рука твоя?
Гдѣ для меня цвѣли блаженства розы,
Тамъ буду я лишь терніи встрѣчать;
Въ твоихъ глазахъ я долженъ видѣть слезы
И на лицѣ унынія печать.
Я, можетъ-быть, подстерегу случайно
Твой тяжкій вздохъ въ безмолвіи ночномъ,
И близъ меня, забывшись тихимъ сномъ,
Промолвишь ты признанье въ страсти тайной,

Огонь любви заблещетъ на челѣ,
 И не супругъ, другой тебѣ приснится;
 Ты будешь днемъ, потупя взоръ къ землѣ,
 Передо мной мечты своей стыдиться.
 О милый другъ, прости мои слова;
 Забудь любви слѣпыя подозрѣнья!
 Я имъ теперь еще не вѣрю самъ,
 Но въ будущемъ ищущи себя мученья.
 Пускай меня утѣшитъ голосъ твой;
 Пусть нѣжный взоръ тоску души разсѣетъ,
 И грудь мою надежды лучъ согрѣетъ!
 Когда же нѣтъ въ тебѣ любви прямой,
 Когда я ждалъ несчастія не даромъ, —
 Цѣпей моихъ изъ жалости не рви:
 Но обмани меня притворнымъ жаромъ,
 И дружбѣ дай названіе любви!

Поэзія, какъ характеры людей, какъ фیزیоміи лицъ, до безконечности можетъ быть разнообразна. Между тѣмъ, какъ мы воображали, что языкъ чувствъ уже не можетъ у насъ сдѣлать новыхъ опытовъ въ своемъ искусствѣ, явился такой поэтъ, который разрушилъ нашу увѣренность. Я говорю о *Баратынскомъ*. Въ элегическомъ родѣ онъ идетъ новою, своею дорогою. Соединяя въ стихахъ своихъ истину чувствъ съ удивительною точностію мыслей, онъ показалъ опыты прямо классической поэзіи. Составъ его стихотвореній, правильность и прелесть языка, ходъ мыслей и сила движеній сердца выше всякой критики. Онъ ясенъ, живъ и глубоко. Во всемъ отчетъ составляетъ отличительность его стиховъ. Нѣтъ слова, нѣтъ оборота, нѣтъ картины, гдѣ бы вы не чувствовали ума и вдохновенія. Разбирайте строго каждый его стихъ, слѣдуйте за нимъ внимательно до конца стихотворенія: и вы признаетесь, что онъ извлекъ все лучшее изъ своего предмета, отбросилъ все излишнее и не забылъ ничего необходимаго. Но сколько разнообразія во всѣхъ его самыхъ легкихъ произве-

деніяхъ! Игривое и важное, глубокое и легкое, истинное и воображаемое: все онъ постигнулъ и выразилъ. Рассмотрите его элегію: *Разустройство*.

Не искушай меня безъ нужды
Возвратомъ нѣжности твоей!
Разочарованному чужды
Всѣ обольщенія прежнихъ дней.
Ужь я не вѣрю увѣреньямъ;
Ужь я не вѣрую въ любовь:
И не могу предаться вновь
Разъ измѣнившимъ сновидѣньямъ.
Слѣпой тоски моей не множь;
Не заводи о прежнемъ слова;
Другъ попечительный, больного,
Въ его дремотѣ не тревожь!
Я сплю; мнѣ сладко усыпленье;
Забудь бывалыя мечты:
Въ душѣ моей одно волненье,
А не любовь пробудишь ты.

Юный, вдохновенный пѣвецъ отечественныхъ доблестей, *Языковъ*, какъ веселая надежда, пробуждаетъ въ сердцѣ нашемъ прекрасные помыслы. Онъ исполненъ поэтического огня и смѣлыхъ картинъ. Слогъ его отсвѣчивается красотою первоклассныхъ поэтовъ. Его дарованіе быстро идетъ блистательнымъ путемъ своимъ. Онъ сжатъ, ровенъ и силенъ. Чистота души и ясность мыслей плѣнительны въ его стихахъ. Я привожу его *Пѣснь Барда во время владычества Татаръ въ Россіи*.

Гдѣ вы, краса минувшихъ лѣтъ,
Баяновъ струны золотыя,
Пѣвицы вольности и славы и побѣдъ,
Народу русскому родныя?

Бывало: ратники лежать вокругъ огней
По берегу свѣтлаго Дуная,
Когда тревога боевая
Молчитъ до утреннихъ лучей:
Вдали, туманомъ покровенный,
Станъ Грековъ, и надъ нимъ грозна,
Какъ щитъ, въ бою окровавленный,
Восходитъ полная луна,
И тихій сонъ во вражемъ станѣ:
Но тамъ, гдѣ вы, сыны снѣговъ,
Тамъ вдохновенный на курганѣ
Поетъ дѣянья праотцовъ,
И персты вѣщіе летаютъ
По звонкимъ, пламеннымъ струнамъ,
И взоры воиновъ сверкаютъ.
И рвутся длани ихъ къ мечамъ.
На утро, солнце лишь возстало,
Проснулся дерзостный булатъ;
Валятся Греки, рядъ на рядъ:
И ихъ полковъ, какъ не бывало!
И вы сокрылися, вѣка полночной славы,
Побѣдъ и вольности вѣка!
Такъ сокрывается ликъ солнца величавый
За громовыя облака.
Назавтра солнце вновь возстанетъ:
А мы . . . намъ долго цѣпи влечь;
Столѣтъя протекутъ, и русскій мечъ не грянетъ
Тиранства гордаго о мечъ.
Неутоимыя страданья
Погубятъ память объ отцахъ
И геній рабскаго молчанья
Возсядетъ вѣчный на гробахъ.
Теперь вотще младый Баянъ
На голосъ предковъ напѣваетъ:

Жестокихъ бѣдствій ураганъ
 Рабовъ полмертвыхъ оглушаетъ;
 И онъ, дрожащею рукой
 Поднявъ холодныя желѣзы,
 Молчить, смотря на нихъ сквозь слезы
 Съ неисцѣлимою тоской.

Отважные приемы въ изображеніи сильныхъ чувствованій, новостъ картинъ, создаваемыхъ живымъ воображеніемъ, отличаютъ стихотворенія *Кюхельбекера*. Вѣрность вкуса, легкость стихосложенія, благородныя движенія души и тихая мечтательность составляютъ характеръ поэзіи *Дмитріева (Михаила)*. Стихи *Писарева* узнаете вы по гармоническому языку и по тѣмъ пріятнымъ картинамъ природы, которыя плѣняютъ воображеніе и питаютъ чувствительность. *Туманскій (Василій)*, изображая легкія, но утѣшительныя мечты свои, говоритъ сердцу. Онъ часто наводитъ васъ на такую мысль, которая новостію своею изумляетъ вашу душу. Произведенія сихъ поэтовъ не столько еще многочисленны, чтобы можно было рѣшительно отдѣлить характеры ихъ поэзіи. Но вѣрные слѣды вкуса какъ въ языкѣ, такъ и въ поэтическихъ приѣмахъ, заставляютъ уже любить ихъ поэзію. Я привожу здѣсь одно стихотвореніе Туманскаго: *Къ ней*.

Не цвѣта небснаго очи твои;
 Не розы уста твои, дѣва!
 Не лялія перси и плечи:
 Но что бѣ за весна въ сторонѣ той была,
 Гдѣ бѣ розы такія, такія лилеи
 Цвѣли на зеленыхъ лугахъ,
 И небо, и все, что подъ небомъ,
 Блестало, какъ очи твои голубыя!

Мнѣ трудно было бы кончить письмо свое, графиня, если бы я рѣшился говорить о *остаткѣ* нашихъ поэтахъ и столько, сколько чувствую удовольствія, сравнивая ихъ счастливые успѣхи въ пре-

краснѣйшемъ, благороднѣйшемъ искусствѣ, ихъ разнообразіе мужественныхъ дарованій, и наконецъ примѣчая то всеобщее, истинное направленіе, которое они, несмотря на господствующій французскій вкусъ въ большей части судей своихъ, сообщаютъ русской поэзіи. Между тѣмъ, въ заключеніе, не могу вамъ не сказать, хотя нѣсколько словъ, о такомъ поэтѣ, у котораго судьба все почти отняла въ жизни, кромѣ поэзіи. Онъ не можетъ ходить и не можетъ видѣть: только вдохновеніе движетъ его, и смотритъ онъ однимъ воображеніемъ. Но тѣмъ живѣе чувствуетъ онъ, тѣмъ яснѣе передаетъ свои созданія. *Козловъ* соединяетъ въ своей поэзіи гармонію языка, прелесть поэтическихъ движеній, живость картинъ и ясность мыслей. Онъ такъ быстро отгадалъ всѣ тайны поэтическаго слога, что рѣшительно приближается къ разряду первоклассныхъ стихотворцевъ нашихъ. Желая васъ познакомить съ его прекраснымъ дарованіемъ, привожу отрывокъ изъ его поэмы: *Чернецъ*.

Ахъ, что сбылось съ моею душою,
 Когда, въ святой красѣ своей,
 Вдругъ видъ открылся предо мною
 Родимыхъ кіевскихъ полей!
 Они какъ прежде зеленѣли,
 Волнами также Днѣпръ шумѣлъ,
 Все тотъ же лѣсъ вдали темнѣлъ,
 На нивахъ тѣ же пѣсни пѣли,
 И также все въ странѣ родной:
 И нѣтъ лишь тамъ ея одной!
 Вездѣ знакомыя долины:
 Ручьи, пригорки и равнины
 Въ прелестной милой тишинѣ
 Со всѣхъ сторонъ являлись мнѣ
 Съ моими свѣтлыми годами.
 Но я, съ отравленной душой,
 На родинѣ пришлецъ чужой,

Я ихъ привѣтствовалъ слезами
И безотраднoю тоской.
Я шелъ: день къ вечеру склонялся;
И скоро сельскій Божій храмъ
Предсталъ испуганнымъ очамъ;
И внѣ себя я приближался
Къ могилѣ той, гдѣ сынъ, жена,
Вся жизнь моя погребена.
Я чуть ступалъ, какъ бы страшился
Прервать ихъ непробудный сонъ;
Въ груди стѣснялъ мой тяжкій стонъ,
Чтобъ ихъ покой не возмутился;
Страстямъ встревоженнымъ своимъ
Не смѣлъ вдаваться духъ унылый;
Казалось мнѣ: надъ ихъ могилой
Дышалъ я воздухомъ святымъ.
Творилось дивное со мною:
И я съ надеждой неземною
Колѣно тихо преклонилъ,
Молился, плакалъ и любилъ.
Вдругъ слышу шорохъ за кустами;
Гляжу: что жъ взоръ встрѣчаетъ мой?
Жнеца съ подругой молодой
И возъ, наложенный снопами.
И вижу я: между сноповъ
Сидитъ въ вѣнкѣ изъ васильковъ
Младенецъ съ алыми щеками.
Невольно я затрепеталъ:
«Я все имѣлъ; все потерялъ;
«Намъ не дали жить другъ для друга;
«Въ сырой землѣ моя подруга,
«И не въ цвѣтахъ младенецъ мой:
«Его червь точитъ гробовой.»
Тогда въ слезахъ къ нимъ на могилу

Безъ памяти бросаюсь я:
 Горѣло сердце у меня;
 Тоска души убила силу.
 Цѣлуя дернъ, я разрывалъ
 Руками жадными моими
 Ту землю, гдѣ я легъ бы съ ними.
 Въ безумствѣ дикомъ я ронталъ;
 Мнѣ что-то странное мечталось:
 Едва дышалъ я: въ мутной тьмѣ
 Сливалось все, какъ въ тяжкомъ снѣ.
 Ужъ чувство жизни пресѣкалось,
 И я лежалъ между гробовъ
 Мертвѣй ихъ хладныхъ мертвецовъ.
 Но свѣжій воздухъ, влажность ночи
 Страдальца вновь животворятъ:
 Вздохнула грудь, открылись очи;
 Кругомъ бродилъ мой томный взглядъ:
 Все было тихо, скрыто мглою;
 Въ туманѣ мѣсяцъ чуть свѣтилъ,
 И лишь могильною травой
 Полночный вѣтеръ шевелилъ.

Вотъ, графиня, отвѣтъ мой и мое оправданіе! Теперь вы можете скорѣ обвинять меня въ жалкомъ невѣжествѣ, нежели въ умышленномъ пристрастіи. Но я радъ, что свободенъ отъ своего долга. Можетъ-быть, вамъ угодно будетъ сдѣлать мнѣ новыя возраженія. Позвольте ихъ предупредить: потому что я и самъ уже вижу слабыя стороны письма своего. «Почему я не раздѣлялъ стихотворцевъ нашихъ по родамъ поэзіи, чтобы прямѣе указать, кто, судя по роду своему, скорѣ можетъ вамъ замѣнить Ламартина?» Я думалъ, что истинная поэзія во всѣхъ родахъ равно прекрасна. Ламартинъ (казалось мнѣ) нравится вамъ не потому, что онъ пишетъ *поэтическія размышленія*, но потому, что онъ питаетъ вашу душу: то поражаетъ умъ, плѣняетъ сердце, то ожи-

вляеть воображеніе. Все это можно, чувствовать, читая каждое вдохновенное произведеніе поэзіи, въ какомъ бы оно родѣ ни было. «Зачѣмъ я приводилъ, въ доказательство мнѣнія своего о стихотворцахъ, цѣлое, но одно стихотвореніе, вмѣсто того, чтобы ссылаться на разныя мѣста, которыя бы точнѣе изображали разнообразіе и силу дарованія?» Можно привести по нѣскольку прекрасныхъ стиховъ изъ разныхъ сочиненій какого-нибудь поэта, хотя у него не будетъ ни одного совершеннаго стихотворенія. Труднѣе написать шестнадцать стиховъ, сряду прекрасныхъ, нежели шестьдесятъ, въ коихъ было бы перемѣшано тридцать прекрасныхъ съ тридцатью дурныхъ. «Отчего много примѣтно сходства въ тѣхъ чертахъ, которыми старался я отличать характеры нашихъ поэтовъ?» Въ каждомъ стихотвореніи есть двоякаго рода предметы для наблюденія: одни, въ которыхъ можно дать отчетъ другому человѣку, и другіе, въ которыхъ мы даже себѣ не въ состояніи дать удовлетворительнаго отчета, хотя внутреннее чувство наше постигаетъ ихъ. Къ первымъ отношу я всѣ совершенства языка и мыслей; ко вторымъ какія-то особенности слога (не отъ правилъ зависящія, но отъ привычки, или природы, какъ походка), потомъ какое-то выраженіе души, не въ каждой порознь мысли, но во всемъ произведеніи, какъ часто отражается оно въ цѣлой физіономіи человѣка. Я не могъ много и опредѣлительно говорить о предметахъ второго рода, и принужденъ былъ чаще упоминать о предметахъ перваго рода. Но у лучшихъ писателей, безъ всякаго сомнѣнія, строго соблюдаются всѣ условныя совершенства языка и мыслей, что и произвело нѣкоторое сходство между моими оттѣнками. «Ужели въ произведеніяхъ поэтовъ, приведенныхъ мною, нѣтъ никакихъ недостатковъ, потому что я ихъ только хвалилъ?» Недостатки находятъ и въ Омерѣ. Я о нихъ не говорилъ по тому, что они совсѣмъ не противорѣчатъ моимъ мнѣніямъ. Если бы они происходили отъ бѣдности дарованія, или отъ ложнаго направленія вкуса, или отъ незнанія искусства, или наконецъ отъ злоупотребленій языка: то я бы сказалъ о нихъ; или лучше, не приводилъ бы совсѣмъ такого писателя,

у котораго бы встрѣтилъ хотя одинъ изъ упомянутыхъ мною недостатковъ. Наша литература еще молода. Ей надобно открывать теперь больше видовъ къ прекрасному. Пока дерево цвѣтетъ, вокругъ него очищаютъ только пространство, а подвязываютъ его вѣтви тогда, когда плоды созрѣютъ. «Отчего я больше приводилъ такихъ поэтовъ, которые только начинаютъ еще писать, нежели окончившихъ свое поприще?» Последніе вамъ конечно извѣстнѣе первыхъ. Притомъ же, окончивъ труды свои, они успокоили ваше любопытство. Первые ближе къ главному предмету нашего разговора. Они настоящіе представители моего мнѣнія. Наконецъ, признаюсь, я не могъ равнодушно пропустить столько занимательныхъ лицъ, столько безкорыстнаго усилія прекрасныхъ дарованій въ такое время, когда самые лучшіе стихи считаютъ вообще игрушкою ума, а русскіе стихи читаетъ меньшее число людей, нежели пишетъ ихъ.

СЪВЕРНЫЕ ЦВѢТЫ ¹⁾.

1825.

Изданіе альманаховъ сколько пріятно для публики, столько и полезно. Обыкновенно для *новаго года* надобны бываютъ подарки. Безъ сомнѣнія лучше всего подарить кому-нибудь книжку. Она долѣе займетъ вниманіе, больше принесетъ пользы, никогда не потеряетъ своей цѣны и не выйдетъ изъ моды, подобно другому подарку. Съ другой стороны каждый альманахъ столько же занимателенъ въ литературномъ отношеніи, какъ выставка художническихъ работъ въ отношеніи къ изящнымъ искусствамъ. Каждогодно

¹⁾ Разборъ этотъ напечатанъ въ т. XXIX *Трудовъ Вольнаго Общества любителей россійской словесности* (стр. 85—111) съ слѣдующимъ примѣчаніемъ: «Объявленіе о сей книгѣ было уже помѣщено въ № XII Соревнователя П. и Б. 1824 г., стр. 322. Экземпляръ прод. по 10 р., а съ пересылкою по 11 руб. въ книжномъ магазинѣ книгопродавца И. В. Стѣнина, у котораго принимается подписка и на всѣ журналы, въ Россіи выходящіе».

предлагается публикѣ нѣсколько образцовъ, по которымъ она можетъ судить о направленіи вкуса и ума современныхъ писателей. Скажемъ болѣе: чрезъ нѣсколько лѣтъ альманахи будутъ составлять часть матеріаловъ для исторіи словесности. Если ученый антикварій, смотря на развалины древняго храма, опредѣляетъ достоинство архитектуры тогдашняго времени: по чему жъ внимательный критикъ не воспользуется сими остатками словесности, чтобы изобразить постепенный ходъ ея усовершенствованія?

Конечно не могутъ быть всѣ альманахи равнаго достоинства, издаваемые даже въ одно и то же время. У всякаго издателя свой вкусъ, а слѣдовательно и свой литературный кругъ. Если бы кто-нибудь наполнилъ альманахъ своими только сочиненіями; то книжка не имѣла бы того пріятнаго разнообразія предметовъ, слога, мыслей, картинъ, которое въ ней больше всего должно плѣнять читателя. Что жъ обыкновенно дѣлаютъ издатели альманаховъ? Они обращаются къ тѣмъ сочинителямъ, которые, по ихъ понятію, ближе къ совершенству въ своихъ произведеніяхъ, собираютъ ихъ новости, предоставляя себѣ одно право свободнаго изъ нихъ выбора, и предлагаютъ публикѣ подарокъ, который мы справедливо можемъ считать образцомъ собственнаго вкуса ихъ и участниковъ въ ихъ трудѣ.

Судя по этому замѣчанію, несправедливо было бы каждый альманахъ считать равно полезнымъ для опредѣленія степени, которой достигнула словесность въ извѣстное время. Критикъ имѣетъ право поступать съ ними такъ, какъ историкъ съ лѣтописями, который тогда только пользуется ими, когда онѣ не противорѣчатъ другимъ памятникамъ своего времени.

Мы для разсмотрѣнія выбрали изъ числа альманаховъ, изданныхъ у насъ на нынѣшній годъ, *Съверные Цвѣты*, потому что эта книга ближе подходитъ къ тому понятію, какое мы составили себѣ о лучшемъ альманахѣ. Предлагаемъ читателямъ свои замѣчанія.

Съверные Цвѣты состоятъ изъ двухъ особенныхъ отдѣленій: въ первомъ *проза*, во второмъ *поэзія*. Вотъ прозаическія сочиненія:

I. *Письмо къ графинѣ С. И. С. о русскихъ поэтахъ.* 2—80 стр. ¹⁾.

II. *Прогулка съ селъ Кусково*, соч. г. Восейкова. 81—103 стран. Описательный родъ прозы вообще очень пріятенъ, но описанія примѣчательныхъ мѣстъ въ отечествѣ еще большую придаютъ цѣну подобнымъ сочиненіямъ. Село Кусково въ 7 верстахъ отъ Москвы. Тамъ жилъ графъ Петръ Борисовичъ Шереметевъ, гдѣ Екатерина II и Римскій императоръ Іосифъ II удостоили его своимъ посѣщеніемъ. Сочинитель быстро водить читателя отъ одного предмета къ другому: домъ, внутреннее убранство его, библиотека, оружейная, картинная галерея, памятники, садъ, церковь все передъ вами. Кто не пожелаетъ, чтобы со временемъ явилось у насъ полное описаніе всѣхъ мѣстъ, столько же достопамятныхъ, какъ село Кусково?

III. *Исторія кокетства*, соч. Е. Баратынскаго. 109—118 стран. Сочинитель представляетъ кокетство въ видѣ мифологическаго лица. Онъ слѣдуетъ за нимъ съ Олимпа на землю; изображаетъ его положеніе въ Греціи, послѣ въ Римѣ; переходитъ къ среднимъ вѣкамъ и наконецъ оставляетъ его на берегахъ Сены. Игривость ума, слогъ легкій и блестящій, свѣтская философія и прелесть аллегоріи сообщаютъ особенную занимательность этому счастливому произведенію веселаго остроумія.

IV. *Аѳонская Гора: отрывокъ изъ путешествія по Греціи въ 1820 году*, соч. (безъ подписи имени автора ²⁾). 119—161 стр. Большая часть путешественниковъ обыкновенно восхищается прекрасными видами горъ, долинъ, извивающихся рѣкъ, вдали синѣющаго моря и яснаго небосклона. Но чаще путешественники любятъ говорить только о себѣ: что они на пути думали, о чемъ воспоминали и чего желали. Помѣщенный въ Сѣверныхъ Цвѣтахъ отрывокъ изъ путешествія по Греціи совсѣмъ въ другомъ родѣ. Онъ представляетъ основательное, подробное и прекрасно изложенное описаніе такого мѣста, къ которому ни одинъ христіа-

¹⁾ Сочиненіе Плетнева, см. выше.

²⁾ Авторомъ былъ Д. В. Дашковъ.

нинъ не можетъ быть равнодушнымъ. Сочинитель переноситъ читателя въ духовную республику, долго сохранявшую свои права и независимость посреди враговъ христіанскаго племени. Онъ сначала исчисляетъ поимянно всѣ монастыри, находящіеся на Аѳонской горѣ, показываетъ способы ихъ управленія, говоритъ о податяхъ, о частныхъ внутреннихъ распоряженіяхъ и образѣ жизни иконовъ. Посѣщая обители, одну послѣ другой, онъ не оставляетъ безъ вниманія ни одного примѣчательнаго предмета. Самыя любопытныя историческія подробности показываютъ въ немъ ученѣйшаго человѣка. Но болѣе всего мы поражены были въ этомъ сочиненіи удивительными совершенствами слога. Мысли автора такъ вѣрно, свободно и ясно развиваются, что цѣлое сочиненіе обнимашь съ перваго раза и видишь въ немъ открытый рядъ самыхъ отдѣльныхъ картинъ. Словотеченіе легко, правильно и благозвучно. Языкъ точенъ, мужественъ и сжатъ. У насъ истинно-прекрасныя сочиненія въ прозѣ очень рѣдки, потому что настоящихъ знатоковъ языка и прозаическаго искусства гораздо меньше, нежели многіе изъ нашихъ литераторовъ думаютъ. Конечно есть очень пріятные писатели, но, строго слѣдуя за ними, примѣчаешь, что они пишутъ, такъ сказать, *на счастье*. Отъ этого иное удастся имъ, а другое совсѣмъ нѣтъ. Чтобы утвердить свой слогъ и умѣть всегда сохранять его, для этого надобно гораздо больше дорожить своимъ искусствомъ, нежели обыкновенно у насъ дѣлается. Если бы Муравьевъ и Карамзинъ писали только *по намыку*; то ихъ проза не плѣняла бы насъ неизмѣннымъ единствомъ собственныхъ красокъ и всегдашнюю ровностію своего хода. Вотъ что особенно остановило наше вниманіе на описаніи Аѳонской горы. Оно сдѣлано, въ точномъ смыслѣ, прозаическимъ мастеромъ. Для повѣрки сихъ замѣчаній позволяемъ себѣ взять изъ него нѣсколько періодовъ: «Вечеру, 3 іюля, мы оставили островъ *Скопело* и повертели къ западной сторонѣ *Святой горы*. Всю ночь сильно дулъ попутный вѣтеръ; но къ разсвѣту стало тише, и корабль медленно подвигался къ пристани. Густой туманъ скрывалъ отъ насъ прекрасные виды окрестныхъ береговъ и

море, устѣянное вдали островами. Около полудня поднялся легкій *имбатъ* (вѣтеръ съ моря) и въ нѣсколько минутъ очистилъ воздухъ. Гигантъ Аѳонскій явился намъ во всемъ величіи: мы вдругъ, какъ бы по мановенію волшебнаго жезла, увидѣли обнаженную его вершину, утесистые бока, одѣтые зеленымъ лѣсомъ, главы церквей и бодыіе монастыри, построенные на крутомъ берегу, высоко надъ пѣнящимися волнами. Мы бросили якорь въ открытомъ заливѣ, среди подводныхъ камней: убѣжище опасное для судовъ въ осеннія и зимнія бури!... Монастырей общежительныхъ семь. Они меньше и бѣднѣ прочихъ, но зато ближе къ древнимъ образцамъ иноческой жизни. Тамъ больше порядка, больше истиннаго благочестія; нѣтъ отличій, нѣтъ частной собственности. Игумены уважаемы; монахи кормятся трудами рукъ своихъ и прилежиѣ къ земледѣлію. Довольствуясь небольшими доходами, они принимаютъ съ благодарностію приносимую къ нимъ поклонниками милостыню, сами же никуда не ходятъ собирать ее... Соборный храмъ (*въ Лавръ*), основанный во имя Благовѣщенія преп. Аѳанасіемъ Аѳонскимъ, а нынѣ ему самому посвященный, украшенъ 37-ю мраморными столбами и дорогимъ помостомъ; но темень, какъ и всѣ почти Святогорскія церкви, отъ многихъ притворовъ и малости иконъ. У входа, на дворѣ, большая водосвятильница, страннаго вкуса, но хорошо отдѣланная, съ разными изваяніями. Неподалеку оттуда намъ показали комнаты, гдѣ жилъ добродѣтельный и несчастный патріархъ Григорій во время двукратной ссылки. Восходя въ третій разъ на престолъ первосвятительскій, онъ зналъ, что мѣняетъ мирную келію на новыя гоненія; но не предвидѣлъ, увѣ, мученической смерти, его ожидавшей въ апрѣлѣ 1821 года; не предвидѣлъ, что трупъ его, поруганный людьми, но прославленный небомъ, лишенный въ отчизнѣ могилы, найдетъ послѣднее убѣжище въ нѣдрахъ земли единовѣрой!» Приведенныя нами три мѣста совершенно въ разныхъ родахъ. Между тѣмъ сочинитель вездѣ одинъ и тотъ же. Онъ перемѣняетъ однѣ формы періодовъ для различнаго ихъ движенія, смотря по мыслямъ и чувствованіямъ, въ нихъ заклю-

чающимся. Но исправность и отдѣлка слога, бережливость въ словахъ, неизмѣняемое благозвучіе словотеченія и полнота ума въ каждомъ періодѣ: вотъ что составляетъ единство ихъ и существенное достоинство.

V. *Извѣстіе о греческихъ и латинскихъ рукописяхъ въ Сераальской библіотекѣ*, сочинителя предыдущей статьи. 162—165 стран. Въ немъ опровергается мнѣніе многихъ ученыхъ, будто въ Сераальской библіотекѣ хранятся нѣкоторыя рукописи древнихъ.

VI. *Древніе замки. Письмо VI изъ приготавлиаемаго новаго изданія Писемъ Русскаго Офицера*. 166—171 стран. Сочинитель, *Ө. Н. Глинка*, извѣстенъ уже публикѣ по прежнему изданію своихъ писемъ, которое принято было со всеобщей похвалою. Но онъ рѣшился пересмотрѣть его, исправить то, что считаетъ неотдѣланнымъ въ слогѣ и прибавить нѣсколько новыхъ любопытныхъ замѣчаній. Въ письмѣ о древнихъ замкахъ заключается взглядъ на состояніе *гражданственности* въ среднихъ вѣкахъ. Онъ быстръ, но даетъ ясное понятіе о томъ времени. Въ слогѣ сочинителя много смѣлой оригинальности, живости и краткости. Въ мысляхъ, кромѣ истины, есть другое достоинство: сердечное одушевленіе и убѣдительность.

VII. *Отрывки писемъ изъ Италіи*, соч. П... аго¹⁾. 172—244 стран. Въ примѣчаніи къ нимъ сказано: «Письма сіи писаны не для публики, безъ всякаго старанія, плана, и такимъ человѣкомъ, который не только никогда не думалъ быть русскимъ авторомъ, но болѣе привыкъ писать по-французски, нежели по-русски. Но они написаны такъ умно и такимъ пріятнымъ слогомъ, что мы рѣшились напечатать нѣкоторые ихъ отрывки, и увѣрены, что читатели наши поблагодарятъ насъ за доставленное имъ удовольствіе.» Въ самомъ дѣлѣ: хотя сочинитель сихъ писемъ не думалъ быть русскимъ авторомъ; но у него гораздо больше запасовъ для авторства, нежели у многихъ записныхъ сочинителей. Путешественнику писать объ Италіи всего легче и всего труднѣе. Тамъ

¹⁾ Не Потоцкаго ли (Ив. Осип.), который много путешествовалъ и въ 1823 г. издалъ *Археологическій атласъ Россіи*. См. его характеристику въ *Деятии. Вѣстн.* II, 89.

все говорить и чувствамъ и уму и воображенію. Но о чемъ уже не было сказано нѣсколько разъ и учеными и художниками и поэтами? Авторъ-путешественникъ невольно сбивается на другого, потому что онъ готовился прежде своего путешествія издать путешествіе. У сочинителя разсматриваемыхъ нами писемъ въ запасѣ были познанія, общія каждому образованному человѣку, душа, глубоко принимающая прекрасныя впечатлѣнія, и вѣрный вкусъ. Но особенная прелесть его писемъ зависитъ отъ того, что онъ, увлекаясь разсматриваемыми предметами, говоритъ отъ избытка чувствованій, съ тою искренностію, которой никакое притворство подражать не можетъ. Его замѣчанія блистаютъ свѣжестію. Въ объемахъ, въ изложеніи его описаній удивительная полнота и ясность. Разказы его, кромѣ любопытства, возбуждаютъ участіе, потому что сильно дѣйствуютъ на самое воображеніе своею вѣрностію и живостію. Хотя въ языкѣ встрѣчаются изрѣдка неисправности (обстоятельство, понятное по двумъ особенно причинамъ: письма посыланы были къ одному лицу, не для публки, и человѣкомъ, не выдававшимъ себя за автора); но легкость слога, выборъ приличныхъ выраженій, искусство въ образованіи періодовъ и какая-то быстрота въ словотеченіи невольно увлекаютъ читателя. Въ одномъ письмѣ изъ Флоренціи сочинитель хочетъ дать понятіе о тамошнемъ благотворительномъ обществѣ *братъевъ милосердія*. Если бы онъ ограничился простымъ изложеніемъ ихъ обязанностей; то читатель не почувствовалъ бы сердечнаго влеченія къ этому сословію благодѣтелей. Итакъ онъ оживляетъ свое описаніе разказомъ. «Съ XIV стол. существуетъ во Флоренціи богоугодное, человѣчеству полезное сословіе, безъ клятвъ и безъ обѣтовъ свято хранящее свои постановленія. Почетнѣйшіе граждане и сами герцоги тосканскіе всегда поставляли себѣ за честь принадлежать сему обществу. Убогій, страждущій болѣзнію, никогда не прибѣгалъ вотще къ братьямъ милосердія. Сословіе ихъ не есть духовное; они не собираются ни днемъ, ни ночью въ условенные часы для молитвы, но днемъ и ночью, какъ истинныя братья, помогаютъ бѣдному и больному деньгами и лѣкар-

ствами; умершему безъ призранія, безъ ближнихъ, безъ родныхъ, отдають послѣдній долгъ. Свѣтскій юноша и свѣтскій старецъ, принадлежа обществу братьевъ милосердія, не пренебрегаютъ нести до кладбища тѣло нищаго на плечахъ своихъ. Широкое платье изъ грубаго, чернаго холста, шляпа съ висячими полями. черное на лицѣ покрывало, въ которомъ только для глазъ прорѣзаны отверстія, скрываютъ ихъ совершенно отъ взора любопытныхъ. Они дѣлають добро, не будучи извѣстны: и спасенный ими отъ смерти обязанъ всему обществу, а не одному члену въ особенности. — Среди ночи ударилъ дважды колоколъ на башнѣ древней маленькой церкви близъ соборной площади: и на звонъ колокола сбѣжалось не медля нѣсколько жителей. Иные изъ нихъ оставили мягкую постель, другіе веселую бесѣду: и каждый, прибѣжавъ въ церковь, зажегъ по факелу, облекся въ черную одежду; четверо взяли носилки, и всѣ поспѣшно пошли въ слѣдъ за проводникомъ, пришедшимъ искать помощи. Слезы не позволяли говорить ему: но никто не дѣлалъ ему пустыхъ вопросовъ. Бѣдный, несчастнымъ случаемъ раненный, умирающій, умершій, равное имѣють право на участіе братьевъ милосердія. Въ глубокомъ молчаніи скорыми шагами вышли они за городъ на большую дорогу, ведущую въ Римъ. Мнѣ случилось въ это время проходить по площади, и я изъ любопытства послѣдовалъ за ними. — При свѣтѣ факеловъ увидѣлъ я на дорогѣ лежащаго безъ движенія человѣка. Судя по платью, былъ онъ крестьянинъ. Тяжелый возъ проѣхалъ по его тѣлу. Искавшій помощи былъ его сынъ. Братья милосердія, осмотрѣвъ несчастнаго и удостовѣрся, что въ немъ есть еще остатки жизни, положили его на носилки и понесли въ городскую богадѣльню, гдѣ всегда безотговорочно принимаютъ приносимыхъ ими больныхъ. Я слѣдовалъ опять за ними; слышалъ, какъ они поручали спасеннаго ими крестьянина начальнику больницы; какъ обѣщались пришедшему въ себя больному пещись о его совершенномъ выздоровленіи. Потомъ я проводилъ ихъ до дверей церкви, въ которой оставили они носилки, факелы и черную одежду, и, изъ которой вышедши, разошлись спокойно по домамъ. Лица нѣ-

которыхъ изъ нихъ были мнѣ извѣстны: я видалъ ихъ на балахъ, на шумныхъ вечерахъ; но щегольскіе фраки, пестрые жилеты не возбуждали во мнѣ никакого вниманія: черная, грубая холстинная рубаха внушила во мнѣ къ нимъ особенное почтеніе.» Здѣсь соединяется все, чего можно требовать отъ лучшаго писателя: порядокъ и занимательность изложенія, выборъ подробностей и отдѣлка всякой части. Возьмемъ еще одно мѣсто, чтобы лучше видѣть, какъ сочинитель умѣетъ владѣть своимъ искусствомъ при перемѣнѣ предметовъ. «Я не берусь описаніемъ познакомить тебя съ водопадомъ Терни (Cascade delle marmore). Самое выраженіе *водопадъ* даетъ слишкомъ слабое понятіе объ этомъ свирѣпомъ стремленіи и низверженіи воды. Покатость, по которой катится р. Веллино, еще далеко отъ паденія придаетъ ему непонятную скорость, и вдругъ вся рѣка, лишенная дна, летитъ съ ужасной высоты, съ ревомъ ударяется о скалы, такъ сильно, что большая часть водъ превращается въ пары, и бѣлыми влажными облаками возносится выше самаго паденія. Солнечные лучи образуютъ надъ ними яркую радугу. Первый скачекъ Веллино въ 600 фут. На него нельзя смотрѣть иначе, какъ съ нѣкотораго отдаленія: и никакая человеческая нога не проложила еще смѣлой тропинки, по которой бы можно было подойти ближе къ сему чуду природы. Но какъ выразить красу и ужасъ такого явленія, непрерывное удареніе вѣчно возобновляющихся водъ и спокойное противоборствованіе мшистыхъ вѣковыхъ скалъ! Надъ самой пучиной, куда и взора не опускаешь безъ трепета, спокойно вьется мотылекъ, и малиновка порхаетъ по камнямъ, съ веселой пѣснью садясь на гибкіе стебли всякихъ растений». Разнообразіе въ разсматриваемыхъ нами письмахъ удивительно. Но всего любопытнѣе, подробнѣе и занимательнѣе описаніе Геркулана и Помпеи. Пребываніе сочинителя на вершинѣ Везувія также принадлежитъ къ числу совершеннѣйшихъ мѣстъ въ его письмахъ.

VIII. *Неузнанная*, соч. О. Глинки. 245—250 стран. Подъ симъ названіемъ представлена прекрасная аллегорія. Сочинитель изобразилъ *совѣсть*. Въ этомъ сочиненіи совершенства прозы

соединены съ совершенствами поэзіи. Счастливое сочетаніе исторической истины съ прелестнымъ вымысломъ довершаетъ очарованіе читателя. Пальмира, столица роскоши и вкуса, средоточіе восточной красоты и порока, служить мѣстомъ дѣйствія. Читателямъ нашимъ извѣстенъ уже этотъ родъ сочиненій того же автора. Мы должны только прибавить, что сочинитель безпрестанно идетъ далѣе въ усовершенствованіи своихъ созданій.

Заклучимъ: прозаическая часть СѢверныхъ Цвѣтовъ достойна особеннаго вниманія любителей словесности. Она могла бы украшать не только альманахъ, но и каждую книгу, какъ плодъ трудовъ ума зрѣлаго и усовершенствованнаго истинами вкуса и просвѣщенія.

Поэзія СѢверныхъ Цвѣтовъ равняется прозѣ, если, судя по разнымъ частямъ, нельзя сказать, что превосходитъ ее. Лучшіе поэты, извѣстные каждому занимающемуся словесностію, всѣ участвовали въ СѢверныхъ Цвѣтахъ. Ихъ произведенія болѣе или менѣе ознаменованы печатію совершенства. Для знатока искусства геній всегда творитъ достойное удивленія, при всемъ разнообразіи своихъ произведеній. Такимъ образомъ мы не имѣемъ надобности входить въ излишнія подробности о разныхъ стихотвореніяхъ. Мы сообщимъ только, что помѣщено въ СѢверныхъ Цвѣтахъ изъ новыхъ произведеній сихъ поэтовъ.

Новыя басни *Крылова*: 1. Муха и Пчела, 2. Богачъ и Поэтъ, 3. Прихожанинъ, 4. Состарѣвшійся Левъ, 5. Лисица и Оселъ. Въ нихъ сочинитель сохранилъ всю оригинальность, остроуміе и простосердечіе прежнихъ своихъ басенъ. Но читатели встрѣтятъ здѣсь его произведеніе совершенно въ новомъ для него родѣ, т. е. анакреонтическую оду, подъ названіемъ: Три Поцѣлуя. Она исполнена той простоты, естественности, прелести и непринужденности, которыми отличались оды самого Анакреона.

Жуковскаго стихотвореній четыре: 1. Привидѣніе, 2. Тайный Посѣтитель, 3. Ночь и 4. Цвѣты и Мотылекъ. Два первыя изъ сихъ стихотвореній удивительно плѣняютъ воображеніе картинами, можно сказать, недоконченными для чувствъ, но

ясными и понятными для души. Третіе стихотвореніе есть образецъ антологической красоты. Въ немъ какая-то греческая простота, истина и ясность изображенія соединяются съ очаровательнымъ блескомъ поэзіи романтической. Цвѣты и Мотылекъ есть такое стихотвореніе, которое всегда останется выше всякаго критическаго отчета. Поэтъ, взглянувъ на простую и слишкомъ обыкновенную, повидимому, картину, извлекъ изъ нея такія истины, открылъ такія чувствованія, которыя сообщаютъ душѣ самое возвышенное направленіе.

Изъ стихотвореній *А. Пушкина*, которыхъ четыре: 1. Пѣснь о Вѣщемъ Олегѣ, 2. Демонъ, 3. Отрывки изъ поэмы: Евгений Онѣгинъ, 4. Прозерпина, и которыя всѣ отличаются высочайшими поэтическими достоинствами, *Пѣснь о Вѣщемъ Олегѣ* должна обратить на себя особенно вниманіе критики. У насъ многіе справедливо жалуются на малое число стихотвореній, которыя бы можно было назвать національными. Поэты наши, увлекаясь красотами общими, какъ бы избѣгаютъ отечественныхъ. По нашему мнѣнію это происходитъ отъ того, что мы не успѣли еще открыть всѣхъ поэтическихъ сторонъ своего отечества, его исторіи, и особенно того способа, какъ имъ надобно пользоваться въ поэзіи. Истинный геній тѣмъ и отличается отъ простаго дарованія, что онъ съ перваго раза чувствуетъ поэзію своего новаго предмета, поэзію его изложенія, не отнимая у него красотъ времени и мѣста. Это можно ясно видѣть, читая разсматриваемое нами новое произведеніе Пушкина. Оно должно быть образцомъ для всѣхъ, покушающихся писать въ этомъ родѣ. Имена лицъ, вѣрность происшествій, мѣсто дѣйствія, упоминаемая въ стихотвореніи, прозаически только дѣлаютъ его національнымъ. Поэзія требуетъ рѣзкихъ красокъ, душевной полноты, быстрого одушевленія. Кто въ состояніи соединить все это и оживить цѣлую картину необходимыми для поэзіи подробностями избраннаго имъ времени и мѣста, тотъ не напрасно будетъ воскрешать давноминувшія событія: они сдѣлаются священными для современниковъ и потомковъ. Таково стихотвореніе Пушкина.

Стихотворенія, подъ которыми вмѣсто имени автора поставлены буквы: *Е. Б.*, исполнены поэтической живости, силы чувствованій и прекраснаго, гармоническаго слога. Ихъ четыре: 1. Оправданіе, 2. Сонетъ, 3. Черепъ и 4. Звѣздочка. Мы невольно остановились на третьемъ. Подобный предметъ есть въ стихотвореніяхъ знаменитаго Байрона. Мы изъ любопытства сравнивали сія два произведенія. Русскій стихотворецъ въ этомъ случаѣ гораздо выше англійскаго. Байронъ, сильный, глубокий и мрачный, почти шутя говорилъ о черепѣ умершаго человѣка. Нашъ поэтъ извлекаетъ изъ этого предмета поразительныя истины.

Въ Сѣверныхъ Цвѣтахъ помѣщено нѣсколько простонародныхъ пѣсень: однѣ *греческія*, другія *сербскія*, а третьи подражанія *русскимъ*. Переводомъ простонародныхъ *новогреческихъ* пѣсень публика наша обязана *Н. И. Гнѣдичу*. Разбирая ихъ поэтическія красоты, можно чувствовать, что вдохновеніе не покинуло еще этой нѣкогда цвѣтущей и счастливѣйшей страны, а нынѣ искупающей послѣдними своими силами долговременное и позорное невольничество. Переводчикъ сохранилъ въ нихъ всю простоту, игривость и естественность выраженій, которыми обыкновенно отличаются сія произведенія народнаго ума. *Сербскія* пѣсни, переводъ г. *Востокова*, взяты изъ собранія сербскихъ пѣсень Вука Стефановича. Въ нихъ много красоты оригинальной, особенно если смотрѣть на изобрѣтеніе мыслей. Въ разсужденіи выраженій и размѣра переводчикъ ни сколько не отступилъ отъ лучшихъ нашихъ пѣсень. Подражанія простонароднымъ *русскимъ* пѣснямъ сочинены *Барономъ Дельвигомъ*. Они такъ удачны, такъ близки къ своимъ оригиналамъ, что со временемъ могутъ замѣнить ихъ. Пѣсня, изъ рода новѣйшихъ, и романсъ того же сочинителя принадлежатъ къ лучшимъ стихотвореніямъ въ Сѣверныхъ Цвѣтахъ. Но примѣчательнѣйшее произведеніе Барона Дельвига есть идиллія: *Купальницы*, написанная размѣромъ древняго экзаметра. Ея составъ, ходъ, краски невольно переносятъ читателя въ древнюю Грецію: онъ видитъ тамъ совершающееся предъ нимъ дѣйствіе. Въ ней такая полнота поэтическихъ мыслей, картинъ и

описаній, что, по видимому, авторъ жилъ во времена, имъ изображаемыя.

Къ числу пріятнѣйшихъ и особенно любопытнѣйшихъ стихотвореній надобно отнести: *Цвѣты, выбранные изъ греческой антологіи*. Это надписи, переведенныя съ греческаго языка. Имени переводчика подъ ними не означено. Ихъ числомъ пятнадцать. Переводчикъ сохранилъ въ нихъ размѣръ оригиналовъ: по большей части древніе экзаметры съ пентаметрами, какъ сочинялись у древнихъ всѣ эпиграмматическія стихотворенія. Въ нихъ заключаются разительно-прекрасныя мысли. Языкъ перевода удивительно силенъ, чистъ, правиленъ и пріятенъ. Вотъ для образца одна: *Къ смерти (Анаѳій)*.

Смерти ль страшиться, о други! Она спокойствія мать,
 Въ горѣ отрада; бѣдамъ, тяжкимъ болѣзнямъ конецъ.
 Разъ къ человѣкамъ приходитъ, не болѣ — и день разрушенія
 Намъ обреченъ лишь одинъ: дважды не гибнулъ никто.
 Скорби жь съ недугами жизнь на землѣ отравляютъ всечасно;
 Туча минуетъ — за ней новая буря грозитъ.

Стихотворенія *И. И. Козлова*, отличающіяся прелестію поэтическихъ движеній и благозвучнаго языка; *Князя Вяземскаго*, въ которыхъ сила слога всегда равняется игривости мыслей; *Θ. Н. Глинки*, исполненныя высокихъ и чистыхъ порывовъ души, равнымъ образомъ украшаютъ этотъ альманахъ. Подробный разборъ произведеній приведенныхъ нами поэтовъ и многихъ другихъ увлечь бы насъ слишкомъ далеко. Мы предположили здѣсь ограничиться нѣкоторыми общими только замѣчаніями. Впрочемъ и они могутъ дать понятіе читателямъ нашимъ, сколько разнообразія и красоты находится въ поэтической части *Съверныхъ Цвѣтовъ*.

Мы думаемъ, что подобный альманахъ совершенно оправдываетъ свое назначеніе, представляя публикѣ прекрасныя образцы ума, вкуса и языка нынѣшнихъ лучшихъ нашихъ писателей.

НЕКРОЛОГЪ БАРОНА ДЕЛЬВИГА ¹⁾.

1831.

14 января скончался здѣсь въ С.-Петербургѣ надворный советникъ баронъ А. А. Дельвигъ. Погребеніе тѣла его совершено на Волковомъ кладбищѣ 17 числа. Онъ родился въ Москвѣ 6 августа 1798, воспитывался въ Императорскомъ Царскосельскомъ Лицеѣ.

Изящныя науки составляли постоянный предметъ занятій барона Дельвига. Оставивъ мѣсто воспитанія своего въ 1817 г., онъ предался имъ со всѣмъ жаромъ юной души, и не измѣнилъ до самой смерти. Не было ни одной отрасли познаній, прикосновенныхъ къ изящнымъ наукамъ, которой бы онъ не почиталъ для себя необходимою. Исторія народовъ и философія, художествъ и древностей столько же обращала на себя его вниманіе, какъ и всякая новая теорія литературы. Что касается до самыхъ произведеній великихъ писателей, онъ, во время чтенія своего, изучалъ ихъ съ такою любовію, съ какою истинный художникъ разсматриваетъ твореніе безсмертнаго предшественника. Особенно въ этомъ отношеніи баронъ Дельвигъ воспользовался должностію своею, когда онъ опредѣленъ былъ помощникомъ библіотекаря въ Императорскую Публичную Библіотеку. Проводя время по цѣлымъ суткамъ въ этомъ храмѣ просвѣщенія, ничѣмъ не будучи развлекаемъ въ свободные часы отъ посѣщеній читателей, удовлетворяя вдругъ и обязанности своей и страсти, онъ собралъ драгоцѣнныя сокровища для потребностей умственной жизни.

Поэтическій талантъ барона Дельвига раскрылся, можно сказать, вдругъ и довольно рано. Нѣкоторыя изъ своихъ стихотвореній написалъ онъ, бывши пятнадцати лѣтъ. Но это не были

¹⁾ Изъ *Литературной Газеты* 1831 года, 16-го января, № 4, гдѣ эта статья напечатана на двухъ страницахъ (31 и 32), обведенныхъ черною каймой, подъ заглавіемъ *Некролонія*.

въ истинномъ значеніи дѣтскіе опыты, обыкновенно забываемые въ послѣдствіи времени. Стихотворенія: *Къ Лилетъ, Первая встрѣча* и *Къ Діону*, изъ которыхъ послѣднее напечатано было 1814 года въ одномъ изъ тогдашнихъ журналовъ¹⁾, не представляютъ ничего слабаго. Замѣтно только, что муза Горація была первою вдохновительницею молодого поэта. Движенія собственнаго его вкуса болѣе ознаменовались въ эту эпоху два раза: при извѣстіи о смерти Державина (1816) и при окончаніи курса ученія лицейскихъ его товарищей. Дарованіе, возвращенное въ своемъ нѣдрѣ, Лицей почтилъ самымъ трогательнымъ образомъ. До сихъ еще поръ, при каждомъ новомъ выпускѣ, тамошніе воспитанники, покидая Царское Село, поютъ все тотъ же хоръ:

Шесть лѣтъ промчалось, какъ мечтанье,
Въ объятяхъ сладкой тишины;
И ужь Отечества призванье
Гремитъ намъ: «шестуйте, сыны!»
О матеръ! вняли мы призванью;
Кипитъ въ груди младая кровь!
Длань крѣпко соединилась съ дланью:
Связала ихъ къ тебѣ любовь.
Мы дали клятву: все родимой,
Все безъ раздѣла — кровь и трудъ!
Готовы въ бой неколебимо,
Неколебимо правды въ судъ!
Тебѣ, нашъ Царь, благодаренье
Ты самъ насъ юныхъ соединилъ,
И въ семъ святомъ уединеньѣ
На службу музамъ посвятилъ!
Прими жъ теперь не тѣхъ веселыхъ
Безпечной радости друзей,

¹⁾ Въ *Вѣстникѣ Европы*, ч. LXXVI, августъ, № 15. Въ томъ же изданіи напечатаны были и другія двѣ названныя Плетневымъ пьесы: см. *В. Е.*, ч. LXXVIII, № 22, гдѣ стихотвореніе *Первая Встрѣча* озаглавлено *Дафна*.

Но въ сердцѣ чистыхъ, въ правдѣ смѣлыхъ,
 Достойныхъ благодати Твоей!
 Простимся, братья! Руку въ руку!
 Обнимемся въ послѣдній разъ!
 Судьба на вѣчную разлуку,
 Быть можетъ, здѣсь сроднила насъ!

Счастливыя начала поэзіи, несмотря на то, что ими огласились однѣ почти Царскосельскія сѣни, приготовила въ С.-Петербургѣ барону Дельвигу самый лестный пріемъ. Онъ здѣсь пріѣхавъ былъ дружеской улыбкою извѣстнѣйшихъ писателей. Два ученыя Общества: одно Любителей Словесности, Наукъ и Художествъ, а другое Соревнователей Просвѣщенія и Благотворенія, въ 1818 году, поставили себѣ въ обязанность избрать его въ число своихъ членовъ. Въ послѣдствіи времени и Московское Общество Любителей Россійской Словесности изъявило ему столь же справедливое вниманіе.

Постоянство въ занятіяхъ, драгоцѣнныхъ для души образованной, жажда совершенства въ искусствѣ своемъ и сближеніе съ людьми, постигнувшими таинства этого искусства, примѣтнымъ образомъ дѣйствовали на успѣхи барона Дельвига, уже какъ ревностнаго литератора. Во множествѣ молодыхъ сочинителей невозможно было не отличить его по разнообразію и оригинальности вымысловъ, по вѣрному поэтическому чувству и по прекрасному употребленію почти всѣхъ стихотворныхъ формъ.

Лѣтъ за восемь у насъ каждое небольшое произведеніе въ прозѣ или въ стихахъ, прежде нежели поступить оно со временемъ въ полное собраніе сочиненій автора, обыкновенно являлось въ журналахъ. Кто желалъ составить себѣ понятіе о всѣхъ произведеніяхъ изящной словесности въ какомъ-нибудь году, тотъ принужденъ бывалъ, перелистывать огромныя груды журналовъ. Чтобы отвратить такую непріятность въ занятіи очень полезномъ, литераторы начали издавать альмапахи, посвящая ихъ исключительно словесности изящной. Въ первый разъ они

явились 1823 г. Естественно, что каждый издатель альманаха по преимуществу могъ пользоваться только произведеніями людей изъ своего круга. Тогда баронъ Дельвигъ почувствовалъ всю важность положенія своего въ отношеніи къ русской словесности. Образованность, вкусъ, талантъ и прекрасная душа давно уже связали его дружбою съ тѣми людьми, въ которыхъ Россія видитъ представителей своего просвѣщенія. Въ 1825 г. публика получила первую книжку его *Сѣверныхъ Цвѣтовъ*, которые продолжалъ онъ издавать ежегодно до смерти своей, и въ которыхъ его собственныя сочиненія назвать можно цвѣтами благоуханными.

Авторское славолубіе не было главною пружиною литературныхъ занятій барона Дельви́га. Онъ, не заботясь объ отдѣльномъ изданіи своихъ сочиненій, сердечно радовался успѣхамъ cadaго истиннаго таланта, потому что съ ними соединяются лучшія наслажденія cadaго образованнаго человѣка. Но въ 1829 г. неожиданно выбралъ онъ и напечаталъ тѣ изъ своихъ стихотвореній, которыя почиталъ окончательно отдѣланными. Можетъ быть, ему любопытно было услышать безпристрастный приговоръ любимымъ его созданіямъ, а можетъ быть, въ этомъ внезапномъ движеніи души явилось уже предчувствіе кончины, такъ недалеко его ожидавшей. Какъ бы то ни было, изданіе *Стихотвореній барона Дельвига* останется однимъ изъ замѣчательнѣйшихъ памятниковъ русской поэзіи текущаго столѣтія. Они дышатъ свѣжестью картинъ; въ нихъ кипятъ чувства; отъ нихъ раздается музыка величественной простоты; они, какъ времена года, блестятъ собственными каждое красотами: кто, прочитавъ ихъ, не почувствуетъ наслажденія, тотъ или отжилъ, или не начиналъ еще жить для восторговъ къ изящному,

Въ прошедшемъ году баронъ Дельвигъ началъ издавать *Литературную Газету*. Полнота и ясность литературныхъ его свѣдѣній были залогомъ успѣховъ его на новомъ поприщѣ. Разсматривая новыя книги, онъ уже изложилъ нѣсколько главнѣйшихъ своихъ мыслей о разныхъ отрасляхъ словесности. Но преждевременная смерть остановила труды его.

Въ нашъ вѣкъ съ именемъ автора не сливается уже понятіе о жизни совершенно кабинетной. Свѣтскія собранія оживляются остроуміемъ и любезностію многихъ писателей. Баронъ Дельвигъ также любилъ общество, но дружеское, избранное, достойное ума его и сердца, въ чемъ и полагалъ онъ весь аристократизмъ свой, правда, не увлекшій его въ большой свѣтъ, но защитившій отъ знакомствъ скучныхъ и слишкомъ ужъ нелестныхъ. Умъ его отъ природы былъ болѣе глубокъ, нежели остръ. Оттого иногда замѣтна была въ немъ неговорливость. Но по характеру своему онъ расположенъ былъ къ самой счастливой веселости и безпечности, такъ что отъ одного присутствія его одушевлялось цѣлое общество. Ежели онъ увлекался разговоромъ, то обнималъ предметъ съ самыхъ занимательныхъ сторонъ и удивлялъ всѣхъ подробностію и разнообразіемъ познаній. Въ домашнемъ кругу, даже въ кабинетѣ его, никто не примѣчалъ переменъ на этомъ открытомъ, ясномъ, веселомъ лицѣ, которое было чистымъ зеркаломъ прямой и любезной души. Провидѣніе, пославшее ему столько прекрасныхъ даровъ, отказало въ одномъ долготѣи.

О НАРОДНОСТИ ВЪ ЛИТЕРАТУРѢ ¹⁾.

1833.

Между безчисленными памятниками, свидѣтельствующими о творчествѣ человѣческаго духа, всѣхъ разнообразіе и всѣхъ прочнѣ произведенія словесности. Съ тѣхъ поръ, какъ имъ усвоено существованіе въ знакахъ видимыхъ, до нашего времени они могли сохранить неизмѣнно тѣ образы, которые ввѣрила имъ духовная дѣятельность человѣка. Надъ прахомъ предшествовав-

¹⁾ Напечатано въ *Журналъ Министерства Народнаго Просвѣщенія* 1834 г., ч. I, Отдѣлъ II, Словесность (стр. 1—30), съ слѣдующимъ въ заглавіи поясненіемъ: «Разсужденіе, читанное въ торжественномъ собраніи Императорскаго С.-Петербургскаго университета ординарнымъ профессоромъ оного Плетневымъ 31 августа 1833 года».

шихъ намъ поколѣній, еще прежде, нежели совершилась судьба всего человѣчества, они уже въ нѣкоторомъ смыслѣ прообразуютъ удѣлъ безсмертія. Понятно, зачѣмъ, въ эпоху высшей образованности каждаго почти народа, наблюдательный умъ старается привести въ совокупность разные способы, которые произведеніямъ словесности доставляютъ истинныя совершенства. Съ нимъ неразлучно убѣжденіе, что въ ихъ характеристикѣ одно поколѣніе завѣщаетъ другому всѣ тайны судебъ своихъ.

Въ числѣ главныхъ принадлежностей, которыхъ современники наши требуютъ отъ произведеній словесности, господствуетъ идея народности. Она представляетъ собою особенность, необходимо соединяющуюся съ идеею каждаго народа. Сколько жъ предметовъ должно войти въ ея совокупность! Черты, составляющія фizioномію души нашей, предварительно были какъ стихіи въ томъ обществѣ, которое воспитало наши страсти, въ той природѣ, которая упоевала наши чувства, въ той религіи, которая возвысила наши помыслы, въ тѣхъ обычаяхъ, которые освящены для насъ давностію, въ тѣхъ предрасудкахъ, отъ которыхъ не спасаетъ насъ никакая философія. Еще болѣе: одинъ и тотъ же народъ, въ разные періоды своей исторіи, при содѣйствіи разныхъ причинъ, скрывающихся то въ политикѣ, то въ морали, то въ ученыхъ мнѣніяхъ какого-нибудь времени, является съ безчисленнымъ множествомъ оттѣнковъ, которые всѣ принадлежатъ разсматриваемой идеѣ.

Въ звукахъ слова *народность* есть еще для слуха нашего что-то свѣжее и, такъ сказать, не обносившееся; есть что-то, къ чему не успѣли мы столько привыкнутьъ, какъ вообще къ терминамъ среднихъ вѣковъ. Не трудно впрочемъ убѣдиться, что новѣйшей литературѣ принадлежитъ одно только это выраженіе, а самая идея современна древнѣйшимъ писателямъ. Гдѣ болѣе народности, какъ въ произведеніяхъ греческой словесности? Отдѣлите отъ каждаго изъ нихъ частныя черты, принадлежащія характеру сочинителя, силамъ его таланта, эпохѣ его жизни, возрасту его, сану и другимъ безчисленнымъ обстоятельствамъ, по

которымъ онъ дѣйствовалъ; отдѣлите это все и разсматривайте въ сочиненіи одно главное, то, безъ чего духъ человѣческій не можетъ творить; разсматривайте въ немъ порознь человѣка, общество, природу и дѣйствія высшей силы; для васъ исчезнетъ пестрота книжныхъ названій; все сольется въ одну идею древней Греціи. Въ самомъ дѣлѣ, есть ли, напримѣръ, какое-нибудь существенное несходство между Гомеромъ и Аристофаномъ, Софокломъ и Эукидидомъ, Пиндаромъ и Теоокритомъ? Внимательному наблюдателю весь этотъ литературный хаосъ представляется какъ единый образъ, отразившійся въ нѣсколькихъ зеркалахъ, то въ большемъ, то въ меньшемъ видѣ, смотря по ихъ объему,—образъ ясный, живой, блестящій выразительностію и истиной. Передъ вами безпрестанно являются то мифологическія лица, сіи странныя созданія высокой поэзіи и грубой чувственности, то историческія черты греческихъ племенъ, то сцены жизни ихъ, которая развивалась и отцвѣтала на торжищахъ, которая питалась общественными волненіями и не постигала лучшихъ нашихъ благъ: уединеннаго труда и любви семейственной, то наконецъ, торжественныя ихъ игры, это великолѣпное позорище, на которомъ воспитывались вдохновеніе, гражданственность и самое чувство религиозное. Сіи главныя черты, съ безчисленнымъ множествомъ другихъ рѣзкихъ отличій существованія націй, составляютъ основу твореній, до безконечности разнообразныхъ, но въ то же время исполненныхъ единства, которое только и можетъ быть изъяснено идеею народности.

Выразительность характера составляетъ одно изъ самыхъ блестящихъ достоинствъ каждаго предмета, даже въ физическомъ мірѣ. Ею ознаменовала природа только тѣ изъ своихъ произведеній, которыя полнымъ развитіемъ силъ своихъ достигаютъ главной цѣли существованія и такимъ образомъ все лучшее отъ своего бытія вносятъ въ общую гармонию вселенной. Мы съ жадностію разсматриваемъ ихъ какъ вѣнецъ творенія; ими познаемъ возможное здѣсь совершенство; мы изучаемъ судьбу ихъ, и по ней разлагаемъ свои догадки на удѣлы прочихъ созданій.

Тѣмъ привлекательнѣе, тѣмъ поучительнѣе созерцаніе стройнаго и самобытнаго развитія духовныхъ силъ цѣлой націи! Въ нравственномъ мірѣ столько разнообразныхъ явленій, столько таинствъ, къ покрову которыхъ мыслей еще не прикоснулась, что его изученіе не пресытитъ самой долгой и самой неутомимой жизни. Оно только приблизитъ душу къ вѣдѣнію, преимущественно ей принадлежащему, о которомъ одно счастливое гаданіе есть уже вся человѣческая мудрость, — къ вѣдѣнію ея самой. Исторіею каждаго народа разрѣшается одинъ какой-нибудь важный вопросъ о человечествѣ. Если бы можно было теперь уже дочитать остальныхъ части этого огромнаго творенія, котораго разрозненное начало, въ дѣтской суетности, мы осмѣливаемся называть всемірною исторіей: то душа наша мгновенно исполнилась бы тѣхъ тайныхъ силъ, которыя нѣкогда должны возникнуть въ ней надъ прахомъ послѣдняго изъ жителей одряхлѣвшей планеты нашей.

Въ нынѣшнее время убѣдились наконецъ, что истинная, дѣйствительная исторія народа есть его литература, вся, изслѣдованная во всѣхъ ея эпохахъ. Она вполнѣ разоблачаетъ жизнь, ясно свидѣтельствуя о каждомъ покушеніи духа на безчисленныхъ путяхъ его дѣятельности, и опредѣляя точно каждую степень, которой онъ достигнулъ. Сознывая столь высокое достоинство въ рѣзкихъ чертахъ ея, любопытный умъ невольно влечется къ постиженію тайны, разгаданной древними Греками, коихъ словесность представила намъ первый и прекрасный образецъ народности. Изслѣдованіе сего предмета требуетъ воззрѣнія на всѣ стороны гражданской ихъ жизни и на ея отношеніе къ литературѣ. Изъ исторіи Грековъ видно, что они прошли всѣ степени гражданственности отъ состоянія самаго дикаго до послѣдней утонченности человѣка въ обществѣ; на этомъ долгомъ пути, они встрѣтили все, что ихъ вѣку предопредѣлено было высшимъ закономъ, такъ что явленіе жизни ихъ есть образъ полноты. Премничество идей, преобладавшихъ въ каждой эпохѣ ихъ исторіи, послѣдовало свободно. Оно было непринужденнымъ возрастаніемъ нравственныхъ силъ человѣка, цвѣтомъ души, который раскры-

вался естественно, въ слѣдствіе времени и мѣста. Ни соревнованіе съ сосѣдственными державами, ни зависть, ни страхъ не побуждали Грековъ къ тѣмъ неравномѣрнымъ шагамъ, которые въ пути останавливаютъ человѣка преждевременно. Ходъ ихъ жизни есть движеніе стройности. Все, чѣмъ удовлетворялись требованія гражданскаго ихъ быта, основывалось на свойствѣ духа народнаго. Онъ былъ и дѣйствовавшею и конечною причиною всѣхъ учреждений, всѣхъ подвиговъ, всѣхъ памятниковъ существованія этой націи. Въ составъ ея гражданственности ничто не входило случайно, ничто не прилагалось съ одной наружной стороны: потому что источникомъ общественныхъ и частныхъ начинаній было внутреннее чувство, святилище души, во глубинѣ котораго возникаетъ одно всеоживляющее и нераздѣльное съ нашею сущностію. Устройство жизни Грековъ есть развитіе красоты органической.

Если таковы были стихіи, которыя слились и, въ странѣ прекрасной, въ центрѣ тогдашняго міра, образовали націю: то удивительно ли, что каждая часть этого цѣлаго дышала гармоніею; что во всей вселенной не представлялось ей бытія, согласіе съ ея совершенствомъ, какъ на томъ мѣстѣ, гдѣ она почувствовала первую жизнь, какъ съ тѣми отношеніями и на тѣхъ условіяхъ, которыми, казалось, жила уже сама душа прежде всякаго своего сознанія? Это какъ бы врожденное чувство наконецъ осватило въ Греціи мысль, что для человѣка на землѣ нѣтъ выше назначенія, какъ содѣлаться прекраснымъ гражданиномъ; что все его достоинство заключается только въ гражданскихъ доблестяхъ; что внѣ гражданства нѣтъ цѣли существованія. Въ храмахъ, въ академіяхъ, на торжищахъ, въ судахъ, въ театрахъ, вездѣ проповѣдывалась эта истина; все было проникнуто ею, и жить, на тогдашнемъ языкѣ, значило дѣйствовать какъ бы то ни было, но дѣйствовать въ совокупности съ другими для блага и славы отечества. Слѣдственно, въ какомъ бы кто сословіи ни родился, онъ съ дѣтства уже главное впитывалъ одно со всѣми гражданами. Его чувства, его душа повсюду принимали тѣ впечатлѣнія, которыя долж-

ны были составить лучшее достояніе его жизни. Въ бѣдности, безъ пособій, не употребляя никакихъ усилій, только не отрываясь отъ общества, въ которомъ родился, обыкновеннымъ путемъ жизни онъ доходилъ до той же цѣли, къ которой всѣ стремились. Воспитавъ себя въ этомъ всенародномъ училищѣ, удовлетворивъ первымъ, главнымъ потребностямъ духа изъ общественной сокровищницы, содѣлавшись прежде всего готовымъ принять санъ гражданина, каждый добросовѣстно избиралъ себѣ поприще, безъ тщеславія и сожалѣнія, потому что онъ повиновался естественному влеченію таланта, повсюду видѣвъ товарищей, которыхъ съ нимъ связывала равная любовь къ отечеству.

Люди, такимъ образомъ стоявшіе на разныхъ ступеняхъ гражданской дѣятельности, должны были различаться только формами своихъ произведеній, вкусомъ въ ихъ отдѣлкѣ и другими качествами, зависящими частію отъ способностей человѣка, а частію отъ орудій, которыми онъ дѣйствуетъ. Но всѣ произведенія сіи, при всемъ ихъ разнообразіи, обрабатывались изъ одного общаго матеріала, который повсюду носилъ съ собою каждый производитель. Во всю жизнь никто изъ нихъ не разлучался въ душѣ съ идеею своего отечества, его физическаго и политическаго состоянія, законовъ его и учрежденій, вѣры и исторіи, характера націи и обычаевъ ея. Оттого греческіе литераторы въ свои произведенія перенесли все, что только изъ ихъ міра могло принять словесный образъ. И такъ литература въ Греціи дѣйствительно была то же, что и самая жизнь, составляя только особенную ея форму, а не такое искусство, котораго практика ищетъ себѣ задачъ внѣ существенности, то-есть внѣ жизни. Изъ этого между ними отношенія произошло, что въ созданіяхъ того вѣка есть истина, качество многозначительное, соединяющее въ себѣ вѣрность каждой черты, единство идеи, выразительность образа, согласное движеніе частей, теплоту жизни, однимъ словомъ, все, чѣмъ природа поставила свои произведенія такъ высоко надъ произведеніями рукъ человѣческихъ. Но что жъ, какъ не народность, означаетъ сія истина, когда она господствуетъ во всѣхъ

явленіяхъ умственной дѣятельности, порожденныхъ собственнымъ духомъ какой-нибудь націи?

Говоря о древнихъ, часто указываютъ на словесность Грековъ и Римлянъ такъ точно, какъ бы въ это время представлялись два сходныхъ предмета: до такой степени умъ привыкаетъ сближать и самое разнородное, когда смотреть на него съ предубѣжденіемъ. Такъ называемый классическій міръ содѣлался для насъ въ нѣкоторомъ смыслѣ родною музыкою: потому что все, что ни звучитъ въ немъ, все веселило наше дѣтство. Между тѣмъ достаточно непродолжительнаго вниманія, чтобы замѣтить, какъ одна половина этого цѣлаго не гармонируетъ съ другою. Римъ для воображенія и для ума сосредоточиваетъ въ имени своемъ столько самобытнаго, столько великаго и почти сверхъестественнаго, какъ будто бы въ картинѣ жизни его надлежало совмѣститься судьбамъ даже другихъ націй, промелькнувшихъ отъ частнаго наблюденія, когда совершалъ обширный кругъ свой этотъ исполинъ народовъ. Казалось, къ идеѣ человечества онъ долженъ былъ прибавить столько свѣту, что послѣ него философія Грековъ подобна будетъ мечтѣ юности. Его литературѣ, повидимому, предопредѣлено было явить изъ себя новыя, колоссальныя формы соотвѣтственно жизни, образовавшейся изъ новыхъ стихій. Но что жъ въ ней представляется? Есть ли въ самомъ дѣлѣ равенство между идеею Рима и его словесности? Тщетно будетъ ожиданіе изыскательнаго ума, когда онъ на свиткахъ властителей міра захочетъ постигнуть еще невѣдомое ему бытіе народа и воскресить его образъ во всей полнотѣ. Гордый непреклонностію воли своей, отважный въ минуты самыхъ искусительныхъ опасностей, изобрѣтательный, полный самочувствія, гений Римлянъ, на поприщѣ литературы, предстаетъ съ какою-то робкою осмотрительностію, въ одеждѣ не соотвѣтствующей его формамъ, съ заимствованными обо всемъ понятіями, которыя излагаетъ безъ довѣренности къ своимъ силамъ, въ чужихъ краскахъ; обходитъ часто самыя любопытныя черты, принадлежащія соб-

ственно его жизни, и замѣняетъ ихъ общими мѣстами. Римской литературѣ недостаетъ народности.

Такимъ образомъ идея древняя и уже господствовавшая въ полной силѣ утратила права свои надъ талантами людей еще прежде великаго переворота, который послѣдовалъ наконецъ въ умственномъ и политическомъ мірѣ. Въ Греціи утвержденію ея содѣйствовали такія причины, съ которыми связывалось благосостояніе націй. Отчего же словесность Римлянъ не могла приобрести народности, если и въ ихъ гражданственности расцвѣло все доблестное, предопредѣленное людямъ въ общественномъ состояніи? Римъ, передавъ намъ свитки свои, на которыхъ мы уже хладнокровно и зорко можемъ разсматривать всѣ стороны, всѣ направленія, всѣ степени его дѣйствій сокровенныхъ, его силъ духовныхъ, Римъ передалъ намъ обличителей, всенародно свидѣтельствующихъ, что въ его гражданственности не было всеобщности и внутренняго развитія. Если бы онъ успѣлъ окончить образованіе своихъ общежительныхъ идей въ томъ видѣ, какъ онѣ развивались въ теченіе первыхъ пяти столѣтій: то въ нравственно-политическомъ, а слѣдовательно и въ литературномъ отношеніи, онъ положительнѣе дополнилъ бы исторію совершенствованія человѣчества. Отвергнувъ или измѣнивъ собственныя свои начала, не устыдился онъ наконецъ изъ устъ рабовъ занимать понятія о достоинствѣ лицъ и должностей ихъ, объ отношеніяхъ гражданъ между собою, объ употребленіи сокровищъ, объ удовольствіяхъ общественныхъ и частныхъ, о владѣтельствѣ слова и высоты духа, объ источникахъ любознательности и плодахъ утонченнаго вкуса.

Истощая силу самобытности своей надъ осуществленіемъ идеи всемірнаго самовластительства, Римъ пренебрегъ другія идеи, неразлучныя спутницы гражданственности утѣшительной и назидательной. Онѣ отданы были на произволъ вліянія внѣшняго: и потому совокупность ихъ, сравнительно съ безграничнымъ его владычествомъ, представляетъ что-то не повсемѣстное, не равномѣрное и не органическое.

Ежели въ такомъ государствѣ, въ которомъ, по духу всѣхъ древнихъ державъ, начало умственной жизни составляло прямое приготовленіе къ жизни гражданственной; ежели въ такомъ государствѣ, при неблагопріятныхъ обстоятельствахъ для естественнаго развитія національнаго ума, не могла въ литературѣ сохраниться народность: что жъ должно было произойти съ нею тогда, когда дѣятельность умственная и жизнь начали представлять собою два пути не соединяющіеся? Можно ли иначе выразиться, говоря о томъ времени, когда всѣ умственные достоинства, всю гражданскую образованность полагали въ изученіи грамматическихъ формъ языка, которымъ послѣ не говорили, въ чтеніи книгъ о такихъ предметахъ, которыхъ въ жизни не встрѣчали, въ созерцаніи истинъ, которыя оставались навсегда безъ примѣненія? Надъ міромъ сіялъ животворящій крестъ; духъ свободно возносился къ верховному Подателю чистаго свѣта; сердца людей согрѣты были неиспытываемыми прежде ощущеніями, и умъ постигалъ тайны, недоступныя древнимъ мудрецамъ. Что же творилось въ литературномъ мірѣ посреди сихъ знаменій воскресенія новой жизни? Самые первые глашатаи невѣдомыхъ доселѣ думъ преображеннаго человѣка еще не въ состояніи были въ народность облекать своихъ трогательныхъ повѣствованій и убѣдительныхъ наставленій: кромѣ дикихъ пустынь и мрачныхъ подземелій, ни одной еще страны не называли они своимъ отечествомъ; повсюду, гдѣ они возникали, господствовала враждебная имъ гражданственность римская. Въ Палестинѣ и Греціи, въ Египтѣ и въ Испаніи, вездѣ скитались они, преслѣдуемые съ такою же злобою, какъ и въ самомъ Римѣ. Когда же наступила эпоха торжества ихъ и прозябенія новыхъ державъ; когда жизнь духовная изъ хаоса разноклиматныхъ страстей, нравовъ, привычекъ, обрядовъ, правъ, суевѣрій, пороковъ, доблестей начала разлагаться и въ каждой землѣ принимать стройное своеобразие: тогда празднословіе и суемудріе (два порожденія истлѣвавашаго въ немощахъ языческаго міра) смѣшались съ чистыми стихіями заразителное свое дыханіе. Посреди юнаго общества, которое не

освободилось еще отъ естественнаго броженія, они, или справедливе сказать, жрецы ихъ захотѣли изъ себя образовать отдѣльное общество, въ которомъ повидимому ожили древніе софисты. Для перваго изъ сихъ идоловъ отказались они отъ того, что одно даетъ жизнь литературѣ, безъ чего душа не можетъ мыслить, а государство спасти свою организацію: они отказались отъ языка современниковъ и предпочли ему языкъ исчезнувшаго и чуждаго имъ народа, не чувствуя, что самое богатство и выразительность языка сего въ ихъ устахъ были смѣшнымъ анахронизмомъ. Блестая избранностію и силою словъ, они въ видѣ мелькавшихъ тѣней вызывали такія понятія, сужденія и образы, которые не принадлежали ихъ гражданственности, не осуществлялись ни для нихъ, ни для другихъ, и никому никакой не приносили пользы. Наслаждаясь всѣми удовольствіями общественной жизни, новые софисты упражняли одну изъ лучшихъ способностей общежительнаго человѣка такими предметами, которые въ ихъ время были праздными звуками. Здѣсь положено было начало характеристической чертѣ, отличающей древній гражданскій бытъ отъ новаго. При всей любви нашей къ отечеству, не смущая самой робкой совѣсти, мы торжественно готовимъ душѣ запасъ на жизнь, изъ котораго отечество ничего себѣ не можетъ взять, тогда какъ у древнихъ, особенно у Грековъ, мысль частнаго человѣка не могла остановиться на томъ, что было безъ отношенія къ гражданскому долгу. Празднословіе могло бы исчезнуть при своемъ появленіи; но оно было, такъ сказать, освящено суетнымъ. Европейцы, прежде нежели укрѣпились опытами на пути новой жизни, прежде нежели обняли ея многосторонность, прежде нежели составили идею о ея существѣ, по естественному любопытству заглянули въ храмъ древней литературы. Тамъ къ изумленію своему они увидѣли жизнь въ другихъ краскахъ, съ другимъ выраженіемъ, въ другомъ свѣтѣ. Вмѣсто того, чтобы воспользоваться новымъ свѣдѣніями и ускорить приближеніе души своей къ тому совершенству, которое заключается въ зрѣлости ея собственныхъ попятій, они вздумали искоренять ихъ, посявая

въ душѣ все только заимствованное. На сихъ началахъ утверждено было и воспитаніе, которое уже не могло составлять введенія въ жизнь, но было само по себѣ отдѣльною жизнію, съ прекращеніемъ которой все прежнее умирало для человѣка, и онъ снова, какъ младенецъ, вступалъ въ общество, не зная ни языка его, ни нуждъ, ни отношеній, ни правъ своихъ, ни обязанностей.

Въ слѣдствіе первоначальнаго ошибочнаго взгляда на потребности духа, самыя науки возстановлены были въ томъ направленіи и въ тѣхъ странныхъ для насъ формахъ, которыя зависѣли отъ особенностей жизни древнихъ. Въ одно и то же время съ одной стороны христіанская религія утишала порывы страстей, поселяла челоуѣколюбіе, кротость, проповѣдывала смиренномудріе, уваженіе къ законнымъ властямъ, связывала сердца всѣхъ святынею взаимнаго вспомошествованія и сострадательности; съ другой стороны въ то же общество прокрадывались древніе законы, системы языческихъ ѳеологовъ и политиковъ, възступленныя чувствованія полудикихъ республиканцевъ. Что было усиліемъ, неизбежною жертвою въ одномъ вѣкѣ, то въ ослѣпленіи принимали въ другомъ добровольно. Языкъ, усвоенный распространителями просвѣщенія сего, не принадлежа остальной части ихъ современниковъ, не освѣжаясь въ движеніи общезителности, не обогащаясь по требованіямъ вдохновительныхъ нуждъ, тяготѣлъ въ странной своей одеждѣ, которую по временамъ пестрили столь грубыми красками, что самая наружность всѣхъ отъ него отдаляла. Разногласіе между дѣйствительною жизнію и направленіемъ умственной дѣятельности до такой степени поражало людей, стоявшихъ внѣ круга учености, что однимъ только соблазномъ вѣщественныхъ выгодъ игражданскихъ преимуществъ можно было переманивать ихъ за черту, лежавшую между прозелитами и профанами. Тогда, посреди благоустроенныхъ государствъ, возникли общества, для поддержанія которыхъ требовались новые законы: имъ предоставлены были особенныя права и льготы; на нихъ не простирался общій уставъ благочинія; ихъ отвѣтственность ограничили выполненіемъ извѣстныхъ

формъ, которыя въ послѣдствіи времени содѣлались душою всѣхъ ихъ дѣйствій.

Какая пестрота, какое разногласіе, сколько несообразностей и противорѣчій должно было явиться въ литературѣ новѣйшихъ народовъ, когда всѣ начала духовной ихъ жизни такъ мало стремились къ единству и стройности! Можно ли было ожидать въ ней отраженія тѣхъ явленій, изъ совокупности которыхъ образуется ясная и полная идея какого-нибудь государства, если предметы его умственной дѣятельности и самое орудіе мысли едва извѣстны были писателямъ? Къ счастью, такое направленіе духа было всеобщимъ не безъ исключенія. Люди, знакомые коротко съ дѣйствительною жизнію и въ ранней дѣятельности привязавшіеся ко всему, что ихъ окружая привѣтствовало, люди, коихъ душа, по необыкновенной воспріимлемости каждаго звука, образа, формы, оживотворенныхъ свѣжею мыслию или чувствомъ, наполнялась ими до избытка, сіи люди въ литературныхъ произведеніяхъ своихъ возрождали идею народности. Не подражая древнимъ ни въ выборѣ матеріаловъ, ни въ ихъ изложеніи, ни въ отдѣлкѣ, на бѣдномъ и неочищенномъ своемъ нарѣчій они съ трогательнымъ добродушіемъ приносили первыя жертвы ума и вкуса своему отечеству, своей природѣ, своей гражданственности. Это начало во всемъ соотвѣтствовало происхожденію древней греческой литературы. Въ простыхъ и безыскусственныхъ сказаніяхъ того времени, въ повѣстяхъ, пѣсняхъ, балладахъ, романсахъ, сонетахъ, вездѣ является тогдашняя жизнь со всѣми ея особенностями, повѣрьями, мечтами, чудесностью и неистощимымъ запасомъ приключеній.

Нѣсколько столѣтій оба направленія сіи высказывались въ Европѣ. На каждой сторонѣ, какъ и во всѣхъ спорахъ, являлись и мощные и безсильные защитники. Но въ формахъ первоначальнаго образованія духовной жизни, сихъ созданіяхъ безотчетной любви ко всему древнему, столько поддерживалось единства и неизблемости, что заимствованное въ школѣ если не всегда преобладало надъ пріобрѣтаемымъ въ жизни, по крайней мѣрѣ без-

престанно съ нимъ перемѣшивалось. Какъ ихъ начала были совершенно разнородны, поэтому и въ произведеніяхъ тогдашней словесности нельзя было не замѣтить чего-то противоестественнаго. Въ такомъ образѣ воздвигся Дантъ, величайшій изъ всѣхъ литераторовъ христіанской Европы. Въ послѣдствіи времени, умами Европейцевъ овладѣли такія событія, отъ которыхъ чувство народности по необходимости должно было охладиться еще замѣтнѣе. Наступила эпоха перемѣщеній, правда, не столь опустошительныхъ, какими открывается позорище средней исторіи, но тѣмъ не менѣе опасныхъ для единодушія каждой націи. Безвозвратное отбытіе множества европейскихъ семействъ то въ Восточную, то въ Западную Индію разрывало связи самыя древнія и самыя священныя. Разногласіе религіозныхъ мнѣній, произведшее на западѣ великій расколъ, породило нетерпимость, новую виновницу переселеній, на которыя начинали уже смотрѣть какъ на блестящій успѣхъ ума и общежитія. Расчетъ подавилъ чувство. Тогда явились проповѣдники космополитизма. Они готовы были весь родъ Человѣческій облечь въ свою безцвѣтную одежду, концертъ языковъ замѣнить однострунными звуками и сообщить сердцу холодность камня.

Европейскія государства, искушенные тяжкими и долготѣнными страданіями, убѣдились наконецъ, что суемудріе есть вавилонскій столпъ, и каждое изъ нихъ, подобно древнимъ онымъ каменосѣчцамъ, въ своемъ кругу спѣшить воспользоваться посланнымъ ему отъ Бога даромъ. Пробужденіе чувства народности возвращаетъ гражданъ на тотъ путь, который указанъ Провидѣніемъ ихъ умственной дѣятельности. Чтобы пройти по немъ съ достоинствомъ, и такимъ образомъ исполнить волю пославшаго ихъ, они все свое подвергаютъ изученію и ревностно ведутъ къ совершенству. Вотъ что устремило нынѣ европейскіе народы во святилище исторіи, единственной сокровищницы необходимѣйшихъ имъ благъ. Тамъ они познаютъ весь ходъ гражданственности своей, и оттуда извлекаютъ тѣ первообразы, по которымъ начала одушевляться холодная ихъ физіономія. У Грековъ жизнь

настоящая образовала народность въ литературѣ; новѣйшіе народы ея обязаны будутъ жизни прошедшей.

Между нынѣшними державами Европы отечество наше занимаетъ столь высокую степень въ политическомъ отношеніи, что въ судьбѣ разныхъ народовъ многое связано съ его умственнымъ направленіемъ. Исторія литературы нашей такъ многосложна и такъ своеобразна, что изъ общихъ замѣчаній о явленіяхъ европейской народности не всѣ къ ней могутъ быть примѣнены. Въ ту роковую эпоху, когда кичливая ученость попраля отечественный языкъ и на нѣсколько вѣковъ отдалила его возстаніе, изъ христіанскихъ державъ одна Россія какъ святыню сохранила это драгоцѣнное свое достояніе. Одно сіе обстоятельство уже прямо повело ее къ народности въ литературѣ. Въ юномъ государствѣ возникали первыя идеи о каждомъ предметѣ общежитія, развивались способности къ совершенствованію промышленности и удовольствій вкуса; религія озаряла душу и смягчала нравы. Столько новыхъ подвиговъ ума не погребалось въ безднѣ звуковъ, необразованныхъ по симъ понятіямъ и совершенно чуждыхъ для націи: напротивъ у насъ умъ и языкъ были граждане одной и той же страны; изъ возраста въ возрастъ они переходили вмѣстѣ; являясь въ самыхъ еще раннихъ опытахъ словесности, они уже должны были привлекать къ себѣ вниманіе новостію подобнаго сочетанія и особенностію духовной жизни, которую представляли.

Даже по тогдашнимъ отношеніямъ нашимъ неизбежное вліяніе Византійцевъ не столько вредило народности нашей, сколько на Западѣ владычество такъ называемой классической литературы. Извѣстно, до какой степени перемѣняются духъ и краски мыслей, когда ихъ принимаетъ въ свое распоряженіе другой народъ, движимый собственными страстями и предпочитающій всѣмъ собственное нарѣчіе. Кромѣ языка, сколько еще другихъ обстоятельствъ, которыя первоначально также содѣйствовали утвержденію народности въ нашей словесности. Въ первое время мы соединились въ одно государство съ такими племенами, изъ которыхъ ни одно не превосходило насъ успѣхами разума, и поэтому

ни одно не въ состояніи было чѣмъ-нибудь увлечь за собою господствующій народъ, который для всѣхъ служилъ образцомъ жизни домашней и общественной. Россія не приняла безотчетно гражданскихъ законовъ ни древнихъ обладателей міра, ни новыхъ богатырей сѣвера. Она постигала, что самая лучшая система чуждыхъ законовъ не предохраняетъ государство отъ безпорядковъ, и что истинно благодѣтельные законы рождаются посреди собственныхъ нуждъ и опытовъ. Самостоятельности ея благоприятствовали и первыя встрѣчи съ непріятелями: ее столько разъ сопровождало счастье въ воинскихъ предпріятіяхъ, что все совершенное она привыкла воображать только въ собственномъ гражданствѣ.

Умственная жизнь народа, представляющая въ исторіи своей періодъ такой независимости и такого согласія съ общими понятіями о лучшемъ развитіи духа, должна и литературѣ передать этотъ образъ. Онъ въ ней и былъ нѣкогда. Но литературные памятники тѣхъ столѣтій, открытые нами, подобны отломкамъ статуи. Смотря на нихъ, не можемъ мы не чувствовать, какъ прекрасно было цѣлое, а полного совершенства до тѣхъ поръ не достигнемъ, пока счастливый случай не соединитъ для насъ всѣхъ его частей.

Могущество самобытнаго духа, когда онъ своимъ присутствіемъ оживитъ первые успѣхи гражданственности, столь властительно, что народность не можетъ совершенно исчезнуть въ ней при самыхъ уклоненіяхъ умственной дѣятельности отъ перваго пути. Много было происшествій, которыя въ послѣдствіи времени противодѣйствовали направленію первобытной нашей словесности. Ихъ исчисленіе представляетъ картину всѣхъ политическихъ бѣдствій отечества. Ни характеръ народа, ни его обыкновенный бытъ, ни языкъ самый не остались безъ измѣненія и чуждаго вліянія. Но посреди сихъ разрушительныхъ явленій, затаянная въ сердцахъ націй, прожила еще нѣсколько столѣтій своеобразная русская дума, которой возрѣнія на жизнь и природу, которой краски и тѣни, звуки и формы ихъ высказывались то въ

назидательномъ поученіи, то въ простодушной лѣтописи, то въ любопытномъ описаніи путешествія, то въ аллегорической сказкѣ, то въ народныхъ пѣсняхъ, дышащихъ тою истиною, которая составляетъ верхъ совершенства въ произведеніяхъ чловѣка.

Самостоятельность духовной жизни нашей, непобѣжденная политическимъ униженіемъ государства, не могла зашитъ своей независимости противъ искушеній лжеучености. Подобно западнымъ Европейцамъ, и мы разъединили жизнь мышленія отъ жизни гражданственной. Въ литературѣ начало преобладать стремленіе къ разрѣшенію вопросовъ, заимствованныхъ внѣ круга общежитія нашего. Отвративши вниманіе отъ предметовъ, ближайшихъ къ намъ и составляющихъ индивидуальность націи, мало по малу мы теряли наслѣдственные привычки, а съ ними собственный образъ представленій и мыслей. Произведенія словесности не являлись какъ отголоски истинныхъ чувствованій или картины дѣйствительной жизни, но какъ образчики древнихъ формъ, въ познаніи которыхъ состояла главная цѣль ученія. Чтобы облегчить производство сихъ трудовъ, самыя идеи для сочиненій почерпались изъ гражданственности древнихъ. Такимъ образомъ область литературы подобна была особенной части государства, въ которой прочіе граждане напрасно бы стали искать своего устройства, своего порядка, своихъ обыкновеній и своего языка. Безпрестанно преслѣдуя воображеніемъ одно заимствованное, писатели, употребляя даже общенародный языкъ, такое сообщали ему принужденное движеніе и такими странными наполняли его терминами, что онъ для нихъ только и былъ роднымъ языкомъ.

Въ то время, какъ литература и жизнь, по несходству характеровъ своихъ, находились въ такомъ между собою раздѣленіи, науки, водворенныя въ Россіи гениемъ Петра Великаго, начинали совершенствовать общежитіе. Особенно граждане высшаго класса не могли не чувствовать выгодъ, которыя доставляла образованность. Приобрѣтеніе почестей на службѣ, блестящихъ успѣховъ въ обществѣ, довольства и независимости въ частной жизни ви-

димо соединялося съ просвѣщеніемъ. Если бы изслѣдованіемъ и обработываніемъ наукъ по разнымъ частямъ Русскіе занимались тогда сами: можетъ-быть, они предупредили бы одно изъ обстоятельствъ, самыхъ неблагопріятныхъ для народности въ нашей литературѣ. Они бы къ жизни лучшаго сословія могли привить все, чѣмъ питается, возрастаетъ и красится литература; они бы сросли съ нею разнородныя и полезныя знанія. Приводя въ обширное обращеніе столько идей новыхъ, увлекательныхъ, они воспитали бы еще невѣдомую намъ, прекрасную литературу, когорая обнимала бы и блестящіе успѣхи ума всего человѣчества и всю частную красоту нашей жизни. Но къ удивленію, въ тогдашнее время, изъ Русскихъ, въ полномъ значеніи ученый человѣкъ былъ одинъ только Ломоносовъ. Итакъ первоначальное развитіе знаній въ обществѣ, которое уже не хотѣла отставать отъ своего вѣка, совершилось у насъ на чужомъ языкѣ. Въ этомъ способѣ умственного образованія не только не чувствовали ничего предосудительнаго, но еще находили особенную выгоду: приобрѣтая часть необходимыхъ познаній, довершали изученіе чужестраннаго языка. Обыкновеніе передается въ гражданствѣ съ одной ступени на другую. На самой низшей изъ нихъ вмѣсто существенности довольствуются формою. Вскорѣ, что только могло учиться въ Россіи, все стало мучиться одной жаждой: знать языкъ иностранный, безъ всякой цѣли, безъ всякой нужды. Живой чужеземный языкъ, когда онъ заступаетъ во всей націи мѣсто отечественнаго, не только однажды вноситъ съ собою цѣлый духовный міръ въ сердце, въ умъ, въ характеръ и нравы людей, его усвоившихъ, но безпрестанно сообщаетъ имъ каждое новое движеніе души своего народа.

Въ Россіи можно было отличить тогда три особенныхъ направленія духа. Многіе жили еще внѣ гражданственности своей, посвящая ученые труды созерцанію древняго міра и распространяя господство его красоты. Болѣе знакомые съ жизнію и принадлежавшіе обществу, по различію вкусовъ, дѣлились на два класса. Одни (самая многочисленная часть общества) составляли

отголосокъ всего чужестраннаго; ихъ честолюбіе ограничивалось успѣхами подражанія преимущественно французскимъ писателямъ. Другіе, по какому-то еще не остывшему чувству народности, изучали разныя эпохи русскаго быта, или въ современныхъ его чертахъ искали пищи своимъ талантамъ. Независимость ихъ вкуса посреди двухъ школъ, сильныхъ безчисленною послѣдователей и давностію владычества, особенно утѣшительна для наблюдателя, какъ подтвержденіе той истины, что народность видимо пробуждается, когда человѣкъ на гражданское свое назначеніе смотритъ какъ на важнѣйшій предметъ въ жизни. Въ заглавіи сихъ избранныхъ славою и нашею любовію начертано имя Екатерины II. Ни воспитаніе, ни духъ вѣка, ни могущество нѣкоторыхъ умовъ, чтимыхъ и лелѣемыхъ Ею, ни самое обольщеніе языка, бывшаго любимымъ орудіемъ глубокихъ и вмѣстѣ блестящихъ ея мыслей, и, можетъ быть, преимущественно ею распространеннаго у насъ, ничто не могло ослабить постоянного ея стремленія къ воззванію русскаго духа на всѣ поприща гражданственности нашей: Какъ же убѣдилась она, что ея умъ и сердце гонятся не за обманчивою мечтою? На темномъ ли предчувствіи, или на точныхъ выводахъ основалась она въ своемъ предпріятіи? Проницательный умъ ея предупредилъ наше вѣрованіе въ исторію. Она уже тогда со всею любовію гениальной души своей предалась полному изученію всѣхъ эпохъ, всѣхъ сторонъ, всѣхъ частей этой необъятной державы, которой нравственныя и физическія силы она должна была привести въ стройное движеніе. Ежедневное занятіе исторіею новаго ея отечества вывело ее изъ круга современниковъ, вознесло надъ предразсудками и связало ея жребій со жребіемъ народа, который для судей, стоявшихъ внѣ ея сферы, былъ еще предметомъ шутокъ, а ея надежды созданіемъ пылкаго воображенія. Но съ какимъ блескомъ оправдались сіи надежды! Былъ ли хотя одинъ гражданскій путь, по которому бы въ ея державѣ, еще при жизни ея, не прошелъ великій человѣкъ въ той поразительной красотѣ, какую сообщаетъ народность? Политическая исторія уже хранитъ

подвиги своихъ героевъ, принадлежащихъ этому знаменитому времени, и для насъ имена самыя потомковъ ихъ звучать еще славою или надеждами. Въ сонмѣ отличныхъ гражданъ, свѣтлою мыслию постигнувшихъ призваніе свое и устремившихся къ той же прекрасной цѣли, которую избралъ прозорливый умъ монархини, исторія литературы съ гордостію указываетъ и на своихъ героевъ. Какой Суворовъ не называлъ бы Державина братомъ своимъ по славѣ? Вотъ, вотъ тѣ исполины, которыхъ духовная дѣятельность вполнѣ равна идеѣ русскаго народа. Гдѣ изучилъ пѣвецъ Фелицы свое искусство? Откуда онъ извлекъ этотъ неслыханный, но понятный всѣмъ языкъ? Гдѣ источникъ всеувлекающей рѣки его восторговъ? Кто начерталъ размѣръ его картинъ? По чьимъ слѣдамъ бросалъ онъ гигантскіе шаги своихъ идей? Въ немъ все такъ могущественно, такъ стремительно, такъ ново и неуравнено, такъ безгранично, какъ сама Россія. Ея уроками онъ воспиталъ себя и превратилъ ее въ кумиръ для храма своей поэзіи. Другого рода талантъ, умъ практическій, дальновидный, рѣзкій, наблюдатель нравовъ постоянный и счастливый, человѣкъ съ благороднымъ, пылкимъ характеромъ, современникъ Державина, подобно ему исполненный своеобразія, Фонвизинъ дѣйствовалъ въ томъ же разрядѣ, которому обязаны мы возрожденіемъ народности въ литературѣ нашей.

Ежели въ это время еще мало было писателей, блиставшихъ свѣжими національными красками, по крайней мѣрѣ тогда началось приготовленіе необходимыхъ для нихъ матеріаловъ. Дѣйствователи на этомъ поприщѣ увлекаются побужденіемъ, одинаковымъ съ первыми: слѣдовательно ихъ труды не менѣ замѣчательны. Со времени открытія и изданія драгоценныхъ памятниковъ древнѣйшей словесности нашей измѣнились прежнія понятія объ умственной жизни предковъ нашихъ, и черты народности приобрѣли какъ бы нѣкоторую осязательность. Въ продолжительныхъ, тягостныхъ, но вмѣстѣ столь полезныхъ занятіяхъ графа Мусина-Пушкина или Новикова есть трогательное самоотверженіе, взглядъ высшій на гражданскія обязанности. Понимая нынѣ,

какъ всеобъятна должна быть исторія, мы чувствуемъ, что безъ ихъ предварительныхъ подвиговъ не могла бы вдругъ сдѣлаться для насъ удовлетворительною исторія отечества. Но и на нихъ падалъ лучъ вдохновительнаго ума великой жены. Она первая въ Россіи пожелала увидѣть собраніе нашихъ лѣтописей и другихъ пособій для составленія исторіи. Въ этомъ отношеніи ей мы обязаны еще большимъ. При Екатеринѣ II былъ въ Россіи Шлѣперъ, мужъ правды и любви, первый въ ученомъ свѣтѣ благовѣститель нашего отечества. Онъ съ такою страстію доискивался истины, и открывъ, съ такимъ восторгомъ передавалъ ее, что чтеніе Нестора его воспламенило цѣлое поколѣніе Русскихъ къ занятіямъ отечественною исторіею. Бывъ сперва чуждъ намъ по всему, онъ, по прибытіи сюда, сочетался, такъ сказать, съ этою странною, изучилъ ея древній и новый языкъ, прочелъ всѣ ея лѣтописи, душой прилѣпился къ ея народности, и возвратясь въ Германію, до смерти не измѣнилъ юношеской своей страсти.

Итакъ идея, которая нѣкогда была преимуществомъ нашимъ передъ другими новѣйшими народами, идея, которую осуществляютъ нынѣ всѣ лучшіе таланты въ образованнѣйшихъ государствахъ Европы, занимала уже многіе между нами умы въ прошедшемъ столѣтіи. Самочувствіе воскресило ее въ душахъ людей, которые столько благоговѣли къ своимъ обязанностямъ, что лучшіе свои помыслы посвятили отечеству. Въ нынѣшнемъ столѣтіи еще разнороднѣе содѣлались изысканія въ отношеніи къ нашему гражданству. Въ исторіи мысли нашей и ея проявленія, къ чему не стремился, чего не желалъ прояснить достойный сынъ героя Задунайскаго, обратившій домъ свой во храмъ отечественныхъ музъ, котораго самая надпись: «на благое просвѣщеніе» служить для насъ завѣтомъ назидательнымъ. Если только чье-нибудь помышленіе клонилось на путь народной славы, никого не отчуждалъ сей благодушный вельможа отъ своей поучительной бесѣды и благороднаго вспомошествованія, былъ ли то историкъ или мореходецъ, поэтъ или антикварій, географъ или художникъ, грамматикъ или законовѣдецъ. Наблюдая современныя намъ яв-

ленія въ русской литературѣ, убѣждаемся, что благіе подвиги сіи были не безплодны; что есть дѣйствители въ каждой отрасли знаній, и что ихъ труды, устремлены къ возвышенію нравственнаго достоинства нашего. Съ чувствомъ народной гордости мы произносимъ имена двухъ литераторовъ, дѣйствовавшихъ на разсматриваемомъ нами поприщѣ преимущественно въ славное царствованіе Александра I. Для одного изъ нихъ, по выраженію поэта, уже настало потомство; другой, кумиръ всѣхъ возрастовъ, поучаясь самъ въ изслѣдованіи русскаго духа, еще поучаетъ и насъ, хотя къ сожалѣнію довольно рѣдко. Сколь ни разнородны ихъ творенія, но они составляютъ одно цѣлое, полную картину Россіи, вѣрную исторію ея умственной жизни. Одинъ изъ нихъ, окружась неподкупными свидѣтелями нашихъ дѣяній, темныхъ и гласныхъ, доблестныхъ и постыдныхъ, прошелъ съ ними разные періоды существованія нашего, и душою своею вкусивъ, такъ сказать бытіе каждой эпохи, воскресилъ для насъ истинный образъ Руси, навѣялъ на насъ ея дыханіе, породнилъ опять слухъ нашъ съ простою, нѣсколько однозвучною, но чистою и свободною музыкаю языка ея, взволновалъ сердце наше ея ощущеніями и обратилъ наши мысли къ невѣдомымъ еще сокровищамъ собственно нашего же ума и вкуса. Другой, прикрывшись невнимательностію и бездѣйствіемъ, останавливался въ каждой толпѣ народа, изучилъ всѣ классы людей отъ грязной черни до блистательныхъ царедворцевъ, высмотрѣлъ всѣ наши слабости, недостатки, причуды, вывѣдалъ всѣ тайны ума нашего, его оборотливость, сноровку и остроту. Про его-то иносказательныя драмы должно вымолвить, что въ нихъ русскій духъ въ очахъ совершается. Произведенія писателей сихъ довершили тотъ умственный оборотъ, который получилъ начало до ихъ еще появленія. Теперь именами Карамзина и Крылова не только мы подтверждаемъ преимущество народности въ литературѣ, но и самые чужестранцы, ими познавшіе, что было затаено отъ нихъ въ сердцахъ Россіи.

Сопровождая движеніе многообъятной идеи, выражаемой словомъ *народность*, мы видимъ, что ея успѣхи, совершенствуя

гражданственность, устремляютъ умъ націи на историческое изученіе всѣхъ частей государства. Не удивительно, что въ явленіяхъ нынѣшней литературы нашей мы ежедневно встрѣчаемъ болѣе или менѣе счастливыя покушенія на этомъ же поприщѣ. Но посреди сихъ разнородныхъ и разнообразныхъ опытовъ, какой колоссъ воздвигнуть неутомимою дѣятельностію всеобъемлющаго ума! Гдѣ самая вѣрная и самая поучительная исторія государства, какъ не въ картинѣ постепеннаго развитія силъ, воли и дѣйствій правительства въ отношеніи къ націи? Какой же представляется подвигъ тому, кто бы вздумалъ всѣ мелкія, разбросанныя, исчезающія и разнovidныя черты сіи собрать, устроить, согласить и оживить! Государь обширнѣйшей въ свѣтѣ монархіи, напутствуя своими совѣтами вождей, вѣстниковъ его славы и справедливости, разрѣшая тяжкія недоумѣнія сильнѣйшихъ владыкъ Европы, пріемлетъ въ собственное свое вѣдѣніе этотъ новый, повидимому безконечный трудъ, и къ удивленію свѣта, къ счастію своихъ подданныхъ совершаетъ его въ единое пятилѣтіе. Здѣсь, въ этой совокупности нашихъ законовъ, гдѣ каждый день, каждый часъ запечатлѣнъ идеею того, кто движетъ всѣ пружины и напрягаетъ всѣ нравственныя силы націи, здѣсь вполне будетъ постигнута наша исторія, а съ нею и самая народность.

Въ то время, какъ, по высочайшей волѣ прозорливаго монарха, путеводителемъ и судіею нашимъ въ дѣлѣ народнаго просвѣщенія явился мужъ, столь же высоко образованный, какъ и ревностный патріотъ, его первое слово къ намъ было: *народность*. Въ этихъ звукахъ мы прочитали самыя священныя свои обязанности. Мы поняли, что успѣхи отечественной исторіи, отечественнаго законодательства, отечественной литературы, однимъ словомъ: всего, что прямо ведетъ чловѣка къ его гражданскому назначенію, должны быть у насъ всегда на-сердцѣ. Дѣйствовать въ этомъ духѣ такъ легко, такъ отрадно, такъ естественно, что безъ сомнѣнія въ лѣтописяхъ ученыхъ обществъ не было еще ни одного указанія, по которому бы съ такимъ единодушіемъ и

съ такимъ самоотверженіемъ соединялись всѣ, какъ соединяемся мы по слову нашего вождя въ обѣтованную землю истинной образованности.

КНЯЗЬ СКОПИНЪ-ШУЙСКІЙ, СОЧИНЕНІЕ ШИШКИНОЙ ¹⁾.

1835.

В. А. Жуковский, котораго чувству и вкусу, въ судѣ литературномъ, имѣемъ мы право вѣрить, вотъ что сказалъ о сей книгѣ (Библиот. для Чтенія, 1835 г., № II, стр. 196): «Авторъ позволилъ мнѣ прочесть всѣ четыре тома своей рукописи: это чтеніе доставило мнѣ величайшее удовольствіе, и я убѣжденъ, сколько могу вѣрить собственному чувству, что такое же дѣйствіе произведетъ оно и надъ другими читателями. Заманчивость происшествій, въ которыхъ наблюдено строгое согласіе съ исторіею, вѣрное изображеніе дѣйствующихъ лицъ и времени, въ которое они дѣйствуютъ, пріятность и простота слога, согрѣтаго теплымъ патріотическимъ чувствомъ, составляютъ главное достоинство сего романа». Кто будетъ судить объ этомъ романѣ по другимъ сочиненіямъ того же рода, тотъ получитъ о немъ самое невѣрное понятіе. Его справедливѣе назвать можно любопытнѣйшими историческими записками одной изъ замѣчательнѣйшихъ эпохъ русской исторіи. Названіе романа развѣ потому только можно придать этому сочиненію, что въ стройномъ цѣломъ занимательность возрастаетъ съ каждой главою, и всѣ промежутки увлекательныхъ сценъ, превосходно списанныхъ съ натуры, наполнены нѣкоторыми частностями, созданными воображеніемъ автора.

¹⁾ Разборъ, напечатанный въ *Сверной Пчелѣ* 1835 года 7 декабря, № 278, въ фельетонѣ, подъ рубрикой: «*Новыя книги. Князь Скопинъ-Шуйскій, или Россія въ началѣ XVII столѣтія. Сочиненіе О. Ш.* Четыре части: въ 1-й XIV и 344 стр., во 2-й 347, въ 3-й 297, въ 4-й 389; въ 8 д. л. С. П. б. 1835, въ тип. Медицины. Департ. Министерства Внутр. Дѣлъ». Въ выноскѣ прибавлено: «За всѣ четыре части 20 руб. асс. Продается во всѣхъ книжныхъ лавкахъ».

Его сочиненіе обнимаетъ время отъ смѣлаго слова князя В. И. Шуйскаго, когда онъ назвалъ перваго Лжедимитрія самозванцемъ, до бѣдственной кончины князя М. В. Скопина-Шуйскаго. Всѣ историческія лица этого времени, Русскіе, Поляки, Шведы, начальники переворотовъ, ихъ подчиненные, ближайшіе изъ ихъ домашнихъ, раскрывающіе передъ читателемъ тайныя пружины политическихъ дѣлъ, всѣ являются въ истинномъ ихъ видѣ, съ фізіономіями вѣрными; каждое лицо, какъ въ драмѣ великаго поэта, говоритъ собственнымъ языкомъ, не выходитъ изъ круга своихъ идей, и ставитъ читателя въ томъ мѣстѣ, гдѣ происходило дѣйствіе, въ томъ вѣкѣ, когда оно дѣйствовало. Чтобы достигнуть до этого совершенства во всѣхъ подробностяхъ, не довольно было изучить Россію въ старыхъ книгахъ: надобно было изучить жизнь всѣхъ разнообразныхъ состояній, нигдѣ ничего не преувеличить и ничего не ослабить, нигдѣ не смѣшать красокъ. Здѣсь Русскіе въ первый разъ являются въ полнотѣ своей жизни: ихъ стороны хорошія и слабыя, ихъ добродѣтели общественныя и семейныя, ихъ предразсудки и суевѣрія, ихъ страсти и привычки,—все изображено; но все такъ постигнуто вѣрно, всему дано столь истинное значеніе, что надобно или не знать Россіи; или не любить ея, чтобы это читать безъ умиленія. Есть сцены, которыя обнаруживаютъ въ авторѣ удивительное драматическое искусство. Разговоръ между Скопинымъ - Шуйскимъ и парицею-инокинею (матерью убіеннаго царевича Димитрія), положеніе Ляпунова, когда Скопинъ-Шуйскій возвращаетъ ему въ письмѣ крестъ (старинный обрядъ братства), первое свиданіе Марины съ тушинскимъ самозванцемъ, и множество другихъ сценъ поражаютъ не словами, но творчествомъ ихъ положеній. Сколько познаній археологическихъ! Гдѣ бы ни находились вы: въ Москвѣ, или Новѣгородѣ, близъ Шлиссельбургской крѣпости (Орѣшка) или въ Колязинскомъ монастырѣ, въ старинномъ архіерейскомъ домѣ, въ княжескихъ палатахъ или въ царскомъ дворцѣ,—все воскресаетъ передъ вами съ этою священною стариною, которая до сихъ поръ такъ мало была

намъ извѣстна. Каждую главу этой книги можно считать за одно совершенно конченное сочиненіе, въ томъ смыслѣ, что она представитъ вамъ полную картину или нравовъ какого нибудь семейства, или прелестнаго мѣстоположенія, или древняго любопытнаго зданія и т. д. Двѣ только сцены показались намъ не соответствующими высокому достоинству прочихъ: ихъ нельзя назвать невѣрными, но, по содержанію своему, онѣ тягостны, особенно посреди прочихъ, столь мастерски выбранныхъ. Въ одной описывается положеніе матери, передъ глазами которой единомышленники самозванца умерщвляютъ ея младенца; въ другой представлены родители, мучимые голодомъ и принужденные видѣть гибель дѣтей своихъ. Мы соглашаемся, что для изображенія всѣхъ бѣдствій междоусобія нужны были и краски сильныя; но искусство налагаетъ на художниковъ свои законы. Чѣмъ душа возмущается до отвращенія, то можно отстранить, не нарушая художнической истины. Въ этомъ романѣ еще недостаетъ предмета, которые другіе считаютъ необходимостію. Вы не ожидайте, чтобы авторъ разнѣжилъ васъ тѣми сценами страстной любви, которая даже не называется иначе, какъ романическою. Здѣсь любовь есть семейственная теплота. Въ эту эпоху восторженная любовь хранилась для отечества. За то книга сія можетъ сдѣлаться и самымъ пріятнымъ и самымъ назидательнымъ чтеніемъ всѣхъ возрастовъ и половъ. Родители съ истинною радостію вручатъ ее и пылкимъ юношамъ и стыдливымъ дѣвушкамъ, и будутъ увѣрены, что чтеніе романа не оскорбитъ ихъ невинности.

ОБЯЗАННОСТИ НАСТАВНИКОВЪ ЮНОШЕСТВА ¹⁾.

1835.

Мм. Гг.

Въ долголѣтнемъ трудѣ, постоянно заботившемъ душу, безъ сомнѣнія самую отрадную минутою бываетъ его окончаніе. Призванные къ образованію молодыхъ людей, готовыхъ теперь съ нами разлучиться для поступленія въ должности, ихъ ожидающія, мы были бы не чистосердечны, если бы не признались, что нынѣшнее торжество такъ же радуетъ насъ, какъ исполненіе надеждъ самыхъ пріятныхъ. Это чувство, вообще столь естественное человеку, оживлено въ насъ другими частными событіями, которыхъ мы были свидѣтелями еще посреди своей дѣятельности. Вѣщеносный основатель заведенія сего, вѣривъ его судьбу непосредственной заботливости особѣ, избираемыхъ имъ для распространенія во всей Россіи благотворнаго свѣта истинной образованности, самъ, отрываясь отъ неисчислимыхъ царственныхъ трудовъ своихъ, на скромныя занятія юношей лично удостоивалъ обращать снисходительное свое вниманіе. Въ избыткѣ простосердечной преданности, молодые люди, не выдавшіе свѣта, безъ робости осмѣливались здѣсь излагать мысли въ присутствіи Того, предъ чьимъ величіемъ, предъ чьєю проницательностію часто потупляется взоръ представителя какой-нибудь могущественной державы. И онъ, какъ бы не памятуя уже всего, что свершила собственная его рука для счастья полвселенной, еще съ любовію взиралъ на этотъ разсадникъ, который цвѣлъ замѣтно, только оживляемый

¹⁾ Напечатано въ *Журналъ Министерства Народнаго Просвѣщенія* 1836 г. ч. IX, Отдѣлъ II. Наука, словесность и искусства (стр. 20—42) съ прибавленіемъ въ заглавіи словъ: «Рѣчь, произнесенная въ Главномъ Педагогическомъ Институтѣ ординарнымъ его профессоромъ П. А. Плетневымъ, по случаю выпуска воспитанниковъ, декабря 20 дня 1835 года».

его благостию. Одобрение монарха успокаивало наши заботы; оно къ самымъ надеждамъ такъ привязывало умъ, какъ будто къ чему-нибудь дѣйствительному: и такимъ образомъ еще прежде, нежели мы успѣли достигнуть окончанія своего поприща, сердца наши уже приготовлены къ тѣмъ сладостнымъ ощущеніямъ, которыхъ ожидать заставляетъ самъ благотворный трудъ.

Но разсматривая положеніе свое съ другой стороны, мы не можемъ не чувствовать и той великой отвѣтственности, которая падаетъ на насъ съ теперешней минуты. Напрасно обманывали бы мы себя мыслію, что совершеніе дѣятельности нашей есть конецъ нашихъ заботъ. Не теперь и не здѣсь истинное оправданіе наше въ исполненіи долга самаго священнаго, какой только возлагался когда-нибудь волею государя на его подданныхъ. Каждый мигъ будущей жизни молодыхъ людей, которыхъ мы обязаны были утвердить въ неизмѣнныхъ началахъ истины, добра и чести, связанъ уже съ нашею судьбою. Эта мысль невольно сливается съ тѣмъ чувствомъ радости, которому мы, какъ люди, не могли противиться. И такова бываетъ радость землевладѣльца, когда онъ въ самое благопріятное время бросить сѣмена въ землю, и возвращаясь на долгое отдохновеніе, перебираетъ въ мысляхъ неотвратимые случаи, которые могутъ погубить всѣ его надежды.

Если бы общество, успокаивая совѣсть нашу, не захотѣло при всякой ошибкѣ юношей призывать насъ къ суду своему; если бы даже мы сами въ состояніи были утвердить надлежащую мѣру своей отвѣтственности за другихъ въ будущемъ: то, и за сими предѣлами снисхожденія и законности, сколько еще намъ представляется опасностей! Мы готовили образователей юношества. Обязанности ихъ такъ многосложны, такъ затруднительны, такъ важны, что едва ли какое-нибудь назначеніе можетъ столько озаботить гражданина, какъ поприще, открывающееся питомцамъ нашимъ.

Наставникъ юношества, приступая къ исполненію должности своей, переселяется въ отдѣльный, новый маленькій міръ, куда

обязанъ внести все, что необходимо для сообщенія ему жизни. Счастливъ, если тамъ, гдѣ располагается дѣйствовать, не встрѣтитъ онъ чего-нибудь противнаго чистымъ своимъ началамъ. Иначе какія усилія надобно будетъ употребить ему, чтобы только приготовить эту землю для будущихъ трудовъ своихъ. Въ умственномъ и нравственномъ мірѣ ничто не осуществляется безъ органической, такъ сказать, силы. Идея другого должна слиться съ моею душою, должна проникнуть ее и составить съ прочими частями необходимость моего существованія, чтобы умъ изъ этой прививной идеи нѣкогда возрастилъ плоды для себя или для потомковъ. Мысль, другимъ образомъ сообщенная, исчезаетъ. Механическая работа въ дѣлѣ просвѣщенія такъ же ничтожна, какъ соблюденіе формы въ подвигахъ добродѣтели. Но это еще не все: приготовленіе успѣховъ образованности требуетъ усилій двойственныхъ. Наставникъ долженъ чувствовать, что слушатели его и онъ самъ, порознь, могутъ хорошо идти къ своей цѣли; а для взаимнаго труда надобно, чтобы онъ себя образовалъ для нихъ и ихъ для себя. Въ ихъ внутренней дѣятельности потребно единство. Онъ испытываетъ, изучаетъ силы и направленія столькохъ душъ, которыя соединяются на время для одной жизни умственной; настраиваетъ ихъ въ тотъ необходимый тонъ, безъ котораго не было бы музыки. Неутомимое вниманіе, многотрудныя соображенія и наконецъ ежедневные опыты раскрываютъ для него важнѣйшую тайну: ему знакомы невидимыя и неосозаемыя пружины. Онъ дѣйствуетъ счастливо: слѣдственно, жизнь началась. Но самая жизнь приводитъ его къ новымъ заботамъ. Если онъ не наравнѣ съ нею работаетъ; если по мѣрѣ надобности не измѣняетъ своихъ размѣровъ, не обновляетъ матеріаловъ, однимъ словомъ, если онъ въ это же время и самъ не живетъ дѣйствительно: скоро все или разстроится, или остановится, или по крайней мѣрѣ охладѣетъ. При этомъ нравственномъ организмѣ, при этомъ движеніи, необходима сила любви къ должности, которая одна все предвидитъ, все предчувствуетъ и всему даетъ вѣрный успѣхъ. Естественно, что при такомъ порядкѣ занятій нѣтъ точки

успокоенія для заботъ наставника, если онъ предполагаетъ быть истинно полезнымъ.

По другимъ путямъ гражданской дѣятельности идутъ въ сообществѣ съ товарищами, равными силою, лѣтами или назначеніемъ. Образователь юношества трудится одинъ: онъ предоставляетъ самому себѣ. Въ его душѣ заключается все, чего требуетъ природа его, какъ человѣка, для облегченія, для совѣта, для участія. Усладить трудъ, разсѣять утомленіе, побѣдить скуку: на все должно стать его собственныхъ душевныхъ силъ. Въ этомъ бореніи слабости человѣческой съ долгомъ ему необходимо сохранить спокойствіе, или, справедливѣе, отчуждить спокойствіе, и исполниться участія. Въ тайномъ обманѣ его и самое усиліе вредно: все должно идти свободно, ровно; пусть будетъ онъ безъ притворства снисходителенъ и безъ остановки занимателенъ. Сколько другихъ нравственныхъ началъ присоединяется къ характеру образователя юношества, о которыхъ можно не говорить, потому что они, какъ первыя условія, извѣстны каждому человѣку. Все это вмѣстѣ должно возникнуть и созрѣть въ душѣ стройно и непринужденно. Между тѣмъ едва ли хоть одно изъ подобныхъ качествъ можно развить, какъ положительную истину, и передать подобно отрасли какой-нибудь науки. Какъ неувольнимыя движенія сердца, какъ побужденія совѣсти, эти потребности понятны по нашимъ только ощущеніямъ. Но безъ нихъ, если не бесполезны, по крайней мѣрѣ не вполне дѣйствительны самыя обширныя свѣдѣнія. Успѣхи будутъ зависѣть отъ случая, какъ явленія, называемыя игрою природы, которая иногда въ минералѣ сберегаетъ органическое тѣло для возбужденія любопытства естествоиспытателей.

Согрѣтый любовью къ наукѣ, сроднившійся съ тѣмъ кругомъ, для котораго вышелъ на поприще, движимый свѣжими силами духа, исполненный увлекательно-чистыхъ побужденій, разнообразный и неизмѣнный въ безчисленныхъ отношеніяхъ къ людямъ, образователь юношества еще главное таитъ въ умѣ своемъ—то, что было его заботою, его страстію въ теченіе мно-

гихъ и, можетъ-быть, лучшихъ годовъ жизни. Посреди любопытной и нетерпливой толпы, то слѣпо довѣрчивой, то упорно испытательной, онъ является какъ представитель свѣдѣній, которыхъ полная и гармоническая совокупность называется наукою въ строгомъ ея значеніи. Съ этой стороны, гдѣ можно все взвѣсить, рассчитать, опредѣлить, оцѣнить, ему надобно приготовиться въ совершенствѣ. Каждая наука въ своей длинной послѣдовательности есть исторія и вмѣстѣ критика жизни отдѣльной части ума человѣческаго. Подобно истоку рѣки, начинаясь едва замѣтною струйкой, она свѣтлѣетъ, расширяется, выситя, и наконецъ объемлетъ необозримое пространство. Всѣ возрасты ея, всѣ дѣйствія, всѣ колебанія, всѣ стихіи прошедшаго и настоящаго, даже грядущія судьбы до нѣкоторой степени должны быть ясны для того, кто навсегда посвящаетъ себя ученому состоянію. Но чловѣкъ только ученый еще не образецъ наставника. Обязанности ученаго легче. У него менѣе прямыхъ отношеній. Онъ независимъ, трудится по страсти для совершенствованія науки, и на немъ, какъ на художникѣ, нѣтъ отвѣтственности, кромѣ славы или стыда въ будущемъ. Онъ, какъ богачъ, можетъ быть и прихотливо-расточителенъ и прихотливо-скупъ, неразборчивъ и изысканъ въ своихъ желаніяхъ. Наставникъ не смѣетъ отстать отъ него въ приобрѣтеніи умственныхъ сокровищъ. Онъ подвергнется всеобщему осужденію, если не будетъ съ нимъ равенъ въ богатствѣ познаній. Это первая его забота. Но чѣмъ болѣе приобрѣтаетъ онъ, тѣмъ обширнѣе становится кругъ послѣдующихъ его занятій. Съ какою внимательностію надобно разбирать ему свои приобрѣтенія, чтобы одни оставить у себя, какъ любопытные памятники вѣка или страны, а другія приготовить для немедленнаго употребленія по его обязанностямъ. Наука, въ обширномъ смыслѣ, это зданіе вѣковъ, разнохарактерное, со всѣми неправильными своими прибавленіями, поражающее зрителя странною смѣсью вкусовъ, недоконченностію или избыточествомъ частей и пустотою переходовъ. Наука на письменномъ столѣ наставника преобразуется въ планъ прекрасно отдѣланнаго дома, гдѣ все

принимаетъ видъ единства, правильности, ясности и красоты. Наставникъ знаетъ свое мѣсто, общество, возрастъ его, умственныя и нравственныя его силы, цѣль своихъ дѣйствій и чувствуетъ святость своего призванія. Отвѣтствуя при каждомъ явленіи своемъ за объемъ изложенныхъ истинъ, за вѣрность ихъ успѣха, за слѣдствія впечатлѣній, онъ во всемъ строгъ къ самому себѣ. Онъ столько же страшится легковѣрія, какъ и суемудрія. Опытный и доброжелательный руководитель, онъ избираетъ всегда прямой путь и ведетъ по немъ, оставляя излучины, гдѣ можетъ заблудиться непредусмотрительная молодость.

Не одно пріобрѣтеніе и устройство матеріаловъ, составляющихъ науку, важно и трудно для человѣка, принимающаго на себя званіе преподавателя: онъ созидаетъ тотъ отчетистый языкъ, который мыслямъ даетъ единство жизни и форму общительности. Въ безконечномъ ряду разнородныхъ читателей всегда можно предположить классъ людей, которые довольны будутъ писателемъ, какъ бы онъ ни изъяснялся: но передъ наставникомъ уже лица опредѣленные; изъ этого круга ему выступать не позволено. Для него образуетъ онъ языкъ. Каждому предмету своему, каждому обстоятельству сообщаетъ онъ тотъ характеръ и краски, которые привлекаютъ вниманіе, съ легкостью вмѣщаются въ умъ и памяти, и въ то же время блистаютъ яркимъ свѣтомъ истины. Если затруднительны такія условія при изложеніи письменномъ, когда еще въ нашей власти и выраженіе и оборотъ и порядокъ идей: то во сколько разъ должно увеличиться затрудненіе при живомъ, не прерывающемся разговорѣ? Посреди торжественнаго вниманія, при неизбѣжномъ приливѣ мыслей, въ пылу душевнаго участія и даже нѣкотораго честолюбія, преподаватель обязанъ говорить вѣрно и быстро, спокойно и живо, мѣтко и свободно, бережливо и выразительно. Между ораторствомъ, обуревающимъ души, и толковитостію, ихъ усыпляющею, онъ ищетъ той плѣнительно-благородной бесѣды, которая сосредоточиваетъ на себѣ вниманіе, питаетъ умъ, согрѣваетъ воображеніе, очищаетъ вкусъ и размягчаетъ сердце. Совершенство языка есть

залогъ совершенства мыслей. Напрасно думаютъ, что выполненіе грамматическихъ правилъ и отчужденіе нелюбимыхъ въ извѣстное время словъ ведутъ къ языку хорошему. Достигнувъ этихъ отрицательныхъ достоинствъ, ничего не приобрѣтешь для истиннаго совершенства языка. Оно такъ сливается съ ясностію и живостію представленій, съ истинною и достоинствомъ сужденій, съ вдохновеніемъ и силою чувствованій, что языкъ одинъ хорошъ—тотъ, который создается самою лучшею идеею. Этому языку можно учиться, только не въ грамматикѣ, а въ твореніяхъ великихъ писателей, или, еще вѣрнѣе, въ творествѣ прекрасныхъ или великихъ мыслей.

Какимъ же образомъ наставникъ покорить себѣ хорошій языкъ, если истина передана ему только для повторенія? Наука, или совокупность истинъ, по неизъяснимому свойству человѣка, способна возрождаться къ новой жизни столько разъ, сколько будетъ вполне принимаема душою. Въ ея непроницаемомъ святилищѣ она (если позволено такъ сказать) разлагается, и исполнившись цвѣтущей свѣжести, новыхъ красотъ, новыхъ силъ, при своемъ оттуда появленіи облекается въ тотъ языкъ, котораго каждое слово есть живой образъ, каждое выраженіе убѣдительная, всеогрѣвающая мысль. Неотносительныхъ, повсемственныхъ и вѣчныхъ истинъ не много. Всѣ онѣ едва ли не современны началу человѣческихъ обществъ. Но и однѣ эти истины сколько разъ въ каждой странѣ, въ каждомъ столѣтіи, являлись между людьми въ видѣ поразительно-новомъ, на языкѣ, созданномъ ихъ рожденіемъ, съ могуществомъ, покоряющимъ всѣ умы и всѣ сердца. Творецъ, вдохнувъ душу въ человѣка, безмѣрно вознесъ его надъ всѣмъ своимъ созданіемъ. Изъ души, этой искры Божества, въ продолженіе столькихъ тысячелѣтій, на каждой точкѣ обитаемаго міра, ежеминутно возрождаются все новыя и новыя творенія, подобно какъ изъ небытія возникаетъ къ жизни все новый и новый человѣкъ, съ своимъ лицеочертаніемъ, выразительностію и другими свойствами индивидуальности. Но всѣ разнородныя творенія человѣческаго духа, подобно появляющемуся

вновь человѣку, изъ однихъ, вѣчно тѣхъ же образуются элементы. На этомъ законѣ зиждется непрерывная послѣдовательность нетщетныхъ усилій нашихъ, нашей неистощимо-плодотворной дѣятельности и справедливо увлекающей насъ возсозидаемости. Если наставникъ, покорившись чуждой системѣ, станетъ повторять ея истины безъ участія, не претворивъ ихъ прежде въ собственность души своей, не выражая въ нихъ внутренней своей физиономіи, не согрѣвая ихъ любовію какъ свое созданіе: то и въ языкѣ его не будетъ органической жизни. Его слова, какъ частицы минеральнаго вещества, не образуя химическаго цѣлаго, останутся безъ единства, безъ связи, и представлять собою какую-то пеструю массу, въ которой каждая часть носитъ на себѣ признаки своей отдѣльной жизни и своего образа. Таковъ часто бываетъ языкъ юныхъ неопитовъ возвышенной философіи, съ тайнами которой еще не успѣли они слиться въ душѣ своей.

Въ предложенныхъ замѣчаніяхъ заключаются частію предварительныя соображенія наши, когда здѣсь начиналось образованіе молодыхъ людей, окончившихъ теперь ученіе. Но мы не исполнили бы и половины долга своего, если бы ограничили заботливость свою этими общими предначертаніями. Мы вполнѣ чувствовали, что важнѣйшія обязанности наставниковъ изучаются не въ общей теоріи педагогики, но въ потребностяхъ государства и современности.

Западные европейскія державы совершенно другимъ путемъ дошли до нынѣшней своей образованности, нежели Россія. Правда, ученость и у нихъ возникла какъ у насъ отъ изслѣдованія гражданственности древнихъ, отъ любви и благоговѣнія къ ихъ литературѣ. Но ученость и образованность идутъ не вмѣстѣ. Одна составляетъ принадлежность нѣкотораго класса людей, другая необходимость большей части гражданъ; одна занимается предметами отдѣльно и сколько можно глубже; другая беретъ ихъ въ соотношеніи съ прочими и старается объять ихъ на большемъ пространствѣ. Ученость пріобрѣтается въ тишинѣ уединеннаго кабинета, образованность въ движеніяхъ жизни общественной.—

Нынѣшняя гражданственность западныхъ Европейцевъ, со всѣми своими принадлежностями, получила первыя начала болѣе, нежели за 500 лѣтъ. Сѣмена ея брошены были въ общества тѣми переворотами, которые совершались на Западѣ во время крестовыхъ походовъ и владычества феодальнаго. Стѣсненіе и бѣдность вызвали разныя сословія гражданъ на труды честные и благотворные, приучили ихъ уважать мирныя свои общества и дорожить святостію своихъ постановленій. Долгіе опыты умудрили людей, заставили ихъ стремиться къ совершенствованію промышленности, искать для себя помощи въ ученіи и наблюдательности. Жизнь, удобства сношеній, населенность, нравы, учрежденія, самая природа, все вмѣстѣ облегчало имъ уразумѣніе тѣхъ многосложныхъ истинъ, которыя составляютъ образованность государства. У нихъ знанія прошли всѣ свои возрасты. На той же самой почвѣ созрѣли они, гдѣ были посѣяны, гдѣ взошли и расцвѣтали. Тамъ наставнику легко трудиться, трудъ его заранѣе всѣ уважаютъ и любятъ; начала его науки давно упрощены и введены въ кругъ всеобщихъ потребностей. У насъ предстоитъ ему болѣе труда: многія знанія, тѣсно связанныя съ развитіемъ наукъ, еще не привились къ обществу, не обжились въ немъ; даже изложеніе началъ ихъ не облечено давностію въ тѣ формы общезнакомаго языка, безъ которыхъ самая вѣрная истина, самое необходимое правило кажутся затѣйливымъ нововведеніемъ и пугаютъ робкое невѣдѣніе. На приобрѣтеніе основательныхъ знаній многія лица смотрятъ какъ на принадлежность нѣкотораго класса людей, и въ своемъ кругу считаютъ ихъ излишествомъ, роскошью, хотя съ этими только знаніями и можно сдѣлаться прямо полезнымъ членомъ какъ семейства, такъ и государства. Съ тѣхъ поръ, какъ изъ многочисленныхъ областей русскихъ, въ XV и XVI столѣтіяхъ образовано было нераздѣльное органическое цѣлое, съ тѣхъ поръ правительство наше, ревнуя прочія государства ко всякому новому приобрѣтенію умственному, спѣшило усвоить его, и наконецъ въ началѣ XVIII столѣтія, внесло въ нѣдра отечества нашего почти всѣ сокровища гражданственности другихъ Европейцевъ.

Долговременная, непрерывная попечительность его избавила большую часть народа от заботливости собственной. Мы приняли этот даръ съ благодарностію; но онъ не стоилъ намъ ни тѣхъ усилій, ни тѣхъ лишеній, ни тѣхъ тяжелыхъ опытовъ, которыми купили его другіе, и которые одни заставляютъ чувствовать всю его цѣну. Наставники наши должны достигать своей цѣли преимущественно нравственными путями. Каждому изъ нихъ прежде всего надобно сдѣлаться любимымъ лицомъ въ своемъ кругу. Отъ привязанности рождается довѣренность. Начиная съ ближайшихъ отношеній, понятныхъ каждому возрасту и каждому состоянію, онъ будетъ осторожно спускаться къ своему предмету, возбуждая къ нему любопытство множествомъ примѣненій, изложенныхъ безъ строгой системы, со всею живостію занимательнаго разговора. Пусть каждая бесѣда его пробудитъ въ сердцахъ слушателей нѣсколько новыхъ добрыхъ наклонностей, которыми обрадованы будутъ и ихъ ближніе. Въ этомъ искусствѣ величайшая выгода. Наставникъ облегченъ будетъ въ трудѣ своемъ многочисленными, для него незримыми пособіями, безъ которыхъ всѣ его труды ничтожны. Въ пользу науки и себя самого онъ создастъ мнѣніе, которое сильнѣе всѣхъ ученыхъ доказательствъ. Подъ его защитою онъ окружитъ себя почитателями. Въ каждомъ новомъ лицѣ будетъ являться его сотрудникъ, потому что плоды ученія и всего воспитанія никогда не принадлежать одному человѣку, но вліянію общества, въ кототомъ находятся и наставникъ и воспитанники.

Изобрѣтательности и дарованіямъ образователя юношества предстоитъ у насъ еще подвигъ. Въ изложеніи наукъ до сихъ поръ мы не достигнули той легкости, той пріятности, той свѣтскости, которая непримѣтно сближала бы съ ними всѣ состоянія подобно тому, какъ иногда умный, но простой рассказъ опытнаго человѣка приковываетъ къ себѣ вниманіе разныхъ возрастовъ. Обыкновенный ученый языкъ нашъ принадлежитъ къ числу предразсудковъ, господствующихъ съ одинаковымъ самовластіемъ какъ между образованными людьми, такъ и необразованными.

Слово, принадлежащее школѣ, представляетъ ту выгоду, что оно сокращаетъ рѣчь. Но оно, какъ условный знакъ, можетъ быть употребляемо только между лицами, равно введенными въ таинства науки. Въ устахъ наставника на немъ есть что-то непріятное и отталкивающее. Оно не странно еще тамъ, гдѣ понятие, отъ частаго обращенія своего въ обществѣ, заставило и слухъ примириться съ его звуками. Но когда дѣло идетъ о томъ, чтобы водворить идеи, завлечь любопытство ума, подѣйствовать на вкусъ новостію и обольстить душу занятіемъ, которое само по себѣ довольно утомительно, въ такомъ случаѣ всѣ выраженія должны быть созданіями одушевленнаго наставника. Кромѣ школьныхъ словъ, въ языкѣ ученомъ есть много выраженій, оборотовъ, приемовъ, наслѣдственно переходящихъ отъ одного поколѣнія къ другому и доказывающихъ печальную истину, что науки мало носятъ на себѣ признаковъ собственныхъ трудовъ нашихъ. Но у насъ болѣе, нежели гдѣ-нибудь, необходимо разложить ихъ на стихи, освободить отъ бесполезной примѣси разныхъ странъ и вѣковъ, упростить ихъ, чтобы, возрожденные въ естественной ясности своей и привлекательности, явились онѣ на языкѣ нашемъ какъ собственные наши созданія, и тѣмъ удобнѣе слились бы съ прочими умственными занятіями. Чѣмъ болѣе можно сдѣлать примѣненій къ жизни изъ систематическаго какого-нибудь ученія, тѣмъ ревностнѣе надобно стараться низвести его въ сферу общенароднаго разговора и смѣшать истины его съ понятіями всеобщими. До сихъ поръ, для оборотовъ гражданственности, ученые передавали у насъ познанія свои въ цѣлости и въ строгомъ порядкѣ: потомству нашему предстоитъ практически расширить кругъ каждой ихъ части, и изъ этого богатаго запаса обратно произвести новыя и лучшія системы. Посредниками между настоящимъ поколѣніемъ и потомствомъ назначены быть наставники юношества.

Медленное распространеніе образованности въ среднихъ и низшихъ классахъ происходитъ у насъ преимущественно отъ способа ученія первоначальнаго. Вѣрные успѣхи во всемъ зави-

сятъ отъ строгой постепенности въ преподаваніи и особенно отъ незыблемаго основанія. Приготовительныя свѣдѣнія въ другихъ странахъ приобрѣтаются незамѣтно въ первомъ дѣтствѣ, еще въ нѣдрахъ семейства, потому что они укоренились въ цѣломъ народѣ. У насъ замѣтна какая-то поспѣшность въ переходѣ отъ ученія начального къ окончательному. Цвѣтущее состояніе высшихъ учебныхъ заведеній не исправляетъ вліяніемъ своимъ тѣхъ недостатковъ юношества, которые происходятъ отъ началъ неполныхъ и слабыхъ. Наставники въ низшихъ училищахъ, повидимому, не оцѣнили еще своего гражданскаго достоинства. На ихъ внимательности и успѣхахъ основано все, что связано съ самою высшею образованностію. Ихъ дѣятельности и дарованіямъ столько же путей къ отличіямъ и извѣстности, сколько и первому изъ людей ученыхъ. Тѣмъ прекраснѣе поприще ихъ, что у насъ оно ждетъ еще дѣйствователей. Здѣсь каждый счастливый шагъ, каждое новое покушеніе, малѣйшее открытіе есть уже побѣда и право на признательность. Благотворное вліяніе начального ученія распространяется на всѣ гражданскія сословія. Оно составляетъ первую потребность всякаго человѣка. Польза его неизмѣнна. Что можетъ быть занимательнѣе и отраднѣе этого зрѣлища, которое представляетъ чистый, легкій свѣтъ, постепенно проникающій въ юную душу? Съ этой минуты начинается для нея жизнь, обозначается кругъ дѣятельности, возникаютъ благородныя желанія; ея хранителями становятся достоинство и самочувствіе. На послѣдней ступени общественной жизни, человѣкъ, хорошо введенный въ кругъ необходимыхъ для него знаній, представляетъ собою что-то привлекательное и внушаетъ къ себѣ уваженіе. А что значить и общежитіе, какъ не взаимное другъ друга уваженіе? Съ этой стороны у насъ ожидается наставниковъ юношества благодарность живѣйшая цѣлой Россіи. Въ мѣста, отдаленныя отъ столицъ, въ города немногочисленные; въ самыя окрестности ихъ, они могутъ со временемъ переселить то, за чѣмъ многіе часто по необходимости принуждены отбывать изъ своихъ мирныхъ жилищъ: распространяя постепенно первона-

чальныя необходимыя знанія, столь дѣйствительно измѣняющіи образъ жизни и нравы, они могутъ приготовить новое общежитіе, возвысить цѣнность отношеній и указать на способы удовлетворенія разнымъ требованіямъ гражданственности.

Если, говоря объ особенныхъ обязанностяхъ, ожидающихъ въ Россіи образователя юношества, мы увлекались его назначеніемъ и предчувствовали въ судьбѣ его что-то высшее, нежели обыкновенно въ ней представляется: это легко изъяснить, съ одной стороны, желаніемъ самыхъ счастливыхъ успѣховъ воспитанникамъ нашимъ на ожидающемъ ихъ новомъ поприщѣ, а съ другой, тѣмъ прекраснымъ положеніемъ, которое въ нынѣшнее время доставлено наставникамъ у всѣхъ образованныхъ народовъ. Ихъ положеніе возвышено не однимъ гражданскимъ достоинствомъ, всегда имъ справедливо принадлежавшимъ. Нѣтъ, дѣятельность ихъ приобрѣла значительную, новую цѣну отъ проясненія самой идеи наукъ. Было время, когда наставника почитали человѣкомъ, заключившимся внѣ общественной дѣятельности, потому что науки составляли неподвижный кругъ за предѣлами гражданской жизни. Школа подобна была теплицѣ, сохранявшей растенія, не принадлежащія ни почвѣ, ни климату страны, въ которую перенесли ихъ по одной прихоти. Ихъ лелѣялъ трудолюбивый человѣкъ въ полномъ убѣжденіи, что огромный садъ, окружающій душное затворничество его, не принимаетъ для своего украшенія ни одной рѣдкости, ввѣренной его надзору. Вокругъ него, на необъятномъ пространствѣ, все повиновалось вліянію природы: одни растенія дряхлѣли, падали и, возникнувъ снова, распускались въ другихъ разнообразныхъ видахъ; въ иномъ мѣстѣ, смотря по требованію вкуса и взыскательныхъ нуждъ, исчезали цѣлыя аллеи; въ иномъ, дѣйствіемъ воздушныхъ перемѣнъ и пособіями владѣльца, образовались то насыпи, то протоки: у него все хранилось въ первоначальномъ порядкѣ, даже безъ отношенія ко временамъ года. Въ самомъ дѣлѣ, давно ли занимались древнею литературою, не думая поучаться въ ней ни исторіи, ни географіи, ни политикѣ, ни гражданственности? Зна-

ніе не составляло пособія къ совершенствованію общественной жизни, потому что ничего современнаго и дѣйствительнаго не сводили въ параллель съ прошедшимъ и предполагаемымъ. Съ жалкимъ усиліемъ повторяли идеи и образы, отжившія вѣкъ свой. Въ міеологіи древнихъ и законоискусствѣ, въ ихъ театрахъ и академіяхъ, въ ученыхъ системахъ ихъ и лѣтописяхъ питали и умерщвляли свою любознательность. Все быстро подвигалось впередъ: расцвѣтали новыя гражданскія общества, жизнь облекалась въ новыя формы, нравы смягчались: отношенія государствъ становились многосложнѣе, промышленность, торговля, успѣхи общежитія требовали ревностнаго участія и большей гласности, самая природа, повинуваясь человѣку, обильнѣе прежняго снабжала его своими неистощимыми сокровищами; а наставники юношества, не осмѣливаясь произвести ни малѣйшей перемѣны въ ветхомъ зданіи своей учености, оставались глухи и нѣмы посреди этихъ чудесъ общежительности, и съ неимовѣрнымъ хладнокровіемъ повторяли старыя преданія своихъ предшественниковъ. Въ нынѣшнее время они дѣйствуютъ другимъ образомъ. Все ихъ вниманіе обращено на дѣйствительность. Природа и гражданственность: вотъ два источника, откуда почерпаютъ они свои свѣдѣнія. Наблюденіями и опытами доходятъ они до истины. Наука не отстаетъ отъ жизни. Подчиняясь внѣшнему вліянію природы и внутренней дѣятельности духа, жизнь и наука идутъ вмѣстѣ къ великой своей цѣли, то есть къ совершенству. Такимъ образомъ, человѣкъ, облекающійся въ званіе наставника, обязанъ поставить себя въ число первыхъ гражданскихъ дѣйствователей. Неизмѣримую область человѣческихъ знаній онъ дѣлитъ сообразно потребностямъ вѣка. Общія, всѣмъ необходимыя свѣдѣнія принимаетъ онъ за первыя начала образованности. Отсюда возникла потребность яснаго воззрѣнія на природу, какъ первую хранительницу сокровищъ, необходимыхъ для жизни человѣка, въ которомъ духъ есть зиждитель всего. Человѣка изучаетъ онъ на самомъ мѣстѣ его дѣятельности. Отечество становится для него важнѣйшимъ предметомъ изслѣдованій. Онъ все подвергаетъ въ немъ

непосредственному, ближайшему своему наблюденію, обращается къ его началу, слѣдуетъ за всѣми переменами, и оттого ясно обнимаетъ современное. Въ этомъ занятіи поставляетъ онъ священный долгъ свой. И вѣднѣе или отдаленное также ему не чуждо, но какъ дополненіе къ главному. Въ заключеніе, иногда побуждаемый естественнымъ любопытствомъ, иногда особеннымъ своимъ назначеніемъ, онъ дѣлается изыскателемъ самыхъ древностей чужеземныхъ и довершаетъ тѣмъ полноту своихъ знаній. Ученіе, располагаемое по этой системѣ, привлекаетъ къ себѣ и юношество, ввѣряемое образователямъ, и родителей, желающихъ увидѣть въ своихъ дѣтяхъ полезныхъ гражданъ. Развитіе умственныхъ силъ или начало жизни ощутительно связывается съ возрастомъ послѣдующимъ. Такимъ образомъ исчезаютъ лѣта дѣятельности неопредѣленной, а съ тѣмъ вмѣстѣ не возвращается въ другой разъ и жалкое дѣтство при вступленіи на гражданское поприще.

Въ семъ великомъ преобразованіи ученія мы Русскіе, безъ сомнѣнія, никому столько не обязаны, какъ нашему верховному Наставнику и Самодержцу, котораго уроками Провидѣніе позволило намъ пользоваться въ это блистательное и благотворное десятилѣтіе. Есть ли въ кругу процвѣтающихъ человѣческихъ знаній хотя одно, на которое бы онъ не успѣлъ уже обратить своего высокаго вниманія? Всеобъемлющій монархъ, мудрый законодатель, блюститель правосудія, хранитель нашей безопасности, покровитель общепользныхъ свѣдѣній, вѣжнѣйшій супругъ и отецъ, онъ шествуетъ передъ нами, и первые опыты улучшенія на всѣхъ путяхъ гражданственности показываетъ намъ самъ, потому что Провидѣніе, для блага Россіи, предназначило каждому прекрасному чувствованію, къ какому только человѣкъ способенъ, пройти черезъ его собственное сердце. Онъ привелъ въ стройное и неизмѣнное движеніе силы этихъ необходимыхъ для высшей образованности учреждений, которыя получили начало при его знаменитыхъ предкахъ. Онъ преобразовалъ, дополнилъ и утвердилъ на благодѣтельномъ основаніи систему народнаго

воспитанія. Онъ простеръ хранительную десницу свою для вспомоществованія родителямъ въ ихъ семействахъ, чтобы и тамъ все возрасло и цвѣло для общественнаго и частнаго благоденствія. Еще болѣе: онъ спасъ нашу дѣятельность отъ усилій безплодныхъ и суетныхъ. Изъ праха и забвенія онъ извлекъ тѣ неопѣвенныя сокровища, съ которыми гордо явиться можемъ мы на судъ просвѣщеннѣйшихъ умовъ Европы. Онъ привелъ насъ къ тому источнику духовной дѣятельности, изъ котораго мы почерпаемъ новую, истинную народную славу. Сила творческой фантазіи и неусыпный трудъ изыскательнаго ума оживотворены величіемъ и святостію плодовъ своихъ. Когда зыбкое любочестіе наше, обольщаемое умственными успѣхами чужеземныхъ народовъ, волновалось и двигалось по направленію то одной, то другой державы, довольствуясь слабыми во всемъ подражаніями, онъ указалъ намъ на сердце Россіи и утвердилъ достоинство всего что только носить на себѣ русское имя.

Вотъ въ какую эпоху, счастливые юноши, принимаете вы на себя обязанности наставниковъ! Вашъ путь прекрасенъ. Мы радостно привѣтствуемъ васъ, какъ новыхъ своихъ товарищей, и когда любимся на молодость вашу и свѣжія силы, то не безъ зависти представляемъ себѣ будущее. Для васъ конечно еще надолго оно богато и блестящими подвигами и усладительными плодами. Но если вы оправдаете надежды наши, если вполне поймете вы свое назначеніе, если Провидѣніе доведетъ васъ до великой цѣли вашего призванія: то, сходя съ своего поприща, мы отрадно готовы завѣщать вамъ все, чѣмъ такъ сладостно наполнилъ грудь нашу обновитель величія Россіи. Мы соединены съ вами союзомъ священнымъ, союзомъ души. Вы приняли отъ насъ тѣ начала, которыя признали мы лучшими. Но это не все. Въ нихъ одни средства, которыми надобно умѣть управлять. Общежитіе потребуетъ отъ васъ еще многого, что вамъ не вѣдомо, и все, необходимое для жизни, даетъ только сама жизнь.

ИМПЕРАТРИЦА МАРІА ¹⁾.

1836.

Въ февралѣ нынѣшняго года здѣшняя столица была свидѣтельницаю публичныхъ экзаменовъ, происходившихъ въ Императорскомъ Воспитательномъ Обществѣ благородныхъ дѣвицъ по окончаніи курса ученія.

Благо, распространяющееся по Россіи съ каждымъ выходомъ воспитанницъ изъ институтовъ, состоящихъ подъ непосредственнымъ вѣдѣніемъ Государыни Императрицы, поистинѣ неосцѣненно. Умъ, сердце и характеръ (слѣдственно *весь человекъ*) первоначально развиваются единственно по внушеніямъ женщины, которую Провидѣніе облекло и властію и силою и удобностію возвращать по произволу ея рожденіе. Въ исторіи всѣхъ знаменитыхъ людей упоминается о первомъ, могущественнѣйшемъ вліяніи матери; а первыя впечатлѣнія не всегда ли рѣшаютъ будущую судьбу нашу?

Воспитанницы, оставляющія нынѣ благословенный пріютъ своего дѣтства, вступили въ него еще при покойной императрицѣ Маріи Феодоровнѣ. Онѣ послѣднія изъ тѣхъ, которыя въ этомъ заведеніи осчастливлены были привѣтомъ *Незабвенной*. Преемница высокихъ ея чувствованій и добродѣтелей, Государыня Императрица Александра Феодоровна, награждая отличившихся благопріеміемъ и успѣхами въ наукахъ, освятила торжественный обрядъ сей трогательнымъ вниманіемъ той, которая завѣщала ей все драгоцѣннѣйшее для своего сердца. Слабость здоровья не позволила Государынѣ Императрицѣ ѣхать въ Смольный монастырь. Воспитанницы привезены были въ Зимній дворецъ, и ея вели-

¹⁾ Напечатано безъ подписи имени въ *Современникъ* Пушкина, 1836 года. Т. I, стр. 4—13.

чество сама изволяла украсить ихъ вензеловымъ именемъ покойной Императрицы.

Такимъ образомъ еще разъ это священное имя слезами умиленія привѣтствовать будутъ и въ тихихъ семейныхъ убѣжищахъ и на веселыхъ празднествахъ, это имя, которое, въ теченіе сорока лѣтъ, является у насъ залогомъ чистоты нравственной и лучшей образованности прекраснаго пола. Съ нынѣшней эпохи, императрица Марія, въ великомъ дѣлѣ воспитанія юношества, какъ лицо *присутствующее*, сокрывается отъ насъ: но она никогда не сойдетъ съ своего поприща, какъ лицо *дѣйствующее*.

Въ разныхъ заведеніяхъ, пользовавшихся неусыпнымъ ея надзоромъ, сколько тысячъ молодыхъ особъ обоего пола образовалось въ продолженіе сорока лѣтъ! И преимущественно воспитаніе дѣвицъ, столь тщательное и во всѣхъ отношеніяхъ примѣрное, во сколькихъ семействахъ утвердило добрые нравы и настроило души къ новой прекрасной жизни! Въ каждомъ изъ нихъ императрица возрастила три поколѣнія. Если бы хоть одно изъ чистыхъ началъ ея ученія не привилось къ первому, оно еще могло подѣйствовать надъ вторымъ и несомнѣнно утвердилось въ третьемъ. Теперь половина Россіи благороднѣйшими своими чувствованіями одолжена единственно ей. Свѣтлая жизнь наша, домашнія удовольствія, вкусъ, господствующій въ избранныхъ обществахъ, лучшія потребности ума и лучшія движенія сердца, все это ея созданіе. И все это сдѣлалось уже необходимою стихіею нашей жизни. Никакія обстоятельства не властны теперь остановить и даже измѣнить этого нравственнаго направленія.

Въ исторіи нѣтъ лица, которое бы по всѣмъ отношеніямъ можно было сравнить съ покойною императрицею. Супругъ ея и два Сына, одинъ за другимъ, были самодержцами при жизни ея. На этой высотѣ земного величія, сопрякосновенная къ власти, она въ своей особѣ явила міру изумительный примѣръ смиренномудрія. Избравъ для своей дѣятельности законный кругъ, она не переступила за предѣлы его. Въ непосредственное вѣдѣніе свое она приняла одну только часть управленія, которая тре-

бовала не холодной администраціи, но сердечнаго участія, нѣжнѣйшей попечительности, гдѣ все зависѣло отъ ангельскаго терпѣнія; и три царствованія она была только *министромъ благотворительности*.

У насъ много частей въ государственномъ управленіи, разными лицами, въ разные эпохи, доведено до видимаго совершенства. Но исключительно одну назвать можно законченною. Въ ней все должно сохраниться въ томъ видѣ, въ какомъ оставила ее императрица Марія. Устройство заведеній для образованія женскаго пола ни въ чемъ не требуетъ улучшенія. Поверхностные только судьи, не входящіе во всѣ подробности этого дѣла, не умѣющіе объять его со всѣхъ сторонъ, могутъ оставаться при своемъ сомнѣніи. Молодая особа, вышедшая изъ какого нибудь института, состоящаго въ вѣдѣніи государыни императрицы, въ полномъ смыслѣ снабжена уже всѣмъ, чего потребуетъ будущая жизнь ея. Знатная и богатая украситъ кругъ свой; бѣдная обезпечитъ себя, или принесетъ помощь въ семейство родителей; одаренная талантами, смотря по своему состоянію, развила ихъ или для блеска, или для приобрѣтенія житейскихъ выгодъ; не получившая отъ природы отличныхъ способностей обучена всѣмъ рукодѣліямъ, необходимымъ для женщины. Однимъ словомъ: возраженія исчезаютъ, когда сообразишь безчисленное множество поступающихъ въ заведенія сіи, безконечную разность въ состояніяхъ и способностяхъ этихъ лицъ и равенство ихъ правъ на одинаковое воспитаніе, возможность способовъ, опредѣляемыхъ для содержанія заведеній, и наконецъ общій выводъ изъ этого многосложнаго дѣлопроизводства. Юношество, воспитывающееся въ другихъ заведеніяхъ, получаетъ хорошія начала, но при поступленіи въ свѣтъ часто не находитъ въ своихъ познаніяхъ самаго необходимаго. Только счастливыя обстоятельства или особенное вниманіе къ положенію своему ускоряютъ его надлежащее совершенствованіе. Въ одномъ мѣстѣ недостаетъ разнообразія свѣдѣній, въ другомъ основательности, въ третьемъ удобопримѣняемости. Здѣсь все возможное предупреждено. Полный объемъ пред-

метовъ не въ противорѣчіи съ бережливостію времени; теорія не препятствуетъ изученію практическому; удаленіе отъ свѣта не закрываетъ жизни. Одно и то же лицо, наканунѣ видѣнное въ пріютѣ воспитанія, плѣнительное простосердечіемъ своимъ и дѣтскою заботливостію, на другой день является въ блистательномъ кругу двора, или частнаго многолюднаго общества, или мирнаго семейства; вездѣ оно изумляетъ васъ благородствомъ, пристойностію и непринужденностію. Воспитаніе такого достоинства здѣсь только и видишь.

Покойная императрица, возложивъ на себя многотрудныя обязанности, съ благоговѣніемъ исполняла долгъ свой. Въ продолженіе всей жизни ея ни одно обстоятельство не заставило ее уклониться отъ постоянной дѣятельности, или ослабить ея стремленіе. Переходя постепенно отъ одного улучшенія къ другому, расширяя кругъ благотвореній, годъ отъ году мужая, такъ сказать, въ опытахъ, она достигнула наконецъ до этой мудрости въ начинаніяхъ своихъ, которая возвела ея учрежденія на высшую степень совершенства. Сіи памятники прекрасной души ея носятъ одинъ характеръ простоты и величія: надобно только вступить въ эти заведенія, чтобы вы поняли присутствіе мысли царственной и спокойной. Все идетъ свободно и вѣрно, какъ въ природѣ. Обозрѣвая ихъ, невольно чувствуешь себя перенесеннымъ въ отдѣльный міръ, въ которомъ и малѣйшая часть сохраняетъ всѣ признаки цѣлаго: такъ они организованы стройно и своеобразно. Но чтобы достигнуть до этой окончательности, надобно было создательницѣ самой каждую пружину поставить на ея мѣсто, внимательно и долго наблюдать вообще движеніе, и все предусмотрѣть въ будущемъ.

Внѣшнее устройство ничего еще не значить въ сравненіи съ нравственною жизнію, которая господствуетъ въ сихъ учрежденіяхъ. Императрица постигнула величайшую тайну, какъ властвовать сердцами подчиненныхъ своихъ. Въ духѣ истинно христіанскомъ она образовала царство любви, которая въ каждомъ сердцѣ составляла одно главное побужденіе. Другими средствами не

возможно было и дѣйствовать успѣшно на избранномъ ею поприщѣ. Для физическихъ занятій легко придумать все: и правила, какъ устроить ихъ, и формы, какъ ихъ повѣрять. Надъ душою нѣтъ власти, кромѣ силы душевной. Въ этомъ убѣжденіи императрица всякое лицо, вступавшее въ область попечительности ея, признавала равно достойнымъ своего вниманія. Подъ своимъ начальствомъ, на всѣхъ степеняхъ, она желала видѣть такихъ людей, которыхъ дѣятельность была бы лучшемъ ея центральной дѣятельности. Она нисходила къ каждому изъ нихъ и освящала его сердце тою любовію, которая все одушевляла въ кругу ея благотворительности. Она изучила человѣка во всѣхъ его возрастахъ, подъ вліяніемъ всякой страсти, во всякомъ состояніи, во всѣхъ отношеніяхъ: не было примѣра, чтобы кто-нибудь изъ подчиненныхъ ея не предался всей ревности къ исполненію долга, къ какой только онъ способенъ былъ по душѣ своей. Въ ея сферѣ должность и счастье значили одно и то же. Пусть сообразятъ, какая внимательность со стороны особы, столь высоко поставленной Провидѣніемъ, потребна была къ самымъ мелкимъ обстоятельствамъ частныхъ людей, чтобы никогда и нигдѣ не измѣнить симъ правиламъ. Если бы возможно было собрать въ одно цѣлое разнообразныя черты умиленно-трогательной ея попечительности о каждомъ лицѣ, которое состояло въ какомъ-нибудь къ ней отношеніи, эта картина человѣколюбія, благодати и мудрости была бы орошаема сладкими слезами всего человѣчества.

Оттого превосходство ея заведеній состоитъ не въ строжайшемъ исполненіи формъ сравнительно съ другими, но въ духѣ дѣятельности. Каждое изъ нихъ, какъ благословенное семейство, цвѣтетъ внутреннимъ счастьемъ: всѣ въ немъ единодушно стремятся къ общей цѣли, любятъ свой долгъ и не могутъ не уважать другъ друга: они уравнены вниманіемъ, оживлены признательностію; имъ неизвѣстны никакія побудительныя мѣры, кромѣ тѣхъ, которыя умѣетъ избирать одна чистѣйшая любовь. Надобно возвыситься до ея самоотверженія, надобно, подобно ей, одну святую добродѣтель поставить закономъ для всѣхъ дѣйствій сво-

ихъ, чтобы столько тысячъ людей сосредоточить на одномъ нравственномъ чувствѣ и убѣдить ихъ въ его превосходствѣ предъ всѣми другими побужденіями. Легко удовлетворить требованіямъ формы. Если этимъ масштабомъ измѣрять будемъ совершенство, сколько найдемъ процвѣтающихъ учреждений!

Между тѣмъ и самое исполненіе условій, порядка, отчетливости, исправности, этихъ отрицательныхъ достоинствъ, конечно нигдѣ такъ не свято, какъ въ заведеніяхъ императрицы Маріи, потому что и въ семъ отношеніи она лично убѣдительноѣйшій подавала примѣръ своимъ подчиненнымъ. Кто былъ внимательнѣе и разборчивѣе ея при голосѣ законности? И можно ли было, при быстромъ и непрерывномъ движеніи всѣхъ частей обширнаго управленія, при безконечномъ приливѣ разнообразѣйшихъ дѣлъ, не подчинить себя строжайшимъ формамъ и не распределить каждаго своего мгновенія? Невзмѣнно-правильный ходъ всѣхъ ея занятій незамѣтно сообщался каждому лицу, вступавшему въ тотъ кругъ, гдѣ она дѣйствовала. Малѣйшее отступленіе отъ господствующаго повсюду порядка, затруднило бы положеніе общее и частное. Но въ этомъ явленіи строгой соотвѣтственности механическая сторона служила только выраженіемъ гармоніи внутренней, духовной. Такой порядокъ не представляетъ усилія, не прикрываетъ бездушія, а доказываетъ естественное счастливое состояніе. Онъ дѣлается нашею потребностію, когда участвуетъ въ немъ сердце.

Наблюдая издали послѣдовательность всѣхъ дѣяній императрицы Маріи, неизмѣнность ея началъ, равенство усилій, полноту и жаръ чувствованій, съ которыми производилось ею все благое, словомъ: созерцая внѣшнюю жизнь ея, кто не подумаетъ, что конечно судьба здѣсь на землѣ предохранила это сердце отъ всѣхъ потрясеній, ни въ чемъ не разочаровала, не познакомила его съ тяжелыми утратами и не допустила лечь ни одной тѣни на свѣтло-безмятежныя его думы. Но мы, ея современники, ея дѣти, мы были свидѣтелями, какія испытанія низпосылались ей и какъ матери и какъ царицѣ! Чѣмъ же побѣдила она все житейское?

Что сохранило ее неизмѣнною для блага нашего? Вѣра и вѣрность долгу. Ея жизнь есть торжество христіанства и вѣнецъ человѣчества. На высотѣ престоловъ и въ затворахъ келлій пусть сыщутъ другое существо, которое бы, въ продолженіе семидесятилѣтней своей борьбы съ жизнію, съ искушеніями счастья и бѣдствія, ни единожды не нарушила обѣта, произнесеннаго предъ Богомъ и совѣстію! Ни слава, ни суета, никакія страсти не взволновали теченія дней ея, которые незапно прекратила только жаркая любовь къ Отечеству.

Событіе безпримѣрное! Передъ ея гробницею слились всѣ голоса. Въ эту неизобразимо-горестную эпоху вся Россія одно чувствовала, и цѣлый міръ одно съ нею мыслилъ. Минута примирила всѣ партіи. Забыты всѣ отношенія. Земное простерлось во прахъ передъ Небеснымъ.

ИСТОРІЯ ПОЭЗІИ, СОЧИНЕНІЕ ШЕВЫРЕВА ¹⁾.

1837.

Сочиненіе г. Шевырева есть начало большого труда. Онъ предпринялъ начертать исторію поэзіи новыхъ европейскихъ народовъ. Но такъ какъ поэзія всѣхъ вѣковъ есть одно цѣлое, выказывающееся по частямъ, которыя соединяются общою идеею человѣчества; то онъ по необходимости долженъ былъ составить очерки явленій поэзіи, предшествовавшихъ избранному имъ предмету. Этому обстоятельству мы обязаны первымъ томомъ его сочиненія, и по этому же обстоятельству еще надѣемся получить нѣсколько томовъ, которыми онъ введетъ своихъ читателей въ главное свое твореніе. Мысль обработать по такому плану одинъ изъ самыхъ трудныхъ и самыхъ важныхъ предметовъ исторіи человѣчества показываетъ уже достоинство предпріятія.

¹⁾ Напечатано въ отчетѣ Академіи Наукъ о шестомъ присужденіи Демидовскихъ премій.

Въ нашей литературѣ это совершенно новое явленіе. До сихъ поръ у насъ разбираемы были только части обширнаго сего предмета, или приготовлялись для него сухіе матеріалы. Во Франціи, а еще болѣе въ Германіи, общая исторія литературы нѣсколько разъ подвергалась изслѣдованіямъ съ разныхъ точекъ. Г. Шевыревъ пользовался трудами иностранцевъ, но такъ, какъ обязанъ ученый литераторъ. Онъ не увлекается исключительно чьею нибудь системою: разбираетъ замѣчательнѣйшія изъ нихъ; принимаетъ то, что согласно съ его господствующею идеей, и говоритъ объ ошибкахъ основательно. Такъ онъ разсматриваетъ Фрид. Шлегеля, Вильмена, Аста, Вендта, Вахлера, систему нигилистовъ и матеріалистовъ (какъ ихъ назвалъ Жанъ-Поль-Рихтеръ). По этому начертанію книги его не есть ни подражаніе, ни извлеченіе, но произведеніе самобытное, какъ всякая прагматическая исторія, которой предметы авторъ обнялъ своею душою и составилъ изъ нихъ стройное, органическое цѣлое.

Въ исторіи поэзіи, когда излагаютъ ее философически, то есть, когда относятъ явленія къ извѣстнымъ началамъ, самый затруднительный представляется вопросъ: гдѣ преимущественно заключаются элементы поэзіи—въ индивидуальности ли поэта, въ окружающей ли его внѣшней природѣ, или въ гражданственности его отечества? До сихъ поръ мнѣнія дѣлились между сими тремя источниками. Г. Шевыревъ, доказывая положенія свои фактами, привелъ важнѣйшія обстоятельства изъ жизни поэтовъ - представителей, и далъ почувствовать односторонность сихъ мнѣній. Вотъ его собственныя слова: «Жизнь, природа даютъ богатое вещество поэту; но идея художественная, идея безсмертная есть собственность безсмертной души его. Безконечная душа поэта принимаетъ въ себя жизнь и природу, несущія къ нему всѣ свои сокровища, всѣ временныя дары свои: онъ силою мысли творческой претворяетъ ихъ въ стройныя и вѣчныя созданія; ибо онъ одинъ посвященъ въ тайны гармоніи жизни и слышитъ ее чуткимъ слухомъ. Онъ одинъ изъ смертныхъ существъ способенъ въ востройную массу, въ мертвое вещество, вдохнуть мысль,

душу живу». Изложивъ подробно, какимъ образомъ жизнь чело-вѣчества съ одной стороны, а фантазія народа и поэта съ другой дѣйствовали въ исторіи поэзіи и участвовали въ произведеніяхъ поэтическихъ, онъ приготовилъ для критическихъ своихъ изслѣдованій опоры неизмѣнныя и доказательства убѣдительныя. Онъ предохра-нилъ себя отъ затруднительнаго положенія критиковъ, которые, принявъ за основаніе какое-нибудь одностороннее начало, прину-ждены бываютъ изъяснять имъ ложно самыя разнообразныя явле-нія. Въ продолженіе одного періода, въ одной націи, сколько раз-нородныхъ бываетъ произведеній поэзіи по духу, чувствамъ, крас-камъ и выраженію! Разлагая всѣ ихъ особенности между на-правленіемъ общественной жизни и частностями поэта, между природою физическою и духовною, легко отыскать причину каж-дой идеи. Изученіе литературы, столь многообъятное и свѣтлое, обогащаетъ умъ самыми назидательными результатами.

Распределеніе частей въ наукѣ обширной и образовавшейся изъ разнохарактерныхъ предметовъ столько же важно, какъ со-зданіе идеи ея и какъ раскрытіе главныхъ ея источниковъ. Ни число частей, ни мѣсто ихъ, ни границы, ни взаимная связь меж-ду ними, ничто не должно быть произвольно и подвергаться ча-стымъ перемѣнамъ. Въ семъ отношеніи г. Шевыревъ руковод-ствовался Вендтомъ, который самъ послѣдовалъ знаменитому Ге-гелю въ его раздѣленіи исторіи чело-вѣчества, представляющей три главныхъ періода: азіатскій, древне-европейскій и ново-ев-ропейскій. Но такъ какъ въ жизни каждаго изъ сихъ обширныхъ трехъ отдѣловъ не могло послѣдовать мгновеннаго уничтоженія всей умственной дѣятельности, и вліяніе духа часто переживало политическую самобытность; то нашъ авторъ къ общему раздѣ-ленію прибавляетъ исчисленіе этнографическое въ томъ порядкѣ, какъ народы слѣдовали одинъ за другимъ. Онъ и здѣсь не жерт-вуетъ системѣ историческою истиной. Когда древній Востокъ утра-тилъ первобытное значеніе въ исторіи поэзіи, другіе, позднѣйшіе народы Востока произвели свое вліяніе на ново-европейскій пері-одъ; тоже дѣйствіе усматриваетъ историкъ и со стороны древне-

европейскихъ образованныхъ народовъ. Общими границами онъ не разрываетъ частныхъ соединеній и такимъ образомъ не оставливаетъ движеній поэзій.

Въ разсматриваемой нами книгѣ авторъ изложилъ только первый періодъ исторіи, слѣдуя раздѣленію, о которомъ мы говорили. Естественно, что его изслѣдованіямъ должны были подвергнуться тѣ литературы, которыя существуютъ не въ предположеніяхъ, не въ возможности, а на самомъ дѣлѣ. Онъ изложилъ исторію поэзій Индѣйцевъ и Евреевъ. Для критики важны памятники. И у другихъ народовъ древняго Востока могла быть поэзія, но объ ней можно говорить только гадательно, по наведенію. Неоспоримо, что лучшее изученіе какой-нибудь литературы начинается изученіемъ ея языка. Критикъ основывая сужденія свои на разсматриваніи подлинныхъ памятниковъ, внушаетъ всегда болѣе довѣренности, нежели въ то время, когда принужденъ руководствоваться трудами другихъ. Между тѣмъ самое основательное изученіе языка не даетъ, какъ тысячи опытовъ доказываютъ, другихъ важнѣйшихъ качествъ, необходимыхъ для составленія исторіи литературы, и самое глубокое языкознаніе не замѣняетъ этой особенной тонкости ума и нѣжности эстетическаго чувства, безъ которыхъ критика есть жалкое словопреніе. Разсматривая сочиненіе г. Шевырева, какъ результатъ долговременнаго и внимательнаго чтенія разныхъ иностранныхъ критиковъ, которые судили объ индѣйской и еврейской поэзій по ея оригиналамъ, съ удовольствіемъ замѣчаешь два обстоятельства, ему благопріятствовавшія. Во-первыхъ, нашъ критикъ съ ученостію своею соединяетъ дарованія отличнаго литератора. Въ твореніяхъ великихъ людей доступны ему не сухія идеи, не обработанныя фразы, не слова съ ихъ этимологіею и синтаксисомъ, но самый духъ писателей, но присутствіе въ нихъ всего, что природа, люди и собственныя ихъ ощущенія внесли въ книги ихъ, эти безсмертные памятники всего преходящаго. Разсуждая, онъ чувствуетъ; рассказывая, онъ одушевляется. Его разборы останутся въ литературѣ нашей примѣрами вкуса и слога. Другое обсто-

ательство есть слѣдствіе перваго. Во множествѣ ученыхъ изслѣдователей индѣйской и еврейской литературы, особенно появившихся въ позднѣйшее время, онъ умѣлъ отличить тѣхъ, которые проникнули надлежащимъ образомъ въ таинства древняго Востока и сквозь покровъ слова прочитали душу народовъ, столь замѣчательныхъ въ исторіи человѣчества. Г. Шевыревъ literalнымъ изслѣдованіемъ новѣйшихъ критиковъ предпочелъ глубокіе философическіе взгляды Гердера и Герена, этихъ самостоятельныхъ свѣтилъ исторіи человѣческаго рода. Пользуясь ихъ руководствомъ, онъ нигдѣ не впадаетъ въ мелочи, не утомляетъ читателя пустыми тонкостями, неизбѣжными въ сухой филологіи, но ничего не доказывающими въ эстетикѣ. Онъ каждый періодъ поэзіи какого-нибудь народа извлекаетъ изъ главнаго его начала, окружаетъ его полнымъ свѣтомъ, оживляетъ его физиогномію, и опредѣливъ отношеніе частей къ цѣлому, восстанавливаетъ жизнь, никогда не проходящую передъ нами безъ плодотворныхъ истинъ.

Въ сочиненіяхъ, посвящаемыхъ критикѣ, господствовалъ большею частію холодный дидактическій тонъ. Это было слѣдствіемъ стариннаго предрасудка, будто умъ не совмѣстенъ съ одушевленіемъ. Новѣйшіе слѣдовали примѣру древнихъ. Систематическій, но слишкомъ школьный Квинтиліанъ, и остроумный, но односторонній Лонгинъ, служили для многихъ образцами въ дѣлѣ критики. Между тѣмъ кто не согласится, что самый спокойный умъ, если онъ разсматриваетъ предметъ прекрасный съ надлежащей точки зрѣнія и вполне постигаетъ его совершенства, этотъ умъ становится въ своей отчетливости выразительнымъ, даже рѣзкимъ, а въ своей обьятности обширнымъ и увлекательнымъ. Въ концѣ прошедшаго столѣтія видѣли уже во Франціи, какъ блестящее краснорѣчіе лилось изъ устъ критика, котораго взгляды къ сожалѣнію не обращались вокругъ предмета и не искали на немъ напечатлѣній внѣшнихъ, столь разнородныхъ и столь глубокихъ. По крайней мѣрѣ Лагарпъ доказалъ, что убѣдительность совмѣстна не съ однимъ ораторскимъ родомъ сочиненій: она есть слѣдствіе полнаго участія души въ излагаемыхъ истинахъ; она одна

прямо къ цѣли ведетъ писателя. Съ этой стороны, разсматривая сочиненіе г. Шевырева, нельзя не приписать ему особенной важности. Опытный и трудолюбивый литераторъ, можетъ быть, успѣетъ то же придумать, что выполнилъ г. Шевыревъ въ отношеніи къ тѣмъ предметамъ, которые мы до сихъ поръ разсматривали въ его книгѣ. Но труднѣйшее дѣло, существенное, то, что составляетъ достояніе истиннаго таланта, искусство изложенія, увѣнчиваетъ трудъ его блестящимъ образомъ. Чтобы доказать, какъ живо чувствуетъ онъ явленіе возникающихъ въ душѣ его идей, съ какою полнотою онъ вноситъ ихъ въ душу своихъ читателей, мы избираемъ единственно-вѣрное средство: помѣщаемъ въ оригиналѣ развитіе идеи его. Здѣсь говорится объ Италіи. Авторъ въ ея литературѣ находитъ преобладаніе *религіозной и художественной* стороны. Вотъ какъ онъ излагаетъ свое мнѣніе о послѣдней:

«Въ Италіи хранились остатки отъ *полмертвой роскоши* древняго міра, остатки отъ этого пира пресыщенной чувственности, пира, украшеннаго всѣми прелестями древней художественной жизни. Древность, кончивъ свое бытіе и погребши во тмѣ вѣковъ всѣ ужасы, запечатлѣвшіе особенно послѣдніе вѣка ея кончины, древность отошла въ благопріятное для себя отдаленіе и явилась какимъ-то очаровательнымъ, чуднымъ призракомъ, безъ крови на себѣ, безъ яркаго слѣда чувственныхъ страстей своихъ, въ однихъ изящныхъ, дивно-высокихъ очертаніяхъ. Всѣ эти оцѣмѣвшіе мраморные храмы съ чудесными колоннами и фризами; всѣ эти мраморные боги, обличенные во лжи истинною вѣрою; всѣ эти форумы, безгласные скелеты жизни, когда-то гремѣвшей; всѣ лики мужей, обоготворенныхъ народомъ; эта громада Колоссея, сложенная по легкимъ очертаніямъ изящнаго циркуля; этотъ Пантеонъ, апофеоза всего древняго міра; всѣ эти мраморы, гробницы, обелиски, колонны, статуи, водопроводы, — наконецъ это слово роскошное, это слово, крѣпкое какъ мраморъ и обработанное рѣзцами столькихъ геніальныхъ поэтовъ: всѣ эти сокровища древняго міра, хранившіяся въ Италіи, не говорили ни сколько

чувству религиозному, чувству совершенно новому, христианскому, небесному; но говорили другому чувству, чувству болѣе земному, но сладчайшему изъ всѣхъ земныхъ чувствъ, чувству прекраснаго, и вызывали его на поприще творчества, на жизнь дѣятельную. Вмѣстѣ съ этимъ чувствомъ прекраснаго древность внушала новому народу Италіи и чувство патріотическое, національное, чувство жизни. Всѣ эти сокровища ея были стяжаніемъ ея высокихъ, славныхъ, дѣятельныхъ предковъ; на изящныхъ памятникахъ отпечатлѣвалась и блистательная жизнь ихъ, богатая подвигами, и это небо всегда равно прекрасное, и эта почва обильная мраморомъ, и эти очертанія изящной природы. Чувство прекраснаго и чувство національнаго, вызванныя долгимъ наблюдениемъ наслѣдія древности и слившіяся вмѣстѣ, захотѣли дѣйствовать, обратиться въ силу, возвратить, оживить эту мертвую древность во всемъ ея великолѣпіи. Но какое же было къ этому средство? Какимъ образомъ возможно было это возвращеніе? Жизнь одна и та же никогда не повторяется въ исторіи человечества, всегда новой, бесконечно разнообразной по тайному закону Провидѣнія. Италія часто покушалась возобновить древность въ своей жизни дѣйствительной; но ея усилія всегда оставались безуспѣшны. Трупъ Коло ди Ріэнци, этого антикварія и народнаго трибуна въ XIV вѣкѣ, трепъ, истерзаный народомъ у лѣстницы Капитолія, свидѣтельствовалъ безплодность сихъ покушеній въ среднемъ вѣкѣ. Буйныя вакханаліи Рима въ концѣ прошлаго столѣтія свидѣтельствовали то же самое. Міръ дѣйствительный Италія не принималъ въ себя древней жизни: итакъ это возобновленіе древности могло только совершиться въ мірѣ идеальномъ. Когда человѣкъ, питающій въ себѣ какую-нибудь мысль, не въ силахъ привести ее въ дѣйствіе, онъ даетъ ей форму искусственную, пишетъ романъ, трагедію, поэму, и несбыточное въ жизни олицетворяетъ въ мірѣ фантазіи. Такова была Италія. Стремленіе возсоздать міръ древній нашло на истинный путь въ мірѣ художественномъ. Римская древность, плодъ дѣятельныхъ сыновъ Лаціума, образовала въ новомъ народѣ италіянскомъ художника.

Чувство прекраснаго и національнаго, воспитанныя ею въ семь народѣ, образовали въ немъ силу *художественную*.

Для полноты обозрѣнія рассматриваемой нами книги остается предложить весь ея составъ въ томъ порядкѣ, какой принятъ авторомъ. Мы уже сказали выше, что вся идея этого сочиненія возникла отъ намѣренія написать исторію литературы, и особенно поэзіи, новыхъ западно-европейскихъ народовъ. Въ слѣдствіе сего авторъ начинаетъ развитіемъ характеристики ихъ поэзіи. Этому онъ посвящаетъ первыя свои два чтенія. Онъ ставитъ своихъ читателей на ту точку, съ которой можно будетъ яснѣе видѣть разнородныя явленія, впереди ожидающія ихъ. Послѣ необходимаго сего введенія, онъ переходитъ къ рассматриванію разныхъ мнѣній о поэзіи, достойныхъ любознательности читателей, чѣмъ занимаетъ ихъ въ продолженіе третьяго и четвертаго чтенія. Согласившись въ главныхъ понятіяхъ о своемъ предметѣ и указавъ путь, по которому имъ надобно будетъ идти, онъ начинаетъ разбирать произведенія поэзіи индѣйской. Онъ останавливается на ней въ пятомъ и шестомъ своемъ чтеніи. Съ седьмого и до одиннадцатаго включительно помѣщены разборы произведеній поэзіи еврейской. Естественно, что ею онъ былъ обязанъ заняться подробнѣе, во-первыхъ по ея внутреннему достоинству, которое не позволяетъ ее ставить ни въ какое сравненіе съ другими литературами, во-вторыхъ по ея сильному вліянію на всѣ христіанскія литературы, и наконецъ по ея особенному отношенію ко всѣмъ отраслямъ русской литературы въ древней и средней исторіи нашего отечества.

Таковы достоинства книги г. Шевырева. Она по всѣмъ правамъ занимаетъ первое мѣсто въ своемъ родѣ между произведеніями современной литературы нашей, и отличное между произведеніями литературы иностранной.

Въ положеніи о наградахъ, учрежденныхъ 17 апрѣля 1831 года камергеромъ П. Н. Демидовымъ между прочимъ сказано:

VII. Къ состязанію приемятся:

1) Оригинальныя творенія о всѣхъ отрасляхъ человѣческихъ познаній.

2) Сочиненія о теоріи изящныхъ искусствъ и словесности.

3) Учебныя книги, излагающія полную систему какой-либо науки и могущія стать на ряду съ лучшими сочиненіями сего рода не только въ Россіи, но и въ чужихъ краяхъ.

XIII. Награда можетъ быть опредѣляема при появленіи въ свѣтъ одного какого-либо тома сочиненія, долженствующаго состоять изъ многихъ частей.

По соображеніи сихъ правилъ съ достоинствами книги г. Шевырева, я нахожу, что она заслуживаетъ по всей справедливости полную награду.

РУКОВОДСТВО КЪ ИСТОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ, СОЧИНЕНИЕ Л. ВАХЛЕРА.

Переводъ съ вѣмецкаго. Ч. I. Тетради 1 и 2 (8) 1836. ¹⁾

1837.

Нельзя говорить безъ особеннаго уваженія о книгѣ, въ которой васъ поражаетъ и обширность главной идеи автора, и придуманныя имъ прекрасныя средства къ ея развитію, и изумительное богатство матеріаловъ, которые онъ представляетъ читателю въ своемъ твореніи. «Исторія литературы (говоритъ авторъ) представляетъ во взаимной связи вѣрные факты, объясняющіе раскрытіе и образованіе умственныхъ силъ человѣка на пути науки и искусства» (стр. 1). Съ этой высоты обнимаетъ онъ свой предметъ повсеместно, гдѣ только найдены слѣды его изысканіями ученыхъ. Съ какою жадностію и съ какимъ наслажденіемъ послѣдуетъ за нимъ читатель въ этомъ, повидимому, нескончае-

¹⁾ Изъ *Литературныхъ Прибавленій къ Русскому Инвалиду* на 1837 годъ 30 января, № 5.

момъ пути! Нѣмецкія только пособія, неистощимыя, разностороннія, упрощенныя и вседоступныя, могутъ родить смѣлость въ человѣкѣ, чтобы онъ возлелѣялъ въ душѣ своей одну мысль подобнаго подвига. Прежде, нежели начнете изученіе труда, вы съ невольнымъ любопытствомъ будете перелистывать книгу, чтобы увѣриться, не мистифируетъ ли васъ авторъ. И чтоже? Передъ вами главная его идея развивается логически, равномерно, въ полнотѣ, спокойно связывая одно столѣтіе съ другимъ. Между основными положеніями (тезисами) автора, по которымъ умъ вашъ восходитъ выше и выше, какъ по ступенямъ прекрасно устроеннымъ, вы встрѣчаете безпрестанно указанія на сочинителей и книги — библіотеку народовъ древнихъ временъ, среднихъ и новыхъ, всѣхъ земель и всѣхъ языковъ.

Сочиненіе Вахлера обнимаетъ 15-ть столѣтій прежде Р. Х. и 18-ть послѣ, сверхъ отдѣленія, названнаго имъ *Времена неизвѣстныя*. Авторъ избралъ этнографическій порядокъ повѣствованія, раздѣливши всю исторію на 7 періодовъ. Три главные предмета разсматриваетъ онъ въ каждомъ народѣ: а) изъ чего образовалась его гражданственность; б) что зависѣло въ націи отъ мѣстности и вообще отъ физической природы; наконецъ в) излагаетъ въ систематическомъ порядкѣ исторію наукъ, лицъ ученыхъ и ихъ твореній. Всѣ науки заключены у него въ трехъ главныхъ объемахъ. «Система (говоритъ онъ) должна имѣть сколько возможно болѣе единства, и должна быть построена на основаніи внутренней и исторической связи. Попыткою въ такомъ родѣ можетъ быть слѣд. I. *Религія*: а) богословіе, б) философія и искусство; в) естествознаніе, астрономія, географія, математика. II. *Права и Коммер. Науки*: а) правовѣдѣніе и законовѣдѣніе, б) наука правленія, в) промышленность, г) взглядъ на прошедшее — исторія, языкознаніе, литература, д) земледѣіе, военное искусство. III. *Медицинскія Науки*» (стр. 44). Для книги, въ которой должно быть соединено столько предметовъ, измѣнявшихся по вѣкамъ, мѣсту и націямъ, этотъ планъ тѣмъ болѣе удовлетворителенъ, что онъ простъ, не стѣсняетъ автора, ведетъ читателя параллельно

съ общею исторією человѣчества и обогащаетъ умъ выводами изъ положительныхъ истинъ, а не мечтательныхъ. Исполненіе сего плана могло представить большія затрудненія сочинителю въ I періодъ его исторіи, что называлъ онъ *Времена неизвѣстныхъ*, гдѣ по необходимости многое заимствуется изъ предположеній. Онъ доводитъ этотъ періодъ до 1500 г. — Чтобы познакомить читателей нашихъ съ методою развитія главныхъ идей, мы приведемъ здѣсь нѣкоторыя мѣста изъ I періода. Положенія автора касаются: а) до первыхъ изобрѣтеній и различныхъ опытовъ людей, б) до изобрѣтенія способа чувственно выражать сознаніе, в) до письменнаго искусства. Четвертое положеніе есть слѣдующее: «Наблюденіе и опытъ приводятъ насъ къ той мысли, что умственное образованіе человѣчества началось освобожденіемъ его отъ животнo-самолубивой ограниченности, посредствомъ сознанія зависимости отъ высшихъ силъ, или посредствомъ чувства религіознаго, которое постоянно развивалось и оживлялось. Въ началѣ это образованіе могло найти себѣ безсвязное выраженіе только въ символахъ. Первые отрасли познаній и умственной опытности могли появиться въ своемъ основаніи тогда, когда могущество религіознаго чувства, побуждавшее къ знанію и мысленію, возвысилось на степень князей небольшихъ обществъ, состоявшихъ изъ нѣсколькихъ семействъ, благочестивыхъ мудрецовъ и пророковъ, долгое время бывшихъ жрецами и предававшихся продолжительнымъ, одинокимъ занятіямъ. Вліяніе природы, обстоятельствъ и различныхъ отношеній сообщало имъ разнородныя свойства. Прежде всего міръ животныхъ и растений сдѣлался предметомъ наблюденій; нѣсколько позже обратили на себя вниманіе человѣка сводъ небесный, и блестящій, великолѣпный міръ звѣздный. Искусственный навыкъ въ трудахъ, предпринятыхъ для достяженія безопасности и удобствъ жизни, проложилъ путь понятіямъ математическимъ; самое движеніе жизни общественной требовало наблюденій и опытовъ, которыхъ нельзя ни перечислить, ни подвести подъ одинъ общій, основный законъ» (стр. 53). Въ пятомъ положеніи находятся мысли о мѣстѣ, гдѣ первоначально стало развиваться религіозно-общест-

венное образованіе, и наконецъ въ шестомъ объ умственно-литературныхъ остаткахъ первыхъ временъ. Его система ничего не разрываетъ въ дѣйствительномъ мірѣ, не разбрасываетъ связаннаго порядкомъ явленій; она не изумляетъ ни новостію, ни искусственною отчетливостію; за то не можетъ подвергнуться и произвольному измѣненію, что ежедневно случается съ самыми остроумными, съ самыми высокими взглядами. — Во второмъ періодѣ, доведенномъ до 336 года передъ Р. Х., всѣ положенія автора превращаются уже въ рассказъ чисто-историческій. Но ему такъ легко поддерживать свою систему, что онъ въ самой классификаціи наукъ и искусствъ, возникнувшихъ у разныхъ народовъ, указываетъ только на необходимость разъединенія одного начальнаго умственнаго образованія, т. е. религіознаго. «Такъ какъ все умственное образованіе началось съ религіознаго и долгое время было исключительнымъ достояніемъ касты жрецовъ, то оно, въ продолженіе цѣлыхъ тысячелѣтій, сохранило въ себѣ неизгладимый характеръ, обличавшій его происхожденіе и развитіе. Всѣ частныя проявленія умственной дѣятельности, происшедшія изъ одного источника, были тѣсно связаны и соединены между собою. Единство это ослабѣло нѣсколько тогда, когда умъ человѣческій, вышедъ изъ обыкновеннаго круга, началъ подвигаться впередъ съ нѣкоторою смѣлостію, и сталъ оказывать нѣкоторымъ частнымъ предметамъ особенное предпочтеніе, какъ бы чувствуя особенное ихъ сродство съ собою. Такъ, при постепенныхъ успѣхахъ общественной жизни, отдѣлились идеальное и реальное, теорія и практика, умозрѣніе и опытъ; такъ раздѣлились мало по малу поэзія, философія, краснорѣчіе и исторія, хотя въ самомъ раздѣленіи нельзя не замѣтить слѣдовъ той внутренней связи, въ которой находились онѣ прежде, нежели стали существовать отдѣльно» (стран. 60).

Самыя замѣчательныя части рассматриваемой нами книги находятся въ характеристикѣ писателей. Здѣсь все поучительно и доведено до совершенства: во взглядѣ вѣрность и оригинальность, въ мысляхъ истина и убѣдительность, въ слогѣ сжатость

и сила, въ библіографіи полнота, въ указаніяхъ источниковъ знаніе и вкусъ. Во второмъ періодѣ, исчисляя греческихъ комиковъ, авторъ доходитъ до Аристофана и его произведеній. Онъ говоритъ: «Въ полномъ видѣ, хотя нѣсколько передѣланныя позже Араромъ, Филетеромъ и Никостратомъ, дошли до насъ только 11 изъ 54 комедій аттического гражданина Аристофана. Прежде всѣхъ изъ нихъ (Ол. 88. 3) были представлены «Ахорнійцы», а послѣ всѣхъ «Плутосъ» (Ол. 94. 4). Необыкновенно-обильнымъ остроуміемъ, неистощимою веселостію, до совершенства прекраснымъ выраженіемъ Аристофанъ блеститъ, какъ звѣзда первой величины, на художественномъ небосклонѣ классической древности. Онъ умѣлъ пользоваться всѣми діалектами, создавалъ новыя слова, съ легкостью игралъ ими, и такимъ образомъ показавъ все богатство, великолѣпіе и пріятность своего языка; въ метрическомъ искусствѣ его никто не могъ превзойти. Если онъ не только преслѣдовалъ своею насмѣшкою людей порочныхъ и негодныхъ, демагоговъ, софистовъ, ложныхъ патріотовъ, но иногда въ своей шутливости выходилъ изъ всѣхъ предѣловъ веселости, и даже оскорблялъ своимъ остроуміемъ нравственное приличіе: то въ этомъ можетъ его оправдывать только духъ времени и народа, требовавшій весьма часто какъ бы пластическаго представленія, и живая иронія. Комедіи его могутъ считаться образцовыми въ своемъ родѣ картинами, имѣющими политическій, историческій и статистическій интересъ; всѣ онѣ, исключая можетъ-быть «Плутоса», принадлежатъ къ древней комедіи» (стр. 133). Вслѣдъ за симъ вы находите указанія на 15 лучшихъ изданій, какія только были у разныхъ образованныхъ народовъ; наконецъ тутъ же онъ приводитъ до 20 разныхъ писателей, которые могутъ васъ руководствовать въ изученіи сего предмета. Подобнымъ образомъ обработано каждое изъ его положеній.

До сихъ поръ, что ни говорили мы о книгѣ Вахлера, все основано было на внутреннемъ качествѣ его сочиненія. Намъ представлялось безчисленное множество полезныхъ результатовъ, которые должны произойти отъ такой книги. Она для разныхъ

читателей въ разныхъ отношеніяхъ непременно будетъ поучительна. Главное, что она есть произведеніе сознательное, въ которомъ какъ цѣлое, такъ и части образовались по одной живой мысли. Гдѣ остался теплый слѣдъ самочувствующаго художника, тамъ есть жизнь, слѣдственно истина, а слѣдственно и польза: по нашему понятію, это три синонима въ произведеніяхъ изящныхъ искусствъ. За такую книгою читатель всегда что-нибудь приобретаетъ, даже иногда самъ того не замѣчая. Съ тѣхъ поръ, какъ исторія литературы перестала быть изслѣдованіемъ троповъ, фигуръ и построенія фразъ, а сдѣлалась изученіемъ духа человѣческаго, его состоянія, направленія, его владычества въ гражданствѣ, его отношенія къ природѣ, его понятія о таинствахъ міра, съ тѣхъ поръ она обняла кругъ читателей обширнѣе всѣхъ ученыхъ изслѣдованій. Она представляется уже энциклопедіею, безъ которой странно войти въ общество. Ею занимаются не для одного очищенія вкуса. Она первая необходимость при воспитаніи ума, равно какъ и первое свидѣтельство его зрѣлости. Человѣкъ безъ участія и сочувствія къ литературѣ не современникъ своего вѣка, дикарь и невѣжда посреди гражданского общества. Литераторъ есть или человѣкъ съ творческою способностію, или человѣкъ съ воспріимлемостію творческихъ явленій. Не принадлежать ни къ тому, ни къ другому разряду значить стоять ниже своего назначенія, оставаться безъ умственной дѣятельности. Даже трудно вообразить существо, не ищущее средствъ заяять мѣсто въ этомъ кругу, въ который призываетъ его санъ человѣка.—Въ такомъ отношеніи литературы къ потребностямъ нашего времени нельзя не радоваться появленію книги, которая по преимуществу есть книга эпохи. Обнимая въ каждомъ вѣкѣ и въ каждой націи все, что свидѣтельствуетъ о дѣятельности духа человѣческаго, проявившейся въ нетлѣнныхъ знакахъ языка, сочиненіе Вахлера вводитъ читателя въ надлежащее изученіе литературы и разрушаетъ школьныя теоріи, которыя въ дѣлѣ творчества не болѣе приносятъ пользы, какъ въ живописи толки о рамахъ, холстѣ, кистяхъ и краскахъ. Здѣсь можно убѣдиться, что изящное — это

предметъ нескончаемыхъ споровъ, этотъ вѣчный типъ совершенства, который усиливаются втиснуть въ одно понятіе—есть то же, что жизнь природы, необъятная въ своемъ разнообразіи, вѣрная одному закону безсмертной истины, есть то же, что Пиеагоровъ метампсихозъ, только подъ вліяніемъ таланта, который въ свою очередь есть созданіе времени и мѣста, духа и плоти, гражданственности и разобщенія.

Но мы не скроемъ предчувствія, что книга Вахлера охладитъ многихъ читателей съ первыхъ строкъ. Все прекрасное въ ней, такъ сказать, свито. Въ ней надобно задумываться надъ каждымъ словомъ. Мысль часто едва надмѣчена. Самое богатство указаній приведетъ въ отчаяніе. Прочитавъ страницу, почувствуешь, что надобно поработать мѣсяць или болѣе, прежде нежели съ пользою можно будетъ подвинуться далѣе. Это книга, обрекающая васъ на вѣчный трудъ. Еще менѣе удовлетворится ею тотъ, кто въ книгахъ читаетъ только слова и радуется, что постигаетъ грамматическій ихъ смыслъ. Для него здѣсь нѣтъ ни одного слова оконченнаго.

Переводъ русскій, сколько можно судить по двумъ тетрадамъ, вѣренъ и равносильнъ подлиннику. Но видно, что переводчикъ немного обращался въ книжномъ дѣлѣ. Есть недосмотры въ словотеченіи, которое, особенно въ столь сжатомъ слогѣ, должно быть выработано до совершенства; есть ошибки въ отиѣткахъ параграфовъ, что вредитъ книгѣ, въ которой каждая строка имѣетъ важность для читателя наблюдательнаго; нѣтъ единообразія въ указаніи книгъ и именъ авторовъ. Наконецъ сожалѣемъ, что переводъ идетъ медленно, что переводчикъ избралъ способъ обнародованія самый nereкомендующійся у насъ въ Россіи, т. е., выпусками тетрадей въ неопредѣленное время. По этой методѣ столько уже не выпущено до конца книгъ, что многіе осторожные покупщики подобныя предпріятія считаютъ дѣтскою игрушкою.

УНДИНА ЖУКОВСКАГО ¹⁾.

1837.

Въ поэзіи, какъ и въ другихъ изящныхъ искусствахъ, успѣхъ произведенія преимущественно зависитъ отъ двухъ обстоятельствъ, которыя иногда сходятся вмѣстѣ, сосредоточиваясь въ дѣятельности одного лица, а иногда являются порознь. Во-первыхъ, очень важно попасть на счастливую мысль. Людямъ обыкновеннымъ приходили въ голову, случайно, неизъяснимымъ образомъ, столь необыкновенныя, столь плодотворныя, столь новыя идеи, что самое простое изложеніе ихъ привлекало къ нимъ вниманіе вышшихъ умовъ и возбуждало ихъ ревность. Неисчерпаемыя богатства такихъ идей, образовъ, положеній, разсказовъ хранятся въ безыскусственныхъ и часто грубыхъ преданіяхъ народа, въ его пѣсняхъ, поговоркахъ, и еще болѣе въ его баснословіи. Отсюда заимствовано столько твореній во всѣхъ изящныхъ искусствахъ и такъ извѣстно ихъ происхожденіе, что нѣтъ нужды упоминать о томъ.

Но послѣ идеи, какъ основы творенія, требуется еще многое отъ художника, чтобы его произведеніе законно вступило въ область поэзіи: въ этомъ и полагаемъ мы второе обстоятельство. Художникъ встрѣтился съ мыслию: передъ нимъ брошено сѣмя, въ которомъ заключено все, и изъ котораго, можетъ-быть, ничего не выйдетъ. Истинная поэзія или настоящее творчество, воспроизведеніе небытія въ жизнь, начинается только съ той эпохи, когда художникъ приступаетъ къ совершенію тайнъ природы и

¹⁾ Изъ *Литературныхъ Прибавленій къ Русскому Инвалиду* на 1837 годъ, 10 апрѣля, № 15, гдѣ выписано полное заглавіе книги: «Ундина, старинная повѣсть, разсказанная на нѣмецкомъ языкѣ въ прозѣ барономъ Ф. Ламотомъ-Фуке на русскомъ въ стихахъ В. Жуковскимъ. Спб. 1837. 243 стр. Съ 20 рисунками».

духовный зародышъ надѣляетъ полнымъ проявленіемъ, всѣми условіями существованія въ здѣшнемъ мірѣ. Въ первую минуту осуществленія идеи познается призваніе художника. Всѣ степени таланта обозначить можно этими впечатлѣніями, этими порывами, этими начинаніями и надеждами, которыя овладѣваютъ душою, когда она воспринимаетъ въ лоно своего созерцанія поэтическую идею.

Мы замѣтили выше, что не всегда въ одномъ произведеніи отражаются изъ одной души и поэтическая мысль и самая поэзія или исполненіе мысли. Бывали впрочемъ примѣры ихъ соединенія въ одномъ лицѣ. Такъ въ умѣ Сервантеса возникла идея «Донъ-Кихота», которую самъ онъ и выполнилъ. Какое счастье почувствовать, что посреди вапшего міра, столь разнообразнаго и вмѣстѣ столь исчерпаннаго, можно еще воздвигнуть міръ и населить его лицами, которыя, будучи не въ противорѣчій съ общими законами существованія, нисколько непохожи на извѣстныя вамъ лица. Художникъ съ восхищеніемъ уже видитъ созданное имъ новое существо, богатое чертами недѣлимости, полное жизни, развивающееся въ собственной исторіи, покорное всѣмъ требованіямъ своего вѣка и націи, но питающее страсти сообразно состоянію собственнаго его духа. И вотъ передъ вами этотъ помѣшанный, всегда однакожъ въ самосознаніи, добрый, непреклонный, вѣрный мечтѣ своей Донъ-Кихотъ! Ни древняя, ни новая литература ничего не произвели замѣчательнѣе этой книги, которую, повидимому, могъ бы написать всякой дюжинный сказочникъ: такъ все въ ней легко, свободно, просто. Мысль ея безъ сомнѣнія есть удивительное счастье; но это же сокровище въ другихъ рукахъ могло бы остаться безъ употребленія, или цотеряло бы половину цѣны своей.

Можетъ-быть, удивятся читатели наши, что подлѣ великаго Сервантеса мы поставимъ здѣсь второстепеннаго нѣмецкаго поэта Фукé. Одна изъ счастливѣйшихъ мыслей для поэзіи постѣтила душу автора «Ундины», и онъ не отрекся отъ нея, онъ ее привелъ въ исполненіе, такъ что въ нѣкоторомъ смыслѣ онъ сталъ на

одной линіи съ геніемъ, отъ котораго впрочемъ отдѣленъ разстояніемъ неизмѣримымъ.

Ундина, почти неопредѣленное лицо сѣверной мифологіи, могла быть представлена поэтомъ по его произволу въ тысячѣ разныхъ положеній, дѣйствій и образовъ. Онъ остановился на лучшей идеѣ, которая поэтической дѣятельности доставляла удивительную свободу и въ то же время всѣ способы къ производству чудныхъ явленій во всѣхъ родахъ прекраснаго. Ундина, сохраняющая таинственную силу существа сверхъестественнаго, подвластная могуществу всѣхъ ощущеній человѣка и безотвѣтная предъ законами фантастической своей родины, эта Ундина, въ минуту явленія своего поэту, была ниспослана для разоблаченія всего, что только хранять для поэзіи два міра: незримый и видимый, два ихъ властелина: духъ и человѣкъ, двѣ ихъ сокровищницы: фантазія и сердце.

Вообразимъ, что Ундина, въ той прекрасной идеѣ, на которую такъ счастливо попалъ Фукé, овладѣла бы душою одного изъ первыхъ творцовъ въ поэзіи, душою Шекспира или Гёте: что явилось бы передъ нами въ этомъ созданіи? Какихъ струнъ, неотразимо и сладостно покоряющихъ человѣческое сердце, нельзя было бы привести здѣсь въ движеніе? Какъ исчислить безконечно-разнообразные и между тѣмъ въ одинъ господствующій тонъ сливающиміеся звуки, которые пролились бы изъ этой музыки? Но и въ томъ видѣ, какъ Фукé изобразилъ намъ свою идею, «Ундина» представляетъ въ поэзіи одно изъ замѣчательнѣйшихъ явленій. Все, на чемъ вы ни остановите вниманіе, проникнуто живымъ участіемъ поэта, все освящено глубокою мыслію и цвѣтетъ тѣми свѣжими красками, которыхъ, кромѣ истиннаго таланта, никто находить не умѣетъ. Деятнадцать главъ поэмы уподобить можно девятнадцати картинамъ. Каждая составляетъ разсказъ, въ высшей степени занимательный и отдѣляющійся собственнымъ содержаніемъ и полнотою. Въ постепенномъ развитіи происшествія выдержана вся простота и естественность народныхъ сказокъ. И еще болѣе сохранено это въ господствующемъ тонѣ повѣствованія.

Подъ вліяніемъ этой умилительно-простодушной музыки вы наслаждаетесь тѣмъ счастіемъ, которое испытывали въ семейной, безмятежной жизни, или пользуясь радушнымъ гостепріимствомъ добрыхъ поселянъ, или мечтая въ юности о вѣрныхъ, простыхъ и въ то время столь понятныхъ сердцу радостяхъ супружества.

Если вы, читая «Удину», отчетливо слѣдовать будете за главными измѣненіями въ состояніи души вашей, то вѣрно замѣтите, что послѣ первыхъ десяти главъ, гдѣ преобладало чувствовапіе беззаботнаго счастья, начнетъ прокрадываться въ сердце ваше ощущеніе грусти, и какая-то боязнь, утомляющая васъ, овладѣетъ душою. Колебаніе судьбы дѣйствующихъ лицъ возмутитъ и ваше спокойствіе. Чѣмъ далѣе вы будете подвигаться впередъ, тѣмъ томительнѣе будетъ ваше состояніе. Такое дѣйствіе произведенія изящныхъ искусствъ на душу есть лучшее доказательство его истиннаго достоинства.

Время и мѣсто дѣйствія изображены такъ вѣрно, такъ счастливо, что, читая поэму, совершенно переселяешься въ средніе вѣка, въ рыцарскую Германію, и видишь передъ собою обычаи, повѣрья, предрасудки и бытъ эпохи. Авторъ особенно, кажется, полюбилъ картины патріархальной простоты своихъ единосемцевъ. Затаенная на пустынномъ морскомъ берегу жизнь рыбака съ его старушкой столько представила прелести воображенію поэта, что нехъзя не плѣниться его рассказами. Сколько бы ни было сжато сердце ваше въ безплодной и разсѣянной жизни, не разъ оно пожелаетъ переселиться на пріютный полуостровъ, въ хижину, къ этому огоньку, гдѣ живетъ такъ благодатно. Отсюда авторъ уводитъ читателя въ имперскій городъ, куда послѣдуешь за нимъ съ какимъ-то предчувствіемъ горести. У него въ сочиненіи, какъ и въ жизни нашей, все сладостное въ душѣ покидаетъ ее съ появленіемъ многолюдства и стѣснительной взыскательности свѣта. Страсти и недоразумѣнія вносятъ мятежъ свой въ благословенный пріютъ счастливой четы. Нѣтъ отъ нихъ спасенія и въ уединенномъ замкѣ, гдѣ ищетъ она прежнихъ радостей.

Проществіе, столь простое и, повидимому, лишенное вся-

кой заманчивости, не помѣшало автору представить явленія, въ которыхъ дѣйствующія лица изумляютъ васъ избыткомъ поэтическихъ сторонъ своихъ. Ундина, съ минуты ея прибытія въ хижину до конца поэмы, такъ вездѣ очаровательна и трогательна, что не хочется не вѣрить ея существованію. Человѣчески-прекрасныя черты ея тѣмъ болѣе фантастическій принимаютъ образъ, тѣмъ упорнѣе въ душѣ отказываешься отъ мысли, что это созданіе есть только игра воображенія. Посреди другихъ лицъ, окружающихъ ее въ поэмѣ, она является существомъ столь идеальнымъ, столь свѣтлымъ и столь недоступнымъ ни единому помышленію, которое бы не было сама чистота и искренность, что, во всѣхъ разнообразныхъ дѣйствіяхъ ея и отношеніяхъ, слѣдуешь за нею и сердцемъ и воображеніемъ, какъ за предметомъ первой, дѣвственной любви своей. Такова должна быть олицетворенная *несимность*; и если бы намъ показалось, что Ундина есть лицо аллегорическое, то мы не могли бы и придумать ей другого изъясненія. Въ самомъ дѣлѣ, до тѣхъ поръ, пока тихое пламя любви не сосредоточило въ одно чувство всѣхъ ея игривыхъ помышленій, Ундина очаровываетъ васъ причудливостью и свободою каждаго слова, каждой мысли. Вступаетъ она въ новыя свои обязанности — и все въ ней является стройно; она еще прекраснѣе, еще совершеннѣе, но уже одною заботою, однимъ желаніемъ — окружить блаженствомъ того, кто на жизнь избралъ ее своею спутницею. Она покидаетъ его только тогда, когда онъ перестаетъ въ ней постигать свое счастье. Но едва проходитъ ослѣпленіе, едва онъ снова видитъ ее безъ покрывала, въ прежнемъ совершенствѣ, жизнь теряетъ для него цѣну, и съ нею соединяется онъ навѣки.

Рыцарь и Бертальда, рыбакъ съ женою, пастеръ Лаврентій — всѣ представляются воображенію въ чертахъ сильныхъ, ясныхъ и независимыхъ. Сочинитель каждому изъ нихъ сообщилъ не только особенную фізіономію, особенный характеръ, но и поставилъ каждаго изъ нихъ въ лучшемъ для него свѣтѣ, окружилъ изъ сферы его жизни тѣми достоинствами души, отъ которыхъ человѣкъ изъ ничтожнаго состоянія восходитъ до царства поэзіи.

Но между всѣми лицами, какъ созданіе фантазіи, первое мѣсто послѣ Ундины занимаетъ Струй, ея дядя. Въ вѣкоторомъ смыслѣ онъ даже выше Ундины, потому что ея образъ, характеръ, воздушность явленій и неизъяснимая прелесть всего, что она говорить, дѣлаетъ или мыслить, все являлось уже въ разныхъ произведеніяхъ искусствъ, слѣдственно, плѣнительно болѣе потому, что соединено въ одномъ новомъ лицѣ. Но Струй во всѣхъ отношеніяхъ есть произведеніе оригинальное, счастливѣйшее по разнообразію своихъ дѣйствій, обновляющееся неожиданными успѣхами таинственныхъ своихъ силъ, такими успѣхами, которые вѣрнѣйшимъ образомъ свидѣтельствуютъ о необыкновенномъ талантѣ автора, кажется, еще не воспользовавшагося всѣмъ своимъ могуществомъ. Для воображенія, которое наслаждается ясностію вымысла, а между тѣмъ любить жить въ какомъ-то обаяніи, въ положеніи неразгаданномъ, между пластическою красотою и блескомъ идеи, Струй есть существо самое увлекательное.

Не предполагалъ ли авторъ поэмы достигнуть нравственной какой-нибудь цѣли? Въ сочиненіи прямо поэтическомъ всегда, какъ въ самой высокой философіи, сокрыто много истинъ поучительныхъ для человѣчества. Великій поэтъ, созидая характеры, дѣйствія, образы, положенія, повинуется требованіямъ своего духа, который, подобно самой природѣ, только и живетъ проявленіями таинственныхъ, но вѣчныхъ идей. Очарованные чувственною прелестію, мы рѣдко останавливаемся на сокровенномъ ея смыслѣ; мы даже соблазнены бываемъ до того, что не размышляя утѣшаемся, будто все постигнули: такъ часто, въ упоеніи отъ сладостной музыки, вѣримъ, что уловили всѣ тайныя помышленія сочинителя, хотя по истинѣ и не задумывались надъ значеніемъ его гармоническихъ звуковъ. Впрочемъ самое безотчетное воспріятіе въ душу прекраснаго не остается безплоднымъ. Оно ее настраиваетъ въ тотъ необходимый тонъ, съ котораго начинается музыка прекрасной дѣятельности. Дальнѣйшее развитіе состоитъ въ зависимости отъ безчисленнаго множества обстоятельствъ, на которыя нѣтъ общихъ положеній.

Кто съ участіемъ прочиталъ «Ундину», тотъ безъ сомнѣнія въ душу свою внесъ путеводный свѣтъ многихъ истинъ. Определить ихъ или исчислить значило бы подвести всѣхъ читателей подъ строгую классификацію: потому что изъ поэтического міра всякій человѣкъ выходитъ съ собственнымъ пріобрѣтеніемъ впечатлѣній, какъ послѣ созерцанія красотъ міра вещественнаго. Судьба каждаго изъ дѣйствующихъ въ поэмѣ лицъ не есть ли высокое, торжественное обличеніе того, что совершается съ нами? Ундинѣ любовь сообщаетъ душу: сколько тайнъ разрѣшается одною этою идеею! Гульбрандъ, честный, благородный, добродѣтельный, любящій рыцарь, не властенъ надъ собою и разрываетъ самый святой союзъ: не обнажено ли тутъ сердце скудельнаго созданія? Указывая на всякое событіе, совершающееся какъ бы по какому-то предопредѣленію, можно только повторять за отцомъ Лаврентіемъ евангельское изреченіе:

«Итакъ, кто имѣетъ

Очи, да видятъ; кто уши имѣетъ, да слышать».

Разсматривая поэму съ разныхъ сторонъ, вездѣ мы чувствовали удовлетворенными свои требованія, когда вопросы касались впечатлѣній общихъ. Поэтъ нигдѣ не измѣнилъ своему вызову, и трудъ его есть прекрасный подвигъ. Но въ произведеніяхъ многосложныхъ требованія тѣмъ болѣе дробятся, чѣмъ счастливѣе развертывается поприще. Успѣхамъ не надобно полагать конца. Таково свойство красоты. Она тогда только становится вполне удовлетворительною, когда, безконечно разнообразясь и сохраняя въ каждомъ новомъ своемъ явленіи высочайшую степень совершенства, побѣждаетъ наконецъ безпокойное воображеніе, какъ счастливый боецъ мощнаго противника. Между тѣмъ здѣсь вся поэма блещетъ одною только красотой, которая извѣстна подъ именемъ граціи. Ея прелесть, какъ свѣтъ, упавшій на ровную поверхность, покрываетъ все произведеніе однимъ сіяніемъ. Каждая часть поэмы, отдѣльно взятая, не вводитъ васъ въ новую совершенно область фантазій, не поражаетъ новымъ характеромъ

красоты, не восхищаетъ разнообразіемъ творчества. Всѣ девятнадцать картинъ, какъ будто, при счастливыхъ только измѣненіяхъ положенія лицъ и обстановки ихъ, возстановляютъ передъ вами уже знакомую жизнь съ прежними ея условіями, какъ прекрасные опыты художника на одну тему. Упиваясь отраднымъ спокойствіемъ въ началѣ поэмы и томясь сожалѣніемъ и грустію въ концѣ ея, душа ваша не перестаетъ носиться въ одной и той же сферѣ легкой мечты. Все богатство ощущеній дѣлается замѣнено однимъ умиленіемъ. То ли чувствуемъ мы, читая фантастическія творенія, напримѣръ: *Сновидніе съ тѣмной ночью*, или *Бурю*? Тамъ художникъ въ каждой сценѣ зиждетъ отдѣльный, полный міръ; переступая изъ области въ область, вы себя не узнаете съ новыми ощущеніями; вы будто носитесь надъ землею, перемѣняете климаты и неожиданно наслаждаетесь всѣмъ, что только доступно нашему сердцу.

Авторъ «Ундины» нѣсколькими сценами (гномы, видѣніе въ лѣсу, и Струй на Дунаѣ) доказалъ, что перемѣна господствующаго въ поэмѣ тона и красокъ для него не затруднительна. Самое созданіе Струя и какъ онъ заставилъ его выдержать роль, полную роскоши поэтической, указываетъ на ту степень, которую могъ бы онъ занять какъ поэтъ. Но по какому-то неизъяснимому обстоятельству онъ, создавъ «Ундину», какъ будто не оцѣнилъ своего счастья. Чѣмъ иначе изъяснить, что этотъ богатѣйшій для поэмы предметъ обрисовался въ душѣ его какъ содержаніе для прозаической сказки?

Мы, Русскіе, въ этомъ случаѣ были гораздо счастливѣе Нѣмцевъ. Нашъ переводчикъ постигнулъ назначеніе «Ундины» въ художественномъ мірѣ, и съ торжествомъ ввелъ ее туда, гдѣ самая идея указывала ей мѣсто: обстоятельство, навсегда разлучившее нѣмецкую «Ундину» съ русскою, и убѣдительно показавшее разницу между двумя поэтами. Степень таланта, какъ мы выше замѣтили, обозначается сама собою, когда поэтъ производитъ передъ нами оцѣнку идеи. Въ стихотворной формѣ не то важно, что сочинитель преодолѣлъ много трудностей, но то, что предметамъ

сочиненія сообщается ею надлежащая, законная живость, плѣнительныя движенія, сила и блескъ образовъ, гибкіе, вѣрные, неразлучные съ поэтической идеею звуки. Если Фукé не чувствовалъ во всемъ этомъ нужды для своей «Ундины», онъ не досмотрѣлъ въ ней лучшихъ сторонъ. Онъ ее затаилъ въ тѣни. Жуковскому она обязана лучшимъ существованіемъ. Фуке выдумалъ концертъ и разсказалъ про него вслухъ, а Жуковский для идей его прибавилъ ноты—и какая небесная музыка!

Давно уже не выходило книги, которая бы такъ заняла всѣ классы читателей, какъ «Ундина». Но мы ничего необыкновеннаго не находимъ въ томъ, что ея появленіе на русскомъ языкѣ произвело всеобщій у насъ восторгъ. Еслибы и содержаніе поэмы не было до такой степени ново, увлекательно и трогательно, то стихи Жуковского, это (по выраженію одного поэта) неземное блаженство души, изъясненное вѣрными и стройными звуками, сами собою должны были такъ подѣйствовать на всѣ вкусы. Но вотъ что удивляетъ насъ, и что въ самомъ дѣлѣ неизъяснимо: чѣмъ Жуковский наэлектризовываетъ русскія слова (тѣ же самыя, которыя и въ «Словарѣ Россійской академіи»), что они во всѣхъ размѣрахъ, при всякомъ содержаніи, съ каждымъ предметомъ, во всякомъ тонѣ расплавляютъ сердце и напояютъ счастіемъ все бытіе наше?

Въ предисловіи къ переводу упоминается объ одномъ обстоятельстве, весьма для насъ утѣшительномъ. «Повинуясь волѣ, которую мнѣ было особенно пріятно исполнить, я разсказалъ русскими стихами «Ундину», и проч. Надъ славою переводчика и нашимъ счастіемъ носится заботливый геній. Будемъ надѣяться, что онъ не покинетъ поэта вдохновительными своими указаніями. Мы не подѣлились бы съ читателями ощущеніемъ самымъ сладостнымъ, еслибы не привели здѣсь посвятительныхъ стиховъ, которые переводчикъ «Ундины» написалъ въ честь этого генія своего, или справедливѣе, музы:

Бывали дни восторженныхъ видѣній;
Моя душа поэзіей цвѣла;

Ко мнѣ леталъ съ вѣстями чудный Геній,
Природа вся мнѣ пѣснiю была.

Оно прошло, то время золотое;
Съ природы святъ магическій вѣнецъ;
Свѣтъ узанный свое лицо земное
Разоблачилъ, и призракамъ конецъ.

Но о мечтѣ, какъ о весенней птичкѣ,
Пѣвавшей мнѣ, съ усладой помню я;
И прелести явленьемъ по привычкѣ
Любуется, какъ встарь, душа моя.

Здѣсь есть *одна*—жива какъ вдохновенье,
Какъ ясная надежда молода: —
На душу мнѣ ея одно явленье
Поззію наводятъ завсегда...

Передъ пустой когда-то колыбелью
Задумчиво-безмолвенъ я стоялъ:
«Кто обреченъ святому новоселью
«Тобой въ жильцы?» Судьбу я вопрошалъ.

И съ первою блеснувшей мнѣ денницей
Ужъ милый гость въ той колыбели былъ;
Онъ въ ней лежалъ подъ царской багрянницей,
Прекрасенъ, тихъ, какъ Божій ангелъ милъ.

Года прошли—и мой разцвѣлъ младенецъ,
Прекрасенъ, тихъ, какъ Божій ангелъ милъ;
И мнится мнѣ, что неба уроженецъ
Утѣхой въ немъ на землю присланъ былъ.

Его-то я порою здѣсь встрѣчаю,
Какъ чистую поззію мою;
Имъ иногда я душу воскрешаю;
При немъ подчасъ, забывшись, и пою.

Изданіе «Ундины» столь же прелестно, какъ и *чистая поззія*,
о которой мы говорили. Появленіе этой книги даже въ типогра-
фическомъ отношеніи составляетъ эпоху.

ШЕКСПИРЪ ¹⁾.

1837.

Между всѣми чертами, изъ которыхъ природа образовала талантъ Шекспира, одна выказывается виднѣе, и, безъ сомнѣнія, она особенно поражала каждого читателя. Ее назвать можно страстію къ анализу. Никто чаще и смѣлѣе Шекспира не останавливаетъ дѣйствія на самомъ увлекательномъ мѣстѣ, единственно для того, чтобы заняться какимъ-нибудь изслѣдованіемъ. Онъ не пропускаетъ ни одного случая и высказываетъ вамъ всѣ мысли свои о предметѣ, который обнялъ обширнымъ своимъ умомъ. Что только бывало когда-нибудь дорого или близко душѣ человѣка, въ уединеніи ли, въ семействѣ, или въ общественномъ, гражданскомъ быту, все знаетъ онъ, какъ-будто черезъ его сердце текли потоки всѣхъ чувствованій и всѣхъ страстей нашихъ. Самыя частности жизни, о которыхъ можно знать только въ одномъ кругу, принадлежа къ извѣстному сословію, или занимаясь ремесломъ, у него и онѣ приведены въ полную, ясную и вѣрную теорію, съ которой онъ вамъ представитъ непремѣнно. Вы должны будете узнать опредѣленіе, раздѣленіе, виды, степени и прочія метафизическія тонкости о всякомъ предметѣ.

Если бы аналитическій умъ Шекспира не былъ оплодотворенъ собственною проницательностію и не вмѣщалъ бы въ себѣ

¹⁾ Изъ Литературныхъ прибавленій къ Русскому Инвалиду на 1837 годъ, 30 октября, № 44, гдѣ подъ общимъ заглавіемъ *Шекспиръ* означены слѣдующія заглавія переводовъ: 1. *Отелло, Венеціанскій Маоръ*, драма въ пяти дѣйствіяхъ, переводъ съ англійскаго И. П—ва. Спб. 1836. Въ тип. Свѣгирева и К^о. (8). VI и 218 стр. — 2. *Макбетъ*, трагедія въ пяти дѣйствіяхъ, въ стихахъ, перевелъ съ англійскаго М. В. (Вронченко). Спб. 1837. Въ тип. департ. воен. поселеній. (8) 142 стр. — 3. *Гамлетъ, принцъ датскій*. Драматическое представленіе. Переводъ съ англійскаго Н. Полеваго. Москва. 1837. Въ тип. А. Семенина. (8). 207 стр.

Соч. Плетнева

истинъ самыхъ сокровенныхъ и самыхъ непоколебимыхъ, можно вообразить, до какой степени сдѣлались бы утомительны его сочиненія при этомъ направленіи таланта. Но таково свойство дѣйственныхъ и вѣчныхъ истинъ, что онѣ повсюду равно дѣйствуютъ на человѣка: посреди любопытнѣйшихъ разсказовъ и драматическихъ движеній онѣ влекутъ къ себѣ умъ и сердце, питаютъ ихъ, грѣютъ и возносятъ до наслажденій высочайшей поэзіи. Шекспирова метафизика есть плодъ практической мудрости. Здѣсь все жизнь, слѣдственно все поэзія. Душа поэта воспринимала и во всей свѣжести хранила до самыхъ мелкихъ подробностей не минуемые переходы желаній и помышленій нашихъ, полную исторію всякой страсти и всякаго умственного созданія. Изъ этого драгоценнаго запаса Шекспиръ образовалъ всеобщую философію и внесъ ее въ свои творенія. Она привлекаетъ къ нему читателей изъ всѣхъ націй, изъ всѣхъ сословій и возрастовъ. Въ ней заключается такое достояніе, которое никогда не утратитъ своей цѣны, сколько бы ни перемѣнялись литературныя мнѣнія.

Къ сокровищамъ свѣтлаго и всеоживотворяющаго ума прибавьте другія сокровища, едва ли не болѣе соблазнительныя: обиліе въ созданіяхъ фантастическихъ, которыя поминутно мелькаютъ передъ вами въ такихъ опредѣленныхъ, но роскошныхъ и неистощимо-разнообразныхъ видахъ, что невольно душу свою сливаешь съ ихъ существованіемъ. Шекспиръ любилъ фантастическое не по расчету, не по теоріи: оно было потребностію его таланта, точно такъ, какъ владычество входитъ въ число потребностей силы. Другіе поэты переносятъ читателей въ этотъ сверхъестественный міръ для того, чтобы легче можно было исторгнуть удивленіе, обаять умъ, плѣнить воображеніе; онъ вездѣ оставался вѣренъ единственному своему призванію: раскрыть всѣ тайны души человѣческой. Въ міръ фантастическій входилъ онъ какъ завоеватель, покорялъ его общими законамъ, дополнял имъ цѣлость неизмѣримаго царства своего и низводилъ всѣ его явленія до причинъ естественныхъ. Могуществу его генія, повидимому, тѣсно было всегда оставаться долу, въ нашей области, и онъ

безъ малѣйшаго усилія переступалъ за ея границы, почти непри-
мѣчая того; между тѣмъ сколько выигрывалъ онъ свободою дви-
женій своихъ какъ художникъ! Онъ являлся властителемъ, у ко-
торого каждый шагъ былъ переходомъ къ успѣху, никѣмъ не-
предвидѣнному.

Производительной силѣ его таланта природа сообщила такую
способность проявленія, какою въ равной степени никто еще ода-
ренъ не былъ. Мы говоримъ объ его способности драматической.
Она въ его лицѣ осуществила басню о Протее. Можно сказать,
что, прочитавши всего Шекспира, нигдѣ самого его не замѣтишь.
Кто опредѣлитъ, чѣмъ онъ высказался? Онъ или все былъ, или
остался сокровеннымъ. Изъ столькихъ лицъ есть ли хоть одно,
на которое можно указать и прибавить: вотъ характеръ, любимый
авторомъ? *Сочинилъ* ли онъ хоть одну сцену, хоть одинъ моно-
логъ? Нѣтъ, все принадлежитъ естеству изображаемаго дѣйствія.
Личной Шекспировской страсти, или мысли, которую бы онъ хоть
разъ гдѣ-нибудь выказалъ, напрасно будемъ искать въ его тво-
реніяхъ. Вокругъ него движется цѣлый міръ, всѣ состоянія, всѣ
возрасты, люди со всѣми ощущеніями сердца, на всѣхъ степеняхъ
образованности; все дѣйствуетъ, борется, одерживаетъ побѣду или
уступаетъ: а онъ, какъ духъ, невидимый, ничему не причастный,
отъ всего отрѣшенный, стоитъ въ волшебномъ кругу своемъ и
смотритъ на все безстрастно. Нѣтъ ни языка его, ни движеній,
ни голоса: во всемъ вполне преобладаетъ тотъ, кого онъ предъ
насъ выводитъ. Никакими усиліями невозможно достигнуть до
этой отчужденности въ жизни, въ мысляхъ и чувствахъ созданій
собственной души, если сама природа не возвела васъ на высоту
драматическаго писателя. Недоступнѣе и поразительнѣе этого
искуства, кажется, нѣтъ. Оно по преимуществу есть творчество:
во всякомъ другомъ родѣ вы собою дополняете замышленное про-
изведеніе и, такъ-сказать, повторяете то, что вамъ дано; а здѣсь
между вами и вашимъ созданіемъ нѣтъ никакого отношенія; оно
внеъ вашего круга. Видѣтъ представленіе такой драмы, или чи-
тать ее нельзя безъ полного участія и наслажденія: ничто васъ

не разочаровываетъ. Это, если угодно, не искусство, которымъ; наслаждаешься всегда при нѣкоторыхъ условіяхъ или уступкахъ это не подражаніе простой или изящной природѣ, которое болѣе или менѣе способно васъ утомить какъ повтореніе знакомаго разговора: это новая, для васъ только бытіе пріившая жизнь, въ которой вы чувствуете все движеніе, всю свѣжесть, все очарованіе истинной жизни.

Шекспира переводить выгоднѣе всякаго другого писателя: въ немъ столько совершенствъ независимыхъ, безусловныхъ, что какъ бы вы ни передали его, ваша книга не можетъ быть не занимательна. Сохраните только смыслъ его: кто безъ жадности будетъ принимать всѣ его откровенія любопытныя и вѣрныя, всѣ его правила простыя, но неизмѣнныя, его тонкія замѣчанія, глубокія мысли его, во всей полнотѣ развитые характеры—все, чѣмъ занимаютъ такъ душу нашу разоблаченныя страсти и тайныя помышленія? Переводчика Шекспира будутъ читать съ жадностію даже для того, чтобы слѣдовать за происшествіемъ, которое онъ ведетъ всегда съ такою занимательностію, которое онъ такъ умѣетъ разнообразить въ самомъ его развитіи. На Шекспирѣ примиряются всѣ вкусы. Одинъ любитъ веселое, другой трогательное, третій глубокое, четвертый острое; продолжайте требованія ихъ до безконечности: имъ всѣмъ довольно пищи въ произведеніяхъ его; всякій можетъ утверждать, что Шекспиръ принадлежитъ къ его школѣ, къ его вѣку, и проч.

Не только выгодно переводить его: съ нимъ можно дѣлать разныя перемѣны, и еще довольно останется занимательнаго для читателей, если только вы удержите хотя часть его чистыхъ красокъ. Пушкинъ изъ его «Measure for measure» выбралъ сцены, далъ имъ повѣствовательную форму «Анджело»: всѣ увлечены были этимъ мужественнымъ краснорѣчіемъ, никѣмъ еще не тронутыми уподобленіями, описаніями самыми смѣлыми и столь вѣрными природѣ вещей, положеніями до безконечности затруднительными для автора, но съ такою свободою и граціею побѣжденными этими характерами, которые, повидимому, не должны

были сходиться, но которые, сгруппировавшись, образовали столь восхитительную картину. Конечно, у Пушкина и не Шекспировскіе отрывки могли превратиться въ чистое золото; но кто изъ самыхъ слабыхъ стихотворцевъ, на какомъ бы то ни было языкѣ, заимствовавъ что-нибудь изъ Шекспира, не былъ читанъ съ любопытствомъ и участіемъ?

Между тѣмъ сколько выгодно, столько же и трудно переводить Шекспира, если мы въ переводѣ будемъ искать всего, что представляетъ намъ оригиналъ. Еслибы и удалось вамъ со всею вѣрностію передать тонкія, цвѣтушія, вѣчно новыя его идеи; еслибы и у васъ во всей прелести и блескѣ ожили и начали дѣйствовать со всею причудливостію и всѣмъ могуществомъ его разнообразныя лица, принадлежація міру исторіи и фантазій; еслибы наконецъ и вы въ состояніи были одарить каждое дѣйствующее лицо волшебнымъ свѣтомъ драматической истины и провести его черезъ все поприще этой поэтической жизни такъ, чтобы оно нигдѣ, ни въ чемъ себѣ не измѣнило, то вы еще, какъ переводчикъ Шекспира, не все преодолѣли: вамъ надобно заставить насъ чувствовать при каждомъ выраженіи, что авторъ, переводимый вами, былъ англичанинъ и поэтъ шестнадцатаго столѣтія—два условія, въ которыхъ для переводчика таится неисчислимое множество труднѣйшихъ требованій.

Нѣтъ жизни болѣе оригинальной, болѣе несогласной съ понятіями другихъ націй, болѣе выдавшейся своими рѣзкими особенностями, болѣе независимой по идеямъ и болѣе странной по формамъ, какъ жизнь англичанина. Она образовалась обстоятельствами столь многоразличными, столь разнородными, что вполнѣ обнять ее и почувствовать только и можно воспитавшись посреди ея удивительныхъ явленій. Шекспиръ глубоко проникнуть ею, или, справедливѣе сказать, она, олицетворясь въ немъ, всѣми своими формами и духомъ своимъ обняла созданія этого поэта, несмотря ни на какія ихъ внутреннія и вѣшнія различія.

Здѣсь находится главная причина многихъ обвиненій, въ разныя времена падавшихъ на великаго драматика. Не бывъ истин-

нымъ англичаниномъ или другимъ Шекспиромъ, кто оставался вполне убѣжденъ, что въ кажущихся несообразностяхъ его драмъ, въ странности происшествій, въ такъ называемой грубости нѣкоторыхъ выраженій, въ сценахъ, къ которымъ другіе народы не могутъ привыкнуть, ничего нѣтъ произвольнаго, что все въ нихъ схвачено съ натуры, съ того первообраза, въ которомъ Шекспиръ такъ изучилъ свою націю? Но безъ такого убѣжденія нельзя переводить его. Въ противномъ же случаѣ, даже начавъ слегка судить объ этомъ произвольно, переводчикъ становится уже неспособнымъ къ совершенію своего предпріятія. А мы видимъ между тѣмъ, что большею частію Шекспира смягчаютъ, сокращаютъ, поправляютъ, передѣлываютъ, и проч. Ему трудно найти внѣ своего острова другое я.

Пусть даже переводчикъ по соображенію дойдетъ до того, что признаетъ истину въ Шекспировской жизни и благоговѣнно станетъ возрождать ее для другой націи: не должна ли эта истина и тогда еще явиться безобразною, будучи облечена не въ естественную свою одежду? Извѣстно, что жизнь народа и языкъ его одно и то же значать. Это обстоятельство говоритъ и противъ всѣхъ вообще переводовъ, но особенно указываетъ на непреодолимые трудности, которыя должны естественно представиться при переводѣ Шекспира, поэта самаго оригинальнаго по *собственному* его гению, по духу *нации*, его образовавшей, и наконецъ по вкусу *отца* его, столь противоположнаго предшествовавшимъ вѣкамъ и за нимъ послѣдовавшимъ. Творческому и вѣчнодѣятельному воображенію Шекспира вся природа внѣшняя и весь міръ духовный представлялись совершенно особеннымъ образомъ. По его внутреннему, иперболическому размѣру, по его исполинскимъ силамъ духа, все принимало видъ огромныхъ картинъ, которыхъ краски, выраженіе, тѣни, свѣтъ, пропорціи требовали языка дерзкаго, небывалаго. Чтѣ въ его устахъ составляло естественность, грацію, точность, то самое подъ перомъ другого человека превращается въ изысканность, грубость и натяжку. Таково бываетъ положеніе актера, когда ему надобно представлять Ахил-

леса. На этомъ геніи, уже по своей природѣ столь вышедшемъ изъ обыкновеннаго нашего круга, Англія и XVI вѣкъ напечатлѣли свои причудливыя особенности жизни или языка. Смѣсь такъ называемыхъ низкихъ сценъ съ высокими или важными, шутокъ посреди трогательнаго, непристойностей посреди торжественнаго—все это переноситъ читателя въ ту страну, гдѣ общежитіе и гражданскія условія не понимаютъ мелочной щекотливости другихъ народовъ, гдѣ непозволительно только то, что неестественно или оскорбляетъ права гражданина, гдѣ нѣтъ отчужденности ни отъ чего человѣческаго. Господство школьныхъ формъ, въ тотъ вѣкъ столь еще свѣжихъ и соблазнительныхъ, педантизмъ философій, вычурливая говорливость риторики, по всей Западной Европѣ распространившись изъ итальянскихъ училищъ вмѣстѣ съ тамошнею игрою словъ и другими прикрасами остроумія, подчинили себѣ всѣхъ писателей, и ни въ комъ такъ не выказали всего, что было въ нихъ рѣзкаго и любопытнаго, какъ въ Шекспирѣ.

Самый добросовѣстный, самый знающій и терпѣливый переводчикъ не воззоветъ къ новой жизни, въ первобытной свѣжести и свободѣ, всей массы лицъ, ихъ дѣйствій и характеровъ съ отѣнками, столь дивно разнородными, если талантъ его по крайней мѣрѣ не близокъ къ могущественному духу, ихъ создавшему. Таланты понимаютъ другъ друга яснѣе и легче, нежели люди, поставленные внѣ ихъ сферы. Вотъ почему Пушкинъ, сокращая Шекспира, измѣняя его фразы, схватывая, такъ-сказать, только яркія краски его, справедливѣе можетъ назваться его переводчикомъ, нежели многіе, буквально передававшіе его. Описывая Дукка, Пушкинъ выражается такъ:

«Въ судѣ его дремалъ карающій законъ,
Какъ дряхлый звѣрь уже къ ловитвѣ не способный.
Дукъ это чувствовалъ въ душѣ своей незлобной,
И часто сѣтовалъ. Самъ ясно видѣлъ онъ,
Что хуже дѣдушекъ съ дня на день были внуки,

Что грудь кормилицы ребенокъ ужь кусалъ,
 Что правосудіе сидѣло сложа руки
 И по носу его лѣнивый не щелкалъ».

Въ образованіи этой картины нельзя не чувствовать геніальной истины, простоты и силы. Ея тонъ и оригинальность совершенно выдерживаютъ цѣну слѣдующихъ собственныхъ выраженій Шекспира:

«Есть у насъ неизмѣнныя постановленія и строгіе законы (узда необходимая для безпокойныхъ характеровъ), да они спятъ уже лѣтъ девятнадцать, какъ въ пещерѣ сытый левъ, который не хочетъ гнаться за добычей. Эти законы въ такомъ же теперь положеніи, какъ слабый отецъ, который приготовилъ розги, чтобы ихъ повѣсить на виду передъ дѣтьми, для угрозы, а не для употребленія, такъ что дѣти не только не боятся ихъ, но еще подшучиваютъ надъ ними. То же вышло съ нашими постановленіями: оставаясь въ недѣятельности, никого не преслѣдуя, они сами умерли; своеволие издѣвается надъ правосудіемъ; ребенокъ бьетъ свою кормилицу, и пропалъ весь порядокъ».

Кромѣ Пушкина, мы не можемъ указать ни на одного изъ переклассныхъ поэтовъ нашихъ, кто бы испыталъ силы своя надъ Шекспиромъ. Можетъ быть, и Пушкинъ оттого рѣшился не перевести, а передѣлать драму въ повѣсть, что вполне чувствовалъ непреодолимые трудности. Между тѣмъ первые опыты переводовъ Шекспира появились у насъ за пятьдесятъ лѣтъ. Въ 1787 году напечатаны были на русскомъ языкѣ его «Юлій Цезарь» и «Ричардъ III»¹⁾. Это были, по тогдашнему обыкновенію, переводы съ французскаго. Летуриеръ и его метода служили образцами для нашихъ переводчиковъ. На драмы Шекспира смотрѣли, какъ и на другія литературныя произведенія: передавали ихъ смыслъ, обходя все, несоотвѣтствующее вкуса вѣка; главную цѣну полагали въ содержаніи, не заботясь объ индивидуальныхъ совершенствахъ

¹⁾ «Юлій Цезарь» въ переводѣ Карамзина, изданъ въ Москвѣ; переводъ же трагедіи «Жизнь и смерть Ричарда III» сдѣланъ неизвѣстно кѣмъ въ Нижнемъ Новгородѣ, а напечатанъ въ Петербургѣ.

автора. Жуковскій заставилъ насъ почувствовать первый, что переводъ можетъ сдѣлаться въ литературѣ такимъ же важнымъ трудомъ, какъ и созданіе. Какъ достигнуть до этого—тайна досихъ поръ при немъ и остается. По крайней мѣрѣ, онъ пробудилъ любознательность. Возникли вопросы, чего надобно требовать отъ переводчиковъ. Мнѣнія были, точно какъ и вся теорія литературы, очень хорошо обдуманы, приспособлены къ дѣлу и отстравили, повидимому, всѣ неудобства. Одно затрудненіе непреодолимо: теорія не даетъ таланта, безъ котораго нельзя быть литераторомъ, а таланты такъ разнообразны и неуловимы, что теорія не въ силахъ вести ихъ по одной своей колеѣ.

Такимъ образомъ неудивительно, что современники наши, переводчики Шекспира, знакомые съ господствующими нынѣ правилами переводовъ и безъ сомнѣнія уважающіе всѣ ихъ истины, дѣйствовали разнообразно на одномъ и томъ же поприщѣ.

«Отелло» переведенъ прозою. Переводчикъ уже показалъ этимъ, что онъ устраняется отъ всякаго соперничества съ авторомъ. Онъ только въ собственномъ разсказѣ хотѣлъ повторить намъ великое созданіе. Прелести поэзіи необходимо должны исчезнуть въ прозѣ, какъ звуки, сила и блескъ музыки исчезаютъ въ самомъ восторженномъ повѣствованіи слушателя. Поэтическія формы не составляютъ одной внѣшней красоты идей: есть цѣлый міръ души, который только и прекрасенъ въ своихъ поэтическихъ формахъ; безъ нихъ лучшія мысли, чувствованія и картины становятся странными и неумѣстными. Идеи и языкъ ихъ только вмѣстѣ образуютъ то, что мы называемъ жизнію. Разъедините ихъ и дайте имъ произвольное сочетаніе для новой жизни: они утратятъ прежнее свое одушевленіе. Переводъ «Отелло», въ нынѣшнемъ своемъ видѣ, полезенъ для первоначальнаго знакомства съ Шекспиромъ, особенно массѣ читателей, которые по своимъ свѣдѣніямъ и умственнымъ потребностямъ любятъ литературу безъ художнической взыскательности. Не всѣмъ доступны тонкости искусства, но общія знанія необходимы всѣмъ. Литература должна быть непременно обогащена прозаическимъ, чистымъ и

вѣрнымъ переводомъ cadaго изъ великихъ иноземныхъ поэтовъ. Это первая потребность ея для дальнѣйшихъ успѣховъ. Удивленіе и восторгъ должны начаться спокойнымъ знакомствомъ. Переводчикъ «Отелло» чувствовалъ это вполне. Онъ, сколько можно было въ прозѣ, выдерживалъ силу и красоту подлинника. Немногія отступленія свои онъ пояснилъ въ примѣчаніяхъ, а то, что сжалъ или измѣнилъ, было неизбѣжнымъ слѣдствіемъ перевода въ прозѣ. Прекрасный бы избралъ онъ подвигъ, еслибы рѣшился всего Шекспира передать въ этомъ видѣ. Вполнѣ изучивъ его, онъ бы еще рѣшительнѣе овладѣлъ и своимъ искусствомъ, которое такъ привязывало къ себѣ даже великихъ европейскихъ писателей.

Переводомъ «Макбета» въ стихахъ мы обязаны ревностному почитателю Шекспира, литератору, который, назадъ тому одиннадцать лѣтъ, стихами перевелъ «Гамлета»¹⁾. Въ предисловіи къ первому труду своему онъ подробно изложилъ правила, которыхъ держится въ поучительномъ для насъ состязаніи съ англійскимъ драматикомъ. Онъ съ полнымъ уваженіемъ смотритъ на оригиналъ и, по возможности, ни въ чемъ отъ него не отступаетъ. Его внимательность простирается до того, что онъ передаетъ подлинникъ изъ стиха въ стихъ: трудъ неимоверный, судя по различію языковъ англійскаго и русскаго, изъ которыхъ въ первомъ такъ же много односложныхъ словъ, какъ во второмъ многосложныхъ. Истинно хорошій переводъ и не можетъ быть исполненъ безъ этого благоговѣйнаго начала. Великій талантъ, какъ сама природа, ничего не производитъ безъ глубоко-значительной мысли. Дорого цѣнить каждую черту въ его твореніи значитъ совершенствовать собственный трудъ. Съ этой стороны переводъ «Макбета» есть наставительное чтеніе для изученія Шекспира. Но чѣмъ строже къ себѣ переводчикъ, тѣмъ затруднительнѣе становится его побѣда. По свойству одного языка прекрасно образовавшаяся картина на другомъ принимаетъ странный видъ. Новые звуки не выражаютъ характера подлинной мысли. Невизбѣжная перестановка

¹⁾ М. В. Вронченко.

словъ ослабляетъ силу чувства. Одна черта, не вошедшая въ копію или замѣненная другою, заставляетъ жалѣть о прежнемъ выраженіи цѣлаго. Тысяча подобныхъ препятствій на каждомъ шагѣ возникаетъ и останавливаетъ успѣхъ переводчика. Въ «Макбетѣ» есть стихи тяжелые, даже неясные; но они свидѣтельствуютъ, какъ переводчикъ добросовѣстно усиливался выдержать битву и не отступать отъ своихъ правилъ. Онъ вездѣ остался вѣренъ своему долгу. Безъ сомнѣнія, за всякую неудачу, хотя бы она была слѣдствіемъ и похвальнаго намѣренія, обвинять писателя можно. Буквально вѣрный переводъ, но лишенный граціи или цвѣту подлинника, легко назвать мертвою добычей. Но это опять поведетъ къ спорамъ о правилахъ переводовъ: а талантъ самоубитенъ. Онъ производитъ по своему внутреннему убѣжденію, никому съ нимъ не навязываясь. Въ подобныхъ трудахъ и предположить невозможно совершенства всесторонняго, окончательнаго. Приближеніе къ подлиннику, съ какой бы точки ни было, есть великое пріобрѣтеніе для литературы.

Поэтому и радуется насъ появленіе новаго перевода «Гамлета». Мы видимъ предметъ съ другой стороны. Еслибы еще болѣе талантовъ посвятило себя на это предпріятіе, твореніе Шекспира явилось бы для насъ въ лучшемъ свѣтѣ: одинъ глубоко проникнулъ бы въ его идеи, другой оживилъ бы ихъ слогомъ его, третій сообщилъ бы всю свободу и непринужденность драматическимъ движеніямъ. Въ новомъ переводѣ «Гамлета» словосочиненіе легче, періоды округленнѣе и фразы яснѣе, нежели въ старомъ. Видно, что работой занимался писатель, который привыкъ управляться съ языкомъ. Но въ то же время чувствуешь, что онъ не поэтъ. Онъ схватываетъ мысль въ ея зародышѣ, передаетъ одинъ голый смыслъ подлинника, и равнодушно пропускаетъ все, что составляло краски, живость, полноту картины, всю индивидуальность Шекспира. Эта метода въ современной литературѣ есть анахронизмъ. Чтеніе прежняго перевода соединено было съ чувствительнымъ усиленіемъ: оно заставляло задумываться, повторять, но вознаграждало драгоцѣнностію пріобрѣтенія; вы

сходились наконецъ лицомъ къ лицу съ этимъ оригинальнымъ Шекспиромъ, дивились его неистощимой изобрѣтательности идей, его пламенному краснорѣчію, богатству его поэзіи. Въ новомъ переводѣ остались только намеки на кисть его; подробности замѣнены общими мѣстами, пластика отвлеченными понятіями. Нынѣшній переводчикъ «Гамлета» желалъ старыя формы разговоровъ освѣжить краткостію и ввести болѣе быстроты въ монологи. Можно повѣрить, что это измѣненіе благоприятно для театра, но не для литературы. Даже на сценѣ гениальная поэзія, еслибы она вполне была выражена, не показалась бы многорѣчіемъ, по крайней мѣрѣ для многихъ зрителей. Переводчикъ вѣрно не смѣшиваетъ Шекспира съ обыкновенными писателями, которыхъ можно и сокращать и поправлять. У Пушкина въ сокращеніяхъ мы видѣли равносильную замѣну, сохраненіе господствующаго тона и поэтическихъ красокъ. Но здѣсь пропуски незамѣнены ничѣмъ. Этотъ странный и господствующій недостатокъ новаго перевода «Гамлета» только и можно изъяснить отсутствіемъ чувства поэзіи.

Любопытствующимъ легко сравнить переводы старый и новый: они оба напечатаны. Въ подтвержденіе нашихъ замѣчаній мы приведемъ одно мѣсто, повторяя, что на каждой почти страницѣ то же встрѣчается. — Офелія и братъ ея, отъѣзжающій во Францію, прощаются. Братъ не совѣтуетъ сестрѣ отвѣчать Гамлету на любовь его. По прежнему переводу, братъ говоритъ Офеліи:

«Быть-можетъ, ты любима;

И ни обманъ теперь, ни злобный умыслъ

Не оскверняетъ Гамлетовыхъ мыслей.

Но бойся: онъ въ величій безъ воли;

Онъ царственной своей породы рабъ,

И въ склонности невластенъ, какъ иные.

Отъ выбора его зависѣть будетъ

Спокойствіе и благо государства,

И въ немъ онъ долженъ соглашаться съ гласомъ

И волей тѣла, коего глава онъ.

Благоразуміе тебѣ велитъ
 Не больше вѣрить увѣреньямъ въ страсти,
 Какъ сколько можетъ оправдать слова онъ
 На самомъ дѣлѣ, то есть, сколько общій
 Гласъ Даніи сей выборъ подтверждаетъ.
 Помысли, что твоя теряетъ честь,
 Когда внимая легковѣрно лести,
 Утратишь сердце, или сластолюбцу
 Сокровище ты чистое повѣришь.
 Страшись сего, страшись, моя сестра!
 Нейди за страстью; тамъ пребудь, куда
 Желанья стрѣлы долетѣть невластны.
 Дѣвицѣ скромной много и того,
 Когда красы ея увидитъ мѣсяцъ.
 Злословіе разить и добродѣтель.
 Нерѣдко червь снѣдаетъ чадъ весны,
 Когда еще ихъ цвѣтъ не распускался;
 И на зарѣ росистой юныхъ лѣтъ
 Наиболѣе свирѣпствуетъ зараза.
 Будь осторожна; страхъ есть безопасность;
 И молодость сама себѣ всегдашній,
 Страшнѣйшій врагъ».

Если здѣсь не всѣ стихи равно отдѣланы, по крайней мѣрѣ
 они, такъ сказать, вылиты въ форму подлинника; ни малѣйшаго
 нѣтъ въ нихъ измѣненія ни въ отношеніи къ идеямъ, ни даже въ
 отношеніи къ размѣру и числу стиховъ. Вы, можетъ-быть, не
 очарованы Шекспировскою прелестью поэзіи, но она вамъ уже
 понятна, какъ на вѣрной гравюрѣ произведеніе Рафаэля.

Это же самое въ новомъ переводѣ выражено слѣдующими
 стихами:

«Не спору, что Гамлетъ, быть можетъ,
 Одушевленъ къ тебѣ любовью чистой;

Но онъ не властенъ въ жребіи своемъ:
 Онъ долженъ жертвовать собой отчизнѣ,
 И ты ему подругой быть не можешь.
 Подумай, чтожь тебѣ въ его любовной пѣснѣ,
 Въ мечтѣ опасной? Если чувство сердца
 Ты дашь замѣтить принцу, кто порука,
 Что онъ не увлечетъ тебя въ погибель?
 Свѣтъ такъ безсмысленъ, люди такъ коварны...
 И если клевета найдетъ причину,
 Злословіе тебя погубитъ. Вѣрь,
 Что опасеніе лучшая преграда
 Отъ пылкой страсти и злорѣчья свѣта.»

Подобное извлеченіе изъ подлинника можно ли назвать переводомъ? Трудно даже угадать, съ какою цѣлю переводчикъ принялъ трудъ свой, избравъ для него такую методу. Если онъ не увлеченъ былъ въ приводимомъ отрывкѣ прелестію и этихъ стиховъ Шекспира:

«The chariest maid is prodigal enough
 If she unmask her beauty to the moon»,

пропустивъ ихъ безъ вниманія со многими другими, то не въ правѣ ли мы думать, что онъ не все оцѣнилъ въ своемъ оригиналѣ?

ПУТЕШЕСТВІЕ ПО РОССИИ ГОСУДАРЯ НАСЛѢДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА ¹⁾.

1838.

Въ современной исторіи Россіи 1837 годъ достопамятенъ по многимъ происшествіямъ. Но ни одно изъ нихъ не представляло такой радостной неожиданности, такого умилительнаго зрѣлища, какъ путешествіе Е. И. В. Государя Наслѣдника Цесаревича. Оно оживотворило послѣдніе годы поколѣнія отживающаго, и окрило веселою надеждою все грядущее поколѣнія возникающаго. Пройдетъ много лѣтъ, а въ немолчныхъ преданіяхъ оно будетъ жить, какъ живутъ рассказы о томъ, чѣмъ было разогрѣто сердце всего народа. Новые пришельцы въ свѣтъ позавидуютъ намъ современникамъ.

Съ воспоминаніемъ этого происшествія прежде всего наполняетъ душу мысль о томъ, кому Россія обязана этимъ счастіемъ. Каждый отецъ убѣжденъ чувствами собственнаго сердца, что августѣйшій Родитель высокаго Путешественника полнымъ самоотверженіемъ ознаменовалъ любовь свою къ подданнымъ. Еще расцвѣтающему юношѣ онъ указалъ подвигъ, требующій силъ мужества. Изъ объятій нѣжнѣйшей Матери, Сестеръ и Братевъ, отъ жизни мирной и счастливой, гдѣ легкіе труды смѣнялись отдыхомъ и привычными забавами, Онъ вызвалъ Его на обширное поприще заботъ, лишеній и непрерывной дѣятельности.

По Россіи можно путешествовать для разсѣянности, для удовольствія, какъ путешествуютъ въ южныхъ европейскихъ государствахъ. Она, слава Богу, разнообразна и обширна. Не таково было предназначеніе путешествія Государя Цесаревича.

¹⁾ Напечатано въ *Современникъ* 1838 г., т. IX, стр. 1—26, безъ подписи имени автора, какъ и вообще статьи Плетнева, помѣщавшіяся въ его журналѣ. Подписи вымышленныхъ буквъ подъ нѣкоторыми изъ нихъ будутъ нами означены.

Мысль Его Родителя обнимала одно благо народа и священное призваніе Наслѣдника престола. Обозрѣть наибольшее пространство государства, особенно края, самые отдаленные отъ столицъ; ближайшимъ образомъ познакомиться съ тѣми мѣстами, которыя составляютъ средоточіе населенности или исключительной промышленности народа; настигнуть, сколько позволитъ время и направленіе пути, любопытнѣйшіе сроки торговыхъ сѣздовъ и другія мѣстныя эпохи: вотъ, что предстояло въ путешествіи.

Познаніе всякаго государства есть предметъ многосложнѣйшій и, такъ сказать, нескончаемый. Въ отношеніи къ Россіи онъ представляется совершенно необъятнымъ. Ея части раскинулись на такомъ пространствѣ; ихъ особенности такъ поразительны; каждое племя жителей такую сохраняетъ самобытность въ домашнемъ и общественномъ быту; исторія, языки, вѣроисповѣданіе, нравы, увеселенія, образованность, промышленность, торговля и самыя понятія о богатствѣ, благосостояніи такъ неожиданно мѣняются передъ путешественникомъ, что, объѣхавъ Россію, онъ можетъ подумать, не объѣхалъ ли онъ весь свѣтъ.

Если бы за сто лѣтъ, представивъ картину такого государства, вмѣнили въ обязанность человѣку обнять эти части и вынести изъ труда ясную и полную мысль обо всемъ, къ чему долженъ былъ прикоснуться умъ его, — безъ всякаго сомнѣнія, онъ безплодно утратилъ бы силы свои въ непроницаемомъ хаосѣ. Мы живемъ въ счастливѣйшемъ вѣкѣ. Наука познанія государства созрѣла. Руководитель неоцѣненный, по словамъ поэта,

•
«Наука сокращаетъ
Намъ опыты быстротекущей жизни.
• • • • •
Какъ съ облаковъ, ты можешь обозрѣть
Все царство вдругъ.»

И для августѣйшаго Путешественника нашего наука была предметомъ занятій предварительныхъ. Она ввела Его въ свою сферу и раскрыла передъ Нимъ свои сокровища. Но есть знаніе, которое необходимо самому образованному уму, знаніе, столь драгоцѣнное даже для науки, что она, при его содѣйствіи, становится болѣе человѣчною и вполнѣ достигаетъ своей цѣли. Это знаніе приобрѣтается воззрѣніемъ не на идеи, а на вещи. Оно приводитъ въ дѣятельность всѣ способности, всѣ силы души. Отъ него пробуждаются всѣ чувствованія, двигатели дѣяній доблестныхъ и великихъ. Изъ него возникаютъ тѣ внезапныя и счастливыя соображенія и перемены, которыя такъ изумительны по своей отчетливости, простотѣ и пользѣ. Если во всякомъ состояніи это знаніе сообщаетъ уму окончательное совершенство и служитъ лучшимъ ручательствомъ успѣховъ: можно вообразить, какъ оно важно и какъ необходимо для особы, которой умъ долженъ быть готовъ стать на каждой точкѣ обширнѣйшей въ свѣтѣ монархіи. Какими пособіями всѣхъ наукъ и всѣхъ искусствъ можно перенести въ душу человѣка то, что мгновенно, однимъ появленіемъ своимъ, пробуждаетъ въ ней самый предметъ? Звуки словъ, буквы, очерки, цифры, всѣ они улетаютъ отъ насъ безъ слѣдовъ: въ нихъ менѣе предметъ отражается, нежели въ своей безплотной тѣни. Взглядъ на природу и гражданственность обитателей разныхъ краевъ Россіи необходимо долженъ былъ прояснить, дополнить и воплотить идеи царственнаго Путешественника. Изъ огромной массы названій, чиселъ, безцвѣтныхъ фигуръ образовалась для него прекрасная картина, или, справедливѣе сказать, все для Него получило жизнь, движеніе, голосъ, цвѣтъ: теперь на каждый звукъ есть отвѣтъ въ его воображеніи, умѣ и сердцѣ.

Мысль—избрать Россію, преимущественно предъ другими государствами Европы, первымъ поприщемъ практическаго образованія Государя Цесаревича—заключаетъ въ себѣ гораздо болѣе, нежели простую истину, что Наслѣднику престола всего естественнѣе напередъ узнать то государство, во главу котораго

предызбранъ онъ Провидѣніемъ. Предметы первыхъ впечатлѣній человѣка, первыхъ думъ его, перваго умственного торжества, независимо отъ насъ, навсегда утверждаются въ душѣ двойственнымъ союзомъ: мы *лучше* всего *узнаёмъ* ихъ, и *болѣе* всего *любимъ*. Любознательность, какъ и прочія наклонности души, бываетъ разныхъ возрастовъ: въ ней есть и юношескій жаръ, и осмотрительность мужества, и равнодушіе старости. Бодрая, свѣжія силы духа неутомимы. Онъ трудовъ и препятствій не боится. Безпрерывное напряженіе—это ихъ жизнь, естественное состояніе. Жадный познаній умъ пользуется ихъ готовностію. Онъ хочетъ овладѣть всѣмъ. Новость подстрекаетъ его стремленіе. Онъ входитъ въ предметы своего изученія, то обнимаетъ ихъ съ высоты, то разсматриваетъ отдѣльно каждую часть; малѣйшее новое явленіе заставляетъ его отыскивать тайную причину; онъ весь любопытство и вниманіе. Человѣкъ въ этомъ возрастѣ любознательности доходитъ до первыхъ ясныхъ идей, которыя безцѣнны по своей живости и полнотѣ. Это лучшія его пріобрѣтенія. Повторяя свои наблюденія надъ другими предметами того же рода, онъ сдѣлается равнодушнѣе, а выводы его будутъ не столь обширны и менѣе плодотворны. Начавъ съ Россіи практическое изученіе государственнаго вѣдѣнія, Государь Цесаревичъ естественно долженъ былъ съ юношескимъ рвеніемъ, съ невольною страстію привязаться къ своему занятію. Для Его дѣятельнаго ума оно служило первою пищею, которая животворила его свѣжую душу. Каждое пріобрѣтеніе свободно водворилось въ своемъ мѣстѣ, и тамъ сохранится во всей цѣлости и ясности.

Другая истина намъ еще понятнѣе, потому что ея основаніе положено самою природою въ нашемъ сердцѣ. Изъ всѣхъ умственныхъ сокровищъ, собранныхъ опытами жизни, какія для насъ неизмѣнно дороги? Къ чему такъ охотно, съ такою любовію возвращаемся мы отовсюду? Къ тому, что воспитало умъ нашъ, надъ чѣмъ испытывали мы первыя его силы, что ласкало наше самолюбіе первыми успѣхами, первыми побѣдами. Умъ человѣка,

подобно сердцу его, не безъ страстей. Есть неизъяснимая сладость въ тѣхъ воспоминаніяхъ, которыя уносятъ насъ къ началу умственныхъ трудовъ нашихъ. Это первая, чистая любовь — врожденное желаніе совершенства, благодатный источникъ нравственныхъ достоинствъ. Она, какъ святыня, почіетъ во глубинѣ нашего сердца и свѣтитъ, незримо для другихъ, на каждый шагъ въ нашей жизни. Въ этой привязанности къ предметамъ первыхъ занятій умственныхъ есть, можетъ быть, пристрастіе и едва ли справедливое; но оно прекрасно, потому что естественно; оно трогательно, потому что всегда рисуетъ воображенію одну изъ лучшихъ сторонъ души человѣческой. Таково повсемѣстное дѣйствіе на человѣка звуковъ отечественнаго языка. Въ каждомъ словѣ его для сердца есть исторія, которой самая умильная часть современна развитію первыхъ нашихъ умственныхъ способностей.

Такимъ образомъ вступленіе въ общественную жизнь Наслѣдника престола было въ нѣкоторомъ смыслѣ обрученіемъ Его съ отечествомъ. Союзъ важный и восхитительный для обѣихъ сторонъ: въ немъ торжественный залогъ и радостная надежда. Наслѣдникъ престола обозрѣлъ будущее свое семейство; душа Его полна мыслей о немъ, которыя въ Немъ зрѣютъ. Народъ ликуетъ въ неиспытанномъ восторгѣ. Ему суждено было наслаждаться лицезрѣніемъ Того, кто, непричастный ни единому Его безрадостному помышленію, уже въ имени своемъ соединяетъ всѣ его радости. Встрѣчая и провожая вожделѣннаго Гостя, который единственно для него посѣщалъ и красивые города и скудныя селенія, народъ принесъ Ему въ дань лучшіе дары свои: слезы умиленія и чистую любовь. Всѣ эти обстоятельства были слѣдствіемъ одной глубокой мысли, которую августѣйшему Монарху внушила Его отеческая попечительность о благѣ подданныхъ.

Первоначально днемъ отъѣзда Его Императорскаго Высочества изъ Санктпетербурга назначалось 25-е число апрѣля. Маршрутъ составленъ былъ до Кіева, куда бы Государь На-

слѣдникъ могъ прибыть 16-го августа. Это путешествіе представляло проѣзду $10,602\frac{1}{2}$ версты. Но позднее наступленіе весны сдѣлалось причиною небольшого измѣненія въ планѣ. Вмѣсто поѣздки въ Вологду избрана была дорога прямо въ Тверь. Новый маршрутъ оканчивался Вознесенскомъ въ Херсонской губерніи. Протяженіе пути по маршруту было $11,919\frac{1}{4}$ верстъ. Отбытіе Его Высочества послѣдовало изъ Царскаго Села 2-го мая; срокомъ приѣзда въ Вознесенскъ назначено 24-е августа.

Во время путешествія, въ свитѣ Государя Наслѣдника находились слѣдующія лица: генералъ-адъютантъ А. А. Кавелинъ; дѣйствительные статскіе совѣтники: В. А. Жуковский и К. И. Арсеньевъ; полковники: флигель-адъютантъ С. А. Юрьевичъ и В. И. Назимовъ; г. лейбъ-хирургъ Енохинъ; подпоручикъ графъ Віельгорскій и прапорщики: Паткуль и Адлербергъ. Болѣзнь привудила остаться въ Санктпетербургѣ его свѣтлость генералъ-адъютанта князя Х. А. Ливена, который равнымъ образомъ сопутствовалъ бы Его Высочеству.

Первое направленіе пути Государя Цесаревича отъ Санктпетербурга простиралось на востокъ. Посѣщены были слѣдующія губерніи: Санктпетбургская, Новгородская, Тверская, Ярославская, сѣверозападная часть Владимірской, Костромская, часть Вологодской, Вятская, Пермская и Тобольская. Изъ посѣщенныхъ мѣстъ Его Высочествомъ послѣднею точкою на востокѣ былъ городъ Тобольскъ. На проѣздѣ $3,717\frac{1}{4}$ верстъ, разстоянія отъ Санктпетербурга до Тобольска, употреблено тридцать два дня, между которыми по два и по три сряду проводимы были Государемъ Наслѣдникомъ въ губернскихъ городахъ и другихъ мѣстахъ примѣчательныхъ.

Обозрѣвъ отъ запада къ востоку всю Европейскую Россію и часть Азіятской, Его Высочество снова изволилъ возвратиться, нѣсколько южнѣе, опять черезъ всю почти Россію, принявъ направленіе изъ Тобольска черезъ Ялуторовскъ и Курганъ въ Оренбургскую губернію. Въ этомъ направленіи путешествія

посѣщены губерніи: Оренбургская, Казанская, Симбирская, Саратовская, Пензенская, Тамбовская, Воронежская, восточный уголь Орловской, Тульская, Калужская и Смоленская. Крайнимъ мѣстомъ на югѣ была Илецкая Защита, въ 70-ти верстахъ отъ Оренбурга, а на западѣ городъ Красный, въ 40 верстахъ отъ Смоленска, до котораго отъ Кургана Государь Цесаревичъ находился въ путешествіи сорокъ дней. Изъ нихъ тринадцать употреблены на обозрѣніе одной Оренбургской губерніи, и въ особенности весьма замѣчательнаго Златоустовскаго горнаго округа, селеній, обитаемыхъ Башкирскимъ войскомъ, и всей военной линіи, начиная отъ Верхнеуральска черезъ Оренбургъ до Уральска. Подобно какъ и въ первомъ направленіи, въ каждомъ губернскомъ городѣ и въ каждомъ особенно примѣчательномъ мѣстѣ Его Высочество изволилъ останавливаться на два и на три дня. Второй переѣздъ составилъ 5,098 верстъ.

По третьему направленію пути, простиравшемуся по губерніямъ, сосѣдственнымъ съ Московскою, опять на востокъ, осмотрѣны губерніи: сѣверозападная часть Орловской, югозападная часть Тульской и снова Калужская. Здѣсь все вниманіе высокаго Путешественника привлекли мѣста, ознаменованныя славными событіями 1812 года, какъ-то: Малоярославецъ, Тарутино и Боровскъ. Отсюда Его Высочество, черезъ Вереку и Можайскъ, изволилъ отправиться на Бородинское поле, гдѣ два дня были посвящены осмотру всѣхъ мѣстъ великой битвы, которая рѣшила судьбу Россіи. 24-го іюля Государь Цесаревичъ прибылъ въ Москву послѣ 38-ми дневнаго путешествія на протяженіи только 749 верстъ. Москва, мѣсто рожденія Государя Наслѣдника, сердце Россіи, краснорѣчивая лѣтопись народной славы, была обозрѣваема Его Высочествомъ въ продолженіе шестнадцати дней. Государь Цесаревичъ посѣтилъ Святотроицкую Сергіевскую Лавру съ Вифанією, Воскресенскій монастырь или новый Іерусалимъ, молился у гроба св. Саввы Сторожевскаго въ Звенигородѣ, и обозрѣлъ въ историческихъ окрестностяхъ Москвы села: Коломенское, Преображенское и Измайлово.

Четвертое направленіе предпринято было первоначально далѣе къ востоку черезъ центръ Владимірской губерніи до Нижняго Новгорода, гдѣ Государь Цесаревичъ изволилъ присутствовать во время отправленія знаменитой ярмарки. Отсюда путешествіе продолжалось на югозападъ, черезъ южный край Владимірской губерніи, по Рязанской, снова Тульской, Орловской и Курской губерніямъ. Проѣхавъ черезъ Харьковъ и Полтаву, Его Высочество съ 24-го на 25-е августа въ ночи прибылъ въ Вознесенскъ, пробывши въ дорогѣ отъ Москвы 15 дней, на протяженіи 2,041 версты. Здѣсь высокаго Путешественника ожидало неизобразимое счастье: послѣ разлуки, продолжавшейся почти четыре мѣсяца, онъ могъ обнять августѣйшаго своего Родителя. За нѣсколько часовъ до пріѣзда Государя Цесаревича въ Вознесенскъ, сюда же прибыли Государыня Императрица и Великая Княжна Марія Николаевна, съ которыми Его Высочество имѣлъ свиданіе въ Москвѣ на короткое время.

Въ путешествіи съ Государемъ Императоромъ Великій Князь обозрѣлъ въ Херсонской губерніи города: Николаевъ и Одессу. Послѣ чего, моремъ переправившись въ Крымъ, онъ присутствовалъ на морскихъ маневрахъ въ Севастополѣ. Посѣтивъ Бахчисарай и Симферополь, Государь Наслѣдникъ прибылъ на южный берегъ Крыма. Здѣсь, вмѣстѣ съ Императорскою Фамиліею, проведено Его Высочествомъ нѣсколько дней въ Алупкѣ, въ домѣ графа Воронцова, послѣ чего совершенно имъ путешествіе моремъ съ Государемъ Императоромъ для обозрѣнія Геленджикской и Анапской крѣпостей. Первая изъ нихъ была дальнѣйшею точкою въ поѣздкѣ Государя Наслѣдника на юговостокъ по Черному морю.

25-го сентября въ Керчи Государь Цесаревичъ разлучился съ Его Величествомъ, по случаю отбытія Государя Императора за Кавказъ. Пробывши два дня снова на южномъ берегу Крыма съ Ея Величествомъ, Государь Наслѣдникъ 28-го сентября прибылъ въ Симферополь и на 29-е отправился въ путь для новыхъ обозрѣній. Онъ проѣхалъ съ юга на сѣверъ всю Таври-

ческую губернію до Перекопскаго перешейка, откуда, черезъ Бериславль и Никополь (Екатеринославской губерніи), 1-го октября прибылъ въ Екатеринославль. Продолжая направленіе къ сѣверу, черезъ Кременчугъ, Великій Князь Наслѣдникъ достигнулъ Кіева. Въ умиленіи отъ дивнаго зрѣлища святыни его и древностей, посреди которыхъ Монаршею волею воздвигнуть новый храмъ наукъ, освященный именемъ Равноапостольнаго Великаго Князя древней Руси, Государь Цесаревичъ отправился въ обратный путь къ югу, и посѣтилъ Полтаву и Харьковъ. Отсюда, черезъ Константиноградъ, направленіе принято было на берега Азовскаго моря. Осмотрѣны Меонійскія колоніи, Нагайскія поселенія и новосоздаемые города Нагайскъ и Бердянскъ. По тракту совершенно обзорѣніе вновь устроеннаго Азовскаго казачьяго войска и городовъ Мариуполя, Таганрога, Ростова и Нахичевана. 18-го октября Его Высочество расположился на Дону въ Аксайской станицѣ, гдѣ на слѣдующій день имѣлъ счастье встрѣтить Государя Императора на возвратномъ пути Его Величества изъ-за Кавказа, 21 октября Государь Цесаревичъ, сопровождая августѣйшаго Родителя своего, явился съ нимъ въ Новочеркасскъ посреди доблестнаго казацкаго воинства, ввѣреннаго начальствованію Его Высочества.

Послѣднее обзорѣніе, начавшееся Симферополемъ и кончившееся Новочеркасскомъ, обнимало слѣдующія губерніи: Таврическую, Херсонскую, Екатеринославскую, южный край Полтавской, снова Екатеринославскую, по сѣверному ея протяженію, Кіевскую, югозападный уголъ Черниговской, Полтавскую на всемъ ея протяженіи отъ Переславля до Полтавы, Харьковскую, въ третій разъ Полтавскую въ юговосточномъ ея углубленіи, снова Екатеринославскую, береговой край Таврической губерніи въ сѣверовосточной ея полосѣ, приморскія стороны Екатеринославской и наконецъ Землю Донскихъ казаковъ. Это обзорѣніе продолжалось двадцать три дня. Протяженіе пути содержитъ 2,668 $\frac{1}{4}$ верстъ.

Исчисленія пространствъ и времени, приводимыя здѣсь, еще

неполны. Невозможно съ точностію опредѣлить многочисленныхъ выѣздовъ, которые изъ Москвы и другихъ мѣстъ предпринимались были Его Высочествомъ для обозрѣнія всего любопытнаго, что только находилось гдѣ нибудь не очень въ дальнемъ разстояніи отъ главнаго пути. Всѣ переѣзды Государя Наслѣдника, когда Онъ сопровождалъ августѣйшихъ своихъ Родителей, не введены въ представляемое исчисленіе. Протяженіе на возвратномъ путешествіи равнымъ образомъ сюда не внесено. Здѣсь представляется только время, когда Его Высочество находился въ дорогѣ одинъ со своею свитою. Итогъ этой поѣздки составляетъ 148 дней и 14,273½ версты. Воображеніе каждаго челоуѣка, кто испыталъ только силу впечатлѣній, дѣйствующихъ въ юномъ сердцѣ и любознательномъ умѣ путешественника, можетъ представить живо, каковы должны быть слѣдствія итога, составленнаго приблизительно.

Обратный путь въ Москву, куда Государь Цесаревичъ возвратился 26 октября, и въ Санктпетербургъ, снова узрѣвшій Его Высочество 12 декабря, совершенъ былъ Великимъ Княземъ Наслѣдникомъ вмѣстѣ съ Его Императорскимъ Величествомъ.

И такъ двѣ трети года посвящены Его Высочествомъ обзору любопытнѣйшихъ предметовъ въ отечествѣ. Чтобы исполнѣ постигнуть, сколько можетъ въ такое время Наслѣдникъ престола, даже на самомъ обширномъ пространствѣ, приобрѣсти благотворнѣйшихъ идей, усвоить полезнѣйшихъ знаній, повѣрить рождавшихся въ немъ мыслей, вникнуть въ природу вещей и сдѣлаться какъ самовидецъ непосредственнымъ судьей труднѣйшихъ государственныхъ вопросовъ, — чтобы все это живо почувствовать, надобно мысленно слѣдовать за Нимъ и видѣть, какъ родительская предусмотрительность сберегала для Него каждую минуту и обращала въ пользу каждый Его шагъ. Извѣстно уже, что въ губернскихъ городахъ, ко времени прибытія Государя Цесаревича, приготовлены были выставки, гдѣ соединено было все, что только находится любопытнѣйшаго въ цѣлой губерніи изъ произведеній природы и народной промышленности. Взглядъ на

эту общность мѣстнаго достоянія, на этотъ итогъ силъ естественныхъ и искусственныхъ, приводилъ мгновенно августѣйшаго Путешественника къ самымъ яснымъ и обширнымъ заключеніямъ. Изумительная быстрота въ переѣздахъ разстояній длинныхъ доставляла возможность не оставлять безъ посѣщенія самыхъ мало-извѣстныхъ мѣстъ, чтобы на всемъ остановлено было собственное око Императорскаго Первенца.

Ко времени пугешествія, по повелѣнію Его Императорскаго Величества, составленъ былъ особенный путеуказатель. Въ немъ, преподающій Великому Князю Россійскую исторію и статистику, д. с. с. Арсеньевъ изложилъ всѣ важнѣйшія примѣчательности на пути Его Высочества. Каждый переѣздъ, достопамятныя на немъ мѣста, любопытное селеніе или городъ, даже частныя лица, сдѣлавшіяся извѣстными по какимъ-нибудь полезнымъ предпріятіямъ, все уже въ системѣ, предварительно мелькавшее воображенію Путешественника, ожидало Его воззрѣнія и новой мысли. Путеуказатель не только облегчалъ выборъ предметовъ любопытства, но и служилъ какъ бы нитью для собственныхъ идей Его Высочества, на которой онѣ въ порядкѣ и полнотѣ нанизывались для будущихъ соображеній. Это не иначе можно чувствовать, какъ пробѣжавъ сколько-нибудь страницъ самаго сочиненія. Вотъ, для любопытства людей наблюдательныхъ, отрывки изъ путеуказателя.

«Отъ Сарапула (Вят. г.) до Осы (Перм. г.) 215 верстъ. Отъ Сарапула на разстояніи 38 верстъ дорога лежитъ вдоль праваго берега Камы по живописнымъ возвышенностямъ, оѣвленнымъ лѣсами, до станціи *Забѣлаева*, отъ которой 30 верстъ въ западную сторону находится *Ижевскій* казенный оружейный заводъ, построенный въ 1760 г.; мастеровыхъ въ семъ заводѣ 3,430; непремѣнныхъ работниковъ, приписанныхъ къ заводу, конныхъ 500, пѣшихъ 599, при нихъ помощниковъ 575, а всего 5,104 человекъ. Матеріаловъ употребляется на сумму около 600 т. р.; выдѣлываются разные инструменты, оружія, лафетныя оковки и разнаго сорта желѣзо. При переѣздѣ изъ Ижев-

скаго завода въ *Камско-Воткинскій* дорога лежитъ большею частію вдоль по берегу р. Сивы, которая выше Забѣгалова впадаетъ въ Каму. Воткинскій заводъ, основанный въ 1752 г., улучшенъ по руководству горнаго чиновника Москвина, стоитъ на р. Воткѣ, въ 7 верстахъ отъ впаденія ея въ Сиву; устья Вотки образуютъ искусственный бассейнъ, всегда полный водою столько, чтобы спустить до Сивы самые большіе грузы; на семь заводѣ непремѣнныхъ работниковъ 1,805, приписныхъ къ заводу крестьянъ 2,590, а всего 4,395 челов. Матеріаловъ употребляется на 300 т. р., а выдѣлывается на сумму свыше 500 т. р. Англичанинъ Пенъ принялъ на себя въ 1836 году выдѣлку укладу или стали на манеръ англійскій. Мѣстное заводское управленіе состоитъ изъ заводской конторы, заводскаго разряда, управляющаго цехами, окружной и заводской полиціи, военнаго суда, чертежной, заводскихъ школъ, госпиталя и проч.

«Близъ Воткинскаго завода переправа черезъ р. Сиву и въѣздъ въ Пермскую г. въ Осинскій уѣздъ, плодороднѣйшій въ губерніи и составляющій вмѣстѣ съ Оханскимъ и Пермскимъ уѣздами такъ называемый *Пермскій горный округъ*; отъ станціи Степанова, первой въ Пермской г., дорога пролегаетъ вдоль праваго берега Камы на пространствѣ около 30 верстъ; на трактѣ находится *Рождественскій* заводъ Зеленцова желѣзодѣлательный; отъѣхавши 11 в. переправа на лѣвый берегъ Камы у деревни Елены, отъ которой около 50 в. до города Осы.

«Оса при Петрѣ Великомъ приписанъ былъ къ Казанской г., въ 1737 г. поступилъ въ завѣдываніе Оренбургскаго воеводы и назначенъ охраннымъ пунктомъ противъ Башкирцевъ, съ 1781 года уѣзднымъ Пермской г., но числомъ жителей и теперь не значителенъ, равно какъ и промышленностію ни фабричною, ни торговою; въ уѣздѣ его находятся горные заводы *Камбарскій* на Камѣ ниже Сарапула, *Ашабскій* и *Бымовскій* г. Демидова, *Уинскій* и *Шермантскій* наслѣдниковъ д. с. с. Яковлева и *Бизярскій* купца Кнауфа; всѣ они не столь важны, какъ въ дру-

гихъ уѣздахъ ближе къ хребту Уральскому. Въ Осинскомъ уѣздѣ находится до 12 т. Башкировъ и до 1,000 Тептярей.

*

«Отъ Юхнова до Вязьмы (Смолен. г.) 90 верстъ. Болѣе $\frac{1}{4}$ всего населенія Юхновскаго уѣзда состоитъ изъ помѣщичьихъ крестьянъ; земля почти вездѣ ровная и довольно плодородная; въ 50 верстахъ отъ Юхнова за селомъ Знаменскимъ переѣзды съ праваго берега Угры на лѣвый; Юхновскій уѣздъ кончается уже вблизи Вязьмы, и потому многіе жители сего уѣзда никогда не ѣздятъ въ свой городъ по дѣламъ торговымъ, исправляя всѣ надобности свои въ Вязьмѣ, которая и ближе къ нимъ и важнѣе по промысламъ и по торговлѣ. На полѣ подъ Вязмою смотрѣ 45-ти тысячнаго корпуса войскъ Государемъ Императоромъ въ 1827 году.

«Вязьма основана, вѣроятно, въ XIII вѣкѣ, имѣла своихъ удѣльныхъ князей (князья Вяземскіе), однородцевъ съ великими князьями Смоленскими, была владѣніемъ Литовскимъ около 100 лѣтъ (отъ исхода XIV до конца XV), при царѣ Грозномъ зачислена была въ его опричнину, сдѣлалась потомъ вотчиною Бориса Годунова, служила нѣкоторое время пребываніемъ Марины Мнишекъ, на время покорствовала Владиславу, съ которымъ заключенъ здѣсь миръ въ 1634 г.; во время моровой язвы въ 1554 и 1655 была мѣстомъ убѣжища для царскаго семейства и патріарха Никона; дворцовая церковь. Сей городъ встарину имѣлъ крѣпость, обнесенную валомъ, рвами и каменными башнями, изъ коихъ одна уцѣлѣла доселѣ, и по указу 1836 г. исправляется. Вязьма въ нынѣшнемъ ея состояніи есть лучшій городъ Смоленской г.; по торговлѣ, простирающейся на сумму до 2 м. р., важнѣе самаго Смоленска; городъ лежитъ на возвышенностяхъ, прерываемыхъ отлогостями, по коимъ струится рѣчка Вяземка, и по склону коихъ находится множество садовъ и огородовъ. Два монастыря: Предтечевъ мужскій и Аркадьевскій женскій, первый основанъ въ 1542 г., а второй въ 1832; изъ церквей замѣ-

чательны: соборная, построенная на самомъ лучшемъ мѣстѣ, съ коего прелестный видъ на городъ; въ этомъ соборѣ Евангеліе, подаренное царемъ Михайломъ въ 1641 г. съ собственноручною его подписью, и три новѣйшія большого достоинства картины: Рождество Спасителя, царь Давидъ и пророкъ Ісаія. Ярмарка, называемая Флоровская горка; заводовъ много, но не важные; Вяземскія коврижки или пряники; проектъ Окружной лечебницы. Пребываніе Государя Императора въ Вязмѣ въ 1827 году. Предполагаемый здѣсь монументъ въ память 1812 г., или дѣйствій 11-й дивизіи Чоблокова и 26-й дивизіи Паскевича. Высочайше утвержденное положеніе 1836 г. о проводѣ губернскаго Смоленскаго шоссе отъ Дорогобужа чрезъ Вязьму на Медынь и Малоярославецъ до Москвы.

*

«Отъ Бѣлгорода (Курск. г.) до Харькова 78 верстъ. За станціей *Черемошное* переѣздъ изъ Курской г. въ Харьковскую, которая представляетъ собою какъ бы одну безпрерывно продолжающуюся ярмарку; въ продолженіе круглаго года въ разныхъ пунктахъ губерніи отправляются огромные и прибыльные торги; во многихъ городахъ, полковыхъ мѣстечкахъ, слободахъ и селеніяхъ производится до 330 торговыхъ сѣздовъ, на кои бываетъ привозимо разныхъ товаровъ на сумму до 6 м. рублей; сверхъ того на всѣ эти ярмарки пригоняются большіе табуны заводскихъ лошадей и многочисленные гурты рогатаго скота и овецъ; важнѣйшіе торги отправляются въ Ахтыркѣ и Лебединѣ на западѣ, и въ Зміевѣ и Изюмѣ на юговостокѣ; всѣ отправленія торговля совершаются сухимъ путемъ, по совершенному отсутствію водныхъ сообщеній. Станція *Липцы*, первая въ сей губерніи, была прежде городомъ, нынѣ богатая слобода, заселенная войсковыми обывателями, потомками Слободскихъ казаковъ, вышедшихъ сюда въ XVII вѣкѣ изъ странъ заднѣпровскихъ. Грамоты, жалованныя симъ казакамъ отъ царя Алексія Михайловича и отъ Петра Великаго.

«Харьковъ на р. Харьковѣ и Лопани въ ложбинѣ, окружен-

ной горами, основанъ около половины XVII вѣка, сначала въ видѣ отдѣльнаго хутора, который, по умноженіи числа поселенцевъ, обратился въ людную слободу, и наконецъ въ городъ, бывшій главнымъ Харьковскаго полка, принадлежавшій къ Бѣлгородской губерніи съ 1727 по 1765, въ которомъ онъ былъ назначенъ провинціальнымъ городомъ Слободско - Украинской губ., тогда учрежденной; а въ 1780 наименованъ губернскимъ Харьковскаго намѣстничества, которое при императорѣ Павлѣ названо по прежнему Слободско-Украинскою губерніею, а съ 1834 Харьковскою. Харьковъ не имѣетъ никакихъ удобствъ въ мѣстности: безъ большой рѣки, даже безъ хорошей воды, на грунтѣ въ весеннее и осеннее время топкомъ и грязномъ, и несмотря на то, годъ отъ году растетъ и въ населеніи, и въ богатствѣ; благоденствіе Харькова начинается съ начала текущаго вѣка; четыре ярмарки и учрежденіе университета—причины его преуспѣянія; на 4-хъ харьковскихъ ярмаркахъ: Крещенской, Троицкой, Успенской и Покровской, бываетъ въ привозѣ товаровъ на сумму болѣе 50 м. р.; университетъ учрежденъ въ 1804 году. Коллегіумъ или духовная семинарія основана въ 1727 году фельдмаршаломъ княземъ М. М. Голицынымъ, который пожертвовалъ для того деревню и домъ; въ ней библіотека Стефана Яворскаго. Многолюдная гимназія и пансіоны; институтъ благородныхъ дѣвицъ. Здѣсь было Филотехническое общество, учрежденное по идеѣ Каразина. Предположеніе объ учрежденіи кадетскаго корпуса подъ главнымъ начальствомъ графа Аракчеева. За городомъ (въ двухъ вер.), въ домѣ бывшаго губернатора Хорвата, заведенія приказа общественнаго призрѣнія, съ большимъ садомъ.

«Въ кабинетѣ минеральномъ университета примѣчательны: изумрудъ, присланный въ 1831 г. по повелѣнію Государя Императора, аметистъ въ видѣ хлѣба, ландшафтный агатъ, агальматолитъ, отломокъ самороднаго желѣза, найденный Палласомъ въ 1771 г., діоптазъ изъ киргизскихъ степей, и азролитъ, упавшій около Бахмута. Дѣйствіе свободного винокурения на губернію».

Приведенные отрывки представляют мѣста изъ трехъ различныхъ путенаправленій, и характеризуютъ предметы, ярко отличающіеся одинъ отъ другаго. Принявши въ соображеніе столько средствъ, столько пособій, гармонически устроенныхъ для основательнаго изученія всей картины, раскинувшейся предъ взорами Путешественника, легко изъяснить, какимъ образомъ сдѣлалась совмѣстна быстрота переѣздовъ съ отчетистыми и полными изслѣдованіями предметовъ.

Въ путешествіи особы, столь священной для народа, есть польза нравственная, которой благотворныя дѣйствія превосходятъ всѣхъ выгодъ, съ перваго раза представляющихся холодному соображенію. Эта польза есть мѣтніе, воцаряющееся въ народѣ. Проникнутый убѣжденіемъ, что его счастье составляетъ первую заботу Монарха, онъ съ любовію исполняетъ долгъ свой. Государь и подданные образуютъ единое прекрасное цѣлое. Путешествующій по имперіи наслѣдникъ престола есть живой образъ самого Императора. Народъ, собираясь во срѣтеніе Его, не можетъ не чувствовать, сколь живое участіе внушаетъ судьба его Государю, который для его блага посылаетъ къ нему своего Сына. На какіе подвиги, на какія пожертвованія радостно не отважится онъ, когда дойдетъ до него слово отъ престола, откуда и въ хижины и въ терема являлся къ нему благовѣститель! Щедро по имперіи разсыпанныя благотворенія, въ утѣшеніе всѣхъ и каждого оставленныхъ слова, отъ полноты души въ пустынныхъ селеніяхъ никѣмъ незримо изъявленное участіе, не погибнуть онѣ, но подобно сѣменамъ возрастутъ въ красотѣ и принесутъ плодъ усладительный.

Государство сильно духомъ. Въ этомъ непостижимомъ сліянніи всѣхъ нашихъ мыслей и чувствованій таятся источникъ намѣреній, поступковъ нашихъ и страстей. Общественный духъ, какъ и все человѣческое, не живетъ безъ пищи. Внезапныя и торжественно-утѣшительныя явленія животворятъ его. Чѣмъ обширнѣе горизонтъ ихъ, чѣмъ ярче ихъ дѣйствіе; тѣмъ сильнѣе ихъ впечатлѣніе. Благотворное шествіе Наслѣдника престола даровало

новую пищу народному духу, котораго отличительною чертою въ гражданской жизни всегда была любовь къ Государю. Въ эту незабвенную эпоху она обновилась и выразилась явленіями столько же неисчислимыми, сколько и трогательными. Сопутники августѣйшаго Путешественника были свидѣтелями такихъ событий, которыя не умрутъ въ сердцахъ ихъ, и которыя не должны умереть для потомства. Этою лестною надеждою питается каждый Русскій. Въ лѣтописяхъ событій, сопровождавшихъ на пути Его Императорское Высочество, заключаются уроки дѣтямъ нашимъ, собственная наша слава и общественное благо. Это первые листы исторіи Государя Наслѣдника, первый вѣнокъ на юношескомъ прекрасномъ челѣ Его, это первый шагъ Его къ безсмертію.

Если бы кто почувствовалъ себя въ силахъ изобразить обратное дѣйствіе сего происшествія, и представилъ бы вѣрно, что происходило въ сердцѣ самого Путешественника при этомъ зрѣлищѣ всеобщаго народнаго восторга; какую нарисовалъ бы онъ картину для цѣлой Россіи! Каждую минуту что надобно было испытывать Ему въ этой новой жизни! Въ нѣжномъ своемъ возрастѣ, съ душою чувствительною, которая такъ полна любви къ добру, такъ наслаждается окружающимъ ее счастіемъ, съ юношескимъ воображеніемъ, воспламеняющимся отъ всего прекраснаго и доблестнаго, посреди умиленныхъ зрителей, которые разговаривали съ Нимъ и взорами, и движеніями, и слезами, и восклицаніями, Онъ, къ которому летѣли всѣхъ мысли, желанія, благословенія, Онъ долженъ былъ въ эти минуты проживать цѣлые годы. Неопытному сердцу Его Провидѣніе опредѣлило созрѣть посреди Россіи для ея блага. Крѣпчайшія узы, связывающія человека съ человекомъ, отечество возложило на Него: Онъ прослушалъ и изучилъ всѣ звуки родного языка; Онъ подходилъ, и съ теплою вѣрою прикоснулся устами своими къ святынѣ cadaго мѣста; Онъ былъ растроганъ и согрѣтъ любовію cadaго соотечественника, имъ видѣннаго. Онъ принялъ всѣ залоговъческаго счастья. И въ этомъ лучшее и вѣрнѣйшее благо Рос-

сіи. Оно увѣнчало все, чѣмъ могло обогатить Его путешествіе. И въ Немъ воспламенился тотъ благотворный духъ, изъ котораго истекають всѣ помыслы и дѣянія. Къ нашему счастью этотъ вождѣнный плодъ, повидимому, уже созрѣлъ. Въ письмѣ къ одному изъ своихъ наставниковъ (Его Высочество и для того умѣлъ еще ловить минуты) вотъ что начерталъ собственною своею рукою Государь Цесаревичъ: *«Я своими глазами и въблизи познакомился съ нашей матушкой-Россіею, и научился еще больше любить ее и уважать. Да, намъ точно можно гордиться, что мы принадлежимъ Россіи и называемъ ее своимъ отечествомъ»*.

О ЛИТЕРАТУРНЫХЪ УТРАТАХЪ ¹⁾.

1838.

Изъ частныхъ лицъ никто не дѣйствуетъ такъ прямо и сильно на общество, какъ человѣкъ съ какимъ бы то ни было талантомъ. Успѣхи сперва просто привлекають къ нему вниманіе; потомъ онъ даетъ направленіе искусству, которымъ занимается; наконецъ онъ становится столь чувствительною потребностію современниковъ, увлеченныхъ въ его сферу, что утрата его, въ нѣкоторомъ смыслѣ, кажется лишеніемъ самаго драгоцѣннаго достоянія нашего.

Искусства, называемыя изящными, справедливо признаются равно дѣйствительными въ отношеніи впечатлѣній, производимыхъ на душу, способную къ ихъ воспріятію. Живыя истины, обогащающія наблюдательный умъ преждевременною опытностію, покоряющія благодѣтельному своему владычеству наклонности наши и поступки, повсемѣстно дружески занимающія мысли наши, эти истины, какъ вѣчныя стихіи, образуютъ каждое произведеніе таланта, живописецъ ли онъ, или скульпторъ, музыкантъ, или лите-

¹⁾ Современникъ. IX, 27—56.

раторъ. Одна лишь степень совершенства художника даетъ имъ различіе. На высотѣ своей, какая только доступна человѣчеству, истина проста, ясна и неотразима, какъ все, чѣмъ говоритъ съ нашимъ сердцемъ природа.

Между тѣмъ нельзя не чувствовать, что есть большія выгоды на сторонѣ литератора. Всѣ таланты изъ одного источника заимствуютъ то, что ихъ произведеніямъ сообщаетъ владычество надъ нами. Пользуясь неисчерпаемымъ разнообразіемъ состоянія души нашей, они изъ каждаго ея движенія создаютъ отдѣльную полную жизнь. Чѣмъ независимѣе расширяетъ художникъ область своей производительности, чѣмъ многостороннѣе обнимаетъ событіе возсозидаемаго существа, чѣмъ глубже проникаетъ въ таинства его духа и чѣмъ счастливѣе оспариваетъ въ творчествѣ могущество самой природы, тѣмъ ближе къ нему цѣль и торжество его. Но сколько неудобствъ и затрудненій, когда надобно до этого достигнуть средствами матеріальными, дѣйствіемъ грубаго вещества! Душа художника, полная, какъ другой міръ, прекрасными и неисчислимыми созданіями, въ другую душу, жадную впечатлѣній и дѣятельности, должна переливать сокровища свои языкомъ безгласнаго, чтобъ не сказать мертваго, тѣла. Напротивъ того, сообщеніе души литератора съ нашею душою совѣмъ невещественное. По изумительному и неизъяснимому свойству своему, языкъ есть что-то духовное, тотъ же умъ, та же мысль, неотъемлемая принадлежность благороднѣйшей части благороднѣйшаго созданія. Зачатіе первыхъ въ насъ понятій есть въ то же время и зародышъ языка. Безъ словъ нельзя думать. Въ звукахъ и буквахъ, которые служатъ проводниками языка, такъ исчезаетъ матеріальность, что минутный разговоръ или чтеніе можетъ объять неизмѣримость пространства и времени: явленіе, изъясняемое только по законамъ духовныхъ силъ.

Если орудіе литератора такого свойства, что можно имъ дѣйствовать на душу другого человѣка почти непосредственно; если къ ней такъ легко приблизить и даже отразить на ней всѣ едва замѣтныя черты всякаго созданія мысли: то нѣтъ на землѣ вла-

сти, чаще и вѣрнѣ насъ покоряющей, какъ перо челоуѣка съ талантомъ. Въ художествахъ другого рода, успѣхамъ автора должно предшествовать исполненіе многихъ и не очень легкихъ условій. Если природа не надѣлила васъ нѣкоторою тонкостію органовъ чувствъ; если общежитіе или воспитаніе не познакомило васъ хоть съ первоначальными правилами искусства: его произведенія нѣмы для васъ, и душа художника для вашей души будетъ безъ откровенія. Какъ часто многочисленная толпа, остановясь передъ глубокомысленною драмою живописца, радуется только тому, что въ состояніи распознавать изображенные предметы, называя ихъ по имени, или изъясняя ихъ отношенія по жалкимъ своимъ понятіямъ. Подъ вліяніе писателя насъ обрекаетъ самое рожденіе, если получаемъ мы образъ челоуѣческій съ его разумною душою. Своему языку едва ли мы не столько же учимся, какъ глядѣть, слушать, осязать и проч. Существеннѣйшее пріобрѣтеніе въ изученіи языка, чувствованіе смысла, незамѣтно достается почти всякому даромъ. Итакъ общество людей, потому только, что существуетъ, оно уже состоитъ изъ данниковъ или почитателей литератора.

Всѣ знанія, всѣ помысленія, всѣ чувствованія могутъ принять форму литературнаго произведенія. Возьмите за основу созданія одну идею, вдохновенно возникнувшую во глубинѣ души вашей; окружите ее всѣмъ, что органически съ нею соединяется; сообщите своему творенію всю теплоту и весь свѣтъ, съ которыми чувство и мысль ваша обнимали его при самомъ рожденіи; пусть жизнь съ ея движеніемъ, выразительностію и разнообразіемъ отразится въ каждой части: о чемъ бы вы ни писали, присутствіе таланта освятитъ трудъ, и мы получимъ изящное произведеніе. Никакая строгая классификація не въ состояніи предварительно отдѣлить нѣсколько предметовъ и сказать: они въ область литературы не входятъ. Только историческое изслѣдованіе, подъ руководствомъ чувства или критическаго таланта, не въ будущемъ, но въ прошедшемъ, распредѣляетъ памятники слова по областямъ ихъ. Любознательныя изысканія и точныя истины

созрѣваютъ также въ душѣ, которая рисуетъ страсти въ самыхъ фантастическихъ образахъ. Кто разгадаетъ, съ какою идеею предстанетъ она предъ нами въ полномъ своемъ блескѣ и величїи? Развѣ Кювье и Гумбольтъ не литераторы, потому что этимъ именемъ привыкли мы называть Шатобріана и Гёте? Міръ идей великихъ естествоиспытателей развѣ не представляетъ такого же стройнаго цѣлаго; развѣ нѣтъ въ немъ красокъ жизни; развѣ менѣе мы сочувствуемъ съ нимъ, и не столько изъ него переносимъ въ душу трогających насъ образовъ и умиленныхъ истинъ, сколько изъ міра, въ которомъ властвуютъ ораторъ и поэтъ?

Талантъ литератора, господствуя въ каждой области мысли и чувствованій, способенъ дѣлить сокровища свои съ каждымъ человѣкомъ, смотря по его кругу дѣятельности и даже по его возрасту. Онъ, какъ золото, съ удивительною вѣрностію и удобствомъ принимаетъ всѣ роды вещей, удовлетворяетъ всѣмъ потребностямъ вкуса и всѣмъ неистощимымъ прихотямъ жизни. Какою взыскательностію остановите вы его гибкость и дѣятельность? Всѣ усилія теорій до сихъ поръ не въ состояніи были даже приблизительно исчислить видоизмѣненій того, чѣмъ увлекаютъ и могутъ еще увлекать насъ счастливыя произведенія литературы. Отъ веселой шутки до высокихъ впечатлѣній, погружающихъ душу въ безмолвное благоговѣніе, пройдите мысленно по этой безконечной лѣстницѣ явленій ума, и укажите на человѣка, который бы ни на единой ступени не нашелъ для себя пищи, сладостной для его вкуса. Нѣтъ, сколько общежитіе, воспитаніе, привычки, характеры, занятія и тысяча другихъ обстоятельствъ, сколько ни дробятъ они людей на безчисленныя касты, сословія, круги и устраненія, во всякомъ отдѣлѣ человѣкъ изъ сокровищницы литературы получаетъ свою долю, свое желанное стяжаніе и наслаждается имъ свободно и счастливо. Всѣ минуты досуга или отдыха, этотъ праздникъ души, радостнымъ кружкомъ своимъ защищающій ее отъ сообщенія съ неизбежными заботами жизни, кому приносимъ мы въ жертву съ полнымъ удовольствіемъ

емъ? тихой, безмолвной бесѣдѣ съ любимымъ нами писателемъ. Онъ тайный, завѣтный другъ нашъ. Онъ нашъ совѣтникъ. Онъ окриляетъ нашъ духъ. Онъ единственный для насъ наставникъ безъ угрюмага чела, безъ холодности, безъ сухости. Его наказъ провожаетъ путника въ дорогу и освѣжаетъ силы его до утѣшительнаго свиданія.

Въ этомъ дивномъ орудіи, которымъ писатель дѣйствуетъ на насъ, въ этой неизмѣримости круга, гдѣ онъ поставленъ призваніемъ своимъ, въ этой неисчислимости разнообразныхъ красотъ, которыми облакаетъ онъ свои произведенія, раскрываются только общія его преимущества предъ талантомъ другого искусства. Они изъясняютъ почетныя права, которыми великіе писатели пользуются въ исторіи народовъ. Тамъ смиренный затворникъ, проведеній цѣлую жизнь въ тиши кабинета, въ бесѣдѣ съ давно умершими товарищами ремесла своего, выводится на судъ и зрѣлище вѣковъ, какъ двигатель общественныхъ дѣяній наравнѣ съ вождями воинственныхъ силъ, наравнѣ съ правителями гражданского устройства. Его легкое созданіе, неувядающая мысль, мгновенный плодъ задумчивости, приводится въ объясненіе изумительнаго поворота народной жизни. Имя его, не намѣченное ни на одномъ пергаментѣ, свидѣтельствующемъ о гражданскихъ доблестяхъ, помѣщаются въ звѣздномъ вѣнцѣ, подъ которымъ сіяетъ имя знаменитой націи. Для бесѣды съ нимъ пробуждаютъ звуки давно умолкнувшаго языка, и постигнувъ смыслъ его чуждой рѣчи, переливаютъ струи пера его въ сердца позднѣйшихъ поколѣній.

Между современниками и писателемъ есть другія отношенія, которыя странно привязываютъ насъ къ таланту и подчиняютъ лучшую часть бытія нашего условіямъ его процвѣтанія. Онъ, въ нѣкоторомъ смыслѣ, похожъ на счастье, которое, если угодно, не составляетъ необходимости въ жизни, пока судьба намъ не послала его, но обращается уже въ самую вопіющую потребность сердца, когда мы сдружились съ нимъ. Живутъ люди и безъ достатку, и безъ семейныхъ радостей, и безъ дружескихъ привѣ-

товъ, и даже безъ вѣрнаго здоровья. Никто однакожъ не назоветъ излишествомъ требованія, прихотью, если вы желаете себѣ подобныхъ благъ. Еще менѣе свойственно человѣку равнодушно переносить ихъ утрату. Въ жизни, съ извѣстной эпохи, рѣзко опредѣляется кругъ тѣхъ потребностей, которыхъ удовлетвореніе мы считаемъ законнымъ своимъ счастьемъ, единственною стіхіею бытія, естественною и столь необходимою сферою, что за нею дыханіе становится томительнымъ. Заклучась въ этой сферѣ, успокоенный духъ легко и отраднo носится надъ тропкою жизни въ сладкой надеждѣ увидѣть конецъ ея, не разлучась ни съ однимъ изъ любимыхъ своихъ призраковъ, Онъ вѣруетъ въ нѣхъ постоянное присутствіе, какъ уже въ обреченную свою долю. Можно вообразить живо, какая холодная тѣнь должна лечь на сердце человѣка при внезапномъ растройствѣ этого порядка, который повидимому утвержденъ былъ самою судьбой для его блага, который постоянствомъ своимъ возлелѣялъ въ немъ любимое дитя жизни — привычку. Отъ потребностей, порождаемыхъ мечтательностію, суетностію, общежитіемъ, примѣрами, еще можно освободить душу, не низводя ея съ высоты, предоставленной ея личному достоинству. Благоразуміе, характеръ, воля, самобытность поддержать ее въ обыкновенныхъ превратностяхъ жизни, укажутъ ей замѣну, можетъ быть, болѣе существенную и болѣе согласную съ ея природою; они возстановятъ ея силы, потому что введутъ ее въ новый, лучшій кругъ дѣятельности — единственнаго знаменія бытія души, единственнаго ея охраненія отъ всѣхъ недуговъ. Произнесите то утѣшительное слово, которое проникнетъ и наполнитъ радостію душу въ ея онѣмѣніи при невозвратной утратѣ блага, только и признаннаго ею здѣсь благомъ ея. На этотъ случай равносильнаго, точнаго слова покаместъ нѣтъ въ языкѣ.

Истинно великій современный писатель, для насъ, призванныхъ съ нимъ въ одинъ періодъ умственной дѣятельности, является представителемъ того, что мы любимъ, къ чему стремимся и чего надѣемся. Онъ получилъ счастливый даръ воплотить и въ

возможномъ совершенствѣ показать силы духовной производительности своего времени. Будучи индивидуаленъ, какъ всякое лицо, онъ вмѣстѣ выражаетъ и общность вѣка, потому что дѣйствуетъ подъ современнымъ вліяніемъ. Умирая, онъ несравненно болѣе уноситъ съ собою отъ насъ, нежели отъ потомства, для котораго всегда останется живъ. Въ потомствѣ изъ его твореній составится какая-то цѣлость; ихъ недвижность дастъ имъ видъ полноты; по нимъ опредѣлять типъ вѣка. Но мы, разъединенные съ тѣмъ, кто дѣйствовалъ для насъ, и въ комъ наслаждались мы собственною жизнію, какъ въ ровномъ и звонкомъ пульсѣ движеніемъ нашей крови, мы съ его утратою лишаемся навсегда собственныхъ восторговъ сердца. Навсегда... Другой талантъ, посланный въ замѣну современника нашего, не принадлежитъ намъ. Онъ будетъ отрадою и славою другого поколѣнія, если судьба и ему также не откажетъ въ томъ, чѣмъ наградила насъ. Въ созданіяхъ новой жизни, въ движеніяхъ новой души, даже въ гармоніи обновленнаго языка уже нѣтъ для насъ того очарованія, подъ которымъ мы выросли и въ которое облеклись для насъ всѣ лучшія мгновенія жизни. Мы будемъ участвовать въ новыхъ радостяхъ только умомъ, а не сердцемъ. Лучшія явленія духа вполне и достойно оцѣниваются сочувствіемъ, а не размышленіемъ. Для сочувствія необходимо сліяніе всѣхъ звуковъ жизни, изъ которыхъ въ новомъ поколѣніи многія намъ чужды. За покинувшимъ насъ современникомъ мы обращаемся скорѣе къ прошедшему, и съ грустію привыкаемъ къ той мысли, что полный періодъ нашъ уже совершился. Такимъ образомъ смерть одного человѣка заставляетъ насъ убѣдиться, что лучшая жизнь наша кончилась.

Если такъ трудно душѣ привыкнуть къ новой дѣятельности, не измѣняя почти сферы, съ одною уступкою прежняго, полнаго ея участія; то еще труднѣе для нея низзойти къ чему-нибудь несогласному съ ея благородными потребностями.

Изображая могущественное вліяніе на современниковъ писателя, одареннаго истиннымъ талантомъ, мы еще не касались

обстоятельства, можетъ-быть не столь важнаго, но конечно ближайшаго къ той и другой сторонѣ. Мы представляли поприще литератора въ общихъ чертахъ. Но пусть воображеніе ваше поведетъ васъ прямо къ тому пути, по которому вы такъ любили слѣдовать за избраннымъ существомъ. Представьте яснѣе то мѣсто и то время, которое оживотворено было явленіемъ его огненной души, всѣ подробности этихъ сценъ, не изглаживающихся никогда, всѣ мелкія соприкосновенія къ тѣмъ эпохамъ, которыя онъ своимъ волшебствомъ воздвигалъ на стезѣ вашей жизни: тогда онъ не будетъ для васъ лицо съ чертами неопредѣленными. Возвращаясь къ опустѣвшему поприщу его дѣятельности, вы сильнѣе поражены будете его отсутствіемъ.

Вообразимъ, что современнику суждено пережить вдохновеннаго витію, котораго зоркое око видѣло всю внутренность сердца и, проходя по изгибамъ его, выносило на свѣтъ тайныя помысленія, витію, котораго священный голосъ умилялъ своего слушателя, приводилъ въ ужасъ и сладостный трепетъ его душу; передъ которымъ каждый разъ сладостно было утопать въ слезахъ и возноситься къ чистымъ небесамъ, витію, которому въ понятномъ восторгѣ говоритъ поэтъ:

Я легъ потоки слезъ нежданныхъ,
И ранамъ совѣсти моей
Твоихъ рѣчей благоуханныхъ
Отраденъ чистый былъ елей.
Твоимъ огнемъ душа палима,
Отвергла мракъ земныхъ суетъ,
И внемлетъ арфѣ серафима
Въ священномъ ужасѣ поэтъ.

Съ утратою подобнаго провозвѣстника святыхъ истинъ, могучаго и вѣрнаго дѣлителя сердецъ нашихъ, какимъ холоднымъ умствованіемъ оградимъ себя отъ сокрушенія и скорби? Его каждая бесѣда была для насъ вѣрною ступенію къ нравственному со-

вершенству; часы утѣшительной рѣчи его были торжественнымъ праздникомъ, котораго нетерпѣливо ожидала душа; храмъ, гдѣ мы встрѣчали его, еще благовѣстомъ своимъ приводитъ насъ въ неизъяснимо-сладкое трепетаніе. Чѣмъ замѣнить эту утѣшительную вѣру въ каждое слово его, полное жизни, внезапности и убѣжденія? Въ его трогательно-глубокихъ созданіяхъ мы привыкли обрѣтати отвѣты на всѣ искусовые вопросы и свѣта и страстей. Онъ очистилъ думы поколѣнія и разлилъ живительную теплоту въ цѣломъ обществѣ. Онъ шелъ впереди всѣхъ, какъ вожатай, и держалъ передъ нами свѣтильникъ, безъ котораго мгновенно очутились мы во тмѣ.

Если съ этого высокаго поприща мы перейдемъ на другое, менѣе духовное, но также усладительное для человѣческой природы нашей; если мы остановимся у позорища, на которое талантъ выводитъ сильныя страсти и заманчивую игру сердечныхъ покушеній: безъ сомнѣнія и тамъ почувствуемъ его владычество надъ собою. Зрѣлище драмы, которой всѣ части представляютъ жизнь и совершенство, истину и разнообразіе, даетъ намъ новое бытіе съ новыми чувствованіями радости и печали. Талантъ можетъ образовать для насъ изъ театра училище свѣта и гражданскихъ доблестей. Самая многолюдная и самая пестрая толпа, можетъ-быть, нигдѣ такъ легко и такъ единодушно не электризуется однимъ и равнымъ энтузіазмомъ, какъ при этихъ зрѣлищахъ, которыя со всѣмъ своимъ волшебствомъ такъ чудно устриваются по движенію летучей мысли. Съ какимъ любопытствомъ, съ какимъ нетерпѣніемъ спѣшите вы присутствовать тамъ, гдѣ ожидаетъ васъ этотъ умъ, неистощимый въ созданіяхъ! Каждое новое зрѣлище открываетъ повидимому другой міръ. Первоначально вы были счастливы какъ удовлетворенный наблюдатель. Но чѣмъ болѣе наслаждаетесь, тѣмъ становитесь зависимѣе отъ могущества незримаго властителя. Онъ посвятилъ васъ въ глубокія таинства искусства. Къ нимъ вы прилѣпились вполне. Подъ ихъ неизмѣнными знаменіями осуществляются для васъ всѣ образы, всѣ группы тѣхъ созданій, съ которыми вы всегда блаженствуете.

Гармонія этого міра уже проникнула душу зрителей. Утрата ощущенія, составляющаго необходимость мыслящей нашей системы, повергаетъ насъ въ какое-то неестественное состояніе. Мы чувствуемъ что-то похожее на паденіе, съ которымъ соединяется не только потеря животворной сферы, но и нравственная боль. Какъ примете вы обмѣня стройнаго и вѣчно-обновлявшагося жизнію міра на холодныя, бездушныя явленія, въ которыхъ ничего нѣтъ съ вами совмѣстнаго? Не затворитесь ли вы съ нѣмою печалію въ самихъ себѣ, чтобы избавить сердце отъ ничтожества сценъ, задушающихъ прежнія ваши наслажденія?

И не столь важныя эпохи, къ которымъ насильно приковывается воспоминаніе о талантѣ, человѣкѣ, нелишенный чувства, сохраняетъ мысленно какъ бы нѣкоторую святыню. Талантъ гибкій, вѣрный, разнообразный можетъ такъ неожиданно, такъ часто мелькать передъ нами всегда въ новомъ блескѣ, какъ вырывающійся изъ-подъ земли фонтанъ, котораго каждая нить, каждая капля восхищаетъ зрителя. Трогая попеременно то одну, то другую струну, этотъ счастливецъ вездѣ находитъ лучшій тонъ и отзывается на голосъ всякаго сердца, въ какой бы груди оно ни билось. Для него нѣтъ избраннаго рода, нѣтъ недоступной красоты и отверженнаго предмета. Не принадлежа исключительно какому-нибудь одному классу читателей, онъ обходитъ ихъ круги, и его жизнь становится всеобщимъ источникомъ наслажденій. Въ эфемерномъ ли періодическомъ изданіи, или въ летучей брошюрѣ, на полновѣсной ли книгѣ, или подъ коротенькими строчками встрѣчается его магическое имя, повсюду блеститъ оно яркой звѣздочкой, и появленіе этой алмазной точки на небосклонѣ литературномъ есть уже эпоха для всѣхъ и cadaго. Намъ радостно при этомъ только свѣтилѣ. Одинъ блестящій умъ мгновеннымъ лучемъ своимъ болѣе озаряетъ передъ нами истинъ жизни, нежели всѣ собиратели чужихъ сужденій. Его средства такъ легки и просты, но въ то же время такъ вѣрны, что мы часто не понимаемъ, чѣмъ онъ дѣйствуетъ на насъ. Ужели эта сказка, въ которой ни одного нѣтъ восторженнаго слова, ни одного ги-

гантскаго характера, ни одного трагическаго или идеально-карикатурнаго положенія, лучше той повѣсти, блестящей новизною языка, избыткомъ удивительныхъ событій, сдѣлленіемъ внезапностей и поразительною развязкою? А неподкупное чувство, эта совѣсть ума, настойчиво насъ увлекаетъ къ первой, опять въ тотъ счастливый міръ простоты и истины, гдѣ намъ все такъ близко, гдѣ всему такъ вѣрится. И вотъ почти безсознательно, по какому-то моральному инстинкту, цѣлое поколѣніе молча оживляется при одномъ только голосѣ, окружаетъ себя созданіями разнообразными, но возникнувшими по одному призванію; все поколѣніе, съ непонятною ревностію, похожею на жадность корыстолюбца, собираетъ эти сокровища и не можетъ насытиться пріобрѣтеніями. Душа, какъ необъятная бездна, принимаетъ всѣ сіи дани. И если судьба на столько требованій внезапно возвѣщаетъ роковой отказъ — потрясеніе бываетъ всеобщее: оно такъ естественно, какъ при разрывѣ напряженныхъ силъ.

Сколь торжественно и выразительно обнаруживается при подобныхъ случаяхъ глубокое чувство горести, когда современники, пораженные утратою лучшаго для нихъ сокровища, вдругъ отъ своихъ частныхъ думъ патріотически переходятъ къ созерцанію общественной потери! Въ славѣ народной есть что-то для каждаго изъ насъ столь близко-радостное, столь сильно-животворное, что никто не въ состояніи отдѣлится отъ нея безъ участія. Народная слава чудесно связываетъ огромную массу разнородныхъ существъ. Изъ ея лучей образуется пламя народнаго энтузіазма. Набѣгающее на нее облако всѣхъ покрываетъ мракомъ унынія. И нація чѣмъ образованнѣе, тѣмъ замѣтнѣе сіи явленія. Безъ славы нѣтъ исторіи, а народъ безъ исторіи ничтожнѣе и жалче кочующаго безыменнаго племени. Частному лицу позволено еще не искать мѣста въ исторіи; но на цѣломъ народѣ это стремленіе лежитъ какъ отвѣтственность, какъ долгъ. Слава даетъ народу нравственную силу, источникъ его политическаго благосостоянія. Потеря историческаго лица отнимаетъ часть нашихъ правъ на то всеобщее уваженіе, безъ котораго непріятно жить.

Въ этомъ чувствѣ внезапнаго упадка для каждаго есть личная утрата.

Въ прошедшее десятилѣтіе мы, Русскіе, испытали подобное чувство. Смерть Карамзина была такою общественною потерей, которая коснулась каждаго сердца, принимающаго участіе въ славѣ отечества. Какъ писатель и какъ гражданинъ, онъ былъ украшеніемъ и своего вѣка и своей націи. Болѣе тридцати-пяти лѣтъ своей жизни онъ посвятилъ литературѣ. Онъ къ благороднымъ ея удовольствіямъ привлекъ всѣ классы народа, и тѣмъ привилъ къ жизни столько прекрасныхъ истинъ. Онъ сдѣлался отчасти причиною, что къ невѣжеству почувствовали стыдъ, и просвѣщеніе перестало быть ремесломъ нѣсколькихъ должностныхъ лицъ. Его талантъ открылъ ему потребности человѣческаго сердца, и указалъ средства, какъ на него дѣйствовать. Его дѣятельность ввела въ число ежедневныхъ удовольствій нашихъ такіе предметы, о которыхъ мы прежде и не думали. Трудясь постоянно на своемъ поприщѣ, Карамзинъ успѣхами своими привлекалъ къ себѣ возникавшіе таланты. Онъ представлялъ наконецъ сосредоточіе, около котораго обращалось все лучшее въ нашей литературѣ. Благородство его мыслей столько же служило къ расширенію этой прекрасной сферы, какъ и его талантъ. Дѣлать образъ его сужденія, дорожить его литературнымъ приговоромъ, дѣйствовать по направленію его вкуса было и поучительно и лестно, потому что умственное его превосходство опиралось на достоинство нравственное. Онъ не только образовалъ лучшее поколѣніе писателей, но и утвердилъ въ немъ этотъ возвышенный характеръ, который въ обществѣ даетъ ему столь почетное мѣсто. Карамзинъ любилъ свое искусство, а не извѣстность свою. Онъ писалъ такъ, какъ убѣжденъ былъ въ сердцѣ. Успѣхи ему драгоцѣнны были по одной пользѣ. Лучшаго судію онъ видѣлъ въ своей совѣсти. Вотъ почему ни онъ, ни дѣйствующіе въ его правилахъ никогда не предпочитали вліянія на массу прямымъ успѣхамъ искусства. Карамзинъ заключилъ свое поприще трудомъ, безцѣннымъ и для славы Россіи и для пользы всѣхъ

Русскихъ литераторовъ безъ исключенія. Его Исторія показала національное наше достоинство и сообщила краски всѣмъ отраслямъ отечественной словесности.

Сдѣлавъ такъ много для Россіи, Карамзинъ не успѣлъ привести къ окончанію того, на что современники довѣрчиво смотрѣли, какъ на принадлежащее имъ. Судьба остановила его на такомъ мѣстѣ, гдѣ онъ былъ для насъ необходимъе всякаго. Человѣкъ высшей образованности, принадлежавшій къ тому классу общества, котораго члены большею частію лично соприкосновенны къ великимъ государственнымъ событіямъ, мыслитель многообъемлющій и безпристрастный, какъ ясно и независимо разрѣшилъ бы онъ для насъ важнѣйшіе вопросы въ важнѣйшей эпохѣ Русской исторіи! Мысль всегда свѣтлая и точная, объемъ событій полный и согрѣтый участіемъ, изображеніе стройное, отчетистое и блестящее живнiю, знаніе дѣла, почерпнутое въ лучшихъ источникахъ со всею осмотрительностію ума зоркаго и опытнаго, эти черты его таланта не только не ослабѣвали съ лѣтами, но повидимому принимали выраженіе болѣе сильное и болѣе достойное предмета. Въ послѣднихъ трудахъ его ни на одной страницѣ не обнаружилось старости, или охлажденія душевнаго. Въ шестьдесятъ лѣтъ онъ еще былъ неизмѣнно увлекательнымъ и вдохновеннымъ. Все это ручалось современникамъ его за будущее. Они такъ убѣждены были въ окончаніи великаго труда его, который столько лѣтъ составлялъ необходимое условіе ихъ счастья, что смерть Карамзина оплакиваема была, какъ внезапная утрата человѣка въ цвѣтущемъ возрастѣ.

Дмитріевъ, товарищъ и другъ Карамзина въ литературѣ и жизни, пережилъ его десятилѣтіемъ. Извѣстіе о кончинѣ Дмитріева произвело въ насъ другое чувство, хотя не менѣе горестное. Уже нѣсколько лѣтъ онъ почти не являлся какъ писатель. Но онъ былъ еще между нами живой памятникъ прекраснаго вѣка, съ котораго мы начинаемъ новую нашу литературу. Въ его присутствіи была потребность сердечная, подобная той, какую чувствуютъ дѣти въ долголѣтія родителей. Не охладѣвъ душою до

конца жизни своей къ умственнымъ занятіямъ, которыя озарили славою лучшіе годы его, онъ былъ совѣтникомъ, другомъ и судіею нашимъ въ литературѣ. И сколько на это неотъемлемыхъ правъ судьба ему послала! Три четверти столѣтія онъ былъ свѣдѣтелемъ усилій, успѣховъ и перемѣнъ въ русской словесности. Онъ видѣлъ Державина еще въ полномъ блескѣ. Онъ слушалъ первые стихи Жуковского. Онъ даже успѣлъ прочесть и неконченные стихи на лицейскую годовщину. Избравъ себѣ мѣсто на поприщѣ, гдѣ эти люди дѣйствовали передъ нимъ и послѣ него, сохранивъ къ нимъ чистую любовь и уваженіе, онъ сохранилъ и свое мѣсто со всею своею славою.

Нѣтъ, никогда ничтожный прахъ забвенья
Его струнамъ коснуться не дерзнетъ:
Невидимо, ихъ геній вдохновенья,
Всегда крылатый, стережетъ.

Въ Державинскій вѣкъ труднѣе всего было защититься молодому поэту отъ вліянія всеувлекающаго генія пѣвца Фелицы. Но таково свойство истиннаго таланта, что онъ, и наслаждаясь изумительными явленіями искусства, самъ творитъ въ независимой области. Нѣтъ сомнѣнія, что это бываетъ безъ предварительнаго сознанія; тѣмъ не менѣе послѣдствія прекрасны и благотворны: духовная дѣятельность расширяется, мысли стремятся по свѣжему пути, новыя стороны предметовъ обогащаютъ умъ новыми истинами. Дмитріеву, съ его талантомъ, не столь могущественнымъ и оригинальнымъ, каковъ былъ талантъ Державина, суждено было произвести великое преобразование въ современной литературѣ. Разнообразный въ своихъ стихотвореніяхъ, доступный всякаго рода читателямъ, обработанный, но не до утраты обольстительной простоты, остроумный и вмѣстѣ добродушный, счастливый въ вымыслахъ, столь дружныхъ съ непреложными законами вѣчно-нравящейся истины, онъ началъ эпоху поэзіи свѣтлой и оживленной вѣрными красками. Онъ далъ искусству

движеніе и общительность. При жизни Дмитріева вышло шесть изданій его стихотвореній, тогда какъ Державинъ уже по смерти своей во второй разъ изданъ вполне.

Каждый изъ современныхъ намъ писателей говорить съ любовью, что Дмитріевъ былъ первымъ его учителемъ. Счастливо обработанные стихи поэта, живыя мысли его, такое множество предметовъ, драгоценныхъ для русскаго сердца, шутки острые и благородныя, картины разнообразныя и свѣтлыя, все это вмѣстѣ воспитывало наше дѣтство, обогащало память, давало хорошее направленіе вкусу и поддерживало привязанность къ литературѣ. При каждомъ необыкновенномъ явленіи въ словесности, мы обращались къ наставнику своему въ воспоминаніе тѣхъ уроковъ, за которыми выросли. Домъ его, для писателей, пріѣзжавшихъ въ Москву, былъ первымъ мѣстомъ посѣщенія. Что-то родственное отзывалось въ сердцѣ при вступленіи въ это жилище. Мысли, сверкавшія въ разговорахъ его, уносили насъ къ лучшему времени литературной жизни. Какъ семейнаго праздника ожидали мы пріѣздовъ его въ Петербургъ. Около него толпилось все, что чувствуетъ цѣну таланта. Онъ являлся какъ бы патріархомъ воспитаннаго имъ многочисленнаго семейства. Къ этимъ движеніямъ благодарности и вѣрованія присоединялось еще одно обстоятельство, по которому жизнь его и въ послѣдніе годы была для насъ столь драгоценна. Сошедъ съ открытаго поприща литературы, Дмитріевъ въ кабинетѣ не покидалъ еще пера своего. Онъ вносилъ въ записки свои замѣчательныя черты русскаго ума и русскою жизни, о которой, при наблюдательномъ духѣ и на такомъ выгодномъ протяженіи, онъ могъ сказать много и любопытнаго и наставительнаго, болѣе нежели кто-нибудь. Близкія къ нему особы знали цѣну этого и уединеннаго и безкорыстнаго труда. Мы слишкомъ бѣдны произведеніями такого рода, безъ котораго біографія и даже исторія суха и безжизненна. Одна лишняя страница, принявшая на себя обдуманная строка человѣка съ талантомъ, могла разрѣшить важное недоумѣніе, опровергнуть вредную мысль и бросить въ сокровищницу знаній новую благотвор-

ную истину. Дмитріевъ, подобно Карамзину, и въ преклонныхъ своихъ лѣтахъ не зналъ ни дряхлости, ни ослабленія душевныхъ силъ. Его утрата снова возбудила живое сожалѣніе о его другѣ, какъ будто въ немъ мы лишились его въ другой разъ, какъ будто теперь уже несомнѣннѣе стала потеря Карамзина.

Между этими двумя мужами, полными лѣтъ и трудовъ, въ прошломъ году положили мы безвременно юношу, съ которымъ, по законамъ природы должны были вмѣстѣ окончить земное странствованіе. Онъ былъ любимый поэтъ современниковъ. Рано и быстро взошелъ онъ на завидную чреду свою, какъ будто потому, что слишкомъ рано и слишкомъ быстро ему суждено было покинуть ее. Много даровъ послала ему природа — и въ недолгіе годы свои онъ совершилъ многое. Безъ опытовъ, безъ усилій, проникательнымъ умомъ своимъ онъ глубоко взглянулъ въ человѣческое сердце и рассказалъ намъ про его тайны. Онъ весь былъ изъ ощущенія. Природа и жизнь не теряли для него ни минуты: все ему было въ нихъ неизгладимымъ и плодотворнымъ впечатлѣніемъ. Его двигалъ непрерывный трудъ. Въ удивленіи, въ обществѣ, въ занятіи, въ покоѣ, въ разсѣянности, въ размышленіи, въ прогулкѣ, онъ все былъ обладаемъ неотвязчивою жизнію своего духа. Невольникъ всѣхъ своихъ чувствъ, онъ принужденъ былъ ежеминутно работать для ненасытимой ихъ жажды. Душа его, какъ мелькающее пламя, блистала въ безостановочномъ напряженіи: то, самовластно возникнувъ, вѣяла въ нее память какими-нибудь давними звуками; то встревоженный умъ возлагалъ на ея свѣтлую точку свои любимыя идеи, колебля ея эфирное существо; то окружала ее чудно созданными образами фантазія — и все въ этой душѣ должно было разрѣшиться, найти свое мѣсто и принять независимое, прочное существованіе.

Итакъ можно сказать, что онъ жилъ долго и разнообразно. О немъ нельзя не повторить:

Съ природой — одною онъ жизнью дышалъ.

Онъ оставилъ намъ подробную исторію необыкновенной своей жизни. Событія изображены въ ней такъ правдоподобно, такъ

ясно, такъ убѣдительно, что самые странные случаи носятъ всѣ признаки дѣйствительности; по крайней мѣрѣ сердце никогда въ нихъ не сомнѣвается. Но вотъ на чемъ остановишься: герой этихъ сказаній является въ нихъ безпрестанно лицомъ новымъ, такъ что въ немъ попеременно отражалось, кажется, все, что мы называемъ міромъ. Можно ли назвать иначе, какъ не исторіею жизни самого поэта разнообразныя эти произведенія, въ которыхъ каждый моментъ такъ вѣренъ природѣ вещей? Въ самомъ дѣлѣ, прежде нежели проносились страсти, вызываемыя имъ для оживленія картинъ, воображеніе не заставляло ли его колебаться отъ внутреннихъ бурь, и живописца не превращало ли въ натурщика? Безъ этого предположенія, невозможно изъяснить ни его удивительнаго сближенія съ предметами посторонними, ни ихъ обильной видоизмѣняемости при столь неизмѣнномъ совершенствѣ. Слѣдуя внимательно за дѣйствующими лицами въ его поэмахъ, драмахъ, повѣстяхъ, сказкахъ, балладахъ, чувствуешь, что поэтъ не вложилъ имъ въ сердце ни одного движенія, въ мысли ни одной думы, въ уста ни одного слова, которыя бы дѣйствительно не были собственностію ихъ сердца, мыслей и устъ. Говорить ли онъ какъ историкъ, путешественникъ, критикъ: все, кажется, на его глазахъ жило и совершалось. Въ его душѣ нашлось мѣсто и легкимъ, мгновенно улетающимъ призракамъ задумчивости, въ которую когда-то погружался пѣвецъ древней Греціи или пламеннаго Востока. Онъ изучилъ и всѣ наши неисчислимыя оттѣнки причудъ, желаній, страстей, съ такою прелестью изобразивъ ихъ въ гармоническихъ, прозрачныхъ и вѣрныхъ памяти стихотвореніяхъ, для которыхъ и названія не придумать наукѣ. Если бы все это, какъ фантастическій сонъ, только пронеслось надъ его душой, не слившись съ нею, она бы не въ состояніи была мечтательною жизни такъ ярко запечатлѣть истинною, а еще менѣе изгладилъ бы слѣды постепеннаго сближенія предметовъ, этой глѣстницы идей, по которой душа подымается, вымышляя собственный міръ. Нѣтъ, чувствуешь и вѣришь, что она только преобразила въ безконечный концертъ дивную природу, которая глубоко

тѣснилась въ нее и въ ней совмѣщалась, — безъ плана, безъ симметріи, безъ очереди, но въ полнотѣ жизненныхъ силъ своихъ.

Удѣлъ такого дарованія, неизъяснимаго и столь рѣдко ниспосылаемаго, есть нескончаемая производительность. Величайшій навыкъ изобрѣтать и обрабатывать предметы литературныхъ трудовъ, навыкъ, поддерживаемый всѣми усиліями ума, наконецъ истощается, или теряетъ даръ обновлять свѣжестью свои созданія. Но никогда не оскудѣетъ міръ для души, предызбранной быть его чистымъ отраженіемъ. Никакое долготѣіе, никакая плодотворность не могутъ исчерпать сего источника. Въ страдательномъ состояніи своемъ, такой поэтъ не властенъ опредѣлить напередъ ни рода сочиненій своихъ, ни формы, ни ихъ красокъ. У него все зависитъ отъ перваго, тайно его ждущаго, вдохновительнаго впечатлѣнія. Одинъ признакъ измѣняемости, неизбежной въ дѣлахъ человѣка, замѣчаешь въ произведеніяхъ этого таланта: чѣмъ болѣе представляетъ онъ своихъ опытовъ, тѣмъ замѣтнѣе упрощается его искусство. Въ юношескомъ одушевленіи, у него еще недостаетъ силы отрѣшить себя и волнующихся въ душѣ любимыхъ своихъ идеаловъ отъ лицъ и страстей ихъ, на обновленіе вѣряемыхъ ему природою и жизнію. Неминуемо сближаясь съ законами истины по мѣрѣ своихъ занятій, онъ становится строже къ самому себѣ, устраняетъ всякое личное участіе въ чужомъ дѣлѣ, и превращается въ то вѣрное *Эхо*, котораго судьбою нашъ поэтъ изобразилъ собственную судьбу:

Реветь ли звѣрь въ лѣсу глухомъ,
Трубить ли рогъ, гремитъ ли громъ,
Поетъ ли дѣва за холмомъ, —
На всякій звукъ
Свой откликъ въ воздухъ пустомъ
Родишь ты вдругъ.

Эпоха, въ которую начинаетъ онъ дѣйствовать такъ безлично, показываетъ полную зрѣлость таланта. Литература обога-

щается тогда произведеніями, которыя будутъ ея лучшимъ достояніемъ при всѣхъ перемѣнахъ вкуса, потому что ихъ достоинства основаны на образцѣ, вѣчно восхищающемъ человечество.

Утраченный Россією поэтъ, котораго характеристику, равно какъ и его произведенія, долго будутъ изучать поклонники искусства, прошелъ всѣ степени, назначаемыя природою для подобныхъ ему талантовъ. Въ исторіи нашей литературы нѣтъ примѣра, кто бы возмужалъ независимѣе его и быстрѣе. Нѣтъ примѣра, кто бы сдѣлался болѣе властительнымъ во всѣхъ классахъ читателей, не низводя достоинства призванія своего. Имя его, какъ поэта, приносилось во всѣхъ концахъ обширной Россіи. Явленіе каждаго новаго его сочиненія пробуждало любопытство и участіе людей, самыхъ незаботливыхъ о словесности. Даже иностранцы, для которыхъ русскіе звуки еще невняты, внесли его имя въ списокъ знаменитыхъ людей. Они могли судить о немъ только по переводамъ. Но кто передастъ на другомъ языкѣ эти стихи и эту прозу, не измѣнивъ ихъ физіономіи? Для насъ въ немъ было все полно жизни и сочувствія. Литература наша съ его именемъ соединяла всѣ свои блестящія надежды.

Трудъ, за которымъ его застала смерть, былъ выше всего, что мы отъ него получили. Онъ готовилъ намъ исторію Петра Великаго. Эта мысль, овладѣвшая его душою, занимала его преимущественно въ послѣдніе годы. Чувствуя живо величіе предпріятія, онъ желалъ совершить его достойнымъ образомъ. Заготовленные имъ матеріалы свидѣтельствуютъ, въ какой полнотѣ хотѣлъ онъ обнять предметъ свой. Силы его таланта уже достаточно ручались за успѣхъ. Исполненіе блистательное было всегда его удѣломъ. За трудъ, который требуетъ не только знаній, терпѣнія, проницательности, но еще сочувствія въ величіи, непосредственного соприкосновенія къ идеямъ и силамъ исполнскимъ, оригинальной, широкой кисти, чтобъ ожила въ подлинныхъ краскахъ вся эта чудесная эпоха — для такого труда одинъ великій талантъ и предызбранъ. Въ этомъ дѣлѣ какой бы голосъ ни по-

дать человѣкъ обыкновеннаго ума, его судъ не будетъ принять, потому что въ его судѣ не будетъ художнической правды.

Мы потеряли поэта въ его лучшіе годы. Смерть его произвела не жалость, но какое-то оцѣпенѣніе. Странно было слышать, но мучительнѣе увѣрить себя въ утратѣ, къ которой ничто не готовило. О немъ можно сказать, что смерть не похитила его, но оторвала отъ насъ. Чувство, испытанное современниками въ эту минуту, не принимало обыкновенныхъ оттѣнковъ, смотря по различію характеровъ и отношеній: оно выразилось равнымъ болѣзненнымъ содроганіемъ. Теперь время и размышленіе привели душу въ другое состояніе: она измѣряетъ пространство, отдѣлявшее великаго поэта отъ его послѣдователей, и задумчиво смотритъ на судьбу благороднаго искусства, въ которомъ такъ много народной славы.

Можетъ-быть, не долго намъ суждено переноситься мыслію къ тихому пристанищу, гдѣ онъ почіетъ, совлекшійся житейскихъ помышлений, а мы сѣтуемъ, не умѣя разстаться съ несбывшимся ожиданіемъ. Во всякомъ случаѣ, мѣсто вѣчнаго его успокоенія умилительно для насъ. Оно приняло въ нѣдра маленькаго своего пространства скудную дань персти; но душа не перестанетъ чувствовать тамъ присутствія создательныхъ идей, даже и тогда, когда въ нѣдрахъ земли ничего не останется отъ принятой ею дани. По дорогѣ отъ Новоржева (Псковск. губ.), верстъ за тридцать-пять до Опочки, изъ-за холмовъ показывается скромный, тонкій шпигъ колокольни Святогорскаго монастыря, не обширнаго, но картинно расположеннаго на горѣ. Высшая точка ея въ древности носила наименованіе Синичьей горы. Тутъ стоитъ каменная церковь Успенія Божіей Матери. Два всхода устроены, чтобы изъ монастыря подняться до церкви. Одины состоятъ изъ большихъ булыжныхъ кругляковъ, красиво складенныхъ. Изъ нихъ даже образованы стѣны, коихъ верхняя часть достроена изъ досокъ. Надъ этимъ всходомъ не такъ давно поставлена крыша. По стѣнамъ продѣланы окна, которыя, какъ развѣшенные пейзажи, представляютъ проходящему прелестные виды на

обѣ стороны. Другой всходъ, подобный первому, остьненъ не искусственнымъ навѣсомъ, но древесными вѣтвями. Старинная небольшая церковь красива своею простотой. Ея иконостасъ поднимается до самаго купола. За церковью, передъ алтаремъ, представляется площадка шаговъ въ двадцать-пять по одному направлению и около десяти по другому. Она похожа на крутой обрывъ. Вокругъ этого мѣста растутъ старыя липы и другія деревья, закрывая собою видъ на окрестности. Передъ жертвенникомъ есть небольшая насыпь земли, возвышающаяся надъ уровнемъ съ четверть аршина. Она уложена дерномъ. Посрединѣ водруженъ черный крестъ, на которомъ изъ бѣлыхъ буквъ складывается имя: Пушкинъ.

ПРАЗДНИКЪ ВЪ ЧЕСТЬ КРЫЛОВА ¹⁾.

1838.

2-го февраля нынѣшняго года совершилось 70 лѣтъ отъ рожденія И. А. Крылову, и 50 лѣтъ съ появленія первыхъ его стиховъ. Между знаменитыми писателями нашими немногіе дожили до старости столь почтенной, и едва ли хотъ одинъ цѣлое полу-столѣтіе постоянно оставался на поприщѣ словесности. Ломоносовъ умеръ 54 лѣтъ, Фонвизинъ 47, Карамзинъ 61 ²⁾, Озеровъ 46, а Пушкину не исполнилось и 37 лѣтъ. Только Державинъ и Дмитріевъ перешли за семидесятилѣтіе: первый умеръ 73, а другой 77. Но никому еще въ Россіи судьба не посылала такого счастливаго удѣла въ литературѣ, какой достался Крылову. Въ немъ равныя совершенства, разсматривать ли его какъ поэта, какъ баснописца и какъ русскаго писателя.

¹⁾ *Современникъ* IX, 57—70.

²⁾ Или неполныхъ 60, какъ нынче обыкновенно принимаютъ, считая днемъ рожденія Карамзина 1-е декабря 1766 года. Я. Г.

Поэтъ, по назначенію своему, обязанъ все, доступное обработыванію душевныхъ силъ, лучшими орудіями языка пересоздать въ ясные, полные и живые образы, которые бы изъ области его искусства представляли намъ еще природу со всѣми вѣчными ея законами. Люди и самъ поэтъ могутъ изъяснять это назначеніе разнообразно до безконечности, примѣнять его къ своимъ нуждамъ и устремлять ко множеству цѣлей. Это и неизбежно, когда всѣ высшія явленія мы изъясняемъ съ нашей низменности. Между тѣмъ никто не признастъ истиннымъ поэтомъ того человека, у котораго или нѣтъ силъ соперничествовать съ природою, или выражается какое-нибудь отстраненіе отъ ея условій. Поэтъ, приводя только въ дѣятельность свои счастливыя дарованія, уже достигаетъ главной своей цѣли, или назначенія. Кто во зло употребляетъ такъ благодатно ниспосланныя ему душевныя силы, тотъ презрителенъ: это ничего не доказываетъ, кромѣ жалкой истины, что небесное можно унижить на землѣ. Могущество прекрасно-настроеннаго дарованія рѣдко бываетъ всеобъемлющимъ, рѣдко съ одинаковымъ успѣхомъ обрабатываетъ всю массу впечатлѣній, волнующихъ душу. Гораздо чаще поэтъ отдѣляетъ для себя нѣкоторыя только части, или даже одну часть матеріаловъ. Трудно съ точностію опредѣлить, отчего останавливается онъ именно на этихъ предметахъ, а не на другихъ. Причины безъ сомнѣнія заключаются частію въ его собственной душѣ, частію въ томъ, что на нее дѣйствуетъ. Но такъ какъ все внѣшнее, усвоено будучи душою, образуетъ наконецъ ея же существо, то позволительно изъяснять особенности поэтовъ особенностію ихъ внутренней природы.

Крыловъ, въ точномъ смыслѣ слова, поэтъ. Область его созданій озарена свѣтомъ истинной жизни; всѣ образы движутся, дѣйствуютъ; въ нихъ есть и теплота и одушевленіе. Нѣтъ у насъ поэта, который былъ бы законнѣе его въ художническомъ исполненіи. Онъ строгъ къ себѣ какъ стоикъ. Но это не иссушило цвѣтовъ его поэзіи. На нихъ блестятъ краски; они сочны и роскошны какъ лучшіе первенцы весны. Крыловъ не разнороденъ,

но разнообразенъ. Можетъ-быть, величайшимъ для него благомъ было то, что онъ вполне и вовремя созналъ себя. Оставивъ другія отрасли безграничнаго искусства, онъ всего себя посвятилъ одной, для которой природа такъ счастливо образовала его душу. Преобладающее направленіе ума его обнаруживается уроками практической, житейской мудрости. Онъ по природѣ своей такъ склоненъ къ этому предмету, что изслѣдованіями своими обвелъ его со всѣхъ сторонъ. Перечитывайте его сочиненія, разговаривайте съ нимъ, изучайте его мнѣнія, привычки, все, подъ чѣмъ выказывается этотъ сгибъ ума, въ каждомъ человѣкѣ особенный: вы обогатитесь наблюденіями вѣрными, неисчислимыми, тонкими и до невѣроятности новыми. Если бы въ талантѣ Крылова замѣтенъ былъ недостатокъ или производительныхъ силъ, или живости воображенія и сочувствія съ истинными красотами природы, то, при его направленіи ума, легко можно бы вдаться въ холодность дидактическую, чего не замѣтишь ни въ одномъ его стихотвореніи. Обдумывая изложеніе какой-нибудь истины, которая сама по себѣ столько же неоспорима, какъ и нага, онъ поэтическимъ чувствомъ видитъ или слышитъ ее въ душѣ своей рождающуюся такъ согласно съ законами искусства, какъ бы зачалась она прямо съ поэтического зародыша — съ формы чувственной и вмѣстѣ одушевленной. Въ такомъ видѣ она возрастаетъ у него и наконецъ входитъ въ свой предѣлъ зрѣлости. Ни одинъ изъ множества тоновъ прекраснаго не затруднилъ его. Онъ каждый выдержалъ вѣрно, перепробовавши всѣ. Обработываніе одного рода поэзіи не препятствуетъ истинному таланту разнообразить его произведенія. Прочитавъ нѣсколько стихотвореній Крылова, нельзя сказать, что уже привыкнулъ къ нему. На всякую новую истину у него готовы и новыя краски, и новое вдохновеніе, и новая жизнь. Остановясь мысленно передъ какою-нибудь идеею, вникая ли въ нее долго, или по художническому свойству мгновенно обнимая ее съ неимоверною живостію, какъ бы то ни было, только онъ никогда не возвращается къ прежнимъ своимъ картинамъ, не ищетъ пособія въ старыхъ своихъ опытахъ, но

сливается вполне съ предметомъ, въ эту минуту его поразившимъ, и все почерпаетъ изъ этой жизни, привязываясь къ ней съ жаромъ первой любви. Судя по тому, что Крыловъ изложилъ уже столько уроковъ практической мудрости, напрасно бы подумали мы, будто онъ истощалъ весь запасъ картинъ, доступныхъ его душѣ: онъ для него такъ же неистощимы, какъ явленія жизни. Даже старая мысль, можетъ-быть нѣсколько разъ являвшаяся у его предшественниковъ, легко увлечетъ его, а съ нимъ и насъ, если только счастливое мгновеніе укажетъ ему на нее въ новомъ образѣ и въ другой сферѣ, если только она потревожитъ его поэтическое чувство: и мы встрѣтимъ ее какъ созданіе, трепещущее свѣжестью бытія.

Находясь на столь высокой степени какъ поэтъ, Крыловъ еще замѣчательнѣе какъ баснописецъ. Идея поэзіи вообще до такой обширности доведена теперь, и вѣроятно явленіями новыхъ талантовъ такъ еще будетъ распространена, что одному лицу, со всѣмъ разнообразіемъ, со всею неисчерпаемостію творчества, никогда не наполнить собою того представленія, которое душа образовала о поэтѣ вообще. Чѣмъ недостижимѣе являлись гени, тѣмъ необъятнѣе содѣлались требованія. Баснописецъ, преимущественно предъ другими поэтами, опредѣлительнѣе рисуется въ воображеніи. Хотя и здѣсь никакой нѣтъ возможности исчислить всѣ видоизмѣненія характеровъ, всѣ тоны и оттѣнки произведеній, всѣ приемы силъ воображенія,—по крайней мѣрѣ для наблюдателя виднѣе дорога, по которой долженъ идти баснописецъ. Какъ бы ни были смѣлы шаги его, какъ бы онъ ни раздвигалъ широко пространство, по которому совершаетъ избранный свой путь, мы знаемъ его направленіе и въ состояніи за нимъ слѣдовать хотя издали, давая себѣ отчетъ о немъ опредѣлительнѣе. На всякую мысль онъ набрасываетъ легкій и прозрачный покровъ аллегоріи. Онъ во всемъ чувствуетъ проявленіе чего-то человѣческаго, подобно жителю Индіи, вѣрующему въ переселеніе душъ. Нѣтъ вещи въ природѣ, которая бы не говорила ему о человѣкѣ, и каждое о немъ помышленіе пріемлетъ какой

нибудь одинъ изъ тѣхъ образовъ, которыми такъ богата вселенная. Но какія бы видѣнія ни преслѣдовали душу баснописца, онъ не можетъ освободиться отъ двойственнаго прикосновенія; съ одной стороны челоуѣка, съ другой аллегорическихъ дѣтеровъ, замѣняющихъ его въ каждомъ анологѣ.

Баснописецъ, приведенный самою сущностію поэзіи своей въ какую-то ограниченную дѣятельность, принужденъ истощать весь талантъ на образы, положенія и другія виѣшнія красоты выводимыхъ имъ существъ, по наслѣдству переходящихъ изъ одной литературы въ другую. До Крылова такъ невелико было число анологическихъ преданій, что многіе критики, какъ бы только изъ снисхожденія къ похвальному труду баснописцевъ, за правило приняли опредѣлять ихъ достоинство умѣньемъ освѣжать обветшавшія картины новизною красокъ. Крыловъ первоначально и самъ не думалъ вытти изъ общаго круга разсказовъ. Можетъ быть, этотъ тѣсный горизонтъ идей, изъ-за котораго мудроено съ перваго шага предвидѣть обширное поле, нѣкогда породилъ въ немъ то отвращеніе отъ анологической поэзіи, о которомъ не забылъ онъ до сихъ поръ. Любопытно слушать когда онъ вспоминаетъ, что предшественникъ его, другой знаменитый баснописецъ, Дмитріевъ, началъ первый убѣждать его заниматься сочиненіемъ басень, прочитавъ переведенные Крыловымъ въ праздное время три басни изъ Лафонтена. Преодолевъ отвращеніе свое отъ этого рода и заглушивъ раннюю страсть къ драматической поэзіи, Крыловъ нѣсколько времени ограничивался то подражаніемъ, то передѣлкою извѣстныхъ басень. Хотя въ первыхъ его опытахъ знатоки увидѣли уже явленіе любопытное въ литературѣ нашей — и Жуковский въ Вѣстникѣ Европы, котораго онъ былъ тогда издателемъ, произнесъ съ любовію прекрасное свое мнѣніе объ его талантѣ; но нашъ Крыловъ нынѣшній былъ впереди. Тогда еще позволено было, въ похвалу, называть его другимъ Лафонтеномъ. Между тѣмъ, по мѣрѣ новыхъ трудовъ своихъ, онъ видимо становился независимѣе отъ сравненій, и наконецъ дошелъ до совершенной самобытности въ своемъ родѣ.

Басня осталась для него только привычною формою поэзіи неистощимой и всеобъемлющей. Человѣкъ въ частной своей жизни, гражданинъ въ общественной своей дѣятельности, природа въ своемъ вліяніи на духъ нашъ, страсти въ ихъ бореніи, причуды, странности, пороки, благородныя движенія сердца, вѣчные законы мудрости—все перешло въ его область, все подверглось его изслѣдованію, все, къ общему изумленію, разрѣшено имъ съ такою ясностію, съ такою легкостію, съ такимъ высокимъ поэтическимъ достоинствомъ, что нынѣ Крыловъ, какъ баснописецъ, конечно первый поэтъ въ Европѣ. Самыхъ знаменитыхъ, изъ числа его предшественниковъ, можно сравнить съ дѣтьми; а онъ подлѣ нихъ — мужъ. Они простодушны и увлекательны, а онъ глубокъ и поразителенъ. Поэзія къ нимъ являлась для оживленія всѣмъ извѣстной мысли; а у него передъ глазами полная сокровищница жизни, изъ которой онъ извлекаетъ все новыя мысли, и съ ними новую поэзію.

Неудивительно, что лучшіе европейскіе поэты заплатили ему достойную дань своего удивленія, переведши его басни на разные языки. Не чувствуя всѣхъ красотъ подлинника, они поражены были созданіями его поэтически-глубокаго ума, и желали обогатить ими каждый свою словесность. Это впрочемъ только начало его славы. Полная слава Крылова еще впереди. Когда языкъ русскій сдѣлается предметомъ изученія Европейцевъ, какъ нынѣ изучаются языки французскій, нѣмецкій и англійскій, тогда баснописецъ нашъ будетъ любопытнѣйшимъ предметомъ всеобщихъ изслѣдованій. Въ немъ столько явленій жизни Русскаго народа, столько рѣзкихъ особенностей нашего ума, нашихъ нравовъ, столько игры народнаго остроумія, тонкости и простодушія, столько событій изъ современной поэту эпохи, столько неизъяснимой гибкости русскаго языка всѣхъ тоновъ, что по его сочиненіямъ можно будетъ составить полную картину Россіи. Истинный поэтъ, говоря нефигурально, такой же дѣеписатель, какъ и историкъ, съ тою разницею, что послѣдній сохраняетъ строгую систему въ распредѣленіи событій, а первый набрасываетъ груп-

лы, не заботясь о ихъ послѣдовательности. Но поэтъ, для души способной все понимать въ немъ глубокомысленнѣе и наставительнѣе историка, точно такъ какъ созерцаніе самой природы далѣе уводитъ въ естествознаніе, нежели изученіе Бюффона и Линнея. Одинъ усвоиваетъ васъ, снабжая положительными свѣдѣніями; другой, поражая васъ необъятностію и неисчислимо-стію сторонъ, до которыхъ въ этомъ предметѣ никто еще не коснулся, пробуждаетъ всю дѣятельность вашего ума. Геніальныя идеи нравственности, политики, законодательства, однимъ словомъ, человѣковѣднія, заключены преимущественно въ твореніяхъ великихъ поэтовъ. Но онѣ, какъ драгоценныя камни, какъ подземныя тайники, какъ силы и законы природы, сокровенны, и требуютъ много умственныхъ пособій, чтобы обрѣсть ихъ и дать имъ примѣненіе. Крыловъ, ограничивъ дѣятельность свою въ самомъ тѣсномъ родѣ поэзій, вышелъ на эту стезю обилія и величія, гдѣ проходили знаменитѣйшіе наставники человѣчества. Онъ во всемірное книгохранилище положилъ твореніе о своемъ отечествѣ, съ изумительнымъ прагматизмомъ обработанное.

Явленія русской жизни со всѣми частностями, прикосновенными къ этой идеѣ, можетъ быть, не обозначились бы такъ поэтически-вѣрно, такъ поразительно, такъ неизгладимо, если бы они представляемы были зрителю другимъ художникомъ-писателемъ. Въ русскомъ языкѣ Крылова есть таинства, еще никѣмъ изъ нашихъ поэтовъ не разоблаченныя: по крайней мѣрѣ никто ими не воспользовался такъ въ своихъ произведеніяхъ, какъ Крыловъ. Онъ какъ будто родился для того, чтобы все Русское облекать въ такіе стихи, отъ которыхъ предметъ заимствуетъ болѣе жизни и цвѣту. Онъ въ такой симпатіи сходится съ идеями, что для обозначенія ихъ выбираетъ съ удивительною разборчивостію и мѣткостію только имъ и свойственныя выраженія, обороты рѣчи, разстановку словъ, даже звуки ихъ. Конечно въ самой сущности дѣла идея уже предполагаетъ бытіе и слова своего; но въ этомъ и состоитъ авторское достоинство, чтобы совокупить въ произведеніи со всею строгостію только такія идеи, которыя вмѣ-

стѣ образуютъ чудную гармонію мыслей, картинъ и событій. **О**дного и того же содержанія сцены у разныхъ народовъ въ разныхъ странахъ, дѣйствуютъ на зрителя неисчислимо разнообразно, въ слѣдствіе того, что стихіи жизни, соотвѣтственно причинамъ, дѣйствующимъ на душу, разнообразно совокупляются, образуя цѣлое. Крыловъ проникнуть чувствомъ всего русскаго. Человѣкъ и его дѣйствія, мысль и языкъ, образы и ихъ положенія, все у него возникаетъ въ воображеніи подъ неизмѣннымъ типомъ народности нашей. Эта строгая истина въ художествѣ, озаренная прочими высокими совершенствами его таланта, доставляетъ его произведеніямъ величайшіе успѣхи. Кто безъ особеннаго наслажденія можетъ читать Крылова? Между тѣмъ не употребляетъ онъ усилій, чтобы примѣняться къ понятіямъ разныхъ классовъ людей, не впадаетъ съ умысломъ въ особенный простонародный языкъ: все у него идетъ естественно, свободно и прямо къ цѣли. Онъ независимый художникъ, съ любовію преданный совершенствованію своего искусства. И онъ счастливый художникъ, возбуждающій всеобщій восторгъ своими созданіями. Повинуясь только голосу души своей, онъ всѣмъ угождаетъ. Ученые, полуграмотные, дѣти, старики, вельможи, простолюды, насмѣшники, добряки, каждый изъ нихъ убѣжденъ внутренно, что Крыловъ, сочиняя басни свои, о томъ только и думалъ, какъ бы попасть на его вкусъ, какъ бы сблизиться съ его міромъ, какъ бы угодить и предупредить его нужды. Въ умѣ баснописца всѣ нашла себѣ поживу; всѣ имъ не нахвалятся. Есть множество людей, которые не любятъ вообще басень; еще больше такихъ, для которыхъ нестерпима насмѣшка; есть читатели, которымъ становится дурно отъ просторѣчія; сколько строгихъ судей, которые презируютъ стихи; иные зѣваютъ отъ всякаго вымысла, другіе засыпаютъ отъ нравоученія: но всѣ прихоти пропадаютъ при одномъ имени Крылова. Онъ читается, перечитывается, помнится, повторяется наизусть, передается письменно, печатно, покупается, хранится, дарится, и для уроковъ, и на память, и въ услугу, и въ награду именинникамъ, невѣстамъ, сироткамъ, провинціаламъ, иностранцамъ.

Можно вообразить поэтому, какой кругъ почитателей составилъ около нашего баснописца въ теченіе пятидесятилѣтней литературной его жизни! Доступный всѣмъ возрастамъ, удовлетворившій всѣмъ вкусамъ, онъ сдѣлался любимцемъ столькихъ лицъ, сколько есть смысловъ. Его юбилей могъ быть всеобщимъ русскимъ праздникомъ. Петербургскіе литераторы воспользовались счастливыми своими правами, какъ товарищи Крылова и по своимъ занятіямъ и по мѣсту его пребыванія. Они присвоили сословію своему два его праздника, и торжественно выразили то, что чувствуютъ всѣ. Прекрасное зрѣлище представлялось отъ этого соединенія, въ которомъ не было и не могло быть другихъ побужденій, кромѣ чувства любви и сознанія превосходства. Умилительно было видѣть этого гостя, растроганнаго и смущеннаго новостію его положенія посреди друзей, знакомыхъ и чужихъ, гдѣ для всѣхъ онъ былъ единственнымъ предметомъ радости и вниманія. Торжество таланта всегда восхитительно. Оно свидѣтельствуешь о чудесномъ могуществѣ мысли. Мирное владычество ея поселяетъ въ сердца какое то благоговѣніе. Душа человека вступаетъ въ права свои. Все суетное смиряется передъ безсмертнымъ. Но съ торжествомъ таланта, родного намъ по языку, сливается чувство, отъ котораго сердце трепещетъ радостнѣе и сильнѣе. Языкъ есть драгоцѣннѣйшее сокровище наше; языкъ есть лучшее выраженіе необъятнаго нашего духа; языкъ есть нетлѣнная лѣтопись всей жизни народа. Кто внесъ въ нашъ языкъ вѣчныя истины, тотъ оправдалъ насъ предъ потомствомъ, возвысилъ насъ въ глазахъ человѣчества и озарилъ вождѣлѣнною славою.

Зачѣмъ не сознаться искренно? Кто изъ насъ не завидуетъ счастливымъ, которыхъ языкъ такъ свободно распространился по лицу всего образованнаго міра? Имъ вездѣ отзывъ. Нѣтъ прекрасной мысли, нѣтъ благодатнаго вымысла, родившихся подъ небомъ ихъ отечества, съ которыми бы они не встрѣтились повсюду. Имъ весело, легко живется. Для нихъ нѣтъ чужбины, печаливающей сердце странника, когда звуки, легѣвшіе его

младенчество, надолго покидаютъ слухъ его. Права ихъ на внимательность и предпочтеніе нигдѣ не теряютъ своей дѣйствительности. Кому же обязаны они своими завидными преимуществами? Людямъ, которыхъ таланты всякое въ языкѣ ихъ слово ознаменовали неизмѣнною значительностію и облекли его въ красоты жизни. Крыловъ, окруженный многочисленными почитателями своими, безъ сомнѣнія въ эти минуты каждаго занималъ, какъ первый изъ сихъ талантовъ, которые создаютъ неистощающее величіе націй. Но что выражало его полувеселое и полужадумчивое лицо? О, къ его душѣ вѣрно тѣснилось все прошедшее, одно, что не измѣняется никогда въ своей прелести. Онъ вѣрно проходилъ мыслію по этому чудному пути, которое указало ему тайное Провидѣніе, чтобы темное, заботамъ и трудамъ обреченное дитя увѣнчано было въ старости по единодушному отзыву всего отечества.

ИСТОРИЯ РОССИИ ВЪ РАЗСКАЗАХЪ ДЛЯ ДѢТЕЙ, СОЧИНЕНІЕ А. О. ИШИМОВОЙ ¹⁾.

1838.

«Исторія питаетъ нравственное чувство», сказалъ исторіографъ нашъ. Итакъ лучшая дань, какую только можно принести въ сокровищницу литературы, есть историческое сочиненіе. Еще драгоценнѣе становится приношеніе, когда оно питаетъ нравственное чувство поколѣнія возникающаго—чистаго, но неопытнаго—готоваго принять всѣ прекрасныя впечатлѣнія, но легко увлекаемаго приманками ложныхъ умствованій. Поэтому книга, заключающая въ себѣ Исторію Россіи въ разсказахъ для дѣтей, есть явленіе, по преимуществу достойное вниманія современной критики.

¹⁾ Современникъ, IX, 71—82.

До сихъ поръ вышло этого сочиненія четыре части. Первая обнимаетъ происшествія съ основанія государства до 1304 года, т. е. до смерти в. к. Андрея Александровича, сына Невскаго. Вторая до кончины Анастасіи, супруги Грознаго, въ 1560 году. Въ третьей событія Русской исторіи доведены до рожденія Петра Великаго, или до 1670 г. Четвертая оканчивается принятіемъ регентства надъ Россією принцессой Анной Леопольдовной, матерію малолѣтнаго императора Іоанна Антоновича, 1740 года.

Книга начинается слѣдующимъ посвященіемъ великой княжны Ольгѣ Николаевнѣ: «Начало этой *Исторіи* было только опытомъ. Я желала написать нѣсколько рассказовъ, которые бы могли занимать маленькихъ читателей Русской Исторіи. Но опытъ былъ такъ счастливъ, что удостоился лестнаго одобренія Вашего Императорскаго Высочества. Тогда я принялась за трудъ мой съ тѣми чувствованіями признательности и усердія, съ которыми теперь осмѣливаюсь представить его Вашему Высочеству, какъ единственной виновницѣ его исполненія.»

Читая и перечитывая эти строки, еще прежде нежели познакомишься съ самымъ сочиненіемъ, уже наполняешься какимъ-то теплымъ и сладостнымъ чувствомъ. У насъ въ Россіи все прекрасное идетъ отъ одного источника. Сколько плѣнительныхъ надеждъ возникаетъ въ сердцѣ при одной мысли объ августѣйшемъ семействѣ, въ которомъ каждое лицо спѣшитъ каждый свой шагъ ознаменовать пользою и благотворительностью! Въ нашей литературѣ столько времени недоставало книги, необходимѣйшей при воспитаніи дѣтей, книги, которая должна быть первымъ чтеніемъ всякаго ребенка, чтобы онъ могъ сдѣлаться гражданиномъ и, вступая въ общество, уважалъ бы его по убѣжденію внутреннему — и этою книгою, по сознанію самой сочинительницы, мы обязаны одобренію ея высочества.

До появленія разсматриваемой Исторіи у насъ для дѣтей были только такъ называемыя руководства, или учебныя книги, по которымъ преподавалась отечественная исторія. Онѣ могли приносить пользу при условіяхъ довольно затруднительныхъ: «если

учитель былъ несравненно выше всѣхъ этихъ руководствъ, если онъ зналъ свою науку непосредственно изъ самыхъ ея источниковъ, если начертаніе ея образовала собственная его душа, однимъ словомъ, если онъ при учебной книгѣ въ состояніи былъ преподавать безъ нея.» Въ противномъ случаѣ, важнѣйшіе уроки при образованіи дѣтей погружали ихъ въ скуку и не доводили до надлежащей цѣли. При томъ же, безъ собственнаго чтенія, которое бы служило не только повтореніемъ предмета, но и показывало бы его съ другой точки, невозможно выучиться ничему. Жизнь науки, подобно какъ жизнь ума, есть вѣчная дѣятельность, т. е. вѣчное движеніе. Дѣти не въ состояніи были съ пользою читать великое твореніе Карамзина. Вотъ почему первоначальные успѣхи въ изученіи этого важнаго предмета весьма у насъ были несоответственны успѣхамъ по другимъ частямъ образованія.

Исторія Россіи въ разсказахъ для дѣтей занимаетъ среднюю часть между короткими руководствами и высшими курсами, которыми должно оканчиваться преподаваніе этой науки для юношества. Она даже совсѣмъ выходитъ изъ разряда такъ называемыхъ учебныхъ книгъ, которыя къ сожалѣнію чаще бываютъ сухими и безжизненными выписками, нежели твореніями краткими, но писанными съ сознаніемъ дѣла и одушевленіемъ. Въ ней соединены всѣ лучшія качества сочиненія литературнаго, какъ-то: независимая метода, критически обработанные факты, освобожденный отъ малѣйшей сбивчивости разсказъ, точная и яркая характеристика эпохъ и дѣйствователей, изображеніе всякаго бытія, возбуждающее участіе и врѣзывающееся въ воображеніи, языкъ гибкій и самостоятельный, доказывающій, въ какой степени сочинительница сближалась душою своею съ ея предметами искусства, и потому овладѣвающій всѣмъ вниманіемъ читателя.

Разсматривая большое сочиненіе, и въ особенности исторію, всего легче говорить противъ плана. Онъ составляется, на одинъ и тотъ же предметъ, очень различно. Авторъ, остановясь на избранной имъ точкѣ, видитъ передъ собою будущее произведеніе соответственно положенію своему. Онъ въ этомъ обстоятельствѣ

подобенъ живописцу. Художника тогда только можно обвинять, когда онъ видимо разрушаетъ все лучшее въ предметѣ, взявъ его съ той стороны, которая отразится на картинѣ. Но требовать, чтобы каждый человѣкъ предпочиталъ одно съ нами, значить отнимать средства къ совершенствованію искусства. Обвиненіе должно падать на человѣка, дѣйствующаго безъ удовлетворительной мысли. Въ исторіи для дѣтей періоды образованы изъ событій, представляющихъ полноту. Соединять ихъ по нѣскольку въ одно цѣлое, и характеризовать высшею идеею длинный рядъ происшествій — несовмѣстно съ понятіями тѣхъ, для кого назначается книга. Самый естественный ходъ ума, когда онъ мужаетъ воззрѣніями на частности. Таково дѣйствіе его въ ежедневныхъ опытахъ изученія языковъ. Онъ не съ этимологии развѣтвляетъ знаніе свое, а подѣмляется до нея съ отдѣльныхъ приобрѣтеній. Такимъ образомъ и галлерей событій, въ которой каждое изъ нихъ представлено отдѣльно, даетъ вѣрный, необходимый, можно сказать единственно-возможный запасъ для будущаго, высшаго изученія исторіи.

Гораздо важнѣе вопросъ: выразился ли въ каждой картинѣ ея истинный характеръ? Тутъ надобно подвергнуть строгому разбору постановку дѣйствующихъ лицъ, освѣщеніе ближайшихъ къ читателю частей ихъ, естественность красокъ, основанную на сущности вещей и художническихъ требованіяхъ, выразительность того, чѣмъ переходитъ въ душу нашу душа разсматриваемыхъ фигуръ, отношенія ихъ между собою, самый даже размѣръ въ изобрѣтеніи картины. По нашему мнѣнію, въ исполненіи этихъ требованій заключается все достоинство произведеній литературы, какъ и другихъ изящныхъ искусствъ. Быть убѣждену въ душѣ, что на сочинителѣ лежитъ долгъ все это исполнить, и стремиться къ тому — значить уже выйти изъ мелкаго, ничтожнаго круга писателей, дѣйствующихъ и безъ призванія, и безъ сознанія своихъ обязанностей. Человѣкъ, получившій отъ природы великій талантъ, не можетъ и дѣйствовать иначе. Люди, глубоко проникнувшіе въ искусство размышленіемъ и сочувствіемъ, вы-

ходятъ на ту же дорогу, хотя представляютъ и не столь блестящія опыты.

Повѣрять присутствіе истинныхъ достоинствъ въ произведеніи можно живымъ участіемъ, которое оно возбуждаетъ въ душѣ наблюдателя. Приводимъ отрывокъ изъ самаго сочиненія, чтобы читатели могли сами примѣнить къ дѣлу наши замѣчанія: «1613 годъ. Московскіе послы нашли молодого Михаила въ совершенной безопасности у родительницы его, въ монастырѣ Ипатьевскомъ. Весело приблизились они къ этимъ священнымъ стѣнамъ, заранѣе радуясь счастію показать усердіе своему новому царю прежде всѣхъ другихъ подданныхъ. Въ грамотѣ, которую они везли къ нему, народъ такъ трогательно умолялъ его принять корону русскую; эта корона была такъ знаменита; блескъ, окружающій престолъ, такъ пышенъ и пріятенъ, что никто изъ пословъ никакъ не воображалъ, чтобы молодой бояринъ могъ одну минуту помедлить своимъ согласіемъ на такое счастіе! Но какъ же обманулись эти добрые люди! Они не знали, какая скромность отличала будущихъ царей ихъ. И Михаилъ и кроткая мать его, не только не обрадовались, но даже испугались высокой чести, имъ предложенной. Первый, не смотря на молодость, обыкновенно гордую и высоко о себѣ думающую, совсѣмъ не считалъ себя способнымъ быть государемъ обширнаго царства русскаго; вторая, воспитавъ въ смиреніи милое дитя свое, совсѣмъ не приготовивъ его къ величію, еще болѣе трудному по причинѣ чрезвычайной молодости Михаила, и зная, какія опасности окружали въ это бурное время престолъ русскій, видѣла одни бѣдствія въ неожиданной перемѣнѣ судьбы сына своего и, проливая слезы, никакъ не соглашалась благословить его на царство. Напрасно умоляли ихъ послы и всѣ знатнѣйшіе бояре и духовенство: они съ твердостью отказывались и согласно говорили, что почитаютъ дерзостію думать о такомъ предложеніи, и никогда не примутъ его. Всѣ поражены были неожиданною горестію, лишаясь царя, съ такимъ восторгомъ всѣми избраннаго, царя, котораго скромность и добродѣтели уже въ шестнадцатилѣтнемъ возрастѣ такъ много

обѣщали народу. Не зная, что дѣлать въ этомъ затруднительномъ положеніи, добрые предки наши прибѣгли къ обыкновенному Помощнику своему, Богу, и усердно помолясь Ему въ соборной церкви Богородицы, пошли съ крестами и образами еще разъ убѣждать государя. Михаилъ и набожная родительница его вышли на встрѣчу священнаго шествія, приложились къ образамъ, и вмѣстѣ съ ними вошли въ церковь. Здѣсь начались новыя просьбы, полились новыя слезы; но уже плакала не одна смиренная Марфа, плакалъ весь народъ, умоляя ее о согласіи. Главный изъ пословъ, рязанскій архіепископъ Феодорятъ, представлялъ ей разстроенное состояніе Россіи и всѣ несчастія, какія терзали ее съ тѣхъ поръ, какъ, сиротѣя безъ царя, она лишилась могущественнаго защитника своего и сдѣлалась игралищемъ сосѣднихъ государей и собственныхъ злодѣевъ, говорилъ все, что сердце, любящее отечество, можетъ придумать самаго убѣдительнаго; но видя, что всѣ слова его имѣютъ мало успѣха, сказалъ наконецъ, что Богъ, въ день страшнаго суда, спроситъ у сына ея отчетъ въ счастіи народа, который отъ него одного ожидалъ окончанія своихъ бѣдствій — и былъ отвергнутъ имъ. Эта мысль о судѣ Божіемъ, о несчастіяхъ соотечественниковъ и о томъ, что Богъ, ниспосылая Михаилу высокую судьбу царя, безъ сомнѣнія ниспошлетъ ему и силы къ исполненію всѣхъ трудныхъ обязанностей его, заставила ее рѣшиться. Со всѣмъ смиреніемъ христіанки подняла она кроткіе, полные слезъ взоры, и, приведя его къ образу Богородицы, сказала: Великъ Господь и чудны дѣла Его. Волѣ Его никто не можетъ противиться. Тебѣ, о Матерь Божія, предаю дитя мое, устрой ему и всему православному христіанству полезное!»

Остановясь предъ этою умилительною картиною, такъ отчетливо обработанною, кто не чувствуетъ, что она, явившись разъ передъ глазами, сливается съ нашею душою? Этотъ характеръ простодушія, смиренномудрія, набожности, преданности въ волю Божію, не переноситъ ли онъ читателя въ ту жизнь, которая принадлежитъ эпохѣ событія? Какая строгая соразмѣрность въ ча-

стях! Сколько искусства въ начертаніи цѣлаго! Ни одинъ предметъ не оставленъ безъ особеннаго, ему принадлежащаго выраженія, и все это высказано тѣмъ точнымъ, художническимъ языкомъ, который болѣе всего свидѣтельствуешь о силѣ воображенія, о ясности представленія вещей въ душѣ сочинительницы. Невольно вспомнишь здѣсь слова Пушкина: «вотъ какъ надобно писать»¹⁾. Между тѣмъ высшія литературныя достоинства не развели ея съ главною цѣлію—овладѣть дѣтскимъ вниманіемъ и вызвать полное участіе юной души. Тутъ ничего нѣтъ свѣше ихъ понятій и нѣтъ ничего ребяческаго, что такъ противорѣчитъ успѣху.

Есть требованіе въ отношеніи къ сочиненіямъ подобнаго рода, еще многозначительнѣе. Въ исторіи, приготовляемой для чтенія дѣтей, столько же необходимы совершенства, общія произведеніямъ изящныхъ искусствъ, какъ и во всѣхъ сочиненіяхъ. Умъ дѣтей нельзя питать чѣмъ-нибудь отрицательнымъ, т. е. лишеннымъ прямыхъ красотъ. Ихъ нравственная природа, подобно природѣ физической, удовлетворяется пищею доброю. Книга, не ознаменованная присутствіемъ таланта, столько же не по вкусу имъ, какъ дурно приготовленная пища. Они или не примутъ ея, или она обратится имъ во вредъ. Но, сверхъ совершенствъ художническихъ, сочиненіе должно быть проникнуто чистотою нравственною, присутствіемъ совѣсти, стремленіемъ ко всѣму доброму—благоухающей святинею души. Для опредѣленія этого качества употребляютъ выраженіе: хорошій духъ книги. Онъ въ ней то же, что около насъ воздухъ, вещество неосязаемое, невидимое, но чувствуемое. Мы его не готовимъ въ пищу, но отъ него только здоровы, когда онъ хорошъ, и умираемъ, когда его нѣтъ. Никакими правилами не наведешь автора на водвореніе въ книгѣ хорошаго духа, если онъ естественно, собственнымъ присутствіемъ не освящаетъ творенія. По духу своему разбираемая нами книга можетъ назваться сокровищемъ для юныхъ ея читателей. Въ

¹⁾ VIII т. *Современника*, 76 стран.

каждомъ разсказѣ онъ ихъ окружаетъ и даетъ благотворное направленіе ихъ собственнымъ размышленіямъ. Если бы, по какому-нибудь обстоятельству, по причинѣ разсѣянности, или по недостатку способностей, чтеніе книги и не обогатило ихъ вполне столь драгоценными сокровищами, какія заключаются въ исторіи отечества, оно уже тѣмъ однимъ благотворно, что прекрасно настраиваетъ ихъ душу и воспитаетъ въ нихъ лучшее качество — благонравіе.

Исторія принадлежитъ къ разряду тѣхъ сочиненій, въ которыхъ ничто не изобрѣтается. Въ ней надобно обрабатывать матеріалы, заготовляемые предшественниками на этомъ поприщѣ. Русская исторія, въ истинномъ значеніи этого слова, у насъ создана, какъ извѣстно, Карамзинымъ. Его сочиненіе оканчивается 1611 годомъ. Сочинительница Исторіи для дѣтей могла руководствоваться имъ до этого времени, подобно тому, какъ имъ же пользовались всѣ занимавшіеся сочиненіемъ Русской исторіи послѣ Карамзина. Но ея книга требовала изложенія событій опредѣлительнаго, свободнаго отъ гадательныхъ предположеній, окончательнаго; однимъ словомъ, она требовала твердаго основанія для будущихъ обширныхъ соображеній юношества. Сочинительница такъ исполнила эту обязанность, что въ ея разсказахъ исчезли запутанныя времена междоусобій: все ясно, въ своемъ мѣстѣ и въ свое время. Освобожденная долголѣтними и благотворными усиліями руководителя своего отъ множества предварительныхъ работъ при началѣ своего труда, наконецъ сочинительница принуждена была подвергнуться въ свою очередь и двойственному занятію, т. е. обработыванію матеріаловъ (трудъ многосложнѣйшій, приводящій въ страхъ самаго привычнаго къ ученымъ изысканіямъ человѣка) и начертанію событій въ художническомъ образѣ. Но, къ удовольствію многочисленныхъ ея читателей и почитателей, ничто не останавливаетъ и даже не замедляетъ ея сочиненія. Половина 3-й и вся 4-я часть никакого не представляютъ измѣненія ни въ полнотѣ матеріаловъ, ни въ критическомъ ихъ выборѣ, ни въ сохраненіи красокъ времени,

ни въ томъ общемъ характерѣ, который такъ уже давно выразилъ самобытность ея прекраснаго труда ¹⁾.

ПЕРЕМѢЩЕНІЕ УНИВЕРСИТЕТА ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГѢ ²⁾.

1838.

Зданіе, до сихъ поръ называвшееся XII коллегіями, принадлежитъ къ числу самыхъ любопытныхъ памятниковъ исторіи Петербурга. Оно выстроено по прямой линіи противъ Биржи, и на протяженіи 186 сажень идетъ поперекъ Васильевского острова отъ набережной Большой Невы почти до перваго ея рукава. Съ давняго времени не имѣя особеннаго для себя назначенія, оно только привлекало вниманіе величественною, старинною своею архитектурой, и по видимому, ожидало мысли вѣнценоснаго обновителя драгоцѣнныхъ памятниковъ столицы. Государь Императоръ всемилостивѣйше повелѣть соизволилъ приготовить это зданіе для помѣщенія въ немъ университета и Главнаго Педагогическаго института.

Начало построенія XII коллегій относится къ 1723 году.

¹⁾ Въ XX томѣ *Современника* (1840 г.), при отрывкѣ изъ послѣдней части Исторіи г-жи Ишимовой, помѣщены еще слѣдующія строки отъ редакціи:

Такимъ образомъ совершенъ трудъ, безцѣнный во всѣхъ отношеніяхъ. У насъ въ литературѣ это первая Русская Исторія, доведенная до нынѣшняго времени, обработанная по всѣмъ вѣрнѣйшимъ матеріаламъ, написанная языкомъ увлекательнымъ и въ своей сферѣ ознаменованная всѣми достоинствами истиннаго таланта. Прочитавши помѣщаемый здѣсь отрывокъ изъ послѣдняго тома Исторіи А. О. Ишимовой, до нѣкоторой степени можно видѣть, какъ ея дарованіе умѣетъ пользоваться самыми разнородными матеріалами для составленія цѣлаго, живого, равномернаго и овладѣвающаго участіемъ. Предметъ ея здѣсь самъ по себѣ вдохновителенъ. Но чѣмъ онъ увлекательнѣе въ идеѣ, тѣмъ болѣе опасности для художническаго осуществленія. Ежели современная наша литература съ любовію и гордостію вноситъ въ свою сокровищницу это довершенное уже твореніе; то съ какимъ чувствомъ признательности должны его принять родители, понимающіе всю пользу для дѣтей и важность въ изученіи отечественной исторіи!

²⁾ *Современникъ*. X, 1—11.

Ихъ основателемъ былъ основатель Петербурга. Мысль Петра Великаго приведена въ исполненіе тогдашнимъ архитекторомъ Трезинимъ. Сумма на постройку зданія простиралась по смѣтѣ того времени до 117,567 р. 48 к. Между началомъ строенія и нынѣшнимъ его обновленіемъ протекло болѣе столѣтія. Все требовало перемѣны и улучшенія. Теперешняя передѣлка произведена архитекторомъ Щедринымъ по распоряженіямъ особеннаго комитета. Издержки для этого преобразованія XII collegій простираются до 600 т. р. Такимъ образомъ въ любопытномъ семъ зданіи остается внѣшность, напоминающая времена Петра I; внутри оно блистательно какъ эпоха Николая I.

Еще лѣтомъ прошедшаго года университетъ положилъ начало перемѣщенію своему въ приготовленное для него зданіе. 29 іюня совершенъ былъ торжественный обрядъ освященія университетской церкви во имя св. Апостоловъ Петра и Павла. 14 марта 1838 года останется незабвенною эпохою въ лѣтописяхъ Санктпетербургскаго университета. Его Императорское Величество удостоилъ въ этотъ день посѣтить новое его помѣщеніе. Вслѣдъ за симъ, 19 апрѣля, университетъ имѣлъ счастье видѣть въ своихъ аудиторіяхъ Его Императорское Высочество Государя Наслѣдника Цесаревича. Водворенный, соотвѣтственно важности назначенія его, въ одномъ изъ достопамятнѣйшихъ зданій столицы, университетъ и оживотворенъ теперь къ своей дѣятельности благостнымъ вниманіемъ Монарха и его Первенца.

Открытіе курсовъ наукъ въ обновленномъ зданіи XII collegій университетъ ознаменовалъ особеннымъ актомъ, который происходилъ 25 марта 1838 года. Въ числѣ посѣтившихъ этотъ ученый праздникъ онъ съ благодарностію видѣлъ первыхъ сановниковъ государства, всѣхъ почти ученыхъ столицы и множество любителей просвѣщенія. Изъ университетской церкви, гдѣ послѣ обѣдни совершено по сему случаю молебствіе, посѣтители перешли въ залу торжественныхъ университетскихъ собраній, замѣчательную по своей красотѣ. Она представляетъ правильный четвероугольникъ, который поднимается въ два свѣта почти на семь

саженей вышины, и вдвое болѣе простирается въ длину. Хоры залы, идущіе по всѣмъ четыремъ стѣнамъ, поддерживаются колоннами, прелестно отшлифованными подъ бѣлый мраморъ. Тамъ помѣстились любительницы отечественнаго просвѣщенія. Члены университета и участники въ ихъ торжествѣ съ истиннымъ удовольствіемъ смотрѣли на это утѣшительное любопытство, на это всеобщее вниманіе къ успѣхамъ образованности національной. Актъ открытъ былъ рѣчью г. ректора университета, профессора Шульгина. Въ ней представилъ онъ любопытнѣйшія подробности касательно зданія XII коллегій и исторію университета С.-Петербургскаго. Несмотря на продолжительность чтенія, всѣ съ живымъ участіемъ слѣдовали за событіями отъ первой мысли Петра-Великаго о водвореніи наукъ въ Россіи до нынѣшняго ихъ состоянія. Программа акта представляла еще два чтенія. Профессоромъ Никитенко приготовлено было похвальное слово Петру I, и профессоромъ Грече рѣчь на латинскомъ языкѣ, слѣдующаго содержанія: *Imperatori Augustissimo Domino suo clementissimo quid pro tot ac tantis beneficiis universitas literaria debeat?* По недостатку времени посѣтители должны были удовольствоваться, получивъ печатные экземпляры всѣхъ рѣчей, изъ чтенія которыхъ совѣтъ университета предполагалъ составить полный актъ. Въ заключеніе объявлены были на годъ задаваемые студентамъ темы для сочиненій, изъ которыхъ одно признано въ совѣтѣ удовлетворительнѣйшимъ и авторъ его награжденъ золотою медалью.

По окончаніи акта посѣтители осматривали весь университетъ. Его аудиторіи, выходящія на лицевую сторону зданія, размѣщены въ просторныхъ, высокихъ и свѣтлыхъ комнатахъ. Въ этомъ ряду особенно любопытно было видѣть залу обыкновенныхъ собраній совѣта университетскаго. Она сохранена непрекосновенно въ томъ видѣ, какъ была украшена въ первое время построенія коллегій. Лѣпная работа и живопись по стѣнамъ—все носитъ характеръ историческій. Современнымъ ея украшеніемъ служатъ только три мраморные бюста императоровъ: Петра I, Александра I и Николая I. Но болѣе всего замѣчательна въ университетѣ гал-

лерей, общая для него съ Главнымъ Педагогическимъ институтомъ. Въ ней помѣщаются библіотека и всѣ пособія для преподаванія естественной исторіи и физики. Галлерей устроена на противоположную сторону отъ аудиторій и отдѣляется отъ нихъ рекреационными залами. Она идетъ вдоль всего почти зданія XII коллегій, такъ что длина ея содержитъ 171 сажень. Ея большія венеціанскія окна, блестящій паркетъ, чистота и вкусъ мебели, безконечность протяженія представляютъ изъ нея что-то единственное въ своемъ родѣ: и дѣйствительно, еще не было на въ одномъ публичномъ заведеніи Европы такого украшенія храма наукъ.

Перемѣщеніе университета въ Санктпетербургѣ останется навсегда въ исторіи нашего просвѣщенія памятникомъ попечительности Государя Императора о благосостояніи народа, о возвышеніи его нравственности и умственнаго достоинства, — попечительности, которая, можемъ съ гордостію сказать, составляетъ отличительную черту въ лѣтописяхъ царствованія монарховъ Россіи. Университетъ есть центральное мѣсто окончательной образованности всѣхъ сословій. Милостію монарха возвышенный въ своихъ преимуществахъ, въ правахъ членовъ своихъ, въ способахъ ученой ихъ дѣятельности и въ самыхъ удобствахъ существованія, онъ теперь благоденствуетъ, ревностно стремясь къ своему предназначенію. Заведеніе, по идеѣ Петра Великаго возникнувшее вмѣстѣ съ Академіею наукъ ¹⁾ и существовавшее нераздѣльно съ нею до временъ Екатерины II, Санктпетербургскій университетъ долженъ былъ перейти множество степеней и подвергнуться разнымъ видоизмѣненіямъ прежде нежели священная воля благополучно царствующаго Императора возвела его на нынѣшнюю блестящую чреду. По своему педагогическому вліянію на всѣ наши ученія и учебныя заведенія, Санктпетербургскій университетъ можетъ назваться разсадникомъ европейскаго образо-

¹⁾ Екатерина I открыла Академію наукъ въ 25 день декабря 1725 года, присвоивъ къ ней гимназію, именованную до 1762 года университетомъ, гдѣ надлежало образовывать учителей.

ванія въ Россіи. Находясь еще при Академіи наукъ, онъ доставилъ въ первую генерацию профессоровъ Московскаго университета двухъ мужей, столь извѣстныхъ въ нашей исторіи просвѣщенія: Поповскаго и Барсова, любимцевъ и учениковъ Ломоносова. Съ 1782 года начинается его дѣятельность обширная и благотворная. Отдѣльный отъ Академіи наукъ и преобразованный Екатериною II сперва въ учительскую семинарію, а потомъ въ учительскую гимназію, онъ въ теченіе двадцати трехъ лѣтъ снабжалъ наставниками всѣ открывавшіяся тогда училища, какъ низшія, такъ и высшія. Въ томъ же направленіи, но усиленный въ способахъ, соотвѣтственно состоянію наукъ въ Европѣ, онъ, подъ именемъ Педагогическаго института, продолжалъ свою дѣятельность съ 1803 года до начала 1819. Съ этой эпохи, двадцатый годъ существуетъ онъ подъ собственнымъ нынѣшнимъ своимъ наименованіемъ. Такимъ образомъ, въ продолженіе ста лѣтъ переходя изъ одного устройства въ другое, но преимущественно имѣя въ виду педагогическую цѣль свою во исполненіе мысли великаго преобразователя Россіи, Санктпетербургскій университетъ доставилъ отечеству прямо на ученую службу тысячу человѣкъ изъ своихъ воспитанниковъ. Ихъ труды памятны не однимъ преподаваніемъ наукъ, но и составленіемъ лучшихъ руководствъ по всѣмъ частямъ. Ученое сословіе нынѣшняго университета въ С.-Петербургѣ, за исключеніемъ нѣсколькихъ лицъ, образовалось въ этомъ же заведеніи. Говоря объ университетѣ, когда онъ назывался только Педагогическимъ институтомъ, вотъ что сказалъ въ рѣчи своей г. Шульгинъ: «Нѣтъ въ здѣшней столицѣ ни одного учебнаго заведенія, въ которомъ бы не было между преподавателями нѣсколькихъ воспитанниковъ его. И внутри имперіи, особенно въ учебныхъ округахъ Петербургскомъ, Харьковскомъ, Казанскомъ, нынѣшнемъ Кіевскомъ и отчасти въ Московскомъ, и въ Россіи по ту сторону Уральскихъ горъ много найдется учебныхъ заведеній, въ которыхъ или были, или теперь еще есть наставники изъ бывшихъ студентовъ его. Были изъ нихъ въ составѣ ученаго сословія университетовъ Московскаго, Харьковскаго

и Абовскаго; есть и теперь, кромѣ Петербургскаго, въ университетахъ Казанскомъ и св. Владиміра. Другіе, оплативъ за полученное образованіе образованіемъ сообщеннымъ, дѣйствовали или дѣйствуютъ на другихъ поприщахъ общественнаго служенія».

Вліяніе Санктпетербургскаго университета на распространеніе образованности по всей Россіи, будучи до послѣдней въ немъ перемѣны преимущественно педагогическимъ, само собою указываетъ на объемъ и характеръ свѣдѣній тѣхъ лицъ, отъ которыхъ университетъ находился долѣе въ ближайшей зависимости. Педагогическое назначеніе несовмѣстно съ поверхностнымъ знаніемъ наукъ, хотя бы скудость эрудиціи прикрывалась самыми блестящими формами преподаванія. Въ основаніе педагогическихъ успѣховъ полагается вѣрный и обширный кругъ учености. Не безъ причины, до сихъ поръ, желая внушить уваженіе къ чьимъ-нибудь свѣдѣніямъ, предварительно указываютъ на ихъ отчетливость и полноту — два качества, выражающія систему и всю жизнь науки. Такимъ образомъ, не безъ причины идею учености образовали изъ познанія древности (перваго періода вѣдѣнія) и послѣдовавшихъ вѣковъ (продолженія его). Исторія, какъ теперь ее обрабатываютъ, есть новая, посмертная жизнь народа, подвергаемая критикѣ. Главный, если не единственный, источникъ изученія жизни народа, или общности его вѣдѣнія, есть языкъ его, т. е. литература. Вотъ на чемъ для истинной учености утверждена необходимость знанія древнихъ языковъ, знанія, которое ручается по крайней мѣрѣ за труднѣйшую половину требованія. Специальный характеръ Санктпетербургскаго университета образовался не только по прежнему специальному его назначенію, но особенно по вліянію на судьбу его такихъ лицъ, которыя въ административномъ своемъ званіи были сами представителями истинной учености. Не восходя къ первой половинѣ существованія университета, когда онъ былъ не вполне самостоятельнымъ заведеніемъ, нельзя не остановить вниманія на судьбѣ его въ послѣднее пятидесятилѣтіе. Въ этотъ періодъ два государственные мужа долѣе и ближе другихъ лицъ занимались имъ Графъ П. В. Завадовскій

предсѣдательствовалъ въ комиссіи учрежденія народныхъ училищъ. Онъ открылъ учительскую семинарію. Ему поручено было образованіе министерства народнаго просвѣщенія, котораго онъ былъ первымъ министромъ. Итакъ въ теченіе двадцати пяти лѣтъ онъ дѣйствовалъ ближайшимъ образомъ на утвержденіе въ подвѣдомственномъ ему сословіи самыхъ основательныхъ знаній, составлявшихъ отличительную его черту между современниками. Съ начала 1811 года попечителемъ С.-Петербургскаго учебнаго округа назначается С. С. Уваровъ, нынѣшній министр народнаго просвѣщенія. Ему предоставлено судьбою уже другую четверть столѣтія непосредственно завѣдывать успѣхами и направленіемъ учености въ здѣшней столицѣ. Прежде нежели по долгу министра обратилъ онъ вниманіе свое на всѣ русскіе университеты и другія зависящія отъ него ученія сословія, Педагогическій институтъ, и съ 1818 года, Академія наукъ были первою заботою и безъ сомнѣнія первою отрадою просвѣщенной его дѣятельности. Онъ неослабно бдительностію своею, а еще болѣе своимъ собственнымъ примѣромъ, утвердилъ здѣсь это ученіе основательное, полное, классическое, которое одно ведетъ ко всеобъемлющему совершенствованію умственныхъ способностей. Его ходатайству институтъ обязанъ открытіемъ въ немъ кафедры восточныхъ языковъ, чѣмъ каждый университетъ дополняетъ великій пропускъ въ общности знаній, а русскій едва ли не одинъ изъ существеннѣйшихъ, по причинѣ прикосновенности имперіи къ державамъ Востока.

Университетъ на праздникъ своего перемѣщенія въ послѣдній разъ видѣлъ между знаменитыми своими посѣтителями графа Н. Н. Новосильцова, ко всеобщему сожалѣнію скончавшагося черезъ нѣсколько дней послѣ акта. Память сего государственнаго мужа, по вліянію его на прежде бывшій Педагогическій институтъ, драгоцѣнна для университета. Въ этомъ самомъ зданіи, гдѣ онъ едва не наканунѣ кончины своей участвовалъ въ торжествѣ университета, съ благодарностію произносившаго имя его устами своего ректора, въ этомъ зданіи, за 32 года, онъ, бывъ тогда

попечителемъ учебнаго Спб. округа, водворилъ Педагогическій институтъ, и своимъ ревностнымъ содѣйствіемъ къ его благу поставилъ имя свое, какъ звено, между именами двухъ лицъ, образовавшихъ характеромъ собственныхъ своихъ свѣдѣній характеръ ученой дѣятельности С.-Петербургскаго университета.

Новыя черты должны дополнить и сильнѣе обозначить фizioномію нынѣшняго университета, потому что самая жизнь его разностороннѣе и, такъ сказать, обширнѣе. Но что прекраснаго ему сообщено уже исторіею его, то безъ сомнѣнія останется въ немъ неизмѣннымъ.

АЛЕКСАНДРЪ СЕРГѢЕВИЧЪ ПУШКИНЪ ¹⁾.

1838.

Самая долговременная жизнь человѣка, который провелъ лучшіе свои годы въ тишинѣ размышленія, въ дѣятельности почти неподвижной, въ однообразной бесѣдѣ съ литераторами да съ книгами, не можетъ быть обильна любопытными событіями. Она поучительна для нѣкотораго числа изыскателей, преслѣдующихъ всякое явленіе умственной жизни, чтобы прибавить нѣсколько истинъ въ науку о духѣ человѣка. Въ тридцать шесть лѣтъ и восемь мѣсяцевъ жизни своей (съ 26 мая 1799 по 29 января 1837) Пушкинъ, окончившій столько творевій, возбуждившихъ всеобщее вниманіе, не успѣлъ біографіи своей доставить заманчивости разнообразіемъ происшествій внѣшнихъ. Но внутренняя жизнь, высказавшаяся въ его сочиненіяхъ, богата поучительными событіями.

До поступленія Пушкина въ Царскосельскій лицей (1811), вѣроятно, уже возбуждена была нѣсколько дѣятельность его ораторскаго таланта. Отецъ его и дядя (извѣстный стихотворецъ

¹⁾ *Современникъ*. X, 21—52.

нашъ, Василій Львовичъ Пушкинъ) издавна въ дружескихъ находились сношеніяхъ съ Дмитриевымъ (И. И.), Карамзинымъ и Жуковскимъ. Но лицейская жизнь, гдѣ общество не изгоняло искренности, а соперничество не ослабляло дружества, быстро и благотворно раскрыла его душу. Много было обстоятельствъ временныхъ и мѣстныхъ, которыя, при открытіи лица, необыкновенное сообщили движеніе умственной дѣятельности воспитанниковъ. Участіе Государя Императора и всей августѣйшей фамиліи въ ихъ судьбѣ, гласность надеждъ, соединявшихся съ судьбою сего заведенія, тщательный выборъ наставниковъ, изъ которыхъ одинъ, едва переступилъ черезъ порогъ лица, какъ и дошагнулъ до блистательной извѣстности¹⁾, новость самаго помѣщенія, гдѣ слава громкаго царствованія Екатерины II звучала повсемѣстно, — все поражало и чувства и воображеніе и умъ счастливыхъ припелцевъ.

Пушкинъ, какъ ученикъ, не былъ изъ числа прилежныхъ. Но едва ли не дѣятельнѣе всѣхъ занимался онъ чтеніемъ и собственными литературными работами. О лекціяхъ Куницына, который преподавалъ нравственныя науки, онъ вспоминалъ всегда съ восхищеніемъ и лично къ нему до смерти своей сохранилъ неизмѣнное уваженіе. Въ продолженіе лицейской жизни написалъ онъ много стихотвореній мелкихъ; тамъ же составленъ планъ *Руслана и Людмилы* и даже положено начало самой поэмѣ. Изъ другихъ его стихотвореній, относящихся къ этой эпохѣ, извѣстны: *Воспоминанія въ Царскомъ Селѣ, Къ Лицинію*, и ненапечатанное, но читанное имъ при выпускѣ на экзаменѣ: *Безъпріе*. Въ одномъ изъ тогдашнихъ журналовъ, безъ подписи сочинителява имени, печатаемы были всѣ сочиненія Пушкина, имъ писанныя на 12, 13 и 14 году отъ рожденія. Къ сожалѣнію, онъ нигдѣ не упомянулъ о нихъ, не внесъ, какъ образчикъ лепетанія дѣтской музыки,

¹⁾ А. П. Куницынъ, при открытіи лица произнесшій рѣчь къ воспитанникамъ въ присутствіи Его Императорскаго Величества и августѣйшей фамиліи.

въ собраніе своихъ стихотвореній—и они едва ли не погибли для потомства ¹⁾).

Всѣ товарищи, даже не занимавшіеся пристрастно литературою, любили Пушкина за его прямой и благородный характеръ, за его живость, остроту и точность ума. Честь, можно сказать, рыцарская, была основаніемъ его поступковъ—и онъ не отступилъ отъ своихъ понятій о ней ни одного разу въ жизни, при всѣхъ искушеніяхъ и перемѣнахъ судьбы своей. Неизбалованный въ дѣтствѣ ни роскошью, ни угожденіями, онъ способенъ былъ переносить всякое лишеніе и чувствовать себя счастливымъ въ самыхъ стѣсненныхъ обстоятельствахъ жизни. Природа, кромѣ поэтическаго таланта, наградила его изумительною памятью и проицательностію. Ни одно чтеніе, ни одинъ разговоръ, ни одна минута размышленія не пропадали для него на цѣлую жизнь. Его голова, какъ хранилище разнообразныхъ сокровищъ, была полна матеріалами для предпріятій всякаго рода. Повидимому разсѣянный и невнимательный, онъ изъ преподаванія своихъ профессоровъ уносилъ болѣе, нежели товарищи. Но всѣ отличныя способности и прекрасныя понятія о назначеніи человѣка и гражданина не могли защитить его отъ тѣхъ недостатковъ, которые вредили его авторскому призванію. Онъ легко предавался излишней разсѣянности. Не было у него этого постоянства въ трудѣ, этой любви къ жизни созерцательной и стремленія къ высокимъ отдаленнымъ цѣлямъ. Онъ безъ малѣйшаго сопротивленія уступалъ вліянію одной минуты и безъ сожалѣнія тратилъ время на ничтожныя забавы. Къ числу послѣднихъ надобно отнести и сочиненіе нѣкоторыхъ его шуточныхъ стихотвореній, которыя онъ писалъ болѣе для возбужденія веселости въ товарищескомъ кругу, нежели по наклонности къ этому роду. Такимъ образомъ онъ первоначально обязанъ былъ необходимыми для литератора свѣдѣніями болѣе воспріимлемости души своей, нежели усилію и ревности характера. Пробывъ шесть лѣтъ въ лицей, онъ 1817 года

¹⁾ Извѣстно, что это предположеніе, къ счастью, не оправдалось: лицейскія стихотворенія Пушкина давно напечатаны.

въ октябрѣ явился на новомъ поприщѣ въ Санктпетербургѣ. Незабвенную сцену единственнаго свиданія своего съ Державинымъ, который присутствовалъ на лицейскомъ экзаменѣ при переходѣ воспитанниковъ въ старшій классъ, онъ самъ описалъ прекрасно¹⁾).

На службу онъ поступилъ въ иностранную коллегію. Извѣстность о его талантѣ, дружба, уже связывавшая его съ первыми писателями Россіи, наконецъ свѣтскія отношенія фамиліи Пушкиныхъ и Ганнибаловыхъ (изъ послѣдней происходила мать его) доставили ему въ столицѣ всѣ удовольствія, которыхъ такъ жаждетъ молодость, и которыя еще привлекательнѣе казались юношѣ съ пылкимъ сердцемъ; прожившему шесть лѣтъ въ прекрасномъ, но все-таки затворничествѣ. Три года, проведенные имъ въ Санктпетербургѣ по выходѣ изъ лицея, отданы были развлеченіямъ большого свѣта и увлекательнымъ его забавамъ. Отъ великолѣпнѣйшаго салона вельможъ до сѣмьи нецеремонной пирушки офицеровъ, вездѣ принимали Пушкина съ восхищеніемъ, питая и собственную и его суетность этою славою, которая такъ неотступно слѣдовала за каждымъ его шагомъ. Онъ сдѣлался идоломъ преимущественно молодыхъ людей, которые въ столицѣ претендовали на отличный умъ и отличное воспитаніе. Такая жизнь заставила Пушкина много утратить времени въ бездѣйствіи. Но всего вреднѣе была мысль, которая навсегда укоренилась въ немъ, что никакими успѣхами таланта и ума нельзя человѣку въ обществѣ замкнуть круга своего счастья безъ успѣховъ въ большомъ свѣтѣ. Говоря о нашихъ обществахъ, можно по многимъ причинамъ согласиться въ этомъ. Высшая образованность, жизнь непринужденная и удовлетворяющая требованіямъ свѣтлаго ума, вкусъ, вѣрная оцѣнка талантовъ, европейскій горизонтъ извѣстій и сужденій—все это составляетъ у насъ исключительную принадлежность большого свѣта. Но литераторъ невольно сдѣлается виновнымъ и передъ собою и передъ потомствомъ, если,

¹⁾ См. VIII т. *Современника*, 241 стран.

для преходящихъ удовольствій, отдастъ большому свѣту въ жертву лучшіе дары природы: миръ души своей и независимость плодотворной мечты.

Къ счастью, Пушкинъ напелъ средство жить и въ мірѣ поэзіи и въ прозѣ свѣта. Большую часть дня утромъ писалъ онъ свою поэму, а большую часть ночи проводилъ въ обществѣ, довольствуясь кратковременнымъ сномъ въ промежуткѣ сихъ занятій. Надъ нимъ носились въ эту эпоху образы созданій Аріоста и Виланда. Ихъ онъ вводилъ въ сферу древней Руси, и такимъ образомъ началъ выказываться свѣтъ національной русской фантазии въ литературномъ произведеніи съ европейскими формами. Жуковский, переселившійся тогда изъ Москвы въ Санктпетербургъ, соединялъ около себя всѣ таланты. У него прочитывалъ Пушкинъ каждую новую пѣснь Руслана и Людмилы. На стихотвореніяхъ его, начиная съ произведеній двѣнадцатилѣтняго возраста, нигдѣ не обозначилось ни одного признака, который бы напоминалъ поэтовъ нашихъ осьмнадцатаго столѣтія. Языкъ Пушкина есть плодъ переворота, произведеннаго Жуковскимъ въ стихотворномъ языкѣ и его формахъ. Въ 1820 г. поэма *Русланъ и Людмила* была кончена. Авторъ спѣшилъ оставить столицу, гдѣ успѣлъ наскучить разсѣянностію. Жуковский, прощаясь съ нимъ, подарилъ ему литографированный тогда портретъ свой и шутя написалъ на немъ: *Ученику-побѣдителю отъ побѣжденнаго учителя въ высокоторжественный день окончанія Руслана и Людмилы*. Много было журнальных толковъ во время оной о новой поэмі. Всѣ они, какъ ведется въ журналахъ, не касаются существеннаго въ искусствѣ. Одни обращены на событіе, другіе на рифмы, третья на фразы, четвертые на шутки, и т. д. Никто не замѣтилъ, что это была первая на русскомъ языкѣ поэма, которую всѣ прочитали, забывши, что до сихъ поръ поэма и скука значили у насъ одно и то же.

Между тѣмъ Пушкинъ переѣхалъ въ Кишиневъ. Онъ опредѣленъ былъ въ канцелярію полномочнаго намѣстника Бессарабіи генералъ-лейтенанта Инзова, въ которомъ нашелъ онъ вниматель-

наго къ себѣ и добродушнаго начальника. Отсюда началась, въ нѣкоторомъ смыслѣ, кочующая жизнь поэта, продолжавшаяся пять лѣтъ до возвращенія его въ псковскую отцовскую деревню *Михайловское*. Безъ этой жизни многого не нашли бы мы въ стихотвореніяхъ Пушкина. Онъ оправдалъ одну извѣстную истину, что для поэзіи мало одного воображенія: нужно сближеніе съ природою и непосредственное прикосновеніе къ ея красотамъ. Поэтъ заговорилъ о предметахъ вдохновенія своего языкомъ опредѣленнымъ, отчетливымъ и яркимъ. Ему ненужно было придумывать картинъ для украшенія произведеній своихъ. Передъ нимъ, во всей поразительности и неисчислимости, предстояли въ натурѣ картины всѣхъ родовъ художнической красоты. Онъ властительно волновали умъ его и очищали выраженія отъ тѣхъ излишковъ и общностей, которые неизбежны въ языкѣ кабинетнаго писателя. Вся южная Россія, образующая великолѣпный амфитеатръ съ трехъ сторонъ Чернаго моря, въ разныхъ направленіяхъ обозрѣваема была Пушкинымъ. Онъ бралъ поэтическія дани и съ кочующихъ племенъ Бессарабіи, и съ торговыхъ пришельцевъ Одессы, и съ классическихъ развалинъ Тавриды, и съ зеленѣющихъ волнъ Эвксина, и съ дикихъ вершинъ Кавказа. На горизонтѣ европейской поэзіи ярко заблистала въ это время звѣзда Байрона. Жадно, полный сочувствія, смотрѣлъ на нее Пушкинъ, вступая въ новый періодъ своей стихотворной дѣятельности.

Въ отвѣтъ на всѣ отзывы петербургскихъ критиковъ онъ прислалъ свой блестящій *Эпиграммъ* къ поэмѣ *Русланъ и Людмила*, а вслѣдъ за нимъ и *Кавказскаго Пастыря* (1822), который, до послѣдняго изданія въ полномъ собраніи его стихотвореній, четыре раза былъ перепечатываемъ (1822, 4, 8 и 1835). Между первою поэмою и новымъ произведеніемъ Пушкина ничего почти не было общаго, кромѣ прекрасныхъ стиховъ. Тамъ все сочинено, т. е. придумано, украшено, выработано; здѣсь большею частію все взято съ оригинала. Юношеская игривость, классическія замашки въ размѣщеніи картинъ и равновѣсіи разнообразныхъ красотъ замѣнены свѣжестью ощущеній, однотоннымъ, но вѣр-

нымъ голосомъ страсти, характерами, неполнѣ дописанными, но сильными и увлекательными по своей новостѣ и истинѣ. Вотъ что въ послѣдствіи времени написалъ Пушкинъ самъ объ этой поэмѣ своей: «Въ Ларсѣ нашелъ я измаранный списокъ *Кавказскаго Пльнника*, и признаюсь, перечелъ его съ большимъ удовольствіемъ. Все это слабо, молодо, неполно: но многое угадано и выражено вѣрно» ¹⁾).

Великій талантъ, явленіе, столько разъ повторявшееся передъ людьми, но неразгаданное, необъясненное еще ни однимъ философомъ, чуждъ всякой наружной системы. Въ немъ однакожь больше, нежели въ умѣ обыкновенномъ, благотворныхъ началъ, изъ которыхъ постоянно развивается совершенствованіе духа. Даже надобно думать, что и система жизни его, какъ планъ достиженія совершенства умственного, стройнѣе и правильнѣе, нежели всѣ мелочныя средства, придумываемыя недальновидною расчетливостію. Талантъ есть высшая, натурально-систематическая дѣятельность души. По крайней мѣрѣ такъ мы принуждены изъяснять изумительные успѣхи Пушкина въ его искусствѣ посреди развлеченій новаго рода, непохожихъ на столичныя, но тѣмъ не менѣе умерщвляющихъ видимую стройность занятій литератора. Во время почти непрерывныхъ переѣздовъ своихъ, увлекаемый гостеприимствомъ, соблазнительнымъ для пылкихъ юношескихъ лѣтъ, по природѣ наклонный къ поискамъ свѣжихъ впечатлѣній, столь восхитительныхъ въ роскошномъ южномъ краю, Пушкинъ успѣвалъ со всѣмъ знакомиться, что происходило въ европейской литературѣ. Онъ даже нашелъ время выучиться тогда итальянскому языку и отчасти испанскому. По выходѣ изъ лицей, онъ зналъ только латинскій, французскій, англійскій и нѣмецкій. Перебирая мелкія стихотворенія, въ это время имъ написанныя, чувствуешь, что онъ не защитился ни отъ одного впечатлѣнія, которое дышало вдохновеніемъ. Сознавая необходимость идти безпрестанно за успѣхами времени и дѣйствовать соотвѣтственно

¹⁾ См. I. т. *Современника*, стран. 29.

не только силамъ своимъ, но и обновляющемуся просвѣщенію, онъ писалъ изъ Бессарабіи:

«Въ уединеніи мой своенравный геній
Позналъ и тихій трудъ и жажду размышленій.
Владѣю днемъ моимъ; съ порядкомъ друженъ умъ.
Учусь удерживать вниманье долгихъ думъ;
Ищу вознаградить въ объятіяхъ свободы
Мятежной младостью утраченные годы
И въ просвѣщеніи стать съ вѣкомъ наравнѣ».

Другое изъ мелкихъ его стихотвореній, относящихся къ этому же времени, напитано и полнотою поэтическихъ думъ, и свѣжимъ еще чтеніемъ римскаго изгнанника-поэта, надъ могилой котораго онъ писалъ:

«Овидій! я живу близъ тихихъ береговъ,
Которымъ изгнанныхъ отеческихъ боговъ
Ты нѣкогда принесъ и пепелъ свой оставилъ.
Твой безотрадный плачъ мѣста сіи прославилъ.

.....
Здѣсь, лирой сѣверной пустыни оглашая,
Скитался я въ тѣ дни, какъ на брега Дуная
Великодушный Грекъ свободу вызывалъ:
И ни единый другъ мнѣ въ мірѣ не внималъ;
Но чуждые холмы, поля и рощи сонны
И музы мирныя мнѣ были благосклонны».

Между тѣмъ, еще разъ, онъ увлекся Байрономъ, и въ духѣ его поэзіи сгруппировалъ картину, для которой краски передъ нимъ лежали на развалинахъ бахчисарайскаго дворца. Обаятельный какъ волшебная музыка, этотъ родъ поэзіи, едва скользящей по исторической истинѣ и уносящей душу въ идеальную мечтательность, въ царство какой-то прозрачной, не нашей жизни, увлекъ-было всю Европу. Онъ въ такомъ же отношеніи къ поэ-

зіи вѣчной, т. е. простой и истинной, какъ звуки самаго лучшаго инструмента къ прекраснымъ звукамъ человѣческаго голоса. Пушкинъ, мужая въ созданіяхъ своихъ, скоро почувствовалъ потребность другихъ совершенствъ. *Бажисарайскій фонтанъ* свой онъ любилъ только, какъ воспоминаніе Тавриды, гдѣ все легѣло и чувства его и мысли и самые часы отдохновенія, тамъ,

«Гдѣ нѣкогда, въ горахъ, сердечной думы полный,
Надъ моремъ онъ влачилъ задумчивую лѣнь».

Но роскошь описаній, новостъ картинъ, историческіе намеки, противуположность характеровъ Заремы и Маріи, сладкозвучіе этихъ несслыханныхъ стиховъ доставили поэмѣ удивительный успѣхъ. Ее издавали нѣсколько разъ (1824, 7, 1830 и 5), переписывали и выучивали наизусть. Къ періоду страннической жизни поэта (1824) относится еще небольшое сочиненіе, названное имъ: *Цыганы* (изд. 1827 и 1835). Оно изумило всѣхъ отчетливостію созданія, простотою дѣйствія и языкомъ, до такой степени обрѣзаннымъ и точнымъ, что едва ли найдется во всемъ произведеніи эпитетъ или слово, которое бы показывало усиліе художника. Форма изложенія этой поэмы, счастливо выдержанная, заставила автора сознать въ душѣ его присутствіе драматическаго таланта—и это обратило мысли его на *Бориса Годунова*. Но Байронъ, и надъ своею могилою, которая должна была озариться славою выше славы поэтической, еще разъ потревожилъ и соблазнилъ нашего поэта. Такъ можно думать о началѣ *Евгенія Онегина*, котораго впрочемъ продолженіе и окончаніе переходятъ въ другой періодъ поэзіи Пушкина. Онѣгинъ писанъ то въ Бессарабіи, то въ Одессѣ, то въ Михайловскомъ, то въ Москвѣ, то въ Санктпетербургѣ, то въ Болдинѣ (Нижегород. деревнѣ Пушкина). Первая глава его (отдѣльно изданная 1825 и 9) напоминаетъ своимъ тономъ *Чайльдъ-Гарольда* (а не *Бенпо*, какъ сказалъ неискренно авторъ, желая вѣроятно отклонить вниманіе читателей отъ сравненія съ источникомъ первой его мысли). Между тѣмъ, кромѣ Байроновскаго тона, все самобытно въ этой поэмѣ. Пробѣгая ряды кар-

тинъ, выставленныхъ въ длинной ея галлерей, кажется, путешествуешь по Россіи и проживаешь въ каждомъ мѣстѣ полное событіе, не историческое, но важное для познанія нравовъ, схваченное въ интереснѣйшемъ кругу со всею нескромностію правды. На страницахъ Онѣгина, достовѣрнѣе нежели на запискахъ и лѣтописяхъ, можно основать ученому занимательнѣйшія изысканія эпохи. Набрасывая первую главу его, Пушкинъ вѣроятно желалъ только сберечь для собственнаго воспоминанія исчезнувшіе годы первой своей молодости, впечатлѣнія сѣверной столицы и даже самый образъ тогдашней своей жизни. Едва ли развертывалась передъ нимъ аллея будущности, ожидавшая Онѣгина и Татьяну, о чемъ онъ прекрасно сказалъ въ концѣ своего романа:

«Промчалось много, много дней
Съ тѣхъ поръ, какъ юная Татьяна
И съ ней Онѣгинъ въ смутномъ свѣ
Явились впервые мнѣ—
И далъ свободного романа
Я сквозь магическій кристалъ
Еще неясно различалъ».

По мѣрѣ того, какъ переѣзды, поэзія, люди и опыты помогали ему раздвигать, разнообразить и оживлять картины Онѣгина, самъ поэтъ начиналъ живѣйшее принимать участіе въ характерѣ своего творенія. Его собственный о немъ отзывъ, помѣщенный въ посвященіи, высказалъ все, таившееся въ душѣ автора. Вотъ его слова:

«Прими собранье пестрыхъ главъ,
Полусмѣшныхъ, полупечальныхъ,
Простонародныхъ, идеальныхъ,
Небрежный плодъ моихъ забавъ,
Бессонницъ, легкихъ вдохновеній,
Незрѣлыхъ и увядшихъ лѣтъ,
Ума холодныхъ наблюденій
И сердца горестныхъ замѣтъ.»

Такъ образовался одинъ изъ лучшихъ памятниковъ русской литературы; онъ навсегда сохранилъ отъ забвенія любопытную эпоху жизни Пушкина и созданнаго имъ языка, гибкаго, неистощимаго въ новости образовъ, красокъ и оттѣнковъ. Въ этомъ памятникѣ столько сценъ комически-благородныхъ, трогательныхъ, сатирическихъ, глубокомысленныхъ и полныхъ самой поэтической мечтательности! Онѣгинъ то отрывками, то стихами, то фразами перешелъ во всенародныя поговорки, остроты и пословицы. Пока авторъ не издалъ его вполне, отдѣльныя главы составляли выгодный промыселъ досужныхъ и смѣтливыхъ переписчиковъ, продававшихъ тетрадки ихъ въ столицахъ и внутри Россіи по ярмаркамъ. Отдѣльно изданы въ печати: глава II—1826 (во второй разъ 1830), III—1827, IV, V и VI—1828, VII—1830, VIII—1832. Въ 1833 сдѣлано особое изданіе Онѣгина всего, а въ 1837 еще новое.

Въ концѣ 1824 года Пушкинъ оставилъ Одессу. Читая прощальные стихи его: *Къ морю*, узнаешь современника, достойнаго двухъ великихъ представителей европейской славы. Сколько тутъ меланхолія! Какія рѣзкія черты проведены на самыхъ мимолетныхъ абрисахъ!

«Прощай, свободная стихія!

.....

Одинъ предметъ въ твоей пустынѣ

Мою бы душу поразилъ...

Одна скала, гробница славы...

Тамъ погружались въ хладный сонъ

Воспоминанья величавы:

Тамъ угасалъ Наполеонъ.

Тамъ онъ почилъ среди мученій.

И вслѣдъ за нимъ, какъ бури шумъ,

Другой отъ насъ умчался геній,

Другой властитель нашихъ думъ!

Исчезъ, оплаканный свободой,
Оставя міру свой вѣнецъ.
Шуми, взволнуйся непогодой:
Онъ былъ, о море, твой пѣвецъ.

Твой образъ былъ на немъ означенъ;
Онъ духомъ созданъ былъ твоимъ:
Какъ ты, могущъ, глубокъ и мраченъ,
Какъ ты, ничѣмъ неукротимъ.
Міръ опустѣлъ...»

Возвращаясь изъ южной Россіи въ псковскую деревню свою, онъ посѣтилъ Москву и Петербургъ, гдѣ такъ жадно читались его стихотворенія. Между его рукописями находился уже и *Годуновъ*, созданіе зрѣлыхъ силъ, которое утвердило независимость его таланта. Но еще долго хранился онъ въ портфель автора. Деревенская жизнь Пушкина была однообразна. Впрочемъ, безъ особенныхъ причинъ, никогда онъ не измѣнялъ порядка своихъ занятій. Вездѣ утро посвящалъ онъ чтенію, выпискамъ, составленію плановъ или другой умственной работѣ. Вставая рано, тотчасъ принимался за дѣло. Не кончивъ утреннихъ занятій своихъ, онъ боялся одѣться, чтобы преждевременно не оставить кабинета для прогулки. Передъ обѣдомъ, который откладывалъ до самаго вечера, прогуливался во всякую погоду. По сосѣдству съ его деревнею и теперь живетъ доброе благородное семейство, гдѣ обыкновенно онъ проводилъ вечеръ и очень часто обѣдалъ. Черты этой жизни перенесены имъ отчасти въ IV главу Онѣгина. Писать стихи любилъ онъ преимущественно осенью. Тогда онъ до такой степени чувствовалъ себя расположеннымъ къ этому занятію, что и изъ Петербурга въ половинѣ сентября нарочно уѣзжалъ въ деревню, гдѣ оставался до половины декабря. Рѣдко не успѣвалъ онъ тогда оканчивать всего, что у него заготовлено было въ теченіе года. Теплую и сухую осень называлъ онъ негодною, потому что не имѣлъ твердости отказываться отъ лишней разсѣянности. Тумановъ, сѣренькихъ тучекъ, продолжительныхъ

дождей ждалъ онъ какъ своего вдохновенія. Странно, что приближеніе весны, сіяніе солнца всегда наводили на него тоску. Онъ это изъяснялъ расположеніемъ своимъ къ чахоткѣ. Въ одиночествѣ нерѣдко бывала собесѣдницею поэта старушка, его няня, трогательно воспѣтая въ стихахъ Языкова. Пушкинъ безпрестанно выписывалъ изъ Петербурга книги, особенно англійскія и французскія. Едва ли кто изъ нашихъ литераторовъ успѣлъ собрать такую библіотеку, какъ онъ. Не выходило изданія, почему-нибудь любопытнаго, котораго бы онъ не приобрѣталъ. Издерживая послѣднія деньги на книги, онъ сравнивалъ себя со стекольщикомъ, котораго ремесло заставляетъ покупать алмазы, хотя на ихъ покупку и богатъ не всякій рѣшится. Въ то время, какъ онъ жилъ въ деревнѣ, напечатано было, кромѣ двухъ первыхъ главъ Онѣгина, собраніе мелкихъ его стихотвореній (1826). Оно въ нѣсколько недѣль разошлось все. Лицейскій товарищъ и другъ Пушкина, баронъ Дельвигъ, съ 1825 года началъ изданіе альманаха *Сверныя Цѣтты*. Пушкинъ принималъ въ этомъ трудѣ самое живое участіе—и каждый годъ альманахъ украшался новыми его стихотвореніями.

Осенью 1826 года Пушкинъ снова вошелъ въ службу по иностранной коллегіи. Онъ сначала изъ деревни отправился въ Москву, гдѣ имѣлъ счастье быть представленнымъ его Императорскому Величеству. Оживотворенный высочайшимъ къ себѣ вниманіемъ и благоволеніемъ Государя Императора, онъ еще съ большею дѣятельностію предался литературѣ. До 1831 года мѣстопробываніемъ его постоянноѣ были Москва и Санктпетербургъ. 1827 напечатаны, сверхъ III главы Онѣгина, слѣдующія его поэмы: *Цыганы*, *Братья-разбойники* и *Графъ Нулинъ*. Ко второй изъ нихъ въ послѣдствіи присоединилъ онъ небольшое вступленіе, но столь замѣчательное по новости суроваго характера въ картинѣ и вѣрности колорита, что оно можетъ быть причислено къ отрывкамъ самаго высокаго достоинства. Подобнаго тону прибавленіе къ этой поэмѣ, найденное въ бумагахъ автора, помещено въ новомъ его полномъ изданіи на концѣ поэмы, которая вся

поразительна силою воли, глубиной ощущеній и воплями сердца. Совсѣмъ другое представляетъ *Графъ Нулинъ*. Здѣсь тонкій умъ, веселая насмѣшливость, граціозная сатира облекли всею своею прелестью происшествіе самое малосложное, но тѣмъ болѣе вѣроятное, и слѣдственно тѣмъ болѣе дѣйствующее на читателя, если онъ не стоитъ внѣ сферы дѣйствующихъ лицъ.

Появленіе новыхъ стихотвореній Пушкина въ 1829 году составляетъ рѣзкую эпоху въ исторіи его литературныхъ мнѣній и успѣховъ. До сихъ поръ, что ни писалъ онъ, исключая *Годунова*, о которомъ еще не знала публика, все носило на себѣ характеръ поэзіи, блестящей свѣжестію созданій, выразительностію образовъ, граціею положеній, силою и музыкою языка, оригинальностію взглядовъ, сравненій и другихъ способовъ украшенія мыслей. Нѣтъ сомнѣнія, что каждое изъ этихъ достоинствъ необходимо для успѣховъ автора. Но поэзія, какъ изящное искусство, совершенствоваться можетъ и должна, не только въ своихъ формахъ и содержаніи, но и въ гармоніи ихъ съ безконечнымъ разнообразіемъ мѣстностей, эпохъ и всѣхъ такъ называемыхъ красокъ жизни. Вниманіе къ совершенствамъ этого рода настаеъ гораздо позже, нежели перваго. Овладѣть языкомъ, оживотворить новостью встрѣтившійся предметъ поэмы или другого сочиненія, обставить его всѣмъ, что лучшаго сливается въ воображеніи съ его идеею, конечно невозможно безъ особеннаго таланта. Но этотъ талантъ, въ первой своей дѣятельности, подобенъ инстинкту. Онъ производитъ, потому что живетъ. Въ цвѣтущемъ своемъ возрастѣ поэтъ увлекается блескомъ и выразительностію всего имъ производимаго. Глубже опускается онъ въ таинства искусства только сравнивая безпрестанно впечатлѣнія, производимыя твореніями его, съ тѣми впечатлѣніями, которыя остаются въ душѣ отъ созерцанія природы и самаго человѣка во всѣхъ ихъ видоизмѣненіяхъ. Начиная замѣчать отклоненія свои отъ вѣчнаго образца истины и красоты, онъ показываетъ усиліе произвести оборотъ въ своихъ произведеніяхъ. Добровольно отказывается онъ отъ этихъ привлекательныхъ нарядовъ юности и вноситъ въ си-

стему своего мышленія высокую простоту и отвѣчающую сердцу истину.

За нѣсколько лѣтъ еще прежде, проникнутый этою мыслию, Пушкинъ произвелъ *Годунова*. Но въ этомъ оригинальномъ трудѣ, въ оправданіе оборота своей методы, онъ видѣлъ Шекспира. Драма естественнѣе сближается съ законами жизни. Въ драмѣ не самъ поэтъ, а посторонніе люди, за которыхъ легче думать, нежели чувствовать. Между тѣмъ поэма, столько вѣковъ (послѣ Гомера) являвшаяся на какой-то эстрадѣ, могла ли вдругъ сойти съ нея, и въ такое время, когда Байронъ еще выше увлекъ ее въ идеальный міръ? Пушкинъ въ 1826 г. высказалъ однимъ стихомъ, что думаетъ онъ объ неестественныхъ характерахъ героевъ и героинь Байрона. Вотъ его стихи Баратынскому въ защиту Эды:

«Стихъ каждый повѣсти твоей
Звучить и блещетъ какъ червонецъ;
Твоя чухоночка ей-ей
Гречанокъ Байрона милый,
А твой зонгъ — прямой чухонецъ».

Онъ осмѣлился теперь торжественно обновить искусство. Онъ избралъ происшествіе, не отдаленное отъ насъ, но исполненное поэзіи. Его воображеніе превратилось въ вѣрное зеркало, гдѣ отразились люди того времени съ ихъ правами, характерами, въ ихъ костюмахъ, съ ихъ нарѣчіемъ и во всей поэтической точности жизни. Такимъ образомъ должна была явиться поэма, не сочиненіе Пушкина, но поэма созданная эпохою Петра Великаго и только оттиснутая художникомъ Пушкинымъ. Вотъ исторія появленія *Полтавы*, съ которой надобно вести періодъ лучшихъ произведеній нашего поэта. Кто вникалъ въ причины странной судьбы великихъ созданій художниковъ, тотъ знаетъ, и конечно не удивлялся, отчего многіе не умѣли достойно оцѣнить этого произведенія. Приведемъ какія-нибудь два мѣста, одно, наприм. изъ *Кавказскаго Плятника*, другое изъ *Полтавы*, чтобы взглянуть

какое пространство на художническомъ поприщѣ отдѣлило прежняго поэта отъ теперешняго. Вотъ стихи, вложенные въ уста черкешенки:

«Ахъ, Русскій, Русскій! для чего,
Не зная сердца твоего,
Тебѣ на вѣкъ я предалася!
Не долго на груди твоей
Въ забвеньи дѣва отдыхала;
Не много радостныхъ ночей
Судьба на долю ей послала!
Придутъ ли вновь когда-нибудь
Ужель на вѣкъ погибла радость?
Ты могъ бы, плѣнникъ, обмануть
Мою неопытную младость,
Хотя бъ изъ жалости одной,
Молчаньемъ, ласкою притворной:
Я услаждала бъ жребій твой
Заботой нѣжной и покорной;
Я стерегла бъ минуты сна,
Покой тоскующаго друга—
Ты не хотѣлъ».

И вотъ какъ говорить съ Мазепою Марія:

«Послушай, гетманъ: для тебя
Я позабыла все на свѣтѣ.
Навѣкъ однажды полюбя,
Одно имѣла я въ предметѣ —
Твою любовь. Я для нее
Сгубила счастье мое,
Но ни о чемъ я не жалѣю...
Ты помнишь: въ страшной тишинѣ,
Въ ту ночь, какъ стала я твоею,
Меня любить ты клялся мнѣ.

Зачѣмъ же ты меня не любишь?

.....
 Давно ль мы были неразлучны?
 Теперь ты ласкъ моихъ бѣжишь;
 Теперь онѣ тебѣ докучны;
 Ты цѣлый день въ кругу старшинъ,
 Въ пирахъ, разъѣздахъ — я забыта;
 Ты долгой ночью — иль одинъ,
 Иль съ нищимъ, иль у езуита.
 Любовь смиренная моя
 Встрѣчаетъ хладную суровость.
 Ты пилъ недавно — знаю я —
 Здоровье Дульской. Это новость!
 Кто эта Дульская?»

Нѣкоторыя подробности, касающіяся до сочиненія Полтавы, и собственныя мысли Пушкина о критикѣ на нее, о сравненіи поэмы его съ *Мазеною* Байрона сдѣлались уже извѣстными послѣ его смерти¹⁾. Также въ 1829 г. вышло новое изданіе разныхъ мелкихъ его стихотвореній въ двухъ томахъ. Издатели, не держась классификаціи въ ихъ размѣщеніи, рѣдко правильной и еще рѣже для всѣхъ удовлетворительной, помѣстили ихъ въ хронологическомъ порядкѣ, что теперь заставляетъ дорожить особенно этимъ изданіемъ. Оно, обнимая вдохновенныя замѣтки мгновенныхъ ощущеній поэта въ продолженіе первыхъ пятнадцати лѣтъ его авторства, доставляетъ пріятное удобство при чтеніи книги слѣдовать за всѣми измѣненіями идей его, языка и самого вкуса въ выборѣ предметовъ. Въ этомъ же году Пушкинъ еще разъ посѣтилъ мѣста, которыя такъ восхищали его первую молодость. Онъ переправился черезъ Кавказъ и даже, оставивъ за собою Грузію, слѣдовалъ во время тогдашней кампаніи за движеніемъ нашихъ войскъ до Арзрума, бывши благосклонно принять главнокоман-

¹⁾ См. IX т. *Современника*, стр. 59—62, второй номеръ.

дующимъ. По этому одному, столь отважному и вмѣстѣ странно-му, путешествію можно судить, какая была у него въ сердцѣ жажда разнородныхъ наблюденій: онъ въ послѣдствіи времени напечаталъ описаніе любопытнаго этого путешествія, образецъ прозы, свободной, правильной и единственной по удивительной простотѣ своей и занимательности¹⁾.

Съ 1830 года баронъ Дельвигъ началъ изданіе *Литературной Газеты*. Пушкинъ и въ ней принималъ такое же дѣятельное участіе, какъ въ *Сѣверныхъ Цептахъ*. Онъ помѣщалъ въ ней не только свои стихи, но и прозаическія статьи, которыхъ остроуміе, тонкость мыслей и оригинальность слога тотчасъ указывали на автора, безъ подписи его имени. Во время пребыванія своего въ Москвѣ, онъ предполагалъ было приступить къ печатанію *Годунова*. Ему хотѣлось написать и предисловіе. Между тѣмъ другого рода обстоятельства обратили мысли его къ другимъ занятіямъ. Бывъ тогда помолвленъ, весною отправился онъ въ нижегородскую деревню Болдино для устройства хозяйственныхъ дѣлъ—и тамъ, по случаю открывшейся въ Москвѣ холеры, задержанъ былъ до зимы. Впрочемъ, кажется, не было еще ни одной осени, въ которую бы онъ написалъ такъ много. «Скажу тебѣ (за тайну), что я въ Болдинѣ писалъ, какъ давно уже не писалъ» (такъ изъ Москвы извѣщалъ онъ одного петербургскаго пріятеля, возвратясь къ невѣстѣ). «Вотъ что я привезъ сюда: двѣ послѣднія главы *Онѣгина*, совсѣмъ готовыя для печати; повѣсть, писанную октавами (*Домикъ въ Коломнѣ*); нѣсколько драматическихъ сценъ: *Скупой рыцарь*, *Моцартъ и Сальери*, *Пиръ во время чумы* и *Донъ Жуанъ*. Сверхъ того, я написалъ около тридцати мелкихъ стихотвореній. Еще не все: написалъ я прозою (весьма секретное!) пять повѣстей (*Повѣсти И. Блжкина*)». 1831 годъ начался для Пушкина печально. 14 января скончался баронъ Дельвигъ. Всѣ письма Пушкина, въ которыхъ упоминалъ онъ объ этой потерѣ, незамѣнимой для его сердца, дышать чувствомъ

¹⁾ См. I. т. *Современника*, стр. 17—48.

глубокой горести ¹⁾). Вотъ между прочимъ нѣсколько словъ его изъ письма къ *** отъ 31 января: «Я зналъ его (Дельвига) въ Лицеѣ—былъ свидѣтелемъ перваго, незамѣченнаго развитія его поэтической души—и таланта, которому еще не отдали мы должной справедливости. Съ нимъ читалъ я Державина и Жуковского—съ нимъ толковалъ обо всемъ, *что душу волнуетъ, что сердце томитъ*. Жизнь его богата не романическими приключеніями, но прекрасными чувствами, свѣтлымъ, чистымъ разумомъ и надеждами». Надобно же было Пушкину испытать въ это время самыя противоположныя ощущенія. Въ февралѣ была его свадьба. «Я женатъ (изъ письма его къ *** отъ 24 февраля). Одно желаніе мое, чтобъ ничего въ жизни моей не измѣнилось. Это состояніе для меня такъ ново, что, кажется, я переродился. Память Дельвига есть единственная тѣнь моего свѣтлаго существованія». Пушкинъ желалъ непременно издать самъ на слѣдующій годъ *Съверные Цветы* въ пользу родныхъ друга своего, для чего и началъ заготовлять матеріалы. Онъ еще оставался въ Москвѣ до мая. Прежде его прибытія въ Петербургъ напечатанъ былъ здѣсь его *Борисъ Годуновъ*. Между всѣми его сочиненіями не было глубже и зрѣлѣе произведенія, какъ эта драма, развивающаяся естественно, обнимающая всѣ интереснѣйшія лица эпохи, показывающая обдуманность въ каждомъ словѣ, и поражающая не только послѣдовательностію явленій, но какимъ-то чуднопонятнымъ масштабомъ cadaго монолога, доведеннаго до совершенной безыскусственности.

Переѣзжая изъ Москвы въ Петербургъ, Пушкинъ вздумалъ остаться до зимы въ Царскомъ-Селѣ. «Мысль благословенная (говоритъ онъ въ письмѣ къ *** отъ 26 марта)! Лѣто и осень такимъ образомъ я проведу въ уединеніи вдохновительномъ, вблизи столицы, въ кругу милыхъ воспоминаній и тому подобныхъ удобностей. Съ тобою буду видѣться всякую недѣлю, съ Жуковскимъ также. Петербургъ подъ-бокомъ. Жизнь дешевая; экипажа нена-

¹⁾ Одно изъ нихъ см. въ IX т. *Современника*, стр. 63, второй номер.

добно. Чего лучше?» Въ самомъ дѣлѣ никогда не былъ онъ такъ доволенъ и занятіями своими, и обществомъ, и самъ собою, какъ въ эти лѣтніе и осенніе мѣсяцы, проведенные имъ точно, будто,

«Въ тѣ дни, когда еще незнаемый никѣмъ,
Не зная ни заботъ, ни цѣли, ни системъ,
Онъ пѣньемъ оглашалъ пріютъ забавъ и лѣни
И царскосельскія хранительныя сѣни».

Вдохновеніе благодатно нисходило тогда на двухъ поэтовъ. Жуковскій и Пушкинъ, оба жившіе въ Царскомъ-Селѣ, писали какъ бы для того, чтобы ни разу не встрѣтить другъ друга безъ новости. Особенно знамениты сдѣлались въ нашей поэзіи патриотическія строфы, въ это время написанныя Жуковскимъ, подъ названіемъ *Русская Слава*, а Пушкинымъ: *Клеветникамъ Россіи* и *Бородинская Годовщина*. Но сказки, въ духѣ простонародныхъ русскихъ, преимущественно занимали тогда царскосельскихъ поэтовъ. Ихъ написано было нѣсколько. Всѣмъ памятни изъ нихъ Жуковского *Берендей* и Пушкина *Салтанъ*. Въ теченіе этого же года напечатаны были: *Повѣсти* Пушкина, съ вымышленнымъ именемъ *Ивана Бѣлкина* и его біографіею, которую надобно называть совершенствомъ шутиваго рода. Какое въ ней добродушіе, простота языка и отсутствіе малѣйшей черты, по которой бы можно подозрѣвать поддѣлку подъ чужой слогъ! Эти повѣсти навсегда останутся образцовыми въ нашей литературѣ. Знаніе человѣческаго сердца, истина жизни, оконченность сценъ, вѣрность характеровъ и занимательность происшествій — все соответствуетъ удивительному таланту автора.

Съ 1831 года Пушкинъ избралъ для себя великій трудъ, который требовалъ долговременнаго изученія предмета, множества предварительныхъ занятій и гениальнаго исполненія. Онъ приступилъ къ сочиненію исторіи Петра Великаго. По всемилостивѣйшему соизволенію Его Императорскаго Величества, онъ началъ собирать для нея необходимыя матеріалы, хранящіеся въ разныхъ архивахъ. Переѣхавши въ Санктпетербургъ, онъ до кон-

чины своей жилъ уже постоянно въ немъ за исключеніемъ нѣсколькихъ побѣдокъ въ Москву и осеннихъ выѣздовъ въ Михайловское. III часть мелкихъ его стихотвореній и послѣдняя книжка *Съверныхъ Цѣтковъ* изданы имъ были въ 1832 году. Премущественно занимали его историческія разысканія. Онъ каждое утро отправлялся въ какой-нибудь архивъ, выигрывая прогулку возвращеніемъ оттуда къ позднему своему обѣду. Даже лѣтомъ, съ дачи, онъ ходилъ пѣшкомъ для продолженія своихъ занятій. Лѣтнее купанье было въ числѣ самыхъ любимыхъ его привычекъ, отъ чего не отставалъ онъ до глубокой осени, освѣжая тѣмъ физическія силы, изнуряемая пристрастіемъ къ ходьбѣ. Онъ былъ самага крѣпкаго сложенія, и къ этому много способствовала гимнастика, которою онъ забавлялся иногда съ терпѣливостію атлета. Какъ бы долго и скоро ни шелъ, онъ дышалъ всегда свободно и ровно. Онъ дорого цѣнилъ счастливую организацію тѣла, и приходилъ въ нѣкоторое негодованіе, когда замѣчалъ въ комъ-нибудь явное невѣжество въ анатоміи.

Чѣмъ болѣе накоплялось у него въ головѣ историческихъ подробностей, тѣмъ дѣятельнѣе работало его воображеніе. На пути къ главной своей цѣли онъ не въ состояніи былъ защититься отъ прилива эпизодовъ, увлекавшихъ его ко множеству другихъ предпріятій. Въ числѣ послѣднихъ надобно помѣстить его мысль — обработать отдѣльно эпоху Пугачевского возмущенія. Первоначально, можетъ быть, только для разсѣянія себя при однообразномъ чтеніи, пробѣгалъ онъ бумаги, не относившіяся къ его дѣлу. Но, поддаваясь незамѣтно овладѣвшему имъ любопытству, онъ уже столько собралъ свѣдѣній, что принялъ намѣреніе издать, въ видѣ опыта, исторію этаго происшествія. Увѣренный, что небольшое сочиненіе не остановитъ важнѣйшаго его занятія, онъ быстро приступилъ къ нему. Но въ характерѣ литературныхъ его трудовъ столько было требованій добросовѣстности, что онъ, почти кончивъ исторію Пугачевского бунта, рѣшился, прежде изданія, отправиться въ путешествіе по восточной части Европейской Россіи, чтобы обозрѣть внимательно театръ описанныхъ имъ

событій, и, такъ сказать, повѣрить нѣмыя лѣтописи живымъ языкомъ урочищъ и самыхъ старожилонъ, не забывшихъ объ ужасахъ ихъ молодости. Въ 1833 году лѣтомъ онъ удовлетворилъ своему любопытству — и на слѣдующій годъ явилось самое сочиненіе. Текстъ его коротокъ; потому что авторъ, кромѣ существеннаго, представляетъ вамъ всѣ подробности въ подлинныхъ бумагахъ, свидѣтельствующихъ и о томъ, сколько надобно было перечитать кипъ, чтобы обдѣлать этотъ быстрый, но ровный и сильный рассказъ, и о томъ, какъ онъ безкорыстно отказался перифразировать любопытнѣйшія донесенія, чѣмъ конечно раздвѣтилъ бы свою книгу.

Въ первые два года изданія журнала: *Библіотека для Чтенія*, помѣщалъ въ немъ Пушкинъ мелкія свои стихотворенія, которыхъ IV часть издалъ особо въ 1835 году. Тамъ же напечатаны двѣ его пьесы въ прозѣ: *Пиковая дама* и *Кирджали*. Путешествіе въ Оренбургъ доставило ему матеріалы для новой повѣсти. Съ 1836 года начавъ изданіе своего журнала, онъ помѣстилъ ее въ IV томѣ *Современника*, подъ названіемъ: *Капитанская Дочка*. Во всѣхъ своихъ повѣстяхъ, подобно какъ и въ стихотвореніяхъ, онъ былъ изумительно отчетливъ. Но въ послѣдней достигнулъ онъ высочайшаго совершенства — простоты самой природы.

Въ послѣдніе годы онъ былъ наиболѣе счастливъ, пользуясь всеобщимъ уваженіемъ. Государь Императоръ всемилостивѣйше пожаловалъ его въ камеръ-юнкеры Двора Его Величества. Возраставшіе успѣхи въ литературѣ, собранные уже матеріалы для исторіи Петра Великаго, лучшіе годы жизни, семейственная жизнь — все предвѣщало ему въ будущемъ однѣ радости и славу.

Пушкинъ, за нѣсколько мѣсяцевъ до смерти своей, лишился матери, и самъ провожалъ отсюда ея тѣло въ Святогорской монастырь. Какъ бы предчувствуя близость кончины своей, онъ назначилъ подлѣ могилы ея и себѣ мѣсто, сдѣлавши за него вкладъ въ монастырскую кассу. Другое странное и вмѣстѣ трогательное обстоятельство рассказано въ письмѣ къ одному изъ прежнихъ

издателей *Современника* осиротѣвшимъ отцомъ поэта Сергѣемъ Львовичемъ Пушкинымъ. Вотъ его слова:

«Я бы желалъ, чтобы въ заключеніи записокъ біографическихъ о покойномъ Александрѣ сказано было, что Александръ Ивановичъ Тургеневъ былъ единственнымъ орудіемъ помѣщенія его въ Лицей — и что черезъ 25 лѣтъ онъ же проводилъ тѣло его на послѣднее жилище. Да узнаетъ Россія, что она Тургеневу обязана любимымъ ею поэтомъ! Чувство непоколебимой благодарности побуждаетъ меня просить васъ объ этомъ. Нѣтъ сомнѣнія, что въ Лицеѣ, гдѣ онъ въ товарищахъ встрѣтилъ нѣсколько соперниковъ, соревнованіе способствовало къ развитію огромнаго его таланта».

Послѣднія минуты жизни Пушкина описаны увлекательно-краснорѣчивымъ перомъ Жуковского ¹⁾.

МЛАДЕНЧЕСКІЕ ПРИЮТЫ ВЪ САНКТПЕТЕРБУРГѢ ²⁾.

1838.

Въ X томѣ *Современника* ³⁾ мы сообщили читателямъ нѣкоторыя подробности о такъ называемыхъ «Salles d'asyle», заимствованныя изъ писемъ парижскаго нашего корреспондента. Болѣе двадцати уже лѣтъ процвѣтаютъ эти благотворительныя заведенія въ Лондонѣ и Парижѣ. Они принадлежатъ къ числу тѣхъ явленій гражданственности, которыя свидѣтельствуютъ о нѣжности чувствованій образованнаго человѣка, проникнутаго истинами христіанской религіи. Здѣсь вниманіе къ нуждамъ ближняго послѣдуетъ почти за каждымъ шагомъ его жизни. Извѣстно, что рабочій классъ людей, вызываемый изъ

¹⁾ См. V т. *Современника*.

²⁾ *Современникъ* XI, 5—19.

³⁾ Стран. 69, втор. нумера.

дому къ ежедневнымъ своимъ занятіямъ и лишенный способоу обезпечивать необходимымъ надзоромъ времяпрепровожденіе маленькихъ дѣтей своихъ, принужденъ оставлять ихъ на произволъ судьбы. Проѣзжая по селеніямъ, путешественникъ часто видитъ передъ домами жалкихъ малютокъ, остающихся цѣлые дни въ опасномъ одиночествѣ или подъ надзоромъ немошной старости, которая сама чувствуетъ нужду въ разныхъ пособіяхъ.

Если по деревнямъ зрѣлище безпріютныхъ младенцевъ возбуждаетъ участіе и сожалѣніе; то во сколько разъ должно усилиться это грустное ощущеніе, когда вообразишь малютокъ, въ нѣжномъ ихъ возрастѣ покидаемыхъ безъ надзора посреди столицы, гдѣ на каждомъ шагу представляется столько опасностей для ихъ развитія и физическаго и нравственнаго! Тамъ еще самое одиночество и простота жизни могутъ предохранять ихъ отъ многихъ несчастій. Здѣсь безпрестанно окружены они всѣмъ, что способствуетъ къ принятію вредныхъ впечатлѣній. Въ неопытныхъ и душевныхъ пристанищахъ бѣдняковъ младенцы, вмѣстѣ съ воздухомъ, вреднымъ ихъ здоровью, вдыхаютъ съ первыхъ лѣтъ все тлетворное для ихъ нравовъ, и возрастая въ этомъ состояніи, укрѣпляютъ за собою тѣ несчастныя привычки, которыя образуютъ изъ нихъ существа, жалкія для другихъ и часто тягостныя для нихъ самихъ. Мы не говоримъ уже, сколько дѣтей умираетъ преждевременно отъ недостатка за ними надзора, отъ несчастнаго ихъ помѣщенія и отъ самой пищи, несоотвѣтственной ихъ лѣтамъ.

Но такова сила природы надъ родительскимъ сердцемъ, что, вопреки всѣмъ убѣжденіямъ разсудка, долго нельзя было приучить бѣдныхъ, чтобы они на время ежедневныхъ работъ своихъ охотно ввѣряли дѣтей попечительному надзору чуждыхъ лицъ, добровольно къ тому вызывавшихся. Это служить въ то же время и доказательствомъ, сколько необходима человѣку извѣстная степень образованности даже для того, чтобы онъ умѣлъ пользоваться всѣми благодѣяніями просвѣщенной гражданственности. Безъ сознанія собственного достоинства, къ чему приводить яс-

ное уразумѣніе догматовъ вѣры и нѣкоторыя свѣдѣнія объ устройствѣ общежитія, простолюдинъ съ какою-то недовѣрчивостію смотритъ на благородные вызовы челоуѣколюбія, если не умѣетъ изъяснить ихъ по своимъ понятіямъ объ отношеніяхъ къ ближнему. Вотъ отъ чего мысль о Младенческихъ Приютахъ, возникнувшая первоначально во Франціи, гдѣ между простымъ народомъ и высшими классами болѣе разстоянія въ образованности, нежели въ Англіи, не могла вдругъ осуществиться. Надобно было, чтобы Англія представила тому примѣры, которые, въ совокупности съ вопіющими нуждами и естественно разливающимся свѣтомъ наукъ, подружили простой народъ въ Лондонѣ и Парижѣ съ обыкновеніемъ на цѣлые дни отпускать дѣтей въ учреждаемыя для сего убѣжища.

Нигдѣ такъ свободно, такъ легко и прочно не принимаются благія начинанія, какъ въ Россіи. Причина тому очень ясная. Всѣ они, возникая у насъ первоначально въ помыслахъ царственныхъ особъ, съ появленія своего внушаютъ къ себѣ ту довѣренность, которою необходимо должно сопровождаться распространеніе всякаго, даже самаго полезнаго, нововведенія. Царскій престолъ для каждаго Русскаго есть источникъ правды и благодати. Исходящее отъ него есть уже святыня, въ которую народъ вѣруетъ и слѣдственно принимаетъ ее съ благоговѣніемъ. Исторія всѣхъ воспитательныхъ, благотворительныхъ и богоугодныхъ заведеній въ Россіи есть рядъ неисчислимыхъ начинаній и попеченій Августѣйшаго Дома о распространеніи въ народѣ свѣта наукъ, добрыхъ нравовъ, довольства и помощи во всѣхъ его нуждахъ. Императрица Екатерина II, основывая заведенія для образованія дочерей русскаго дворянства, въ то самое время тутъ же открывала приютъ для обученія дочерей самыхъ бѣдныхъ простыхъ гражданъ. Надобно ли упоминать здѣсь объ этихъ повсемѣстныхъ и въ обѣихъ столицахъ столь обширныхъ пристанищахъ для несчастныхъ дѣтей, покидаемыхъ со дня ихъ рожденія? Кто обниметъ и представить въ полной картинѣ всѣ приюты для разныхъ сословій обоого пола, устроенные и доведенные до столь

цвѣтущаго состоянія долготѣнными и непрерывными заботами императрицы Маріи Феодоровны? Съ ангельскимъ терпѣніемъ неутомимо стремясь разлить дары прекрасной души своей на возникавшія поколѣнія всѣхъ классовъ, отъ дѣтей поселянъ и воеводъ до самой высшей отрасли дворянства, она не могла наконецъ иначе опредѣлять теченія дней своихъ, какъ порядкомъ своихъ благотворныхъ трудовъ. Этотъ кругъ царственной попечительности о первыхъ благахъ всякаго человѣка — о благѣ добра и благѣ свѣта — распространялся ежегодно. Онъ уже сталъ обнимать и другія потребности жизни. За образованіемъ ума и сердца неослабная дѣятельность вѣчноносныхъ особъ обратилась къ удовлетворенію другихъ заботъ и нуждъ житейскихъ, безъ чего народъ не вполне могъ быть счастливъ. Попеченіями императрицы Елисаветы Алексѣевны, со времени открытія Института для призрѣнія и образованія потерпѣвшихъ въ отечественную 1812 года войну — этого скромнаго, но трогательнаго памятника знатнѣйшей эпохи въ русской исторіи — возникли Дома Трудолюбія и тѣ Патріотическія школы, въ которыхъ все доброе и полезное положено въ основаніе счастія жизни самыхъ низшихъ классовъ народа. Эти первые и необходимыя ступени должны незамѣтно, но тѣмъ болѣе прочно внести добронравіе, трудолюбіе, благочиніе, вкусъ и смыслъ въ новое поколѣніе людей, рѣдко бывшихъ довольными своею судьбою, не отъ бѣдности или угнетенія, но отъ ужаснѣйшихъ моральныхъ болѣзней, называемыхъ празднолюбіемъ, невѣжествомъ и безнравственностію.

Всѣ сія заведенія — умиленные памятники благодушія и сѣрдобоія столькихъ особъ, памятники, возникавшіе въ теченіе столькихъ лѣтъ — съ любовію удостоила принять въ непосредственное свое вѣдѣніе Государыня Императрица Александра Феодоровна. Въ безграничной Россіи повсемѣстно возраставшее, и въ слѣдствіе безпримѣрнаго разнообразія обитателей ея, странъ, обычаевъ и потребностей жизни, утвердившееся со всѣми отличіями своего существованія, это (если можно такъ сказать)

внутреннее царство дѣтства, отрочества и юношества живетъ и благоденствуетъ подъ особенными своими законами и особенно администраціею, которые освящены соизволеніемъ Августѣйшей его Покровительницы. Можно себѣ представить, какіе потребны труды, вниманіе, неутомимость и любовь, чтобы движеніе всѣхъ частей этой огромной и многосложной машины шло ровно, гармонически и благопоспѣшно! Одной попечительности о неизмѣнномъ соблюденіи устроеннаго порядка достаточно было, чтобы удовлетворить всѣмъ желаніямъ души, обрекшей себя на общественное благо. Но въ послѣднее десятилѣтіе, въ соотвѣтственность неизбѣжныхъ требованій вѣка и успѣховъ образованности, сколько произведено повсюду благодѣтельныхъ улучшеній и перемѣн! Этого недовольно. Сколько возникло еще новыхъ пристанищъ, гдѣ для народа открыты новые источники добра и пользы!

Въ числѣ послѣднихъ самое трогательное и самое отрадное зрѣлище представляютъ *Младенческіе Приюты*. Первый изъ нихъ открытъ 15 мая 1837 года. Его начало связывается съ исторіею другого заведенія, для котораго также еще не было примѣра въ отечествѣ нашемъ. Анатолій Николаевичъ Демидовъ, желая избытками достоянія своего принести истинную пользу бѣднымъ людямъ, которые достаютъ пропитаніе трудами рукъ своихъ, но по разнымъ случаямъ не всегда бываютъ обеспечены въ выгодахъ своей промышленности, вызвался учредить на собственное иждивеніе *Домъ призрѣнія трудящихся*. Государыня Императрица соизволила принять это заведеніе въ непосредственное свое вѣдѣніе въ званіи покровительницы его. Множество особъ изъ высшаго сословія и изъ купечества испросили соизволеніе Августѣйшей Покровительницы содѣйствовать благимъ успѣхамъ заведенія — иныя постоянными ежегодными взносами, другія единовременными, третьи даже личнымъ участіемъ. Въ нынѣшнемъ своемъ видѣ Демидовскій Домъ призрѣнія трудящихся состоитъ: 1) изъ почетныхъ членовъ (14 женскаго пола и 17 мужскаго); 2) почетныхъ старшинъ (5 лицъ первостатейныхъ купцовъ); 3) изъ лицъ, служащихъ при заведеніи (одна

главная надзирательница; другія должности раздѣлены между мужчинами; 4) изъ дѣйствительныхъ старшинъ купеческаго званія (числомъ 12 человекъ). Одинъ изъ почетныхъ членовъ, шталмейстеръ Иванъ Дмитріевичъ Чертковъ, управляетъ заведеніемъ въ званіи попечителя.

Неисчислимыя благодѣянія, разливающіяся отсюда на безпомощныхъ, но достойныхъ помощи людей, свидѣтельствуютъ о цвѣтущемъ состояніи Дома. Нѣсколько бѣдныхъ женщинъ благороднаго званія, даже и изъ состоянія разночинцевъ (если онѣ находятся въ самыхъ крайнихъ обстоятельствахъ), помѣщены здѣсь въ чистыхъ и просторныхъ комнатахъ съ приличнымъ обзаведеніемъ. По собственному выбору и силамъ своимъ занимаемая рукодѣліями, онѣ получаютъ достаточную и вкусную пищу, услугу, отопленіе и освѣщеніе. Все это обходится каждой изъ нихъ по 40 к. въ день, такъ-что, за симъ вычетомъ изъ зарабатываемой ими суммы, онѣ могутъ за труды получать ежемѣсячно отъ 15 до 30 рублей въ собственность. На время дня принимаются для производства работъ въ заведеніи всѣ бѣдные, ищущіе занятій; имъ за 20 к. дается обѣдъ и ужинъ, а все причисляющееся за ихъ труды обращается въ ихъ собственность. Бѣдные, занимающіеся рукодѣліемъ у себя дома, въ учрежденный при заведеніи магазинъ приносятъ издѣлія свои, которыя сбываются весьма скоро и выгодно для нихъ по причинѣ довѣренности публики къ Дому. Онъ существуетъ пятый годъ. Сумма промышленнаго оборота его возрастаетъ ежегодно. Завѣдываніе магазиномъ и всею рукодѣльною здѣсь промышленностію поручено Александрѣ Петровной Дурновой, почетному члену Демидовскаго Дома призрѣнія трудящихся. Сколь ни разнообразны, сколь ни многосложны части этого учрежденія, но порядокъ, заведенный въ немъ, все облегчаетъ. Безъ сомнѣнія теперь оцутительны вещественныя только выгоды этого пристанища промышленности; но какихъ нравственныхъ послѣдствій нельзя ожидать отъ него въ будущемъ! Привычка къ честному труду спасаетъ человека отъ тѣхъ пороковъ, которые всего заразительнѣе въ многочюд-

ныхъ городахъ. Видъ неизмѣннаго порядка, благонравія, справедливости пробуждаетъ въ душѣ добрыя наклонности. Самая опрятность, требованіе согласія и учтивости—всѣ начала добропорядочной жизни привьются нечувствительно къ бѣднѣйшимъ классамъ и принесутъ желаемые плоды нравственнаго совершенствованія.

Демидовскій Домъ призрѣнія трудящихся, усиленный нынѣ въ способахъ благотворительности, какъ основателемъ своимъ, такъ и частными пособіями, а еще болѣе щедротами Императорской Фамиліи, достигнулъ наконецъ до возможности благотѣльствовать не только самимъ бѣднымъ, но и непосредственно ихъ дѣтямъ. Такое распространеніе человеколюбивой его дѣятельности безъ сомнѣнія трогаетъ и успокоиваетъ несчастныхъ родителей, которыхъ дѣти пользуются его призрѣніемъ; но всякій благомыслящій человѣкъ не можетъ въ этомъ не признать явленія великой важности. Теперь все доброе должно будетъ итти естественнымъ, слѣдовательно неизмѣннымъ порядкомъ. При большой населенности города невозможно призрѣть каждого нуждающагося то въ пособіи, то въ наставленіи, то въ примѣрѣ. Но улучшить воспитаніемъ наибольшую часть возрастающей генерациі значить предупредить въ будущемъ еще большія и неизбежныя нужды. Благовоспитанные родители, если даже только половину сообщать они своимъ дѣтямъ изъ того, что имѣли счастье принять въ воспитательныхъ заведеніяхъ, незамѣтно избавятъ уже правительство и общество отъ многихъ жертвъ и заботъ, теперь неизбежныхъ. И эта постепенность чѣмъ ровнѣе будетъ итти по всѣмъ рядамъ въ общежитіи, тѣмъ отраднѣе представится зрѣлище гражданственности. Нравы образуются единственно примѣрами; а безъ добрыхъ нравовъ нѣтъ гражданскихъ добродѣтелей.

Отрасль благотворенія въ отношеніи къ дѣтямъ раздѣлена здѣсь на двѣ вѣтви. Во-первыхъ, учреждена школа для дѣтей обоего пола отъ семилѣтняго возраста. Безъ всякой платы со стороны родителей они имѣютъ въ заведеніи прекрасное помѣще-

ніе, одежду, столъ и всѣ для ихъ воспитанія необходимыя вещи. Кромѣ общаго направленія ихъ нравственности ко всему доброму, полезному и благоприличному, они обучаются Закову Божію, отечественному языку и арифметикѣ. Богѣ всего утверждаютъ въ нихъ привычку къ труду и порядку, что будетъ основаніемъ ихъ будущаго счастья. Для этого утро посвящаютъ они изученію преподаваемыхъ предметовъ, а прочее время проводятъ въ рукодѣльяхъ, свойственныхъ ихъ возрасту и полу. Издѣлія ихъ продаются въ магазинѣ заведенія—и такимъ образомъ составляется каждому хоть небольшая сумма, на которою можно будетъ воспользоваться на первыя нужды при выпускѣ дѣтей изъ школы. Въ женскомъ отдѣленіи школою, которая называется Камеръ-юнкерскою завѣдываетъ почетный членъ графиня Софья Александровна Бобринская.

Во-вторыхъ, для дѣтей отъ 3-хъ лѣтняго до 7-и лѣтняго возраста здѣсь же учрежденъ особый приютъ. Избранная для нихъ руководительница старается во все время дня, лишь они соберутся изъ домовъ своихъ, занимать ихъ пріятнымъ и полезнымъ образомъ. Она ихъ обучаетъ читать, считать, пѣть, рукодѣліямъ, и показываетъ разныя гимнастическія игры. По открытіи Приюта въ первое уже полугодіе собиралось дѣтей болѣе 170. Всѣ они вмѣстѣ проводятъ день, и старшія помогаютъ младшимъ. Имъ предлагаются вопросы о разныхъ предметахъ, которые необходимо знать въ общежитіи. Зрѣлище этого собранія малютокъ, съ самаго нѣжнаго возраста приучаемыхъ легко и незамѣтно ко всему чистому и благому, представляетъ картину неописанно-трогательную. Чтобы живѣе вообразить, какъ велико для нихъ благодѣяніе призрѣнія и какъ оно полезно для самаго общества, которому нѣкогда они принадлежать будутъ, надобно знать, изъ какихъ жилищъ, изъ какихъ семействъ, изъ какого круга вступаютъ они въ комнаты Приюта, подъ кровъ нѣжнаго и заботливаго попеченія объ ихъ пропитаніи и развитіи ихъ способностей. Никогда можетъ-быть христіанское братолюбіе не являлось столь умильнымъ, какъ въ безкорыстной заботливости о бѣднѣй-

шихъ младенцахъ. Это новое въ своемъ родѣ и безпримѣрное въ Россіи заведеніе приняла подъ особенное и не посредственное свое завѣдываніе графиня Юлія Петровна Строгонова.

Открытіе перваго Младенческаго въ Петербургѣ Приюта произвело уже самое благотворное дѣйствіе. Оно возбудило прекрасное соревнованіе во всѣхъ классахъ гражданъ къ устройству подобныхъ заведеній. Совѣтъ Императорскаго Человѣколюбиваго Общества, по ходатайству президента своего, Митрополита Серафима, назначилъ на распространеніе Приюта 2,500 р. ежегодно и 3,000 р. одновременно. Государынѣ Императрицѣ благоугодно было назначить, чтобы на эту сумму близъ Невской Лавры учредился новый приютъ и назывался Александромъ Невскимъ и чтобы онъ состоялъ въ завѣдываніи почетнаго члена графини Софьи Андреевны Трубецкой.

Третій приютъ устроила на Петербургской сторонѣ графиня Александра Григорьевна Лаваль. Онъ названъ Лавальскимъ и назначенъ въ завѣдываніе дочери основательницы, почетнаго члена графини Софьи Ивановны Борхъ. Такого же рода благотворительный вызовъ изъяснилъ дворянинъ Леонтій Снѣгиревъ, желая устроить четвертый приютъ въ Литейной члсти, на что и восполѣдовало уже высочайшее соизволеніе.

Въ Нарвской части основанъ пятый Младенческій Приютъ. На его устройство и содержаніе санктпетербургскій 1-ой гильдіи купецъ Василій Жуковъ пожертвовалъ ежегоднаго взносу 5,000 р., желая общественнымъ благотвореніемъ ознаменовать чувство вѣрноподданнической благодарности своей по случаю Всемилостивѣйшихъ благоволеній Государыни Императрицы—коихъ онъ три раза имѣлъ счастье удостоиваться по представленію попечительства Дома трудящихся — и по случаю благополучнаго возвращенія въ Санктпетербургъ Ихъ Императорскихъ Величествъ послѣ долгаго и многотруднаго путешествія въ 1837 году. Приютъ сей высочайше повелѣно наименовать Жуковскимъ и поручить въ завѣдываніе почетнаго члена Александры Осиповны Смирновой и помощницы ея Марьи Александровны Жуковой.

Шестой Приютъ образовался усердіемъ многихъ благотворительныхъ дамъ. Изыскивая всевозможныя средства къ устройству Приютовъ въ разныхъ частяхъ здѣшней столицы, онѣ предположили ежегодно жертвовать разнаго рода издѣліями, изъ которыхъ будетъ составляться лотерея въ пользу новыхъ учрежденій. Предположенная лотерея дозволена Его Императорскимъ Величествомъ съ разрѣшеніемъ производить ее ежегодно изъ вещей, жертвуемыхъ благотворителями, и съ освобожденіемъ отъ взноса десятой доли лотерейной суммы въ пользу города, равно и участія полиціи при производствѣ лотереи. На эту сумму, назначенную для устройства и содержанія Приютовъ въ разныхъ мѣстахъ столицы, уже теперь открытъ Приютъ на Васильевскомъ острову, и назначенъ въ завѣдываніе почетнаго члена Натальи Людвиговны Гардеръ. Седьмой приютъ, на Выборгской сторонѣ, состоитъ въ завѣдываніи почетнаго члена, графини Евдокіи Петровны Растопчиной.

Можно ожидать, что эти благотворительныя заведенія распространятся у насъ въ такомъ количествѣ, какого требуютъ населенность города и нужды рабочаго класса. Другая наша столица вѣроятно въ непродолжительномъ времени представить такіе же опыты человеколюбія. Всякое доброе чувство въ Россіи сильно отзывается, а доброе дѣло никогда не остается безъ подражанія.

КОЛѢНА И СОСЛОВІЯ АТТИЧЕСКІЯ ¹⁾.

1838.

Спеціальныя изслѣдованія, если они во всей полнотѣ обнимаютъ свой предметъ и указываютъ новыя точки, съ которыхъ надобно смотрѣть на него, въ области наукъ могутъ быть полезнѣе систематическихъ курсовъ — этихъ отголосковъ остановившейся старины. Даже блестящимъ талантомъ изложенное въ системѣ ученіе верѣдко медленнѣе приводитъ къ важнымъ открытіямъ, нежели часть науки, обработанная съ любовію къ ей и знаніемъ дѣла. Въ отдѣльномъ изысканіи болѣе, такъ сказать, простора уму — и онъ свободнѣе анализируетъ всѣ свои предположенія, не стѣсняемый множествомъ частей. Его силы невольно истощились бы, если бы онъ въ такомъ размѣрѣ дѣйствовалъ на рѣшеніе множества задачъ. Успѣхи истинной, плодотворной учености исключительно зависятъ отъ накопленія въ литературѣ свѣжихъ и разнообразныхъ спеціальныхъ изслѣдованій.

Историческое разсужденіе г. Куторги о *колѣнахъ и сословіяхъ аттическихъ* мы считаемъ въ нашей литературѣ явленіемъ, достойнымъ особеннаго вниманія. Оно вноситъ въ науку новыя и отчетистыя понятія. Въ немъ предметъ разсмотрѣнъ и подробно и удовлетворительно. Авторъ раздѣлилъ свое сочиненіе на двѣ части: въ первой говорить о колѣнахъ и сословіяхъ древняго міра

¹⁾ Адъюнктъ-профессоръ по части Всеобщей Исторіи въ здѣшнемъ университетѣ, магистръ философіи Михаилъ Куторга написалъ это историческое разсужденіе для полученія ученой степени доктора философіи. Онъ защищалъ его положенія 27 іюля въ полномъ собраніи всего I отдѣленія философскаго факультета, множества ученыхъ и другихъ любителей просвѣщенія. Собраніе сіе удостоили своимъ посѣщеніемъ попечитель здѣшняго учебнаго округа и попечитель Одесскаго учебнаго округа. Оппонентами отъ университета назначены были ординарные профессора Капыковъ и Устряловъ. Многіе изъ другихъ ученыхъ принимали участіе въ изслѣдованіи столь любопытнаго предмета. Г. Куторга совершенно удовлетворительно разрѣшилъ всѣ возраженія. II. II. — См. *Современникъ*. XI, 38—50.

вообще, а во второй исключительно объ аттическихъ колѣнахъ и сословіяхъ.

Въ общемъ своемъ взглядѣ онъ доказываетъ, что государство всегда составляется изъ соединенія колѣнъ, которыя первоначально существуютъ въ отдѣльности мѣстной, политической и даже религіозной, такъ что первый періодъ исторіи каждаго народа надобно непременно вести до уничтоженія колѣннаго устройства. Названія колѣнъ, чѣмъ историки нерѣдко пользуются для доказательства своихъ предположеній, раздѣлены на собственныя и нарицательныя. О первыхъ сказано, что они служатъ къ различенію одного колѣна отъ другого, и будучи, какъ вообще названія предметовъ, случайны, едва ли могутъ быть объяснены. Вторыя выражаютъ одну изъ отличительностей колѣна. Но какъ въ этомъ отношеніи случается видѣть сходство и между нѣсколькими изъ нихъ, то эти названія могутъ быть общими. Ихъ сочинитель раздѣляетъ опять на мѣстные, политическія и религіозныя, по тремъ главнымъ отношеніямъ отдѣльности колѣнъ. Общій взглядъ содержитъ еще анализъ, какъ при соединеніи колѣнъ образуются гражданскія сословія, и преимущественно классы эвпатридовъ и демотовъ, или благородныхъ и простыхъ гражданъ. Этому соединенію предшествуетъ столкновеніе и борьба колѣнъ, за которою послѣдуетъ иногда просто побѣда, то-есть принужденіе къ сдачѣ, а иногда совершенное завоеваніе. Побѣда становилась причиною размноженія родовыхъ владѣльцевъ на одномъ и томъ же пространствѣ земли, потому что побѣжденные принуждаемы были дѣлить съ побѣдителями свои участки. Завоеваніе доставляло побѣдителямъ важнѣйшія права. Приобрѣтая земли побѣжденнаго колѣна, они дѣлили ихъ между собою, лишали побѣжденныхъ участія въ администраціи, и приписавши ихъ къ своимъ уже землямъ, не давали имъ прежняго родового имени, а только мѣстное. Сочинитель свой общій взглядъ оканчиваетъ мнѣніемъ, что ни колѣна, ни роды не означаютъ людей, происшедшихъ по прямой линіи отъ одного праотца. Первоначальное сближеніе на одномъ пространствѣ, поклоненіе одному божеству

и другія причины могли служить основаніемъ корпорацій, то большихъ, то малыхъ, которыя назывались филами, фратріями и проч. Всѣ положенія, для большаго доказательства ихъ истины, подтверждены указаніями на событія изъ древней исторіи.

Вторая половина разсужденія начинается географическимъ обзорѣмъ Аттики. За первоначальныхъ ея обитателей сочинитель принимаетъ народъ пелазгійскаго племени, который учрежденіе своего государства приписывалъ Кекропсу. При Эрехтеѣ аттические Пелазги покорены были Іонянами, утвердившими въ Атикѣ свой языкъ, свои филы, фратріи и даже поклоненіе своему пенату. Іонійскихъ филъ принимается четыре; каждая изъ нихъ раздѣлялась на три фратріи, изъ которыхъ во всякой было по тридцати родовъ. Іоняне образовали въ Атикѣ сословіе эвпатридовъ, а Пелазги геоморовъ. Восточнаго раздѣленія гражданъ на касты въ Атикѣ не было. Для поддержанія силы родовъ находились особыя государственныя постановленія касательно брака, собственности и усыновленія. Число іонійскихъ родовъ, господствовавшего класса въ Атикѣ, простиралось до 79. Въ заключеніе обзорѣнія аттическихъ колѣнъ сочинитель указываетъ на эпохи исторіи Аттики, когда борьба между эвпатридами и геоморами производила замѣчательнѣйшія измѣненія въ гражданскомъ ихъ устройствѣ.

Исторія, такимъ образомъ излагаемая, пріобрѣтаетъ удивительную ясность. Первоначальныя событія, въ которыхъ такъ мало общаго съ характеромъ позднѣйшихъ происшествій, представляются вѣрно, въ своихъ краскахъ и другихъ особенностяхъ. Періоды обозначаются рѣзко и понятно. Въ каждой картинѣ выражается господствующій духъ времени, очевидный выводъ изъ самыхъ чистыхъ и несомнительныхъ элементовъ народной жизни. Эпохи возникаютъ сами собою, вслѣдствіе, такъ сказать, анатомическаго изученія переходовъ націи изъ одного состоянія въ другое. Сочинитель разсужденія, даже слегка прикасаясь къ нѣкоторымъ фактамъ аттической исторіи, ставитъ читателя на такія точки, съ которыхъ ему въ ясномъ свѣтѣ по-

казываются многія гражданскія учрежденія, междоусобныя войны и самый образъ жизни древнихъ.

Представивъ читателямъ нашимъ одно почти оглавленіе предметовъ, вошедшихъ въ разсужденіе г. Куторги, и особенно обращая ихъ вниманіе на постепенность и новостъ развитія картины исторіи, къ сожалѣнію мы не можемъ ввести ихъ въ тѣ любопытныя подробности, до которыхъ сочинитель доходитъ часто, чтобы вполне сблизить читателей своихъ съ разсматриваемыми имъ предметами. Одни только источники нѣмецкой учености, подѣяніемъ которой видимо работалъ онъ, могли доставить ему столько свѣжихъ и любопытныхъ частныхъ. Для русской литературы и то уже выгода, что его сочиненіе много раскроетъ сторонъ, съ которыхъ наши писатели не обрабатывали еще исторіи. Здѣсь же встрѣчаются примѣры, какъ прямая ученость умѣетъ пользоваться для развитія истинъ своихъ чтеніемъ не только древнихъ историковъ, но даже и поэтовъ.

Впрочемъ мы не безотчетно принимаемъ всѣ положенія разсматриваемой брошюры за истинныя. Есть у самыхъ знаменитыхъ писателей парадоксы, блестящія, когда ихъ произносятъ въ первый разъ, но обращающіеся въ обыкновенныя фразы, когда ихъ часто повторяютъ. Напримѣръ: «Мить есть жизнь, внутреннее существованіе народа, есть выраженіе его духовной дѣятельности со всѣми ея оттѣнками, однимъ словомъ, воплощенное представленіе его мыслей, вѣрованій и познаній». Если все можно развить изъ мита для исторіи народа, чтожъ останется на долю другихъ явленій и памятниковъ существованія націи? Или: «Не горы, а рѣки составляютъ границы между различными племенами, и на нихъ встрѣчаются первыя жилища». Тщетное усиліе подвести подъ неизмѣнныя правила такого рода событія, которыя до безконечности разнообразятся по естеству самыхъ предметовъ. Еще: «Если справедливо, что человѣкъ состоитъ изъ души и тѣла, и что вся его жизнь есть только борьба сихъ двухъ началъ, то такъ же справедливо то мнѣніе, по которому исторія всего человѣческаго рода должна быть изображеніемъ подобной великой борьбы при-

роды физической съ духовною, повѣствованіемъ о непрерывномъ успѣхѣ послѣдней и наконецъ о ея полной и совершенной побѣдѣ. Разсматривая съ этой точки зрѣнія древнюю исторію, мы найдемъ въ ней два главныхъ отдѣла: это Азія и Европа, Востокъ и Западъ. Тутъ ночь и день, тьма и свѣтъ». За этими словами слѣдуетъ длинная характеристика Востока. Въ ней доказывается, что «онъ не имѣетъ свободнаго мышленія, посредствомъ котораго человѣкъ возносится къ безконечному, которое возвышаетъ его надъ всѣмъ міромъ, однимъ словомъ, которое дѣлаетъ его человѣкомъ». Надобно ли опровергать подобныя мнѣнія, низводящія обитателей двухъ частей міра до степени не-человѣческой?

Другого рода недостатокъ сочиненія произошелъ отъ самаго обилія матеріаловъ, собранныхъ авторомъ. Всѣ части разсужденія, какъ и вообще каждой книги, должны быть въ совершенной между собою соразмѣрности. Но здѣсь встрѣчаются мѣста, въ которыхъ на иные предметы едва указано, между тѣмъ какъ другіе разсмотрѣны съ излишнею подробностію. Авторъ, въ первой части разсужденія, изобразивъ судьбу колѣнъ, подвергавшихся совершенному покоренію, говоритъ: «Къ филиамъ побѣдителей были причислены, такъ сказать приписаны, прежніе жители, которыхъ обозначали уже не по родамъ, подобно побѣдителямъ, а только по мѣсту ихъ пребыванія». Вслѣдъ за этимъ онъ прибавляетъ: «вотъ начало сословія въ государствахъ древняго міра». О сословіяхъ болѣе ничего не упоминается здѣсь, хотя они составляютъ часть главнаго предмета сочиненія. По крайней мѣрѣ можно бы въ поясненіе сказать (если авторъ такъ думаетъ), что кромѣ эвпатридовъ и демотовъ у древнихъ не было никакихъ сословія. Но тутъ же слѣдуетъ исчисленіе нѣсколькихъ городовъ, съ показаніемъ, какія гдѣ наименованія получили побѣжденные. Въ другомъ мѣстѣ, при изъясненіи политическаго значенія родовъ, говорится: «Весьма натурально, что это значеніе было очень велико во время преобладанія филъ побѣдителей; но когда община вступила въ городъ, и когда родовыя филы пали, то роды сохранили одно только религіозное значеніе». Послѣднее обстоя-

тельство очень любопытно и достойно развитія. Но о немъ ничего не сказано болѣе, а тутъ же совсѣмъ посторонній случай изъ новой исторіи переданъ со всею подробностію, именно: о неаполитанскихъ Seggi. Въ началѣ второй части, послѣ описанія Аттики, слѣдуетъ разсмотрѣніе вопроса: кто былъ Кекропсъ — переселенецъ изъ Египта, или собственно пелазгійскій герой? Далѣе, о прибытіи въ Аттику другихъ греческихъ племенъ, гдѣ однакожь, кромѣ Фракійцевъ, ни объ одномъ не говорится. Послѣ того объ Іонянахъ, о раздѣленіи Аттики на филы и о названіяхъ колѣнъ. Все это преимущественно касается толкованія собственныхъ именъ. Но вдругъ встрѣчается слѣдующая фраза: «Послѣ всего сказаннаго *состояніе* Аттическихъ колѣнъ очень ясно», хотя собственно о состояніи ихъ почти и рѣчи не было. Возвращаясь къ тому мнѣнію, что Іоняне, какъ побѣдители, образовали въ Атикѣ собственныя филы, къ этому мнѣнію, повторявшемуся уже нѣсколько разъ, сочинитель предлагаетъ вопросъ: «Можетъ ли быть что-нибудь проще, естественнѣе и *справедливѣе*? Несмотря однако жъ на то, мы не только не находимъ ни у одного ученаго, занимавшагося симъ предметомъ, подобнаго изложенія, но даже большая часть ихъ старается отыскать въ аттическихъ колѣнахъ такія же касты, какія существовали въ Египтѣ и существуютъ понынѣ въ Индіи». Намъ кажется, что возраженіе автора направлено не на прямую точку. Можно предположить существованіе кастъ, допуская филы. Первыми означаются сословія, а послѣдними преимущественно колѣна или въ нѣкоторомъ смыслѣ племена. Если бы авторъ строже опредѣлялъ каждое изъ техническихъ словъ разсужденія своего, его опроверженія были бы очевиднѣе.

Можно сдѣлать еще нѣсколько замѣчаній противъ языка и слога автора. Языкъ, т. е. матеріалъ мышленія, долженъ соотвѣтствовать идеямъ со всевозможною точностію, особенно въ ученомъ разсужденіи, гдѣ нѣтъ ни одного понятія, за которое бы сочинитель не подлежалъ отвѣтственности. Вѣрность языка доказываетъ сліяніе души автора съ предметомъ его мышленія.

Вотъ первая фраза въ брошюрѣ: «Изысканія новѣйшихъ писателей неоспоримо доказали, что свѣдѣнія о первобытномъ обществѣ почерпаются единственно изъ народныхъ преданій, которыми такъ богата всякая первоначальная исторія». Неточность выраженій видна здѣсь почти въ каждомъ словѣ. *Изысканія новѣйшихъ писателей*—это совсѣмъ не опредѣляетъ того класса людей, о которыхъ хочеть сказать авторъ. *Неоспоримо доказали*—столь сильное утвержденіе тамъ, гдѣ ни прежде ни послѣ не приведено ни одного слова въ опору этого выраженія. *Свѣдѣнія о первобытномъ обществѣ*—опять неопредѣленность, на что-то намекающая, но не высказывающая истинной идеи. *Почерпаются единственно изъ народныхъ преданій*: есть ли необходимое, ясно выраженное отношеніе между упомянутымъ выше обществомъ и здѣсь приведеннымъ народомъ? Оставляемъ безъ замѣчанія слово *единственно*: оно возстаётъ само на себя. *Которыми такъ богата всякая первоначальная исторія*—опять иперболическое обобщеніе самой частной мысли, когда на нее ближе посмотришь въ натурѣ. Мы не будемъ приводить болѣе доказательствъ неточности языка. Этотъ недостатокъ, почти общій всѣмъ писателямъ, которые или не приобрѣли опытности въ письменномъ изложеніи мыслей, или не утвердились еще въ самомъ взглядѣ на всѣ части предмета сочиненія, долженъ необходимо пройти со временемъ, когда авторъ сдѣлается строже къ каждому своему слову.

Но слогъ требуетъ вниманія исключительнаго и очень ранняго. Въ немъ отражается умѣнье распоряжаться своимъ матеріаломъ. Истина мыслей, строгій порядокъ въ ихъ послѣдовательности, точность выраженій и другія достоинства еще не обнимаютъ всей идеи хорошаго слога. Онъ есть полное выраженіе многосложной дѣятельности душевныхъ способностей, выраженіе, всѣмъ чувствуемое, но ускользающее отъ раздробленія на элементы. Онъ болѣе всего сходенъ съ выраженіемъ фizioноміи. Вѣроятно каждое изъ сильныхъ впечатлѣній на душу, особенно въ первые годы жизни, оставляетъ какой-нибудь свой

слѣдъ на лицѣ нашемъ, и сумма ихъ, при содѣйствіи безконечнаго разнообразія въ способахъ смѣшенія, наконецъ доставляетъ намъ то, что мы называемъ пріятнымъ или непріятнымъ выраженіемъ лица. Вниманіе къ формамъ предложеній къ ихъ взаимнымъ отношеніямъ, къ разстановкѣ словъ, къ выбору эпитетовъ и другихъ дополнительныхъ понятій, вниманіе къ согласію тона рѣчи съ состояніемъ собственнаго духа и окружающихъ насъ предметовъ, даже вниманіе къ музыкальной сторонѣ совокупляемыхъ выраженій, можетъ ввести писателя во многія тайны слога, гораздо чаще, какъ всякій талантъ, достающагося даромъ. Возьмемъ изъ перваго же параграфа брошюры три періода, одинъ за другимъ послѣдующіе, чтобы ихъ общность дѣйствительно могла на читателей произвести какое-нибудь впечатлѣніе.

«Если уже невозможно отдѣльному человѣку потерять въ своей памяти всѣ поэтическіе образы своего дѣтства и юности, то это тѣмъ менѣе возможно цѣлому народу, который принимаетъ впечатлѣнія и чувствуетъ сильнѣе всякаго отдѣльнаго человѣка. Историки обыкновенно называютъ митическое время баснословнымъ, и принимаютъ миты за философею, представленную только для большей таинственности въ символическомъ видѣ, или за пустое преданіе, не имѣвшее первоначально никакого значенія, и только въ послѣдствіи времени преобразованное съ необыкновеннымъ остроуміемъ философами и стихотворцами въ поэтическую форму. Такое мнѣніе показываетъ совершенное отсутствіе всякой мысли».

Здѣсь части періодовъ въ странномъ отношеніи одна къ другой; мысли заброшены излишествомъ бесполезныхъ словъ; того, что называется теченіемъ рѣчи, совсѣмъ не чувствуешь, читая эти фразы.

Убѣжденные разсматриваемымъ сочиненіемъ въ обширныхъ и подробныхъ свѣдѣніяхъ автора, мы даже позволяемъ себѣ сдѣлать замѣчаніе и на самый выборъ его темы. Нынѣшній предметъ свой, какъ сочинитель самъ упоминаетъ, онъ уже

изслѣдовалъ частію прежде въ диссертациі: *De antiquissimis tribibus atticis earumque cum regni partibus nexu*. Труды, столь плодотворные и въ этомъ видѣ у насъ довольно рѣдкіе, для успѣховъ науки гораздо полезнѣе разнообразить и освѣжать новостію изысканій.

ПУТЕШЕСТВІЕ В. А. ЖУКОВСКАГО ПО РОССИИ¹⁾.

1838.

О событіи, на которое мы рѣшились наконецъ обратить вниманіе читателей своихъ, конечно никто не въ правѣ говорить, кромѣ самого путешественника. Его живописному перу надобно предоставить изображеніе впечатлѣній во время путешествія, столько же поучительнаго, какъ и обширнаго. Но обстоятельства, кажется, оставятъ надолго нашего поэта въ долгу передъ отечествомъ и всѣми читателями его таланта. Эти прекрасныя страницы исторіи, въ свое время не вышедшія въ свѣтъ, будемъ считать отложеннымъ капиталомъ литературы. Между тѣмъ для порядка позволимъ себѣ только отмѣтить происшествіе, которое уже слишкомъ любопытно и тѣмъ, что оно было.

В. А. Жуковскій, въ прошломъ 1837 году, имѣлъ счастіе находиться въ свѣтѣ Государя Цесаревича Наслѣдника престола во время путешествія Его Императорскаго Высочества по Россіи. Воображая человѣка съ этимъ талантомъ, съ этими знаніями и съ этимъ направленіемъ ума (что изъ твореній его такъ знакомо все каждому), можно представить живо, какъ дѣйствовало на него путешествіе. Ежели зрѣлище, столь разнообразное какъ Россія и столь близкое къ сердцу какъ отечество, для каждаго изъ насъ въ самыхъ обыкновенныхъ обстоятельствахъ стано-

¹⁾ *Современникъ*. XII, 5—22.

вится источникомъ лучшихъ и неизгладимыхъ воспоминаній, назидательныхъ уроковъ и часто благотворныхъ помысловъ; то въ какой степени, при торжественномъ шествіи Августѣйшаго Первенца обожаемаго нами Монарха, оно поражало чувства, восхищало душу и двигало сердце поэта! Съ истиннымъ талантомъ, какого бы онъ роду ни былъ, природа соединяетъ много преимуществъ, до которыхъ намъ, простымъ людямъ, ничѣмъ не дослужиться. Важнѣйшее изъ нихъ состоитъ въ томъ, что у человѣка съ талантомъ ни одно изъ живыхъ впечатлѣній не остается безплоднымъ. Его можно сравнить съ доброю почвою земли, въ которой каждая капля воды, ее освѣжающая, въ будущемъ готовить какое-нибудь произрастеніе. Не сожалѣйте, что въ эпоху прекрасныхъ событій поэтъ молчитъ; что, посреди всеобщаго восторга, онъ какъ бы не пользуется дарами судьбы. Онъ не властенъ воспротивиться дѣйствию благодатныхъ явленій. Независимо отъ его воли, все примется — и плодъ созрѣетъ. Если бы мы потребовали отъ него отчета, назначивъ ему и время и самые виды дѣятельности; то съ высоты, на которую природа поставила художниковъ, мы низвели бы его въ разрядъ ремесленниковъ. Пока онъ живетъ, въ его душѣ все дѣйствуетъ. Не замѣчая самъ, онъ возвращаетъ обществу тѣ сокровища, которыми оно его обогащаетъ. Вслушивайтесь въ его сужденія, разбирайте его слова, рассматривайте каждую часть новой его картины или очерка, замѣчайте самый образъ его мыслей и поступковъ: если дано вамъ тонкое чувство критики, вы поймете, въ какой чертѣ и сколько выражается у него изъ этихъ давно-исчезнувшихъ для насъ впечатлѣній.

Итакъ, если бы мы и не дождались отъ нашего поэта отдѣльныхъ записокъ или сочиненія другого роду, гдѣ онъ представилъ бы изображеніе величественнаго и умильнаго зрѣлища, мы убѣждены, что принадлежащее намъ погибнуть не должно и не можетъ.

Какъ поэтъ, В. А. Жуковскій первый у насъ призвалъ природу съ нѣжнѣйшими ея красками и оттѣнками для полной кра-

соты поэзіи сердца и воображенія. Онъ каждое чувство и каждое дѣйствіе, изображаемое имъ, обставляетъ живыми картинами природы, списанными со всею художническою точностію. Сколько новыхъ богатствъ, въ этомъ отношеніи, открыли ему области, прилежація къ обѣимъ сторонамъ Урала, на всемъ протяженіи хребта его! Не говоримъ уже о Крымѣ и южномъ его берегѣ, который поэтъ изучилъ во всѣхъ отношеніяхъ. Въ самой срединѣ Россіи, по направленіямъ безконечныхъ ея рѣкъ, которыхъ прибрежныя страны путешественникъ имѣлъ случай столько разъ видѣть и при истокахъ и при устьяхъ благотворныхъ водъ ихъ, какими сокровищами запаслось его воображеніе! Въ помощь ему онъ работалъ даже карандашемъ своимъ. Намъ удалось взглянуть на драгоцѣнное собраніе очерковъ различныхъ мѣстъ и предметовъ, привезенное В. А. Жуковскимъ изъ путешествія. Это занятіе онъ столько же почти любитъ, какъ и поэзію. Знатоки всегда удивлялись вѣрности его взгляда, умѣнью выбирать точки, съ которыхъ онъ представляетъ предметы, и мастерству схватывать вещи характеристически въ самыхъ легкихъ очеркахъ. Всѣ, получившіе въ особомъ прекрасномъ изданіи его *Виды Павловска*, конечно согласятся съ нами, до какой степени онъ живописецъ не только съ перомъ въ рукѣ, но и съ карандашемъ. Подобнымъ образомъ онъ представилъ въ очеркахъ мѣста, гдѣ провелъ свое дѣтство и гдѣ писаны были нѣкоторыя изъ первыхъ его стихотвореній.

По этой способности сливаться душою со всѣмъ прекраснымъ въ природѣ и воплощать все прекрасное въ живыхъ образахъ, можно до нѣкоторой степени вывести заключеніе о собранныхъ имъ сокровищахъ другого рода, о томъ, какъ онъ долженъ былъ принимать въ сердце моральныя картины, одушевленіе всѣхъ сословій вообще и cadaго лица отдѣльно. Конечно, этого нельзя, мгновенно схвативши, и передать мгновенно какъ физическій какой-нибудь предметъ; но великое счастье быть исполненнымъ подобныхъ ощущеній! Для насъ онъ еще не отдѣлилъ этого отъ себя; но тамъ, гдѣ происходило дѣйствіе, онъ безъ сомнѣнія

былъ въ числѣ самыхъ оживленныхъ органовъ, посредствомъ которыхъ всякое высокое чувствованіе и возрастаетъ и всѣхъ электризуетъ. Для человѣка, сколько-нибудь образованнаго, и одно имя его есть призваніе ко всему доблестному и прекрасному. Къ литературнымъ заслугамъ (давшимъ ему въ Европѣ столь почетное мѣсто) судьба вызвала его присоединить другія, новыя заслуги, по которымъ имя его къ потомству пойдетъ въ ряду именъ, драгоценнѣйшихъ для Россіи. Такимъ образомъ въ Бѣлевѣ (родинѣ поэта) его пріѣздъ произвелъ всеобщій восторгъ. Жители единодушно почтили его изъясненіемъ самыхъ искреннихъ привѣтствій. И гдѣ онъ могъ не встрѣтить этого чисто-сердечнаго радушія?

Образующееся юношество и образователи, окружая его въ нашихъ цвѣтущихъ общественныхъ разсадникахъ свѣта и добра, съ какимъ восхищеніемъ должны были тѣсниться около поэта, тамъ, гдѣ ихъ уроки ежедневно оживляются его произведеніями! Мысль, замѣчаніе, слово, даже взглядъ великаго писателя становятся незабвенными для возникающаго таланта. Вспомнимъ рассказъ Пушкина о прибытіи Державина въ Лицей. Молодое сердце, въ присутствіи одушевителя своего, вѣруетъ несомнѣннѣе въ событіе благородныхъ своихъ желаній. Ободренный привѣтомъ того, въ комъ видитъ истиннаго судью давнихъ, можетъ-быть и одинокихъ трудовъ, юноша начинаетъ свѣтлую эпоху литературной жизни.

Чтобы оправдать послѣднее предположеніе наше, мы расскажемъ здѣсь занимательное происшествіе, дѣйствительно случившееся съ В. А. Жуковскимъ въ эту поѣздку. Въ одномъ изъ самыхъ отдаленныхъ отъ столицы городовъ явился къ нему молодой человѣкъ¹⁾ и просилъ взглянуть на его стихотворенія, которыхъ было переписано довольно много. Онъ пришелъ одинъ, никѣмъ не представленный. За исключеніемъ очень понятной застѣнчивости и даже робости, въ немъ не замѣтно было этого

¹⁾ Милькѣвъ, въ Тобольскѣ.

всегда непріятнаго подобострастія и ни одного изъ тѣхъ смѣшныхъ пріемовъ, которые нерѣдки въ провинціяхъ. Между тѣмъ изъ разговора съ нимъ открывалось, что онъ самый бѣдный человекъ, не имѣлъ возможности образоваться, а еще менѣе замѣнить недостатокъ ученія порядочнымъ обществомъ. Но въ его словахъ и во всей его наружности нельзя было не чувствовать того достоинства, въ которое природа облачаетъ человека съ мыслию и характеромъ. Онъ говорилъ откровенно о любви своей къ поэзіи, не вѣривъ до сихъ поръ ни одному существу своей тайны. Его стихи въ самомъ дѣлѣ выражали то, что даетъ человеку жизнь, въ полномъ смыслѣ созерцательная—глубокое религиозное чувство и стремленіе къ высокой философіи.

Легко понять, съ какимъ участіемъ нашъ поэтъ началъ смотрѣть на молодаго человека. Обласкавъ и ободривъ его, онъ употребилъ особенное стараніе, чтобы начальникъ его по службѣ, при первой поѣздкѣ своей въ Санктпетербургъ, не отказался и его взять съ собою. Въ началѣ нынѣшняго года онъ уже былъ здѣсь. Между тѣмъ, пока придумываемы были и вновь передумываемы разныя предположенія, какъ бы устроить лучше судьбу его, В. А. Жуковскій желалъ, чтобы онъ изложилъ для него на бумагѣ исторію внутренней жизни своей и опредѣлительнѣе бы высказалъ, на что хочетъ рѣшиться для поправленія будущей судьбы своей. Мы съ удовольствіемъ передаемъ читателямъ этотъ любопытный отвѣтъ, ничего не перемѣняя въ первомъ опытѣ прозы поэта: пусть чистосердечный его языкъ и оригинальный взглядъ на предметы сохранять всю свою свѣжесть.

«Вашему Превосходительству угодно, чтобы я рассказалъ свою исторію. Постараюсь объяснить себя, какъ буду въ состояніи.

«Если не заблуждаюсь, природа надѣлила меня привязанностью къ звукамъ, но между тѣмъ назначила родиться и жить въ такой сферѣ, гдѣ ничто не могло способствовать своевременному пробужденію и образованію этого инстинкта, гдѣ болѣе всего раздается безмолвіе для души, гдѣ менѣе всего слышится музыка слова. Не гармоническій тотъ классъ, изъ котораго я происхожу.

Отецъ мой не имѣлъ никакого состоянія и умеръ, оставивъ меня трехлѣтнимъ ребенкомъ на рукахъ матери, въ совершенной бѣдности. Мать моя приняла довольно горя, пока мнѣ нужно было подняться изъ столь слабаго младенчества. О воспитаніи говорить нечего. Одиннадцати лѣтъ, изъ уѣздной школы отдали меня на службу, въ одно губернское мѣсто, гдѣ надлежало мнѣ доучиваться почерку и грамотѣ, перебѣляя черновыя сочиненія канцелярскихъ писателей. Немного можно было почерпнуть изъ той словесности, какую видѣлъ я передъ собою. Наша приказная фразеологія, въ отдаленныхъ и низшихъ мѣстахъ, нельзя сказать, чтобъ отличалась вкусомъ. Но такъ какъ я очень мало еще смыслилъ, то и эта незавидная проза казалась мнѣ высокимъ краснорѣчіемъ. Умственное любопытство тѣхъ, съ которыми я находился въ обществѣ, ограничивалось также не весьма изящнымъ чтеніемъ: старыя сказки, давно забытыя повѣсти ходили между ними въ обращеніи; да и тѣмъ дѣлиться не имѣли они готовности, стараясь наслаждаться скрытно. Поэтому, очень мало приводилось мнѣ читать, не говоря уже о чемъ-нибудь порядочномъ. Первая хорошая книга, которая попала въ руки, была—басни Крылова: я имъ чрезвычайно обрадовался, такъ что вытвердилъ ихъ наизусть, и помню большую часть теперь. По нимъ я сталъ учиться рифмамъ и излагать стихами разныя сказки. Рѣшительное желаніе сдѣлаться стихотворцемъ овладѣло мною при чтеніи Плутарха, когда мнѣ было отъ роду лѣтъ шестнадцать: я воспламенился, и съ величайшимъ усердіемъ ломалъ голову надъ рифмами; не разумѣлъ стопъ и размѣра, утѣшался только созвучіями; необузданный стихъ мой содержалъ иногда слоговъ двадцать, удареніе прыгало и садилось произвольно. Хотя я примѣтилъ нестройность въ этой отчаянной музыкѣ, однако долго не отгадывалъ, отчего у меня выходила такая нескладица, и это доставляло мнѣ порядочную пытку. Цѣлыя ночи были проведены въ усиліяхъ открыть тайну. Наконецъ сосчиталъ я гласныя буквы въ печатномъ стихѣ, прислушался къ ударенію, и завѣса приподнялась. Я началъ составлять стихи, болѣе или менѣе правильные, и приводить ихъ въ

разные размѣры, по образцу немногихъ стихотвореній, которыя удалось читать впослѣдствіи.

«Такимъ образомъ, прежде нежели научился я сердцемъ постигать то, что называется поэзіей, мнѣ надлежало открыть собственною догадкою, разумѣется въ нѣкоторой степени, механизмъ сочетанія, или сдѣлать доступнымъ для своего понятія тотъ избранный способъ выраженія, къ которому душа симпатически влеклась. Медленно успѣвалъ я въ этомъ, потому что заграждены отъ меня были всякія средства; я даже не зналъ, существуютъ ли на то учебныя пособія. Прибѣгнуть къ кому? Тѣ, съ которыми я могъ сближаться, не могли откликнуться на мои вопросы: нельзя было ничего отъ нихъ перенять или услышать; и какъ черты этихъ пріятелей не имѣли большаго сходства съ моими, то я застѣнчиво удалялся ихъ общества. Изъ лучшихъ никто не чувствовалъ охоты заняться мальчикомъ, безмолвнымъ и скучнымъ, а я по врожденной боязливости не смѣлъ спрашивать; малѣйшей нескромностью страшился обнаружить свою привязанность какъ преступленіе, и старался закрыть отъ свѣдѣнія всѣхъ эту завѣтную страсть.

«Чтобы понять правописаніе, я углублялся въ анатомію словъ, прилежно всматривался въ ихъ происхожденіе. Когда меня взяли на службу въ то мѣсто, гдѣ я нахожусь теперь, тутъ случалось, хоть очень рѣдко, достать хорошую книгу: тогда я уносилъ сокровище домой, съ благоговѣніемъ и восторгомъ погружался въ чтеніе; останавливался на тѣхъ страницахъ, которыя восхищали меня живописью и благозвучіемъ; старался удерживать въ памяти образъ выраженія, гдѣ благородство и чистота были осязательны моему разуму, и послѣ прилагалъ эти свѣдѣнія къ моей стихотворной практикѣ. Однако я могъ бы и чаще доставать книги, если бы одаренъ былъ нѣкоторой ловкостью и умѣніемъ свискивать расположеніе людей, болѣе или менѣе обращающихся съ ними, если бы не имѣлъ той неодолимой робости, которая составляетъ роковую черту въ моемъ характерѣ. Я пользовался именно тѣмъ, что доходило до рукъ моихъ случайно, и до сихъ поръ не

прочелъ ни одного писателя нашего вполне. Грѣшно сказать: я даже не всю читалъ исторію Карамзина. Иныхъ знаю по отрывкамъ, а другихъ только потому, что слухомъ земля полнится.

«Языкъ и правила мои въ слогѣ заняты изъ того, что успѣлъ я прочитать порядочнаго. Грамматическихъ терминовъ не знаю, риторическихъ формулъ подавно; и если бы спросили, почему разстановку словъ я дѣлаю такъ, а не иначе, я отвѣчалъ бы только, что подобные обороты замѣтилъ въ употребленіи.

«Теперь, какъ развивался ходъ моей мысли, какія внушенія располагали духомъ, и чѣмъ наиболѣе поражалось вниманіе? Предѣлъ моихъ знаній препятствовалъ расширять мысль. Религіозное чувство и природа служили основнымъ, единственнымъ побужденіемъ: я любилъ смиряться предъ Богомъ и дивиться Ему, любилъ смотрѣть на звѣзды и на открытое небо, и хотѣлъ одѣвать чувствованія звукомъ, хотѣлъ говорить о небѣ и Творцѣ. Къ этому сердце относило цѣль жизни. И теперь желалъ бы я всего болѣе погрузиться въ истину, настроить разумъ, совокупить силы души, чтобы принести дань удивленія чудесамъ Бога словомъ достойнымъ.

«Но желанія велики, а крылья слабы. Часто умственное безсиліе наводило на меня глубокую тоску; часто мучился я недоувѣрчивостью и сомнѣніемъ, и тѣмъ болѣе скрывалъ мою тайну.

«Вотъ пронесся слухъ о путешествіи Государя Наслѣдника, и что ваше превосходительство находитесь въ свитѣ. Нашъ городъ пробудился; все приготавлилось. Я тоже не былъ въ бездѣйствіи: я рѣшился сдѣлать себѣ насиліе, преодолѣть робость. Пересмотрѣлъ мои опыты, собралъ все, что находилъ изъ нихъ лучшаго, поправилъ, переписалъ, и пошелъ съ тетрадью къ вашему превосходительству, какъ только вы пріѣхали. Могъ ли я сдѣлать лучше? Я несъ подарокъ мой со смятеніемъ, но поддерживался, утѣшался мыслию, что услышу правду и вѣрный приговоръ себѣ.

«И ваше превосходительство признали во мнѣ способность. Это для меня крайне утѣшительно и лестно. Вы съ добродушіемъ

тогда спросили: чего бы я могъ желать себѣ? Конечно, если дѣйствительно существуетъ во мнѣ что-нибудь похожее на природныя дарованія, я желалъ бы обработать ихъ, воспитать способности ученіемъ, распространить силы познаніями. Но гдѣ средства?

«И вотъ я въ Петербургѣ. Не за тѣмъ ли я сюда явился, чтобы рѣшить задачу жизни, начать новый періодъ? Но какъ осуществить надежды, сдѣлать поворотъ? Средства ученія здѣсь существуютъ; надобно приняться за все, потому что ничего не знаю; надобно сѣсть на одну лавку съ дѣтьми, а мнѣ двадцать три года: невозможно! Золотое время упущено; трудно его настигнуть. Между тѣмъ я съ горестью примѣчаю, что степень здоровья моего не позволитъ приступить къ жертвеннику съ такимъ полнымъ и торжественнымъ рвеніемъ, какъ требуетъ незнагадимая потеря лучшаго времени, и какъ бы мнѣ дѣйствительно хотѣлось. Начатіе съ раннихъ лѣтъ письменной службы—тамъ, гдѣ иногда отъ сослуживцевъ отдавались похвалы моему трудолюбію можетъ-быть слишкомъ не даромъ — имѣло необходимое вліяніе на мою организацію, несовсѣмъ крѣпкую отъ природы. Я долженъ теперь затвориться въ комнатѣ, начать ученіе наединѣ и стремиться къ цѣли, какъ позволятъ силы; но нельзя оставить службы, отъ которой получаю способъ жить. А можно ли соединить службу съ ученіемъ?

«Въ такихъ обстоятельствахъ, къ исполненію моего желанія и вашей воли, существуетъ развѣ одинъ способъ, одно средство: надобно искать такого роа службы, при которой бы, съ отправленіемъ обязанности, соразмѣрной моимъ способностямъ, я могъ имѣть время для ученія. Ваше превосходительство, съ рѣдкимъ добродушіемъ, вызвались принять участіе въ этомъ. Вы заботитесь обо мнѣ, занимаетесь моей судьбою: это сильно меня трогаетъ и смущаетъ, потому что правъ мало имѣю. Конечно, приобрѣсть такую должность было бы счастіе, больше котораго я пожелать не могу. Но у меня есть мать; я оставилъ ее далеко. Тягостно мнѣ не видѣть той, которая меня родила и боролась почти съ нищетою для моей жизни. Рѣшусь ли опечалить ея старость, пре-

дать безпокойству долговременной и безнадежной разлуки съ сыномъ? Я уѣзжалъ съ тайнымъ желаніемъ остаться здѣсь, чтобы положить мои способности въ горнило ученія; теперь слышу внутри упрекъ. И сколько разумъ велитъ склониться на милость, предложенную мнѣ вами, столько противорѣчитъ сердце.

«Но отстать отъ избранной мысли, воротиться на свое прозаическое мѣсто, къ этой должности, къ этимъ занятіямъ, отъ которыхъ, нечего грѣха таить, часто тупѣетъ голова!... Опять возмущаюсь. Чѣмъ болѣе вникаю въ мои качества, въ мои силы и способности, тѣмъ менѣе нахожу въ себѣ призванія къ настоящему поприщу. Конечно, всѣ обязанности святы, когда мы носимъ ихъ, и мы не должны терять къ нимъ уваженія ни въ какомъ случаѣ; только гораздо лучше, если онѣ отвѣчаютъ нашимъ наклонностямъ и движенію воли. На теперешнемъ мѣстѣ я чувствую себя удивительно ничтожнымъ и пустымъ; предприимчивости и честолюбія не имѣю вовсе. И когда соображаю мою неспособность къ дѣйствительной жизни, мой духъ, робкій и тревожливый—часто говорю себѣ: кажется, природа назначила мнѣ не ту дорогу, какую предполагала. Но опять не дѣло подозрѣвать судьбу въ ошибкахъ.

«Итакъ я долженъ рѣшиться прозябать въ невѣжествѣ, долженъ идти противъ воли и желанія, разыгрывать ролю вѣчнаго противоборства и насилія себѣ, разбивъ до основанія надежды! Это ужасно какъ смерть. Можетъ-быть, судьба уже не пошлетъ другого случая приблизиться къ средствамъ просвѣщенія, и я, не выступивъ изъ круга, враждебнаго моимъ расположеніямъ, вѣроятно останусь тамъ надолго. Нѣтъ: лучше рѣшусь пожертвовать чувствомъ, которое меня мучитъ и призываетъ туда. Пусть укрѣпится мать противъ разлуки съ сыномъ, необходимой для пользы его нравственныхъ силъ. Правда, что онъ хочетъ отважиться на подвигъ трудный, и слишкомъ поздно; но лучше теперь, нежели никогда.

«Ваше превосходительство лучше знаете, что для меня нужно. Если мои способности возбуждаютъ вниманіе, если отъ нихъ

можно чего-нибудь надѣяться, прошу вашего участія: доставьте мнѣ мѣсто, гдѣ бы, исполняя свою обязанность, я могъ имѣть книги и время. Благодарить васъ иначе не буду въ силахъ, какъ усерднымъ стремленіемъ достигнуть успѣховъ и оправдать благодѣяніе.

«Теперь сказано все. Я открылся вашему превосходительству съ чистосердечіемъ ребенка, объяснилъ всѣ обстоятельства, не утаилъ тревоги, которая наполнила душу при соображеніи моей судьбы. Вопросъ такъ меня затруднилъ, столько внушилъ мнѣ страннаго и грустнаго, что я смѣялся надъ собой и плакалъ. Плакалъ и говорилъ: «Господи, помоги мнѣ грѣшному! Можетъ-быть я ложно усиливаюсь; можетъ-быть увлекся я мечтательнымъ своимъ воображеніемъ: исцѣли меня отъ болѣзни ума!» И долго не могъ собрать моихъ мыслей, не зналъ, на что рѣшиться, искалъ словъ, и не умѣлъ, съ чего начать исторію, какъ приступить къ объясненію. Это тѣмъ болѣе меня смущало, что я еще не принимался за прозу, кромѣ канцелярской: вырабатывалъ единственно стихъ.»

Борьба между рѣшимостію, которой требовалъ холодной разсудокъ, и влеченіемъ сыновняго сердца повидимому оканчивалась. Приискана была должность, позволявшая заниматься постоянно систематическимъ ученіемъ. Но такъ невѣренъ себѣ человѣкъ, сильно чувствующій и преслѣдуемый воображеніемъ, что въ самую минуту исполненія искреннихъ и давнихъ своихъ желаній онъ упалъ духомъ, обнять былъ угрызеніямъ совѣсти и не нашелъ въ себѣ силы побѣдить нравственнаго влеченія туда, гдѣ ему видѣлась покинутая, одиноко дряхлѣющая матѣ его: онъ пожертвовалъ всѣмъ своимъ будущимъ, чтобы доставить ей хотя бѣдную отраду въ ея послѣдніе годы. Кто бы не оцѣнилъ этого высокаго самоотверженія? Онъ отправился на свою родину, сопровождаемый участіемъ и благословеніями своего покровителя, который нашелъ еще средство примирить его сердце съ бунтующимъ разсудкомъ: онъ составилъ прекрасное, самое полное собраніе русскихъ книгъ, которыя считалъ необходимыми для его образо-

ванія собственнымъ чтеніемъ, послалъ свой подарокъ вслѣдъ за нимъ — и такимъ образомъ въ жилищѣ его, казалось, водворялъ друзей безмолвныхъ, но утѣшительныхъ...

Благопріятный случай открылъ намъ только одно, что могли мы внести въ свой рассказъ о путешествіи. Но сколько бы подобного слышали мы, если бы посреди насъ заговорили всѣ, всѣ кого судьба, въ разныхъ обстоятельствахъ, на этомъ пространствѣ, въ теченіе всѣхъ мѣсяцевъ поѣздки, приводила къ человѣку съ такою душою?

12 ОКТЯБРЯ 1838 ГОДА ¹⁾.

Такъ названа небольшая книжка, которую получилъ каждый изъ бывшихъ въ этотъ день на юбилей пятидесятилѣтней службы генералъ-лейтенанта *Карла Федоровича Клингенберга*, исправляющаго должность главнаго директора Пажескаго, всѣхъ Сухопутныхъ корпусовъ и Дворянскаго-полка и директора Павловскаго кадетскаго корпуса.

Въ Санктпетербургѣ нынѣшній годъ уже было два подобныхъ праздника: одинъ въ честь Ивана Андреевича Крылова, другой Ивана Федоровича Буша. Въ этихъ торжественныхъ изъясненіяхъ любви, уваженія и благодарности столькихъ лицъ передъ однимъ частнымъ человѣкомъ есть много отраднаго и поучительнаго для сердца. Жизнь честнаго, полезнаго и отличнаго гражданина, на какомъ бы онъ поприщѣ ни дѣйствовалъ, привлекаетъ всеобщую признательность.

Генералъ-лейтенантъ К. Ф. Клингенбергъ, за исключеніемъ шести лѣтъ, въ продолженіе всей своей пятидесятилѣтней службы, оставался при воспитаніи и образованіи благороднаго юношества. Между многоразличными должностями, призывающими благовос-

¹⁾ *Современникъ*. XII, 23—33.

питаннаго человѣка на службу государю и отечеству, во всѣхъ отношеніяхъ сколь ни важно быть представителемъ родительской нѣжности и заботливости о приготовленіи одного поколѣнія за другимъ въ содѣйствователи общественному благу, немногіе однако же цѣлую жизнь постоянно и ревностно выдерживаютъ труды, соединяющіеся съ этимъ родомъ службы. Здѣсь прежде всего требуется отъ человѣка полное самоотверженіе. Со всѣми своими желаніями, надеждами, благородными страстями, со всѣмъ драгоценнымъ запасомъ своихъ знаній и — хотя бы сильно это чувствовалъ — съ талантами своими, онъ долженъ заключиться въ скромную сферу однообразной дѣятельности, гдѣ всегдашними зрителями и судіями успѣховъ его будутъ не равные ему, не сверстники, оживляющіе его моральныя силы, то своимъ соревнованіемъ, то своею дружбою, то завистію даже своею, но безотвѣтныя дѣти, не понимающія глубокихъ его соображеній, и часто въ невинной слѣпотѣ своей неблагодарныя за то, что нѣкогда будетъ основаніемъ ихъ счастья. И для этой повидимому не тревожной и односторонней дѣятельности духа предстоитъ нескончаемая заботливость — непрерывно возобновляющееся изученіе столькихъ характеровъ, привычекъ, то самобытныхъ, то заимствованныхъ наклонностей, всѣхъ тайнъ души и сердца. Въ этой безпредѣльной наукѣ никогда не дойдешь до общихъ истинъ, успокоивающихъ умъ: во всякомъ новомъ предметѣ видишь новыя явленія, слѣдственно обязанъ доходить до новыхъ причинъ, соображать ихъ отношенія къ главной цѣли и готовить новыя средства для развитія или уничтоженія ихъ дѣятельности. Посреди волненія думъ, одна другую преслѣдующихъ, вы не въ правѣ и на минуту отступить отъ перваго условія своей обязанности — измѣнить спокойствію духа вашего и человѣчески увлечься порывомъ какой-нибудь страсти. Съ первой минуты самозабвенія вы уже теряете власть руководителя и дѣляетесь соперникомъ, на страсть ополчаясь страстію. При томъ же воспитатель не начальникъ, передъ которымъ дѣйствуютъ люди, отвѣтствующіе сами за себя: онъ отецъ; передъ нимъ его дѣти; ихъ ошибки и заблу-

жденія на его лежать совѣсти. Со всевозможнымъ терпѣніемъ и благоразуміемъ возвращаясь къ началу собственныхъ своихъ дѣйствій и правилъ, воспитатель хладнокровно вводитъ улучшенія въ прежнюю систему и водворяетъ новые законы въ своихъ владѣніяхъ, не давая даже замѣтить первоначальнаго ихъ отсутствія.

Есть множество другихъ требованій важныхъ и конечно тягостныхъ, которыя заставляютъ бремениться званіемъ воспитателя юношества. Можно впрочемъ сказать, что человѣкъ благоразумный, съ характеромъ, свѣдущій и трудолюбивый, рано или поздно дойдетъ въ этомъ дѣлѣ до нѣкоторой степени совершенства. Одного только качества нельзя пріобрѣсти, если имъ не надѣлила васъ сама природа. А это качество такъ здѣсь важно, что всѣ прочія отъ него единственно и получаютъ свою дѣйствительность. Мы говоримъ о *любящемъ сердцѣ*, которое само по себѣ, безъ усилій, безъ совѣтовъ благоразумія или опыта, безъ внѣшней помощи честолюбія или другой какой-нибудь страсти, дѣйствуетъ такъ благотворно, такъ вѣрно, такъ неизмѣнно, что съ нимъ на этомъ многотрудномъ поприщѣ и легко и отраднo. Вообразите положеніе отца, истинно нѣжнаго и который достоинъ своего сана. Труды для него наслажденіе. Мудрость въ его душѣ, истощимомъ источникѣ любви и самоотверженія. Награда въ его счастіи, высокомъ и неизъяснимомъ для другого. Власть и сила въ его сердцѣ, увлекательно краснорѣчивомъ, разогрѣвающимъ всякое охлажденіе недѣятельности или сопротивленія. Такъ счастливъ, такъ властителенъ и такъ высоко надъ всѣми поставленъ судьбою воспитатель, когда природа украсила его любящимъ сердцемъ.

Оно оживляетъ благотворную и долговременную дѣятельность достойнаго воспитателя юношества, который такъ искренно, такъ согласно, такъ радушно угощенъ былъ своими питомцами въ торжественный день пятидесятилѣтней службы своей. Что мы видѣли и слышали на этомъ празднествѣ, все убѣждаетъ насъ несомнѣнно, что онъ какъ бы природою призванъ на мѣсто своего

служенія. Только любящее сердце сохранило въ немъ всю энергію прекрасной души, всю власть яснаго и спокойнаго ума, всю прелесть характера и увлекательность чистосердечія, которыми онъ умѣлъ такъ привязать къ себѣ всѣхъ своихъ воспитанниковъ и вмѣстѣ для себя сдѣлать изъ тяжелой должности услажденіе жизни.

Въ книжкѣ, о которой мы упомянули, помѣщена коротенькая біографія К. Ф. Клингенберга. Изъ нея видно, что онъ воспитывался въ Артиллерійскомъ и Инженерномъ шляхетномъ (что нынѣ Второй) кадетскомъ корпусѣ. Шестнадцати лѣтъ, 1788 года 12 октября, произведенъ въ штыкъ-юнкеры и въ качествѣ воспитателя оставленъ въ этомъ же заведеніи, гдѣ и пробылъ десять лѣтъ. Въ чинѣ капитана онъ переведенъ былъ помощникомъ гофмейстера въ Пажескій корпусъ. Черезъ двадцать три года съ половиною, въ чинѣ полковника, назначенъ комендантомъ въ Нарву, откуда по истеченіи шести лѣтъ переведенъ въ Павловскій кадетскій корпусъ директоромъ въ чинѣ генералъ-майора. Изъ-подъ его начальства поступило на службу *тысяча шесть сотъ шесть* офицеровъ.

Немногимъ судьба посылаетъ счастье приготовить столько молодыхъ людей на службу государю и отечеству. Но что должны чувствовать воспитатель, когда питомцевъ своихъ еще видитъ передъ собою на всѣхъ ступеняхъ чиновъ государственныхъ! Списокъ поступившихъ изъ-подъ начальства К. Ф. Клингенберга въ офицеры украшается именами особъ, которыхъ заслуги, драгоцѣнныя отечеству, привлекли къ нимъ довѣренность и высокое благоволеніе монарха. Генералъ отъ артиллеріи П. М. Капцевичъ, генералъ отъ инфантеріи М. Е. Храповицкій, генералъ-фельдмаршалъ свѣтлѣйшій князь И. О. Варшавскій графъ Паскевичъ Эриванскій, военный министръ графъ А. И. Чернышевъ, генералъ-адъютантъ А. А. Кавелинъ, генералъ-адъютантъ В. Ф. Адлербергъ и множество другихъ достопочтенныхъ особъ получили первое образованіе въ военно-учебныхъ заведеніяхъ при К. Ф. Клингенбергѣ. Всѣ, дожившіе до этого дня,

радостнаго для ихъ бывшаго начальника, всѣ, гдѣ бы ни находились они, единодушно изъявили согласіе участвовать въ составленіи праздника. Онъ былъ данъ въ томъ мѣстѣ, гдѣ Карлъ Федоровичъ воспитывался. Во время обѣда, старшіе изъ бывшихъ въ Санкт-петербургѣ питомцевъ его, генералъ отъ артиллеріи П. М. Капцевичъ и генералъ отъ инфантеріи М. Е. Храповицкій поднесли ему отъ имени всѣхъ своихъ товарищей, въ знакъ общей ихъ признательности, золотую вазу на золотомъ пьедесталѣ. Передняя сторона ея украшена золотою арматурою, составленною изъ оружія всѣхъ родовъ войскъ, въ которыя поступали воспитанники К. Ф. Клингенберга, а надъ самой арматурой вырѣзанъ день юбилея. На правой сторонѣ вензеловыя изображенія государей, которымъ онъ имѣлъ счастье служить при военно-учебныхъ заведеніяхъ. На задней изображены тесакъ и жезлъ фельдмаршальскій, перевитые золотымъ лавровымъ вѣнкомъ, какъ эмблема того, что питомцы Карла Федоровича находятся во всѣхъ воинскихъ чинахъ. Наконецъ на лѣвой сторонѣ сдѣлана надпись: *любимъ, уважаемъ, благодаримъ*. Крышу составляетъ русскій щитъ, на которомъ положены шлемъ и мечъ, обвитые лавровымъ вѣнкомъ.

Государь Императоръ, столь живое участіе принимающій въ судьбѣ военно-учебныхъ заведеній и родительски лелѣющій воспитанниковъ ихъ, самымъ трогательнымъ образомъ изъявилъ монаршее свое благоволеніе къ долговременной и усердной службѣ генералъ-лейтенанта К. Ф. Клингенберга. Г. военный министръ, прибывъ на праздникъ, вручилъ его превосходительству высочайшую грамоту съ орденомъ Бѣлаго Орла. Во время обѣда привезенъ былъ къ г. военному министру всемилостивѣйшій указъ, которымъ все получаемое генералъ-лейтенантомъ Клингенбергомъ содержаніе обращается ему въ пенсіонъ. Столь милостивое и лестное вниманіе его императорскаго величества произвело всеобщій восторгъ—и долго не прерывались радостныя восклицанія гостей.

Его императорское высочество великій князь Михаилъ Павло-

вичъ, изъявившій желаніе присутствовать на этомъ праздникѣ, ко всеобщему сожалѣнію не могъ прибыть по причинѣ своего нездоровья. Но его высочество въ этотъ день почтилъ генераль-лейтенанта К. Ф. Клингенберга собственноручнымъ письмомъ, въ которомъ изображено столько нѣжнаго участія и самаго искренняго благорасположенія, что для Карла Федоровича оно останется драгоценнѣйшимъ памятникомъ событія, столь радостнаго въ его жизни.

Нынѣшніе воспитанники Павловскаго кадетскаго корпуса и всѣ служащіе тамъ равнымъ образомъ желали торжествовать достопамятный день для ихъ начальника. Черезъ два дня послѣ юбилея Карлъ Федоровичъ видѣлъ себя на праздникѣ посреди этого многочисленнаго своего семейства. И здѣсь встрѣтилъ его тотъ же искренній восторгъ, но болѣе еще умильный, потому что его изъявляли дѣти, ежедневно имъ ласкаемыя и хранимыя. Въ ту минуту, когда всѣ готовы были сѣсть за столъ, великій князь Михаилъ Павловичъ изволилъ прибыть къ обѣду. Трудно изобразить восхищеніе кадетъ при этомъ явленіи. Осчастливленные неожиданнымъ посѣщеніемъ высокаго гостя, они радовались за себя, а еще болѣе за добраго, любимаго своего начальника. Во время обѣда его императорскому высочеству привезенъ былъ пакетъ. Государыня Императрица изволила прислать къ его высочеству, какъ главному начальнику всѣхъ кадетскихъ корпусовъ, въ подарокъ генераль-лейтенанту Клингенбергу, брилльантами украшенную табакерку съ портретомъ Ея Императорскаго Величества. Это новое всемилостивѣйшее вниманіе къ заслугамъ было причиною новыхъ изъясненій всеобщей радости. Его высочество, по окончаніи обѣда, изволилъ осматривать спальни кадетъ, восхищая всѣхъ тутъ присутствовавшихъ самыми занимательными и, можно сказать, дружески пріятными разговорами, вспоминая все прошлое, что относилось къ жизни и службѣ Карла Федоровича.

По отбытіи его императорскаго высочества, нѣкоторые изъ гостей и подчиненныхъ проводили его превосходительство въ

квартиру его, и тамъ одинъ изъ преждебывшихъ воспитанниковъ Карла Федоровича, отъ лица всѣхъ его питомцевъ, произнесъ ему послѣднее привѣтствіе, которое мы здѣсь же помѣщаемъ.

«Карлъ Федоровичъ! Послѣ милости къ вамъ небесной, проявившейся въ живой, чистой свято сохраненной признательности столькихъ сердецъ; послѣ милости къ вамъ нашего добраго Царя-Отца, обнаружившейся съ такою глубоко-трогательною внимательностію—чего не достаётъ еще для вашей радости, для славы вашей? Я говорю для *славы*—и слава ваша завидна! Она не изъ тѣхъ, которыя, мгновенно облетая міръ, покрываютъ его блескомъ, наполняютъ шумомъ: нѣтъ, она скромна—потому-что она добродѣтель! Но въ ней, какъ въ лучахъ солнца, заключены начала—начала всякой славы и чести смертнаго. Какъ солнце, согрѣвая въ землѣ ничтожное даже зерно, развиваетъ его въ послѣдствіи въ прекрасный плодъ, который въ свою очередь даетъ сѣмена, зародыши новыхъ сладкихъ плодовъ; такъ и вашъ жизненный трудъ, возрождаясь безконечно въ своихъ послѣдствіяхъ, будетъ вѣчно славить васъ и служить себѣ наградою! Чего же еще желать вамъ, человѣкъ истинно полезный по сердцу Божию? Чѣмъ отдарить васъ за все, что вы намъ подарили? Мы можемъ только одно—свято беречь чистую славу вашу, и это наиболѣе принадлежитъ юнѣйшимъ изъ дѣтей огромной вашей семьи. Господа! старый воспитанникъ вашего воспитателя предлагаетъ вамъ поднести ему теперь подарокъ прекрасный. Пусть всѣ и каждый изъ васъ положить здѣсь во глубинѣ сердца своего такой завѣтъ: стараться всѣми силами, чтобъ корпусъ вашъ, уже прекрасный, былъ во всѣхъ отношеніяхъ всегда первымъ, если можно, несравненнымъ—другіе станутъ подражать вамъ. Пусть каждый изъ васъ дастъ себѣ священный обѣтъ, къ чему бы ни призвала его судьба, куда бы ни поставилъ его случай—служить такъ же ревностно, честно, полезно и добродѣтельно, какъ Карлъ Федоровичъ. Тогда отцы ваши благословятъ его за васъ; ваши сыны и внуки, благословляя васъ, будутъ благословлять его же; а признательное отечество, благословляя всѣхъ славныхъ и драго-

цѣнныхъ ему гражданъ, въ лицѣ ихъ благословить опять того же добраго начальника-воспитателя, чья теплая любовь вывела изъ зерна эти плоды, и чья слава, переходя изъ рода въ родъ, передаваемая однимъ поколѣніемъ другому, будетъ вѣки чиста, свѣтла и полезна, какъ вся его жизнь!»

ПОВѢСТЬ: ВОТЪ ЛЮБОВЬ¹⁾.

1838.

Въ XVI томѣ *Современника* помѣщена повѣсть г. Основьяненка²⁾, подъ названіемъ: «Вотъ Любовь!» Говоря нѣсколько разъ о сочиненіяхъ этого автора, мы уже имѣли случай передать о нихъ читателямъ своимъ наше мнѣніе вообще. Оно, кажется, нигдѣ не встрѣтило противорѣчія. Въ талантѣ г. Основьяненка всѣ признали самобытность, многосторонность, присутствіе истины, художническую полноту и удивительное чувство красоты — отъ комизма до самаго трогательнаго. Нѣтъ сомнѣнія, что въ повѣстяхъ его еще болѣе совершенства, когда онъ излагаетъ ихъ на малороссійскомъ языкѣ, потому что лица, характеры, общество, бытъ и натура — все прямо требуетъ того языка, на которомъ до изложенія обрабатываютъ свои предметы умъ и воображеніе автора. Русскіе обороты, выраженія и слова часто не равносильно отвѣчаютъ движеніемъ души его. Но мы по этому дѣлу чисто-сердечно, вмѣсто автора, себя отдаемъ на судъ взыскательной критики. Онъ до сихъ поръ остается въ убѣжденіи, что ему надобно писать только по-малороссійски. Неотступныя просьбы наши склонили его войти въ ряды писателей русскихъ. Уваженіе господствующей нашей литературы и патріотическое желаніе

¹⁾ *Современникъ* XVII, 104—111.

²⁾ Псевдонимъ извѣстнаго Квитки.

пополнить ея произведенія созданіями столь рѣдкаго таланта — вотъ что осмѣливаемся представить въ свою защиту.

Мы впрочемъ, сознавая необыкновенныя достоинства въ сочиненіяхъ г. Основьяненка, не увлекаемся ими до ослѣпленія. Въ подробностяхъ нѣкоторыхъ сценъ у него встрѣчаются излишества. Въ его воображеніи такой избытокъ жизни, что онъ, увлекаемый богатствомъ идей и образовъ, уступаетъ таланту своему побѣду надъ искусствомъ.

Не считая себя въ правѣ вооружаться противъ того, что авторъ еще не подвергъ окончательному своему разсмотрѣнію (потому что не приступилъ еще къ изданію сочиненій своихъ въ отдѣльномъ собраніи), мы сообщили ему одно замѣчаніе о повѣсти: *Вотъ Любовь!* Наше замѣчаніе не касалось тѣхъ частныхъ, которыя, въ томъ или другомъ видѣ, нисколько не дѣйствуютъ на существенное достоинство повѣсти. Мы говорили съ нимъ о самомъ созданіи, которое какъ-то странно разрѣшалось въ умѣ нашемъ. Предметы изящныхъ искусствъ, исполняемые художниками въ надлежащемъ совершенствѣ, никогда не выходятъ изъ-подъ законовъ естественности. Главное лицо, выведенное въ этой повѣсти (Галочка), соединяетъ въ своемъ характерѣ, въ своей жизни и всей индивидуальности изумительныя черты граціи, простосердечія и возвышенныхъ чувствованій. Природа и искусство должны здѣсь обняться въ восторгѣ передъ общимъ своимъ твореніемъ. Съ этой стороны разсматривая Галочку, кто не почувствуетъ, что ея появленіе украсило, или, по крайней мѣрѣ, увеличило кругъ тѣхъ восхитительныхъ идеаловъ, которые увѣковѣчены художниками для эстетическаго созерцанія? Жертва, приносимая ею изъ любви истинной и глубокой, есть торжество безсмертной души. Но здѣсь, по нашему мнѣнію, уже и предѣлъ всего, что можетъ вынести слабая природа человѣка.

Извѣстно, что великіе писатели ничего на природу не выдумываютъ. Мы не умѣли изъяснить, какъ случилось, что г. Основьяненко повелъ свой рассказъ еще на нѣсколько десятковъ лѣтъ. Къ счастью, люди съ истиннымъ талантомъ не возму-

щаются, когда надобно рѣшить вопросъ и объ ихъ ошибкахъ. Мы получили отъ автора самое удовлетворительное изъясненіе того, что казалось намъ непонятнымъ. Вотъ въ чемъ дѣло. Читатели наши узнали уже изъ повѣсти г. Основьяненка, что онъ разсказалъ истинное происшествіе. Но авторъ, не желая впасть въ повтореніе окончанія прежней своей превосходной повѣсти (*Маруся*), въ противность судьбѣ Галочки придумалъ для нея конецъ собственнаго своего сочиненія. Онъ теперь раздѣляетъ наше мнѣніе и представляетъ въ новомъ (т. е. истинномъ) видѣ окончаніе повѣсти: *Вотъ Любовь!* ¹⁾.

О СТИХОТВОРЕНІЯХЪ ГРАФИНИ Е. П. РОСТОПЧИНОЙ ²⁾.

Въ любви считаясь инвалидомъ,
Онѣгинъ слушалъ съ важнымъ видомъ
Какъ, сердца исповѣдь любя,
Поэтъ высказывалъ себя.

Пушкинъ. *Евг. Омм. Гл. II.*

1838.

Вѣкъ нашъ не въ такое ли ставитъ себя отношеніе къ поэтамъ, какое шутя показавъ Пушкинъ между Онѣгинымъ и Ленскимъ? Но въ сущности дѣла есть ли тутъ хоть маленькая доля истины? Нисколько. Мы съ важностью толкуемъ, что одинъ младенчествующій народъ жадно бросается на произведенія поэзіи; что въ зрѣломъ возрастѣ онъ стыдится игрушекъ воображенія и всему предпочитаетъ положительное. Здѣсь, кажется, два недоразумѣнія. Государство, или политическое общество, можетъ,

¹⁾ За симъ въ *Современникѣ* слѣдуетъ передѣланное авторомъ повѣсти окончаніе ея, которое уже относится къ изданію сочиненій покойнаго Квитки, а потому здѣсь и не помѣщается.

²⁾ *Современникъ* XVIII, 89.

сравнительно съ другимъ, быть моложе и старѣе; но люди, отдѣльно разсматриваемые, ничего не теряютъ изъ душевныхъ способностей своихъ по мѣрѣ того, какъ вѣка налегаютъ на исторію народа. Въ нашихъ личныхъ ощущеніяхъ столько же подвижности и силы сколько обнаруживалось ихъ у людей за десять столѣтій. Расширивъ кругъ идей, потребностей и выводовъ, мы ничего не утратили ни изъ художнической воспроизводительности, ни изъ общей всѣмъ воспріимлемости. Съ другой стороны положительнаго въ истинной поэзіи столько же, сколько и въ химіи. Воздухъ, которымъ дышимъ, уже ли потерялъ для насъ свое благотворное дѣйствіе съ тѣхъ поръ какъ мы, разложивъ его на стихіи, выучились сами составлять его? Развѣ послѣ изобрѣтенія газоваго освѣщенія менѣе пользуемся мы свѣтомъ солнечнымъ? Созданія поэзии не мечты, носящіяся внѣ сферы жизни, а выраженіе нашего бытія, свидѣтельство нашего духовнаго могущества, осуществленіе эпохъ лучшихъ, слѣдственно самыхъ замѣчательныхъ, самыхъ полезныхъ, самыхъ богатыхъ положительными истинами. Въ приложеніяхъ этихъ созданій тѣмъ болѣе многосторонности и общности, что каждая истина, увѣковѣченная поэтомъ, не замѣняется новымъ открытіемъ, не улучшается новымъ способомъ, а остается негнѣннымъ достояніемъ духа всѣхъ мѣстъ и всѣхъ временъ.

Таково было наше всегдашнее убѣжденіе, когда дѣло касалось до поэзіи самобытной, произтекающей прямо изъ чистаго ея источника — творящей силы духа. Люди, постигающіе, какимъ превосходствомъ чувствительности, ума и воображенія надобно быть отячену природою, чтобы съ достоинствомъ явиться на поприщѣ поэзіи, не удивляются, что истинныхъ поэтовъ бываетъ не много. Но тѣмъ отраднѣе ихъ появленіе. Всѣ, внимательно наблюдающіе за развитіемъ современныхъ у насъ талантовъ, давно съ истиннымъ удовольствіемъ принимаютъ стихотворенія писательницы, постоянно закрывающей себя отъ любопытства буквами: Гр — ня Е Р — на. Читатели *Современника* наиболѣе знакомы съ талантомъ ея, потому что стихотвореніями Гр — ни Е. П. Р — ной украшается каждый его томъ. Мы спѣшимъ об-

радовать ихъ извѣстіемъ, что эти произведенія, исполненныя жизни и красокъ, скоро изданы будутъ отдѣльною книгою. Такимъ образомъ всѣ, наслаждающіеся высокимъ искусствомъ и умѣющие обогащаться его истинами, найдутъ возможность вполне изучать стихотворенія, какихъ теперь у насъ пишется не много. Гр — ня Е. П. Р — на представляетъ явленія природы, созданія фантазіи и плоды ощущеній со всею точностію, силою и простотою. До какого предмета ни коснулось бы ея перо, она всегда почувствуетъ въ немъ занимательнѣйшее и изобразить его съ тѣхъ сторонъ, которыя неистощимы для глазъ и сердца посвященныхъ въ тайны поэзіи. Независимость и прелесть ея таланта видяще всего въ совокупленіи идей и слогѣ. Только женщина-поэтъ отыщетъ сердцемъ своимъ и умомъ такія черты въ нашихъ представленіяхъ, такой ходъ въ мысляхъ, такіе отгѣнки въ чувствованіяхъ и такія для всего выраженія, что языкъ принимаетъ для насъ занимательность подлинной жизни, а картины очарованія движенія. Въ ея слогѣ, безыскусственномъ и созданномъ самою природою вещей, незамѣтно ни малѣйшаго подражанія. Она скорѣе пожертвуетъ блескомъ, нежели вѣрностію и собственностію выраженія. Можно ли, напримѣръ, въ портретѣ соединить столько граціи, истины, возвышенности, простоты и идеальности, сколько восьмью стихами выразила она (IX т. *Современникъ* «Тайныя Думы»)?

«Всѣхъ женскихъ доблестей, всѣхъ думъ и чувствъ высокихъ
 Миѣ повѣсть говоритъ взоръ голубыхъ очей:
 Ей внятенъ, Ей знакомъ и гласъ небесъ далекихъ,
 И нищеты призывъ, и стонъ земныхъ скорбей;
 Слезу несчастнаго, поэта вдохновенье,
 Молитвы благодать, все, все пойметъ Она:
 Въ душѣ Ея живутъ восторгъ и умиленье,
 И тихая мечта Ей на удѣлъ дана.»

Можетъ-быть, вамъ болѣе нравится глубина мысли, меланхолія, разочарованіе: вы и это все найдете въ другомъ портретѣ (XV т. *Современникъ*. «Воспоминаніе о милой женщинѣ»).

«Нѣтъ, не улыбки къ ней пристали,
Но вздохъ возвышенной печали;
Нѣтъ, не на сборищахъ людскихъ
И не въ нарядахъ дорогихъ
Она сама собой бываетъ.
Кто хочетъ знать всю цѣну ей —
Тотъ изучай страданье въ ней,
Когда душа ея страдаетъ!..»

Но мы напрасно возобновляемъ въ памяти читателей стихи, которые никогда изъ нея не изглаживаются. Мы желали только подѣлиться новостію, дошедшею до насъ. Остается теперь общее ожиданіе. Дай Богъ, чтобы новость эта не обратилась въ одинъ изъ тѣхъ исчезающихъ слуховъ, о которыхъ часто приходится жалѣть неутѣшно.

КУРСЫ ЛИТЕРАТУРЫ ¹⁾.

1838.

Литература, при всей неопредѣленности этого слова, составляетъ самый общій, самый обыкновенный предметъ сужденій въ обществѣ. Мы говоримъ, что слово «литература» неопредѣленное. Дѣйствительно, трудно съ точностію показать, гдѣ оканчивается область собственно называемой науки, и гдѣ начинается то, что мы понимаемъ подъ именемъ литературы. Для полного своего совершенства онѣ должны проникать одна другую, какъ духъ и его проявленіе. Привычка раздѣлять писателей на ученыхъ и литераторовъ отзывается эпиграммой. Не будемъ однакоже оспаривать утвердившихся выраженій и покоримся употребленію

¹⁾ *Современникъ* XVIII, 94—102.

словъ. Литература, по общепринятымъ понятіямъ, требуетъ дѣятельности преимущественно эстетическихъ способностей писателя, т. е. творящаго ума, чувства, воображенія и вкуса, хотя всѣ онѣ ни сколько не повредили бы и учености.

Въ слѣдствіе безконечнаго разнообразія между людьми, эстетическія способности ихъ, не теряя ни мало силы своей и другихъ совершенствъ, обнаруживаются въ неисчислимо-разнообразныхъ явленіяхъ. Одно согласіе съ общими законами духа человѣческаго такъ еще мало даетъ характера и поразительной красоты произведенію, что мы даже сами требуемъ индивидуальныхъ достоинствъ отъ сочинителя, который въ послѣднемъ случаѣ не можетъ и не долженъ противорѣчить ни вѣку своему, ни своему мѣсту. Отсюда выводятся главнѣйшія требованія искусства. Литература безъ красокъ и жизни сдѣлалась бы сухимъ изложеніемъ отвлеченностей. Въ ней должна отражаться особенность дѣйствующихъ лицъ. Никто не живетъ безъ какого-нибудь отношенія къ обществу своего времени. Итакъ оцѣнка литературы заключается въ соображеніи обстоятельствъ, подъ вліяніемъ которыхъ явились ея произведенія. Какъ жизнь, не противорѣчащая общей идеѣ человѣка, его частному призванію и законамъ, принятымъ въ обществѣ, есть достоинство, такъ литература, вѣрно выражающая эту жизнь, есть совершенство. Та и другая представляютъ въ исторіи преемничество измѣненій, которыя впрочемъ не отнимаютъ существенной цѣны ни у литературы, ни у жизни, пока онѣ вѣрны своимъ законамъ.

Первоначальное, естественное развитіе литературы было соотвѣтственно всему, что ею выражается. Философія, исторія, эстетика и естествовѣдѣніе нашли въ ней основаніе своихъ истинъ. Если бы она случайно не обратилась на другой путь и не начала бы искать для своихъ созданій чуждыхъ ей элементовъ, мы въ ней до сихъ поръ видѣли бы исчезающую жизнь каждаго народа, каждой эпохи и каждой страны. Но самые усилія первобытной, могущественной, органической литературы подали поводъ настроить ее въ тотъ ложный тонъ, который такъ часто въ ней

до сихъ поръ отдается. Восхищаясь совершенствами литературныхъ произведеній, совершенствами относительными, какъ все человѣчески-прекрасное, вздумали принять ихъ за неизмѣнный образецъ и предложили на будущее время все согласовать съ его видами и свойствами. Изъ литературы, искусства изящнаго, то есть, изъ естественнаго стремленія человѣческаго духа къ творенію, образовали искусство механическое, заключенное въ обработкѣ опредѣленныхъ матеріаловъ въ опредѣленной формѣ.

Такимъ образомъ исторія литературы, подобно политической исторіи, стала представлять вѣчное колебаніе, естественное стремленіе къ изображенію дѣйствительнаго бытія, желаніе возврата къ жизни исчезнувшей, возстановленіе идей и образовъ не пропорціональныхъ эпохъ, смѣшеніе понятій и нравовъ, усилія къ очищенію искусства и проч. и проч. Литература Востока, Греціи, Рима, Византіи, Арабовъ, Скандинавовъ, Славянъ, новѣйшихъ Европейцевъ и множества другихъ народовъ не есть ли исторія всего, то ясно понятая, то ошибочно рассчитанная, всего, что только человѣкъ способенъ сотворить духомъ своимъ?

Перебирая мысленно всѣ начала, всѣ краски, всѣ формы, всѣ видоизмѣненія, какія употребляемы были писателями, смотря по господствующимъ понятіямъ, подъ вліяніемъ которыхъ они дѣйствовали — не только во всеобщей исторіи литературы, но и въ самой частной, надобно предположить безчисленное множество оттѣнковъ, которыми историкъ долженъ обозначить разное настроеніе эстетическихъ способностей, чтобы изъ своей исторіи образовать для читателей или слушателей удовлетворительную и назидательную картину. Мы не безъ намѣренія желали навести читателей нашихъ на эту точку созерцанія литературъ. Уже нѣсколько лѣтъ и у насъ въ Россіи и на Западѣ у прочихъ Европейцевъ вошло въ обыкновеніе дѣлить все, что составляетъ литературу, на классицизмъ и романтизмъ. Это странное повтореніе ошибки напоминаетъ намъ забытые курсы всемірной исторіи, гдѣ всѣ народы древняго міра включались въ четыре монархіи: Ассирійскую, Персидскую, Македонскую и Римскую. Если испан-

ская поэма о Сидѣ проникнута духомъ романтизма, что же послѣ того находите вы романтическаго въ Шекспирѣ? Шиллера называютъ романтикомъ и Виктора Гюго тоже; но есть ли между ними что-нибудь общаго? Омерическія и Оссіановскія пѣсни размѣщаютъ какъ противоположности; но не больше ли между ними сходства, нежели между Софокломъ и Расиномъ, которыхъ въ одну ставятъ категорію? Подобныхъ вопросовъ можно сдѣлать безчисленное множество.

Неудобство, сбивчивость и неосновательность господствующихъ нынѣ толковъ о романтизмѣ и классицизмѣ такъ легко могутъ броситься въ глаза всякому, кто сколько-нибудь захочетъ посмотрѣть внимательнѣе на предметъ, что мы не рѣшились бы и говорить объ этихъ толкахъ, если бы нынѣшней зимой не занимали насъ публичными курсами литературы. Г. Рюо посвятилъ пять лекцій на объясненіе, что значитъ романтизмъ, что классицизмъ, кто изъ французскихъ писателей классикъ и кто романтикъ. Въ его изслѣдованіяхъ есть одна неоспоримая истина, что характеръ литературы зависитъ отъ вліянія мѣстности, религіи, народнаго духа, словомъ, отъ жизни націи. Но онъ не довольно, кажется, убѣжденъ, что писатель въ собственной душѣ своей носитъ другой міръ, въ которомъ вліяніе общее преобразуется во что-то самобытное, особенное и часто противодѣйствующее всему, извнѣ принимаемому. Если бы г. Рюо разсматривалъ перемѣны во французской литературѣ, основываясь на главномъ положеніи своемъ, которое хотя и не полно, однако жъ справедливо, онъ менѣе встрѣтилъ бы затрудненія въ составленіи точной характеристики каждаго писателя. Но ему надобно было доказать непременно, что во Франціи только два рода писателей, потому что, кромѣ романтизма и классицизма, ни о какой особенности авторовъ въ наше время говорить не принято. Итакъ онъ существенное оставилъ, а ограничился изъясненіемъ, что значитъ романтизмъ. Ложно принятое слово повело его къ объясненіямъ сбивчивымъ и несогласнымъ даже между собою. Иногда онъ признавалъ романтикомъ того, кто показываетъ направленіе преиму-

шественно религіозное. Въ другой разъ признакомъ романтизма служилъ взглядъ на жизнь съ хорошей и дурной стороны. То романтики отличались подробностями въ списываніи картинъ природы, то слогомъ смѣлымъ и фигуральнымъ, то нарушеніемъ древнихъ формъ. Словомъ: идея поворачивалась съ одной стороны на другую, смотря по надобности. Что жъ вышло? И Ж. Ж. Руссо, и Ламартинъ, и Сталь, и Гюго, и Маро, и Шатобрианъ— все авторы одного характера, все чистые романтики.

Величайшая ошибка теоретиковъ состоитъ въ томъ, что они подходятъ къ явленіямъ съ готовою въ рукахъ своихъ системой. Геніальный писатель самъ собою представляетъ полный міръ. Изъ него надобно составить систему; а мы его усиливаемся помѣстить въ такое же маленькое отдѣленіе, какое приготовили для всякаго встрѣчнаго. Г. Рюо предполагаетъ продолжать свой курсъ. Уважая благородный его трудъ и счастливый навѣкъ рѣчи, мы чистосердечно говоримъ, что онъ болѣе окажетъ услугъ наукѣ, если будетъ стараться изъ полного обзорѣнія сочиненій какого-нибудь автора извлекать вѣрные выводы: въ какомъ отношеніи авторъ былъ къ современному просвѣщенію, сколько отразилось въ немъ вліяніе общества, по какому направленію талантъ его велъ искусство, какими послѣдствіями ознаменовались его умственные усилія, или другіе выводы, различные смотря по характеру писателя, но всегда заслуживающіе изученія, что одно и ставитъ литературу на высокую степень вѣстѣ съ политическою исторіею. Таковы во многихъ мѣстахъ взгляды Вильмена, когда онъ не увлекается подготовленнымъ также мнѣніемъ— все изъяснить въ писателѣ изъ вліянія на него только общежителности.

Г. Гречъ, не увлекаясь современнымъ направленіемъ литераторовъ европейскихъ, читалъ лекціи проше г. Рюо. Въ объявленіи своемъ о нихъ онъ между прочимъ сказалъ: «Полагая, что найдутся любознательныя особы, которыя пожелаютъ повторить въ зрѣломъ возрастѣ то, что занимало ихъ въ дни свѣтлой юности, рѣшился я открыть чтенія.» Какъ сочинитель извѣстныхъ учебниковъ: *Русской Грамматики* и *Учебной книги Русской Сло-*

весности, по котрымъ дѣйствительно многіе учились, онъ болѣе всякаго имѣлъ право такимъ образомъ пригласить слушателей. Сначала онъ ограничился-было первою частію уроковъ. Впослѣдствіи, желая разнообразить чтенія, онъ присовокуплялъ мѣста и изъ второй. Нѣкоторые особы сожалѣли, что г. Гречъ передавалъ свои уроки не наизусть, а читалъ ихъ. Но и его способъ не безъ выгодъ для слушателей. Импровизація непримѣтно привлекаетъ къ распространенію объясненій, что воспрепятствовало бы г. Гречу достигнуть главной цѣли — пройти вполнѣ грамматику и курсъ словесности. Въ доказательство, какъ выгодно для слушателей, когда имъ по тетради читаютъ уроки, приводимъ напечатанную г. Гречемъ программу одного чтенія. Въ продолженіе двухъ часовъ, или безъ малаго двухъ, вотъ что могъ онъ изложить. Содержаніе осьмого чтенія. «Образованіе глаголовъ. Глаголы первообразные, производные и второобразные. Прямая форма. Глаголы скрытно-образные и явно-образные. Отличительныя. ихъ окончанія. Основаніе спряженій. Правильные и неправильные глаголы. Три спряженія. Господствующія ошибки. Имена отличительныя. Свойство драматической поэзіи. Исторія драмы. Греки. Рожденіе трагедіи и комедіи. Римляне. Паденіе искусствъ и возрожденіе ихъ на западѣ. Театры италіянскій и испанскій. Начало и усовершеніе театра французскаго. Корнель, Расинъ, Вольтеръ, Мольеръ. Англійскій театръ. Шекспиръ. Нѣмецкій театръ. Лессингъ, Гѣте, Шиллеръ. Начало русскаго театра. Игрища въ Кіевѣ и въ Москвѣ. Представленія театральныя при Петрѣ Великомъ. Начало правильныхъ театровъ. Рожденіе Русскаго театра; сначала въ С.-Петербургѣ, въ кадетскомъ корпусѣ, потомъ въ Ярославлѣ. Учрежденіе настоящаго русскаго театра. Театръ русскій при Екатеринѣ II. Успѣхи русскаго театра въ XIX столѣтіи.» По этому одному образцу читателя наши сами въ состояніи вывести заключеніе, чѣмъ успѣли воспользоваться слушатели г. Греча въ продолженіе пятнадцати его чтеній.

ДВУХСОТЛѢТНІЙ ЮБИЛЕЙ АЛЕКСАНДРОВСКАГО УНИВЕРСИТЕТА ¹⁾.

1840.

Университетъ въ маленькомъ городкѣ есть центръ умственной дѣятельности всѣхъ сословій. Въ Финляндіи онъ еще значительнѣе, потому что, до присоединенія ея къ Россіи, тамъ не было другого прибѣжища для окончательнаго образованія туземцевъ, кромѣ университета. Это обстоятельство произвело, что по всему краю, въ сословіяхъ, обязанныхъ искать образованности, и между прочими лицами, по своей склонности предающимися ученію, распространилось какое-то ровное и однохарактерное знаніе, теплое чувство привязанности и благодарности къ мѣсту образованія, наконецъ естественное участіе въ судьбѣ и событіяхъ, касающихся до университета.

Такимъ образомъ юбилей его былъ праздникомъ національнымъ всѣхъ Финляндцевъ: духовенство, сенаторы, ученые, военные генералы, чиновники, помѣщики, художники, ремесленники, купцы, поселяне, однимъ словомъ, граждане всѣхъ сословій, возрастовъ и половъ считали университетское торжество родственнымъ своимъ праздникомъ.

Испросивъ на то высочайшее разрѣшеніе чрезъ канцлера своего (за отсутствіемъ Его Императорскаго Высочества Государя Наслѣдника престола сію должность исправляетъ министръ статсъ-секретарь Финляндіи графъ Ребиндеръ), университетъ заблаговременно сообщилъ о семъ извѣстіе во всѣ мѣста и ко всѣмъ лицамъ, до кого могъ касаться этотъ случай. На приглашеніе, полученное въ С.-петербургскомъ университетѣ, отсюда написано было въ отвѣтъ ²⁾:

¹⁾ *Современникъ* XX, 5—23.

²⁾ Переводъ съ латинскаго, на которомъ прислано было и приглашеніе.

Соч. Плотнова.

«Въ Консисторію Императорскаго Александровскаго университета. Прежде нежели дружескимъ привѣтствіемъ своимъ, по случаю наступающаго у васъ торжества, возбудили вы въ сердцахъ нашихъ живое участіе къ событію, столь достопамятному въ лѣтописяхъ вашихъ, давно уже Александровскій университетъ былъ постояннымъ предметомъ нашего любопытства и вниманія. Судьба его во многомъ сходна съ судьбою С.-петербургскаго университета. Основанные во глубинѣ Сѣвера, они разливаютъ теплоту и свѣтъ знаній посреди племенъ, безпрестанно борющихся съ дикостью природы и суровостью климата. Совершенствуя гражданственность народовъ, мѣстностію, исторію, языкомъ и нравами такъ обособленныхъ отъ другихъ народовъ Европы, они все существенное въ теоріяхъ должны извлекать изъ собственныхъ опытовъ и размышленій. Плоды ихъ умственныхъ усилій принимаютъ два народа, разноплеменные, но по благодати Провидѣнія сохранившіе первобытную чистоту нравовъ, непоколебимую вѣру въ Бога, теплоту семейственной любви и преданность священной волѣ единого, общаго намъ Монарха-Охранителя. Наконецъ ихъ нынѣшнее цвѣтущее состояніе, благоустройство и обиліе во всѣхъ способахъ къ достиженію высокихъ цѣлей есть созданіе нынѣ достословно царствующаго Императора Николая Павловича.

«Но Александровскій университетъ прожилъ два уже столѣтія, тогда какъ Санктпетербургскій, основанный государемъ, котораго именемъ украшается маститый его совмѣстникъ, едва выступаетъ на поприще трудовъ, обѣщающихъ ему мѣсто, по справедливости занятое Александровскимъ. Мы, какъ юноши, готовые на все, не имѣемъ ни опытности своей, ни своихъ лѣтописей. Приглашеніе ваше на юбилей въ 3 (15) день іюля сего 1840 года Санктпетербургскій университетъ принимаетъ съ истиннымъ удовольствіемъ и съ полною благодарностію. Онъ избралъ депутатомъ своимъ для присутствія на вашемъ праздникѣ ректора своего, профессора Петра Плетнева. Нѣкоторые изъ нашихъ профессоровъ, сами по себѣ, пользуясь благопріятнымъ каникулярнымъ

временемъ, явятся также въ Гельсингфорсъ. Мы желаемъ не только дѣлить вашу радость, но и заимствовать въ самомъ источникѣ тѣ благотворныя начала, которыя Александровскій университетъ неизблемо поддерживали два столѣтія къ пользѣ и славѣ отечественной страны».

Изъ Дерптскаго университета прибылъ депутатомъ въ Гельсингфорсъ профессоръ Эрмандъ, изъ Кіевскаго профессоръ Траутфеттеръ. По высочайшему повелѣнію, изъ С.-петербургскаго и Дерптскаго университетовъ отъ каждаго факультета послано было въ Гельсингфорсъ на праздникъ по два студента. Изъ Упсалы отправленъ былъ профессоръ Скрёдеръ. Знаменитый шведскій поэтъ, епископъ Франценъ, получившій образованіе въ Або и бывшій тамъ въ прежнее время профессоромъ, также прибылъ на юбилей.

Наканунѣ праздника, отъ имени ректора Александровскаго университета разослана была по городу печатная программа торжественія. По всеобщему въ немъ участию, для каждаго класса жителей и гостей назначалось опредѣленное мѣсто въ собраніи. Процессія открылась изъ сената, находящагося на одной площади съ университетомъ. Университетская зала не могла бы вмѣстить всѣхъ, собравшихся на праздникъ, числомъ около 3,000 человекъ. На этой же площади находится лютеранская церковь, огромная, великолѣпная, совсѣмъ почти оконченная, но еще не освященная. Она была избрана вмѣсто залы для ученыхъ торжествъ. Отсюда, для присутствія при богослуженіи и слушанія пастырскаго поученія, процессія почти черезъ весь городъ переходила въ старую лютеранскую церковь. Ученое торжество здѣсь сливается съ религіознымъ. Ничего нѣтъ благотворнѣе и назидательнѣе для цѣлой націи этого общенія дольней мудрости съ горнею. Оно смиряетъ мечты юношества и для народа облачаетъ науку въ законную ея одежду добра и свѣта. Нѣсколько разъ случалось, что молодые люди, послѣ торжественнаго принятія въ залѣ всѣхъ знаковъ отличія и одобренія за ихъ успѣхи въ наукахъ, счастливые и довольные, въ церкви за проповѣдью пла-

кали отъ умиленія, проникнутые до глубины души высокостью и святостью долга, возлагаемаго на нихъ религіею, отечествомъ и самою наукою.

По обряду, сохранившемуся отъ самыхъ древнихъ лѣтъ, во время университетскихъ торжествъ, здѣшній ректоръ сверхъ мундира надѣваетъ бархатную свѣтломалиновую мантию¹⁾, докторскую шляпу, и въ процессіи два герольда несутъ передъ нимъ серебряные жезлы. Въ нынѣшній праздникъ ему сопутствовали по сторонамъ представители гражданской и военной власти: министръ статсъ-секретарь и исправляющій должность генералъ-губернатора Финляндіи.

Въ первый день, 3 (15) іюля, происходило общее университетское торжество. Съ эстрады (называемой на академическомъ языкѣ Парнассомъ), блистательно убранной, гдѣ постановлена была кафедра и бюсты трехъ вѣнценосцевъ, благотворителей университета: императоровъ Николая I, Александра I и королевы Христины (основательницы), ректоръ, профессоръ Урсинъ, произнесъ рѣчь, содержащую въ себѣ исторію университета. Другіе профессора читали рѣчи, приличныя случаю. Въ Гельсингфорсѣ между учеными самые употребительные языки: латинскій и шведскій. Постепенно входитъ въ употребленіе и русскій языкъ. Въ молодомъ поколѣніи образованнѣйшихъ классовъ многіе понимаютъ и говорятъ по-русски. Къ великолѣпію торжества особенно способствовалъ хоръ мужчинъ и дамъ, составившійся большею частію изъ аматёровъ, человѣкъ до полутораго. Народная русская пѣснь: *Боже, Царя храни!* переведена на шведскій языкъ. Музыка Львова сохранена во всей ея прелестной простотѣ. Пѣніе этого гимна повсюду производитъ тотъ же энтузіазмъ въ слушателяхъ, какъ и у насъ. Въ заключеніе перваго сего собранія, почетнѣйшимъ лицамъ между посѣтителями раздавалась медаль, на этотъ случай выбитая. На одной ея сторонѣ находится изо-

¹⁾ Въ средніе вѣки званіе ректоровъ возлагалось на особъ изъ королевской фамиліи или на кардиналовъ. Это было причиною облаченія ректора въ мантию.

браженіе Его Императорскаго Величества Государя Николая Павловича съ надписью вокругъ: Nicolaus Primus Camenarum decus et praesidium. На другой сторонѣ надпись: Academiae Alexandrinae Fennorum sacra secularia secunda D. XV Julii, A. MDCCCXL; а вокругъ пальмовой вѣнокъ. Шествіе процессіи въ старую церковь и обратно представляло необыкновенно пышную картину. Балконы и всѣ окна домовъ, эспланада (гельсингфорскій бульваръ) и обѣ стороны улицъ унизаны были зрителями. Это всеобщее стеченіе жителей и участіе ихъ въ движеніи процессіи повторялось и въ слѣдующіе четыре дня торжествованія.

Въ первый день праздниковъ отъ университета данъ великолѣпный обѣдъ, на который приглашено было около 400 особъ. Искреннее общее веселье и въ то же время стройность и даже торжественность украшали его. Музыка не переставала гремѣть. При возглашеніи ректоромъ тостовъ въ честь особъ императорской фамиліи производилась на площади передъ домомъ собранія пушечная пальба. Купечество Гельсингфорса, при университетскомъ праздникѣ, не сочло себя чуждымъ отъ участія въ немъ. На другой день оно приготовило блистательный балъ болѣе нежели для 1000 человекъ.

Со второго дня начались такъ называемыя *промоціи*, т. е. возведеніе въ ученые степени со всѣми обрядами, которые въ нынѣшнее время сохраняются едва ли не въ одной Финляндіи. На воображеніе и чувства, не только юношей, но и всѣхъ вообще зрителей, дѣйствіе сихъ обрядовъ неизобразимо. Въ ихъ торжественности и въ символахъ, которыми ознаменовывается возведеніе удостоиваемыхъ отличія, есть поэзія, рождающая въ душѣ благоговѣніе къ святынѣ науки. Для совершенія промоціи каждый факультетъ заранѣе избираетъ профессора, изъ числа состоящихъ нынѣ при университетѣ, или находившагося при немъ прежде. За его несомнѣнныя заслуги въ ученomъ свѣтѣ и другіе моральныя достоинства онъ облается властію всенародно отъ собственнаго лица своего возвести въ ученую степень достойныхъ людей и утвердить за ними права, съ нею соединенныя. Промоціи при

Александровскомъ университетѣ происходятъ обыкновенно одинъ разъ въ четыре года. До сего торжественнаго случая молодые люди, выдержавшіе экзамены на полученіе докторской степени, остаются только лиценціатами, т. е. получившими позволеніе вступать въ должности, присвоенныя степени. Дѣйствительное ихъ производство, или такъ сказать, посвященіе провозглашаетъ при публичномъ собраніи университета и города промоторъ. Онъ всходитъ на кафедру въ докторской шляпѣ (на промоціи въ доктора), или въ лавровомъ вѣнкѣ (на промоціи магистровъ) и открываетъ ученое торжество рѣчію, относящеюся къ предмету его призванія. Послѣ того кто-нибудь изъ членовъ факультета предлагаетъ вопросъ по одной изъ факультетскихъ наукъ, чтобы въ присутствіи промотора и публики онъ удовлетворительно разрѣшенъ былъ ищущимъ ученой степени. Затѣмъ производимые читаютъ на латинскомъ языкѣ присягу, двумя перстами прикасаясь обоимъ жезловъ, съ которыми въ процессіи герольды предшествуютъ ректору. По окончаніи сего, при звукахъ оркестра въ залѣ и при пушечной пальбѣ на площади, начинается раздача знаковъ приобрѣтенной степени. Каждый изъ производимыхъ всходитъ на верхнюю ступень Парнасса къ кафедрѣ, съ которой промоторъ на докторовъ надѣваетъ докторскую шляпу, а на магистровъ лавровый вѣнокъ. Въ ознаменованіе того, что они общены къ сословію избранныхъ, онъ еще надѣваетъ каждому на палецъ золотое кольцо. Доктора богословія получаютъ затѣмъ по экземпляру библии, а доктора прочихъ факультетовъ шпаги, и наконецъ дипломы. Отъ лица всѣхъ произведенныхъ одинъ читаетъ благодарственную рѣчь, въ которой онъ обращается съ особымъ привѣтствіемъ къ каждому сословію изъ присутствующихъ. Наконецъ всѣ отправляются изъ залы въ церковь, и оттуда въ университетъ, и тѣмъ оканчивается промоція. По существующему съ давнихъ поръ обыкновенію, произведенные приготавливаютъ въ этотъ день обѣдъ для промотора, всѣхъ членовъ своего факультета и для другихъ почетныхъ особъ.

Магистерская промоція, сравнительно съ докторскими, тѣмъ

оживленіе, что тутъ находятся молодые люди изъ всѣхъ факультетовъ. По статуту Александровскаго университета, никто не имѣетъ права искать степени доктора по какому-либо факультету, если онъ напередъ не былъ удостоенъ степени магистра философіи. Обрядъ возложенія лавровыхъ вѣнковъ самъ по себѣ уже привлекателенъ. Производимые магистры, для приготовленія вѣнковъ изъ натуральныхъ лавровыхъ вѣтвей, избираютъ въ городѣ одну изъ дѣвицъ, отличную по ея скромности, красотѣ, происхожденію и участвующую въ ихъ праздникѣ по родству съ кѣмъ-нибудь изъ назначаемыхъ къ промоціи. Магистры во весь день своего торжества не снимаютъ вѣнковъ. Это украшеніе, въ которомъ видишь ихъ при процессіи, за обѣдомъ, на гуляньѣ, на балѣ, не можетъ не возбудить соревнованія въ ихъ товарищахъ по университету. Отъ лица всѣхъ удостоившихся новой почести, магистры подносятъ какой-нибудь блистательный подарокъ той особѣ, которая готовила вѣнки, и на балѣ платье ея должно быть украшено гирляндой изъ лавровъ.

При нынѣшнемъ юбилеѣ промоція магистровъ, числомъ болѣе 90 человекъ, трогательна была для всѣхъ по обстоятельству незабвенному. У Финляндцевъ есть обыкновение возобновлять возложеніе лавроваго вѣнка на магистровъ, когда съ полученія ими этой степени пройдетъ пятьдесятъ лѣтъ. Епископъ Францѣнъ, одинъ изъ первыхъ поэтовъ Швеціи, образовавшійся въ Абовскомъ университетѣ и получившій въ немъ магистерство ровно за 50 лѣтъ до нынѣшняго юбилея, снова получилъ на праздникѣ это юношеское украшеніе. Можно вообразить, что чувствовалъ этотъ почтенный семидесятилѣтній старецъ, передъ которымъ тутъ воскресло все прошлое. Онъ снова увидѣлъ себя юношею, а передъ нимъ, для полученія равной награды, стоялъ внукъ его, сынъ его дочери, не дожившей только годъ, чтобы въ радостныхъ слезахъ обнять отца и сына въ лучшую эпоху ихъ жизни; передъ нимъ же сидѣли и юныя прекрасныя внуки его, изъ которыхъ одна готовила вѣнки дѣду и брату наравнѣ съ ихъ сверстниками по торжеству.

Магистры дали обѣдъ и балъ. Обѣдъ приготовленъ былъ въ залѣ искусственныхъ минеральныхъ водъ. Изъ нея видно море, Свеаборгъ и окрестныя гранитныя скалы. Веселье столькихъ юношей въ лавровыхъ вѣнкахъ, присутствіе людей ими уважаемыхъ и любимыхъ, которые такъ искренно дѣлили ихъ радость, на хорахъ гремящая музыка, открытые виды на поэтическую природу Финляндіи—все соединялось достойнымъ образомъ, чтобы вѣнчать праздникъ увѣнчанныхъ. Надобно ли прибавлять, что ихъ балъ, по непринужденности, общей веселости и сердечному участию гостей въ торжествѣ молодыхъ хозяевъ, былъ единственнымъ въ своемъ родѣ?

Посреди великолѣпныхъ праздниковъ университета, русскіе литераторы, находившіеся въ Гельсингфорсѣ, почли за долгъ свой отплатить финляндскимъ литераторамъ угощеніемъ, хотя скромнымъ, но тѣмъ не менѣе радушнымъ и искреннимъ. 7 (19) іюля, въ воскресенье, наканунѣ промоціи магистровъ, они, числомъ семь человѣкъ, пригласили на обѣдъ такое же число гостей. Само собою разумѣется, что Францѣнъ, Рунебергъ и Лѣнротъ должны были своимъ присутствіемъ украсить это маленькое собраніе. Языки латинскій, русскій, нѣмецкій, шведскій, французскій и даже финскій звучали по небольшой залѣ. Хозяева повели къ столу гостей своихъ какъ дамъ, гдѣ и сѣли парами. Одинъ изъ Русскихъ написалъ на этотъ любопытный случай стихи, которые заранѣе переведены были прозою на шведскій языкъ. Передъ шампанскимъ они были прочитаны въ оригиналѣ и переводѣ. Мы не желаемъ отказать читателямъ нашимъ въ удовольствіи пробѣжать ихъ и помѣщаемъ здѣсь.

Сыны племенъ, когда-то враждовавшихъ,
Мы встрѣтились какъ старые друзья
На празднествахъ наукъ, толпы созвавшихъ
Въ гостепріимные сіи края.
И не давно ль божественныя музы
Насъ подлинно сроднили межъ собой?

Привѣтъ же вамъ! скрѣпимъ святыя узы:
Кто чувствами возвышенъ, тотъ намъ свой.

Здѣсь на концѣ Россіи исполинской,
Мы руку жмемъ вамъ нынѣ отъ души,
Вамъ, украшенъе старой вѣтви финской,
Развившей сладкіе плоды въ тиши.
Межъ сихъ плодовъ сіяетъ цвѣтъ душистый:
То пѣсень даръ, излитый въ вашъ народъ,
Чтобъ радостиѣй являлся берегъ скалистый
И черный боръ и блѣдный неба сводъ.

Хвала тебѣ, о старецъ знаменитый!
На зло лѣтамъ, отъ Готовъ ты притекъ
Въ родимый край, тобой не позабытый,
Чтобъ вновь принять лавровый здѣсь вѣнокъ.
Живи, Францень! мы помнить будемъ вѣчно
Твой кроткій ликъ, твой внятно-тихій гласъ,
И прочитаю твой стихъ простосердечной,
«Онъ весь тутъ», мы проговоримъ не разъ.

Какъ вокругъ отца почтительныя дѣти,
Вокругъ тебя мы юные сидимъ.
Ты не исчезнешь въ памяти столѣтій:
Гордимся мы присутствіемъ твоимъ.
На поприщѣ, едва начатомъ нами,
Тобой, пѣвецъ, достигнуть ужъ предѣлъ;
Благослови жъ, покрытый сѣдинами,
Ты нынѣ насъ для свѣтлыхъ думъ и дѣлъ!

О Рунебергъ, безпечный другъ природы!
Тебя намъ сладко видѣть предъ собой:
Ты русскихъ музъ прекраснѣйшіе годы
Напомнилъ намъ и ликомъ и душой.

Въ твоихъ чертахъ есть что-то намъ родное,
 Въ твоей груди любовь и теплота;
 Съ участьемъ ты объемлешь все земное,
 Но въ мысль твою не входитъ суета.

Ты, Ленроть! Богъ съ тобой въ путяхъ далекихъ,
 Гдѣ ты свершаешь подвигъ вѣковой!
 Прямой мудрецъ! въ своихъ лѣсахъ глубокихъ
 Умѣешь ты пренебрегать молвой.
 Домашній кровъ тебѣ давно былъ тѣсенъ:
 Изъ школы ты съ клюкою въ степь побрелъ;
 Ты ничего не жаждалъ, кромѣ пѣсенъ,
 И съ кантелой въ рукахъ назадъ пришелъ.

И вы, сподвижники сихъ трехъ избранныхъ!
 Богъ помочь вамъ въ возвышенныхъ трудахъ!
 Ихъ мзда—не шумъ похвалъ непостоянныхъ,
 Но жатва истинныхъ, душевныхъ благъ!
 Счастливы! здѣсь среди гранитовъ мшистыхъ
 Корысти червь не пожираетъ васъ,
 И чуждый вѣку жаръ стремлений чистыхъ,
 Спасительный межъ вами не погасъ.

Друзья! нальемъ огнистой влагой чаши
 И весело подыместъ ихъ къ устамъ.
 «Да здравствуютъ», воскликнемъ, братья наши
 По сѣверу и девяти сестрамъ!
 Отнынѣ намъ милѣе Финновъ скалы;
 Да будетъ ввѣкъ сей край благословенъ!
 Ура! осушимъ полные бокалы
 За дружество полуночныхъ Каменъ!

Въ дружескомъ соединеніи разноплеменныхъ людей всегда
 есть что-то утѣшительное и отрадное. Сердце невольно разогрѣ-
 вается и сильнѣе бьется, убѣждаясь, что лучшія его желанія и

опущенія вездѣ одинаковы. Но въ союзѣ людей, посвящающихъ себя изученію истины и распространенію блага, болѣе, нежели одно мгновенное удовольствіе. Тутъ возникаютъ надежды на вѣрнѣйшіе успѣхи добра и свѣта. Музѣ въ древности представляли сестрами. Взявшись за руки, онѣ обходятъ народы, смягчаютъ ихъ нравы и приводятъ къ одной цѣли—благосостоянію и мирнымъ доблестямъ. Русскіе и Финляндцы, подѣ охранительною державою единого монарха, должны итти по одной дорогѣ и равнымъ шагомъ на поприщѣ просвѣщенія. Юбилей Александровскаго университета былъ поводомъ сближенія тѣхъ и другихъ, конечно не въ большомъ количествѣ, но онъ показалъ взаимное ихъ стремленіе къ преуспѣянію благодѣтельныхъ знаній и пламенную любовь къ общему ихъ отечеству. Можетъ-быть, онъ составитъ эпоху въ соединеніи литературъ Сѣвера и въ обработываніи его исторіи.

Щедротами благополучно царствующаго нынѣ Императора Николая Павловича Александровскій университетъ возведенъ на высшую степень цвѣтущаго состоянія. Зданіе его безспорно есть лучшее въ городѣ. Всѣ принадлежности и пособія его вполне соотвѣтствуютъ важности заведенія. Улица, на которую обращенъ университетъ, отъ одного конца до другого представляетъ въ роскошнѣйшемъ видѣ все, что необходимо для разныхъ отраслей учености. На южномъ окончаніи этой улицы возвышается гранитная скала, которая служитъ основаніемъ великолѣпному зданію: здѣсь устроена обсерваторія для профессора астрономіи. На противоположномъ концѣ, по берегу залива, разведенъ ботаническій садъ и въ немъ находится домъ для профессора ботаники. Въ другомъ домѣ близъ того же сада помѣщается профессоръ физики. Въ этомъ зданіи есть всѣ пособія для электро-магнитныхъ наблюденій. Противъ ботаническаго сада клиника, строеніе обширное и одно изъ красивѣйшихъ въ городѣ. Подлѣ самаго университета приводится къ окончанію отдѣльный, по оригинально-блестящему плану исполненный домъ, въ которомъ помѣщена будетъ университетская бібліотека. Кабинеты

натуральной исторіи, нумизматики, археологіи приведены въ отлично-хорошее состояніе и размѣщены въ самомъ университетѣ. Онъ раздѣленъ на четыре факультета: богословскій, юридическій, медицинскій и философскій, которые въ этомъ же порядкѣ и праздновали свои промоціи. Промоторами были профессора: Гадолинъ, Лагусъ, Урсинъ и Сальбергъ.

Въ этомъ торжествѣ университета и всей Финляндіи ничего не было восхитительнѣе и трогательнѣе, какъ всеобщая радость и глубокое чувство благодарности, повсюду выразившейся при чтеніи рескрипта, которымъ Государь Наслѣдникъ Великій Князь Александръ Николаевичъ, канцлеръ Александровскаго университета, удостоилъ привѣтствовать консисторію.

«Консисторіи Императорскаго Александровскаго университета.

«Принимая живое участіе во всемъ, что касается до вѣреннаго Государемъ Императоромъ попеченію Моему университета, Я сердечно радуюсь, что онъ, при благословеніи Божиѣмъ, отпраздновалъ двухсотлѣтній юбилей своего существованія. Торжество сіе, бывъ нынѣ умилительною жертвою благодарности предъ Всевышнимъ за тѣ блага, которыя столько лѣтъ изливались на Финляндію изъ ея верховнаго святилища наукъ, да будетъ и впредь прочнымъ залогомъ неизмѣнности тѣхъ чистыхъ нравственныхъ началъ, коими университетъ всегда доселѣ руководствовался.

«Отсутственный, Я, въ этотъ незабвенный день, мысленно находился посреди васъ, любезныхъ Моихъ сочленовъ, и съ каждымъ благимъ желаніемъ вашимъ соединялся съ вами душою.

«Прося доставить Мнѣ описаніе совершившагося праздника сего юбилея, пребываю съ постояннымъ къ вамъ доброжелательствомъ.

«КАНЦЛЕРЪ АЛЕКСАНДРОВСКАГО УНИВЕРСИТЕТА

АЛЕКСАНДРЪ.»

Петергофъ.
20-го іюля 1840 г.

ФИНЛЯНДІЯ ВЪ РУССКОЙ ПОЭЗИИ ¹⁾.

(Письмо къ Цигнеусу).

1840.

Ты помнишь, милый поэтъ, какъ я обрадовался и вмѣстѣ удивился, когда, при первомъ знакомствѣ нашемъ въ Гельсингфорсѣ, ты заговорилъ со мною по-русски. Родной языкъ изъ устъ иностранца звучить особенно пріятно. Но, говоря съ тобою, я слушалъ поэта: итакъ немудрено, что твой русскій языкъ мнѣ казался волшебною музыкой. За удовольствіе, мнѣ доставленное, я хочу отплатить тебѣ подобнымъ же, какъ надѣюсь, удовольствіемъ. Вѣрно, тебѣ не удавалось еще полюбоваться на свою Финляндію въ русскихъ стихахъ. Сколько память мнѣ поможетъ, соберу ея черты, разбросанныя въ произведеніяхъ нашихъ поэтовъ.

Желаю, чтобы выписки мои обратили на себя вниманіе вашихъ литераторовъ, которые въ этомъ дѣлѣ будутъ судіями конечно лучше насъ, потому что въ оцѣнкѣ поэзіи всего важнѣе сравненіе образца съ художественнымъ его воссозданіемъ. Можетъ быть, и намъ скоро представится случай повѣрять васъ въ такомъ же отношеніи. Я слышалъ что Рунебергъ кончилъ и уже печатаетъ новую поэму, въ которой главная героиня, Надежда—Русская изъ Екатерининскихъ временъ ²⁾.

До сихъ поръ, какъ мнѣ кажется, Русскіе и Финляндцы не довольно изучали другъ у друга существенное для литературы: подробности исторіи народа, частности его быта, духъ языка, преданія и повѣрья народныя, нравы, предрасудки и особенно памятники народной словесности. Извѣстно, что безъ этихъ пособій поэзія блѣдна или ошибочна. Но мы живемъ въ эпоху, ко-

¹⁾ Напечатано въ книгѣ *Альманахъ съ память двухсотлѣтнему юбилею Александровскаго Университета*, изд. Я. Гротомъ. Гельсингфорсъ, 1842.

²⁾ См. *Современникъ* 1841, № 4.

торая общаетъ много утѣшительнаго. Изъ вашего университета, который такъ великолѣпно отпраздновалъ двухсотлѣтнее существованіе свое, уже спѣшатъ молодые люди въ Москву, чтобы у самаго сердца Россіи изучить ея организмъ жизни. Мы съ своей стороны внимательно слѣдуемъ за вашимъ Ленротомъ, который воскрешаетъ поэмы и пѣсни финскаго народа. Мы знакомы уже и съ вашею Калевалой и съ Кантелетаромъ вашимъ,

Будемъ надѣяться, что Финляндія не останется у насъ въ долгу — и скоро кто-нибудь изъ молодыхъ литераторовъ гельсингфорскихъ заплатитъ намъ тѣмъ же вниманіемъ, какое нѣкоторые изъ насъ принесли вамъ въ даръ. Я въ этомъ почти убѣжденъ всеобщимъ стремленіемъ лучшихъ умовъ въ Европѣ къ изслѣдованію самыхъ источниковъ всякаго историческаго вѣдѣнія. Ученые перестали уже думать, что до всего можно дойти по одному наведенію, не покидая кабинета и корпия надъ теоріями. Одни изъ нихъ отправляются въ путешествія, чтобы собственными наблюденіями увѣриться въ истинѣ своихъ предположеній и чужихъ рассказовъ; другіе, превратясь въ антикваріевъ, живутъ въ пыльныхъ архивахъ и безмолвною бесѣдою допрашиваютъ старину на ея выразительномъ языкѣ, остававшемся столько лѣтъ въ небреженіи.

Удивительнѣе всего, что подобныхъ явленій мало встрѣчалось еще и за четверть столѣтія. Но такъ все движется въ области ума. Геніальный успѣхъ Вальтеръ-Скотта привилъ къ нашему поколѣнію и увѣковѣчилъ за нимъ мысль, столь же повидимому простую, сколько она истинна и неисчерпаема въ благотворныхъ послѣдствіяхъ. Что душа, по счастливому образованію своему призванная на служеніе въ храмѣ изящныхъ искусствъ, не властна существовать безъ творчества, — это всѣмъ было ясно. Но указать для ея созданій образы, которые бы отвѣчали всѣмъ требованіямъ; которыхъ жизнь не теряла бы прелести и для новыхъ поколѣній; образы, которыхъ частное и преходящее значительностію и несомнѣнностію своею выкупало бы холодность и безцвѣтность обще-человѣческаго — указать это досталось позднѣй-

шей эпохѣ. Теперь поэтъ или художникъ, проникнутый до глубины души всѣми стихіями жизни общества и физической природы, жизни, трепещущей отъ полноты и занимательности своего вѣка и своей точки на землѣ, возсоздаетъ ея образы неистощимо-разнородныя, какъ его настроеніе, и неизмѣнно-привлекательныя, какъ сама истина, то есть природа. Въ критикѣ нѣтъ теперь требованій произвольныхъ, которыя неминуемо слѣдовали за неопредѣленными, сбивчивыми законами эстетики: „Надобно подражать изящной природѣ“ или: „Надобно возводить природу до идеала“.

Чувствую, что я отдалился отъ предмета — и вмѣсто Финляндіи завелъ тебя почти въ Германію. Это впрочемъ мнѣ было нѣсколько нужно. Я желалъ приготовить тебя къ моимъ выпискамъ. Онѣ всѣ будутъ заимствованы изъ сочиненій, появившихся до нынѣшняго направленія талантовъ. Ты и соотечественники твои должны судить о нихъ сообразно понятіямъ, тогда господствовавшимъ въ литературѣ. Конечно, врожденное чувство поэзіи сильнѣе науки и примѣровъ; есть однакоже многое въ современной жизни, чему невольно покоряется и свободный геній.

Изъ всѣхъ русскихъ стихотвореній, въ которыхъ описывается Финляндія, самое замѣчательное называется *Эда*, поэма Евгенія Абрамовича Баратынскаго. Она въ первый разъ напечатана была 1826 года. Авторъ, находясь въ военной службѣ, за нѣсколько лѣтъ передъ тѣмъ жилъ въ Финляндіи. Теперь онъ мало занимается литературою, оставивъ и самую службу. У васъ онъ былъ юношею и впечатлѣнія принималъ со всею живостію ранней молодости. Его стихотворенія, на русскомъ языкѣ, принадлежать къ разряду самыхъ обработанныхъ и блестящихъ. Онъ соединилъ точность и благозвучіе выраженій, элегическое настроеніе чувства съ умомъ граціозно-игривымъ. Современникъ Пушкина и Дельвига, онъ раздѣляетъ съ ними славу первокласснаго поэта. Появленіе *Эды*, исполненной свѣжести красоть, простоты событія и новости слишкомъ безыскусственной формы, произвело на журналистовъ, какъ часто водится, неблагопріятное впечатлѣніе. Одинъ изъ нихъ

критикою своею вызвалъ Пушкина на слѣдующую эпиграмму, въ которой поэтъ говоритъ Баратынскому:

Стихъ каждый повѣсти твоей
Звучить и блещетъ какъ червонецъ;
Твоя чухоночка, ей-ей,
Гречанокъ Байрона милѣй,
А твой зонгъ — прямой чухонецъ.

Дѣйствіе происходитъ въ старой Финляндіи, прежде нежели новая присоединилась къ Россіи. Гусарь и молоденькая финляндка — вотъ два главные лица. На второмъ планѣ слегка обозначены отецъ и мать героини. Начало поэмы представляетъ простоудшно-вкрадчивую рѣчь офицера неопытной, довѣрчивой дѣвушкѣ.

Съ улыбкой вкрадчивой и льстивой
Такъ говорилъ гусаръ красивой
Финляндкѣ Эдѣ. Русь была
Ему отчизной. Въ горы Фина
Его недавно завела
Полковъ бродячая судьбина.
Суровый край: его красамъ,
Пугаяся, дивятся взоры;
На горы каменные тамъ
Поверглись каменные горы;
Синѣя, всходятъ до небесъ
Ихъвоенравныя громады;
На нихъ шумить сосновый лѣсъ;
Съ нихъ бурно льются водопады.
Тамъ долъ очей не веселить;
Гранитной лавой онъ облить;
Главу одѣвши въ мохъ печальный,
Огромнымъ сторожемъ стоять
На немъ гранить пирамидальный.
По дряхлымъ скаламъ бродить взглядъ;

Пришлецъ исполненъ смутной думы:
 Не міра-ль давняго лежатъ
 Предъ нимъ развалины угрюмы?
 Доселѣ въ счастливой глуши,
 Отца простого дочь простая,
 Красой лица, красой души
 Блистала Эда молодая.
 Прекраснѣй не было въ горахъ:
 Румянецъ нѣжный на щекахъ,
 Летучій станъ, власы златыя
 Въ небрежныхъ кольцахъ по плечамъ,
 И очи блѣдно-голубыя
 Подобно финскимъ небесамъ.

Эда, простодушная какъ дочь природы, въ этомъ возрастѣ, когда сердце отверзто для любви, какъ ранній цвѣтокъ для лучей весенняго солнца, — не умѣетъ защититься отъ перваго нѣжнаго чувства. Поэтъ съ какимъ то участіемъ трогательнымъ обращается къ ней:

Ахъ, Эда, Эда! Для чего
 Такое долгое мгновенье
 Во влажномъ пламени его
 Пила ты страстное забвенье? и т. д. ¹⁾

Между тѣмъ, покорная обольстительному чувству, Эда раздѣляетъ вечернія прогулки съ своимъ другомъ:

Уже пустыня сномъ объята;
 Всталъ ясный мѣсяцъ надъ горой,
 Сливая свѣтъ багряный свой
 Съ послѣднимъ пурпуромъ заката;

¹⁾ Здѣсь, какъ и при большей части другихъ стихотворныхъ выписокъ, составляющихъ значительную часть этой статьи, ограничиваемся для выигрыша мѣста только немногими стихами отрывковъ, когда они не имѣютъ отношенія къ Финляндіи.

Двойная, трепетная тѣнь
 Отъ черныхъ сосенъ возлегаетъ,
 И ночь прозрачная смѣняетъ
 Погасшій непримѣтно день.
 Ужъ поздно. Дѣва молодая,
 Жарка ланитами, встаетъ
 И молча, глазъ не подымая,
 Въ свой уголъ медленно идетъ.

Такъ оканчивается первая часть поэмы. Вторая представляеть красоты общія — и потому я ограничусь выпискою только одного мѣсто, въ которомъ помѣщенъ разговоръ отца и матери, чтобы показать, какъ поэтъ характеризировалъ ихъ:

Она была не безъ надзора.
 Отецъ ея, крутой старикъ,
 Отчасти въ сердце къ ней проникъ и т. д.

Въ третьей (последней) части содержится развязка этой поэмы-идилліи, которой краски и господствующій тонъ такъ настраиваютъ душу читателя къ чему-то нерадостному. Вспыхнула война. Полки начинаютъ переправляться черезъ Кюмень. Гусаръ объявилъ Эдѣ, что для нихъ наступила горестная разлука.

Нѣтъ слезъ у дѣвы молодой.
 Мертва лицомъ, мертва душой,
 На суету походныхъ сборовъ
 Глядитъ она: всему конецъ!... и т. д.

Ты живо чувствуешь, въ чемъ заключается существенное достоинство всего этого стихотворенія. Оно дышитъ вѣрностію вашей природѣ. Самое содержаніе печально гармонируетъ съ красками поэта. Прибавь къ этому классическую точность каждаго слова, сжатость фразъ и разнообразіе оборотовъ. Таковъ поэтъ Баратынскій во всѣхъ своихъ произведеніяхъ. Въ доказа-

тельство приведу его небольшую пьесу, называющуюся *Финляндія*. Первая часть ея посвящена дѣйствительно изображенію вашего края. Во второй онъ предается воспоминаніямъ историческимъ, рисуя характеръ Скандинавовъ. Въ нашей поэзіи много произведеній, для которыхъ взято содержаніе изъ послѣдняго источника. На нѣкоторыя изъ нихъ укажу въ концѣ моего письма, какъ на предметъ, не прямо отвѣчающій моему цѣли.

Въ свои разсѣлины вы приняли пѣвца,
 Граниты финскіе, граниты вѣковые,
 Земли ледянаго вѣнца
 Богатыри сторожевые!
 Онъ съ лирой между васъ. Поклонъ его, поклонъ
 Громадамъ, міру современнымъ:
 Подобно имъ, да будетъ онъ
 Во всѣ години неизмѣннымъ!
 Какъ все кругомъ меня плѣняетъ чудно взоръ!
 Тамъ, необъятными водами
 Слилося море съ небесами;
 Тутъ съ каменной горы къ нему дремучій боръ
 Сошелъ тяжелыми стопами,
 Сошелъ — и смотрится въ зеркалѣ гладкихъ водъ!
 Ужъ поздно, день погасъ, но ясенъ неба сводъ;
 На скалы финскія безъ мрака ночь нисходитъ,
 И только-что себѣ въ уборъ
 Алмазныхъ звѣздъ ненужный хоръ
 На небосклонъ она выводитъ!
 Такъ вотъ отечество Одиновыхъ дѣтей,
 Грозы народовъ отдаленныхъ!
 Такъ это колыбель ихъ безпокойныхъ дней,
 Разбоямъ громкимъ посвященныхъ!

Поэтъ очевидно ошибается, смѣшивая здѣсь Финляндію съ Скандинавіей. Ты и далѣе въ моихъ выпискахъ не разъ встрѣ-

тишь подобныя обмолвки, доказывающія неточность и сбивчивость тогдашнихъ понятій нашихъ о мірѣ иноязычнаго Сѣвера ¹⁾. Баратынскій продолжаетъ:

Умолкъ призывный щитъ, не слышенъ скальда гласъ,
Воспламененный дубъ угасъ,
Развѣялъ бурный вѣтръ торжественные клики;
Сыны не вѣдаютъ о подвигахъ отцовъ... и т. д.

Передамъ тебѣ еще одно небольшое его стихотвореніе. Видимо, что онъ писалъ его подъ вліяніемъ картины, въ вашемъ краю поразившей его:

Шуми, шуми съ крутой вершины,
Не умолкай, потокъ сѣдой!
Соединяй протяжный вой
Съ протяжнымъ отзывомъ долины!... и т. д.

Въ посланіи Баратынскаго знаменитому нашему переводчику Иліады, Николаю Ивановичу Гнѣдичу, есть нѣсколько прелестныхъ стиховъ, посвященныхъ мрачнымъ красотамъ Финляндіи. Говоря о тягостныхъ мгновеньяхъ жизни бездѣйственной, поэтъ обращается къ себѣ:

Они въ углу моемъ не длятся для меня.
Судьбу младенчески за строгость не вина
И взявъ съ тебя примѣръ, — поэзію, ученье

¹⁾ Самая рѣзкая противоположность господствуетъ между баснословными преданіями Скандинавовъ и Финновъ. Тамъ главный богъ — *Одинъ*; здѣсь — *Вейнемейненъ*. Первый, вооруженный мечемъ, есть представитель высшей воинственности, соединенной съ хитростью: онъ могущественнѣйшій герой, его сила въ битвахъ. Другой, съ арфой въ рукахъ, есть олицетвореніе высшей мудрости; онъ творящій поэтъ-чародѣй, его единственное орудіе — гармоническое слово. *Одинъ* на осминогомъ конѣ скачетъ, при стукѣ мечей, по бранному полю; *Вейнемейненъ*, сидя на пустынномъ берегу моря, поэтъ и отъ умиленія плачетъ надъ арфой. Такъ различно выразился характеръ кровожадныхъ Скандинавовъ и миролюбивыхъ Финновъ. См. въ *Соврем.* 1840, № 3, статью Я. Грота «О характерѣ и поэзіи Финновъ».

Призвалъ я украшать свое уединенье.
 Лѣса угрюмые, громады мшистыхъ горъ,
 Пришельца новаго пугающіе взоръ,
 Чужихъ безбрежныхъ водъ свинцовая равнина,
 Напѣвы грустные протяжныхъ пѣсень Финна,
 Недолго, помню я, въ печальной сторонѣ
 Печаль холодную вливали въ душу мнѣ.

Ты конечно не только съ любопытствомъ, но и съ участіемъ прочтешь еще два стихотворенія, изъ которыхъ одно можно назвать эпилогомъ жизни Баратынскаго въ Финляндіи, а другое воспоминаніемъ о ней. Вотъ они:

1.

Прощай, отчизна непогоды,
 Печальная страна,
 Гдѣ, дочь любимая природы,
 Безжизненна весна;
 Гдѣ солнце нехотя сіяетъ,
 Гдѣ сосенъ вѣчный шумъ
 И моря ревъ и все питаетъ
 Безумье мрачныхъ думъ;
 Гдѣ, отлученный отъ отчизны
 Враждебною судьбой,
 Изнемогалъ безъ укоризны
 Изгнанникъ молодой;
 Гдѣ, позабытъ молвой гремячей,
 Но все душой пѣтъ,
 Своею Музою летучей
 Онъ не былъ позабытъ!
 Теперь для сладкаго свиданья
 Спѣшу къ странѣ родной;
 Въ воображеніи край изгнанья
 Послѣдуетъ за мной:

И камней мшистыя громады,
 И видъ полей нагихъ.
 И вѣковые водопады,
 И шумъ угрюмый ихъ!
 Я вспомню съ тайнымъ сладострастьемъ
 Пустынную страну,
 Гдѣ я, въ размовкѣ съ тихимъ счастьемъ.
 Провелъ мою весну,
 Но гдѣ, порою житель неба,
 На перекоръ судьбѣ,
 Не измѣнилъ питомецъ Феба
 Ни Музамъ, ни себѣ.

2.

Мой неискусный карандашъ
 Набросилъ видъ суровый вашъ,
 Скалы Финляндіи печальной;
 Средь нихъ, средь этихъ голыхъ скалъ
 Я, дни весны моей опальной
 Влача, душой изнемогалъ,
 Въ отчизнѣ я. Передъ собою
 Я самовольною мечтою
 Скалы изгнанья оживилъ
 И ихъ разсѣянно рисуя,
 Теперь съ улыбкою шепчу я:
 Вотъ гдѣ унылый я бродилъ,
 Гдѣ, на судьбину негодуя,
 Я вѣру въ счастье отложилъ.

Можно сказать, что весь колоритъ его поэзіи, особенно въ
 мелкихъ стихотвореніяхъ, этихъ откликахъ ощущеній, мыслей и
 даже ежедневныхъ занятій, безпрестанно напоминаетъ читателю
 вашу природу. Не почувствуешь ли этого и самъ ты, прочитавъ

нижеслѣдующіе стихи, хотя и нѣтъ въ нихъ прямого обращенія къ Финляндіи? Между тѣмъ, почему такое своенравное, хотя и точное, сравненіе вдругъ представилось поэту, это объясняется только воззрѣніемъ на картины природы, окружавшей его въ самыя поэтическія лѣта.

Взгляни на ликъ холодный сей.
 Взгляни: въ немъ жизни нѣтъ;
 Но какъ на немъ бывшихъ страстей
 Еще замѣтенъ слѣдъ!
 Такъ ярый токъ, оледенѣвъ,
 Надъ бездною виситъ,
 Утративъ прежній грозный ревъ,
 Храня движенъ видъ.

Эпилогомъ моихъ выписокъ изъ Баратынскаго пусть будутъ его стихи *Аероръ III*...¹⁾, столь извѣстные и у васъ въ Гельсингфорсѣ, гдѣ были они написаны, стихи, въ которыхъ юношеское чувство и дыханіе свѣжей красоты такъ очаровательно сливаются, не пугая воображенія ни одною чертою угрюмой вашей родины.

Выдь, дохни намъ упоеньемъ,
 Соименница зари!
 Всѣхъ румянымъ появленьемъ
 Оживи и озари!
 Пылкій юноша не сводитъ
 Взоровъ съ милой — и порой
 Мыслить съ тихою тоской:
 «Для кого она выводитъ
 «Солнце счастья за собой?»...

Слишкомъ за тридцать лѣтъ передъ симъ, тоже находясь въ военной службѣ, другой русскій поэтъ внесъ въ собраніе своихъ

¹⁾ Это была дѣвица Шернваль, впоследствии знаменитая своею красотою и богатствомъ г-жа Демидова, во второмъ бракѣ супруга Андрея Николаевича Карамзина, павшаго въ сраженіи на Дунаѣ въ турецкую войну 1854 года.

сочиненій нѣсколько плѣнительныхъ стиховъ о Финляндіи. Это былъ Константинъ Николаевичъ Батюшковъ. Для русской литературы много расцвѣтало съ нимъ надеждъ. Прекрасный талантъ, разнообразныя знанія, умъ свѣтлый и тонкій, удивительный вкусъ съ лучшимъ направленіемъ, чистая и пламенная любовь къ поэзіи — все заставляло думать, что онъ со временемъ придастъ много новаго блеску нашей литературѣ. Онъ въ 1817 году напечаталъ два тома опытовъ своихъ, одинъ въ прозѣ, другой въ стихахъ. Современникъ и другъ Жуковского, онъ съ нимъ составляетъ эпоху, съ которой начинается нынѣшняя поэзія наша, разнообразная, живая и блестящая красками. Но къ несчастію, Батюшковъ, ничего почти не успѣлъ прибавить къ этимъ опытамъ, которые приняты были съ энтузіазмомъ. По истеченіи нѣсколькихъ лѣтъ онъ впалъ въ разслабленіе умственныхъ способностей, что продолжается до сихъ поръ.

Весьма замѣчательное въ литературномъ отношеніи, хотя и не совсѣмъ вѣрное описаніе Финляндіи сдѣлано имъ въ прозѣ, подъ названіемъ: *Отрывокъ изъ писемъ о Финляндіи* ¹⁾. Я слышалъ, что это описаніе и вамъ уже извѣстно въ шведскомъ переводѣ.

Въ началѣ моего письма я слегка упомянулъ, какъ необходимо для успѣховъ поэзіи ближайшее, непосредственное изученіе всѣхъ стихій жизни народа и мѣстности. Неполное, одностороннее знаніе отражается въ самыхъ произведеніяхъ поэзіи, сообщая имъ однообразіе картинъ. Я также замѣтилъ выше, что изящныя искусства въ нашу эпоху удовлетворительнѣе развиваютъ художническую истину, сосредоточивая вниманіе на исключительныхъ красотахъ всякаго предмета и не довольствуясь чертами общими, похожими на истины отвлеченныя. Такъ въ стихахъ Батюшкова, который подобно Баратынскому съ той же Финляндіи бралъ черты для рисунковъ своихъ, преобладаетъ одна мысль, одинъ образъ, — это идея Скандинавскаго міра вообще, безъ ча-

¹⁾ Впослѣдствіи оказалось, что эта такъ называемая *Картина Финляндіи* нѣ что иное, какъ передѣлка описанія Америки у Ласепеда.

стностей эпохъ и даже безъ замѣтнаго разграниченія Финляндіи и Швеціи. Сладкозвучные, обаятельные стихи его образовались въ отношеніи къ Финляндіи не въ слѣдствіе того, чѣмъ она сама поражала его чувства и душу, но что онъ узналъ вообще изъ кабинетныхъ, ученыхъ занятій. Въ стихотвореніи его: *Мечта* — вотъ между прочимъ въ какихъ чертахъ рисуется поэтическая сторона Скандинавіи:

... Въ полночный часъ
Онъ (поэтъ) слышитъ скальдовъ гласъ
Прерывистый и томный.
Зрять: юноши безмолвны,
Склоняся на щиты, стоятъ кругомъ костровъ,
Зажженныхъ въ полѣ брани —
И древній царь пѣвцовъ
Простеръ на арфу длани... и т. д.

Въ другой элегіи Батюшкова, называющейся: *Воспоминанія (отрывокъ)* есть также нѣсколько прелестныхъ стиховъ относительно вашего края. Ими, какъ великій художникъ, оканчиваетъ онъ изображеніе общей меланхолической настроенности духа, овладѣвшей всѣмъ его моральнымъ существованіемъ:

Мѣста прелестныя и въ дикости своей!
О, камни Швеціи, пустыни Скандинавовъ!
Обитель древняя и доблести и нравовъ!
Ты слышала обѣтъ и гласъ любви моей;
Ты часто странника задумчивость питала,
Когда румяная девница отражала
И дальнія скалы гранитныхъ береговъ,
И села пахарей и кущи рыбаковъ,
Сквозь тонки, утренни туманы
На зеркальныхъ водахъ пустынной Троллетаны ¹⁾.

¹⁾ Т. е. знаменитаго водопада Троллетты.

Остается упомянуть о стихотвореніяхъ Батюшкова, заимствованныхъ имъ у иностранныхъ поэтовъ, которые описывали скандинавскій міръ. Въ этомъ отдѣленіи замѣчательнѣе всего: *Элеція на развалинахъ замка въ Швеціи*. Она взята изъ Маттисона. Батюшковъ, будучи знакомѣ автора съ природою описываемаго края и во всѣхъ отношеніяхъ превосходя Маттисона какъ поэтъ, сообщилъ заимствованному у него стихотворенію такія красоты, которыя въ нашей литературѣ поставили его въ разрядъ перво-классныхъ.

Помнишь ли ты небольшую поэму Парни *Иснемъ и Аслема?* Я не вѣрю во французскую поэзію: особенно когда она облекается въ краски чужеземныхъ народныхъ преданій, ей не выдержать надлежащимъ образомъ ни тона, ни колорита. Батюшковъ перевелъ изъ этой поэмы одно мѣсто, гдѣ Парни описываетъ видѣнія во снѣ скандинавскихъ воиновъ. Но я не нахожу нужнымъ это выписывать для тебя, потому что и вся поэма гораздо ниже предъидущей элегіи, сбиваясь на тотъ же самый предметъ. Безъ сомнѣнія, тебѣ пріятнѣе будетъ прочитатъ по-русски столь знаменитую во всемъ скандинавскомъ мірѣ *Пѣснь Гаральда Смѣлаго*, которую Батюшковъ переложилъ съ текста, помѣщеннаго у Малета.

Мы, други, летали по бурнымъ морямъ,
Отъ родины милой летали далеко!
На сушѣ, на морѣ, мы бились жестоко:
И море, и суша покорствуютъ намъ.
О други, какъ сердце у смѣлыхъ кипѣло,
Когда мы, содвинувъ стѣной корабли,
Какъ птицы неслися станицей веселой
Вкругъ пажитей тучныхъ Сиканской земли ¹⁾...
А дѣва русская Гаральда презираетъ! и т. д.

Былъ еще русскій поэтъ, который воинномъ провелъ нѣсколько времени въ Финляндіи. Не очень давно литература наша лиши-

¹⁾ Сипцилія.

лась въ немъ одного изъ замѣчательнѣйшихъ писателей. Я говорю о *Денисъ Васильевичъ Давыдовъ*. Блестательнѣйшею эпохою въ его жизни была кампанія 1812 года, въ которую прославился онъ партизанскими своими дѣйствіями. Прекрасно изобразилъ его Жуковскій въ патріотическомъ стихотвореніи, называющемся *Пѣвецъ въ станѣ русскихъ воиновъ*:

Давыдовъ — пламенный боецъ;
Онъ вихремъ въ бой кровавый;
Онъ въ мирѣ счастливый пѣвецъ
Вина, любви и славы.

Въ Финляндію прибылъ онъ 1808 года двадцати-четырехъ лѣтъ. Въ продолженіе кампаніи онъ безотлучно находился при авангардѣ Кульнева — и (какъ самъ рассказываетъ въ запискахъ о жизни своей) разставлялъ съ нимъ пикеты, наблюдалъ за неприятелемъ, раздѣлялъ суровую пищу своего наставника-воина и спалъ на соломѣ подъ крышею неба. Поэзіею не занимался онъ какъ художникъ. Онъ писалъ для одной собственной забавы. Но все, что ни бросилъ онъ на бумагу, такъ живо, оригинально и проникнуто остроуміемъ, что его стихи дѣлались повсюду извѣстными гораздо прежде, нежели бывали напечатаны. Все рѣзкое въ жизни воина, особенно гусара, схвачено имъ съ удивительною мѣткостью. Но онъ рѣдко выбиралъ за предметъ стихотвореній картины природы. Оттого и красоты Финляндіи не нашли для себя живописца въ Давыдовѣ. Мнѣ однакожъ жаль было бы не познакомить тебя, хоть нѣсколько, съ этимъ талантомъ, который любимое дѣло свое — войну и удалство — началъ у васъ, начавъ тѣмъ и воспитаніе характера поэзіи своей. Ты получишь о немъ совершенно ясное понятіе, прочитавъ его стихотвореніе *Полусолдатъ*. Онъ его написалъ въ 1826 году, бывши въ походѣ за Кавказомъ:

Нѣтъ, братцы, нѣтъ; полу-солдатъ
Тотъ, у кого есть печь съ лежанкой,

Жена, подюжина ребятъ,
Да щи, да чарка съ запеканкой!... и т. д.

Окончивъ исчисленіе поэтовъ русскихъ, которые видѣли Финляндію и пытались ея впечатлѣніями, перехожу къ другимъ, упоминавшимъ о ней по разсказамъ, или воспользовавшимся исторією и мифологією вообще Скандинавіи. Въ этомъ отдѣленіи назову сперва величайшаго поэта въ Россіи, *Гавріила Романовича Державина*, котораго картины Сѣвера такъ свѣжи и такъ вѣрны, что онъ по преимуществу долженъ принадлежать всѣмъ намъ. Пѣвецъ Екатерины Великой и двухъ послѣдовавшихъ царствованій, онъ любилъ славу отечества своего, увѣковѣчилъ все достойное безсмертія и гордился названіемъ сѣвернаго барда. Вотъ какъ приказалъ онъ самъ себя нарисовать живописцу *Томчию*:

.... Напиши
Меня въ натурѣ самой грубой;
Въ жестокой мразь съ огнемъ души,
Въ косматой шапкѣ, скутавъ шубой;
Чтобъ шелъ, природой лишь водимъ,
Противъ погодъ, волнъ, горъ кремнистыхъ,
Въ знакъ что рожденъ въ странахъ я льдистыхъ.

Но ты вполнѣ уразумѣешь поэтическую душу этого человѣка, прочитавъ его *Признаніе*:

Не умѣлъ я притворяться,
На святого походить... и т. д.

Въ числѣ совершеннѣйшихъ лирическихъ созданій его читается *Водопадъ*, ода, которую онъ написалъ, получивъ извѣстіе о внезапной, роковой кончинѣ князя Потемкина-Таврическаго. Передъ тѣмъ Державинъ былъ губернаторомъ въ Олонецкой губерніи. Недалеко отъ Петрозаводска, на рѣкѣ Сунѣ, въ этой дикой Кареліи, гдѣ такъ любитъ странствовать вашъ Ленротъ, есть

водопадъ Кивачъ. Поэтъ чуднымъ образомъ связалъ идею о немъ съ жизнію славнѣйшаго въ то время вельможи. Обращаю твое вниманіе особенно на тѣ мѣста, которые даютъ понятіе о картинахъ сѣверной природы.

Ода *На победы въ Италіи* представляетъ красоты, прямо относящіяся къ предмету моего письма. Державинъ сравниваетъ Суворова съ Рюрикомъ Эта мысль переноситъ его въ міръ скандинавскій. Начало его стихотворенія есть картина древней Валгаллы. Есть еще у Державина стихотвореніе: *Жилище божины Фригги*. Онъ упоминаетъ здѣсь разныхъ боговъ скандинавскихъ, называя ихъ впрочемъ не совсѣмъ вѣрно. Но я не выписываю этого стихотворенія, потому что оно чисто аллегорическое, будучи посвящено изображенію добродѣтелей императрицы Маріи Феодоровны и ея лѣтняго мѣстопробыванія, Павловска.

Въ одномъ изъ самыхъ первыхъ опытовъ поэзіи Василія Андреевича Жуковского есть нѣсколько стиховъ, посвященныхъ красотамъ скандинавскаго героизма. Стихотвореніе названо *Письмо барда надъ гробомъ Славянъ побѣдителей*. Ты не долженъ удивляться, что наши поэты часто сливаютъ въ одну идею славянскій міръ со скандинавскимъ. Россія, обязанная вашимъ западнымъ сосѣдямъ началомъ гражданственности своей, привыкла въ этихъ сѣверныхъ двухъ народахъ воображать что то сходное, привыкла черты ихъ древняго быта считать общими. Въ этомъ смыслѣ и Жуковский, говоря о Славянахъ, для картины своей заимствуетъ черты изъ скандинавскихъ нравовъ. Я сожалею, что принужденъ для указаній моихъ выбрать изъ него не болѣе этого мѣста, потому что ты не получишь яснаго понятія о прелести его поэзіи. У Жуковского есть въ характерѣ его созданій, въ выразительности его языка и въ неподражаемой прелести слога что-то совершенно отдѣльное отъ прочихъ нашихъ поэтовъ. Пушкинъ умѣлъ прекрасно изобразить его въ извѣстныхъ стихахъ своихъ:

Его стиховъ плѣнительная сладость и т. д.

Жуковскій открылъ для Россіи новый міръ поэзіи. Прежде она была у насъ однообразна, изысканна и напыщенна какъ театральная красавица. Онъ измѣнявъ ея формы, вдохнулъ въ нее новую душу, заставилъ всѣхъ вѣрить ея чувствамъ и дѣлить сердцемъ откровенія ея:

Ударь во звонкій щитъ! стекитесь, ополченны!

Умолкла брань — враги утихли расточенны! и проч.

Знакомо ли тебѣ имя Николая Михайловича Языкова, поэта, явившагося у насъ нѣсколько позже Пушкина и Баратынского. Его муза, воспитанная въ Афинахъ Эстоніи, воспѣла геройскіе подвиги рыцарей той стороны, ученые и разгульные бдѣнія дерптскаго юношества, славныя событія нашей старины, живущія въ памяти народа, и все разнообразно-поэтическое въ исторіи студента. Его стихъ воленъ, крѣпокъ, звученъ и самобытенъ, какъ самъ поэтъ. У Языкова я укажу тебѣ на *Пѣснь короля Регнера*¹⁾.

Въ заключеніе моего письма, которое хотя длинновато, но совсѣмъ не полно, не могу удержаться, чтобы не привести нѣсколькихъ отрывковъ изъ сочиненій Александра Сергѣевича Пушкина. Ты конечно уже знаешь, чтó былъ для Россіи Пушкинъ! У насъ его стихи живутъ во всѣхъ устахъ. Еще воспитанникомъ царскосельскаго лицея онъ замыслилъ написать поэму, для которой народныя русскія сказки служили бы основою и содержаниемъ. Это первое созданіе музы его, игривое, разнообразное и граціозное, плѣнительно самою смѣсью національныхъ красокъ съ Аріостовскими приемами и чертами. Поэма называется *Русланъ и Людмила*. Между дѣйствующими лицами выведенъ Финнъ, *духовъ могучій повелитель*, какъ говорить о немъ Пушкинъ. Эпизодъ, гдѣ рассказываетъ Финнъ о любви своей къ пастушкѣ *Наи-*

¹⁾ Заимствованную изъ саги Рагнара Лодброка, славнѣйшаго героя и скальда Скандинавіи. Преданіе гласитъ, что онъ (въ началѣ IX-го вѣка) попалъ въ плѣнъ въ Англію и брошенъ былъ въ яму, наполненную змѣями. Когда онѣ устремились на него, онъ запѣлъ свою знаменитую смертную пѣснь.

нѣ, оригиналенъ и полонъ интереса. Я привожу часть его какъ опытъ описанія жизни древнихъ Финновъ; говорю *опытъ*, потому что не такъ озарилъ бы Пушкинъ эту живую картину, если бы удалось ему взглянуть собственными глазами, а не однимъ воображеніемъ на вашу Финляндію.

Старикъ, котораго странствующій Русланъ нашелъ въ одной пещерѣ, такъ начинаетъ разсказъ о своей судьбѣ:

.... Любезный сынъ,
Ужъ я забылъ отчизны дальной
Угрюмый край. Природный Финъ,
Въ долинахъ, намъ однимъ извѣстныхъ,
Гоняя стадо селъ окрестныхъ,
Въ безпечной юности я зналъ
Однѣ дремучія дубравы,
Ручьи, пещеры нашихъ скалъ,
Да дикой бѣдности забавы,
Но жить въ отрадной тишинѣ
Дано не долго было мнѣ.

Онъ увидѣлъ прекрасную Нанну и полюбилъ ее; но она не отвѣчала его страсти. Онъ продолжаетъ:

И все мнѣ дико, мрачно стало:
Родная куща, тѣнь дубровъ,
Веселы игры пастуховъ —
Ничто тоски не утѣшало.
Въ уныньи сердце сохло, вяло
И наконецъ задумалъ я
Оставить финскія поля;
Морей невѣрныя пучины
Съ дружиной братской переплыть,
И бранной славой заслужить
Вниманье гордое Нанны.
Я вызвалъ смѣлыхъ рыбаковъ
Искать опасностей и злата...

Онъ покидаетъ отчизну и десять лѣтъ ратуетъ на моряхъ со славою.

Но сердце, полное Наиной,
Подъ шумомъ битвы и пировъ
Томилось тайною кручиной,
Искало финскихъ береговъ.

И онъ возвращается въ Финляндію. Наина попрежнему не любила его.

Но слушай; въ родинѣ моей
Между пустынныхъ рыбарей
Наука дивная таится.
Подъ кровомъ вѣчной тишины,
Среди лѣсовъ, въ глуши далекой
Живутъ сѣдые колдуны;
Къ предметамъ мудрости высокой
Всѣ мысли ихъ устремлены;
Все слышитъ голосъ ихъ ужасный,
Что было и что будетъ вновь,
И грозной волѣ ихъ подвластны
И гробъ и самая любовь.

На его чародѣйское призваніе является ему Наина: она уже дряхлая, горбатая старуха; но, послушная колдовству, страстно влюблена въ своего давнишняго обожателя. Теперь она въ свою очередь всячески старается возбудить въ немъ страсть къ себѣ; но онъ, несмотря на ея ласки и упреки, остается холоденъ.

Такъ мы разстались. Съ этихъ поръ
Живу въ своемъ уединеньѣ
Съ разочарованной душой;
И въ мірѣ старцу утѣшенье
Природа, мудрость и покой.

Наконецъ укажу на одну строфу въ *Евгении Онегинѣ*, гдѣ Пушкинъ, обращаясь къ Баратынскому, жившему тогда въ краю вашемъ, написалъ нѣсколько словъ о Финляндіи; это въ 3-й главѣ. Дѣло идетъ о письмѣ, заготовленномъ Татьяною (героинею поэмы) къ Онегину. Для шутки Пушкинъ говоритъ прежде:

Еще предвижу затрудненье;
Родной земли спасая честь,
Я долженъ буду безъ сомнѣнья
Письмо Татьяны перевести.
Она по-русски плохо знала,
Журналовъ нашихъ не читала,
И выражалася съ трудомъ
На языкѣ своемъ родномъ —
Итакъ писала по-французски...
Что дѣлать! повторяю вновь:
Донынѣ дамская любовь
Не изъяснялася по-русски;
Донынѣ гордый нашъ языкъ
Къ почтовой прозѣ не привыкъ.

Послѣ этого, черезъ нѣсколько строкъ, онъ прибавляетъ:

Пѣвецъ *Пирова* и грусти томной,
Когда бъ еще ты былъ со мной,
Я сталъ бы просьбою нескромной
Тебя тревожить, милый мой,
Чтобъ на волшебные напѣвы
Переложилъ ты страстной дѣвы
Иноплеменные слова.
Гдѣ ты? приди; свои права
Передаю тебѣ съ поклономъ...
Но посреди печальныхъ скалъ
Отвыкнувъ сердцемъ отъ похвалъ,
Одинъ подъ финскимъ небосклономъ

Онъ бродитъ — и душа его

Не слышитъ горя моего.

Ты видишь, милый поэтъ, въ какихъ разнообразныхъ сочиненіяхъ, въ какихъ рѣзкихъ чертахъ и въ какихъ краскахъ являлась съ давнихъ поръ передъ нами и поэтическая ваша Финляндія и смежная съ нею Скандинавія! Нельзя не надѣяться, что эти картины нашихъ художниковъ скоро у васъ доступны будутъ суду всего образованнаго класса читателей. Между тѣмъ я сердечно радуюсь, что ты одинъ изъ первыхъ будешь въ этомъ участникомъ. Прими трудъ переписчика за доказательство неизмѣнной его къ тебѣ дружбы.

МЕДАЛЬЁРНЫЙ РѢЗЧИКЪ КЛЕПИКОВЪ. ¹⁾

1841.

Императорская Академія художествъ много образовала талантовъ по части живописи, скульптуры и архитектуры. Ихъ произведеніями по справедливости гордится Россія. Медальерное искусство рѣзбы на стали и крѣпкихъ камняхъ менѣе прочихъ художествъ обрабатываемо было у насъ людьми, одаренными истиннымъ талантомъ. Труды медальернаго рѣзчика тягостны, медленны и въ нѣкоторомъ отношеніи неблагоприятны. Здѣсь художникъ чаще подчиненъ бываетъ мысли и прихоти другого таланта, нежели въ прочихъ искусствахъ. Надобно впрочемъ согласиться, что полный его успѣхъ упрочиваетъ за произведеніемъ безсмертіе несомнѣнное, безсмертіе въ истинномъ смыслѣ. Что ни создано было въ самой глубокой древности по этой части (если памятники сіи не утратились), мы все получили въ первообразной

¹⁾ Современникъ XXI, 1, 82.

красотѣ, въ неприкосновенной живости, какъ будто вѣка, промчавшіеся надъ ними съ разрушительною своею силою, не знали объ нихъ.

Если мы не ошибаемся, имя Доброхотова до сихъ поръ у насъ одно, которое каждый разъ приходитъ на мысль, какъ скоро упоминають объ успѣхахъ медальернаго искусства рѣзьбы въ Россіи. Онъ любилъ свое занятіе, понималъ его какъ истинный художникъ и употреблялъ всѣ усилія, чтобы оно водворялось съ успѣхомъ въ академіи.

Изъ числа учениковъ Доброхотова достойнымъ преемникомъ вкуса его, трудолюбія, ума и привязанности къ искусству назвать должно Алексѣя Алексѣевича Клепикова. Онъ родился въ Санктпетербургѣ 1802 года и опредѣленъ былъ въ Академію художествъ на 12 году отъ рожденія. Отецъ его, образовавшійся въ той же академіи, вышелъ изъ нея въ 1779 году и занимался живописью. Молодой Клепиковъ учился въ академіи одиннадцать лѣтъ. Во время пребыванія своего тамъ онъ успѣхами и талантомъ своимъ обратилъ на себя особенное вниманіе начальства. Три раза, по опредѣленію совѣта академіи, онъ былъ награждаемъ серебряными медалями. Наконецъ, когда онъ, при окончаніи курса, подъ надзоромъ наставника своего Доброхотова, сочинилъ и вырѣзалъ на камнѣ, въ слѣдствіе заданной академіею программы, Дедала и Икара, совѣтъ присудилъ ему золотую медаль.

Изъ Академіи художествъ, въ 1824 году, Клепиковъ поступилъ на службу при Санктпетербургскомъ монетномъ дворѣ. Здѣсь открылось ему прекрасное поприще какъ художнику. По назначенію начальства, онъ занялся рѣзьбою на стали столь извѣстныхъ медальёоновъ графа Ф. П. Толстого (числомъ 20). Ни одинъ изъ европейскихъ художниковъ нашего времени ничего не произвелъ въ этомъ родѣ равнаго съ прелестными созданіями графа Толстого. Блестящее изобрѣтеніе, чудная грація формъ, изумительная правильность рисунка, необыкновенный успѣхъ въ исполненіи цѣлаго и частей—все поражаетъ въ нихъ совершенствомъ. Великій Гёте, котораго еще въ живыхъ застали медальёоны сіи,

былъ въ восхищеніи отъ нихъ. Безсмертные подвиги императора Александра I едва ли не лучшаго нашли историка въ знаменитомъ нашемъ художникѣ. Рѣзьба Клепикова повторила всѣ красоты генія. Въ этомъ же родѣ съ такимъ же мастерствомъ произведено было художникомъ 12 медальёновъ на событія въ продолженіе войны персидской. Клепикову опять поручено было отъ начальства и ихъ вырѣзать на стали—что исполнилъ онъ съ прежнимъ успѣхомъ. Обѣ сіи драгоцѣнныя коллекціи отлиты на монетномъ дворѣ изъ бронзы и даже есть экземпляры изъ серебра ¹⁾. Каждый изъ медальёновъ, прежде окончательной отливки, представляемъ былъ на высочайшее утвержденіе Государю. Графъ Толстой заготовлялъ пробныя свои оттиски изъ воску, а Клепиковъ изъ олова. По окончаніи первой коллекціи, его величество, въ вознагражденіе столь успѣшныхъ трудовъ Клепикова, соизволилъ наградить его драгоцѣннымъ брильянтовымъ перстнемъ. Равной награды художникъ удостоился и послѣ второй коллекціи.

Произведенія сіи, какъ памятники и великихъ событій и успѣховъ художества, повсюду встрѣтили въ Европѣ лестное для нихъ одобреніе. Вотъ что писалъ изъ Вѣны (29 февраля 1836 года) князь Меттернихъ къ министру императорскаго двора, получивъ экземпляръ медальёновъ: «Сочиненіи и вырѣзка сихъ медалей въ высшей степени примѣчательны. Едва ли какое государство производило что-нибудь столь изящное въ теченіе послѣднихъ столѣтій. Таково общее мнѣніе нашихъ медальеровъ, коихъ главою могу означить знаменитаго Людвигъ Пиклера».

Работы Клепикова представляютъ совершенства классическія: правильность рисунка, живость и выразительность фигуръ, мягкость формъ и строгую отчетливость въ ихъ выпуклости. Преданный вполне искусству, какъ истинный художникъ, Клепиковъ безпрерывно занятъ своимъ дѣломъ. Исполняя важныя пору-

¹⁾ Первой коллекціи экземпляръ изъ бронзы продается по 110 р. ас., а второй по 60 р. Серебряные экземпляры есть только первой коллекціи; цѣна 500 р. ас.

ченія начальства, онъ успѣваетъ удовлетворять многочисленнымъ заказамъ, увеличивая для потомства столь же разнообразную, какъ и изящную, коллекцію своихъ произведеній. Еще императрица Марія Феодоровна поручала ему вырѣзать на камнѣ обронно нѣсколько портретовъ императора Николая Павловича. Для всѣхъ почти особъ императорской фамиліи онъ работалъ на камнѣ, отдѣлывая аллегорическія и другія фигуры по назначенію. Разсматриваніе однихъ слѣпковъ, хранящихся въ его мастерской ¹⁾, доставляетъ истинное удовольствіе любителямъ медальёрнаго искусства и всѣмъ вообще любопытствующимъ видѣть эти прекрасныя произведенія. Для панагіи покойному архимандриту Фотію на большомъ топазѣ обронно вырѣзанъ былъ Клепиковымъ образъ коронованія Божіей Матери; для него же на драгоценныхъ камняхъ—ветхій и новый Завѣтъ. Множество слѣпковъ съ гербовъ первыхъ нашихъ фамилій дополняютъ занимательную коллекцію Клепикова. Онъ работалъ по порученію графа Паскевича Эриванскаго князя Варшавскаго, графа Г. А. Строгонова, С. С. Уварова, гр. Браницкаго и мн. др. Изъ мифологическихъ фигуръ особенно любопытны: Амуръ и Психея, Юпитеръ и Леда — работы, произведенныя художникомъ для англійскаго магазина.

При видѣ такого множества прелестныхъ произведеній невольно сожалѣешь, что художники наши не довольно любятъ славу отечества. Они живутъ какъ бы для настоящаго. Въ ихъ мастерскихъ нѣтъ важнѣйшаго пособія для исторіи художества, т. е. подробнаго и полнаго указателя произведеній, хронологически составленнаго, такъ чтобы внимательный посѣтитель могъ однимъ взглядомъ обнять цѣлый рядъ созданій, принадлежащихъ таланту. Можетъ-быть, половина этой вины падаетъ на самое хладнокровіе, съ которымъ иногда принимаются труды человѣка, преданнаго только его искусству.

¹⁾ Мастерская г. Клепикова теперь находится въ Милліонной улицѣ, въ домѣ Поцалуевой.

ПЕРВОЕ ПОСЫЩЕНІЕ АЛЕКСАНДРОВСКАГО УНИВЕРСИТЕТА АВГУСТЫЙШИМЪ ЕГО КАНЦЛЕРОМЪ ¹⁾.

1842.

Тридцать три года, со времени присоединенія Новой Финляндіи ²⁾ къ Россіи, тамошній университетъ пользуется благотѣніями монарховъ русскихъ. Императоръ Николай Павловичъ, съ 1816 года до вступленія своего на престолъ, былъ канцлеромъ университета. Съ какимъ высокимъ достоинствомъ и вѣстѣ съ какимъ уваженіемъ къ университету изволилъ тогда выразиться въ рескриптѣ новый канцлеръ, вступая въ свою должность! Вотъ что онъ писалъ къ проканцлеру и консисторіи (совѣту) университета: «Милостивые государи! Его Императорское Величество изволилъ ввѣрить мнѣ должность канцлера Абовскаго (нынѣ Александровскаго) университета. Чувствую, что симъ знакомъ Его благоволенія обязанъ я только вашему единодушному и добровольному выбору, и поспѣшаю изъяснить вамъ мою признательность. Руководимый болѣе моею любовію къ наукамъ, нежели убѣжденіемъ въ собственныхъ силахъ моихъ, я принимаю сію должность въ надеждѣ, что съ помощію вашихъ свѣдѣній буду содѣйствовать къ благоденствію университета, пользующагося въ ученомъ мірѣ столь справедливымъ уваженіемъ. Финляндія, счастливая подъ отеческою державою Государя Императора, счастливая своими постановленіями и успѣхами образованности, всегда будетъ наслаждаться процвѣтаніемъ наукъ и искусствъ, доколѣ не оставитъ пути, которому повынѣ слѣдовала. Съ моей стороны мнѣ будетъ пріятно способствовать тому въ качествѣ пвѣдставителя университета предъ Его Императорскимъ Величествомъ. Примите, милостивые государи, увѣреніе въ сихъ чув-

¹⁾ *Современникъ* XXVII, 5 — 18.

²⁾ Такъ называлась нѣкогда часть великаго княжества, присоединенная въ 1809 г. по Фридрихсгамскому миру, въ отличіе отъ Старой Финляндіи, т. е. Выборгской губерніи, завоеванной еще Петромъ Великимъ въ 1710 году.

ствованіяхъ, коими я проникнуть. Время и опытность еще укрѣпятъ ихъ, но не усилятъ того благорасположенія, какое я всегда буду оказывать столь достопочтенному учрежденію. 31 марта 1816 г. С. п. 6.»

Въ 1825 году, по вступленіи на престолъ, Императоръ изволилъ назначить на свое мѣсто канцлеромъ университета Государя Наслѣдника съ повелѣніемъ покойному графу Ребиндеру исправлять сію должность до времени дѣйствительнаго въ нее вступленія Его Императорскаго Высочества. Еще прежде этой эпохи, столько радостныхъ надеждъ представлявшей въ будущемъ университету, Государь Наслѣдникъ, въ 1840 году, изъявилъ ученому сословію университета живое, исполненное прекраснаго чувства участіе въ судьбахъ его. Читатели *Современника* конечно навсегда сохраняютъ въ памяти своей рескриптъ Его Императорскаго Высочества консисторіи университета по случаю празднованія тамъ двухсотлѣтняго юбилея ¹⁾. Наконецъ съ 1841 года вслѣдствіе Высочайшей воли Его Императорскаго Величества, Государь Наслѣдникъ принялъ въ непосредственное собственное вѣдѣніе дѣла Александровскаго университета.

Но университетъ, до весны нынѣшняго года, еще не имѣлъ счастья видѣть предъ собою высокаго своего канцлера. Мы увѣрены, что читатели наши съ благодарностію примутъ описаніе событія, которое уже принадлежитъ исторіи и университета и его канцлера.

Государь Цесаревичъ Великій Князь Александръ Николаевичъ изволилъ отсюда отправиться въ Гельсингфорсъ на пароходѣ, который прибылъ въ Свеаборгъ 15 мая 1842 года въ 5-мъ часу пополудни. Сильная пушечная пальба съ крѣпости возвѣстила объ этомъ вождѣнномъ событіи жителямъ Финляндской столицы. Многочисленная толпа мгновенно собралась у пристани для встрѣчи и привѣтствія Его Высочества. Всѣ окна ближнихъ домовъ были (какъ рассказываетъ очевидецъ) облѣплены лицами,

¹⁾ См. выше стр. 444.

вся площадь занята народомъ. Но къ общему сожалѣнію узнали часа черезъ два, что Великій Князь, приставъ у заведенія искусственныхъ минеральныхъ водъ, инкогнито проѣхалъ по городу и уже находился въ домѣ исправлявшаго должность генералъ-губернатора, назначенномъ для пребыванія Его Высочества. Вечеромъ Государь Цесаревичъ изволилъ ѣздить по городу въ коляскѣ, сопровождаемый г. министромъ статсъ-секретаремъ Финляндіи графомъ А. Г. Армфельтомъ. При возвращеніи, толпа, тѣснившаяся у подъѣзда, встрѣтила Его Высочество громкими *ура*.

На другой день, 16 мая, все сословіе университетскихъ чиновъ собралось въ десять часовъ утра въ домѣ подлѣ генералъ-губернаторскаго, а оттуда, по объявленному соизволенію, къ Великому Князю. Члены университета представляемы были по старшинству ихъ службы вице-канцлеромъ генераломъ отъ инфантеріи А. П. Теслевымъ. Его Высочество удостоивалъ профессоровъ вопросами объ успѣхахъ вѣренныихъ имъ частей. Съ особеннымъ благоволеніемъ Его Высочество изволилъ спрашивать ординарнаго профессора Исторіи Россіи и Русской литературы Грота, какое получили движеніе эти обѣ части, по новому плану образованныя въ университетѣ. По окончаніи представленія высокой канцлеръ объявилъ представлявшимся, что скоро увидится съ ними въ университетѣ.

Зданіе Александровскаго университета прелестно по своей классической простотѣ, красоты пропорцій и удобству для своего назначенія. Гельсингфорсъ этимъ украшеніемъ, гдѣ образуется почти все юношество Финляндіи, обязанъ щедротамъ Императора Николая Павловича. Оно построено на правильной квадратной площади противъ сената. Государь Наслѣдникъ изволилъ въ это же утро смотрѣть парадъ и затѣмъ посѣтить сенатъ. Отсюда Его Высочество прибылъ въ университетъ, котораго гѣсеница и сѣни наполнены были любопытствующими. За Великимъ Княземъ старшіе члены университета, имѣющіе право присутствовать въ консисторіи, отправились въ присутствіе. Августѣйшій канцлеръ университета изволилъ взять въ консисторіи мѣсто рек-

тора, который въ свою очередь взялъ мѣсто старшаго члена. Съ правой стороны Его Императорскаго Высочества стоялъ министръ статсъ-секретарь, а съ лѣвой вице-канцлеръ. Это конечно была одна изъ прекраснѣйшихъ минутъ въ жизни юнаго Наслѣдника престола. Въ собраніи представителей учености, которой плодамъ цѣлый край обязанъ мирными своими доблестями и чистотою нравовъ, Онъ видѣлъ себя главою ихъ и представителемъ у благодушнаго Монарха. Присутствіе открыто было чтеніемъ всемилостивѣйшаго объявленія о пожалованіи Государемъ ежегодной суммы на путешествія молодыхъ людей, отличающихся въ университетѣ успѣхами въ наукахъ и благонравіемъ. Когда графъ Армфельдъ кончилъ это чтеніе, всѣ члены консисторіи встали для изъявленія Его Высочеству благодарности за новое благодѣяніе отъ престола университету. Затѣмъ были доклады-ваемы обыкновеннымъ порядкомъ дѣла на разрѣшеніе канцлера. По окончаніи засѣданія Его Высочество изволилъ обратиться къ собранію съ слѣдующими словами: «Присутствіе Мое въ вашемъ засѣданіи Я считаю для Себя особенною честью. О вашемъ университетѣ со всѣхъ сторонъ Я слышу однѣ только похвалы — и это для Меня тѣмъ дороже, что Родитель Мой былъ здѣсь канцлеромъ. Я надѣюсь видѣть въ васъ и на будущее время тѣхъ же сподвижниковъ, которые до сихъ поръ исполняли свои обязанности столь добросовѣстно и съ такимъ усердіемъ. Я надѣюсь также, что не въ послѣдній разъ имѣю удовольствіе посреди васъ находиться». Передъ самымъ выходомъ канцлера изъ консисторіи графъ Армфельдъ доложилъ Его Высочеству, что профессоръ Гейтлинъ желаетъ имѣть счастье поднести экземпляръ Русско-Шведскаго лексикона, имъ составленнаго, какъ первый опытъ въ семъ родѣ сочиненій, а профессоръ Гротъ свое привѣтствіе, для встрѣчи Его Высочества назначавшееся.

Оставивъ залу консисторіи, Великій Князь осматривалъ прочія части университета, какъ то: музеумы, аудиторіи, и наконецъ вступилъ въ парадную залу, гдѣ стояли всѣ студенты по отдѣленіямъ, каждое при своемъ кураторѣ и инспекторѣ. Поговоривъ

прежде частно съ нѣкоторыми, Его Высочество изволилъ стать передъ кафедрою (замѣчательнымъ памятникомъ въ новомъ зданіи: она спасена отъ пожара въ Або и перевезена въ гельсингфорское зданіе университета), обратился ко всѣмъ съ трогательною рѣчью, въ которой изъявилъ свое удовольствіе студентамъ, желаніе, чтобы они также продолжали учиться и вести себя, и благодарилъ «всѣхъ, всѣхъ» за ихъ усердіе. Въ оба раза (разсказываютъ присутствовавшіе тамъ), въ консисторіи и въ залѣ, Великій Князь говорилъ съ такимъ искреннимъ благоволеніемъ, съ такою сердечною теплотой, что можно было, и не зная языка, на которомъ Онъ говорилъ, понимать Его Высочество. Это посвщеніе канцлера будетъ имѣть самое благодѣтельное вліяніе на весь составъ университета. Великій Князь изволилъ отправиться послѣ въ ботаническій садъ, на магнитную обсерваторію и осматривалъ нѣкоторые другія заведенія.

Въ день прибытія въ Гельсингфорсъ Его Высочества, вечеромъ, городъ былъ прелестно иллюминированъ; особенно лютеранская Николаевская церковь (еще не освященная) и университетская обсерваторія, на одной изъ самыхъ высокихъ скалъ устроенная, унизанная огненными полосами, чудесно сіяли на своихъ высотахъ. Передъ зданіемъ университета пылало огромное А съ двумя щитами по обѣ стороны и огнями во всѣхъ окнахъ. Окна ратуши составляли каждое особую букву, а всѣ вмѣстѣ имя: Alexander. Сенатъ и многіе изъ частныхъ домовъ также освѣщены были великолепно. На другой день, къ обѣду Его Императорскаго Высочества, имѣли счастье получить приглашеніе всѣ почетныя особы города, въ томъ числѣ и ректоръ университета профессоръ Урсинъ. Вечеромъ, въ Соціететсгусѣ, для Августѣйшаго гостя приготовленъ былъ балъ и ужинъ. Комнаты убраны были съ необыкновенною пышностію. Его Высочество пожаловалъ въ 9 часовъ и изволилъ принимать участіе въ танцахъ, а въ половинѣ 12 часа возвратился къ себѣ, объявивъ напередъ, что не имѣетъ привычки ужинать.

На слѣдующее утро, въ воскресенье, Его Высочество былъ

въ русской церкви, а послѣ изволилъ смотрѣть на стрѣльбу Финскаго стрѣлковаго баталіона. Вслѣдъ за тѣмъ представлялись Его Высочеству депутаты отъ города съ изъявленіемъ благодарности за присутствіе на балѣ. Представители Александровскаго университета имѣли счастье получить отъ Августѣйшаго канцлера драгоцѣнные подарки. Въ этотъ же день вице-канцлеръ университета давалъ для Его Высочества балъ въ залѣ заведенія искусственныхъ минеральныхъ водъ. Этотъ почти сельскій праздникъ долженъ былъ начаться въ 6 часовъ вечера. Зелень и цвѣты съ удивительнымъ вкусомъ украшали залу. У самаго подъѣзда Великій Князь былъ встрѣченъ дѣтьми генерала Теслева, которыя для высокаго гостя усыпали цвѣтами лѣстницу. Хотя Его Высочество не изволилъ танцевать, но удовольствіе и участіе въ общемъ веселіи видимо изображались на лицѣ. Онъ милостиво удостоивалъ разговорами окружавшихъ его. Въ 9 часовъ Великій Князь изволилъ оставить залу; у подъѣзда уже коляска ожидала Его Высочество. Всѣ присутствовавшіе, даже дамы, устремились мгновенно къ выходу, чтобы еще разъ имѣть счастье взглянуть на удалявшагося гостя, котораго посѣщеніе конечно останется незабвенною эпохою въ лѣтописяхъ Гельсингфорса. Между тѣмъ на берегу, у морскихъ купалень, въ виду которыхъ стоялъ пароходъ, уже собралась густая толпа народа. На деревянной косѣ помѣстились всѣ студенты. Когда Его Высочество изволилъ сѣсть въ шлюпку, въ народѣ раздалось *ура*, а студенты запѣли стихи, сочиненные на финскомъ языкѣ профессоромъ Линсѣномъ. Вотъ они въ русскомъ переводѣ:

«Юный Хранитель нашъ! свѣтлой надежды
Образъ прекрасный для юныхъ сердецъ!
Чистая радости скромный привѣтъ
Съ трепетомъ нынѣ Тебѣ мы поемъ.
«Сердце младое открыто в пылко:
Съ нашимъ не сходно ли бьется Твое?
Да! Мы читаемъ такъ ясно объѣтъ

Нашего счастья во взорѣ Твоемъ.

«О, какъ внушаетъ Твой видъ нетерпѣнны
Дѣломъ заботы Твоя оправдать,
Съ цѣлью высокою выступить въ свѣтъ,
Правдѣ служить безкорыстнымъ трудомъ».

Великій Князь два раза изволилъ вставать и благодарить ихъ. Во все время, пока шла шлюпка Его Высочества, голоса студентовъ не умолкали. Тутъ слышалось сперва народное наше: Боже, Царя храни, прекрасно переведенное на шведскій языкъ, и наконецъ общее *ура*. Въ добродушномъ восторгѣ своемъ, студенты не только пѣли, но и махали безпрестанно шляпами своими. Возвратившійся на берегъ отъ парохода лоцманъ рассказывалъ, что и Его Императорское Высочество, взомедъ на пароходъ, махалъ имъ въ отвѣтъ фуражкой. Пѣніе студентовъ тогда только замолкло, когда пароходъ исчезъ изъ ихъ вида.

ЧИЧИКОВЪ ИЛИ МЕРТВЫЯ ДУШИ, ГОГОЛЯ ¹⁾.

1842.

I.

Къ вамъ, г. редакторъ Современника, я обращаюсь съ моими замѣчаніями о новомъ сочиненіи Гоголя и о другихъ предметахъ, прикосновенныхъ къ дѣлу критики — потому къ вамъ, что сами вы не любите говорить много, и еще болѣе потому, что, кажется, не занимаетесь сужденіями другихъ журналистовъ. Слѣдовательно вы, какъ говорится, человекъ свѣжій.

Я прочиталъ въ Сѣверной Пчелѣ, что у Гоголя, судя по Чичикову, нѣтъ таланта, что книга написана безъ вкуса, и что даже

¹⁾ *Современникъ* XXVII, 19 — 61. Подъ статью вымышленная подпись С. Ш. съ прибавленіемъ: «19 іюня 1842. Житомиръ».

она наполнена литературными непристойностями. Обвиненія, возведенныя на писателя, давно извѣстнаго съ хорошей стороны публикѣ, естественно заставили меня поскорѣе приняться за чтеніе поэмы. По-моему выходитъ, что Гоголь едва ли не на столько же поднялся выше въ искусствѣ, сравнительно съ прежними его произведеніями, сколько онъ своимъ талантомъ вообще превосходитъ теперешнихъ русскихъ писателей. Скажу болѣе: мнѣ кажется странно, говоря о немъ, входить въ объясненіе, чѣмъ сочиненіе его лучше той или другой книги изъ напечатанныхъ съ нимъ въ одно время. У него въ искусствѣ не видно уже авторскаго усилія приблизиться къ опредѣленной цѣли, какъ напримѣръ навести читателя на любимую идею, развеселить его забавною сценою, растрогать идеальною картиною горестнаго положенія, красивымъ описаніемъ природы приготовить воображеніе къ поразительной нечаянности, и тому подобное. Онъ самъ весь проникнуть жизнію — и вмѣсто того, чтобы сочинять, онъ воплощаетъ въ дѣйствительность свою внутреннюю жизнь, это чудное вмѣстилище всего внѣшняго. Вышедши изъ своего уединенія мысли на поприще явленій жизни, онъ обязанность созерцателя перемѣняетъ на ощущеніе дѣйствующихъ, и мы видимъ только рядъ поразительныхъ сценъ, не подозревая, что дѣло состоитъ въ искусствѣ автора. Таково было всегда разстояніе отъ великихъ, впрочемъ столь рѣдко появляющихся художниковъ, до самыхъ умныхъ, разборчивыхъ и всякой похвалы достойныхъ ихъ учениковъ или послѣдователей. То, что говорили у васъ въ Петербургѣ объ игрѣ Листа, меня наводитъ на эту же мысль. Состояніе души его во время исполненія музыки, и то, чѣмъ сила его чуднаго постиженія наполняетъ, проникаетъ, такъ сказать, дробящіеся у другого звуки, и то, что онъ дѣйствительною сочувствіемъ съ идеею автора вносить въ сердце слушателей, развѣ это все усиліе искусства, а не страданіе или радость жизни? Развѣ можно при этомъ говорить о чистотѣ, вкусѣ и бѣглости игры другого артиста, чтобы каждому отдать ему принадлежащее?

II.

Вы не подумаете конечно, что поэма Гоголя начата безъ основной идеи, что искусство ему не покоряется, и что онъ влечется за мимолетающими ощущеніями. Но дѣло въ томъ, что у писателей высшаго разряда, какъ въ самой природѣ, явленія просты, доступны постиженію всякаго, а зараждаемыя ими мысли разнообразны, обширны и толпятся въ душѣ во всѣхъ видахъ, какіе только созерцающая душа воспринимать способна. Сколько людей разсматриваетъ, наприм., заходженіе солнца. Всѣмъ знакомы явленія, его сопровождающія, между тѣмъ какъ у каждаго изъ размышляющихъ почти всякій разъ возникаетъ новая идея при этомъ зрѣлищѣ. На книгу Гоголя нельзя иначе смотрѣть, какъ только на вступленіе къ великой идеѣ о жизни человѣка, увлекаемаго страстями жалкими, но неотступно дѣйствующими въ мелкомъ кругу общества. Мы еще не знаемъ, куда вынесетъ его этотъ потокъ, а между тѣмъ видимъ развитіе первыхъ склонностей души и уже прожили съ героемъ періодъ замѣчательный, не по дѣйствіямъ его, но по впечатлѣніямъ. То еще впереди, что въ поэмѣ называется дѣйствіемъ: передъ нами только поднята завѣса для объясненія первыхъ, странныхъ его шаговъ. Незвѣстный никому человѣкъ прибылъ въ губернской городъ. Исполнивъ извѣстные обряды общежитія, онъ втирается въ тамошній кругъ. Это представляетъ ему возможность завести по-одиначкѣ съ каждымъ изъ владѣльцевъ неожиданный и неслыханный до толѣ торгъ. Онъ видитъ уже исполнившимся намѣреніе свое. Но тайна его полуоткрыта — и онъ едва успѣваетъ убраться изъ города.

Вотъ какъ еще немного развито дѣйствіе, если говорить о сочиненіи, измѣряя достоинство его тѣмъ, чѣмъ питается праздное и немыслищее любопытство. Но въ сущности искусствъ не вымыселъ важенъ, а жизнь. Ея полное и поэтическое развитіе есть прямая цѣль великихъ художниковъ. Накопленіе разнообразныхъ періодовъ жизни безъ глубокаго и вѣрнаго ихъ обозначенія во

власти каждого писателя, хотя бы онъ былъ безъ таланта и призванія. Конечно есть правило въ критикѣ: не останавливать движенія дѣйствія. Но какъ понимать его? Значитъ ли это безпрестанно прибавлять что-нибудь новое къ общему ходу исторіи? Совсѣмъ нѣтъ. Какъ въ дѣйствительной жизни наружное движеніе не доказываетъ еще внутренней дѣятельности, которая одна по справедливости называется нашею жизнію; такъ и въ произведеніи искусства развитіе дѣятельности каждого момента есть истинно-художническое движеніе. Впрочемъ критика, на теоріи основанная, и критика, рождающаяся въ минуты созерцанія самыхъ явленій, часто не соглашаются между собою — по причинамъ, очень понятнымъ каждому опытному судѣ. Всѣ правила сами по себѣ конечно должны быть хороши, потому что рождаются отъ долговременныхъ наблюденій. Но примѣненіе этихъ правилъ есть опытъ, зависящій отъ силъ cadaго. Кто ихъ условія знаетъ самъ собою, тотъ и дѣйствуетъ успѣшно; а кто ловитъ ихъ и бессознательно примѣняетъ, тотъ производитъ одну механическую работу, ничего не творя художнически.

III.

Для того, что теперь напечаталъ Гоголь, онъ взялъ планъ до такой степени простой и незаманчивый, что автора можно упрекать въ отсутствіи разнообразія хода поэмы. У него одиннадцать главъ. Первая содержитъ описаніе прибытія Чичикова, а послѣдняя отъѣздъ. Средина заключаетъ сцены то у помѣщиковъ, продающихъ ему не только бесполезное, но и тягостное имущество свое, то у городскихъ его знакомыхъ. Главное дѣйствующее лицо пока одинъ Чичиковъ, лицо, еще не высказавшееся, не герой, по старымъ понятіямъ, не идеаль, по требованіямъ эстетики, а человѣкъ обыкновенный, съ какою-то неизвѣстною намъ цѣлю, немножко осторожный, впрочемъ попавшійся уже разъ въ бѣду отъ своей неосмотрительности. При немъ слуга и кучеръ — безъ всякаго отношенія къ его дѣлу. Болѣе выказавшіяся и, каждое

въ своемъ мѣстѣ, болѣе дѣйствующія лица найдены авторомъ въ томъ обществѣ, посреди котораго очутился нашъ герой. Они лучше всего доказываютъ, какое неистощимое богатство характеровъ, оттѣнковъ, наблюденій, всѣхъ видимыхъ и сокровенныхъ движеній жизни хранится въ душѣ автора. Я могъ бы вамъ исчислить очень обстоятельно лица, выведенныя въ поэмѣ, и обозначить приблизительно черты каждаго изъ нихъ. Но все это не будетъ ничего доказывать. Можетъ быть, другой сочинитель еще болѣе наберетъ лицъ и представитъ ихъ въ такихъ обстоятельствахъ, которыхъ тема многозначительнѣе. Но можно ли уже сказать, судя по одному плану, что произведение будетъ совершеннѣе? Все въ немъ зависитъ отъ совершенства исполненія. А этого нельзя иначе почувствовать, какъ читая книгу, или вѣрнѣе сказать, проживъ съ лицами весь періодъ, обнятый сочинителемъ.

Изображеніе цѣлаго общества, или порознь его членовъ, столько принимаетъ особенностей, что невозможно никакой на это привести классификаціи. По большей части мы замѣчаемъ тутъ особенность самого автора. Но самыя высшія, какъ говорятъ, красоты этого рода уже доказываютъ неуспѣхъ. Краски и тонъ должны выразить жизнь представляемаго, а не представляющаго. Если и замѣтно въ авторѣ стремленіе къ достиженію этой цѣли, сколько видоизмѣненій окажется въ созданіи въ соотвѣтственность чувству, уму и воображенію писателя! Изучая произведение, самый критикъ, безъ сочувствія, безъ равенства эстетическихъ силъ данныхъ природою художнику, не впадетъ ли въ собственные ошибки? Всѣ подобнаго рода соображенія надобно имѣть въ виду, когда мы желаемъ произнести или принять мнѣніе касательно всякой новой книги, а тѣмъ болѣе созданія ума высшаго и необыкновенно оригинальнаго.

IV.

Гоголь, какъ я сказалъ, возвелъ характеръ искусства въ поразительное явленіе самой жизни. Онъ, въ этомъ художническомъ отчужденіи собственнаго участія, такъ превосходитъ всѣхъ пи-

сателей, что нерѣдко перестаешь подозрѣвать его присутствіе тамъ, гдѣ онъ, какъ рассказчикъ, обязанъ находиться. Онъ весь проникнуть сферою движущагося около него общества, дѣлать его образъ мыслей, говорить его языкомъ, признаетъ за истину всякую, самую ложную его идею — и такимъ образомъ ничто васъ не потревожитъ въ очарованіи созданной имъ дѣйствительности. Послушайте наприим. толки городскихъ жителей, прослышавшихъ, что Чичиковъ накупилъ крестьянъ на выводъ.

«Покупки Чичикова сдѣлались предметомъ разговоровъ. Въ городѣ пошли толки, мнѣнія, разсужденія о томъ, выгодно ли покупать на выводъ крестьянъ. Изъ преній многія отзывались совершеннымъ познаніемъ предмета. «Конечно, говорили иные, это такъ, противъ этого и спору нѣтъ: земли въ южныхъ губерніяхъ точно хороши и плодородны; но каково будетъ крестьянамъ Чичикова безъ воды? рѣки вѣдь нѣтъ никакой. Это бы еще ничего, что нѣтъ воды, это бы ничего, Степанъ Дмитріевичъ, но переселеніе-то ненадежная вещь. Дѣло извѣстное, что мужикъ, на новой землѣ, да заняться еще хлѣбопашествомъ, да ничего у него нѣтъ, ни избы, ни двора, убѣжить какъ дважды-два, наострить такъ лыжи, что и слѣда не отыщешь». «Нѣтъ, Алексѣй Ивановичъ, позвольте, позвольте: я несогласенъ съ тѣмъ, что вы говорите, что мужикъ Чичикова убѣжить. Русскій человѣкъ способенъ ко всему и привыкаетъ ко всякому климату. Пошли его хоть въ Камчатку, да дай только теплыя рукавицы, онъ похлопаетъ руками, топоръ въ руки, и пошелъ рубить себѣ новую избу». «Но, Иванъ Григорьевичъ, ты упустилъ изъ виду важное дѣло: ты не спросилъ еще, каковъ мужикъ у Чичикова? Позабылъ то, что вѣдь хорошаго человѣка не продастъ помѣщикъ. Я готовъ голову положить, если мужикъ Чичикова не воръ и не пьяница въ послѣдней степени, празднопатайка, и буйнаго поведенія». «Такъ, такъ, на это я согласенъ. Это правда: никто не продастъ хорошихъ людей, и мужики Чичикова пьяницы; но нужно принять во вниманіе, что вотъ тутъ-то и есть мораль, тутъ-то и заключена мораль: они теперь него-

днѣ, а переселившись въ новую землю, вдругъ могутъ сдѣлаться отличными подданными. Ужъ было немало такихъ примѣровъ: просто въ мирѣ, да и по исторіи тоже». «Никогда, никогда, говорилъ управляющій казенными фабриками, повѣрьте, никогда, это не можетъ быть, ибо у крестьянъ Чичикова будутъ теперь два сильные врага: первый врагъ есть близость губерній Малороссійскихъ, гдѣ, какъ извѣстно, свободная продажа вина. Я васъ увѣряю: въ двѣ недѣли они изопьются и будутъ стельки. Другой врагъ есть уже самая привычка къ бродяжнической жизни, которая необходимо пріобрѣтется крестьянами во время переселенія. Нужно развѣ, чтобы они вѣчно были предъ глазами Чичикова, и чтобъ онъ держалъ ихъ въ ежовыхъ рукавицахъ, гонялъ бы ихъ за всякій вздоръ, да и не то, чтобы полагаясь на другого, а чтобы самъ-таки лично, гдѣ слѣдуетъ, далъ бы и зуботычину и подзатыльника». Зачѣмъ же Чичикову возиться самому и давать подзатыльники? Онъ можетъ найти и управителя. Да, найдете управителя! все мошенники». «Мошенники потому, что господа не занимаются дѣломъ». «Это правда, подхватили многіе. Знай господинъ самъ хотя сколько-нибудь толку въ хозяйствѣ, да умѣй различать людей; у него будетъ всегда хорошій управитель. Но управляющій сказалъ, что меньше, какъ за 5000, нельзя найти хорошаго управителя. Но предсѣдатель сказалъ, что можно и за 3000 сыскать. Но управляющій сказалъ: гдѣ же вы его сыщете? развѣ у себя въ носу? Но предсѣдатель сказалъ; нѣтъ не въ носу, а въ здѣшнемъ же уѣздѣ, именно Петръ Петровичъ Самойловъ; вотъ управитель, какой нуженъ для мужиковъ Чичикова». Многіе сильно входили въ положеніе Чичикова, и трудность переселенія такого огромнаго количества крестьянъ ихъ чрезвычайно устрашала. Стали сильно опасаться, чтобы не произошло даже бунта между такимъ безпокойнымъ народомъ, каковы крестьяне Чичикова. На это полицмейстеръ замѣтилъ что бунта нечего опасаться, что въ отвращеніе его существуетъ власть капитанъ-исправника; что капитанъ-исправникъ самъ хоть и не ѣзди, а пошли только на мѣсто себя одинъ картузь свой, то одинъ этотъ картузь погонять

крестьянъ до самаго мѣста ихъ жительства. Многіе предложили свои мнѣнія на счетъ того, какъ искоренить буйный духъ, обурававшій крестьянъ Чичикова. Мнѣнія были всякаго рода; были такія, когорыя уже чрезчуръ отзывались военною жестокостію и строгостію, едва ли не излишнею; были однакоже и такія, когорыя дышали кротостію. Почтмейстеръ замѣтилъ, что Чичикову предстоитъ священная обязанность, что онъ можетъ сдѣлаться среди своихъ крестьянъ нѣкотораго рода отцомъ, по его выраженію: ввести даже въ благодѣтельное просвѣщеніе, и при этомъ случаѣ отозвался съ большою похвалою объ Ланкастеровой школѣ взаимнаго обученія.

«Такимъ образомъ разсуждали и говорили въ городѣ, и многіе, побѣждаемые участіемъ, сообщили даже Чичикову лично нѣкоторые изъ сихъ совѣтовъ, предлагали даже конвой для безопаснаго препровожденія крестьянъ до мѣста жительства. За совѣты Чичиковъ благодарилъ, говоря, что при случаѣ не преминетъ ими воспользоваться, а отъ конвоя отказался рѣшительно, говоря, что онъ совершенно не нуженъ, что купленные имъ крестьяне отменно смирнаго характера, чувствуютъ сами добровольное расположеніе къ переселенію, и что бунта ни въ какомъ случаѣ между ними быть не можетъ»

Приведенный мною отрывокъ есть общій очеркъ значительной части общества, посреди котораго находится Чичиковъ. Я предпочелъ это спокойное изложеніе сужденій рѣзкимъ явленіямъ какого-нибудь частнаго случая, именно потому, что оно менѣе представляетъ успѣха обыкновенному писателю. Въ усиліи набросать, при заготовленной сценѣ, каррикатурный или даже высокій характеръ, не мудрено попасть на удачу и сорвать дань улыбки или похвалу читателя; но это я называю искусствомъ, чтобы не сказать вѣрнѣе ремесломъ. Оно говоритъ много въ пользу труда, и ничего можетъ не доказывать въ истинѣ таланта. Но отсутствіе усилія, естественное положеніе всѣхъ лицъ и между тѣмъ всеобщая жизнь и постоянное дѣйствіе комической красоты —

вотъ что изумляетъ въ авторѣ, повидимому безпечномъ и все пред-оставившемъ самой природѣ.

V.

Вы найдете во многихъ сочиненіяхъ сцены или по крайней мѣрѣ отрывки, со всею вѣрностію перенесенные изъ жизни въ область искусства. Между тѣмъ отъ нихъ нисколько не выигрываетъ книга, точно такъ, какъ она остается безъ малѣйшаго достоинства, удовлетворивши всѣмъ требованіямъ теоріи. Какъ владѣтъ предметомъ: ожидать ли полного его развитія въ самой жизни, возводить ли его въ идеальное состояніе, ограничиваться ли въ его бытіи лучшими моментами, подчиниться ли слѣпо его собственной натурѣ? это все вопросы, ежедневно раждающіеся, когда дѣло доходить до критики; но вопросы, которыхъ ни суды, ни подсудимые удовлетворительно разрѣшить не могутъ. Противъ cadaго приговора можно поставить множество явленій, которыя торжественно будутъ доказывать то односторонность, то полное заблужденіе судей. Въ душѣ человѣка, одареннаго талантомъ, неизъяснимо, можетъ-быть и безотчетно, но вѣрно и могущественно дѣйствуетъ это чувство, этотъ вкусъ, этотъ тактъ, сколько, гдѣ и когда надобно воплощать природу, а равнымъ образомъ сколько, гдѣ и когда не довѣрять ей и образовать собственное цѣлое, лишь бы оно въ согласіи было съ ея законами.

Если бы успѣхъ искусства постоянно зависѣлъ отъ устраненія безполезныхъ усилій производящей способности души, много бы у насъ сочиненій достигло того совершенства, которое поражаетъ меня въ Гоголѣ. Итакъ несомнѣнно тутъ сокрыта высочайшая дѣятельность таланта въ соединеніи съ этимъ непостижимымъ, какъ я сказалъ, тактомъ, или съ этою врожденною восприимлемостію однѣхъ художническихъ красотъ всякаго предмета. Отчего, напримѣръ, столько неожиданныхъ перерывовъ въ частяхъ, повидимому требовавшихъ равной отдѣлки? Есть рѣчи, которыя льются нескончаемо, а другія едва начаты и прерваны. Есть характеры, которые развиты и снова пополняются, а много

едва намѣченныхъ. Подобныхъ вопросовъ много. Но явленія не случайны. Они постигнуты сочувствіемъ поэта съ таинствомъ не книжной, а его собственной внутренней эстетики, которая, будь она приведена имъ въ науку, привела бы другого къ заблужденіямъ и ошибкамъ, столько разъ повторявшимся отъ теорій.

VI.

Въ произведеніяхъ искусствъ, называемыхъ изящными, первое достоинство заключается въ независимости созданія. Она составляетъ самый несомнѣнный признакъ, что художникъ творитъ по призванію природы, и слѣдовательно законно вступаетъ на свое поприще. Независимость не отстраняетъ другихъ совершенствъ, заключающихся въ самой идеѣ, всякаго изящнаго произведенія, которое не отходитъ ни въ чемъ отъ общихъ законовъ природы, то есть, истины. Но исполненіе послѣднихъ еще не доказываетъ самобытности таланта, который долженъ всему въ твореніи сообщить собственное содержаніе, объемъ, части, характеръ, форму, краски и выраженіе. Все это поразительно чувствуешь, читая *Мертвые души*. И прежде Гоголя были писатели съ настроеніемъ чисто комическимъ. И прежде него провинція давала богатый матеріалъ талантамъ. И прежде него смѣсъ европейскихъ нравовъ съ невѣжествомъ и безвкусіемъ рѣзко отражалась то въ романахъ, то въ комедіяхъ, то въ повѣстяхъ. И прежде Гоголя простонародный языкъ игралъ веселую роль на устахъ героевъ, подмѣченныхъ авторами въ глуши, на облучкѣ саней, въ людской избѣ, или даже въ нашей вентѣ. Мы всѣ читали это съ удовольствіемъ, начавъ съ Фонвизина и кончивъ М. Н. Заголкинымъ. Но вслушайтесь повнимательнѣе въ какой угодно разговоръ, помѣщенный въ Чичиковѣ Гоголемъ. Напримѣръ, вотъ старая помѣщица Коробочка. Чичиковъ попалъ къ ней изъ дороги ночью. Они сошлись утромъ у самовара.

— Здравствуйте, батюшка. Каково почивали? сказала хозяйка, приподнимаясь съ мѣста. Она была одѣта лучше, нежели вче-

ра: въ темномъ платьѣ, и уже не въ спальномъ чепцѣ; но на шеѣ все также было что-то навязано. ¹⁾

— «Какъ же: Протопопа, отца Кирила, сынъ служить въ палатѣ, сказала Коробочка. Чичиковъ попросилъ ее написать къ нему довѣренное письмо, и чтобы избавить лишнихъ затрудненій, самъ даже взялся сочинить».

Сцена еще не оканчивается здѣсь. Угощеніе, послѣдовавшее за совершившимся торгомъ, изображено столько же оригинально, какъ и живо. Но мы ограничимся выписанными мѣстами. Они достаточно могутъ показать, въ чемъ состоитъ независимость таланта Гоголя. Развитіе идей въ обоихъ лицахъ, настойчивость съ одной стороны, трусливость и корыстолюбіе съ другой, хитросплетенныя доказательства обманщика и простодушныя опроверженія глупой старухи, ихъ рѣчи, то сжатые, то многословныя, но всегда вѣрныя духу нашего неистощимо-разнообразнаго языка, вѣрныя рѣзкимъ особенностямъ народнаго мышленія — все является въ какомъ-то чудномъ, поразительномъ образѣ, проникнутомъ и новостію, и истиною, безъ малѣйшихъ излишествъ, безъ переувеличеній, въ естественномъ движеніи, въ полнотѣ и въ завидномъ спокойствіи, которое одно сообщаетъ сценѣ высокое значеніе въ художественномъ отношеніи. Я изъяснилъ уже прежде, почему характеры, дѣйствія и положенія лицъ не въ усиленномъ состояніи, въ состояніи жизни безыскусственной, предпочитаю всѣмъ вымысламъ разительнымъ, часто призываемымъ въ искусства за недостаткомъ естественнаго могущества красоты. По этой самой причинѣ я здѣсь привелъ примѣръ, который свидѣтельствуетъ, сколько внутренней силы, не зависящей отъ условныхъ достоинствъ труда, вложила природа въ душу художника. Его собственный, проницательный, вѣрный взглядъ возводитъ въ эстетическую сферу такія обстоятельства, изъ которыхъ обыкно-

¹⁾ Для сбереженія мѣста пропускаемъ здѣсь длинную выписку, оканчивающуюся словами, которыя за симъ включаемъ въ текстъ.

венный писатель не извлекъ бы ничего, кромѣ натянутыхъ остротъ и скучныхъ шуточекъ. У Гоголя, напротивъ, никто не смѣшонъ, потому что въ жизни и дѣйствіяхъ каждаго есть истина, убѣждающая читателя. Перейдешь по всѣмъ отдѣленіямъ вещей и лицъ, не только начиная отъ Селифана, но и отъ самого Чуба-раго, до легковоздушной институтки и ея отца, и ни въ чемъ не откроешь тѣни подложнаго или сомнительнаго: все возникаетъ изъ закона внутренней жизни, слѣдовательно все появляется не для потѣхи, не отъ умыслу на забаву, а по назначенію, по призванію природы: и такъ все серьезно, все важно, все внушаетъ естественное участіе.

VII.

Вы конечно не удивитесь, что книгу, которая можетъ служить источникомъ и образцомъ комической красоты, я нахожу серьезною. Въ противоположность серьезному я представляю все, что говорится или дѣлается съ видимымъ сознаніемъ не-истины, шутки, и т. п. Въ Чичиковѣ, какъ можно было замѣтить по многимъ мѣстамъ первой моей выписки, не только дѣйствующія лица, но и самъ авторъ такъ проникнуты сочувствіемъ съ малѣйшимъ обстоятельствомъ описываемыхъ предпріятій и жизни, что нерѣдко и читатель перестаетъ быть постороннимъ лицомъ, нечувствительно увлекаясь въ окружающую его сферу. Нѣтъ сомнѣнія, что все это слѣдствіе искусства; но въ томъ и торжество таланта, что онъ изъ него умѣлъ создать дѣйствительность. По моему вкусу, тѣ только черты выбиваются изъ этой волшебной комедіи, которыя рѣзко наводятъ на умышленную эффектность, какъ наприм., нѣсколько словъ въ устахъ Манилова и нѣсколько поступковъ въ жизни Плюшкина. Первое лицо, идеаль приторной вѣжливости, можетъ-быть, и подмѣчено авторомъ въ натурѣ, но по своей рѣдкости отзывается *сочиненіемъ*. Плюшкинъ упадаетъ нѣсколько въ толпу подобныхъ себѣ скрягъ, уже выведенныхъ столько разъ на сцену. Вѣроятно, самые недостатки его ху-

дожественности, т. е. все переувеличенное въ его поступкахъ, и заслужать ему похвалы отъ людей, которые неспособны ничѣмъ быть тронуты, кромѣ переувеличенія.

Между тѣмъ, въ этомъ же изображеніи Плюшкина находится рассказъ, погружающій читателя въ тѣ невольныя, глубокія думы, которыя возникаютъ въ душѣ каждый разъ, когда ее поражаютъ печальныя, но несомнѣнныя истины. Это описаніе постепенности паденія человѣка.

«А вѣдь было время, когда Плюшкинъ только былъ бережливымъ хозяиномъ¹⁾» . . .

Дополнивъ это развитіе характера спенами, авторъ, какъ бы въ негодованіи на своего актера, восклицаетъ:

«И до такой ничтожности, мелочности, гадости могъ снизойти человѣкъ! могъ такъ измѣниться! И похоже это на правду! Все похоже на правду: все можетъ статься съ человѣкомъ. Нынѣшній же пламенный юноша отскочилъ бы съ ужасомъ, если бы показали ему его же портретъ въ старости. Забирайте же съ собою въ путь, выходя изъ мягкихъ юношескихъ лѣтъ въ суровое ожесточающее мужество, забирайте съ собою всѣ человѣческія движенія, не оставляйте ихъ на дорогѣ; не подымете потомъ! Грозна, страшна грядущая впереди старость, и ничего не отдастъ назадъ и обратно. Могила милосердіе ея; на могилѣ напишется здѣсь погребенъ человѣкъ! но ничего не прочитаешь въ хладныхъ безчувственныхъ чертахъ безчеловѣчной старости».

Вы чувствуете, что тотъ же самый Плюшкинъ, надъ которымъ за минуту нельзя было не смѣяться, довелъ васъ до созерцанія красоты высокой. Такъ все во власти великаго таланта.

¹⁾ И т. д. до словъ: «Плюшкинъ приласкалъ обоихъ внуковъ и, посадивши ихъ къ себѣ — одного на правое колѣно, а другого на лѣвое, — покачалъ ихъ совершенно такимъ образомъ, какъ будто они ѣхали на лошадахъ, куличъ и халатъ взялъ, но дочери рѣшительно ничего не дала; съ тѣмъ и уѣхала Александра Степановна».

VIII.

Ежели характеры Манилова, который отъ всякаго слова улыбається и въ сладостномъ умиленіи почти зажмуриваетъ глаза, и Плюшкина, одѣлаго такъ, что вы не узнаете издали, кто передъ вами: мужикъ или баба, — ежели эти характеры мнѣ кажутся сочиненными, я это говорю не потому, чтобы авторъ въ ихъ быть не довольно внесъ жизни и ея частныхъ — ихъ столько, что для обыкновеннаго писателя довольно было бы на порядочную книгу — но мнѣ кажется, что въ поэмѣ, которая такъ ярко отражаетъ все народное, предпочитать надобно и самыя особенности или даже странности болѣе свойственныя націи, нежели просто общечеловѣческія. Народная поэма есть исторія въ лицахъ, между которыми, естественно, избираются выставляющіея чаще и ярче. Вотъ что противъ изображенія Плюшкина сказалъ самъ Гоголь:

«Итакъ, вотъ какого рода помѣщикъ стоялъ передъ Чичиковымъ. Должно сказать, что *подобное явленіе рѣдко попадаетъ на Руси*, гдѣ все любить скорѣе развернуться, нежели съжаться, и тѣмъ поразительнѣе бываетъ оно, что тутъ же въ сосѣдствѣ подвернется помѣщикъ, кутящій во всю ширину русской удали и барства, прожигающій, какъ говорится, насквозь жизнь. Небывалый пробѣжій остановится съ изумленіемъ при видѣ его жилища, недоумѣвая, какой владѣтельный принцъ очутился внезапно среди маленькихъ, темныхъ владѣльцевъ: дворцами глядятъ его бѣлые каменные дома съ безчисленнымъ множествомъ трубъ, бельведеровъ, флюгеровъ, окруженные стадомъ флигелей и всякими помѣщеніями для пріѣзжихъ гостей. Чего нѣтъ у него? театры, балы; всю ночь сіяетъ убранный огнями и плошками, оглашенный громомъ музыки, садъ. Полгубернія разодѣто и весело гуляетъ подъ деревьями, и никому не является дикое и грозящее въ семъ насильственномъ освѣщеніи, когда театрално выскакиваетъ изъ древесной гущи озаренная поддѣльнымъ свѣтомъ вѣтвь, лишенная своей яркой зелени, а вверху темнѣе и суровѣе, и въ двадцать разъ грознѣе, является чрезъ то ночное небо, и, далеко

трепеща листьями въ вышинѣ, уходя глубже въ непробудный мракъ, негодуютъ суровыя вершины деревъ на сей мишурный блескъ, освѣтившій снизу ихъ корни».

Мы живемъ въ эпоху, въ которую отъ каждого художника критика требуетъ ближайшаго, ясно высказавшагося соотношенія между жизнью и произведеніемъ искусства. Если поэтъ и вздумаетъ въ своемъ созданіи возобновить дѣйствіе другой націи или давно прошедшаго времени, тѣмъ не менѣе отъ него мы требуемъ полнаго изученія избраннаго имъ предмета и самаго неподдѣльнаго сочувствія съ жизнью прошлою. Теперь странно вносить въ художества неопредѣленныя идеи, вѣрныя по изученію сердца человѣческаго вообще, но не схваченныя на извѣстномъ мѣстѣ и въ извѣстное время. Такого рода художественныя задачи забыты въ старыхъ книгахъ и отяжелѣвшихъ школахъ. Поэма Гоголя во всѣхъ прочихъ частяхъ можетъ служить образцомъ соотношенія между жизнью и искусствомъ. Я могъ бы указать на каждый изъ выведенныхъ имъ характеровъ, какъ они окружаютъ читателя явленіями русской жизни. Но меня особенно поражаетъ довершенность въ объемѣ всякаго изъ нихъ. Указать на извѣстныя черты какого-нибудь лица можно и не бывши великимъ поэтомъ. У кого есть нѣсколько наблюдательности, памяти и соображенія, тотъ и достигнетъ до описанія удачнаго. Но исчерпать всю глубину недѣлимаго, постигнуть его во всѣхъ обстоятельствахъ; разобрать самыя противоположности его дѣйствій и привести ихъ къ одному началу — вотъ труднѣйшая задача, которую рѣшили одни геніальные писатели. Укажу вамъ на характеристику Поздрева. Не говоря уже о томъ, какъ въ каждомъ его движеніи разыгрывается сцена типической жизни, наблюдайте его во всѣхъ явленіяхъ, гдѣ только авторъ встрѣчается съ нимъ — вы изумлены будете неистощимостію его оттѣнковъ, всегда новыхъ, всегда поэтическихъ, всегда истинныхъ, всегда однородныхъ при самыхъ противорѣчащихъ по наружности дѣйствіяхъ. Подлѣ нашего Поздрева итальянецъ Яго покажется очеркомъ, не болѣе: такъ широко провелъ Гоголь по картинѣ своею мастерскою кистью.

IX.

При всѣхъ достоинствахъ, которыя зависѣли единственно отъ таланта художника, поэма конечно поразить cadaго недостаткомъ важнымъ. Въ ней нѣтъ того, чего мы еще не встрѣчаемъ въ нашей жизни — серьезнаго общественнаго интереса. Я не умѣлъ придумать другого названія тому качеству нашихъ разговоровъ, мыслей и поступковъ, которое, не отнимая у нихъ особенностей національности, придаетъ имъ цѣнность общую и вводитъ ихъ съ соприкосновеніе съ интересами другихъ народовъ. Самыя поразительныя мѣста, отъ которыхъ приходишь въ восхищеніе, не выносятъ души на тотъ горизонтъ, откуда она обзрѣваетъ подобныя явленія у иностранныхъ писателей. Во всемъ чувствуешь мелочность и ограниченность. Въ первой моей выпискѣ, гдѣ на сценѣ цѣлое общество, разговоръ живъ, разнообразенъ; въ немъ исчерпано все комическое, прямо относящееся къ тому случаю, о которомъ идетъ рѣчь — но онъ прекрасенъ только относительно, когда читатель какъ-нибудь сближенъ съ понятіями общества. Для иностранца, который не въ состояніи трепетать отъ художческаго мастерства автора, вся прелесть исчезаетъ за недостаткомъ жизни болѣе цѣнной и болѣе общепонятной. Это все нисколько не говоритъ противъ Гоголя, напротивъ, еще оправдываетъ его. Авторъ безъ такту, привыкнувшій обманываться въ своихъ ощущеніяхъ, легко подымающійся на ходули, когда не на чемъ болѣе показаться высокимъ, обыкновенно поддѣлывается подъ какой-нибудь извѣстный ему тонъ — и такимъ образомъ все рисуетъ ложно. Гоголь возвратилъ обществу то, что оно могло ему дать само. Исключенія встрѣчаются или въ другомъ разрядѣ людей, или, проглядывая даже здѣсь, не входятъ еще въ жизнь какъ черты рѣзкія. Какъ прежняя, такъ и нынѣшняя наша общежительность хранить въ своей исторіи любопытныя доказательства въ оправданіе того, что и у всѣхъ самыхъ великихъ писателей русскихъ степень развитія интересовъ всегда была ниже, нежели у писателей другихъ народовъ.

Я не смѣшиваю этого достоинства съ развитіемъ происшествія въ поэмѣ или романѣ. Тутъ снова требованіе обращается къ автору. Если въ вышедшемъ томѣ поэмы Гоголя мы не удовлетворены съ этой стороны, обвинять его ни кто не въ правѣ. Онъ самъ объявилъ, что теперь напечаталъ одно вступленіе, слѣдственно поэма, въ собственномъ смыслѣ, еще впереди. О ней заключеніе надобно поберечь до выхода обѣщанныхъ двухъ томовъ.

X.

Въ языкѣ поэмы есть недосмотры. Гоголь воображеніемъ своимъ такъ сливается съ образомъ вещей и лицъ, о которыхъ рассказываетъ, или которыя заставляетъ дѣйствовать, что удобство или красоту размѣщенія словъ совсѣмъ опускаетъ изъ виду, лишь бы не ослабить силы представленія. Грамматическая критика, навѣрное, возьметъ за то свой полусечный оброкъ съ автора. Я думаю, что дурной языкъ нигдѣ такъ не господствуетъ, какъ въ сочиненіяхъ безталантныхъ писателей, которые, ничего сильно не чувствуя, не обнимая вполнѣ идей, не умѣя войти въ оттѣнки частныхъ, обо всемъ говорятъ безъ отчету, безъ мѣры, вяло или съ переувеличеніемъ, словомъ, каждою фразою портятъ языкъ, если только находятъ вѣрящихъ себѣ читателей. У Гоголя, въ замѣнъ ничтожныхъ недосмотровъ, пропущенныхъ безъ сомнѣнія отъ поспѣшности изданія книги, есть положительныя совершенства языка, красоты, вѣчно сіяющія у геніальныхъ писателей: сжатость выраженій, мѣткость и точность словъ и неразъединяемость ихъ отъ понятій. Вы лучше всего можете объ этомъ судить по моимъ выпискамъ. Въ дополненіе привожу еще одно описаніе — образецъ краснорѣчиваго языка и картиннаго представленія предметовъ.

«Старый, обширный, тянувшійся позади дома садъ, выходившій за село и потомъ пропадавшій въ полѣ, заросшій я заглохлый, казалось, одинъ освѣжалъ эту обширную деревню и одинъ

быть вполне живописенъ въ своемъ картинномъ опустѣніи» и т. д.

«Словомъ, все было хорошо, какъ не выдумать ни природу, ни искусство, но какъ бываетъ только тогда, когда онъ соединяются вмѣстѣ; когда по нагроможденному, часто безъ толку, труду человека пройдетъ окончательнымъ рѣзцомъ своимъ природа, облегчитъ тяжелыя массы, уничтожитъ грубоощутельную правильность и нищенскія прорѣхи, сквозь которыя проглядываютъ нескрытый, нагой планъ, и дастъ чудную теплоту всему, что создалось въ хладъ размысленной чистоты и опрятности».

Последнюю мысль отиѣтилъ я съ тѣмъ намѣреніемъ, чтобы вы, остановившись на ней, вошли въ духъ писателя, который мимоходомъ, но съ изумительною отчетливостію, изложилъ въ этихъ краткихъ словахъ всю свою теорію изящнаго — и тѣмъ самъ приготовилъ отвѣтъ критикамъ на всѣ замѣчанія о его вкусѣ, родѣ сочиненія, слогѣ, украшеніяхъ и даже, какъ выражаются они, неотдѣлкѣ языка. Его книга точно этотъ садъ. Кому не понравится зрѣлище, здѣсь имъ представленное, это волшебное вмѣстелище свѣжести, зелени, благоуханія, прохлады, дикости, красоты и безмолвія, тотъ конечно не пойметъ ни меня, ни автора. Но что сказать тѣмъ, которые будутъ недовольны языкомъ его? Не лучше ли отослать ихъ къ тощимъ писателямъ, которые вмѣсто краснорѣчія сердца и воображенія поднесутъ имъ строчки, выпрямленные по линейкѣ грамматики? Мы точно не привыкли къ языку дѣйствительнаго чувства, къ языку поэтовъ-живописцевъ, къ языку страстныхъ поклонниковъ и знатоковъ природы. Кромѣ Жуковского, я не помню, кто у насъ рисовалъ словомъ, увлекаемый прелестію природы и постигая искусство словесной живописи. Между тѣмъ, языкъ, это мощное орудіе ума, чувства и воображенія, только и создается вдохновеніемъ. Послѣ всего этого предоставляю судить вамъ, хорошъ ли языкъ у Гоголя.

Я писалъ подъ вліяніемъ первыхъ впечатлѣній. Мнѣ не удалось сообщить замѣчаніямъ моимъ формы правильной и легкой. Но я убѣжденъ, что истина во всякомъ видѣ полезна.

ФИНЛЯНДСКОЕ УЧЕНОЕ ОБЩЕСТВО ¹⁾.

1842.

За четыре года передъ симъ, въ Гельсингфорсѣ нѣсколько лицъ изъ ученыхъ финляндцевъ образовало особое общество, чтобы своими трудами способствовать успѣхамъ наукъ и распространенію пользы отъ нихъ въ отечествѣ. Они убѣждены были, что соединенными силами вѣрнѣе можно достигнуть этой благородной цѣли, нежели отдѣльными усиліями каждаго, сколько бы у него ни было любви къ наукамъ и постоянства въ занятіяхъ. Наиболеѣ побуждали ихъ къ тому сознаваемые всѣми успѣхи другихъ обществъ въ Финляндіи же, учрежденныхъ для достиженія цѣлей, преимущественно спеціальныхъ: такъ финская литература обрабатывается особымъ обществомъ ученыхъ людей; естественная исторія и даже сельское хозяйство — равнымъ образомъ.

Предметы постоянныхъ занятій своихъ они раздѣлили на три класса: I. Науки математическія и физическія; II. Науки составляющія естественную исторію; III. Политическая исторія и филологія.

Сближеніе разнородныхъ наукъ въ сосредоточенной дѣятельности лицъ, дружелюбно соединяющихся для одной всѣмъ общей цѣли, вездѣ полезно, потому что ни одна ученая часть не можетъ обойтись безъ помощи другой; а въ Финляндіи это необходимѣе, нежели гдѣ-нибудь. Тамъ процвѣтаетъ старинный университетъ, третье столѣтіе существующій. Ученое его сословіе должно безъ

¹⁾ *Современникъ* XXVII, 62—70.

прерывно стремиться къ совершенствованію всѣхъ отраслей учености. Общество, обрабатывая разныя вѣтви той или другой науки, будетъ заготовлять матеріалы, которые удобно вносить въ систему для ея пополненія новыми истинами. Сверхъ того Финляндія, естественнымъ положеніемъ своимъ отстраненная отъ прочихъ земель Европы, гдѣ всѣ сношенія такъ близки и удобны, по необходимости должна въ нѣдрѣ своемъ искать замѣны этихъ выгодъ сообщенія, которыя содѣйствуютъ успѣхамъ наукъ въ прочихъ государствахъ.

Общество, предположивъ дѣйствовать на избранномъ поприщѣ неослабно и стремиться къ цѣли по прямому пути послѣ нѣсколькихъ собраній своихъ приготовило для себя проектъ устава, который всеподданнѣйше повергнуло на всемілостивѣйшее воззрѣніе Императора Николая Павловича. Его Величество, утвердивъ въ 14 (26) день апрѣля 1838 года существованіе Ученаго Финляндскаго Общества, въ слѣдующій же мѣсяцъ соизволилъ изъяснить согласіе на всѣ статьи самаго устава. Августѣйшій Покровитель наукъ и всѣхъ общепользныхъ знаній въ отечествѣ удостоилъ войти вниманіемъ своимъ въ дальнѣйшія нужды Общества. По докладу министра статсъ-секретаря великаго княжества Финляндіи, Государь изволилъ разрѣшить, чтобы изъ запасныхъ суммъ великаго княжества ежегодно отпускаемо было обществу по 1500 р. ас. на покрытіе издержекъ при печатаніи трудовъ его.

Первое собраніе Ученаго Финляндскаго Общества, послѣ утвержденія его устава, было 16 (28) мая 1838 года. Съ этой эпохи Общество ежегодно 17 (29) апрѣля, въ день рожденія Государя Цесаревича Великаго Князя Александра Николаевича, празднуетъ свое основаніе. Въ торжественномъ его собраніи читается между прочимъ годичный отчетъ о представленныхъ Обществу сочиненіяхъ, какъ его членами, такъ и посторонними лицами. Въ продолженіе всего времени существованія Общества, оно получило уже сто-три статьи, изъ которыхъ определено напечатать въ собраніи Трудовъ его пятьдесятъ-пять.

Въ іюлѣ 1840 года вышелъ изъ печати первый выпускъ статей, подъ общимъ названіемъ: *Acta societatis Scientiarum Fennicae. Tomi primi fasciculus I.* Второй выпускъ напечатанъ въ октябрѣ 1841 года. Третій явился въ свѣтъ въ апрѣлѣ 1842. Въ числѣ сорока напечатанныхъ статей девятнадцать писаны на французскомъ языкѣ, двѣнадцать на шведскомъ и девять на латинскомъ.

Профессоръ физики въ Александровскомъ университетѣ, докторъ философіи и богословія, *Густавъ Гаерилъ Гельстрѣмъ* (Hällström) есть одинъ изъ замѣчательнѣйшихъ членовъ Общества, равно какъ и самый извѣстный изъ финляндскихъ ученыхъ въ Европѣ, обогатившій физику важными открытіями. Въ первый годъ по основаніи Общества, онъ былъ его предсѣдателемъ. Статьи его, которыхъ напечатано девять, писаны на латинскомъ и шведскомъ языкахъ. Другой замѣчательнѣйшій изъ членовъ Общества по дѣятельности своей и основательнымъ знаніямъ предмета — профессоръ математики въ томъ же университетѣ, докторъ философіи *Нафаналъ Герардъ Шумтѣнъ* (de Schultën), непремѣнный секретарь Общества. Онъ въ трудахъ его помѣстилъ также девять статей, всѣ на французскомъ языкѣ. Нынѣшній предсѣдатель, *Николай Норденишъльдъ* (Nordenskiöld), докторъ философіи, главный начальникъ горныхъ дѣлъ въ Финляндіи ¹⁾, напечаталъ на французскомъ и шведскомъ языкахъ шесть статей по части минералогіи. Предсѣдатель общества въ продолженіе второго года, бывшій профессоръ зоологіи и ботаники въ Александровскомъ университетѣ, оставившій нынѣ кафедру съ званіемъ заслуженнаго, *Карлъ Рено Салъбергъ* (Sahlberg), докторъ философіи и медицины, помѣстилъ шесть статей о разныхъ предметахъ естественной исторіи. Онѣ писаны на латинскомъ и шведскомъ языкахъ.

Всѣхъ дѣйствительныхъ членовъ Общества теперь двадцать четыре: изъ нихъ семь въ отдѣленіи физико-математическомъ,

¹⁾ Отецъ знаменитаго въ наше время ученаго путешественника.

восемь по части естественной исторіи, девять въ отдѣленіи политической исторіи и филологіи. Въ изданныхъ трудахъ Общества участвовали еще слѣдующія лица. Изъ перваго отдѣленія: *Иванъ-Яковъ Нервандеръ* (Nervander), докторъ философіи, экстраординарный профессоръ, директоръ магнитной обсерваторіи и адъюнктъ-профессоръ математики и физики въ Александровскомъ университетѣ; *Генрихъ Густавъ Бореніусъ* (Boreníus), докторъ философіи, лекторъ нѣмецкаго языка и преподаватель математики въ томъ же университетѣ; *Карлъ Густавъ Тавастшернъ* (Tavaststjerne), главный директоръ межевой части въ Финляндіи. Изъ втораго отдѣленія: *Эммануэль Ильмони* (Ilmoni), докторъ философіи и медицины, профессоръ медицины въ Александровскомъ университетѣ и ассессоръ въ медицинской коллегіи; *Графъ Карлъ Густавъ Маннергеймъ* (Mannerheim), докторъ философіи и правъ, председатель верхняго суда юстиціи въ Выборгѣ. Изъ третьяго отдѣленія: *Фредерикъ Вилгельмъ Циппингъ*, докторъ философіи, членъ финляндскаго сената, библіотекаръ и бывший профессоръ исторіи литературы въ Александровскомъ университетѣ.

Несмотря на кратковременное существованіе, Общество уже лишилось одного изъ ревностѣйшихъ и достойнѣйшихъ своихъ членовъ, профессора химіи въ тамошнемъ университетѣ *Бонсдорфа* (von Bonsdorff). Онъ принадлежалъ къ числу первоначально избранныхъ и умеръ 30 декабря 1838 года. Въ третьемъ выпускѣ трудовъ Общества напечатано похвальное слово, написанное въ честь ему на шведскомъ языкѣ профессоромъ Нервандеромъ.

Мы почли обязанностію своею обратить вниманіе русскихъ ученыхъ на общество, подвизающееся добросовѣстно, ревностно и съ видимымъ успѣхомъ. Усілія благомыслящихъ людей не должны оставаться безъ участія со стороны тѣхъ, которые съ ними одинаково думаютъ и одного желаютъ. Нѣкоторые изъ гельсингфорскихъ ученыхъ, поименованныхъ нами, находятъ время участвовать своими сочиненіями въ трудахъ нашей Академіи наукъ (см. Bull. Scient., publ. p. l'Acad. T. IX. № 9). Можно не безъ

основанія надѣяться, что сношенія этого рода скоро сдѣлаются взаимными между учеными Россіи и Финляндіи, тѣмъ болѣе, что въ трудахъ Общества, о которомъ мы пишемъ, статьи печатаются на всякомъ языкѣ, на какомъ только сочинителю удобнѣе изъясняться. Такъ мы встрѣтили тамъ сочиненіе и на нѣмецкомъ языкѣ. Науки составляютъ достояніе всеобщее. Изъ нихъ нѣкоторыя обрабатывались болѣе въ одномъ государствѣ, нѣкоторыя въ другомъ. Естественно, что и писать по какой-нибудь части пріятнѣе и удобнѣе на томъ языкѣ, на которомъ она, такъ сказать, воспитана, хотя это обстоятельство не препятствуетъ и на другомъ хорошо выразиться о томъ же самомъ. Но есть предметы, о которыхъ уже и нельзя почти говорить иначе, какъ на одномъ языкѣ. Въ противномъ случаѣ всѣ усилія выразить въ точности мысль и показать рѣзко ея отгѣнки останутся тщетными. Мы разумѣемъ здѣсь все собственно народное, образовавшееся безъ посторонняго участія въ соответствии духу народа. Все, что воспитано религіею, законодательствомъ, правительствомъ обычаями, нравами, бытомъ, языкомъ одного народа, подъ вліяніемъ опредѣленной мѣстности и извѣстной эпохи, все это и передавать лучше на языкѣ того же народа, особенно раскрывая предметъ въ первый разъ для ученаго свѣта. Здѣсь уже никакіе расчеты ученаго космополитисма не должны посягать на самый малоупотребительный языкъ. Иначе истина будетъ или потемнена, или совершенно обезображена. Пусть предварительно, хотя для небольшого круга читателей, она явится въ своемъ естественномъ видѣ. Это останется типомъ ея дѣйствительнаго существованія для потомства и исторіи. Переводчики, ослабивъ или исказивъ ее въ угожденіе обширнѣйшему кругу хладнокровныхъ читателей, не умертвляютъ первообраза, который сохранится въ душѣ вѣрныхъ и достойныхъ наслаждаться его совершенствами. Таковъ, повидимому, образъ мыслей и таково убѣжденіе Ученаго Финляндскаго Общества, выразившееся съ полною несомнѣнностію въ трудахъ, нынѣ имъ изданныхъ. Мы совершенно раздѣляемъ съ нимъ это убѣжденіе, тѣмъ болѣе, что мало извѣстный иностран-

памѣ нашъ отечественный языкъ, при всей занимательности, при всемъ богатствѣ предметовъ, которые на немъ только и могутъ быть вполне цѣнны для знатоковъ, не нашелъ бы правъ гражданства во многихъ ученыхъ изданіяхъ, если бы въ нихъ вздумали держаться противнаго сему мнѣнію. Но теперь никакой нѣтъ причины собственно Русскимъ, для пользы наукъ, не вступать въ сношенія съ Обществомъ финляндскимъ, когда тамъ цѣнять единственно истину.

ГРАФЪ АЛЕКСАНДРЪ СЕРГѢВИЧЪ СТРОГАНОВЪ ¹⁾.

1843.

Послѣ имени Ивана Ивановича Шувалова ничье имя изъ частныхъ лицъ не произносится русскими литераторами и художниками съ такою любовію и благодарностію, какъ имя графа Александра Сергѣевича Строганова. Въ свое время тотъ и другой были русскими Мecenатами. Ихъ благородная, прекрасная дѣятельность устремлена была по преимуществу на распространеніе въ отечествѣ изящной образованности и совершеннѣйшаго вкуса. Не напрасно счастье возвело ихъ на такую степень знаменитости и высоты гражданской, гдѣ они удостоились быть посредниками между престолодержавіемъ и нуждами людей, посвящавшихъ себя безкорыстному служенію музъ. Въ сочиненіяхъ Ломоносова и даже Державина мы съ умиленіемъ встрѣчаемъ имя Шувалова, ихъ непосредственнаго покровителя. Ему же служатъ памятниками Московскій университетъ и Санкт-петербургская академія художествъ. Неоцѣненное сокровище академіи художествъ, слѣпки со всѣхъ древнихъ статуй, эти без-

¹⁾ *Современникъ*, XXXI, 121—142.

смертные образцы, по которымъ образовались и еще будутъ образоваться наши художники, было его же послѣднимъ приношеніемъ пользѣ общественной.

Графъ Александръ Сергѣевичъ Строгановъ вступилъ на поприще гражданской дѣятельности въ царствованіе императрицы Елисаветы Петровны. Еще недавно разобранный въ Санктпетербургѣ на Невскомъ проспектѣ двухъэтажный каменный домикъ (подлѣ дома, принадлежащаго нынѣ Казанскому собору), куда сама императрица изволила прибыть, чтобы отцу А. С. Строганова предложить соединеніе бракомъ молодого, девятнадцатилѣтняго сына его съ единственной дочерью тогдашняго канцлера графа Воронцова, что и послѣдовало по прибытіи Александра Сергѣевича изъ-за границы. Кончина супруга императрицы Маріи Терезы представила случай А. С. Строганову опять отправиться за границу. Онъ посланъ былъ въ Австрію для извѣщенія вдовѣ-императрицѣ того участія, которое російскій дворъ принималъ въ ея горестной потерѣ. Марія Тереза, въ ознаменованіе благоволенія своего къ посланному, пожаловала ему титулъ графа Нѣмецкой имперіи. Приготовленный отличнымъ воспитаніемъ, которое довершено было внимательнымъ наблюденіемъ нравовъ и просвѣщенія въ другихъ земляхъ во время его путешествія, графъ Александръ Сергѣевичъ предался со всею юношескою страстію развитію въ отечествѣ словесности и художествъ. Тогда воздвигалъ въ Санктпетербургѣ геніальныя зданія знаменитый графъ Растрелли. Ему фамилія Строгановыхъ обязана планомъ этого истинно-вельможескаго дома, который до сихъ поръ у Полицейскаго моста служить и украшеніемъ Невскаго проспекта и памятникомъ Елисаветинскаго вѣка. Новое жилище графа Александра Сергѣевича скоро сдѣлалось истиннымъ храмомъ вкуса и мѣстомъ соединенія всѣхъ, кто только любилъ изящное. Какъ роскошно и выразительно представляетъ Державинъ въ своихъ стихахъ это жилище вельможи, покровителя художниковъ:

Наполнилъ грудь восторгъ священный,
Благоговѣйный обнялъ страхъ,
Пріятный ужасъ потаенный
Течетъ во всѣхъ моихъ костяхъ;
Въ весельи сердце утопаетъ,
Какъ будто бога ощущаетъ,
Присутствующаго со мной:
Я вижу, вижу Аполлона
Въ тотъ мигъ, какъ онъ сразилъ Тифона
Божественной своей стрѣлой;
Зубчата молнія сверкаетъ,
Звенить въ рукѣ священный лукъ;
Ужасная змія зіяетъ
И въ мигъ свой испускаетъ духъ, *и проч.*

Здѣсь наконецъ образовались картинная галлерей, библіотека и хранилище манускриптовъ — собранія, достойныя даже владѣтельныхъ особъ. Въ продолженіе слѣдующихъ за симъ четырехъ царствованій графъ Александръ Сергѣевичъ пользовался милостями царственныхъ особъ, и сохранилъ свои Лукулловскіе способы къ благотворной дѣятельности на благо общее, и — что конечно всего драгоцѣннѣе — неизмѣнную любовь къ участию въ трудахъ талантовъ. Не въ одной Россіи произносилось съ уваженіемъ имя Строганова: многіе изъ государей западной Европы изъявляли ему письменно знаки своего дружелюбія и почтенія. Въ собраніи рѣдкихъ манускриптовъ, сохраняющихся въ домѣ Строгановыхъ, есть собственноручныя письма королей французскихъ.

При императрицѣ Екатеринѣ II, въ первый годъ послѣ вступленія ея на престолъ, графъ А. С. Строгановъ пожалованъ былъ въ камергеры, черезъ шесть лѣтъ произведенъ въ тайные, а спустя одиннадцать въ дѣйствительные тайные совѣтники. Императоръ Павелъ Петровичъ, по вступленіи на престолъ, произвелъ его въ оберъ-камергеры и пожаловалъ ему титулъ графа

Россійской имперіи. Кончина графа Александра Сергѣевича послѣдовала при императорѣ Александрѣ Павловичѣ, 27 сентября 1811 года. Ни почести, ни богатства, ни даже лѣта не измѣнили въ немъ прекраснаго характера и тѣхъ возвышенно-чистыхъ правилъ, которыми онъ всегда руководствовался въ жизни. Императрица Екатерина, по своей столь извѣстной любви ко всему, что доставляло блескъ и славу Россіи и что расширяло въ ней кругъ свѣтлыхъ идей, признавала въ Строгановѣ одного изъ лучшихъ сподвижниковъ своихъ на поприщѣ мысли и вкуса. Павелъ Петровичъ отличалъ его всѣми знаками своего дружелюбія, удостоивая его обхожденія искренняго и ласковаго. Императоръ Александръ Павловичъ дѣлилъ съ нимъ высокіе свои планы, когда предпринималъ преобразование администраціи, особенно что касалось до успѣховъ наукъ и художествъ.

Какъ президентъ Академіи художествъ, Строгановъ по справедливости долженъ быть названъ истиннымъ образователемъ и вдохновителемъ тѣхъ знаменитыхъ художниковъ нашихъ, которые явились у насъ во второй половинѣ XVIII и въ началѣ XIX столѣтія. Доступный каждому изъ нихъ во всякое время, знатокъ ихъ дѣла, участникъ и совѣтникъ въ ихъ предпріятіяхъ, ходатай передъ престоломъ, помощникъ въ нуждѣ, кроткой и теплою души человекъ, онъ не только не отвергъ просьбы ни одного художника, но и не пренебрегъ ни однимъ случаемъ, чтобы найти, ободрить талантъ и изъяснить сочувствіе къ труду его. Это влеченіе къ искусствамъ сообщалось отъ него и тѣмъ лицамъ, которыя находились съ нимъ въ частыхъ сношеніяхъ. Преемникъ его по Академіи художествъ, А. Н. Оленинъ, котораго онъ удостоивалъ дружбы своей, конечно много отъ него заимствовалъ въ постоянномъ стремленіи своемъ ко всему, что касалось до литературы и художествъ. При образованіи министерства просвѣщенія, этой блестящей эпохѣ для наукъ въ Россіи, графъ Александръ Сергѣевичъ назначенъ былъ членомъ Главнаго правленія училищъ — и ему же поручалась должность во время отсутствія попечителя Санктпетербургскаго учебнаго округа.

Мѣсто нынѣшняго здѣсь университета занималъ тогда такъ называвшійся Императорскій Педагогическій институтъ. Уже въ преклонныхъ лѣтахъ, Строгановъ принесъ и ему послѣднюю дань того усердія и неизмѣннаго участія, которымъ всю жизнь такъ полна была душа его къ распространенію въ отечествѣ добра и свѣта.

Изъ литераторовъ, современныхъ графу А. С. Строганову, конечно не было ни одного, который бы не пользовался его вниманіемъ, благорасположеніемъ и дружескими пособіями. До сихъ поръ самое трогательное о немъ воспоминаніе сохраняется въ устахъ и сердцѣ Ивана Андреевича Крылова, который между нами одинъ остался знаменитымъ представителемъ тѣхъ временъ. Есть еще въ литературѣ нашей неизмѣнный памятникъ въ честь и славу графа Строганова. Мы имъ обязаны незабвенному переводчику *Иліады*. Гнѣдичъ еще успѣлъ вкусить это счастье, которое доставляетъ высоко-образованной душѣ бесѣда и участіе въ ея трудахъ истиннаго цѣнителя изящныхъ искусствъ. Пробывши изъ Московскаго университета на службу въ С.-Петербургъ, Гнѣдичъ, молодой человѣкъ, безъ покровительства, никѣмъ незнаемый, скоро открытъ былъ Строгановымъ. Домъ вельможи сдѣлался родственнымъ пріютомъ еще мало-извѣстному поэту. До конца жизни своей Гнѣдичъ не могъ говорить о Строгановѣ безъ энтузіазма и слезъ. Въ сердцѣ признательнаго поэта нѣсколько лѣтъ зрѣла мысль—освятить чѣмъ-нибудь достойнымъ и поэзіи и Строганова память о сближеніи бѣднаго человѣка съ вельможею. И вотъ наконецъ, черезъ нѣсколько лѣтъ послѣ смерти графа Александра Сергѣевича, Гнѣдичъ кончилъ и напечаталъ свою идиллію *Рыбаки*, идиллію, которою восхищался самъ взыскательный Пушкинъ. Въ ней всякой узнаетъ и загородный домъ Строганова, и его общество, и наконецъ его самого съ этою неизмѣнною любовію къ искусству.

У графа А. С. Строганова, отъ второго брака его съ княжною Трубецкой, былъ единственный сынъ графъ Павелъ Александровичъ. Можно вообразить, сколько радостныхъ надеждъ и

сколько чистыхъ благословеній носилось надъ этимъ юношею. Счастливый отецъ, еще при жизни своей, соединилъ его бракомъ съ княжною Софіею Владиміровною Голицыной. Одинъ внукъ, графъ Александръ Павловичъ, и четыре внуки, какъ залогъ неизмѣннаго счастья, уже обрадовала сердце дѣда, который покидалъ міръ, не утративъ любви къ людямъ и полный благодарности къ Провидѣнію. Но чѣмъ выше ступень, на которую ставитъ насъ отечество, тѣмъ неотвратимѣе жертвы, которыхъ оно по праву требуетъ отъ насъ. Графъ Александръ Павловичъ Строгановъ, въ особѣ котораго сливались всѣ сладостныя ожиданія знаменитаго дома графовъ Строгановыхъ, двумя только годами пережилъ своего дѣда. Этотъ прекрасный юноша, единственный наслѣдникъ доблестей, имущества и самаго титула дѣда своего, принесъ въ жертву отечеству цвѣтущую жизнь свою и все, что къ ней должно было его привязывать. Въ отечественную войну, передъ стѣнами Парижа, онъ палъ въ рядахъ героевъ, защищавшихъ права и честь народовъ Европы. Графъ Павелъ Александровичъ, отецъ его, пораженный горестію, не въ состояніи былъ перенести ужасной утраты: скоро послѣдовалъ и онъ за своимъ отцомъ и сыномъ. И вотъ, въ продолженіе пяти лѣтъ, украшеніе Россіи, семейство графовъ Строгановыхъ опустѣло, какъ бы въ оправданіе страшной истины, произнесенной Шиллеромъ:

Прекрасное погибло въ пышномъ цвѣтѣ:
Таковъ удѣлъ прекраснаго на свѣтѣ!

Когда нынѣ посѣтите вы въ С.-Петербургѣ этотъ историческій домъ, гдѣ каждая картина, каждая статуя невольно перенесетъ воображеніе ваше въ эпоху минувшаго, столь блестящаго и утѣшительнаго для души, васъ встрѣтитъ въ немъ посреди ненарушимой тишины одинокое существо, которое, съ вѣрою предавшись Провидѣнію, живетъ не столько въ настоящемъ, сколько въ прошедшемъ. Это графиня Софія Владиміровна Строганова, невѣстка графа Александра Сергѣевича, обращающая, въ подра-

жаніе знаменитому свекру своему, всѣ избытки достоянія на распространеніе общепользныхъ знаній между разными классами согражданъ. Кромѣ супруга и сына, судьба у нея отняла еще и дочь, графиню Ольгу Павловну Ферзенъ. Такимъ образомъ, душою своею болѣе принадлежа другому міру, она здѣсь напоминаетъ о себѣ обществу только своими благотвореніями, да тремя дочерьми, которыхъ умъ и добрыя качества увѣковѣчиваютъ въ молодомъ поколѣніи память незабвеннаго ихъ дѣда.

Если бы особенный случай, о которомъ сейчасъ будетъ упомянуто ниже, не заставилъ насъ рассказать по памяти то, что въ ней сохранилось о графѣ А. С. Строгановѣ, мы не осмѣлились бы представить читателямъ столь неполную и безцвѣтную біографію этого историческаго лица. Въ историческихъ словаряхъ нашихъ мы ничего не могли найти о немъ. Такимъ образомъ потомство съ каждымъ годомъ болѣе и болѣе теряетъ воспоминаній, которыя были бы ему и назидательны и усладительны. Въ *Словарь достопамятныхъ людей Русской земли* помѣщены коротенькія выписки изъ Исторіи Карамзина о *Яковѣ, Григоріи и Семенѣ Аникичахъ Строгановыхъ*, да изъ Русскаго Вѣстника о *Петрѣ Семеновичѣ Строгановѣ*. Болѣе ни о комъ. О графѣ Александрѣ Сергѣевичѣ мы вызваны были что-нибудь сказать находкою драгоценной бумаги, имъ писанной. Изъ нея видно, что онъ не только какъ вельможа и государственный человѣкъ, но какъ и помѣщикъ, въ высшей степени замѣчательнъ. *Предписаніе его Главному Пермскому Управителю* исполнено самыхъ высокихъ истинъ челоуѣколюбія, правосудія и справедливости. Оно намъ передано Е. П. Егоромъ Антоновичемъ Энгельгардтомъ, который рассказываетъ слѣдующее о своемъ открытіи.

Письмо Егора Антоновича Энгельгардта къ издателю Современника.

«При посѣщеніи моемъ въ 1830 году Пермской губерніи, я познакомился съ управляющимъ имѣніемъ графини С. В. Строгановой, Сергѣемъ Климовичемъ Сивковымъ. Все, что видѣлъ

и слышалъ я единогласно отъ всѣхъ подвѣдомственныхъ ему крестьянъ объ этомъ необыкновенномъ человѣкѣ, заставило меня въ моихъ путевыхъ запискахъ разсказать нѣкоторыя подробности объ немъ и дѣлахъ его и выразить искреннее мое къ нему уваженіе. Попавшаяся, не знаю какимъ случаемъ, въ руки его 4-я часть моихъ Russische Miscellen, въ конхъ помѣщены эти замѣчанія, доставила мнѣ удовольствіе получить отъ почтеннаго старца Сергѣя Климовича письмо, гдѣ онъ между прочимъ говоритъ:

«При покорнѣйшей моей благодарности за лестные обо мнѣ отзывы, считаю однако долгомъ объяснить, что тутъ сказано на счетъ мой очень много похвалы свыше моихъ заслугъ. Я былъ здѣсь только добросовѣстный исполнитель воли моего незабвеннаго господина и благодѣтеля, по наставленію, которое получилъ отъ его сіятельства назадъ тому лѣтъ 50, когда угодно ему было ввѣрить мнѣ управленіе здѣшнимъ имѣніемъ. Въ доказательство того, почитаю священнымъ долгомъ представить вамъ при семъ въ копіи этотъ благодѣтельный и тѣмъ болѣе уважительный документъ, что онъ, какъ видно, написанъ не для словеснаго предъ свѣтомъ хвастовства, а просто по чувству сердца боярскаго, въ руководство при управленіи счастливыхъ его подданныхъ. Покорнѣйше прошу, при удобномъ случаѣ, помѣстить это драгоценное наставленіе, какъ повѣрку и дополненіе къ прежнимъ замѣчаніямъ вашимъ на мой счетъ. . . »

«Письмо это съ приложеніемъ я получилъ въ началѣ прошлаго (1842) года, но по сіе время не находилъ возможности прилично исполнить скромное желаніе добраго Сергѣя Климовича. Нынѣ появленіе книги: *Именитые люди Строгановы*, кажется, представляетъ удобный поводъ до всеобщаго свѣдѣнія этотъ единственной, можетъ-быть, въ своемъ родѣ документъ, выражающій столь превосходно душу и сердце достойнаго ихъ потомка, истиннаго русскаго боярина, и составляющій точно пополненіе не къ моимъ малозначащимъ замѣткамъ, а къ труду г. Устрялова, остановившагося на 1772 годѣ, тогда какъ и

впослѣдствіи было много Строгановыхъ, поддержавшихъ добрую славу сего почтеннаго имени. Кажется, *Современнику* прилично говорить о такихъ современникахъ; итакъ вотъ вамъ и грамота и подробности о Сивковѣ. Въ прошлую осень, какъ я слышу, онъ послѣдовалъ за своимъ господиномъ-благодѣтелемъ. Миръ праху ихъ!»

Е. Эмелгардъ.

25 апрѣля 1843.

С.-Петербургъ.

Предписаніе графа А. С. Строганова Главному пермскому управителю.

Сергѣй Климовъ!

Хотя первые опыты твоего ко мнѣ усердія и увѣряютъ, что ты истиннымъ долгею себѣ поставишь возложенное на тебя званіе Главнаго Пермскаго управителя исправлять, какъ должно честному и мнѣ преданному человѣку; однако такое усердіе тѣмъ правильнѣе и любезнѣе будетъ мнѣ, чѣмъ ближе подойдетъ къ моей волѣ, которую я на основаніи истиннаго человѣколюбія открываю въ слѣдующемъ тебѣ предписаніи:

Правило, по которому долженъ поступать Главный пермскій управитель.

1) Во всѣхъ твоихъ предпріятіяхъ и расположеніяхъ помни, что ты сердцу моему ни спокойствія, ниже сладкаго удовольствія принести не можешь, когда, хотя бъ до милліоновъ распростра- нилъ мои доходы, но отягчилъ бы чрезъ то судьбу моихъ крестьянъ; въ такомъ случаѣ приказываю тебѣ всегда предпочесть мо- имъ выгодамъ выгоды тѣхъ людей, коимъ я долженъ и хочу быть болѣе опкомъ, нежели господиномъ. Усердіе безъ сего пра- вила есть токмо подлое угожденіе господской гордости, изъ соб-

ственного своего честолюбія, въ чемъ нерѣдко человѣкъ и самъ себя обманываетъ; почему и должно таковыя въ себѣ движенія разсматривать безпристрастно и быть справедливымъ дѣлителемъ межъ угожденіемъ господину и успокоеніемъ крестьянъ его; что тѣмъ удобнѣе исполняется, когда угожденіе перваго соединено съ успокоеніемъ послѣднихъ, и когда любовь къ ближнему не чужда сердцу.

2) Человѣку честному и благоразумному, которому поручается судьба нѣсколькихъ тысячъ людей, должно быть восхитительно не то, что онъ облеченъ властію столь обширною, но что имѣетъ случай толикому числу подобныхъ себѣ помогать христіански, и чѣмъ болѣе правленію его поручается оныхъ, тѣмъ болѣе долженъ онъ находить нужды въ безпристрастіи, вѣдая, что малѣйшая упрямой его натуры наклонность есть величайшая уже на судъ несправедливость; итакъ я не сомнѣваюсь, что ты, имѣя въ виду сіе христіанское правило, будешь хранить во всякомъ сужденіи даже въ самомъ себѣ справедливость.

3) Всякій судъ между порученными тебѣ людьми конечно будетъ послѣдуемъ или оправданіемъ, или прошеніемъ, или наказаніемъ. Въ исполненіи всего онаго не меньше нужна добросердечная, но благоразумная безпристрастность, какъ и въ самомъ сужденіи; ибо излишняя потачка превращаетъ человѣколюбіе въ слабость, влекущую за собою безпорядокъ; а излишняя строгость есть безразсудное, а иногда и злобное тиранство. Ничего нѣтъ слѣпѣе, какъ первое, и ничего нѣтъ подлѣе и скотообразнѣе послѣдняго; итакъ, дабы обѣихъ сихъ чрезвычайностей избѣгнуть, должно во всѣхъ случаяхъ остерегаться всячески слѣдовать личнымъ уваженіямъ, а смотрѣть лишь только на дѣло и забыть все, что бы могло тебя сдѣлать участникомъ въ состояніи подсудимаго, кромѣ общаго человѣколюбія. Наконецъ, употреблять прощенія и наказанія не только по степенямъ проступковъ, но и по надеждѣ дѣйствія, какое могутъ имѣть то и другое на человѣка. Родъ же наказанія всегда справедливо будетъ употреблять, если будешь представлять оное не мщеніемъ какимъ-либо

за вину, но паче средствомъ къ исправленію виновнаго, и при таковыхъ случаяхъ, чтобы меньше предъ Всевидающимъ Судіею согрѣшить, должно прибѣгать къ чувствамъ любви родительской, и представлять себѣ того несчастнаго какъ бы заблудшаго сына своего.

4) Должно замѣтить, что нигдѣ такъ мы удобнѣе не можемъ впасть въ несправедливость, какъ въ судѣ между самимъ собою и другимъ, а паче въ наказаніи за причиненныя намъ самимъ обиды; потому-то христіанство и обязываетъ насъ прощать врагамъ нашимъ. Да и нѣтъ ни въ чемъ блистательнѣе отличія, какое можетъ человѣкъ предъ прочими имѣть, какъ въ правилѣ — обиды забывать и прощать; если же бы обида была такого рода, что для общаго порядка не должно пропустить ее, тогда благоднѣе судиться порядкомъ со своимъ подчиненнымъ, нежели самому онаго судить.

5) Истинный представитель благосостоянія толикаго множества людей, какое я тебѣ поручаю, имѣя всегда сердце открыто къ бѣдствіямъ вдовъ, сиротъ и угнетенныхъ бѣдностію, не ослабнетъ никогда въ своихъ трудахъ и попеченіяхъ о ихъ состояніи, почитая это себѣ честію, внутреннимъ удовольствіемъ и спасеніемъ; почему я надѣюсь, что и ты непременно будешь наблюдать упокоеніе обремененныхъ несчастіями, отирать слезы вдовъ, прибѣжище давать безпомощному сиротству, а колыми же паче не подашь и повода къ какимъ-либо противъ тебя справедливымъ неудовольствіямъ: ибо быть справедливо любимымъ подобными себѣ нѣтъ превосходнѣе качества въ человѣкѣ. Исполненія сихъ правилъ тѣмъ съ большею ожидаю надеждою, что я довольно видѣлъ уже въ тебѣ признаковъ добросовѣстнаго человѣка; старайся угодить моему желанію и оправдать сдѣланный тебѣ мною выборъ; а я съ своей стороны ничего не пощажу для вознагражденія за столь достойные отличнаго человѣка труды.

Впрочемъ, ты долженъ точно поступать по приложеннымъ при семъ правиламъ, которыя навсегда останутся непремѣннымъ

зерцаломъ и будущимъ впредь Пермскимъ управителямъ, и да будутъ въ Главномъ правленіи всегда предъ глазами оныхъ.

На подлинномъ собственною его сіятельства рукою добавлено: «если всегда будешь человѣколюбивъ и честенъ, то и я всегда буду, какъ теперь, твой другъ».

Графъ Александръ Строгановъ.

22 февраля 1786 года.

Выписка изъ Russische Miscellen о С. К. Сивковѣ ¹⁾.

Нельзя представить себѣ мѣста угрюмѣе и скучнѣе Усоляя. Я спѣшилъ, сколько можно, окончить всѣ здѣшнія дѣла мои и оставить это соленое гнѣздо. Но въ послѣдній вечеръ моего пребыванія здѣсь я сдѣлалъ такое открытіе, за которое вездѣ бы дорого заплатилъ.

Окончивъ скучную дневную работу, пошелъ я пошататься по окрестностямъ, чтобъ между прочимъ осмотрѣть каменную церковь, построенную на возвышеніи и поразившую меня еще издали своею архитектурою, исполненною необыкновеннаго вкуса. Дорога моя лежала мимо одного красиваго домика, стоявшаго недалеко оттуда; прекрасный садъ съ роскошнымъ цвѣтникомъ и прелестною бесѣдкою, сзади маленькая оранжерея, внутри картины въ золотыхъ рамахъ, шкафы съ книгами — все показывало образованнаго хозяина и походило на оазъ въ пустынѣ. «Кто живетъ въ этомъ хорошенькомъ домикѣ?» спросилъ я у одного прохожаго. — Да кто же, какъ не Сергѣй Климовичъ? малый ребенокъ знаетъ его! — И я также зналъ его, хотя не лично, но понаслышкѣ. Это былъ Сивковъ, главноуправляющій графа Строганова. Вездѣ, между своими и чужими крестьянами, это имя произносилось часто и всегда съ любовію, уваженіемъ и

¹⁾ Въ печатныхъ экземплярахъ Сивковъ ошибкою названъ Александромъ Петровичемъ вмѣсто Сергѣя Климовича.

благословеніями; только двое изъ его сослуживцевъ говорили о немъ, какъ о человѣкѣ гордомъ, надменномъ, удалявшемся отъ всякаго сообщенія съ другими людьми. Это еще болѣе утвердило меня въ моемъ добромъ о немъ мнѣніи, и я очень сожалѣлъ, что въ то самое время, какъ я пріѣхалъ въ Усолье, онъ былъ въ отлучкѣ, и такимъ образомъ я не могъ познакомиться съ нимъ. Тѣмъ болѣе обрадовался я теперь неожиданному случаю сдѣлать это знакомство. Собиравшіяся на небѣ тучи, предвѣщавшія грозу, доставили мнѣ прекрасный предлогъ начать дѣло, и вотъ я вошелъ на дворъ, гдѣ въ самую эту минуту какой-то старичекъ пріятной наружности въ желтомъ нанковомъ сертукѣ разговаривалъ съ работниками: это былъ Сивковъ. Едва сказалъ я ему нѣсколько словъ о томъ, что я путешественникъ и прошу у него убѣжища на время грозы, какъ онъ началъ благодарить меня за честь, оказанную его дому, и повелъ прямо въ комнаты. Эти комнаты были красивы и чисты, мебели въ нихъ просты, но всѣ сдѣланы съ чрезвычайнымъ вкусомъ: прекрасныя гравюры и живописныя картины, очень порядочная библіотека, минеральный кабинетъ, на окнахъ разныя иностранныя растенія въ горшкахъ — однимъ словомъ, я увидѣлъ себя въ жилищѣ человѣка съ утонченною образованностію. Это былъ тотъ Сивковъ, съ которымъ я провелъ чрезвычайно занимательный вечеръ. Наружность этого старика внушаетъ искреннюю довѣренность къ нему; разговоръ его остроуменъ и живъ; на все у него свѣтлый практическій взглядъ, дѣятельная голова, и въ добавокъ — спокойное и зрѣлое сужденіе, что рѣдко встрѣчается у людей съ необыкновенно-живымъ нравомъ. Онъ въ одно и то же время администраторъ, сельскій хозяинъ, архитекторъ, механикъ, минералогъ, землемѣръ, садовникъ, и кромѣ того имѣетъ такія ясныя и справедливыя понятія о высшемъ государственномъ управленіи, какъ будто бы онъ всю жизнь занимался имъ. «Да кто же вы, любезный другъ, и гдѣ учились?» — Я, отвѣчалъ онъ съ величайшимъ спокойствіемъ, *сынъ здѣшняго крѣпостного крестьянина*, а учился-то я . . . ну, учился сначала въ нашей фабричной школѣ

читать, писать и считать, а потомъ года три ходилъ въ приходское училище въ Екатеринбургѣ. — «Но, скажите ради Бога, развѣ можно вынести изъ приходскаго училища все это образованіе, всѣ эти ученія познанія, какія вы имѣете?» — Ну, если въ самомъ дѣлѣ есть у меня кой-какія познанія, то я самъ помаленьку учился, да и теперь еще каждый день чему-нибудь учусь. Видите, я былъ такъ счастливъ, что прямо изъ школы взять былъ писаремъ на графскую контору въ Москвѣ. Какъ я обглядѣлся тамъ немножко, то и увидѣлъ, что если хочу я быть полезнымъ человѣкомъ, то надобно мнѣ еще гораздо болѣе учиться и знать, нежели сколько я зналъ. Вотъ я и пользовался каждою свободной минутой отъ господской работы, чтобы, какъ можно болѣе, читать и узнавать о томъ и о другомъ. Губернерь графскихъ дѣтей — награди его Богъ! — полюбилъ меня, давалъ мнѣ читать хорошія и полезныя книги, объяснялъ мнѣ то, чего я не понималъ, и ободрялъ мое прилежаніе. Черезъ три года представилъ онъ меня графу, который опредѣлилъ меня на здѣшнюю контору. Здѣсь-то служа, я помаленьку изучилъ все въ нижнихъ должностяхъ, и это точное, практическое изученіе вѣрно принесло моему господину гораздо болѣе пользы, нежели то, чему я выучился изъ книгъ. По-настоящему, надобно всегда выбирать въ главноуправляющіе только такихъ людей, которые дослуживаются до этого званія съ нижнихъ должностей, потому что только такіе въ состояніи узнать цѣлое во всѣхъ отдѣльных частяхъ его и съ успѣхомъ противостать тѣмъ безчисленнымъ злоупотребленіямъ и уловкамъ, которыми — несмотря на лучшія и благодѣтельнѣйшія постановленія помѣщика — бѣдный крестьянинъ все-таки угнетается, а иногда и совсѣмъ разоряется; потому что кто самъ не былъ довольно времени посреди всего этого и не видѣлъ всего своими глазами, тотъ не въ состояніи будетъ помочь и съ самою чистою волею: онъ не знаетъ дѣла. Я былъ такъ счастливъ, что удовлетворилъ всѣмъ ожиданіямъ моего господина: онъ сдѣлалъ меня главнымъ управителемъ и подарилъ свободу. Вотъ уже сколько времени я управляю имѣ-

ніемъ моего благодѣтеля, который удостоиваетъ меня своей полной довѣренности — и Богъ помогъ мнѣ! Мужички сдѣлались зажиточнѣе, доходы значительно увеличились, и нѣтъ никакихъ жалобъ. — «Итакъ все это время провели вы въ этой пустынѣ! Однакожъ это должно быть ужасно — съ вашимъ образованіемъ жить въ такомъ совершенномъ удаленіи отъ свѣта и не видѣть никого, кромѣ людей самыхъ грубыхъ». Съ чувствомъ высокаго умиленія онъ посмотрѣлъ на меня и сказалъ: — Всѣмъ тѣмъ, чѣмъ вы меня видите и что я имѣю, я обязанъ графу, доброму господину моему; онъ далъ мнѣ средства кой-чему научиться; далъ мнѣ богатое содержаніе, воспитываетъ сыновей моихъ быть способными слугами государя — и, что всего выше для меня, онъ удостоиваетъ меня своей полной довѣренности; послѣ всего этого я былъ бы самымъ негоднымъ человѣкомъ, если бы какая-нибудь малѣйшая услуга моему благодѣтелю могла казаться мнѣ тягостною. Вѣдь все это прахъ въ сравненіи съ тѣми безчисленными благодѣяніями, какія я получилъ отъ него. Впрочемъ я здѣсь очень счастливъ: дѣла у меня вдоволь; мое общество и увеселенія составляютъ жена и дѣти, книги, садикъ мой — я и въ Петербургѣ не могъ бы жить иначе, не могъ бы жить довольнѣе, нежели здѣсь, гдѣ мнѣ никто не мѣшаетъ, никто не досаждастъ. А кромѣ того, все, что окружаетъ меня здѣсь, есть мое твореніе; этотъ домъ, садъ, та церковь, въ которой по воскресеньямъ я молюсь за моего благодѣтеля, школа, въ которой я przygotowляю ему, какъ умѣю, добрыхъ и честныхъ слугъ, всего этого до меня не было; я создалъ это, а 17,000 крестьянъ, моихъ собратій, которые приходятъ ко мнѣ съ любовію и довѣренностію за совѣтомъ и охотно слушаются, потому что увѣрены въ добрѣ, какое я желаю имъ: о! все это стоить гораздо дороже, нежели радости большого свѣта! Я былъ бы очень несчастливъ, если бы промѣнялъ на нихъ мой маленькій, тихій міръ! —

Да, это примѣчательный человѣкъ! Въ продолженіе нашего разговора сообщилъ онъ мнѣ разныя, чрезвычайно интересныя черты изъ жизни и занятій здѣшнихъ крестьянъ, и — что отли-

чаетъ его, какъ истинно-образованнаго человѣка — все оригинальное, или характеристическое въ этихъ чертахъ не сдѣлалось для него обыкновеннымъ, или не ускользнуло отъ него: онъ наблюдалъ и умѣлъ цѣнить его ¹⁾).

НАЛЬ И ДАМАЯНТИ,

ИНДѢЙСКАЯ ПОВѢСТЬ В. А. ЖУКОВСКАГО ²⁾).

1844.

I.

Есть таланты неувядающіе и вмѣстѣ неистощимые. Лѣта не прикасаются къ могуществу ихъ души и не склоняютъ ея въ направленія къ односторонности. Овладевъ тайнами своего искусства, они превращаютъ его въ дыханіе жизни своей, и все, чѣмъ жизнь способна наполниться, вносятъ въ свои созданія. Ихъ успѣхи не зависятъ отъ лучшей эпохи въ жизни, а представляютъ только слѣды бытія, не поддерживаемаго усиліями, но естественнаго и свободнаго. Перемены въ явленіяхъ трудовъ ихъ свидѣлствуютъ, до какой степени воспримчива душа ихъ и вѣрна неистощимому вліянію міра физическаго и духовнаго. Въ этомъ разрядѣ талантовъ никто изъ нашихъ поэтовъ не сіяетъ такъ ярко какъ Жуковский. Сорокъ лѣтъ прошло съ тѣхъ поръ, какъ его имя явилось въ нашей литературѣ; его позднѣйшія произведенія дышатъ всѣмъ очарованіемъ, всею силою, всею роскошью цвѣтущихъ лѣтъ. Даже никому на мысль еще не приходило отдѣлывать нѣкоторыя изъ его стихотвореній, какъ запечатлѣнные красотою

¹⁾ Russische Miscellen zur genauern Kenntniss Russlands und seiner Bewohner. IV Bändchen. 268.

²⁾ Современникъ. XXXIII, 296—317, и XXXIV, 5—32.

лучшей его эпохи. Дѣятельность его воображенія, этой чудной способности ко всему прикасаться каждою стороною души, такъ неизмѣнна и полна силы, что во всякой чертѣ создаваемыхъ имъ образовъ чувствуешь біеніе жизни. Слогъ его поэзіи, гдѣ мысли, чувства, звуки и краски требуютъ строжайшаго сохраненія неисчислимыхъ условій, ни въ какомъ отношеніи не измѣнился. Можно даже сказать, что онъ принимаетъ выраженіе все лучше и лучше, какъ физіономія артиста, увлекаемаго сильнѣйшими ощущеніями. Столь изумительно-юныя, цвѣтушія, вѣчною дышащія весною способности и силы поэтическаго духа своего Жуковскій приводитъ передъ нами въ дѣйствіе не въ одной сферѣ идей и ощущеній, не въ одной эпохѣ исторіи, не въ одной странѣ избранной имъ красоты: область его поэзіи столь же обширна, столь же разнообразна и во всемъ столь же многозначительно-прекрасна, какъ вселенная и человѣчество. Суровыя доблести героическихъ вѣковъ и умиленные обѣты христіанскихъ рыцарей, патриархальная жизнь номадовъ и утонченная роскошь столицъ, фантастическія преданія суевѣрія и пламенные чувства патриотизма, мертвыя пустыни сѣвера и холмы юга, покрытые виноградомъ, все мечтательное и религіозное Европы, все торжественно-неподвижное и дышащее нѣгою Азіи магически обнято имъ, художнически воспроизведено и увѣковѣчено.

II.

Жизнь и ея разнообразіе могутъ поражать самаго поверхностнаго наблюдателя: такъ рѣзки ихъ внѣшнія отличія. Отгнать невольныя впечатлѣнія бываетъ способенъ и нехудожникъ. Въ его искусствѣ они примутъ свои разнохарактерные образы, не получивъ той глубокой мысли и того неуловимаго выраженія, которыя сокрыла природа въ тайномъ святилищѣ всего внутренняго. Чтобы уразумѣть и оживотворить въ каждомъ явленіи высшее его значеніе, для этого надобно приносить къ созерцанію собственную гармонію съ природою и постиженіе ея смысла, не всѣмъ

откровеннаго. Люди, самою природою предназначенные къ этому высокому уразумѣнію тайнъ ея и приготовившіеся мышленіемъ и наукою, иное читаютъ, иное чувствуютъ, иное берутъ въ душу изъ разсматриванія міра, нежели тѣ, которые довольствуются однимъ узоромъ буквы, цвѣтомъ краски, тономъ звука и внѣшностію предмета. Такимъ образомъ изъясняется безконечное различіе ощущеній, производимыхъ въ насъ созданіями искусствъ, даже въ томъ случаѣ, когда одно и то же явленіе, одинъ и тотъ же случай служили предметомъ ихъ произведеній. На картинахъ опытныхъ живописцевъ, въ аккордахъ ученыхъ артистовъ, въ сочиненіяхъ неистощимо-дѣятельныхъ авторовъ много схвачено бываетъ вѣрнаго съ природы и человѣка; но душа наша не выносить изъ нихъ того, что называется опредѣленнымъ ея настроеніемъ, что проникаетъ ее сознаніемъ новой истины и вноситъ въ ея сферу отдѣльный, ясный міръ. Въ Жуковскомъ преобладаетъ способность сливать съ внѣшнею стороною явленій внутреннее ихъ значеніе. Въ самомъ тихомъ движеніи, въ полукрытомъ взглядѣ, въ чертѣ едва замѣтной, въ зародышѣ цвѣтка, въ тишинѣ и мракѣ ночи, онъ ясно опредѣляетъ оттѣнки тѣхъ понятій, которыя въ нихъ заключаются и которыя постигаетъ его душа. Чтеніе стихотвореній его производитъ дѣйствіе не только вкушенія самой жизни, но и очарованіе минутъ, въ которыя мы прекрасно настроены и способны обыкновеннаго сочувствовать съ откровеніями другого сердца, или внѣшней природы, обнимающей насъ своею поэзіею. Ни одно изъ его стихотвореній не можетъ быть забыто, если разъ одинъ пронеслось оно передъ нами съ ароматомъ души своей, съ гармоніей звуковъ и выразительностію cadaго въ немъ явленія. Отвлеченныя понятія, въ его стихахъ, не только сохранили точность своей многообъятной значительности, но и приняли какъ бы для самыхъ чувствъ нашихъ характерные виды, довершающіе выраженіе дѣйствительнаго ихъ смысла; физическіе же предметы у него высказали собою то духовное знаменованіе, которое для мыслящей души заключила въ нихъ природа.

III.

Какъ вселенная, при всей неисчислимости созданий, ее образующихъ, запечатлѣна единствомъ всемогущества и воли премудраго Творца своего; такъ естественно и во всѣхъ помыслахъ души нашей должно таиться одно сокровенное начало, изъ котораго они истекаютъ. Этотъ общій законъ господствуетъ повсюду. Ограниченность соображеній нашихъ препятствуетъ намъ ясно выразумѣть всѣ опредѣленности единства не только въ массѣ мірозданія, но часто и въ собственныхъ нашихъ дѣйствіяхъ. Но, изучая долго и внимательно какой-нибудь избранный кругъ явленій, мы не безъ смысла и не безъ убѣжденія начинаемъ разбирать эту трудную для ума задачу. Въ произведеніяхъ таланта, болѣе нежели гдѣ-нибудь, должно быть замѣтно единство. Оно служить доказательствомъ не только внутренней гармоніи, но и самобытности художника. Противорѣчіе, разногласіе, или даже несоотвѣтственность между явленіями одной и той же души обнаруживаютъ отсутствіе собственныхъ ея убѣжденій, дѣятельность случайную, не вызываемую внутреннею потребностію, а зависящую отъ посторонней силы. Впечатлѣнія, производимыя на насъ вещественною природою и нравственными явленіями, только тогда превращаются въ собственное наше достояніе, когда они гармонически дополняютъ внутренній міръ нашъ и вносятъ въ него стихіи, однородныя съ нимъ. При этомъ общемъ единствѣ самое разнообразіе дышитъ стройностію и красотою. Судя по удивительной воспріимчивости, какою отличается талантъ Жуковского, можно бы сомнѣваться, подчинены ли его произведенія основному закону художнической дѣятельности, т. е. единству. Но замѣчено уже, что поэты по призванію не могутъ быть побѣждены чѣмъ-нибудь противорѣчащимъ ихъ природѣ. Воспріимчивость не выражаетъ собою безхарактерности. Она не что иное какъ естественное предрасположеніе, готовность къ ясному и полному сочувствію всего согласнаго съ нашимъ характеромъ. Раз-

нообразіе природы, нравовъ, страстей и прочихъ особенностей общественнаго человѣка не противорѣчатъ главному направленію, которое у Жуковскаго повсюду одно: это «стремленіе поэта выразить и въ другихъ вдохнуть убѣжденіе о высокомъ назначеніи человѣка здѣсь и тамъ». Нигдѣ не измѣнилъ онъ себя выборомъ. Столь поразительное единство въ безчисленности дѣйствій, характеровъ, положеній и описаній на всѣхъ его сочиненіяхъ утвердило печать его собственности, несмотря на то, что большая часть изъ нихъ заимствована. Перечитывая ихъ, остаешься въ полномъ сознаніи, что Жуковский переводилъ ихъ не какъ существо пассивное, а во всемъ смыслѣ активное. Не только со всею живостію онъ видѣлъ лица и чувствовалъ ихъ бытіе, но самъ воспринималъ въ душу и сердце каждую мысль, каждое желаніе изображаемыхъ имъ людей; онъ восхищался каждымъ предметомъ въ картинѣ, имъ передаваемой. Вотъ что и сообщило его переводамъ все достоинство оригинальныхъ сочиненій.

IV.

Единство произведеній Жуковскаго запечатлѣно не только ихъ характеромъ и внутреннимъ направленіемъ, но самымъ языкомъ, сколько онъ ни разнообразенъ по существу предметовъ, имъ изображаемыхъ. Высокое и простодушное, комическое и страстное, тихое и бурное — всѣ неисчислимые оттѣнки человѣческой души и физической природы, рѣзко отличаясь частными своими красотами и тономъ, выказываются однакоже въ какомъ то общемъ освѣщеніи, которое на нихъ наводитъ одна рука живописца, приобщающаго ихъ къ семейству своихъ произведеній. Кто вполнѣ постигнулъ особенность колорита, формъ, положеній и прочихъ внѣшнихъ принадлежностей въ картинахъ великихъ живописцевъ, преимущественно Рафаэля, Корреджіо, Тиціана, Рембранта и Фанъ-Дика; тотъ безъ сомнѣнія чувствуетъ, какимъ образомъ художникъ, самый неистощимый въ созданіяхъ, всегда новыхъ, всегда поражающихъ вѣрностію и силою натуры, обле-

каетъ ихъ, такъ сказать, атмосферою своихъ началъ. Такого же рода обладаніемъ ознаменованы творенія древнихъ и новыхъ поэтовъ, достигнувшихъ артистической власти надъ своимъ слогомъ и вообще надъ языкомъ. Эврипидъ и Виргилій, Шиллеръ и Байронъ умѣли вдохнуть въ каждый стихъ свой выраженіе собственной ихъ души, настроеніе ихъ ума, трепетъ ощущеній, утонченность слуха и живость каждаго изъ чувствъ своихъ. Такимъ образомъ русскій языкъ Жуковскаго проникнуть такими стихіями, какихъ не найдешь ни у кого. Въ одно и то же время, одного и того же автора переводили Гнѣдичъ и Жуковскій. Вотъ для образца стихи Гнѣдича. Ахиллесъ (*Иліады* пѣснь XIX, ст. 328), оплакивая смерть Патрокла, говоритъ:

Прежде меня утѣшала хранимая въ сердцѣ надежда,
Что умру я одинъ, далеко отъ отчизны любезной,
Въ чуждой Троянской землѣ, а ты возвратишься во Фтію;
Ты, уповалъ я, мнѣ сына въ своемъ кораблѣ быстролетномъ
Въ домъ привезешь изъ Скироса, и юношѣ все тамъ покажешь
Наше владѣнье, рабовъ, и высокія кровлей палаты.
Ибо Пелей, говоритъ мое сердце, уже или умеръ,
Или, быть можетъ, едва уже дышитъ, согбенный подъ игомъ
Старости скорбной и грусти, и ждетъ обо мнѣ безпрестанно
Вѣсти убійственной сердцу, когда о погибшемъ услышитъ!

Въ переводѣ Жуковскаго это мѣсто изображено слѣдующимъ образомъ:

Я донинѣ всегда упованіемъ тайнымъ
Сердце свое утѣшалъ, что умру я одинъ, разлученный
Съ славнымъ конями Аргосомъ, въ Троянской землѣ; что въ предѣлы
Фтіи родной возвратяся, ты самъ въ корабляхъ бѣлокрылыхъ
Сына въ Скиросѣ возмешь и ему покажешь въ отчизнѣ
Всѣ богатства мои, рабовъ и царевы чертоги.
Чувствовалъ я, что тогда ужъ Пелей или въ землѣ, бездыханный,

Будеть лежать, иль, можетъ-быть, грустно свой вѣкъ доживая,
 Будеть согбенъ отъ печали и лѣтъ, все боясь, что отъ Троя
 Вѣстникъ придетъ и скажетъ ему: Ахиллеса не стало!

Вотъ и еще примѣръ, до какой степени неизъяснимо-очаровательный колоритъ покрываетъ каждую мысль, изображаемую Жуковскимъ. Онъ и Батюшковъ перевели въ одно время известную Лафонтенову басню: *Сонъ Могольца*. Одна изъ лучшихъ элегическихъ картинъ помѣщена въ концѣ басни. Батюшковъ изобразилъ ее такъ:

Иль если мнѣ дана

Способность малая и скудно дарованье,
 Пускай плѣнитъ меня источниковъ журчанье,
 И я любовь и миръ пустынный воспою!
 Пусть Парка не прядетъ изъ злата жизнь мою,
 И я не буду спать подъ бархатнымъ наметомъ;
 Ужели черезъ то я потеряю сонъ?
 И меньше ль по трудахъ мнѣ будетъ сладокъ онъ?
 Зимой близъ огонька, въ тѣни древесной лѣтомъ,
 Безъ страха двери самъ для Парки отопру,
 Безпечно вѣкъ проживъ, спокойно я умру.

У Жуковского она приняла слѣдующій видъ:

Когда жъ не мой удѣлъ познанье сихъ чудесъ:

Пусть буду напоснѣ лѣсовъ очарованьемъ,
 Пускай плѣняюся источниковъ журчаньемъ,
 Пусть буду воспѣвать ихъ блескъ и тихій токъ!
 Нить жизни моя совѣтся не изъ злата;
 Мой сладокъ будетъ кровъ, постеля не богата:
 Но меньше ль бѣдныхъ сонъ и сладокъ и глубокъ?
 И меньше ль онъ души невинной услажденье?
 Ему преобращу мою пустыню въ храмъ;
 Придетъ ли часъ отбыть къ невѣдомымъ брегамъ —
 Мой вѣкъ былъ тихій день, а смерть успокоенье.

Видимо, что въ слогѣ и языкѣ Жуковскаго, какъ въ самой душѣ его, есть высшее сочувствіе съ характеромъ представленій, занимающихъ его воображеніе. Ясно, что онъ не только обдумываетъ ихъ, но сливается съ ихъ бытіемъ, и оттого они такъ свѣтло бываютъ озарены колоритомъ собственнаго его таланта, между-тѣмъ, какъ у другихъ едва схвачены первые очерки дѣйствій или положеній.

V.

Какъ назвать языкъ Жуковскаго, судя потому, чистый ли преобладаетъ въ немъ элементъ русскій, или соединеніе русскаго съ церковно-славянскимъ, противъ котораго иногда воюють *люди буквы*, а не *рѣчи*? Это языкъ не теоріи, а истины. Мы Русскіе въ историческомъ отношеніи прожили два періода: отъ одномъ все образованіе шло отъ богослужебной литературы, въ другомъ отъ гражданской, какъ дополненія первой. Тотъ и другой періодъ утвердилъ за языкомъ своимъ идеи и образы, которыхъ не выразишь вполнѣ, замѣняя старое слово новымъ, или новое старымъ. Писатель холодный, равнодушно, безъ участія расчитывающійся съ понятіями своими, облекаетъ ихъ въ формы по указаніямъ школьныхъ правилъ: вотъ отчего, смотря по школѣ, и являются то славянофилы, то русскіе пуристы, то ученые медиаторы двухъ школъ. Но истина одна: ею глубоко проникнута мысль таланта, который, только ей удовлетворяя, не думаетъ о требованіяхъ школы. Жуковскій, начавшій писать во время пресловутой войны славянофиловъ и видимо принадлежавшій къ сторонѣ ихъ противниковъ, не заботясь ни о комъ, началъ писать такъ, какъ находилъ согласіе съ истиною своихъ представленій: онъ оба элемента (можно прибавить и третій — слова иностранныя, для идей, не получившихъ у насъ гражданства) равно присвоилъ себѣ. Но въ немъ не повторился ни одинъ изъ его предшественниковъ, потому что онъ писалъ отъ полноты убѣжденія, а не по требованію теоріи. Замѣчательнѣе всего, что языкъ Жуковскаго не встрѣ-

ченъ былъ гоненіями ни съ той, ни съ другой стороны. Вотъ лучшее доказательство, что живое созданіе привлекаетъ къ себѣ общую любовь, какъ оно ни различествуетъ отъ изваяннаго нами кумира. Самыя первыя его стихотворенія уже показываютъ своими красками языка это независимое творчество, эту полноту души и область самобытнаго таланта. Описаніе страждущаго Громобоя, окруженнаго дочерью, запечатлѣно всею силою независимости поэта.

И страшнаго одра кругомъ —
 Гдѣ, блѣденъ, изможденный,
 Съ обезображеннымъ челомъ,
 Всѣ кости обнаженны,
 Брада до чреслъ, власы горой,
 Взоръ дикій, впалы очи,
 Вопилъ отъ муки Громобой
 Съ утра до поздней ночи —
 Стеклися дѣвы, ясный взоръ
 На небо устремили,
 И въ тихій къ Провидѣнью хоръ
 Сердца совокупали.

О, видъ, угодный небесамъ!
 Такъ Ангелы спасенья,
 Вонмя раскаянья слезамъ,
 Съ улыбкой примиренья,
 Въ очахъ отрада и покой,
 Отъ горняго чертога
 Нисходятъ съ милостью святой,
 Предшественники Бога,
 Къ одру болѣзни въ смертный часъ...
 И, утомленъ страданьемъ,
 Сынъ гроба слышитъ тихій гласъ:
 Отыди съ упованьемъ!

Не только слова, цѣлые обороты сюда взяты изъ языка церковно-славянскаго. Но природа существъ, изображаемыхъ поэтомъ, краски, вызываемыя положеніемъ ихъ и прочими обстоятельствами, не удовлетворили бы требованію истины, если бы поэтъ принялъ другой языкъ, выработанный общими соображеніями, не родившійся вѣстѣ съ яркими его идеями на той сценѣ, на которой все это такъ живо ему представилось.

VI.

Сорокалѣтняя литературная жизнь Жуковскаго дѣйствовала на талантъ его, какъ на силу магнита дѣйствуетъ постоянное возвышеніе тяжести. Чѣмъ болѣе оканчивалъ поэтъ своихъ трудовъ, тѣмъ значительнѣе избиралъ онъ для себя новые. Его свѣжесть ощущеній, разнообразіе предметовъ, живость представленій, созданный имъ языкъ и — отраженіе всей его души — энергическій слогъ его постоянно сильнѣе и сильнѣе выражали художническое его призваніе. Онъ уже внесъ въ свою область тѣ картины и сцены европейской поэзіи, съ которыми гармонировало настроеніе его. Нынѣ перешагнулъ онъ въ новый міръ, столь отъ насъ отдаленный и эпохою событій, изображаемыхъ въ немъ, и мѣстными красками, которыхъ чудные переливы внесла въ поэму Восточная природа съ Восточнымъ воображеніемъ. *Налъ и Дамаянти* — эпизодъ Магабараты. Для полноты его и занимательности нѣтъ нужды въ указаніяхъ на цѣлое, кромѣ общихъ свѣдѣній о мифологіи и жизни Индѣйцевъ. Новая поэма Жуковскаго посвящена ея императорскому высочеству В. К. Александрѣ Николаевнѣ. Содержаніемъ посвященія послужили для поэта три эпохи собственной его жизни, событія, которыя конечно никогда не изгладятся изъ его памяти. Послѣдняя изъ нихъ переноситъ читателя въ тотъ мирный уголокъ на берегу Рейна, гдѣ Провидѣніе приготовило поэту лучшія изъ благъ, вкушаемыхъ на землѣ. Какое чистое, возвышенное чувство проникаетъ его поэзію!

Я увидѣлъ

Себя на берегу рѣки широкой:
 Садилось солнце; тихо по водамъ
 Суда сіяя плыли, и за ними
 Серебряный тянулся слѣдъ; вблизи
 Въ кустахъ свѣтился домикъ; на порогѣ
 Его дверей хозяйка молодая
 Съ младенцемъ спящимъ на рукахъ стояла. . .
 И то была моя жена съ моею
 Малюткой дочерью. . . И я проснулся;
 И милый сонъ мой сталъ блаженной былью.

И нынѣ тихо безъ волненья льется
 Потокъ моей уединенной жизни.
 Смотря въ лицо подруги, данной Богомъ
 На освященье сердца моего,
 Смотря, какъ спитъ сномъ ангела на лонѣ
 У матери младенецъ мой прекрасный,
 Я чувствую глубоко тотъ покой,
 Котораго такъ жадно здѣсь мы ищемъ,
 Не находя нигдѣ, — и слышу голосъ,
 Земныя всѣ смиряющій тревоги:
 «Да не смущается твоя душа,
 Онъ говоритъ мнѣ, «вѣруй въ Бога, вѣруй
 Въ меня».

Еще трогательнѣе при концѣ посвященія сближеніе двухъ
 существъ, изъ которыхъ одно озарило утро жизни поэта, другое,
 съ участіемъ внимая нынѣшнимъ звукамъ его, какъ бы свѣтить
 ему при вечерѣ его жизни:

И въ тихій мой пріютъ, отъ всѣхъ заботъ
 Житейскаго живой оградой сада
 Отгороженный, другъ минувшихъ лѣтъ,
 Поэзія ко мнѣ порой приходитъ

Разсказами досугъ мой веселить.
И живъ въ моей душѣ тотъ свѣтлый образъ,
Который такъ ее очаровалъ
Во время ово... Часто на краю
Небесъ, когда ужъ солнце сѣло, видимъ
Мы облака: изъ-за пурпурныхъ ярко
Выглядываютъ золотыя, свѣтлымъ
Вершинамъ горъ подобныя; и видитъ
Воображенъ тамъ какъ будто область
Иного міра. Такъ теперь, созданьемъ
Мечты, какой-то областью воздушной
Лежитъ вдали минувшее мое;
И мнится мнѣ, что благодатный образъ,
Мной встрѣченный на жизненномъ пути,
Попрежнему оттуда мнѣ сіяетъ.
Но онъ ужъ не одинъ, ихъ два; и прежній
Въ коронѣ, а другой въ вѣнкѣ живомъ
Изъ бѣлыхъ розъ, и съ прежнимъ сходенъ онъ
Какъ разцвѣтающій съ разцвѣтшимъ цвѣтомъ:
И на меня онъ свѣтлый взоръ склоняетъ
Съ такою же привѣтною улыбкой,
Какъ тотъ, когда его во снѣ я встрѣтилъ.
И имя имъ одно. И нынѣ я
Тѣмъ милымъ именемъ послѣдній цвѣтъ,
Поэзіей мнѣ данный, знаменую
Въ воспоминаніе всего, что было
Сокровищемъ тѣхъ свѣтлыхъ жизни лѣтъ,
И что теперь такъ сладостно чаруетъ
Покой моей обвечерѣвшей жизни.

VII.

Въ повѣсти *Наль и Дамаянти* содержится десять главъ, изъ которыхъ каждая раздѣляется на три картины или сцены. Главная идея повѣсти взята изъ убѣжденія, принадлежащаго всѣмъ

вѣкамъ и всѣмъ народамъ, что взаимная любовь супруговъ, вѣрность и снисхожденіе ихъ другъ къ другу составляютъ единственно-прочное основаніе ихъ счастья. На первомъ планѣ этой восхитительно-трогательной картины только и являются два лица:

Наль — Визарены

Сильнаго сынъ, обладатель царства Нишадскаго. Этотъ Наль былъ славенъ дѣлами, во младости мудръ, и прекрасенъ. Такъ, что въ цѣломъ свѣтѣ царя, подобнаго Налю, Не было, нѣтъ и не будетъ; между другими царями Онъ сіялъ, какъ сіяетъ солнце между звѣздами. Крѣпкій мышцею, свѣтлый разумомъ, чтитель смиренный Мудрыхъ духовныхъ мужей, глубоко проникнувшій въ тайный Смыслъ писаній священныхъ, жертвъ сожигатель усердный Въ храмахъ боговъ, вождельный своихъ обуздатель, нечистымъ Помысламъ чуждый, любовь и тайная дума Дѣвъ, гроза и ужасъ враговъ, друзей упованье, Опытный въ трудной военной наукѣ, искусный и смѣлый Вождь, изъ ума дивный стрѣлокъ, наипаче же славный Чуднымъ искусствомъ править конями. Другое лицо — Дамаянти.

Звѣздой красоты разцвѣла Дамаянти.

Прелесть ея прошла по землѣ чудесной молвою. Въ домѣ отца окруженная роемъ подружекъ, какъ будто Свѣжимъ вѣнкомъ, сіяла межъ нихъ Дамаянти, какъ роза Въ пышной зелени листьевъ сіяетъ, и въ этомъ собраньи Дѣвъ сверкала, какъ молнія въ тучѣ небесной. Ни въ здѣшнемъ Свѣтѣ, ни въ мірѣ безплотныхъ духовъ, ни въ странѣ, гдѣ святыя Боги живутъ, никогда подобной красы не видали: Очи ея могли привлечь и безсмертныхъ на землю Съ неба.

Поэзія, заимствованная прямо изъ человѣческаго сердца, никогда не клеветала на него. Индѣйцы и Греки, Англичане и Русскіе, въ высокихъ созданіяхъ изящныхъ искусствъ, не противорѣ-

чать другъ другу, если разсматриваютъ человѣка какъ художники по призванію, т. е. глубоко и вѣрно. Такимъ образомъ повсюду сердце мужчины представляется доступнѣе разнымъ страстямъ, нежели сердце женщины, которая вся проникается главною страстію — любовью. У Шиллера Текла говоритъ:

О, другъ! я все земное совершила:
Я на землѣ любила и жила!

У Шекспира Дездемона представляетъ совершеннѣйшее осуществленіе любви. Подобною любовію дышитъ и Дамаянти. Она не измѣняетъ своему единственному чувству ни въ какихъ обстоятельствахъ. Какъ всѣ поэмы древнихъ народовъ, и разсматриваемая нами повѣсть заимствуетъ для завязки своей и развязки участіе высшихъ силъ. Поэтому она становится полною картиною вѣка, народа и самой страны. Вы, съ помощію рассказа этого, изучаете нравы и страсти, вѣрованія и преданія, красоты и особенности тамошняго края. Краски мѣстности и эпохи выводятъ художническое созданіе изъ безцвѣтности, которая могла бы охолодить и изсушить самый многосложный, самый остроумный рассказъ. Все общее, свойственное человѣку, какъ существу разсматриваемому безъ отношенія къ извѣстному времени и пространству, принимаетъ истинно-поэтическій образъ и художническую занимательность отъ сліянія его съ частнымъ, выражающимъ дѣйствительную жизнь. Вѣсто основанія, столь вѣрнаго и въ то же время простого, основанія, незыблемо поддерживающаго цѣлыя тысячелѣтія каждую мысль и картину вѣчныхъ поэтовъ, прибѣгать къ метафизическимъ бреднямъ, къ клеветамъ и страшилищамъ ложно-настроеннаго искусства, значить не понимать средствъ и цѣли своего дѣла. Только во времена упадка изящныхъ искусствъ художники искали помощи въ сплетеніи трудно-развязываемыхъ вымысловъ, сочиняемыхъ ребяческою прихотью безсильнаго ихъ таланта. Ясность, простота и истина всегда сопутствовали величію произведенія. То же самое явленіе встрѣ-

чаемъ въ слогѣ и языкѣ писателей. Въ повѣсти *Наль и Дамаянти*, развитіе событія такъ естественно и легко, что становится доступно самому неприготовленному читателю. То же надобно сказать и объ изложеніи повѣсти.

У Наля была несчастная страсть *играть въ кости*. Адскій богъ Кали, въ злобѣ, что Дамаянти не ему досталась, а Наль, рѣшился погубить ихъ, поселясь въ сердце молодого супруга и разжигая его гибельную наклонность къ игрѣ. Несчастный Наль, жертва тайнаго кова, проигрываетъ всѣ свои сокровища и самое царство свое, изъ котораго изгоняется новымъ его владѣльцемъ. Дамаянти не покидаетъ его въ бѣдствіи. Мучимый раскаяніемъ при видѣ невинно-страждущей супруги, и въ предположеніи, что безъ него она еще можетъ найти счастье, Наль, пользуясь временемъ сна Дамаянти, разлучается съ нею. Описаніе странствій ихъ по разлукѣ представляетъ разнообразнѣйшія картины нравовъ и природы Индіи: оно съ главы IV продолжается до X. Повѣсть оканчивается тѣмъ, что супруги нашли другъ друга и Наль возвратилъ себѣ царство свое. На событіе, столь простое и естественное наведены краски и подробности, изумляющія своею живостію и занимательностію. Что шагъ, то новое очарованіе. Игривый, чуждый малѣйшей изысканности умъ, грація положеній, чистота и свѣжесть въ каждомъ приливѣ чувства, младенческая прелесть разговоровъ, словомъ, все вѣетъ на читателя чѣмъ-то неиспытаннымъ здѣсь, но понятнымъ и согласнымъ съ общою природою человѣка. Живешь какъ будто въ темномъ воспоминаніи; чувствуешь осуществленіе какой-то любимой мечты; освобождаешься отъ утомительной тяжести, которую наложили на тебя безжалостные люди. Эта дивная страна, въ которой вѣрованіе такъ сблизило самыя разнородныя существа и связало ихъ закономъ общей судьбы; эта страна избытка, жизненности, солнца, уединенной мудрости и священныхъ символовъ—она вся раскрывается передъ вами какъ въ паворамѣ. Никогда, самый блестящій европейскій талантъ, безъ собственнаго прикосновенія къ дѣйствительнымъ красотамъ Индіи, не наведетъ васъ, силою

однаго воображенія и книжныхъ знаній, на прямыя и точныя красоты ея. Сколько усилій употреблено было *Томасъ-Муромъ*, чтобы его *Далла-Рукъ* вдохнула въ васъ ощущеніе тамошняго края. Сравнивая его поэму, плодъ чтенія, ума и таланта, съ этою повѣстію, почерпнутою въ самомъ источникѣ народной поэзіи, видишь въ первой одни указанія на предметы безъ ихъ дѣйствительной жизни, подобно тому, какъ въ лексиконѣ находишь языкъ, но не чувствуешь образовъ мысли. Здѣсь, напротивъ того, съ первыхъ представленій становишься созерцателемъ дѣйствій, отношеній, понятій, которыя естественны, при всемъ ихъ несходствѣ съ нашими.

IX.

Отецъ героини былъ Видарбинскій царь *Бима*. Молва о совершенствахъ *Наля* и *Дамаянти* приготовила задолго до свиданія ихъ взаимно-нѣжное, чистое влеченіе сердецъ, которое повсюду подобно аромату цвѣтка до превращенія его въ прекрасный плодъ.

И каждый

Часть о великомъ царѣ Нишадской земли *Дамаянти*
Слышала; каждый часть о звѣздѣ красоты благородный
Царь Нишадскій слышалъ: и цвѣтъ любви изъ живого
Сѣмени словъ межъ ними, другъ друга не знавшими, скоро
Выросъ. Однажды царь, безымянной болѣзнію сердца
Мучимый, въ рощѣ задумчивъ гулялъ; и вдругъ онъ увидѣлъ
Въ воздухѣ бѣлыхъ гусей: распустивъ златоперыя крылья,
Стаей летѣли они, и громко кричали, и въ рощу
Шумно спустились. Проворной рукой за крыло золотое
Налъ схватилъ одного. Но ему сказалъ человѣчьимъ
Голосомъ гусь: отпусти ты меня, государь, я за это
Службу тебѣ сослужу: о тебѣ *Дамаянти* прекрасной
Слово такое при случаѣ молвлю, что только и будетъ
Думать она о Налѣ одномъ.

Тамъ, гдѣ возникло ученіе *метемсихозиса*, участіе всѣхъ существъ въ судьбѣ человѣка не странно и представляетъ совершенно другое явленіе въ произведеніяхъ поэзіи, нежели у Европейцевъ. Въ Индіи оно согласуется съ общими понятіями и довершаетъ собою истину изображаемой картины. Въ разсматриваемой поэмѣ еще много разъ мы увидимъ вліяніе *метемсихозиса* на поэзію. Европейцы не безъ основанія утверждаютъ, что басни и другія апологическія преданія возникли на Востокѣ въ Индіи. Тамъ, гдѣ все въ органической природѣ рѣзко поражаетъ взоры избыткомъ жизни и какимъ-то духовнымъ выраженіемъ, ощущаемымъ въ каждомъ явленіи и громко отзывающимся на привѣтъ человѣка, тамъ естественно могло возникнуть это странное для насъ ученіе и сообщать поэзіи краски, перешедшія у насъ въ холодное аллегорическое украшеніе. Но возвратимся къ тому, какъ исполнилъ гусь обѣщаніе свое. Вотъ что онъ сказалъ прекрасной царевнѣ:

Дамаянти!

Въ царствѣ Нишадскомъ царствуетъ Наль; и нѣтъ, и не будетъ
Между людьми красавца такого. Когда бы его ты женою
Стала, то счастье твое вполнѣ бъ совершилось; какой бы
Плодъ родился отъ союза съ его красотою могучей
Нѣжной твоей красоты. Васъ другъ для друга послали
Боги на землю. Повѣрь тому, что тебѣ говорю я,
О тихонравная, сладкопривѣтная, чистая дѣва!
Много мы въ странствіяхъ нашихъ луговъ человѣческихъ, много
Райскихъ обителей неба видали; въ страны великановъ
Также проникнули мы, но донинѣ еще, Дамаянти,
Встрѣтить подобнаго Налью царя намъ нигдѣ не случилось:
Ты жемчужина дѣвъ, а Наль мужей драгоцѣнный
Камень. О если бы вы сочетались! тогда бы узрѣли
Мы на землѣ неземное. Такъ гусь говорилъ. Дамаянти
Слушая радостно рдѣла; потомъ въ отвѣтъ прошептала,
Вся поблѣднѣвъ отъ любви: *Скажи ты то же и Налью.*

Можно ли граціознѣе, точнѣе и проще вести ходъ повѣсти? Исключая то, что относится къ повѣрѣямъ и преданіямъ мѣстнымъ, все въ ней представляетъ подробности и явленія столь естественныя, столь несомнѣнныя и понятныя каждому изъ насъ, что ни малѣйшаго не нужно усилія воображенію для участія въ событіи.

Послѣ того, что сказалъ ей гусь золотой, Дамаянти, словно какъ будто съ собою разставшись, была безпрестанно съ Налемъ прекраснымъ. Объятая тайною думой, скитаясь Шаткой, невѣрной стопою, какъ будто въ какомъ разслабленіи, То подымая къ небу грустныя очи, то въ землю Ихъ потупляя, то съ полною тяжкими вздохами грудью— Временемъ щеки какъ жаръ, временемъ блѣдныя; очи Полныя слезъ; засохшія губы, и всѣ въ безпорядкѣ Мысли, какъ волосы — день и ночь Дамаянти вздыхала, Слабая, томная; не было ей ни сна на постели, Ниже покоя на мѣстѣ иномъ; и тая въ болѣзни Пищи она, ни питья принимать не хотѣла.

Бима опечалился. Онъ понялъ, что настало время любви для его дочери. Гонцы изъ Видарбы отправлены по всеѣмъ царствамъ Индіи. Они приглашаютъ царей на пиръ къ Бимѣ. Только къ царямъ и царевичамъ вѣсть объ этомъ достигла, Всѣ снарядились въ путь. Съ востока и запада быстрый, Шумный потокъ пути наводнилъ, наполняя всю землю Смутнымъ гуломъ слововъ, коней, колесницъ, и до неба Пыль густую подьема. Сіяя богатствомъ уборовъ, Множествомъ ратниковъ, блескомъ оружій, пышностью броней, Съѣхались гости въ Видарбу.

Въ это время два старца, Нерада и Первата (какъ въ самыхъ собственныхъ именахъ санскритскаго языка слышны звуки и смыслъ славянскаго!), блаженные отшельники, съ земли проникаютъ въ обитель міродержавца Индры. На вопросъ его о здоровьи гостей и цѣлаго свѣта Нерада отвѣчаетъ:

Божеской милостью вашей здоровы
Мы, и весь свѣтъ нашъ здоровъ: благоденствуютъ люди и звѣри;
Въ каждой пылинкѣ, въ каждой былинкѣ жизнь и веселье.

Во второй половинѣ этого отвѣта подтверждается наше замѣчаніе, что для жителя Индіи въ природѣ нѣтъ ничего безъ души. Индра желаетъ узнать причину, отчего теперь у нихъ на землѣ нѣтъ ни войны, ни сраженій. Нерада рассказываетъ о празднествѣ въ Видарбѣ. Индра съ прибывшими къ нему со-участниками въ міродержавствѣ: Агнисомъ, властителемъ огня, Варуною, повелителемъ воды, и Ямою, земледержавцемъ, отправляется на землю: боги пожелали предстать на выборъ Дамаянти. Имъ встрѣчается Наль, котораго отправляютъ они посланникомъ отъ себя къ дочери Бимы. Отвѣтъ Дамаянти Нालю восхитительно-страстенъ:

Не боги, а ты, мой избранный,
Свѣтлый женихъ; я твоя, и все, чѣмъ я обладаю,
Все, что люблю я, каждое явное, тайное чувство
Сердца, всѣ мысли, желанья, и жизнь, и все, мой прекрасный
Царь, владыка души, твое безъ изыятія.

Х.

Вникая въ многозначительный смыслъ истинной поэзіи, болѣе и болѣе убѣждаешься, что ея основаніе, переходъ изъ идеи въ образъ, ея неизмѣнныя повсюду черты нисколько не подлежатъ случайнымъ обстоятельствамъ нашей жизни, а нераздѣльно связаны съ самою сущностію человѣческаго духа. Разнообразие поэгическихъ созданій выражаетъ собою только естественно-разновидное проявленіе духа нашего, такъ неизъяснимо подчиненнаго организму природы. Но какъ общія духовныя условія неизмѣнны и не могутъ быть уничтожены всею силою времени и мѣста, такъ и основныя начала поэзіи повсюду и вѣчно въ гармоніи между собою. Понятіе, наприм., о благочестіи, какъ о при-

надлежности совершенства души, въ формѣ своей можетъ измѣняться, но главный элементъ его остается неприкосновеннымъ. Сознаніе нашего ничтожества, благоговѣніе къ высшимъ силамъ, покорность волѣ ихъ равно объемлютъ человѣка во всѣхъ странахъ и на каждой ступени умственного его развитія. Проникнутый глубоко могущественнымъ чувствомъ присутствія въ себѣ духа жизни, поэтъ никогда не въ противорѣчіи съ человѣчествомъ, а между тѣмъ повсюду новъ и полонъ откровеній для человѣка въ частности. Такимъ образомъ, вводя читателя въ невѣдомую для него область поэзіи, критикъ невольно вдается въ созерцаніе красоты индивидуальной, преимущественно въ ней ощущая жизнь еще свѣжую, неразгаданную и трепещущую вдохновеніемъ.

Налъ отвѣчаетъ Дамаянти :

Какъ же ты можешь

Вѣчнымъ богамъ предпочесть обреченнаго смерти? Какъ можешь
 Съ тѣми, отъ коихъ жизнь истекаетъ, кѣмъ держится зданье
 Мира, ставить меня на ряду, недостойнаго съ прахомъ
 Ногъ ихъ сравняться? Идущій противъ воли безсмертныхъ
 Смерти навстрѣчу идетъ. О плѣнительно-стройная дѣва,
 Будь мнѣ спасеньемъ, избавши небесное вмѣсто земного.
 Легкость чистыхъ, безпыльно-эфирныхъ одеждъ, неземные
 Перлы, вѣнки и повязки боговъ предпочти, и блаженствуй.
 Что желаннѣй тебѣ: благовонный ли воздухъ, огня ли
 Жертвенный пылъ, живая ли влага воды, иль твердыня
 Вѣчной земли? Одинъ, лазурно-воздушнымъ пространствомъ
 Міръ объемля, движеніемъ и свѣтомъ его наполняетъ;
 Искрою въ каждой пылинкѣ таяся, другой проникаетъ
 Все, разрушая тѣла и духу даруя свободу;
 Третій, кристальною цѣпью землю обвивъ и на зыбкомъ
 Пухѣ воды отдыхая, жемчужныя нити вплетаетъ
 Въ кудри свои; четвертый даетъ живущему мѣсто,
 Мертвому пристань, и все созданье на судъ собираетъ:
 Вотъ твой женихъ, Дамаянти!

Здѣсь поэзія наложила свои частныя черты, свои мѣстныя краски на общую идею могущества и власти высшихъ силъ. Не извлекиши этихъ особенностей изъ первоначальнаго представленія, едва ли можешь составить ясную мысль о совершенствѣ или недостаткахъ народныхъ произведеній поэзіи. И чѣмъ она само-
 • бытнѣе, тѣмъ обильнѣе встрѣчаются подобныя частности. Нельзя не удивляться, съ какою художническою утонченностію, съ какими вкусомъ и блескомъ представлено здѣсь каждое лицо.

ХІ.

Описаніе собравшихся гостей, изъ числа которыхъ Дамаянти должна избрать себѣ супруга, всего оригинальнѣе. Ни въ какомъ другомъ сочиненіи нельзя найти и подобія этой странности, смѣлости и въ то же время вѣрности образовъ.

Собралися въ обширной
 Царской палатѣ цари и царевичи : взоры ихъ жаркой
 Жаждой любви пламенѣли; они прошли сквозь золотыя
 Своды высокихъ дверей, какъ львы сквозь разсѣлину. Въ блескѣ
 Свѣжихъ душистыхъ вѣнковъ, въ серьгахъ драгоценныхъ сидѣли
 Тамъ величавые гости на пышныхъ, упругихъ подушкахъ;
 Тѣсно ихъ сонмище было, какъ львиная грива густая;
 Полная жъ ими палата казалась разинутымъ зѣвомъ
 Тигра, полнымъ зубовъ. И было тутъ чѣмъ любоваться:
 Крепкія бедра, какъ будто столбы, литые изъ мѣди;
 Сильныя мышцы и плечи, какъ будто могучіе дубы;
 Съ гибкими пальцами руки, какъ змѣи съ пятью головами;
 Гордые шеи, свѣтлымъ гранитнымъ зубцамъ на вершинахъ
 Горныхъ подобныя, въ блескѣ прекрасныхъ, весельемъ горящихъ
 Лицъ и пышныхъ волосъ и высокихъ бровей и огнистыхъ
 Глазъ.

Входитъ невѣста, чтобъ взглядомъ однимъ помутить ихъ умъ. Они прильнули къ ней очами, какъ птицы къ клейкой охотничей жерди. Дамаянти ищетъ Наля — и пять его образовъ является передъ нею. Такъ устроили могущіе боги, чтобы подвергнуть ее испытанію. Ея смущеніе и страхъ, ея молитва и преданность трогаютъ безсмертныхъ, которые приняли свои обыкновенные знаки, чтобы она отъ нихъ отличила Наля. Наконецъ все устроилось. Супруги возвратились въ Нишадское царство. Но тамъ ожидала ихъ погибель, приготовленная озлобленными адскими богами Кали и Двепарой: первый вселился въ душу Наля, а другой въ игорныя кости. Сведеный братъ Наля, Пушकारа, овладѣлъ всѣмъ, что принадлежало Нишадскому царю. Изгнанники терпятъ голодъ и во всемъ крайнюю нужду. Когда Наль предложилъ, чтобы его супруга отправилась одна къ родителямъ ея въ Видарбу, вотъ что отвѣчала Дамаянти:

Царства лишенный, счастье утратившій, голодомъ, жаждой,
Всякой нуждою томимый, царей красота, мой единый
Другъ, какъ могъ пожелать ты, какъ могъ ты подумать, чтобъ
было

Мнѣ возможно покинуть тебя, отъ тебя отказаться!
Нѣтъ, мой прекрасный: тебя, изнуреннаго голодомъ, жаждой,
Горемъ о счастья погибшемъ томимаго, буду я въ дикомъ
Лѣсѣ и въ знойной степи утѣшать я и словомъ и взглядомъ.
Знай, что нѣтъ для души и тѣла вѣрнѣе лѣкарства
Вѣрной жены.

Между тѣмъ страданія превозмогли. Наль оставилъ сонную Дамаянти, какъ ни тягостна была для его сердца эта разлука. Онъ глубоко убѣжденъ былъ, что безъ него должны скоро прекратиться бѣдствія ея. Какъ трогательно изображено состояніе несчастной, пробудившейся въ страшномъ одиночествѣ. Предавши проклятію тайнаго врага, разлучившаго съ нею Наля (она по собственнымъ чувствамъ знала, что самъ онъ не могъ бы сдѣ-

латься до такой степени жестокимъ), Дамаянти продолжала свое опасное странствованіе. Здѣсь на каждомъ шагу поражаетъ читателя эта чудная страна, полная существъ и картинъ то прекрасно-грозныхъ, то прекрасно-мирныхъ, то величественныхъ, то игривыхъ и веселыхъ. Мы не можемъ пропустить особенно одного обращенія къ горѣ, которое поэтъ вложилъ въ уста безутѣшной Дамаянти.

Тамъ подымается, въ небо упершись вершиной, обитый
Пышнымъ вѣнцомъ изъ деревъ и кустовъ благовонныхъ, цвѣтами
Ярко пестрѣющій, солнечно-блещущій, слитый изъ твердыхъ
Скалъ, насквозь просіянный металлами, рѣкъ и потоковъ
Древній отецъ, лѣсовъ неприступная башня, пустыни
Сторожъ, владыка горъ — подойду и скажу: о владыка
Горъ первозданный, спокойно-блаженный, прохладно-росистый,
Тучеподобный, земли подпиратель, тебѣ поклоняюсь;
Слезно тебя, о великій, молю, скажи: не видалъ ли
Наля? Я дочь благодушнаго Бимы царя, Дамаянти;
Сынъ Виразены, Наль Пуньялока, супругъ мой, Нишады
Царь богомудрый, глубоко постигнувшій Веду святую,
Чистый и мыслію и словомъ и дѣломъ, гонимыхъ защитникъ,
Зла истребитель, сѣятель благъ, мнѣ данный богами
Спутникъ, покинулъ меня, и разставшись съ нимъ, я разсталась
Съ жизнію. Нынѣ къ тебѣ прихожу, многоглавый властитель
Горъ, съ высоты все объемлющій окомъ, скажи: не видалъ ли
Наля? Отвѣтствуй, могучій созданія первенецъ; словомъ
Сладкой надежды утѣшь сироту, какъ отецъ утѣшаетъ
Дочь сокрушенную: гдѣ мой возлюбленный, гдѣ мой желанный?
Гдѣ мой прекрасный, мой болѣе жизни мнѣ милый спутникъ?
Гдѣ мой царь, мой владыка, мой вождь, мой ангелъ-хранитель?
Рвется сердце къ нему; по немъ душа унываетъ;
Очи ищутъ его, и голоса милаго жаждетъ
Слухъ, и грудь сгораетъ желаньемъ прижаться ко груди
Жаркой его. . . . О, когда же придется услышать мнѣ снова

Милое слово изъ сладостныхъ Налевыхъ устъ: *Дамаянти?*
Такъ говорила въ своемъ сокрушеніи съ горою пустынной
Бѣдная царская дочь; но гора не дала ей отвѣта.

Сравните это выраженіе горести, жалобы, любви, благородства и отчаянія со всѣми такъ уже прославленными отрывками древнихъ и новыхъ трагедій, поэмъ, гдѣ ни была выведена любовь женская, нѣжная и растерзанная — ни одно изъ нихъ не дойдетъ такъ прямо до сердца и не внушитъ такого участія, какъ эта рѣчь Дамаянти, любящей страстно, но цѣломудренно, жалующейся, но всегда возвышающей душу своего Наля. Это характеръ столь высоко и вѣрно постигнутый, столь художнически развитый, что критикъ болѣе пожелать нечего.

ХІІ.

Разсказъ о путешествіи Дамаянти украшенъ двумя эпизодами: въ одномъ содержится описаніе обители отшельниковъ; въ другомъ читатель видитъ картину Азіятскаго каравана. Въ томъ и другомъ случаѣ не только съ любопытствомъ и изумленіемъ переселяешься въ этотъ новый міръ идей и предметовъ, но и въ восхищеніе приходишь отъ избытка чудной поэзіи, озаряющей картины и плѣняющей воображеніе. Переливы красокъ, гибкость языка, сила и нѣжность слога, музыка звуковъ такъ влекутъ и наполняютъ душу читателя неиспытаннымъ счастіемъ, что предаешься упоенію безотчетному, не замѣчая, какъ беззаботенъ поэтъ въ развитіи дѣйствія, какъ онъ мало занятъ движеніемъ событій. Наконецъ Дамаянти приходитъ въ городъ Шедди. Здѣсь мать царя принимаетъ ее съ участіемъ и поручаетъ дружескимъ попеченіямъ дочери своей царевны Суланды. Дамаянти живетъ въ Шедди, а ея отецъ Бима разослалъ всѣхъ Видарбинскихъ Брахмановъ по разнымъ странамъ Индіи отыскивать дочь свою и зятя. Одинъ изъ нихъ былъ такъ счастливъ, что нашелъ Дамаянти, которая и возвратилась къ отцу. Краски восточной по-

эзіі особенно ярко наложены на описаніе Дамаянти, скрывающей санъ свой и узнанной брахманомъ, который, смотря на нее, говорить про себя:

Тотъ же образъ я вижу, который столь сладостно-свѣтель
 Былъ въ то утро, когда всѣ земные цари и владыки,
 Съ ними и вѣчные боги, въ тревогѣ надежды, смиренно
 Ждали, кому изъ нихъ благодатную руку подастъ Дамаянти.
 Это она, полногрудая, темнокудрявая, райскимъ
 Блескомъ очей веселящая душу, любовь и утѣха
 Мира; она, молодая лилея, лишенная корня,
 Лотось, слоновой стопой сокрушенный, высокое въ низкомъ;
 Это она, по супругѣ скорбящая, вмѣстѣ съ супругомъ
 Всю потерявшая жизнь, какъ источникъ, нынѣ безводный,
 Нѣкогда быстро бѣжавшій, какъ лунная ночь по затмѣнѣ
 Полномъ луны, поглощенной внезапно небеснымъ дракономъ;
 Это она, достойная жить въ перломутровомъ царскомъ
 Домѣ; живущая нынѣ въ чужомъ сиротою бездомной;
 Славная царской породой въ горькомъ безславномъ изгнаньи,
 Счастья достойная, жарко любящая, чуждая счастью,
 Чуждая сладкой любви. Ея измучено сердце
 Страстнымъ стремленьемъ къ супругу, избранному сердцемъ; на
 свѣтѣ

Мужъ украшенье жены; потерявъ сей небесно-прекрасный
 Перлъ, и блестящая тратитъ свой блескъ. Но гдѣ жъ онъ
 могучій

Наль? Перенесъ ли разлуку съ такою женою, иль мертвый
 Палъ, утративъ ее? И мнѣ всю душу пронзааетъ
 Горе при видѣ ея красоты сокрушенной, при встрѣчѣ
 Огненно-темныхъ ея, въ слезахъ угасающихъ взоровъ.
 Скоро ль, скоро ль, весь міръ исходивъ путемъ испытанья,
 Къ цѣли желанной достигнетъ она и съ желаннымъ супругомъ,
 Съ милымъ души, со властителемъ жизни встрѣтится въ мірѣ,
 Такъ какъ звѣзда встрѣчается съ мѣсяцемъ?

Читатель замѣтилъ, безъ сомнѣнія, отличительную черту разсматриваемой нами поэмы: мы хотимъ остановиться на томъ, какъ неистощимъ поэтъ въ описаніяхъ наружной красоты и душевныхъ совершенствъ героевъ своихъ. Никогда, нигдѣ не упоминаетъ онъ о нихъ, не предаваясь съ какимъ-то увлеченіемъ новому исчисленію ихъ доблестей и прелести. Въ этомъ избыткѣ качествъ, наполняющихъ его воображеніе, открывается настроеніе созерцательной жизни Индѣйцевъ. Окружающія ихъ явленія такъ разнообразно-прекрасны, природа такъ богата и щедра для человѣка, онъ самъ такъ обезпеченъ и проникнутъ любовію ко всему, улаждающему его чувства и душу, что дѣйствительно жизнь его незамѣтно можетъ превратиться въ одно созерцаніе и ощущеніе — два источника, изъ которыхъ и образуется этотъ характеръ поэзіи, не гонящейся за драмами страстей и приключеніями жизни, а превратившейся въ сладостное сознаніе красоты и бытія.

XIII.

По возвращеніи своемъ къ родителямъ, Дамаянти еще живѣе чувствуетъ тягость разлуки съ Налемъ. Бима снова отправляетъ браминовъ на поискъ. Между тѣмъ путешествіе Наля дало средство поэту развернуть передъ нами другія стороны Индіи. Онъ вводитъ насъ въ лѣсъ, охваченный пламенемъ, гдѣ змѣйный царь Керкота рассказываетъ Налу любопытную свою исторію. Много писали и нынѣ даже есть голоса противъ индѣйскихъ мифовъ. Но отчего между нами такое предпочтеніе мифовъ греческихъ? Естественнo, что, воспитавшись понятіями этого народа, который сверхъ того даже мѣстностію и гражданственностію такъ немного рознится съ нами, мы сжали сужденія свои на одномъ и томъ же масштабѣ, стремимся все подчинить одному закону, ищемъ вездѣ своего образца, и усиливаемся на всѣхъ концахъ міра утвердить юго-западный европейсмъ. Между тѣмъ природа справедливѣе къ людямъ, такъ же какъ она разнообразнѣе и по-

слѣдовательнѣе ихъ во всемъ. Она повсюду одарила человѣка высшими способностями души, сердца и чувства. Но, не нарушая вѣчныхъ законовъ мудрости, она такъ неразрывно связала внутреннее человѣка съ внѣшнимъ, что жизнь, красота и дѣйствія нигдѣ не образуютъ ей противорѣчій: онѣ разумно и гармонически сходятся съ нею. Воззрѣніе на міръ съ высшей точки примиряетъ умъ съ несообразностями, кажущимися ему при первомъ сужденіи за отверженіе природы. Восходя къ происхожденію индѣйскихъ мифовъ въ глубокой древности на отдаленномъ и такъ несходномъ съ нашими краями Востокѣ и безпристрастно сравнивая первоначальныя наши идеи въ эпоху, столь же отдаленную отъ настоящаго времени, кто не убѣдится, что люди Востока въ отношеніи къ людямъ Запада не безсмысленныя животныя, какъ многимъ кажется? Самая поэма, которая заставляетъ насъ говорить объ этомъ, свидѣлствуетъ о чудныхъ умственныхъ и эстетическихъ способностяхъ того края. Европейецъ, въ индѣйской поэзіи, съ отвращеніемъ встрѣчаетъ *Керкоту*, потому что онъ не выросъ предъ зрѣлищемъ чудной красоты, живоности и разнообразія этихъ твореній, не столько ужасающихъ, сколько веселящихъ взоры Индѣйца. Въ дополненіе прибавьте еще разъ тамошнее ученіе о *метемпсихозисѣ* — и вы примиритесь, даже при господствѣ обыкновенныхъ предразсудковъ нашихъ, съ поэтомъ Индіи. Послѣ эпизода, въ которомъ разсказывается о причинѣ ссоры между Нерадою и Керкотой, судьба Няля начинаетъ принимать характеръ болѣе опредѣленный. Но мы не можемъ оставить Керкоту, не взявъ нѣсколько стиховъ изъ его разсказа о пламени, въ которомъ онъ осужденъ былъ ожидать Няля:

Окружала мой камень

Голая степь; вдругъ услышалъ я шорохъ и трескъ; озираюсь —
Всюду изъ трещинъ земли, какъ острия иглы, выходитъ
Пламя; все гуще и гуще растетъ, все выше и выше
Вьется, все ярче и ярче пылаетъ. Прикованный къ камню,

Чувствую я, какъ все подо мною, какъ все надо мною,
 Камень, на коемъ лежалъ я, и воздухъ, коимъ дышалъ я,
 Мало по малу въ пронзительный жаръ обращалось. Сначала
 Было то пламя, какъ тонкая, гибкая травка; слилось
 Скоро оно въ кустарникъ густой; напоследокъ воздвиглось
 Лѣсомъ широкимъ, въ которомъ каждое дерево было
 Все изъ огня; языками горящими листья шумѣли;
 Вѣтви со всѣхъ сторонъ вились какъ молнія; въ вихорь
 Огненный слившись, качались вершины; и дымъ громового
 Тучей надъ ними клубился.

Не отразилось ли въ этой картинѣ пламенное воображеніе
 восточнаго поэта? Между тѣмъ, разбирая ее по всѣмъ требова-
 ніямъ искусства, не только ничего не находите вы противорѣ-
 чащаго идеѣ прекраснаго, но убѣждаетесь, что элементы этой
 идеи повсюду одни и тѣ же — истина, природа и жизнь. Отъ
 Керкоты, который превратилъ наружный видъ Наля, нашъ
 странникъ приходитъ въ Айоду къ царю Ритуперну и принимаетъ
 тамъ на себя должность конюха. Вотъ пѣсня, которую по ве-
 черамъ онъ пѣвалъ, одинъ затворясь въ стойлѣ:

Гдѣ свѣтлоокая, гдѣ одинокая странствуешь нынѣ?
 Зноемъ и холодомъ, жаждой и голодомъ въ дикой пустынѣ
 Ты изнуренная, ты обнаженная вдовствуя бродишь.
 Гдѣ утѣшеніе, въ чемъ утоленіе скорби находишь?

Одинъ изъ браминовъ, посланныхъ Бимою отыскивать Наля,
 прибылъ въ Айоду. Но въ превращенномъ видѣ своемъ никѣмъ
 не могъ быть узнанъ Наль. Къ счастью, Дамаянти научила бра-
 миновъ, какими словами можно вызвать ея супруга къ открытію
 сана его. Браминны должны были пѣть ея стихи повсюду, гдѣ бы
 только показалось имъ, что Наль тутъ скрывается. Эти стихи
 выражаютъ столь сильные упреки, что Наль не могъ оставаться
 равнодушнымъ, услышавъ ихъ.

Гдѣ ты, игрокъ? куда убѣжалъ ты въ украденномъ платьѣ,
Въ лѣсѣ покинувъ жену? Она, почернѣвши отъ зноя,
Въ скудной одеждѣ, тобою обрѣзанной, ждетъ, чтобъ обратно
Къ ней ты пришелъ. По тебѣ лишь тоскуетъ она, и ни разу
Сна не вкусила съ тѣхъ поръ, какъ себѣ на погибель заснула
Въ томъ лѣсу, гдѣ тобой такъ безжалостно брошена. То ли
Ты общалъ ей супружеской клятвой? Покровъ и защита
Мужъ для жены; а ты что сдѣлалъ съ своею женою,
Ты, величаемый мудрымъ, твердымъ, благимъ, благороднымъ?

Въ самомъ дѣлѣ, когда въ Айодѣ браминъ это пѣлъ, Наль,
съ глубокимъ вздохомъ, задыхаясь отъ слезъ, отвѣчалъ ему:

Въ бѣдности, въ горести терпятъ безропотно съ вѣрой смиренной
Неба достойныя, долгу супружества вѣрныя жены;
Сердце ихъ кроткое нѣжнымъ прощеньемъ мститъ за обиду.
Если въ безуміи всѣ свои радости, свѣтъ и усладу
Жизни, разставшиися съ вѣрной подругою, жалкій преступникъ
Самъ уничтожить могъ; если отчаянный, платья лишенный
Хитрыми птицами, голодомъ мучимый, онъ удалился
Тайно отъ спутницы; если онъ съ той поры денно и ночью
Все по утраченной плачетъ и сѣтуетъ — доброй женою
Будетъ оплаканъ онъ; чтобъ ей ни встрѣтилось, доброе, злое,
Нѣжному, вѣрному сердцу покажется горе не горемъ,
Радость не радостью; будетъ лишь памятно бѣдствіе мужа,
Тяжкой виной своей въ горѣ лишеннаго всякой отрады.

Этотъ отвѣтъ, пересказанный браминомъ Дамаянти, наполнилъ сердце ея радостію; по крайней мѣрѣ она убѣдилась, что
Наль живъ, и узнала, гдѣ онъ находится. Для возвращенья супруга въ Видарбу Дамаянти употребляетъ хитрость: она отправляетъ въ Айоду того же брамина, который принесъ ей отвѣтъ
Наля, и приказываетъ объявить Ритуперну, что Бима снова созываетъ царей и царевичей для избранія изъ нихъ жениха Да-

маянти. Ритупернъ поспѣшно скачетъ туда, взявъ Наля для управленія конями. Такъ какъ не было на землѣ человѣка, который бы могъ сравниться съ Налемъ въ этомъ искусствѣ, то Ритупернъ, желая показать, что и у него есть особенный даръ, никому изъ смертныхъ не посланный, лишь завидѣвъ вдали дерево Вибитаку, вмигъ сосчиталъ, сколько на немъ листьевъ, плодовъ, сучьевъ, и сколько ихъ упало. Наль умѣлъ довести Ритуперна до того, что они помѣнялись своими талантами, открывъ другъ другу ихъ тайну. Въ Видарбѣ Дамаянти, послѣ разныхъ испытаній, увѣрилась, что конюшій Ритуперна, несмотря на безобразный видъ свой, не кто другой, какъ Наль. Произнесши передъ нимъ клятву въ неизмѣнной вѣрности и любви своей, она открыла ему, что приглашеніе Ритуперна выдуманно было ею только для его привлеченія въ Видарбу. Наль вынулъ зеркальный щитъ (подарокъ Керкоты), посмотрѣлся въ него — и Дамаянти увидѣла передъ собою супруга въ прежнемъ его образѣ. Онъ простеръ къ ней руки.

Съ крикомъ пронзительнымъ кинулась въ нихъ Дамаянти,

и этотъ

Мигъ единый стократъ заплатилъ имъ за долгія муки.
 Голову Наля прижавши къ своей цѣломудренной груди,
 Въ сладкомъ забвеніи всего, въ упоеніи любви, Дамаянти
 Долго безгласна была; она то сквозь слезъ улыбалась,
 То трепетала, пронзенная радостью, то отъ избытка
 Счастья глубоко вздыхала. И боги любви опустили
 Тайную брака завѣсу на нихъ, сочетавшихся снова
 Дорого купленнымъ бракомъ. Такъ наконецъ отдохнули
 Вмѣстѣ они, до блаженства достигнувъ дорогой печали.
 Память минувшей разлуки, радость свиданья, живая
 Повѣсть о томъ, что розно другъ съ другомъ они претерпѣли,
 Мыслей и чувствъ повѣренье, раздѣлъ и сліянье,
 Все въ одномъ заключилось чувствѣ: *мы емьсть*; и память
 Прошлыхъ бѣдъ настоящею радостью, свѣтомъ, отъ тѣни

Болѣ яркимъ, печальныя были веселымъ разсказомъ
 Сдѣлалась. Такъ, по долгой въ изгнаніи тоскѣ, возвратился
 Наль къ Дамаянти, какъ солнце изъ зимняго, хладнаго знака
 Въ знакъ весны возвращается; такъ Дамаянти, приникнувъ
 Къ сердцу Наля, опять разцвѣла, какъ сіяющій вешнимъ
 Цвѣтомъ садъ живѣй разцвѣтаетъ, дождемъ орошенный.
 Тутъ пропѣли два соловья имъ пѣсню такую:

«Снова Дамаянти съ Налемъ неразлучна;
 Сердце вновь покойно, горе позабыто,
 Смокнули желанья; такъ ликуетъ въ небѣ
 Ночь, когда ей свѣтитъ другъ желанный, мѣсяцъ.»

Супруги возвратились въ Нишадское царство. Наль употребилъ въ дѣло тайну Ритупернова искусства, отыгралъ весь свой проигрышъ и не мстилъ Пушкарѣ, оставивъ при себѣ сведенаго брата.

Весь уничтоженный благостью брата, предъ нимъ на колѣна
 Бросился плача Пушкаръ. О Наль Пуньялока, да будетъ
 Милость боговъ и всякое благо земное съ тобою!
 Въ скромномъ удѣлѣ моемъ, я, твой подданный, буду спокойнѣй
 Жить, чѣмъ на тронѣ твоёмъ, гдѣ покой мой основанъ
 Былъ на ударѣ невѣрныхъ костей; и своими отнынѣ
 Буду я столь же любимъ, сколь былъ ненавидимъ твоими.
 Прежде однако очищу себя отъ вины омовеньемъ
 Въ Гангесѣ грѣшнаго тѣла; въ его благодатныя волны
 Брошу, проклявъ ихъ, враждебныя кости, которыми злые
 Властвуютъ духи. А ты, сюда возвративъ Дамаянти
 Въ блескѣ прекраснаго солнца, скажи ей, чтобъ гнѣва
 Въ сердцѣ ко мнѣ не питала, и прежнее горе забывши,
 Вдвое блаженна была очищеннымъ въ опытѣ счастьемъ.

Такъ оканчивается эта повѣсть, которою можетъ и должна
 гордиться наша литература. Красоты первобытной поэзіи вносятъ
 въ ея сокровищницу богатства идей и образовъ, никогда не

увядающихъ. Сколько у разныхъ народовъ, въ разныя эпохи, являлось произведеній, которыя возбуждали временный энтузіасмъ. Но это все исчезло, потому что не основано было на простотѣ, истинѣ и натурѣ.

XIV.

Любопытно было бы опредѣлить, какое дѣйствіе произведетъ на публику появленіе въ литературѣ этого произведенія, столь новаго по содержанію его и краскамъ, столь совершеннаго по исполненію и столь доступнаго, повидимому, читателямъ всякаго рода. Мы не слишкомъ увѣрены въ успѣхѣхъ полномъ и блистательномъ. Публика, т. е. большинство читающихъ книги, не довольно привыкла къ стихамъ безъ рифмъ и особенно къ стихотворной формѣ, извѣстной подъ названіемъ древняго экзаметра. Между тѣмъ этотъ размѣръ наиболѣе удобенъ для изображенія всѣхъ оттѣнковъ мыслей, описаній и чувствованій, самый разнообразный въ музыкальномъ отношеніи и самый близкій къ безыскусственной рѣчи нашей. Не стѣсняя писателя ни наборомъ однихъ и тѣхъ же стопъ, ни соблюденіемъ въ каждомъ стихѣ пресѣченія, ни требованіемъ рифмы, часто заставляющей жертвовать ей силою или точностію выраженія, а иногда и порядкомъ идей, древній экзаметръ свободно лѣется и соединяетъ въ себѣ всѣ тоны прочихъ размѣровъ. Впрочемъ, и кромѣ стихотворной формы, у насъ не обжившейся, много причинъ, которыя могутъ произвести въ публикѣ равнодушіе къ этой поэмѣ. Большинство читателей, во всякой книгѣ, современное и ближайшее къ себѣ предпочитаетъ эстетическому интересу искусства. Надобно или врожденную чувствовать страсть къ поэзіи, или возвыситься до безкорыстной любознательности, чтобы въ индѣйской поэмѣ найти удовлетвореніе духовной потребности. На самой высокой степени совершенства произведеніе изящнаго искусства привлекаетъ къ себѣ только немногихъ избранныхъ. Если бы оно еще, какъ созданіе музыки или мимики, поражало насъ чувствен-

но, производило сообщающійся энтузіасмъ и такимъ образомъ вовлекало бы самую толпу хоть въ кажущееся участіе; то могло бы вдвинуться въ публлку и пріобрѣсти въ ней извѣстность. Но смиренный трудъ ума и дарованія, постигаемый молчаливымъ вниманіемъ читателя уединеннаго и только долговременными занятіями приготовляемаго, естественно осужденъ и жить, какъ родился, въ тишинѣ, озаряя и согрѣвая своимъ чистымъ пламенемъ немногія обители. Тѣмъ не менѣе высоко назначеніе совершеннаго созданія поэзіи, изъ какого бы вѣка и народа ни взято было основаніе его. Оно, независимо отъ эстетическихъ достоинствъ, положительно содѣйствуетъ умственнымъ успѣхамъ націи. Самыя рѣзкія, никогда не сглаживающіяся истины хранятся въ произведеніяхъ великихъ поэтовъ. Науки, объемлющія массу знаній, относящихся къ обществу, къ природѣ и въ частности къ человѣку, въ подтвержденіе своихъ основаній приводятъ свидѣтельства изъ поэтовъ. То, что въ ихъ созданіяхъ называется вымысломъ, служитъ, такъ-сказать, рамою многозначительныхъ и глубокихъ напечатлѣній, производимыхъ на нихъ природою, жизнію и всѣмъ, что только влечетъ къ размышленію. Но въ самыхъ идеяхъ и даже образахъ предметовъ, поэтами описываемыхъ, такъ сильно и такъ вѣрно сохраняются всѣ истины, обогащающія насъ опытами и способствующія совершенствованію нашему, что не безъ причины въ систему образованія преимущественно введено чтеніе поэтовъ. Такимъ образомъ и разсматриваемая поэма для многихъ будетъ источникомъ разныхъ знаній и откроетъ длинную цѣпь соображеній, а для другихъ останется повѣстію, которую они съ удовольствіемъ промѣняють на первый дюжинный романъ.

ЕВГЕНІЙ АБРАМОВИЧЪ БАРАТЫНСКІЙ ¹⁾.

1844.

I.

Первыя изъ стихотвореній Баратынскаго начали показываться въ печати около 1818 года — въ одно время съ стихотвореніями барона Дельвига и Пушкина. Молодые поэты тогда же привлекли къ себѣ все вниманіе и дружеское участіе Жуковскаго, для котораго появленіе новаго таланта до сихъ поръ составляетъ праздникъ души. Впрочемъ наши лучшіе писатели всегда обнаруживали это чувство: таковы были отношенія Ломоносова къ Поповскому, Державина къ Дмитріеву, Карамзина къ Жуковскому, Пушкина къ Гоголю.

Въ эпоху, о которой здѣсь говорится, представители русской литературы жили уже въ С.-Петербургѣ. Карамзинъ готовилъ къ печатанію первое изданіе безсмертнаго своего труда, удѣляя только вечеръ свои обществу собиравшихся у него государственныхъ людей и тѣхъ литераторовъ, которые искусство любили по призванію. Подобное собраніе являлось каждую субботу у Жуковскаго. Крыловъ, Гнѣдичъ, Батюшковъ и нѣсколько другихъ писателей, тогда сдѣлавшихся извѣстными по своимъ дарованіямъ и вкусу, дружески бесѣдовали о томъ, что могло служить къ совершенствованію занимавшаго ихъ искусства, сознавая въ его достоинствѣ и успѣхахъ славу и пользу общественную. Въ это время понятіе о литераторѣ представляло соединеніе благороднѣйшихъ качествъ образованности, безкорыстно посвящаемыхъ отечеству, — и такимъ образомъ писатель наравнѣ съ государственнымъ человѣкомъ исполнялъ высокій долгъ гражданина.

¹⁾ *Современникъ* XXXV, 298—329.

Изъ напечатаннаго письма Карамзина къ графу Каподистрія мы еще можемъ видѣть, какого значенія литераторъ достигнулъ тогда въ Россіи. Вотъ почему писатели, здѣсь упоминаемые, пользовались отличнымъ вниманіемъ не только частныхъ лицъ, исторически прославившихся просвѣщеніемъ своимъ и благотѣльнымъ вліяніемъ на судьбу государства, но и незабвенной животворительницы тогдашняго общества избранныхъ — императрицы Маріи Феодоровны.

Человѣкъ, воспитавшій свой талантъ въ этомъ направленіи, ревностно заботится только о полномъ выраженіи всего лучшаго въ себѣ помощію искусства, которое, при другихъ обстоятельствахъ, съ другими о немъ понятіями, становится мелочнымъ упражненіемъ компилатора, или еще ниже — крохоборнымъ ремесломъ спекуланта. Художественное состояніе, въ какомъ тогда была русская литература, указывало писателю его обязанности и отношенія. Онъ былъ лицо дѣятельно-независимое, въ собственномъ убѣжденіи почерпающее основанія и силы для трудовъ своихъ. Впрочемъ талантъ, проникнутый живительнымъ дыханіемъ чистыхъ идей и возвышенныхъ чувствованій, не можетъ уклониться отъ власти этого закона, природою начертаннаго въ душѣ его, чему лучшимъ доказательствомъ и въ наше время еще служить Жуковский.

II.

Какъ о поэтѣ, о Баратынскомъ теперь можно говорить, не подвергаясь подозрѣнію въ пристрастіи: наша литература и его утратила, лишившись столь многихъ изъ его сверстниковъ. Онъ скончался въ Неаполѣ 29 іюня (10 іюля) нынѣшняго года, бывъ только 43-хъ лѣтъ отъ роду. Легко вообразить трогательное чувство унынія въ сердцѣ Жуковского, который годъ отъ году находитъ себя все болѣе одинокимъ, мысленно провожая друзей своихъ за предѣлы здѣшняго міра. Онъ первый почувствовалъ въ Баратынскомъ истинное, оригинальное элегическое настро-

ніе, талантъ въ полномъ значеніи слова; онъ первый принялъ его въ святилище поэзіи. Послѣ элегій самого Жуковского, Батюшкова и тогда напечатанныхъ Пушкина -- элегій, уже по-видимому выразившихъ всѣ стороны меланхоліи, тихихъ ощущеній, нѣжной теплоты сердца и блестящихъ картинъ воображенія — послѣ этихъ образцовъ, казалось, новый элегическій поэтъ долженъ быть только подражатель. Но такъ неисчерпаема глубина души человѣческой и такъ безпредѣльна область искусства, что новому поэту всегда останется довольно и мыслей и чувствъ и красокъ жизни для его независимой дѣятельности. Такъ сама природа до безконечности разнообразитъ физіономіи наши, хотя и ограничивается опредѣленными навсегда частями и формами.

Одаренъ будучи умомъ точнымъ, аналитическимъ и дѣятельнымъ, Баратынскій внесъ въ поэзію отчетливостъ идей, вѣрные оттѣнки понятій и опредѣлительность ихъ выраженій. Каждый стихъ его врѣзывается въ памяти читателя, какъ окончанный образъ мысли. Вотъ для доказательства нѣсколько стиховъ, въ которыхъ вы услышите голосъ олицетворенной *Истины*:

Свѣтильникъ мой укажетъ путь ко счастью

(Вѣщала): захочу —

И страстнаго отрадному безстрастью

Тебя я научу.

Пускай со мной ты сердца жаръ погубишь;

Пускай, узнавъ людей,

Ты, можетъ-быть, испуганный разлюбишь

И ближнихъ и друзей:

Я бытія всѣ прелести разрушу —

Но умъ наставлю твой;

Я оболую суровымъ хладомъ душу —

Но дамъ душѣ покой.

Есть мнѣніе, что самыя глубокія, но слишкомъ сжато выраженные мысли охлаждають поэзію. Это было бы справедливо, если бы стихотвореніе являлось чѣмъ-то неорганическимъ, искусственно соединеннымъ и не проникалось внутреннею общеою жизнію. Но произведеніе истиннаго поэта всегда представляетъ явленіе самобытное, полное и вносящее въ міръ собственную сферу, подобно каждому изъ произведеній природы. Разсматривая искусство съ этой точки зрѣнія, мы не будемъ при чтеніи Баратынскаго останавливаться на частяхъ, но войдемъ съ полнымъ участіемъ въ его цѣлое зданіе, гдѣ увидимъ, что пропорціи, стиль, украшенія и всѣ принадлежности образуютъ удивительную гармонію. Стихотвореніе, изъ котораго мы взяли для примѣра отрывокъ, съ прочими своими частями является въ нѣкоторомъ смыслѣ драмою, гдѣ передъ нами дѣйствуетъ самъ поэтъ, его жизнь и наставница ихъ — истина. Стихи, какъ ихъ предметы, принимаютъ у него мягкость и жесткость, обиліе и краткость, стремительность и плавность. Въ томъ и отличіе истиннаго поэта отъ жалкаго труженика рифмъ, что первый управляетъ движеніемъ и характеромъ элементовъ, а другой не выходитъ изъ ихъ хаоса, или, разъединивъ ихъ, не умѣетъ дать имъ общей связи. Сверхъ того талантъ никогда не удовлетворяется тѣмъ, что лишено трепета, или яркости новой жизни. Самая сжатая, обнаженная, такъ сказать, мысль переходитъ въ поэтической видъ неожиданнымъ оборотомъ, живописнымъ эпитетомъ, простодушіемъ, граціею, даже изумительною вѣрностію прозаическаго, по-видимому, выраженія, и подобными тому чертами.

III.

Природа, надѣливъ поэта нашего столь яснымъ и испытующимъ взглядомъ на міръ идей и явленій, положила тѣмъ избыточное основаніе для прочихъ его художническихъ способностей. Воображеніе его было мирнымъ, хранительнымъ лономъ,

гдѣ образы его поэтическихъ воспріятій свободно созрѣвали и животворились, не искажаясь безвкусными, неестественными преувеличеніями или дополненіями. Извѣстно, что люди совсѣмъ безъ воображенія легко и беззаботно нанизываютъ нескончаемую цѣпь ложныхъ приключеній и принадлежностей. Одно сознаніе художнической истины, плодъ воображенія дѣятельнаго и творчески-воспримчиваго, разборчиво и до пристрастія внимательно къ тѣмъ поэтическимъ украшеніямъ, которыми оно возноситъ свои вымыслы до высокой степени дѣйствительности. Подражатели, равно какъ и начинающіе писатели, даже лишенные дарованій, обыкновенно прибѣгаютъ во всемъ къ иперболизму: эта напыщенность, это высокорѣчіе и мнимое пареніе, за недостаткомъ сочувствія къ предметамъ, обнадёживаютъ ихъ въ успѣхѣ. Но съ этого и начинается разниа между художникомъ и самозванцемъ. Кто изъ любителей русской поэзіи не помнитъ наизусть разговора Татьяны Пушкина съ ея няней? Это верхъ граціи и простоты. И что же? Баратынскій не усомнился въ своей поэмѣ: *Балъ*, обработать подобную сцену. Въ ней и тѣни нѣтъ подражанія. Это живыя два существа, по-видимому, самою природою вызванныя передъ зрителей, чтобы вразумить ихъ, какъ неистощимы, и въ то же время какъ самобытныя явленія высокаго искусства въ одинаковыхъ обстоятельствахъ. Въ этихъ только случаяхъ и можно убѣдиться, въ чемъ могущество талантовъ.

Сухая, дряхлая рука
Изъ тьмы къ лампадѣ потянулась;
Свѣтильню тронула слегка;
Свѣтильня сонная очнулась —
И свѣтъ неожиданный и живой
Вдругъ озаряетъ весь покой.
Княгини мамушка сѣдая
Передъ иконою стоитъ —
И вотъ ужъ, набожно вздыхая,

Земной поклонъ она творить.
Вотъ поднялась, перекрестилась;
Вотъ поплелась-было домой.
Вдругъ видитъ Нину предъ собой:
На полпути остановилась.
Глядитъ печально на нее;
Качаетъ старой головою:
— Ты ль это, дятятко мое,
Такою позднею порою?
И не смыкаешь очи сномъ,
Горюя, Богъ знаетъ, о чемъ!
Вотъ такъ-то ты свой вѣкъ проводишь!
Хоть отъ ума, да не умно!
Ну, право, ты себя уходишь:
А вѣдь грѣшно, куда грѣшно!
И что въ судьбѣ твоей худого?
Какъ погляжу я: полонъ домъ —
Не перечестъ, какимъ добромъ;
Ты роду-званія большого;
Твой князь пріятнаго лица;
Душа въ немъ кроткая такая:
Всечасно Вышняго Творца
Благословляла бы другая!
Ты позабыла Бога... Да!
Не ходишь въ церковь никогда.
Повѣрь: кто Господа оставитъ,
Того оставитъ и Господь;
А Онъ-то духомъ нашимъ править,
Онъ охраняетъ нашу плоть.
Не осердись, моя родная!
Ты знаешь, мало ли о чемъ
Мелю я старымъ языкомъ?
Прости, дай ручку мнѣ! — Вздыхая,
Къ рукѣ княгининой она

Устами ветхими прильнула —
Рука ледяно-холодна;
Въ лицо ей съ трепетомъ взглянула —
На немъ поспѣшный смерти ходъ . . .
Глаза стоять и въ пѣнѣ ротъ . . .
Судбина Нины совершилась:
Нѣтъ Нины!»

Не бѣдность воображенія и не скупость отдѣлки обрѣзали въ этой мастерской картинѣ такъ называемыя увлеченія, избытокъ ощущеній и полноту частныхъ — нѣтъ: истинное сознаніе и раздѣленіе воображаемой жизни опредѣлили и выразили характеръ всякой черты въ общемъ представленіи. Кто этими движеніями, рѣчами и положеніемъ не способенъ увлечься — для того никогда не раскрывалась глубина сердца, никогда не выходили его тайныя помысленія на фізіономію страждущаго лица.

IV.

Производительныя силы художника, въ осуществленіи своемъ, налагаютъ на труды его печать особенности, неизмѣнное отличіе всѣхъ его произведеній, общность прекраснаго для поклонниковъ таланта его — и памятный знакъ къ возстанію для его противниковъ. Названіе этого магическаго качества — вкусъ. Онъ часто бываетъ разсматриваемъ какъ пассивная способность, какъ навыкъ къ сужденію объ эстетическихъ предметахъ. Между тѣмъ онъ же въ числѣ главныхъ дѣйствующихъ художнической производительности. Образуясь вліяніемъ врожденныхъ и приобрѣтаемыхъ въ жизни наклонностей души, вкусъ рѣшить наконецъ въ писателѣ все: сферу идей, ихъ образы, преобладаніе, выраженіе, краски и тонъ. Баратынскій предпочтительно входилъ въ объясненіе загадочныхъ явленій души, противорѣчія страстей, борьбы желаній, словомъ — всего, что ближе и естественнѣе относится къ умственной сферѣ человѣка, безпрестанно мысля-

паго и собственными ощущеніями повѣряющаго сокровенныя движенія другихъ. То, что называется мечтательнымъ и фантастическимъ, не увлекало Баратынскаго изъ области жизни гармонической и, такъ сказать, философской. На самомъ колоритѣ всѣхъ его картинъ, яркихъ, слегка означенныхъ, темныхъ, прозрачныхъ, виденъ вкусъ заботливаго художника, ничѣмъ не пренебрегающаго и безпрестанно думающаго о строгомъ сочетаніи идеи съ ея принадлежностями и ихъ формами. Изъ иностранныхъ языковъ итальянскій и французскій прежде другихъ положили въ молодомъ его умѣ основу развитія мыслей. Это обстоятельство, вмѣстѣ съ природною его склонностію къ анализу, могло сильно дѣйствовать на утвержденіе въ немъ вкуса строгаго, очищеннаго отъ излишествъ и преувеличеній, и предпочитавшаго всему твердость идеи, мѣру или пропорцію ея объема, грацію жизни ея и часто неожиданность въ ея заключеніи. Этотъ вкусъ конечно ближе къ такъ называемому вообще французскому, нежели къ нѣмецкому. Но несправедливо бы опредѣлили мы, если бы поэзію Баратынскаго назвали только легкою, обдѣланною, или остроумною и лишенною высшихъ принадлежностей красоты, какъ наприм. глубокомыслія, силы вдохновенія и рѣзкихъ впечатлѣній. Она, въ своей постоянной правильности, разнообразна содержаніемъ и слѣдовательно богата разнообразными красотою. Приведемъ нѣсколько стиховъ изъ элегій *На смерть Гёте*:

Погасъ . . . Но ничто не оставлено имъ
 Подъ солнцемъ живыхъ безъ привѣта;
 На все отозвался онъ сердцемъ своимъ,
 Что просить у сердца отвѣта:
 Крылатою мыслью онъ міръ облетѣлъ —
 Въ одномъ безпредѣльномъ нашелъ ей предѣлъ.

Все духъ въ немъ питало: труды мудрецовъ,
 Искусствъ вдохновенныхъ созданья,

Преданья, завѣты минувшихъ вѣковъ,
Цвѣтущихъ временъ упованья.
Мечтою по волѣ проникнуть онъ могъ
И въ нищую хату, и въ царской чертогъ.

Съ природой — одною онъ жизнью дышалъ:
Ручья разумѣлъ лепетанье,
И говоръ древесныхъ листовъ понималъ,
И чувствовалъ травъ прозябанье;
Была ему звѣздная книга ясна,
И съ нимъ говорила морская волна.

Въ другомъ стихотвореніи ¹⁾, гдѣ онъ идею *Смерти* развилъ такъ поэтически и такъ оригинально, мысли его тѣснятся и выливаются съ такимъ же изумительнымъ своеобразиемъ, какъ предметы его описанія.

Когда возникнулъ міръ цвѣтущій
Изъ равновѣсія дикихъ силъ,
Въ твое храненье Всемогущій
Его устройство поручилъ.

И ты летаешь надъ твореньемъ.
Согласье прямъ его лія,
И въ немъ прохладнымъ дуновеньемъ
Смиряя буйство бытія.

Ты укрощаешь возстающій
Въ безумной силѣ ураганъ,
Ты, на берега свои бѣгущій,
Вспять поворачиваешь океанъ.

¹⁾ См. въ *Сочиненіяхъ Баратынскаго*, М. 1869, стр. 104, стихотвореніе *Смерть*. Въ изданіи 1895 г. оно напечатано безъ заглавія въ ч. I, стр. 76.

Дашь предѣлы ты растенью,
 Чтобъ не покрылъ безмѣрный лѣсъ
 Земля губительною тѣнью,
 Злакъ не возсталъ бы до небесъ.

А человекъ! святая дѣва!
 Передъ тобой съ его ланить
 Мгновенно сходятъ пятна гнѣва,
 Жаръ любовнаго страстія бѣжитъ.

Перебирая лучшія мѣста извѣстнѣйшихъ поэтовъ, мы ничего не находимъ совершеннѣе подобныхъ отрывковъ; тутъ поэзія достигла высокаго своего назначенія: она становится стройнымъ органомъ самыхъ важныхъ и разительныхъ истинъ. Въ этомъ вкусѣ поэзія представляетъ чистую идею *классическаго искусства*, что въ наше время почти утратило истинное свое значеніе.

V.

Поэтическія способности, рѣдко достигающіяся одному лицу въ пропорціяхъ, столь равномѣрныхъ и гармоническихъ, выразились въ стихотвореніяхъ Баратынскаго характеромъ, ему только свойственнымъ. Свѣтлая картина счастья и безопасности у него никогда не остается безъ легкой тѣни меланхоліи; его грусть растворена сладостію надежды; чувство сливается съ мыслию, и умъ живетъ въ его сердцѣ. Довѣрчивый и робкій, пылкій и покорный, извнѣ преданный бездѣйствію и не дающій отдыха любознательному уму, въ уныніи готовый къ развлеченію и погруженный въ думы свои посреди забавъ, онъ соединилъ въ поэзіи все, что поэтическая душа передумавши перечувствуетъ. Начавъ одну элегію ¹⁾ стихомъ:

Разсѣваетъ грусть веселый шумъ пировъ,

¹⁾ *Стихотворенія* Баратынскаго М. 1835, стр. 25. Въ изд. 1869 (*Дамеръ*) эти стихи измѣнены.

онъ ее оканчиваетъ погруженный въ глубокую меланхолію:

Того не приобрѣсть, что сердцемъ не дано,
Всесильнымъ собственною силой;
Одну печаль свою, уныніе одно
Способенъ чувствовать унылой.

Въ другомъ мѣстѣ, успокоивая непокорныя разсудку желанія,
онъ со всѣмъ убѣжденіемъ краснорѣчія говоритъ о законѣ необходимости:

Взгляни: безропотно текутъ рѣчныя воды
Въ указанныхъ брегахъ, по склону ихъ русла;
Ель величавая стоитъ, гдѣ возросла,
Невластная сойти; небесныя свѣтила
Назначеннымъ путемъ невѣдомая сила
Влечетъ; бродячій вѣтръ неволенъ, и законъ
Его летучему дыханью положенъ.

Но, невластный побѣдить чувства, наконецъ восклицаетъ:

О, тягостна для насъ.
Жизнь, въ сердцѣ бьющая могучею волною,
И въ грани узкія втѣсненная судьбою!

Шуточное посланіе ¹⁾, котораго первые два стиха:

Пора покинуть, милый другъ,
Знамена вѣтренной Киприды,

показываютъ веселое расположеніе духа поэта, превратилось неожиданно въ элегію, столь нѣжную и полную умиленнаго чувства, что нельзя читать ее безъ участія:

Шепчу я часто съ умиленіемъ
Въ тоскѣ задумчивой моей:
Нельзя ль найти подруги нѣжной,

¹⁾ Въ изд. 1835, стр. 176. Въ изд. 1869, *Контину*, стр. 28.

Съ кѣмъ могъ бы, въ счастливой глуши,
 Предаться нѣгѣ безмятежной
 И чистымъ радостямъ души;
 Въ чье неизмѣнное участіе
 Безпечно вѣровалъ бы я,
 Случится ль вѣдро, иль ненастье
 На перепутьи бытія?
 Гдѣ жъ обреченная судьбою?
 На чьей груди я успокою
 Свою усталую главу?
 Или съ волненіемъ и тоскою
 Ее напрасно я зову?
 Или въ печали одинокой
 Я проведу остатокъ дней —
 И тихій свѣтъ ея очей
 Не озаритъ ихъ тьмы глубокой,
 Не озаритъ души моей?»

Изображая повсюду только истинное и вполнѣ постигнутое самимъ, Баратынскій въ этомъ же духѣ и такими же вѣрными красками описывалъ явленія природы и общества. Въ необширныхъ, но яркихъ его картинахъ схвачены тѣ поэтически-рѣзкія черты, которыми предметъ бросается въ глаза и послѣ рисуется въ воображеніи. Мѣстныя красоты Финляндіи такъ слиты въ *Эду* съ главнымъ настроеніемъ души поэта, что невозможно ничего представить совершеннѣе, на примѣръ, столь извѣстнаго окончанія поэмы:

Сковалъ потоки зимній хладъ,
 И надъ стремнинами своими
 Съ гранитныхъ горъ уже висятъ
 Они горами ледяными.
 Изъ-подъ одежды снѣговой

Кой-гдѣ вставая головами,
Скалы чернѣютъ за скалами.
Во мглѣ волнистой и сѣдой
Исчезло небо. Зашумѣли,
Завыли зимнія метели.
Что съ бѣдной дѣвицей моей?
Потухъ огонь ея очей;
Въ ней Эды прежней нѣтъ и тѣни;
Изнемогаетъ въ цвѣтѣ дней:
Но чужды слезы ей и пени.
Какъ небо зимнее блѣдна,
Въ молчаньи грусти безнадежной,
Сидитъ недвижно у окна —
Сидитъ, и бури вой мятежной
Увыло слушаетъ она,
Мечтая: «Нѣтъ со мною друга;
Ты мнѣ постылъ, печальный свѣтъ!
Конца дождусь ли я, иль нѣтъ?
Когда, когда сметешь ты, выюга,
Съ лица земли мой легкій слѣдъ?
Когда, когда на сонъ глубокій
Мнѣ дастъ могила свой пріютъ,
И на нее сугробъ высокій
Бушуя вѣтры нанесутъ?»

Кладбище есть. Тѣснятся тамъ
Къ холмамъ холмы, кресты къ крестамъ
Однообразные для взгляда;
Ихъ (межъ кустами чуть видна,
Изъ круглыхъ камней сложена)
Обходитъ низкая ограда.
Лежитъ уже давно за ней
Могила дѣвицы моей.

И кто теперь ее отыщетъ?
 Кто съ нѣжной грустью навѣститъ?
 Кругомъ все пусто, все молчитъ;
 Порою только вѣтеръ свищетъ
 И можжевелиникъ шевелитъ.»

VI.

Въ то время, когда Баратынскій началъ писать свои элегіи, онъ уже нашелъ въ нашей литературѣ подобныя сочиненія, исполненныя совершенствъ языка, красокъ, тона и одушевленія. Но для такихъ поэмъ, каковы *Эда*, и особенно *Балъ* и *Цыганка*, передъ нимъ образцовъ не было. Самъ Пушкинъ *Русланомъ* своимъ слегка напоминалъ Аріоста и Виланда, а *Кавказскимъ Пльнникомъ* уже видимо Байрона. Баратынскій началъ во всѣхъ отношеніяхъ своеобразіе и кончилъ никому не подчиняясь. Особенный родъ его поэмъ основанъ на особенности его поэтического таланта. Ему не было нужды ни въ торжественной важности событій, ни въ исторической значительности дѣйствующихъ лицъ, ни въ катастрофахъ, поражающихъ читателя вліяніемъ на судьбу человѣчества или какого-нибудь народа. Онъ весь предавался развитію страсти, изученію человѣка во глубинѣ его сердца и воли. Общество, эпоха и мѣстность довольно доставляли ему поэтическихъ красокъ, чтобы (говоря его собственными словами) *сладить* съ сюжетомъ, повидимому, чисто отвлеченнымъ и мало увлекающимъ другое дарованіе, можетъ-быть, скорѣе воспламеняющееся отъ всего поразительнаго, но не такъ склонное къ наблюдательности поэтическо-философской. Такимъ образомъ, можно сказать безъ преувеличенія, что въ Баратынскаго только поэмахъ со всею вѣрностію и заманчивостію анализированъ современный человѣкъ, не поднятый на позорищную эстраду, а застигнутый въ его кабинетѣ, посреди думъ и дѣйствій, укрываемыхъ отъ свѣта. Тутъ все просто, живо и точно. Онъ

не создалъ, а похитилъ у своихъ героевъ этотъ языкъ, положенія, образы и тонъ, изумляющіе всякаго совершенствомъ окончательнымъ.

Для своего и для чужого
Незрима Нина. Всѣмъ одно
Твердитъ швейцаръ ея давно:
— Не принимаетъ; нездорова. —
Ей нужды нѣтъ ни въ комъ, ни въ чемъ.
Питье и пищу забывая,
Въ покоѣ дальнемъ и глухомъ
Она, недвижная, нѣмая,
Сидитъ — и съ мѣста одного
Не сводитъ взора своего.
Глубокой муки сонъ печальный!
Но двери пашутъ растворясь:
Мужъ, не весьма сентиментальный,
Сморкаясь громко, входитъ князь.

И вотъ садится. Въ размышленіе
Сначала молча погруженъ,
Ногой потряхиваетъ онъ —
И наконецъ: — Съ тобой мученье!
Безъ всякой грусти ты грустишь;
Какъ погляжу, совсѣмъ больна ты.
Ей! ей! съ трудомъ вообразишь,
Какъ вы причудами богаты!
Опомнись тебѣ пора.
Сегодня балъ у князь-Петра;
Забудь фантазіи пустыя
И отъ людей не отставай!
Тамъ будутъ наши молодые —
Арсеній съ Ольгой. Поѣзжай!

«Ну, что, поѣдешь ли? — — Поѣду —
Сказала, странно оживясь
Княгиня. — Дѣло! — молвилъ князь.
— Прощай! спѣшу я въ клѣбъ къ обѣду. —
Что, Нина бѣдная, съ тобой?
Какое чувство овладѣло
Твоей болѣзненной душой?
Что оживить ее умѣло?
Уже ль надежда? Торопясь
Часы летятъ. Уѣхалъ князь.
Пора готовиться княгинѣ.
Нарядами окружена,
Давно не бывшими въ поминѣ,
Передъ трюмо стоитъ она.
Ужъ газъ на ней струясь блистаетъ —
Роскошно, сладостно очамъ
Рисуетъ грудь, потомъ къ ногамъ
Съ гирляндой яркой упадаетъ.
Алмазь мелькающихъ серегъ
Горитъ за черными кудрями.
Жемчугъ чело ея облегъ —
И, межъ обильными косами
Рукой искусной пропущенъ,
То видимъ, то невидимъ онъ.
Надъ головою перья вѣютъ;
По томной прихоти своей,
То ей лицо они лелѣютъ,
То дремлютъ въ локонахъ у ней.

Межъ тѣмъ (къ какому разрушенью
Ведетъ сердечная гроза)
Ея потухшіе глаза
Окружены широкой тѣнью,
И на щекахъ румянца нѣтъ:

Чуть виденъ въ образѣ прекрасномъ
Красы бывалой слабый слѣдъ.
Въ стеклѣ живомъ и безпристрастномъ
Княгиня бѣдная моя
Глядяся, мнить: — и это я!
Но пусть на страшное видѣнье
Онъ взоръ смущенный возведетъ:
Пускай узрять свое творенье
И всю вину свою пойметъ! —
Другое, тяжкое мечтанье
Потомъ волнуетъ душу ей:
— Ужель соперницѣ моей
Отдамся я на поруганье?
Ужель спокойно я снесу,
Какъ, торжествуя надо мною,
Свою цвѣтущую красу
Съ моей увидшею красою
Сравнить насмѣшливо она?
Надежда есть еще одна:
Слѣды печали я сокрою,
Хоть въ половину, хоть на часть... —
И Нина трепетной рукою
Лицо румянить въ первый разъ.

Она явилася на балѣ.
Что жъ возмутило душу ей?
Толпы ли вѣтреныхъ гостей
Въ яркоблестящей, пышной залѣ,
Безпечный лепетъ, мирный смѣхъ?
Порывы ль музыки веселой —
И словомъ, этотъ вихрь утѣхъ,
Больнымъ душою столь тяжелый?
Или двусмысленно взглянуть
Посмѣлъ на Нину кто-нибудь?

Иль лишнимъ счастіемъ блистало
 Лице у Ольги молодой?
 Что бъ ни было.— ей дурно стало;
 Она уѣхала домой ¹⁾).

Войдите вниманіемъ въ каждую здѣсь перемѣну положеній, разговоровъ, красокъ и самага молчанія: вы согласитесь, что невозможно стихами представить свѣтской картины свободнѣе и короче, значительнѣе и легче со всѣми неудовимыми ея отбѣнками и переливами. И этого блестящаго искусства, кромѣ Баратынскаго, никто у насъ еще не постигалъ

VII.

Стихотворенія Баратынскаго, судя по ихъ роду и совершенствамъ, столь утонченно-художническимъ, естественно должны были являться въ публику, по точному и оригинальному выраженію Жуковскаго, *для немногихъ*. Таковъ удѣлъ каждаго произведенія изящныхъ искусствъ, когда въ немъ любопытство массы не встрѣчаетъ привычной своей пищи: намековъ на современныя сплетни (политическія или семейныя — все равно), оппозиціонныхъ выходокъ, запутанныхъ повѣствованій, хотя бы въ нихъ и тѣни не было натуры и истины, сценъ каррикатурныхъ, возгласовъ дюжинныхъ и тому подобнаго. Дорожа вдохновенными трудами своими какъ честію, и не понимая, такъ называемаго, ремесла литературнаго, Баратынскій не могъ принадлежать ни къ одной изъ писательскихъ партій: онъ былъ другъ однихъ литераторовъ чистой сферы, которымъ нѣтъ никакой надобности въ мелочныхъ подпорахъ. Съ журналистами и подобными имъ *художниками* Баратынскій изрѣдка сносился только своими эпиграммами, которыя можно назвать и элегіями,

¹⁾ Поэма *Балъ*.

потому что многіе отъ нихъ смѣялись дѣйствительно до слезъ. Около 1825 года онъ совсѣмъ переселился отсюда въ Москву. Семейное счастье еще болѣе привязало его къ занятіямъ тихимъ и усладительнымъ. Онъ и прежде мало находилъ удовольствія въ разсѣянности общества; а теперь оно для него почти не существовало. Но какъ душа его полна была этихъ святыхъ, неизсякаемыхъ радостей, которыми окружаютъ насъ умственные труды и присутствіе людей, нами любимыхъ и насъ любящихъ! Мы до сихъ поръ указывали въ отрывкахъ на черты его поэзіи. Приводимъ здѣсь вполнѣ одну элегію его ¹⁾, которая яснѣе представитъ читателямъ все, что любопытно узнать въ новомъ положеніи столь замѣчательнаго человѣка:

Судьбой наложенныя цѣпи
Упали съ рукъ моихъ — и вновь
Я вижу васъ, родныя степи,
Моя начальная любовь!

Степного неба сводъ желанный,
Степного воздуха струи!
На васъ я въ нѣгѣ бездыханной
Остановилъ глаза мои.

Но мнѣ увидѣть было слаще
Лѣсъ на покатѣ двухъ холмовъ
И скромный домъ въ садовой чащѣ,
Пріютъ младенческихъ годовъ.

Промчалось ты, златое время!
Съ тѣхъ поръ по свѣту я бродилъ
И наблюдалъ людское племя —
И наблюдая возскорбилъ.

¹⁾ Стихотворенія Баратынскаго. М. 1835. Стр. 189. Въ изд. 1869 г. *Родина*, стр. 96.

Ко благу пылокое стремленье
Отъ неба было мнѣ дано;
Но обрѣло ли раздѣленье?
Но принесло ли плодъ оно?...

Я братьевъ зналъ; но сны молодые
Соединили насъ на мигъ:
Далече странствуютъ иные,
И въ мірѣ вѣтъ уже другихъ.

Я твой, родимая дуброва!
Но отъ насильственныхъ судьбинъ
Молишь хранительнаго крова
Къ тебѣ пришелъ я не одинъ.

Привелъ подъ сѣнь твою святую
Я соучастницу въ мольбахъ —
Мою супругу молодую
Съ младенцемъ тихимъ на рукахъ.

Пускай, пускай, въ глуши смиренной
Съ ней милой быть мой утая,
Другихъ урочищей вселенной
Не буду помнить бытія.

Пускай, о свѣтѣ не тоскуя,
Предавъ забвенію людей,
Кумиры сердца сберегу я
Одни, одни въ любви моей!

Но и въ эту эпоху, мало заботясь о томъ, что дѣлалось въ нашей литературѣ, особенно, когда тонъ ея и цѣль такъ рѣзко измѣнились, Баратынскій постоянно сохранялъ свои сношенія съ Жуковскимъ, Пушкинымъ и барономъ Дельвигомъ. Въ С.-Петербургѣ тогда находился и князь П. А. Вяземскій, по службѣ

жившій прежде въ Варшавѣ. Онъ вполне цѣнилъ талантъ Баратынскаго и любилъ его замѣчательный, тонкій умъ. Ихъ неоднократно свиданія въ Москвѣ утвердили дружбу, основанную на взаимномъ душевномъ уваженіи. Два таланта, столь извѣстные у насъ остроуміемъ, вкусомъ, образованностію, лучшимъ тономъ, игривостію и силою слога, чуждые мелочного соперничества, съ удовольствіемъ сообщали другъ другу мнѣнія свои о предметахъ, занимавшихъ ихъ любознательность. Всѣ еще помнятъ прекрасное Посвященіе князю Вяземскому, которое Баратынскій напечаталъ, издавая свои *Сумерки*. Тамъ между прочимъ говорить онъ:

Вамъ приношу я пѣсношѣнья,
Гдѣ отразилась жизнь моя,
Исполнена тоски глубокой,
Противорѣчій, слѣпоты,
И между тѣмъ любви высокою,
Люби добра и красоты.

Счастливый сынъ уединенія —
Гдѣ сердца вѣтренные сны
И мысли праздныя стремленья
Разумно мной усылены;
Гдѣ, другу мира и свободы,
Ни до фортуны, ни до моды,
Ни до молвы мнѣ нужды нѣтъ;
Гдѣ я простилъ безумству, злобѣ,
И позабылъ, какъ бы во гробѣ,
Но добровольно, шумный свѣтъ —
Еще порою покидаю
Я Лету, созданную мной,
И степи міра облетаю
Съ тоскою жаркой и живой:
Ищу я вись; гляжу, что съ вами?

Куда вы брошены судьбами,
Вы, озарявшіе меня
И дружбы кроткими лучами
И свѣтомъ высшаго огня?
Что вамъ даруетъ Провидѣнье?
Чѣмъ испытуетъ Небо васъ?
И возношу молящій гласъ:
Да длится ваше упоенье!
Да скоро минетъ скорбный часъ!

Звѣзда разрозненной Плеяды!
Такъ изъ глуши моей стремлю
Я къ вамъ заботливые взгляды,
Вамъ высшей благодати молю.»

VIII.

Самый чувствительный ударъ приготовила судьба Баратынскому въ 1831 году: умеръ баронъ Дельвигъ, еще полный силъ, поэзіи и жизни. Въ ранней молодости соединила ихъ любовь къ общему назначенію: почти вмѣстѣ начали они писать; вмѣстѣ нѣсколько лѣтъ жили — и свято хранили обязанности дружбы, взаимно совершенствуя одинъ въ другомъ счастливыя свои способности. Кто перечитывалъ собранія ихъ стихотвореній, тотъ давно знаетъ, съ какою вѣрою и любовію они передавали другъ другу свои впечатлѣнія, думы и надежды. Кончина барона Дельвига еще глубже погрузила Баратынского въ его отчужденіе отъ появлявшихся тогда новыхъ литераторовъ: между ними и другомъ своимъ баронъ Дельвигъ составлялъ какъ бы звено. Наконецъ въ 1837 году и съ Пушкинымъ совершилось предсказанное имъ самимъ, когда на послѣднемъ для него лицейскомъ праздникѣ такъ неожиданно излились изъ его устъ слѣдующіе стихи:

Шесть мѣстъ упраздненныхъ стоятъ;
Шести друзей не узримъ болѣ;
Они, разбросанные, спятъ,
Кто здѣсь, кто тамъ, на ратномъ полѣ,
Кто дома, кто въ землѣ чужой;
Кого недугъ, кого печали
Свели во мракъ земли сырой —
И всѣхъ мы братски поминали.

И, мнится, очередь за мной...
Зоветь меня мой Дельвигъ милый,
Товарищъ юности живой,
Товарищъ юности унылой,
Товарищъ пѣсень молодыхъ,
Пировъ и чистыхъ помышлений,
Туда, въ толпу тѣней родныхъ,
Навѣкъ отъ насъ ушедшій геній.

Пушкинъ, наравнѣ съ Жуковскимъ и другими законными судьями въ литературѣ, достойно сознавалъ талантъ Баратынскаго. Въ своихъ сочиненіяхъ (т. XI, стран. 236 — 242 ¹⁾) онъ посвятилъ особую статью разбору его стихотвореній. Эта критика можетъ служить образцомъ, какъ надобно разсматривать поэта. Сколько въ ней знанія высокаго искусства! сколько сочувствія съ нѣжными, для другихъ неувловимыми красотами! сколько вкуса и того удивительнаго ума, которымъ такъ блисталъ Пушкинъ!

Между тѣмъ увеличившееся семейство Баратынскаго требовало самыхъ прозаическихъ заботъ о приведеніи въ порядокъ всѣхъ дѣлъ его по имѣнію. И здѣсь обнаружилъ онъ дѣятельность зрѣлаго ума своего. Въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ онъ все довелъ до желаемаго окончанія — и могъ, какъ въ юно-

¹⁾ Въ изданіи Анненкова, VI, 99.

сти, беззаботно предаваться одному благотворному и неизмѣнно-сладостному труду ума и воображенія. Москва уже не удовлетворяла душевнымъ его требованіямъ и лучшимъ помышленіямъ. Онъ готовился жить въ С.-Петербургѣ, тамъ, гдѣ оставалось еще нѣсколько вѣрныхъ ему друзей, гдѣ нѣкогда явилась ему муза, бросившая столько прекрасныхъ цвѣтовъ на тернистый путь жизни, и гдѣ онъ могъ по своему плану заняться воспитаніемъ дѣтей своихъ. Во время послѣднихъ своихъ поѣздокъ въ С.-Петербургъ онъ увеличилъ число знакомствъ, достойныхъ его по литературѣ, нашедши въ авторѣ *Исторіи Россіи въ разсказахъ для дѣтей*, и въ переводчикѣ *Фритіофа*¹⁾ такія лица, которыя сочувствовали съ нимъ и которыхъ литературные труды и мнѣнія совершенно согласны были съ его благороднымъ образомъ мыслей.

Но прежде окончательнаго сюда переезда, который бы ввелъ его въ прекрасный и уже постоянный кругъ дѣятельности какъ поэта и какъ главы семейства, онъ желалъ, пользуясь счастливыми своими способами, запастися на остатокъ тихихъ дней пріятнѣйшими впечатлѣніями и воспоминаніями роскошнаго юга Европы и всего, чѣмъ плѣняютъ душу поэта вдохновенныя искусства и успѣхи просвѣщенія. Онъ предположилъ прожить нѣсколько времени въ чужихъ краяхъ. Съ этою цѣлю, прошлаго 1843 года осенью, онъ прибылъ съ семействомъ своимъ въ С.-Петербургъ, откуда съ женою и старшими дѣтьми пустился сухимъ путемъ за границу. Пользуясь совершеннымъ здоровьемъ, онъ провелъ зиму въ Парижѣ, гдѣ у многихъ изъ лучшихъ литераторовъ встрѣтилъ пріемъ самый радушный.

¹⁾ Переводчикъ *Фритіофа* былъ не мало изумленъ и польщенъ, когда Баратынскій, пріѣхавъ изъ Парижа, сталъ читать ему наизусть цѣлыя тирады изъ его перевода. Впрочемъ при этомъ надо припомнить, что Баратынскій былъ особенно заинтересованъ шведскою поэмою, такъ какъ онъ въ молодости долго жилъ въ Финляндіи и тамъ часто слышалъ восторженные о ней отзывы. Я. Г.

IX.

Наступила весна нынѣшняго 1844 года. Баратынскому живо представилась вся прелесть Неаполя и его окрестностей въ эту пору года. Онъ рѣшился отправиться туда изъ Марселя на пароходѣ. Парижскій его докторъ не совѣтовалъ ему принимать этого путешествія, полагая, что знойный климатъ Неаполя можетъ быть вреденъ для его здоровья. Но какое-то неодолимое желаніе насладиться скорѣе раемъ Италіи не позволило поэту принять его совѣта. Онъ весело пустился по лазури Средиземнаго моря и въ память тогдашняго переѣзда написалъ прелестное стихотвореніе свое: *Пироскафъ*, которое прислалъ вскорѣ сюда для напечатанія въ *Современникъ* (т. XXXV, стран. 215). Въ Неаполѣ онъ нанялъ загородный домикъ, переехалъ туда и жилъ въ совершенномъ уединеніи, дѣля время между купаньемъ въ морѣ, прогулками и поэзіею. Тамъ онъ вспомнилъ давно умершаго дядьку своего итальянца и написалъ къ нему посланіе въ родѣ его прежнихъ (напримѣръ: къ Богдановичу, къ Гнѣдичу), которыя исполнены зрѣлости мыслей и игры воображенія. Это стихотвореніе онъ также прислалъ въ *Современникъ* (т. XXXV, стр. 217 ¹). Оно было его послѣднимъ сочиненіемъ — лебединою пѣснію нашего незабвеннаго поэта. Насъ поражаетъ въ этомъ посланіи его одно особенно мѣсто, гдѣ, изобразивъ всю прелесть Неаполя, онъ съ какимъ-то умиленіемъ выражается, какъ бы счастливо было тамъ навсегда

... незримо слить въ безмыслии златомъ

Сонъ нѣги сладостной съ послѣднимъ, вѣчнымъ сномъ.

И поэтическое желаніе его, къ несчастію нашему, исполнилось. Наканунѣ русскаго праздника святыхъ апостоловъ Петра и Павла, занемогла жена Баратынскаго. Докторъ совѣтовалъ,

¹) Названныя здѣсь два стихотворенія см. въ *Сочиненіяхъ* Баратынскаго, М. 1869, стр. 171 и 173, второе подъ заглавіемъ: *Дядька-Итальянцу*.

чтобы ей открыть кровь, — и когда мужъ удивился, что надобно употребить эту сильную мѣру въ припадкѣ повидимому обыкновенномъ, то докторъ объявилъ, что иначе можетъ послѣдовать воспаленіе въ мозгу. Слова его такъ встревожили Баратынскаго, что онъ самъ почувствовалъ лихорадочный припадокъ, который ночью усилился. На другое утро, прежде нежели докторъ успѣлъ явиться къ своимъ больнымъ, Баратынскій скончался скоропостижно. Вѣроятно переменна климата уже приготовила ему столь неожиданную и страшную судьбу.

Онъ довольно написалъ, чтобы имя его и сочиненія всегда оставались украшеніемъ русской литературы. Но въ эти лѣта, когда всѣ идеи достигаютъ полноты и зрѣлости; въ этихъ обстоятельствахъ, когда кончены прозаическія заботы жизни, можно было сдѣлать еще болѣе. И кто близко и хорошо зналъ Баратынскаго, тотъ безъ сомнѣнія не безъ грусти задумается о надеждахъ, навѣки нами утраченныхъ.

23 августа.
1844 г.

КОНЕЦЪ ПЕРВАГО ТОМА.

ДОПОЛНЕНІЯ, ПРИМѢЧАНІЯ И ПОПРАВКИ.

Томъ I

Стран.

1. «Извѣстіе о Георгіевскомъ» напечатано при книгѣ *Евгеній* въ видѣ предисловія. Вскорѣ послѣ ея появленія въ 1818 году Пушкинъ, въ разговорѣ съ Плетневымъ, замѣтилъ: «Зачѣмъ вы напечатали романъ? вамъ бы выдать одно предисловіе; это вещь прелестная» (*Пушкинъ въ Южной Россіи*, П. Бартенева, М. 1862, стр. 137).
13. Буквы *Н. Θ. Γ—у* означаютъ Николая Ѳеодоровича Грамматина.
27. Приведенные въ примѣч. 2-мъ, внизу страницы, стихи окончательно получили слѣдующую форму:
«Пройдетъ вѣковъ завистливую даль,
И внемля имъ, вздохнетъ о славѣ младость».
36. Полустишіе: «И дѣдъ мой любилъ ихъ», вслѣдствіе замѣчанія Плетнева, было такъ измѣнено Гнѣдичемъ:
«Любилъ ихъ, ты помнишь, и дѣдъ мой».
- 61 и 163. Желаніе Плетнева, чтобы явился сборникъ русскихъ антологическихъ стихотвореній, осуществилъ лицейскій товарищъ Пушкина Михаилъ Лукьяновичъ Яковлевъ изданіемъ въ 1828 г. книги: «Опытъ русской Анеологіи».
68. Ср. статью кн. Вяземскаго о «Кавказскомъ Плѣнникѣ» въ его сочиненіяхъ, томъ I, стр. 73.

Стран.

77. Стихъ «Немного радостныхъ ей дней» поставленъ цензоромъ вмѣсто «Немного радостныхъ ночей». *Русск. Архивъ* 1874, кн. I, стр. 121. См. въ томѣ I Соч. Плетнева стр. 379, гдѣ эти стихи приведены вторично.

80. Приведенные внизу страницы стихи Пушкинъ впоследствии такъ исправилъ:

«Вперялъ онъ неподвижный взоръ»

См. *Р. А.* 1874, стр. 122, письмо Пушкина къ кн. Вяземскому; ср. тамъ же стр. 127:

«Вперялъ онъ любопытный взоръ».

82. Стихотвореніе «Путешественникъ» позднѣ печаталось Жуковскимъ подъ заглавіемъ: «Путешественникъ и Поселянка» съ нѣкоторыми измѣненіями, сдѣланными вслѣдствіе замѣчаній Плетнева. См. въ 7-мъ изд. Соч. Жук., т. II, стр. 354—361. Здѣсь на стр. 508 г. Ефремовъ ошибается, думая, что это стихотвореніе въ первый разъ явилось въ 3-мъ изданіи Стихотвореній Жуковского, тогда какъ оно было уже напечатано въ № 8 *Сына Отеч.* 1823 г.

93. Вм. «Подобно милая супруга» — «Подобно милая подруга».

95. Вмѣсто: «Въ которомъ пью» Жуковский впоследствии поставилъ: «Въ которомъ воду мы беремъ». Вмѣсто: «сосудъ» — «кувшинъ». Тоже и на стр. 90.

— Вм. «Печальный мохъ на головахъ священныхъ» явился:

«Въ печальный мохъ одѣвъ главы священны».

— Вм. «Земные дни вкушаетъ» — «Земную жизнь вкушаетъ».

96. Вм. «О вѣчный сѣятель природы» — «О вѣчный сѣятель, природой» и т. д.

121. Извѣстно, какъ высоко Пушкинъ цѣнилъ оду Петрова и самого Мордвинова, который, по замѣчанію Александра Сергѣевича въ одномъ письмѣ къ Вяземскому, «заключалъ въ себѣ одномъ всю русскую оппозицію». (*Р. А.* 1874, кн. I,

Стран.

- стр. 132). Нельзя при этомъ не припомнить неконченнаго посланія Пушкина къ Мордвинову (*Соч. Пушкин.* изд. 8, т. II, стр. 20). И Плетневъ въ одномъ изъ своихъ стихотвореній съ особеннымъ сочувствіемъ обращается къ Мордвинову (см. т. III нашего изд., стр. 300).
203. Подъ Муравьевымъ, названнымъ рядомъ съ Карамзинымъ, слѣдуетъ разумѣть извѣстнаго Михаила Никитича.
205. Какъ оказывается изъ письма Плетнева къ Пушкину отъ 7-го февраля 1825 года, авторомъ писемъ изъ Италіи былъ А. А. Перовскій (впослѣдствіи принявшій псевдонимъ Антонія Погорельскаго).
211. Буквы Е. Б. означаютъ Евгенія Баратынскаго.
212. Изъ экземпляра *Съверныхъ Цвѣтовъ*, хранящагося въ Императорской Публичной Библіотекѣ, оказывается, что переводчикомъ «Цвѣтовъ, выбранныхъ изъ греческой Антологіи», былъ Д. В. Дашковъ. (Слышано отъ Л. Н. Майкова).
214. Стихи Дельвига на смерть Державина напечатаны въ IX томѣ академическаго изданія сочиненій екатерининскаго лирика, стр. 550.
237. Подъ двумя неназванными авторомъ литераторами должно разумѣть Карамзина и Крылова.
287. Стихи, начинающіеся на стр. 287, посвящены великой княжнѣ Маріи Николаевнѣ.
289. Къ примѣчанію. Начальныя буквы имени переводчика «Отелло» означаютъ И. И. Панаева, но, какъ видно изъ его *Литературныхъ Воспоминаній* (стр. 73—74), онъ переводилъ не съ англійскаго, а съ французскаго.
304. Приведенные здѣсь четыре стиха взяты, въ нѣсколько измѣненномъ порядкѣ, изъ сцены *Бориса Годунова*, озаглавленной: «Царскія палаты».
333. Приведенные здѣсь стихи — изъ посланія Жуковскаго къ Дмитріеву, 1831 г. (*Соч. Жук.*, изд. 7-е, т. III, стр. 86).
355. «Вотъ какъ надобно писать!» слова Пушкина изъ извѣстнаго письма его къ Ишимова о ея *Истории Россіи*.

Стран.

371. Первый стихотворный отрывокъ взятъ изъ посланія Пушкина къ Чаадаеву, а второй—изъ его же посланія къ Овидію.

380. Слова: «одного петербургскаго пріятеля», къ которому писалъ Пушкинъ, означаютъ самого Плетнева. Приведенныя изъ письма строки можно найти точнѣе въ III томѣ настоящаго изданія, стр. 358. Это относится и къ отрывкамъ изъ писемъ, помѣщеннымъ на стр. 382: см. т. III, стр. 363, 367, 368.

383. Четверостишіе взято изъ посланія къ Чаадаеву.

407. О Милькѣевѣ см. во II томѣ нашего изданія, стр. 385.

440. Къ стихотворенію, читанному на обѣдѣ русскихъ и финскихъ литераторовъ. Употребленное въ одной изъ послѣднихъ строкъ его названіе *кѡнтела* означаетъ музыкальный инструментъ финскихъ народныхъ пѣвцовъ: это родъ маленькой арфы о семи струнахъ, которую поющій кладетъ себѣ на колѣни; до собранія финскихъ народныхъ пѣсень Ленротомъ «кантела» была мало извѣстна даже въ *финляндскомъ* образованномъ обществѣ. Часть этихъ пѣсень онъ же издалъ подъ именемъ «Кантелетѣръ» (Дочь кантелы). Альманахъ, изданный впослѣдствіи въ память юбилея Александровскаго университета авторомъ приведеннаго стихотворенія, составилъ изъ трудовъ всѣхъ участвовавшихъ въ обѣдѣ лицъ обѣихъ націй. Когда распространился слухъ о бывшемъ обѣдѣ, то нѣкоторые изъ остальныхъ финляндскихъ литераторовъ и ученыхъ выражали неудовольствіе, что не могли принять въ немъ участія, но мы боялись слишкомъ многочисленными приглашеніями лишить наше собраніе того скромнаго характера, который желали придать ему.

445. Цигнеусъ, съ которымъ издатель познакомилъ читателей *Современника* (т. XIII) въ статьѣ «Знакомство съ Рунебергомъ», участвовалъ въ литературномъ обѣдѣ, упомянутомъ въ предыдущемъ примѣчаніи. Это былъ поэтъ и ученый, который позднѣе (въ 50-хъ и 60-хъ годахъ) занималъ въ

Стран.

Гельсингфорскомъ университетѣ кафедрѣ эстетики и новой литературы. Онъ кромѣ того былъ замѣчательнымъ орасторъ. Онъ умеръ въ 1882 году, оставивъ послѣ себя хорошую картинную галерею, завѣщанную имъ обществу любителей художествъ въ Гельсингфорсѣ. Цигнеусъ былъ сынъ протестантскаго епископа (1763—1830), долго жившаго въ Петербургѣ, и получивъ тамъ первоначальное образование, зналъ русскій языкъ.

476. Подписавшись подъ этою статьею буквами С. Ш., Плетневъ разумѣлъ жившаго въ Житомирѣ своего пріятеля Шаржинскаго, которому онъ пожелалъ приписать свой трудъ (Ср. *Записки о жизни Гоголя*, т. 1, стр. 324). А. О. Смирнова писала однажды кн. Вяземскому: «Вѣдь это однако Плетневъ открылъ это маленькое сокровище (*т. е. Гоголя*); у него чутье очень вѣрное, онъ его распозналъ съ первой встрѣчи». (См. статью кн. П. П. Вяземскаго: *А. С. Пушкинъ 1826—1837*. Отд. оттискъ изъ Газеты *Вѣстникъ* 1880 г., и *Русскій Архивъ* 1884, вып. 4.

485. Въ нашей *вентъ*. Вента — испанская корчма; слово, употребленное Пушкинымъ въ его «Каменномъ гостѣ».

520. Отрывокъ изъ басни: *Сонъ Могольца* напечатанъ здѣсь совершенно согласно съ текстомъ, помѣщеннымъ въ *Современникъ*. Въ 7-мъ изданіи сочиненій Жуковскаго находимъ слѣдующіе варианты: въ 5-мъ стихѣ *вм. моя* — «для меня»; въ 6-мъ — *вм. сладокъ* — «низокъ».



БОЛѢ ВАЖНЫЯ ОПЕЧАТКИ.

ТОМЪ I.

<i>Стр.</i>	<i>Строка.</i>	<i>Напечатано:</i>	<i>Должно быть:</i>
15	Послѣд. стихъ	облегчило	обличило
28	сн. 14	они	онъ
30	св. 16	время	бремя
43	св. 12	случится въ пиррихій;	случится пиррихій,
65	св. 5	Но я ему	Не я ему
117	сн. 14	его въ	въ его
128	св. 4	поски	поскоки
130	сн. 2	взлетѣши	взлетѣти
141	св. 1	теряющихъ	теряющихъ
147	св. 5	ему (часто	ему часто (
168	св. 12	темное	томное
195	сн. 15	отдѣлить	опредѣлить
234	сн. 6	предметовъ	предметомъ
243	сн. 17	землевладѣльца	земледѣльца
505	сн. 14	Аникичахъ	Аникитичахъ
557	сн. 1	Контину	Коншину
567	сн. 1	внсь	вась

Кромѣ того на стр. 526 сн. 14. Слова: „Другое лицо—Дамаянти“, какъ не принадлежащія къ стихамъ, должны быть оставлены въ сторону.

На стр. 528 между 4 и 5 строками сверху пропущена цифра VIII для означенія новаго отдѣла.

761129

761129

Digitized by Google

